

ЛИТЕРАТУРА XX века

Хрестоматия



11 КЛАСС



83.3я 72
Л64

Литература XX века

11 класс

**Хрестоматия
для общеобразовательных
учреждений**

В двух частях

Часть II

Авторы-составители

В.А. Чалмаев

С.А. Зинин

2-е издание

*Допущено Министерством
образования Российской Федерации*

**Москва
«Русское слово»
2006**



ББК 83.3я72

Л 64

**Литература XX века. 11 класс: Хрестоматия для обще-
Л 64 образовательных учреждений: В 2 ч. Ч. 2 / Авт.-сост.
В.А. Чалмаев, С.А. Зинин. — 2-е изд. — М.: ООО «ТИД «Рус-
ское слово — РС», 2006. — 632 с.**

ISBN 5-94853-583-5 (ч. 2)

ISBN 5-94853-579-7

В учебной хрестоматии, составленной в соответствии с содержанием
Государственного образовательного стандарта (2004), представлена оте-
чественная классика XX века, а также произведения современных авторов.

ББК 83.3я72

ISBN 5-94853-583-5 (ч. 2)
ISBN 5-94853-579-7

© ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2005, 2006
Все права защищены

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30—40-х годов

Михаил Аркадьевич СВЕТЛОВ
1903—1964

РАБФАКОВКЕ

Барабана тугой удар
Будит утренние туманы, —
Это скачет Жанна д'Арк
К осажденному Орлеану.
 Двух бокалов влюбленный звон
 Тушит музыка менуэта, —
 Это празднует Трианон
 День Марии-Антуанетты.
В двадцать пять небольших свечей
Электрическая лампадка, —
Ты склонилась, сестры родней,
Над исписанною тетрадкой...
 Громкий колокол с гулом труб
 Начинает «святое» дело:
 Жанна д'Арк отдает костру
 Молодое тугое тело.
Палача не охватит дрожь
(Кровь людей не меняет цвета), —
Гильотины веселый нож
Ищет шею Антуанетты.
 Ночь за звезды ушла, а ты
 Не устала, — под переплетом
 Так покорно легли листы
 Завоеванного зачета.
Ляг, укройся, и сон придет,
Не томися минуты лишней,
Видишь: звезды, сойдя с высот,
По домам разошлись неслышно.
 Ветер форточку отворил,
 Не задев остального зданья,

Он хотел разглядеть твои
Подошедшие воспоминанья.
Наши девушки, ремешком
Подпоясывая шинели,
С песней падали под ножом,
На высоких кострах горели.
Так же колокол ровно бил,
Затихая у барабана...
В каждом братстве больших могил
Похоронена наша Жанна.
Мягким голосом сон зовет.
Ты откликнулась, ты уснула.
Платье серенькое твое
Неподвижно на спинке стула.

1926

ГРЕНАДА

Мы ехали шагом,
Мы мчались в боях
И «Яблочко»-песню
Держали в зубах.
Ах, песенку эту
Доныне хранит
Трава молодая —
Степной малахит.

Но песню иную
О дальней земле
Возил мой приятель
С собою в седле.
Он пел, озирая
Родные края:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»

Он песенку эту
Твердил наизусть...
Откуда у хлопца

Испанская грусть?
Ответь, Александровск,
И, Харьков, ответь:
Давно ль по-испански
Вы начали петь?

Скажи мне, Украина,
Не в этой ли ржи
Тараса Шевченко
Папаха лежит?
Откуда ж, приятель,
Песня твоя:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя»?

Он медлит с ответом,
Мечтатель-хохол:
— Братишка! Гренаду
Я в книге нашел.
Красивое имя,
Высокая честь —
Гренадская волость
В Испании есть!

Я хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.
Прощайте, родные!
Прощайте, семья!
Гренада, Гренада,
Гренада моя!

Мы мчались, мечтая
Постичь поскорей
Граматику боя —
Язык батарей.
Восход поднимался
И падал опять,

И лошадь устала
Степями скакать.

Но «Яблочко»-песню
Играл эскадрон
Смычками страданий
На скрипках времен...
Где же, приятель,
Песня твоя:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя»?

Пробитое тело
Наземь сползло,
Товарищ впервые
Оставил седло.
Я видел: над трупом
Склонилась луна,
И мертвые губы
Шепнули: «Грена...»

Да. В дальнюю область
В заоблачный плес
Ушел мой приятель
И песню унес.
С тех пор не слышали
Родные края:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»

Отряд не заметил
Потери бойца
И «Яблочко»-песню
Допел до конца.
Лишь по небу тихо
Сползла погода
На бархат заката
Слезинка дождя...

Новые песни
Придумала жизнь.
Не надо, ребята,
О песне тужить.
Не надо, не надо,
Не надо, друзья...
Гренада, Гренада,
Гренада моя!

1926

Эдуард Георгиевич БАГРИЦКИЙ
1895—1934

* * *

От черного хлеба и верной жены
Мы бледною немочью заражены...

Копытом и камнем испытаны годы,
Бессмертной полынью пропитаны воды, —
И горечь полыни на наших губах...
Нам нож — не по кисти,
Перо — не по нраву,
Кирка — не по чести,
И слава — не в славу:
Мы — ржавые листья
На ржавых дубах...
Чуть ветер,
Чуть север —
И мы облетаем.
Чей путь мы собою тогда устилаем?
Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут?
Потопчут ли нас трубачи молодые?
Взойдут ли над нами созвездья чужие?
Мы — ржавых дубов облетевший уют...
Бездомною стужей уют раздуваем...
Мы в ночь улетаем!
Мы в ночь улетаем!

Как спелые звезды, летим наугад...
Над нами гремят трубаچی молодые,
Над нами восходят созвездья чужие,
Над нами чужие знамена шумят...
Чуть ветер,
Чуть север —
Срывайтесь за ними,
Неситесь за ними,
Гонитесь за ними,
Катитесь в полях,
Запевайте в степях!
За блеском штыка, пролетающим в тучах,
За стуком копыта в берлогах дремучих,
За песней трубы, потонувшей в лесах...

1928

Михаил Васильевич ИСАКОВСКИЙ **1900—1973**

КАТЮША

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой.

Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.

Ой ты, песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед
И бойцу на дальнем пограничье
От Катюши передай привет.

Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поет,
Пусть он землю бережет родную,
А любовь Катюша сбережет.

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой.

1938

Павел Николаевич ВАСИЛЬЕВ
1910—1937

СТИХИ В ЧЕСТЬ НАТАЛЬИ

В наши окна, щурясь, смотрит лето,
Только жалко — занавесок нету,
Ветреных, веселых, кружевных.
Как бы они весело летали
В окнах приоткрытых у Натальи,
В окнах незатворенных твоих!

И еще прошеньем прибалую —
Сшей ты, ради Бога, продувную
Кофту с рукавом по локоток,
Чтобы твое яростное тело
С ядрами груди позолотело,
Чтобы наглядеться я не мог.

Я люблю телесный твой избыток,
От бровей широких и сердитых
До ступни, до ногтей люблю,
За ночь обескрылевшие плечи,
Взор, и рассудительные речи,
И походку важную твою.

А улыбка — ведь какая малость! —
Но хочу, чтоб вечно улыбалась —
До чего тогда ты хороша!
До чего доступна, недотрога,
Губ углы приподняты немного:
Вот где помещается душа.

Прогуляться ль выйдешь, дорогая,
Все в тебе цена и прославляя,
Смотрит долго умный наш народ,
Называет «прелестью» и «павой»
И шумит вослед за величавой:
«По стране красавица идет».

Так идет, что ветви зеленеют,
Так идет, что соловьи чумеют,
Так идет, что облака стоят.
Так идет, пшеничная от света,
Больше всех любовью разогрета,
В солнце вся от макушки до пят.

Так идет, земли едва касаясь,
И дают дорогу, расступаясь,
Шлюхи из фокстротных табунов,
У которых кудлы пахнут псиной,
Бедра крыты кожей гусиной,
На ногах мозоли от обнов.

Лето пьет в глазах ее из брашен,
Нам пока Вертинский ваш не страшен —
Чертова рогулька, волчья сыть.
Мы еще Некрасова знавали,
Мы еще «Калинушку» певали,
Мы еще не начинали жить.

И в июне в первые недели
По стране веселое веселье,
И стране нет дела до трухи.
Слышишь, звон прекрасный возникает?

Это петь невеста начинает,
Пробуют гитары женихи.

А гитары под вечер речисты,
Чем не парни наши трактористы?
Мыты, бриты, кепки набекрень.
Слава, слава счастью, жизни слава.
Ты кольцо из рук моих, забава,
Вместо обручального надень.

Восславляю светлую Наталью,
Славлю жизнь с улыбкой и печалью,
Убегаю от сомнений прочь,
Славлю все цветы на одеяле,
Долгий стон, короткий сон Натальи,
Восславляю свадебную ночь.

1934

Александр Андреевич ПРОКОФЬЕВ 1900—1971

Что весной на родине?

Погода.

Волны неумолчно в берег бьют.
На цветах настоящую воду
Из восьми озер родные пьют.

Пьют, как брагу, темными ковшами
Парни в самых радостных летах,
Не испить ее:

она большая.

И не расплескать: она в цветах!

Мне до тех озер дорогой длинной
Не дойти.

И вот в разбеге дня
Я кричу товарищам старинным:
«Поднимите ковшик за меня!»

1935

Борис Петрович КОРНИЛОВ
1907—1938

Без тоски, без грусти, без оглядки,
сокращая житие на треть,
я хотел бы на шестом десятке
от разрыва сердца умереть.

День бы синей изморозью капал,
небо бы тускнело вдалеке,
я бы, задыхаясь, падал на пол,
кровь еще бежала бы в руке.

Песни похоронные противны,
Саван из легчайшей кисеи.
Медные бы положили гривны
на глаза заплывшие мои.

И уснул я без галлюцинаций,
белый и холодный, как клинок.
От общественных организаций
поступает за венком венки.

Их положат вперемешку, вместе —
к телу собирается народ,
жалко — большинство венков из жести, —
дескать, ладно, прах не разберет.

Я с таким бы предложеньем вылез
заживо, покуда не угас,
чтобы на живые разорились —
умирают в жизни только раз.

Ну, да ладно. И на том спасибо.
Это так, для пущей красоты.
Вы правы, пожалуй, больше, ибо
мертвому и мертвые цветы.

Грянет музыка. И в этом разе,
 чтобы каждый скорбь воспринимал,
 все склоняются.
 Однообразен
 похоронный церемониал.

.....
 Впрочем, скучно говорить о смерти,
 попрошу вас не склонять голову,
 вы стихотворению не верьте, —
 я еще, товарищи, живу.

Лучше мы о том сейчас напишем,
 как по полированным снегам
 мы летим на лыжах,
 песней дышим
 и работаем на страх врагам.

1933

Александр Алексеевич ЖАРОВ **1904—1984**

ТЕПЛЫЙ ВЕТЕР

Ты пишешь:
 «Ветер теплыми руками
 У нас в полях перебирает рожь»,
 А я смотрю,
 Как расцветает камень
 На мостовых,
 Когда проходит дождь.

Любуюсь я,
 Как быстро тают лужи
 И прячутся пугливые ручьи...
 Ни радуги, ни дождь у нас не хуже,
 Ни зори, ни леса,
 Ни соловьи.

Я помню, помню,
Как они звенели.
Но здесь утрами, небо полоня,
Пропеллеров
Причудливые трели
Бодрят меня и радуют меня.

Да, знаю я:
Леса растут красиво,
Но от восторга
Здесь схожу с ума,
Когда смотрю,
Как пышно, горделиво
На наших улицах
Растут дома.

Сегодня в них
Как будто больше граней
И света больше замечаю я, —
Не потому ль, что в боковом кармане
Твое письмо —
И в нем — любовь твоя?

Сегодня снова
В солнце потонули
Дома, бульвары, люди, небосклон...
Мой друг,
Я в жизнь влюблен — не потому ли,
Что я в тебя
Безвыходно влюблен?

1928

Николай Алексеевич ОСТРОВСКИЙ
1904—1936**КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ (Отрывки)****Часть I****Глава 8**

Смутно поблескивает река в предрассветной дымке; журчит по прибрежным камешкам-голышам. От берегов к середине река спокойная, гладь ее кажется неподвижной, а цвет ее серый, поблескивающий. На середине темная, беспокойная, видно глазу, движется, спешит вниз. Река красивая, величественная. Это про нее писал Гоголь свое непревзойденное: «Чуден Днепр...» Крутым обрывом сбегает к воде высокий правый берег. Он горой надвинулся на Днепр, словно остановился в своем движении перед шириной реки. Левый берег внизу весь в песчаных лысынах. Их оставляет Днепр после весенних разливов, возвращаясь в свои берега.

У реки, зарывшись в землю в тесном окопе, пятеро дружно прилегли у тупоносого «максимки». Это передовой «секрет» 7-й стрелковой дивизии. У пулемета, лицом к реке, прилег к боку Сережа Брузжак.

Вчера, обессиленные в бесконечных схватках, разбиваемые ураганным огнем артиллерии поляков, сдали Киев. Перешли на левый берег. Закрепились.

Но отступление, большие потери и, наконец, сдача противнику Киева тяжело действовали на бойцов. 7-я дивизия героически пробивалась сквозь окружение, шла лесами и, выйдя к железной дороге у станции Малин, яростным ударом разметала занявшие станцию польские части, отбросила их в лес, освободив дорогу на Киев.

Теперь, когда красавец город отдан, красноармейцы были пасмурны.

Поляки заняли небольшой плацдарм на левом берегу у железнодорожного моста, выбив красные части из Дарницы.

Но продвинуться далее, несмотря на все усилия, не смогли, встречаемые ожесточенными контратаками.

Смотрит Сережа, как бежит река, и не может не думать о прошлом дне.

Вчера, в полдень, подхваченный общей яростью, встречал белополяков контратакой; вчера же впервые грудь с грудью столкнулся с безусым легионером. Летел тот на него, выкинув вперед винтовку с длинным, как сабля, французским штыком, бежал заячьими прыжками, крича что-то несвязное. Часть секунды видел Сергей его глаза, расширенные яростью. Еще миг — и Сергей ударил концом штыка по штыку поляка. И блестящее французское лезвие было отброшено в сторону.

Поляк упал.

Рука Сергея не дрогнула. Он знает, что он будет еще убивать, он, Сергей, умеющий так нежно любить, так крепко хранить дружбу. Он парень не злой, не жестокий, но он знает, что в звериной ненависти двинулись на республику родную эти посланные мировыми паразитами, обманутые и злобно натравленные солдаты.

И он, Сергей, убивает для того, чтобы приблизить день, когда на земле убивать друг друга не будут.

За плечо трогает Парамонов:

— Будем отходить, Сергей, скоро нас заметят.

* * *

Уже год носился по родной стране Павел Корчагин на тачанке, на орудийном передке, на серой с отрубленным ухом лошадке. Возмужал, окреп. Выростал в страданиях и невзгодах.

Успела зажить кожа, растертая в кровь тяжелыми патронными сумками, и не сходил уже твердый рубец мозолей от ремня винтовки.

Много страшного видел Павел за этот год. Вместе с тысячами других бойцов, таких же, как он, оборванных и раздетых, но охваченных неугасающим пламенем борьбы за власть своего класса, прошел пешком взад и вперед свою родину и только дважды отрывался от урагана.

Первый раз из-за ранения в бедро, второй — в морозном феврале двадцатого заметался в липком, жарком тифу.

Страшнее польских пулеметов косил вшивый тиф ряды полков и дивизий 12-й армии. Раскинулась армия на громадном пространстве, почти через всю северную Украину, преграждая

полякам дальнейшее продвижение вперед. Едва поправившись, возвратился Павел в свою часть.

Сейчас полк занимал позицию у станции Фронтówki, на ветке, отходящей от Казатина на Умань.

Станция в лесу. Небольшое здание вокзала, у которого приютились разрушенные, покинутые жителями домики. Жить в здешних местах стало невозможно. Третий год то затихали, то опять загорались побоища. Кого только не видела Фронтówka за это время!

Снова назревали большие события. В то время, когда 12-я армия, страшно поредевшая, отчасти дезорганизованная, отходила под натиском польских армий к Киеву, пролетарская республика готовила опьяненным победным маршем белополякам сокрушительный удар.

С далекого Северного Кавказа беспримерным в военной истории походом перебрасывались на Украину закаленные в боях дивизии 1-й Конной армии. Четвертая, шестая, одиннадцатая и четырнадцатая кавалерийские дивизии подходили одна за другой к району Умани, группируясь в тылу нашего фронта и по пути к решающим боям сметая с дороги махновские банды, — шестнадцать с половиной тысяч сабель, шестнадцать с половиной тысяч опаленных степным зноем бойцов.

Все внимание высшего красного командования и командования Юго-Западным фронтом было привлечено к тому, чтобы этот подготавливаемый решающий удар не был предупрежден пилсудчиками. Бережно охранял группировку этой конной массы штаб республики и фронтов.

На уманском участке были прекращены активные действия. Стучали непрерывно прямые провода от Москвы к штабу фронта — Харьков, отсюда к штабам 14-й и 12-й армий. В узенькие полоски телеграфных лент отстукивали «морзянки» шифрованные приказы: «Не дать привлечь внимание поляков к группировке Конной армии». Если и завязывались активные бои, то только там, где продвижение поляков грозило втянуть в бой дивизии буденновской конницы.

Шевелится рыжими лохмами костер. Бурыми кольцами, спирально вверх уходит дым. Не любит дыма мошकारа, носится она быстрым роем, стремительная, непоседливая. Поодаль, вокруг огня, веером растянулись бойцы. Костер красит медным цветом их лица.



У костра в голубоватом пепле пригрелись котелки. В них пузырится вода. Выбрался из-под горящего бревна вороватый язычок пламени и лизнул краешком поверх чьей-то вихрастой головы. Голова отмахнулась, недовольно буркнув:

— Тьфу, черт!

Вокруг засмеялись.

Пожилой красноармеец в суконной гимнастерке, с подстриженными усами, только что просмотрев на огонь дуло винтовки, пробасил:

— Вот парень в науку ударился — и огня не чует.

— Ты нам, Корчагин, расскажи, чего ты там вычитал.

Молодой красноармеец, ощупывая клок опаленных волос, улыбался.

— Действительно, книжка — что называется, товарищ Андрюшук. Как добрался до нее, оторваться никак не могу.

Сосед Корчагина, курносый юноша, старательно трудясь над ремешком подсумка, перекусывая зубами суровую нитку, с любопытством спросил:

— А про кого там пишут? — И, заматывая на вколотую в шлем иголку обрывок нитки, добавил: — Очень интересуюсь, ежли про любовь.

Кругом загоготали. Матвейчук поднял свою стриженную ежиком голову и, ехидно щура плутоватый глаз, обратился к юноше:

— Что ж, любовь — вещь хорошая, Середа. Ты парень красивый, картинка! От тебя, куда ни придем, девки с каблуков сбиваются. Вот только маленький дехвект у тебя: нос — пяточком. Да это исправить можно. На край носа десятифунтовку Новицкого¹ подвесить, за ночь оттянет книзу.

От хохота испуганно всхрипнули привязанные к пулеметным тачанкам лошади.

Середа лениво повернулся.

— Не в красоте дело, а в котелке, — выразительно стукнул он себя по лбу. — Вот язык у тебя крапивяной, а сам ты балда балдоу, и уши у тебя холодные.

Готовых сцепиться товарищей рознял отделенный Татаринов:

¹ Ручная граната Новицкого весом около 4 килограммов, для разрыва проволочных заграждений.

— Ну-ну, ребятки, зачем кусаться? Пусть лучше Корчагин почитает, ежели что стоящее.

— Сыпь, Павлушка, сыпь! — раздалось со всех сторон.

Корчагин придвинул к огню седло, уселся на него и развернул на коленях небольшую толстую книжку.

— Эта книга, товарищи, называется «Овод». Достал я ее у военкома батальона. Очень действует на меня эта книжка. Если будете сидеть тихонько, буду читать.

— Жарь! Чего там! Никто мешать не будет.

Когда к костру незаметно подъехал с комиссаром командир полка товарищ Пузыревский, он увидел одиннадцать пар глаз, неподвижно уставленных на чтеца.

Пузыревский повернул голову к комиссару и указал рукой на группу:

— Вот половина разведки полка. У меня там четверо, совсем зеленые комсомольцы, а каждый хорошего бойца стоит. Вот тот, что читает, а вон тот, другой — видишь? — глаза, как у волчонка, — это Корчагин и Жаркий. Они друзья. Однако между ними не затухает скрытая ревность. Раньше Корчагин был у меня первым разведчиком. Теперь у него очень опасный конкурент. Вот сейчас, смотри, ведут политработу незаметно, а влияние очень большое. Для них хорошее слово придумано — «молодая гвардия».

— Это политрук разведки читает? — спросил комиссар.

— Нет. Политрук Крамер.

Пузыревский двинул лошадь вперед.

— Здравствуйте, товарищи! — крикнул он громко.

Все обернулись. Легко спрыгнув с седла, командир подошел к сидящим.

— Греемся, друзья? — спросил он, широко улыбаясь, и его мужественное лицо со слегка монгольскими, узенькими глазами потеряло суровость.

Командира встретили приветливо, дружески, как хорошего товарища. Военком оставался на лошади, собираясь ехать дальше.

Пузыревский, откинув назад кобур с маузером, присел у седла рядом с Корчагиным и предложил:

— Закурим, что ли? У меня табачок дельный завелся.

Закурив папироску, он обратился к комиссару:

— Ты езжай, Доронин, я здесь останусь. Если в штабе нужен буду, дайте знать.

Когда Доронин уехал, Пузыревский, обращаясь к Корчагину, предложил:

— Читай дальше, я тоже послушаю.

Дочитав последние страницы, Павел положил книгу на колени и задумчиво смотрел на пламя.

Несколько минут никто не проронил ни слова. Все находилось под впечатлением гибели Овода.

Пузыревский, дымя сигаркой, ожидал обмена мнений.

— Тяжелая история, — прервал молчание Середа. — Есть, значит, на свете такие люди. Так человек не выдержал бы, но как за идею пошел, так у него все это и получается.

Оп говорил, заметно волнуясь. Книга произвела на него большое впечатление.

Андрюша Фомичев, сапожный подмастерье из Белой Церкви, с негодованием крикнул:

— Попался бы мне ксендз, что ему крестом в зубы залезал, я б его, проклятого, сразу прикончил!

Андрюшук, подвинув палочкой котелок ближе к огню, убежденно произнес:

— Умирать, если знаешь за что, особое дело. Тут у человека и сила появляется. Умирать даже обязательно надо с терпением, если за тобой правда чувствуется. Отсюда и героизм получается. Я одного парнишку знал. Порайкой звали. Так он, когда его белые застукали в Одессе, прямо на взвод целый нарвался сгоряча. Не успели его штыком достать, как он гранату себе под ноги ахнул. Сам на куски и кругом положил беляков кучу. А на него сверху посмотришь — никудышный. Про него вот книжку не пишет никто, а стоило бы. Много есть народу знаменитого среди нашего брата.

Помешав ложкой в котелке, вытянул губы, попробовал из ложки чай и продолжал:

— А смерть бывает и собачья. Мутная смерть, без почета. Когда у нас бой под Изяславлем шел, город такой старинный, еще при князьях строился. На реке Горынь. Есть там польский костел, как крепость, без приступу. Ну так вот, вскочили мы туда. Цепью пробираемся по закоулкам. Правый фланг у нас латыши держали. Выбегаем мы, значит, на шоссе, глядь, стоят около одного сада три лошади, к забору привязаны, под седлами. Ну мы, понятное дело, думаем: застукаем полячи-

шек. Человек с десятков нас во дворик кинулись. Впереди с маузером прет командир роты ихней, латышской.

До дому дорвались, дверь открыта. Мы — туда. Думали — поляки, а получилось наоборот. Свой разъезд тут орудовал. Они раньше нас заскочили. Видим, творится здесь совсем невеселое дело. Факт налицо: женщину притесняют. Жил там офицеришка польский. Ну, они, значит, его бабу до земли и пригнули. Латыш как это все увидел, да по-своему что-то крикнул. Схватили тех троих и на двор волоком. Нас, русских, двое только было, а все остальные латыши. Командира фамилия Бредис. Хотя я по-ихнему и не понимаю, но вижу, дело ясное, в расход пустят. Крепкий народ эти латыши, кремневой породы. Приволокли они тех к конюшне каменной. Амба, думаю, шлепнут обязательно. А один из тех, что попался, здоровый такой парнище, морда кирпича просит, не дается, барахтается. Загинаят до седьмого поколения. Из-за бабы, говорит, к стенке ставить! Другие тоже пощады просят.

Меня от этого всего в мороз ударило. Подбегаю я к Бредису и говорю: «Товарищ комроты, пуцай их трибунал судит. Зачем тебе в их крови руки марать? В городе бой не закончился, а мы тут с этими рассчитываемся». Он до меня как обернется, так я пожалел за свои слова. Глаза у него, как у тигра. Маузер мне в зубы. Семь лет воюю, а нехорошо вышло, оробел. Вижу, убьет без рассуждения. Крикнул он на меня по-русски. Его чуть разберешь: «Кровью знамя крашено, а эти — позор всей армии. Бандит смертью платит».

Не выдержал я, бегом из двора на улицу, а сзади стрельба. Кончено, думаю. Когда в цепь пошли, город уже был наш. Вот оно что получилось. По-собачьи люди сгнули. Разъезд-то был из тех, что к нам пристали у Мелитополя. У Махно раньше действовали, народ сбродный.

Поставив котелок у ног, Андрощук стал развязывать сумку с хлебом.

— Замотается меж нас такая дрянь. Не досмотришь всех. Вроде тоже за революцию старается. От них грязь на всех. А смотреть тяжело было. До сих пор не забуду, — закончил он, принимаясь за чай.

Только поздней ночью заснула конная разведка. Выводил носом трели уснувший Середа. Спал, положив голову на седло,

Пузыревский, и записывал что-то в записную книжку политрук Крамер.

На другой день, возвращаясь с разведки, Павел, привязав лошадь к дереву, подозвал к себе Крамера, только что окончившего пить чай:

— Слушай, политрук, как ты посмотришь на такое дело: вот я собираюсь перемахнуть в Первую Конную. У них дела впереди горячие. Ведь не для гулянки их столько собралось. А нам здесь придется толкаться все на одном месте.

Крамер посмотрел на него с удивлением.

— Как это перемахнуть? Что, тебе Красная Армия — кино? На что это похоже? Если мы все начнем бегать из одной части в другую, веселые будут дела!

— Не все ли равно, где воевать? — перебил Павел Крамера. — Тут ли, там ли. Я же не дезертирую в тыл.

Крамер категорически запротестовал:

— А дисциплина, по-твоему, что? У тебя, Павел, все на месте, а вот насчет анархии, это имеется. Захотел — сделал. А партия и комсомол построены на железной дисциплине. Партия — выше всего. И каждый должен быть не там, где он хочет, а там, где нужен. Тебе Пузыревский отказал в переводе? Значит — точка.

Высокий тонкий Крамер, с желтоватым лицом, закашлялся от волнения. Крепко засела свинцовая типографская пыль в легких, часто горел на щеках его нездоровый румянец.

Когда Крамер успокоился, Павел сказал негромко, но твердо:

— Все это правильно, но к буденновцам я перейду — это факт. На другой день вечером Павла у костра уже не было.

<...>

Часть II

Глава 1

Полночь. Уже давно проволочное разбитое туловище последний трамвай. Луна залила неживым светом подоконник. Голубоватым покрывалом лег луч ее на кровать, отдавая полутьме остальную часть комнаты. В углу на столе — кружок света из-под абажура настольной лампы.

Рита наклонилась низко над объемистой тетрадью — своим дневником.

«24 мая» — начеркал острый кончик ее карандаша.

«Я опять пытаюсь записать свои впечатления. Опять пустое место. Полтора месяца прошло, и не записано ни слова. Приходится согласиться с этим обрывком.

Когда же находить время для дневника? Вот сейчас ночь, а я пишу. Убегает сон. Уезжает на работу в ЦК товарищ Сегал. Это известие всех нас огорчило. Прекрасная личность, наш Лазарь Александрович. Только теперь понимаю, каким богатством была для всех нас дружба с ним. Конечно, с отъездом Сегала развалится кружок диамата. Вчера были до поздней ночи у него, проверяли достижения наших «подшефных». Пришел секретарь губкома Аким, противный завучем Туфта. Не терплю этого всезнайку! Сегал сиял. Его ученик Корчагин блестяще срезал Туфту по истории партии. Да, эти два месяца не пропали даром. Не жалко сил, если они дают такие результаты. По слухам, Жухрай переходит на работу в Особый отдел военного округа. Почему это, не знаю.

Лазарь Александрович передал мне своего ученика.

— Довершайте начатое, — сказал он, — не останавливайтесь на полдороге. И вам, Рита, и ему есть чему друг у друга поучиться. Юноша еще не совсем ушел от стихийности. Живет чувствами, которые в нем бунтуют, и вихри этих чувств сшибают его в сторону. Насколько я вас знаю, Рита, вы будете самым подходящим для него руководом. Желаю вам успеха. Не забывайте писать мне в Москву, — говорил мне Сегал на прощание.

Сегодня из ЦК прислали нового секретаря Соломенского райкома, Жаркого. Я его знаю по армии.

Завтра Дмитрий приведет Корчагина. Опишу Дубаву. Среднего роста. Сильный, мускулистый. В комсомоле он с восемнадцатого, в партии с двадцатого. Это один из трех исключенных из губкома за принадлежность к «рабочей оппозиции». Учеба с ним была нелегкая. Каждый день он срывал план, засыпая меня вопросами, отвлекая от темы. Между Юреновой, моей второй ученицей, и Дубавой были частые размолвки. В первый же вечер, оглядев Ольгу с ног до головы, он заметил:

— У тебя неполное обмундирование, старуха. Нужны штаны с кожей, шпоры, буденовка и шапка, а то ни рыба ни мясо.

Ольга не осталась в долгу, и мне пришлось разнимать. Дубава, кажется, друг Корчагина. На сегодня довольно. Спать».

Зной истомил землю. Накалило до обжога железные перила надвокзального моста. На мост поднимались вялые, изнемогающие от жары люди. Это не были пассажиры. По мосту шли преимущественно из железнодорожного района в город.

С верхней ступени Павел увидел Риту. Она пришла к поезду раньше его и смотрела на сходящих вниз людей.

Шагах в трех сбоку от Устинович Корчагин остановился. Она не замечала его. Павел рассматривал ее с каким-то странным любопытством. Рита была в полосатой блузке, в синей недлинной юбке из простой ткани, куртка мягкого хрома была переброшена через плечо. Шапка непослушных волос окаймляла загорелое лицо. Она стояла, слегка запрокинув голову и щурясь от яркого света. В первый раз Корчагин смотрел на своего друга и учителя такими глазами, и в первый раз ему пришла в голову мысль, что Рита не только член бюро губкома, а... И, поймав себя на таких «грешных» мыслях, раздосадованный, окликнул ее:

— Я уже целый час смотрю на тебя, а ты меня не видишь. Пора идти, поезд уже стоит.

Они подошли к служебному проходу на перрон.

Вчера губком назначил Риту своим представителем на одну из уездных конференций. В помощь ей дали Корчагина. Сегодня им необходимо сесть в поезд, что было далеко не легкой задачей. Вокзал в часы отхода редких поездов находился во власти всемогущей посадочной пятерки, без пропуска посадкома никто не имел права выйти на перрон. Все подступы и выходы занимал заградительный отряд комиссии. Поезд, до отказа набитый людьми, мог увезти лишь десятую долю стремившихся уехать. Никто не желал оставаться, ждать днями случайного поезда. Тысячи людей штурмовали проходы, пытались прорваться к недоступным зеленым вагонам. Вокзал в те дни переживал настоящую осаду, и дело иногда доходило до рукопашной.

Павел и Рита тщетно пытались пройти на перрон.

Зная все ходы и выходы, Павел провел свою спутницу через багажную. С трудом пробрались они к вагону № 4. У дверей ва-

гона, сдерживая густую толпу, стоял распаренный жарой чекист, повторяя в сотый раз:

— Говорю вам, вагон переполнен, а на буфера и крышу, согласно приказу, никого не пустим.

На него напирали взбешенные люди, тыча в нос билетами посадкома, выданными на четвертый номер. Злобная ругань, крики, толкотня перед каждым вагоном. Павел видел, что сесть обычным порядком на этот поезд не удастся, но ехать было необходимо, иначе срывалась конференция.

Отозвав Риту в сторону, посвятил ее в свой план действий: он проберется в вагон, откроет окно и втянет в него Риту. Иначе ничего не выйдет.

— Дай мне свою куртку, она лучше любого мандата.

Павел взял у нее кожанку, надел, переложил в карман куртки свой наган, нарочито выставив рукоять со шнуром наружу. Оставив сумки с припасами у ног Риты, пошел к вагону. Бесцеремонно растолкав пассажиров, взялся рукой за поручень.

— Эй, товарищ, куда?

Павел оглянулся на коренастого чекиста.

— Я из Особого отдела округа. Вот сейчас проверим, все ли у вас погружены с билетами посадкома, — сказал Павел тоном, не допускавшим сомнения в его полномочиях.

Чекист посмотрел на его карман, вытер рукавом пот со лба и сказал безразличным тоном:

— Что ж, проверяй, если влезешь.

Работая руками, плечами и кое-где кулаками, взбираясь на чужие плечи, подтягиваясь на руках, хватаясь за верхние полки, осыпaeмый градом ругани, Павел все же пробрался в середину вагона.

— Куда тебя черт несет, будь ты трижды проклят! — кричала на него жирная тетка, когда он, спускаясь сверху, ступил ногой на ее колено. Тетка втиснулась своей семипудовой машиной на край нижней полки, держа между ног бидон для масла. Такие бидоны, ящики, мешки и корзины стояли на всех полках. В вагоне нельзя было продохнуть.

На ругань тетки Павел ответил вопросом:

— Ваш посадочный билет, гражданка?

— Чиво? — окрысилась та на незваного контролера.

С самой верхней полки свесилась чья-то «блатная» башка и загудела контрабасом:

— Васька, что это за фрукт явился сюда? Дай ему путевку на «евбаз».

Прямо над головой Корчагина появилось то, что, по-видимому, было Васькой. Здоровенный парень с волосатой грудью уставился на Корчагина бычьими глазищами.

— Чего к женщине пристал? Какой тебе билет?

С боковой полки свешивались четыре пары ног. Хозяева этих ног сидели в обнимку, энергично щелкая семечки. Здесь, видно, ехала спетая компания матерых мешочников, выдавших виды железнодорожных мародеров. Не было времени связываться с ними. Надо было посадить в вагон Риту.

— Чей это ящик? — спросил он пожилого железнодорожника, указывая на деревянную коробку у окна.

— Да вон той девахи, — показал тот на толстые ноги в коричневых чулках.

Надо было открыть окно. Ящик мешал. Положить его было некуда. Взяв ящик на руки, Павел подал его хозяйке, сидевшей на верхней полке.

— Подержите, гражданка, минутку, я открою окно.

— Ты что чужие вещи трогаешь! — заверещала плосконосая деваха, когда он на ее колени поставил ящик.

— Мотька, чтой-то гражданин шум подымает? — обратилась она за помощью к своему соседу. Тот, не слезая с полки, толкнул Павла в спину ногой, одетой в сандалию:

— Эй ты, плешь водяная! Смывайся отсюда, пока я тебе компостер не поставил.

Павел молча снес пинок в спину. Закусив губу, открывал окно.

— Товарищ, отодвинься маленько, — попросил он железнодорожника.

Освобождая место, отодвинул чей-то бидон и встал вплотную к окну. Рита была у вагона, быстро подала ему сумку. Бросив сумку на колени тетки с бидоном, Павел нагнулся вниз и, захватив руки Риты, потянул ее к себе. Не успел красноармеец заградотряда заметить это нарушение правил и воспрепятствовать ему, как Рита была уже в вагоне. Неповоротливому красноармейцу ничего не оставалось, как выругаться и отойти от окна. Появление Риты в вагоне всей мешочной компанией было встречено таким галдежом, что Рита смутилась и затревожилась. Ей негде было встать, и она стояла на краешке нижней

полки, держась за поручень верхней. Со всех сторон неслась ругань. Сверху контрабас изрыгнул:

— Вот гад, сам влез и девуку за собой тащит!

А кто-то невидимый сверху пискнул:

— Мотька, засвети ему промеж глаз!

Деваха норовила деревянный ящик поставить на голову Корчагина. Кругом были чужие, похабные лица. Павел пожалел, что Рита здесь, но надо было как-то устроиваться.

— Гражданин, заberi свои мешки с прохода, здесь товарищ станет, — обратился он к тому, кого звали Мотькой, но в ответ получил такую циничную фразу, от которой весь вскипел. Над правой бровью часто и больно закололо.

— Подожди, подлец, ты мне еще ответишь за это, — едва сдерживаясь, сказал он хулигану, но тут же получил удар сверху ногой по голове.

— Васька, ставь ему еще фитиля! — улюлюкали со всех сторон.

Все, что долго сдерживал в себе Павел, прорвалось наружу, и, как всегда в такие моменты, стали стремительны и жестки движения.

— Что же вы, гады спекулянтское, издеваться думаете? — Подымаясь на руках, как на пружинах, Павел выбрался на вторую полку и с силой ударил кулаком по наглой роже Мотьки. Ударил с такой силой, что спекулянт свалился в проход на чьи-то головы.

— Слезайте с полки, гады, а то перестреляю, как собак! — бешено кричал Корчагин, размахивая наганом перед носами четверки.

Дело оборачивалось совсем по-другому. Рита внимательно наблюдала за всем, готовая стрелять в каждого, кто попытался бы схватить Корчагина. Верхняя полка быстро была очищена. «Блатная» башка поспешно эвакуировалась в соседнее отделение вагона.

Усадив Риту на свободной полке, он шепнул ей:

— Ты сиди здесь, а я разделаюсь с этими.

Рита остановила его:

— Неужели ты еще будешь драться?

— Нет, я сейчас вернусь, — успокоил он.

Окно опять было открыто, и Павел через него выбрался на перрон. Несколько минут спустя он уже был у стола перед УТЧК Бурмейстером — старым своим начальником. Латыш, выслушав его, отдал распоряжение выгрузить весь вагон, проверить у всех документы.

— Я же говорил, поезда подаются к посадке уже с мешочниками, — ворчал Бурмейстер.

Отряд, состоявший из десятка чекистов, выпотрашивал вагон. Павел по старой привычке помогал проверять весь поезд. Уйдя из ЧК, он не порвал связи со своими друзьями, а в бытность секретарем молодежного коллектива послал на работу в УТЧК немало лучших комсомольцев. Окончив проверку, Павел вернулся к Рите. Вагон наполнили новые пассажиры — командированные и красноармейцы.

На третьем ярусе в углу осталось лишь место для Риты, все остальное было завалено тюками газет.

— Ничего, как-нибудь поместимся, — сказала Рита.

Поезд двинулся.

За окном проплыла тетка, восседавшая на ворохе мешков.

— Манька, где мой бидон? — донесся ее крик.

Сидя в узеньком пространстве, отгороженные тюками от соседей, Рита и Павел уписывали за обе щеки хлеб с яблоками, весело вспоминая недавний не совсем веселый эпизод.

Медленно полз поезд. Перегруженные, расхлябанные вагоны, скрипя и потрескивая сухими кузовами, вздрагивали на стыках. Вечер глянул в вагон густой синевой. За ним ночь затянула чернотой открытые окна. Темно в вагоне.

Рита, утомленная, задремала, положив голову на сумку. Павел сидел на краю полки, свесив ноги, и курил. Он тоже устал, но негде было прилечь. Из окна веяло свежестью ночи. От толчка Рита проснулась. Она заметила огонек папироски Павла. «Он так до утра просидеть может. Ясно, не хочет меня стеснять», — подумала Рита.

— Товарищ Корчагин! Отбросьте буржуазные условности, ложитесь-ка вы отдыхать, — шутливо сказала она.

Павел лег рядом с ней и с наслаждением вытянул затекшие ноги.

— Завтра нам работы уйма. Спи, забияка. — Ее рука доверчиво обняла друга, и у самой щеки он почувствовал прикосновение ее волос.

Для него Рита была неприкосновенна. Это был его друг и товарищ по цели, его политрук, и все же она была женщиной. Он это впервые ощутил у моста, и вот почему его так волнует ее объятие. Павел чувствовал глубокое ровное дыхание, где-то сов-

сем близко ее губы. От близости родилось непреодолимое желание найти эти губы. Напрягая волю, подавил это желание.

Рита, как бы угадывая его чувства, в темноте улыбнулась. Она уже пережила и радость страсти, и ужас потери. Двум большевикам отдала она свою любовь. И обоих забрали у нее белогвардейские пули. Один — мужественный великан, комбриг, другой — юноша с ясными глазами.

Скоро перестук колес убаюкал Павла. Лишь утром его разбудил рев паровоза.

<...>

1932—1934

Иван Сергеевич ШМЕЛЕВ **1873—1950**

ЛЕТО ГОСПОДНЕ (Отрывок)

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

Завтра — Преображение, а послезавтра меня повезут куда-то к храму Христа Спасителя, в огромный розовый дом в саду, за чугунной решеткой, держать экзамен в гимназию, и я учу и учу «Священную историю» Афинского. «Завтра» — это только так говорят, а повезут годика через два-три, а говорят «завтра» потому, что экзамен всегда бывает на другой день после Спаса Преображения. Все у нас говорят, что главное — Закон Божий хорошо знать. Я его хорошо знаю, даже что на какой странице, но все-таки очень страшно, так страшно, что даже дух захватывает, как только вспомнишь. Горкин знает, что я боюсь. Одним топориком он вырезал мне недавно страшного «щелкуна», который грызет орехи. Он меня успокаивает. Поманит в холодок под доски, на кучу стружек, и начнет спрашивать из книжки. Читает он, пожалуй, хуже меня, но все почему-то знает, чего даже и я не знаю. «А ну-ка, — скажет, — Расскажи мне чего-нибудь из божественного...» Я ему расскажу, и он похвалит.

— Хорошо умеешь, — а выговаривает он на «о», как и все наши плотники, и от этого, что ли, делается мне покойней, — не боюсь, они тебя возьмут в училищу, ты все знаешь. А вот завтра у нас яблочный Спас... про него умеешь? Та-ак. А яблоки почему кропят? Вот и не так знаешь. Они тебя спросят, а ты и не скажешь. А сколько у нас Спасов? Вот и опять не так умеешь. Они тебя учнут спрашивать, а ты... Как так — у тебя не сказано? А ты хорошенько погляди, должно быть.

— Да нету же ничего... — говорю я, совсем расстроенный, — написано только, что святят яблоки!

— И кропят. А почему кропят? А-а! Они тебя спросят — ну, а сколько, скажут, у нас Спасов? А ты и не знаешь. Три Спаса. Первый Спас, — погибает он желтый от политуры палец, страшно расплющенный, — медовый Спас, Крест выносят. Значит, лету конец, мед можно выламывать, пчела не обижается... уж пошла-башила. Второй Спас, завтра который вот, — яблочный, Спас-Преображение, яблоки кропят. А почему? А вот. Адам-Ева согрешили, змей их яблоком обманул, а не велено было, от греха! А Христос восшел на гору и освятил. С того и стали оберегаться. А который до окропенья поест, у того в животе червь заведется и холера бывает. А как окроплено, то безо вреда. А третий Спас называется орешный, орехи поспели, после Успенья. У нас в селе крестный ход, икону Спаса носят и все орехи грызут. Бывало, батюшке собираем мешок орехов, а он нам лапши молочной — для розговин. Вот ты им и скажи, и возьмут в училищу.

Преображение Господне... Ласковый, тихий свет от него в душе — доньне. Должно быть, от утреннего сада, от светлого голубого неба, от ворохов соломы, от яблочков грушовки, хоронящихся в зелени, в которой уже желтеют отдельные листочки, — зелено-золотистый, мягкий. Ясный, голубоватый день, не жарко, август. Подсолнухи уже переросли заборы и выглядывают на улицу — не идет ли крестный ход? Скоро их шапки срежут и понесут под пенье на золотых хоругвях. Первое яблочко, грушовка в нашем саду, — поспела, покраснелась. Будем ее трясти — для завтра. Горкин утром еще сказал:

— После обеда на Болото с тобой поедем за яблоками.

Такая радость. Отец — староста у Казанской, уже распорядился:

— Вот что, Горкин... Возьмешь на Болоте у Крапивкина яблок мер пять-шесть, для прихожан и ребятам нашим, «бели», что ли...

да наблюдных, для освящения, покрасовитей, меру. Для причта еще меры две, почище каких. Протодьякону особо пошлем меру апортовых, покрупней он любит.

— Ондрей Максимыч земляк мне, на совесть даст. Ему и с Курска, и с Волги гонят. А чего для себя прикажете?

— Это я сам. Арбуз вот у него выбери на вырез, астраханский, сахарный.

— Орбузы у него... рассахарные всегда, с подтреском. Самому князю Долгорукому посылает! У него в лобазе золотой диплом висит на стенке под образом, каки орлы-то!.. На всю Москву гремит.

После обеда трясем грушовку. За хозяина — Горкин. Приказчик Василь Василич, хоть у него и стройки, а полчасаика выберет — прибежит. Допускают еще, из уважения, только старичка лавочника Трифону́ча. Плотников не пускают, но они забираются на доски и советуют, как трясти. В саду необыкновенно светло, золотисто: лето сухое, деревья поредели и подсохли, много подсолнухов по забору, кисло трещат кузнечики, и кажется, что и от этого треска исходит свет — золотистый, жаркий. Разросшаяся крапива и лопухи еще густеют сочно, и только под ними хмуро; а обдерганные кусты смородины так и блестят от света. Блестят и яблоньки — глянец ветвей и листьев, матовым лоском яблок, и вишни, совсем сквозные, залитые янтарным клеем. Горкин ведет к грушовке, сбрасывает картуз, жилетку, плюет в кулак.

— Погоди, стой... — говорит он, прикидывая глазом. — Я ее легким трясом, на первый сорт. Яблочко квелое у ней... ну, ма-ленько подшибем — ничего, лучше сочком пойдет... а силой не берись!

Он прилаживается и встряхивает, легким трясом. Падает первый сорт. Все кидаются в лопухи, в крапиву. Вязкий, вялый какой-то запах от лопухов и пронзительно-едкий — от крапивы мешаются со сладким духом, необычайно тонким, как где-то пролитые духи, — от яблок. Ползают все, даже грузный Василь Василич, у которого лопнула на спине жилетка, и видно розовую рубашу лодочкой; даже и толстый Трифону́ч, весь в муке. Все берут в горсть и нюхают: ааа... гру-шовка!..

Зажмуришься и вдыхаешь — такая радость! Такая свежесть, вливающаяся тонко-тонко, такая душистая сладость-крепость — со всеми запахами согретшегося сада, замятой травы, растрево-

женных теплых кустов черной смородины. Нежаркое уже солнце и нежное голубое небо, сияющее в ветвях, на яблочках...

И теперь еще, не в родной стране, когда встретишь невидное яблочко, похожее на грушовку запахом, зажмешь в ладони, зажмуришься — и в сладковатом и сочном духе вспомнится, как живое, — маленький сад, когда-то казавшийся огромным, лучший из всех садов, какие ни есть на свете, теперь без следа пропавший... с березками и рябиной, с яблоньками, с кустиками малины, черной, белой и красной смородины, крыжовника виноградного, с пышными лопухами и крапивой, далекий сад... — до погнутых гвоздей забора, до трещинки на вишне с затеками слюдяного блеска, с капельками янтарно-малинового клея, — все, до последнего яблочка, верхушки за золотым листочком, горящим, как золотое стеклышко!.. И двор увидишь, с великой лужей, уже повыхсохшей, с сухими колеями, с утрызшими кирпичиками, с досками, влипшими до дождей, с увязнувшей навсегда опоркой... и серые сараи, с шелковым лоском времени, с запахами смолы и дегтя, и вознесенную до амбарной крыши гору кулей пузатых, с овсом и солью, слежавшиеся в камень, с прильнувшими цепко голубями, со струйками золотого овсеца... и высокие штабеля досок, плачущие смолой на солнце, и трескучие пачки драни, и чурбачки, и стружки...

— Да пускай, Панкратыч!.. — оттирает плечом Василь Василич, засучив рукава рубахи, — ей-богу, на стройку надоть!..

— Да постой, голова елова... — не пускает Горкин, — побьешь, дурулом, яблочки...

Встряхивает и Василь Василич: словно налетает буря, шумит со свистом, — и сыплются дождем яблочки, по голове, на плечи. Орут плотники на досках: «Эт-та вот тря-ха-ну-ул, Василь Василич!» Трясет и Трифоныч, и опять Горкин, и еще раз Василь Василич, которого давно кличут. Трясу и я, поднятый до пустых ветвей.

— Эх, бывало, у нас трясли... зальешься! — вздыхает Василь Василич, застегивая на ходу жилетку, — да иду, черрт вас!..

— Черкается еще, елова голова... на таком деле... — строго говорит Горкин. — Эн еще где хоронятся! — оглядывает он макушку. — Да не стрясешь... воробьям на розговины пойдет, последышек.

Мы сидим в замаятой траве; пахнет последним летом, сухой горечью, яблочным свежим духом; блестят паутинки на крапи-

ве, льются-дрожат на яблоньках. Кажется мне, что дрожат они от сухого треска кузнечиков.

— Осенние-то песни!.. — говорит Горкин грустно. — Прощай, лето. Подошли Спасы — готовь запасы. У нас ласточки, бывало, на отлете... Надо бы обязательно на Покров домой съездить... да чего там, нет никого.

Сколько уж говорил — и никогда не съедит: привык к месту.

— В Павлове у нас яблока... пятак мера! — говорит Трифоныч. — А яблоко-то какое... па-влов-ское!

Меры три собрали. Несут на шесте в корзине, продев в ушки. Выпрашивают плотники, выклянчивают мальчишки, прыгая на одной ноге:

Крива-крива ручка,
Кто даст — тот князь,
Кто не даст — тот собачий глаз.
Собачий глаз! Собачий глаз!

Горкин отмахивается, лягается:

— Ма-хонькие, что ли... Приходи завтра к Казанской — дам и пару.

Запрягают в полук Кривую. Ее держат из уважения, но на Болото и она дотащит. Встряхивает до кишок на ямках, и это такое удовольствие! С нами огромные корзины, одна в другой. Едем мимо Казанской, крестимся. Едем по пустынной Якиманке, мимо розовой церкви Ивана Воина, мимо виднеющейся в переулке белой — Спаса в Наливках, мимо желтеющего в низочке Марона, мимо краснеющего далеко, за Полянским рынком, Григория Неокесарийского. И везде крестимся. Улица очень длинная, скучная, без лавок, жаркая. Дремлют дворники у ворот, раскинув ноги. И все дремлет: белые дома на солнце, пыльно-зеленые деревья, за заборчиками с гвоздями, сизые ряды тумбочек, похожих на голубые гречневички, бурые фонари, плетущиеся извозчики. Небо какое-то пыльное, — «от парева», — позевывая, говорит Горкин. Попадает толстый купец на извозчике, во всю пролетку, в ногах у него корзина с яблоками. Горкин кланяется ему почтительно.

— Староста Лощенов с Шаболовки, мясник. Жадный, три меры всего. А мы с тобой закупим боле десяти, на всю пятерку.

Вот и Канава, с застоявшейся радужной водою. За ней, над низкими крышами и садами, горит на солнце великий золотой купол Христа Спасителя. А вот и Болото, по низинке — великая площадь торго, каменные «ряды», дугами. Здесь торгуют железным ломом, ржавыми якорями и цепями, канатами, рогожей, овсом и солью, сушеными снетками, судаками, яблоками... Далеко слышен сладкий пестрый дух, золотится везде соломкой. Лежат на земле рогожи, зеленые холмики арбузов, на соломе разноцветные кучки яблока. Голубятся стайками голубки. Куда ни гляди — рогожа да солома.

— Бо-льшой нонче привоз, урожай на яблоки, — говорит Горкин, — поест яблочков Москва наша.

Мы проезжаем по лабазам, в яблочном сладком духе. Молодцы вспарывают тюки с соломой, золотится над ними пыль. Вот и лабаз Крапивкина.

— Горкину-Панкратычу! — дергает картузом Крапивкин, с седой бородой, широкий. — А я-то думал — пропал наш козел, а он вон он, седа борода!

Здороваются за руку. Крапивкин пьет чай на ящике. Медный зеленоватый чайник, толстый стакан граненый. Горкин отказывается вежливо: только пили, — хоть мы и не пили. Крапивкин не уступает: «Палка на палку — плохо, а чай на чай — Якиманская, качай!» Горкин усаживается на другом ящике, через щелки которого, в соломе, глядятся яблочки. «С яблочными духами чаек пьем!» — подмигивает Крапивкин и подает мне большую синюю сливу, треснувшую от спелости. Я осторожно ее сосу, а они попивают молча, изредка выдувая слово из блюдечка вместе с паром. Им подают еще чайник, они пьют долго и разговаривают как следует. Называют незнакомые имена, и очень им это интересно. А я сосу уже третью сливу и все осматриваюсь. Между рядками арбузов на соломенных жгутиках-виточках по полочкам, над покатыми ящичками с отборным персиком, с бордовыми щечками под пылью, над розовой, белой и синей сливой, между которыми сели дыньки, висит старый тяжелый образ в серебряном окладе, горит лампадка. Яблоки по всему лабазу, на соломе. От вязкого духа даже душно. А в заднюю дверь лабаза смотрят лошадиные головы — привезли ящики с машины. Наконец поднимаются от чая и идут к яблокам. Крапивкин указывает сорта: вот белый налив — «если глядеть на солнышко, как фонарик!» — вот ананасное-царское, красное, как кумач, вот анисовое монастырское, вот титовка, ар-

кад, боровинка, скрыжалель, коричневое, восковое, бель, ростовка-сладкая, горьковка.

— Наблюдных-то?.. показистей тебе надо... — задумывается Крапивкин. — Хозяину потрафить надо?.. Боровок крепонек еще, поповка не красовита...

— Да ты мне, Ондрей Максимыч, — ласково говорит Горкин, — покрасовитей каких, парадных. Павловку, что ли... или эту, вот как ее?

— Этой не-ту, — смеется Крапивкин, — а и есть, да тебе не съесты! Эй, открой, с Курска которые, за дорогу утомились, очень хороши будут...

— А вот поманежней будто, — нашаривает в соломе Горкин, — опорт, никак?..

— Выше сорт, чем апорт, называется — кампорт!

— Ссыпай меру. Архиерейские прямо... как раз на окропление.

— Глазок-то у тебя!.. В Успенский взяли. Самому протопопу соборному отцу Валентину доставляем, Анфи-те-ятрову! Проповеди знаменито говорит, слышал небось?

— Как не слышать... золотое слово!

Горкин набирает для народа бели и россыпи мер восемь. Берет и причту титовки, и апорту для протодьякона, и арбуз сахарный, «каких нет нигде». А я дышу и дышу этим сладким и липким духом. Кажется мне, что от рогожных тюков, с намазанными на них дегтем кривыми знаками, от новых еловых ящиков, от ворохов соломы — пахнет полями и деревней, машиной, шпалами, далекими садами. Вижу и радостные «китайские», щечки и хвостики их из щелок, вспоминаю их горечь-сладость, их сочный треск, и чувствую, как кислит во рту. Оставляем Кривую у лабаза и долго ходим по яблочному рынку. Горкин, поддев руки под казакин, похаживает хозяйчиком, трясет бородкой. Возьмет яблоко, понюхает, подержит, хотя больше не надо нам.

— Павловка, а? мелковата только?..

— Сама она, купец. Крупней не бывает нашей. Три гривенника полмеры.

— Ну что ты мне, елова голова, болясы точишь!.. Что я, не ярославский, что ли? У нас на Волге — гривенник такие.

— С нашей-то Волги версты до-лги! Я сам из-под Кинешмы.

И они начинают разговаривать, называют незнакомые имена, и им это очень интересно. Ловкач парень выбирает пяток приго-

жих и сует Горкину в карманы, а мне подает торчком на пальцах самое крупное. Горкин и у него покупает меру.

Пора домой, скоро ко всенощной. Солнце уже косится. Вдали золoteет темно выдвинувшийся над крышами купол Иван-Великого. Окна домов блистают нестерпимо, и от этого блеска, кажется, текут золотые речки, плаваются здесь, на площади, в соломе. Все нестерпимо блещет, и в блеске играют яблочки.

Едем полегоньку, с яблоками. Гляжу на яблоки, как подрагивают они от тряски. Смотрю на небо: такое оно спокойное, так бы и улетел в него.

Праздник Преображения Господня. Золотое и голубое утро, в холодочке. В церкви — не протолкаться. Я стою в загородке свечного ящика. Отец позвякивает серебрецом и медью, дает и дает свечи. Они текут и текут из ящичков изломившейся белой лентой, постукивают тонко-сухо, прыгают по плечам, над головами, идут к иконам — передаются — «Празднику»! Проплывают над головами узелочки — все яблоки, просвирки, яблоки. Наши корзины на амвоне, «обкадятся» — сказал мне Горкин. Он суетится в церкви, мелькает его борода. В спертom горячем воздухе пахнет нынче особенным — свежими яблоками. Они везде, даже на клиросе, присунуты даже на хоругвях. Необыкновенно весело — будто гости, и церковь — совсем не церковь. И все, кажется мне, только и думают об яблоках. И Господь здесь со всеми, и Он тоже думает об яблоках: Ему-то и принесли их — посмотри, Господи, какие! А Он посмотрит и скажет всем: «Ну и хорошо, и ешьте на здоровье, детки!» И будут есть уже совсем другие, не покупные, а церковные яблоки, святые. Это и есть — Преображение.

Приходит Горкин и говорит: «Пойдем, сейчас окропление самое начнется». В руках у него красный узелок — «своих». Отец все считает деньги, а мы идем. Ставят канунный столик. Золотой-голубой дячок несет огромное блюдо из серебра, красные на нем яблоки горою, что подошли из Курска. Кругом на полу корзинки и узелки. Горкин со сторожем тащат с амвона знакомые корзины, подвигают «под окропление, поближе». Все суетятся, весело, — совсем не церковь. Священники и дякон в необыкновенных ризах, которые называются «яблочные», — так говорит мне Горкин. Конечно, яблочные! По зеленой и голу-

бой парче, если взглядеться сбоку, золотятся в листьях крупные яблоки, и груши, и виноград, — зеленое, золотое, голубое: отливает. Когда из купола попадает солнечный луч на ризы, яблоки и груши оживают и становятся пышными, будто они навешаны. Священники освящают воду. Потом старший, в лиловой камиллавке, читает над нашими яблоками из Курска молитву о плодах и винограде — необыкновенно веселую молитву — и начинает окроплять яблоки. Так встряхивает кистью, что летят брызги, как серебро, сверкают и тут и там, отдельно кропит корзины для прихода, потом узелки, корзиночки... Идут ко кресту. Дьячки и Горкин суют всем в руки по яблочку и по два, как придется. Батюшка дает мне очень красивое из блюда, а знакомый дьякон, нарочно будто, три раза хлопает меня мокрой кистью по голове, и холодные струйки попадают мне за ворот. Все едят яблоки, такой хруст. Весело, как в гостях. Певчие даже жуют на клиросе. Плотники идут наши, знакомые мальчишки, и Горкин пропихивает их — живей проходи, не засты! Они кланчат: «Дай яблочка-то еще, Горкин... Мишке три дал!..» Дают и нищим на паперти. Народ редет. В церкви видны надавленные огрызочки, «сердечки». Горкин стоит у пустых корзин и вытирает платочком шею. Крестится на румяное яблоко, откусывает с хрустом — и морщится.

— С кваском... — говорит он, морщась и скосив глаз, и трясется его борода. — А приятно, ко времени-то, кропленное...

Вечером он находит меня у досок, на стружках. Я читаю «Священную историю».

— А ты не бось, ты теперь все знаешь. Они тебя спросят про Спас или, там, как-почему яблоко кропят, а ты им строгай и строгай... в училищу и впустят. Вот погляди вот!..

Он так покойно смотрит в мои глаза, так по-вечернему светло и золотисто-розовато на дворе от стружек, рогож и теса, так радостно отчего-то мне, что я схватываю охапку стружек, бросаю ее кверху, — и сыплется золотистый кудрявый дождь. И вдруг начинает во мне покалывать — от непонятной ли радости или от яблоков, без счета съеденных в этот день, — начинает покалывать щекотной болью. По мне пробегает дрожь, я принимаюсь безудержно смеяться, прыгать, и с этим смехом бьется во мне желанное — что в училище меня впустят, непременно впустят!

1934—1944

Борис Константинович ЗАЙЦЕВ 1881—1972

УЛИЦА СВЯТОГО НИКОЛАЯ

Образ юности отошедший, жизни шумной и вольной, ласковой сутолоки, любви, надежд, успехов и меланхолий, веселья и стремления — это ты, Арбат. По тебе снегом первым летят санки, и сквозь белый флер манны сыплющейся огневисто золотеют все витрины, окна разные Эйнемов, Реттере, Филипповых, и восседает Прага, сладостный магнит. В цветах и в музыке, бокалах и сиянье жемчугов, под звон ножей, тарелок веселится шумная Москва, ни о чем не гадающая, нынче живущая, завтра сходящая, полумиллионная, полубогемская, сытая и ветром подбитая, и талантливая и распушенная. Гремят и вьюги над Арбатом, яростно стуча по крышам, колотясь в двери облаками снега. Но сквозь мглу и вой метели невозбранно проплывает седенький извозчик в санках вытертых, на лошаденке Дмитровской, Звенигородской, как корабль нехитрый, но и верный. К Рождеству елки на Арбатской площади — зеленым лесом. Приезжают дамы в соболях; везут чиновники, тащит рабочий елочку на праздник детям. И, отбушевавши Новый год, в звонель шампанского, в гаме ли водочки с селедкой, входят в ледяной январь, бегут, краснея носом, с усами заиндевелыми, обдуваясь паром, — кто на службу, кто торговать, по банкам и конторам. Кто и по трактирам. Ночью же остро, хрупко-колюче горит Орион семизвездием, тайно прельщающим над кристаллом снегов.

Не навсегда! Не навсегда! Там февраль, там и март с теплым ветром, с буйным дыханием; весна, грязь и лужи, блеск, солнце, первый разрыв лазури над Арбатом, ведущим к югу, к Брянску, Киеву, Одессе. И поэт золотовласый, чуть прихрамывая, припадая на одну ногу, в черной шляпе художнической, бежит по тротуару, приветствуя весну и милых женщин. А поэт бирюзоглазый, улетающий и вечно проносящийся и в жизни, и в пространствах, точно облако белеющее, также пробегает по другому тротуару и приветствует лазурь, и ждет пришествия,

и изнывает от томлений по закатам огненно-златистым над Арбатом — там, в конце, где он спускается к Москве-реке, в ней утопая. Смутны, и волнующи, и обещаючи закаты эти! Чище, и хрустальнее, и дивно облегченнее те миры, что там рисуются, в фантазмах златоогненных.

А когда апрель настанет, то растают почки в многочисленных садах вокруг Арбата и зеленое благословение выльется — душистым, милым оперением. В старых тополях грачи выют гнезда. Голубым оком глянет весна, заблестит в крыльях пролеток, в лакированных штиблетах и в зеркальных окнах и в глазах веселых и воздушных. Мягко треплет ветерком — локоны девушек, бороды мужчин; смеется и перебегает по Арбату в блеске луж, в криках мальчишек, предлагающих фиалки.

Лето насыщает Арбат зноем и оцепенением. Маркизы магазинов никнут под огнем небесным. Налетает пыль — тучкой азиатской. И к вечеру Арбат замучен. Млеют служащие в магазинах; барышни обрадовались блузочкам своим легчайшим. Но нет поэтов — ни златоволосого, бегущего Арбатом слева, ни бирюзоглазого — Арбатом справа. Улетели, как и их друзья, как и те жители, что занимают целые квартиры в домах с лифтами, — кто на море, кто в деревню, кто на дачу. Врачи и адвокаты сладкогласные умчались за границу. «Ах, Карлсбад! Нет, Киссинген! Ну разве можно же сравнить!» И многих обитателей Арбата поразносят международные вагоны по углам богатой, сытой и самодовольно-крепкой бабушки Европы. Сапожники же, медники и парикмахеры, кондуктора трамваев, булочники, мясники и бакалейщики сидят все лето, душное ль, дождливое ль, все на своих насестах, не подозревая о Карлсбадах и об ожиреньях сердца. Священники звонят в церквях Арбата — Никола Плотник, Никола на Песках и Николай Явленный, — спокойные и важные, звоном малиновым, в ризах парчовых, вековых, венчавшие и хоронившие тузов, и знать, и бедноту. Привыкшие к молебнам, требам, к истовому пению и жизни истовой, замедленной в бездвижности, и с ожиреньем сердца.

Гудят колокола, поют хоры, гремит трамвай, звенит румын в летнем зале Праги пышноволобой. Солнце восходит, солнце заходит, звезды вонзаются и над Арбатом таинственный свой путь ведут. И жизнь прядет, и все как будто чинно, все так крепко, и серьезно, и зажиточно, благонамеренно. Строят дома —

сотни квартир с газом и электричеством; новые магазины — роскошь новая; новые мостовые, новый, не русский шик города. Льют свежий асфальт, и белят стены, и возятся, и пьют, и накопляют, ходят в церковь и венчаются, и любят, и умирают между трех обличий одного святителя — Николы Плотника, Николы на Песках и Николая Чудотворца. Зима, весна и лето, хлад и жар, и мленье и закаты — все себе равно или кажется таким.

II

Первые грозы, полумладенческие бури! Немотствовавший великан пытается сказать, выкрикивает и грозит и смутно встряхивается — впотьмах и наудачу. И пылают барские усадьбы, останавливаются дороги, и рабочие выходят с фабрик — демонстрации идут Арбатом. «Господа» банкеты собирают и изящно бреют русское самодержавие, между икрой и балыком, меж Эрмитажем и Прагою. Ах, конституция, парламент, Дума, новая Россия! А те, кто помоложе и попроще, кому до Эрмитажей далеко, торопятся, им некогда, все совершить бы завтра, всю бы жизнь вверх дном перевернуть. И митинги гудят, толпы чернеют, и кричат газеты об одном: вперед, вперед!

А там дружинники уже засновали по Арбату — и в папахах, и в фуражках; дворники, мальчишки помогают выворачивать столбы фонарные — для баррикад. Веселый рыцарь, Дон-Жуан и декадент, он же — издатель и спирт и мистик — собственно-ручно водружает красный флаг на баррикаде у Никольского; флаг — юбка женина. Большевики, эсеры, анархисты, и художники, и гимназисты, и студенты пробуют себя: вместо «Моравии», где пропивали по рублю на пиво и закуски, целятся из маузеров из-за поваленных трамваев и калиток, снятых с петель, опутанных проволокой телефонною. Седой и старенький извозчик, годы плетшийся Арбатом, обликом похожий на Св. Николая, затруднен теперь: от баррикады — лишь до баррикады. А там нужно санки перетаскивать. Да и под пулю угодишь как раз. Но все-таки он ездит, ровный и покойный, как патрон его, святой из Мирликии. Поэт златоволосый не сражается, но на словах громит, анафематствует жандармов, губернатора, властей — заочно и в лицо. Поэт бирюзоглазый ждет пришествия иной культуры, вспоенной громами бурь, кипением и массой. Но массе — еще рано. Еще сильно былое, крепок штык, тверда ше-

ренга. И в декабрьский день, морозный, заревом пылает Пресня под шрапнелями семеновцев. Бегут папахи. Спрятались и маузеры, и карабины. Москва затихла. Молодежь по тюрьмам, кое-кто погиб. Серо, туманно, пасмурно и на Арбате. Будто б окончился спектакль, где на шумели, наскандалили ребята, а в конце прогнали их. И вот — распутывают проволоку заграждений, чинят фонари, ездят патрули и гвардейцы офицеры, победители на нынче, пьянствуют по Метрополям, Прагам, Эрмитажам. Лавочки открылись на Арбате, магазины, снова свет и сутолока, веселье, блеск — одним забава — труд, забота для других. А седенький извозчик снова невозбранно проплывает по Арбату, снимает шапку у Николы Плотника, и крестится, и крестится на углу Серебряного, где Николай Явленный. Священники же рады, что все кончилось: опять привычное, все то же, вековое и непотрясаемое.

Положим, что есть Дума, что там говорят, и критикуют, и постановляют. Но ведь это *так*, все только *так*, для формы. Прежнее — все то же. И городской, и мирное служенье, и богатство треб, и пышность похорон. И лик Св. Николая в трех церквах все тот же — строгий и покойный лик.

И снова — строятся дома, фабрики, возрастают, везут зерно на вывоз и приходят в порты русские из дальних странствий корабли с товарами: как будто крепнет, богатеет Русь. Как будто процветает и Арбат. Не нынче завтра весь он будет вымощен гранитом, как в Европе; и кафе его сияют, и огромный дом воздвигнется на углу Калошина, с бронзовым рыцарем в нише. Рыцарь задумчив, задумчив рыцарь. И стало уже тесно в Праге — думают надстроить новое святилище — выводят стены. И как будто весело, благополучно. Бегают художники, писатели и декаденты, процветают и шумят по клубам, по эстрадам, маскарадам. Сколько лирики! И темной, светлой, тонкой, уснащенной и скользкой, нежной и летящей! Поэт золотовласый улетел в Париж изгнанником — за резкости о троне. Но другие мифотворствуют, и богоборствуют, и препираются, и лекции читают, а иные, как поэт бирюзоглазый, все чего-то ждут. Идет ли? Не идет ли? Начинают уставать, и хриплые рога услышал уже кто-то. Ах, да так ли все благополучно? Нет ли тлена легкого, но острого, под танцем жизни?

И повсюду, на Тверской и в Камергерском, на Воздвиженке и на Арбате, — смутный, соблазнительный и наглый, разлага-

ющий, дурманивший и за собой влекущий — над великой пустотой поднявшийся:

«Танго».

И пляшут его пары на Тверской, и на Воздвиженке, и на Арбате. Сумрак! Сладко утомление. Танго, танго! И ничего не надо. Ни страстей, ни действий и ни силы любви, ни долга и восторга творчества, бессмертия, свободы — сладкий плен полуразврата-полукрасоты.

III

Страшный час, час грозный. Смертный час — призыв. Куда? Вперед. Вперед, и в ногу, в ногу, и под барабан. Вперед. О, содрогнулась Русь, оделась в серую шинель и, смертно лоб перекрестивши, руки сжавши, тяжело в ряды стала, тяжело марширует сапогом тяжелым: раз-два, раз-два! А черно в сердце, и мила Москва, и горько — уходить. Идет Арбатом серый, крепкий строй; и на Угодника, что на углу Серебряного, взглянет ненароком проходящий, под винтовкой, ненароком перекрестится — и далее шагает. Раз-два, раз-два! Вот и Спасопесковский, с красным домом угловым, Никольский, где Никола Плотник, с позолоченной главой, за ним Смоленский, на углу толпа, и машут, слезы блестят; а там — дорожка ниже, ниже, на Москву-реку к вокзалу — голову клони, солдат. Уж дожидаются вагоны, паровозы, быстрые еще и аккуратные; там снова — бабий вой, крик и рыданье; и влекут тебя, во мгле слепой, на жертву. Велика твоя повинность родине.

Родина же притихла. И насупилась. И затрезвела даже. Пьет — из-под полы и удивляет старую Европу воздержанием. Надолго ли? Ну, там посмотрим. А пока — поблекли Праги, Метрополи, Эрмитажи и все блекнут, задыхаясь в худосочи. Голубки все реже мчатся по Тверской, Арбату. И все больше лазаретов — знак кровавого креста над ними, знак печали-милости — и чаще попадаются их вывески в укромных переулках вокруг Арбата. Старые хоромы, гнезда дворянские, видевшие Герценов и Хомяковых, наполняются людьми в халатах, с лицами серо-бледнеющими, и в повязках, и на костылях. Серый суп, смутность, дрема, бледная тень жизни бедной! Хочется ль чего? Нет. Жалко ли чего? Нет, тоже нет — и все как было и как будет — тихий затон в буре страшной.

Буря же бурлит. Яростны люди, свирепы пушки, пули бес-
счетны, и бессчетна смерть, в поле реющая — и в лесах, горах,
ущельях и окопах. Волна мрака накопилась, облака и тучи, гре-
мит, гремит бессмысленный Дракон, и пожирает, и других зовет;
калек, усталых и полуживых, на родину, посмеиваясь, направляет.
И идут полки вниз по Арбату, на Дорогомилово, а возвраща-
ются в вагонах санитарных, по трамвайной линии, из-за реки.

Сердобольные ж хлопочут дамы, посещают, навещают, раз-
влекают, музицируют и умиляются на «мощь героя серого». Се-
рый же герой еще покорен. Все еще вытягивается и козыряет
и безмолвно умирает на полях далеких, неизвестно за кого и за
что. Но еще крестится, на углу Серебряного, на древний образ
Николая Чудотворца, глядит еще почтительно на две иконы,
что под тротуаром, — святитель Николай, спасающий матроса
и освобождающий пленного в темнице. Слушает еще и всенощ-
ные, и обедни на полях Галиции, и в Польше, и под Ригой.

Но клонится к закату, внутренне склоняется, сгнивая, старое.
И бесподдержно, и вдруг, бесповоротно расплзается сам трон,
и нету больше древних генералов, губернаторов и полицеймей-
стеров, и гимна, и сурового орла монархии.

Все быль, сон былой — и новый сон уж начинается, пока лишь
многословно-легкомысленно-пустопорожний. Молчали долго —
и заговорили! Хочется сказать, и здесь и там, у памятника Скобе-
леву и под Пушкиным, и на Арбатской площади, и где угодно.
Все серые шинели, серые герои, и один лепечет за другим, все тем
же еще получленораздельным звуком, все о том же, о войне, сво-
боде, революции. О том же говорят, и так же длинно, но изящнее
и грамотнее, и бесконечные политики с Арбата, адвокаты, инже-
неры и военные, ныне страной правящие. О русские интеллиген-
ты, о слова, слова, прекраснодушие, приятность, барственность,
народолюбие! Сурова жизнь, и не приятна, и не прекраснодушна.
Но профессора, экономисты из соседних переулков, получившие
портфели министерские, гласные *свободной* Думы, из домовла-
дельцев и врачей, еще надеются на что-то, думают управиться
с героями в шинелях серых, воевать до одоления врага, и все то-
му подобное. Лишь более прозорливые, из богатых, денежки пер-
есчитав, проверив — утекают, кто в Японию, а кто на запад.

И вовремя, и вовремя! Ведь надоело словопрение, шатание,
незнание. И надоело жить в окопах, видеть смерть и ждать ее,

и надоело зрелище богатых рядом с бедными, и так отлично — прекратить все это, отобрать, что можно, поделить, с кем нужно, и, на белый свет провозгласивши братство всех трудящихся, из ничего стать всем. И вал растет, буря идет. Поделена земля, и допылали те усадьбы, что не тронуты двенадцать лет назад. Разведен скот, диваны вытащены, зеркала побиты, и повырублены кое-где сады. Библиотеки отпылали, сколько надо — в пламени ль пожаров, в мирных ли сигарках. И ты идешь домой, *серый герой*, трудно ведь на войне сидеть, когда в Рязанской, Тульской и Тамбовской, дома, *добро делят*. Ну-ка, господин буржуй, иди, кому угодно, под шрапнели, в мерзлые окопы, в вонь, ко вшам, на смерть? И облепились уже вагоны воинами без щитов, пустеет дикое и горестное поле бранное. Но вряд ли надоело драться. Драться — да не там, не так.

И ты увидел наконец, Арбат, опять войну — не детскую, как прежде, не задорно-шуточную, нет, но настоящую войну, братоубийственную, с треском пулеметов, с завыванием гранат. Туго пришлось тебе, твоим спокойным переулкам, выросшим на барственности, на библиотеках и культурах, на спокойной сытости, изящной жизни. Неделю ты прислушивался, как громили бомбами — ныне не Пресню уж, а самый Кремль. И за дверьми, за ставнями шептал: «Не может быть, нет, невозможно!»

Но пока шептал, уж новое пришло на твои камни, в серенькие дни ноябрьские, спустилось крепкой, цепкой лапой, облепило стены сотнями плакатов и декретов, выпустило новые слова, слуху несвычные, захватило банки, биржи, магазины, и твои, спокойный, либеральный и благополучный думец, сейфы и бриллианты.

Ты же протирал глаза, о обыватель, гражданин и пассажир международных *lux'ов*, посетитель вод, Карлсбадов, Киссингенов; ты, страдавший ожирением сердца, ощутил, что все заколебалось в смутном дьявольски-бесовском танце. Проносились новые автомобили, грузовые, полные людей вооруженных, тех же *серых все героев*; заработала машина смерти; заработала машина голода. И прежние подвальники, и медники, и вся мастеровщина, туго жизнью пригнетенная, из щелей выползала, из темных нор своих, и вверх задвигалась. «Попировали, и довольно! Нынче наш черед!»

Выходи, беднота, тьма, голь и нищенство, подымай голос, нынче твой день.

IV

В январе толпы *героев серых*, возвращающихся с брани. Ночью, отлипая смутными гурьбами от площадок, крыш вагонов, буферов тех поездов, что добирались кое-как до Брянского, хмурые и молчаливые, с котомками через плечо, валят они валом не-слабнувшим, в темноте Арбата, к площади. «Эй, товарищ, как к Рязанскому?» Все Русь и Русь. Рязань, Тамбов, Саратов, все спешат домой, подальше от окопов, смерти холодной, голода. Грязь, вши и мрак. Грязь, хлад в Москве, стон, вой и мерзость и в вагонах тех, куда спешат, стремятся на родину — в ту же мразь беспросветную. Арбатский житель, с ними повстречавшись, пожимается, карманы попридерживая, — впрочем, пусто в них, как и в желудке, — но сермягам и не до его карманов. Может быть покоен. А последнее пальтишко стащат с него в переулке, вежливо прикладывая дуло револьвера к уху. Ну что ж, давать так отдавать! Все равно нету ничего. Ни дров, ни хлеба, ни угла — скитайся, голь, святая бедность! И скитаются и мерзнут темной ночью, в сумраке пустынных ветров.

Но и утро занимается над городом. Пробрели все серые герои, при zakonчилиcь убийства, грабежи и казни — солнце продирается в туманах инея, в огнезлатистых пеленах, столбах жемчужно-радужных. Пар от всего валит, что дышит. Как много серебра, как дешево оно! И на усах, и на обмызганных воротниках пальтишек людей жизни новой. Люди новой, братской жизни, парами и в одиночку, вереницами, как мизерабли долин адских, бегут на службу, в реквизированные особняки, где среди тьмы бумаг, в стукотне машинок, среди брито-сытых лиц начальства в куртках кожаных и френчах, будут создавать величие и благоденствие страны. Вперед, вперед! К светлому будущему! Братство народов, равенство, счастье всесветное. А пока что все ворчат. И все как будто ненавидят ближнего. Тесно уж на тротуарах, идут улицей. Толкаются, бранятся. Барышня везет на саночках поклажу. Малый со старухой, задыхаясь, тащит на веревке толстое бревно, откуда-то слимоненное. А магазины, запертые сплошь, уныло мерзнут промороженными стеклами. И лишь «Закрытые распределители» привлекают очереди мизераблей дрогнувших — за полуфунтом хлеба. Да обнаженные витрины двух иль трех советских лавок выставляют пустоту свою. Но не задумывайся, не заглядывайся на ничто: как раз в морозной

мгле ты угодишь под серо-хлюпающий, грузный грузовик с торчащими на нем солдатами, верхом на кипах, на тюках материи или на штанах, сотнями сложенных. А может задавить автомобиль еще иной — легкий, изящный. В нем, конечно, комиссар — от военно-бритых, гениальных полководцев и стратегов, через товарищей из слесарей, до спецов, совнархозов — эти буржуазней и покойней. Но у всех летящих общее в лице: как важно! как велико! И сиянье славы и самодовольства освещает весь Арбат. Проезжают и на лошадях. Солдат на козлах или личность темная, неясная. В санях, за полостью — или второстепенный спец, или товарищ мастеровой, но тоже второстепенный, в ушастой шапке, вывороченной мехом куртке. Это начальство едет заседать, решать, вязать. С утра весь день будут носиться по Арбату резвые автомобили, снеговую пыль взрывая и гудя. Чтоб не было для них ухабов, обыватель, илот робкий, разгребает и вывозит снег. Барышни стучат лопатами; гимназисты везут санки. И солидные буржуи, отдуваясь, чистят тротуар. Профессора, семьями тусклыми, везут свои пайки в салазках; женщины бредут с мешками за плечами — путешественницы за картофелем, морковью. В переулках близ Смоленского торгуют молоком, дровами, яйцами. Мальчишки выкликают: «Папиросы рассыпные. Реже, Ява, Ира!» И краснощекие красноармейцы, молодые люди в галифе, бритосытые, с красной пентограммой на фуражках, отбирают себе Иру. Полусумасшедшая старуха, в рваной кофте и матерчатых полусапожках, широко расставив ноги, бредет с палкой и бессмысленно бормочет: «Помогите! Помогите!» — и протягивает руку. Старый человек, спокойный, важный, полузамерзающий, в очках, сидит на выступе окна и продает конверты — близ Никольского. А у Николы Чудотворца, под иконой его, что смотрит на Арбат, в черных наушниках и пальто старовоенном, с золотыми пуговицами, пристроился полковник, с седенькими, тупо заслезившимися глазками, побелевшим носом, и неукоснительно твердит: «Подайте полковому командиру!» Рыцарь задумчивый, задумчивый рыцарь с высот дома в Калошином, вниз глядит, на кипение, бедный и горький бег жизни на улице и цепенеет, в седой изморози, на высоте своей. А внизу фуры едут, грузовики с мебелью. Столы, кровати, умывальники; зеркала нежно и небесно отблескивают, покачиваясь на толчках. Люди в ушастых шапках, в солдатских шинелях, в куртках кожаных

въезжают и выезжают, из одних домов увозят, а в другие ввозят, вселяют, выселяют, все перерывая, вороша жизнь старую. Туго старой жизни; притаилась в тихих переулках, думает, гадает, выселяется и тащит на Смоленский кружева, браслеты, чашки, шали, юбки, мундштуки, подсвечники и кольца и спускает мужичкам, красноармейцам, спекулянтам, чтобы купить проклятой пшеники, радости советской. И все ждет и надеется: «Ну, теперь уж близко!», «Слышали, — ведь заговор. Нет-с, когда и среди них пошли раздоры, это агония!». Но от разговоров не слабей морозы, не дешевле дрова краденые — и дороже пшеника.

И теперь узнал поэт золотовласый, что есть печка дымная, что есть работа в одной комнате с женой и дочкой, что есть пуд картошки мерзлой, на себе тащимой с Курского вокзала. Но все так же, не теряя жизненности, силы и веселья, пробегает он по правой стороне Арбата, ловя взоры девушек. По левой же — все так же пролетает и поэт бирюзоглазый, сильно поседевший, в пальто рваном и шапчонке тертой — он спешит на лекцию, на семинарий, в пролеткульт и пролетдрам, политотдел и наробраз и в словах новых будет поучать людей новейшим, старым откровениям писаний.

Так идет, скрипит, стонет и ухаает, гудит автомобилями, лущится семечками, отравляется денатуратом, выселяется и арестуется, жиреет и околевает с голоду жизнь на улице-долине, в улице, ведущей от Николы Плотника к Николе на Песках и далее к Николаю Явленному. Средь горечи ее, стонов отчаяния, средь крови, крика, низости, среди порывов, деятельности, силы и ничтожества, среди всех образов и человека, и животного — всегда, в субботний день пред вечером, в воскресный — утром, гудят спокойные и важные колокола Троиخ Никол, вливаясь в сорок сороков церквей Москвы. На зов их собирается различный люд. И старый, и молодой, и бедный, и богатый. Из холодающих углов идут старухи, чья судьба недолга; из уплотненных, некогда покоев важных — фрейлины, аристократки. Лавочники лысые, и мелкие служащие, и девушки, какие-то из скромных — может быть, из тех, что надрывались днем, таща бревно, работая на кухне, добывая пшенику. Интеллигент русский, давняя Голгофа родины, человек невидный и несильный, перекрестит лоб. И матери, и сестры, и невесты, что оплакивают ближних, пожранных свирепой жизнью. Наконец, даже

и ты, солдат-красноармеец, воин новой жизни. Все сюда собрались, все равны здесь, равенством страдания, задумчивости, равенством любви к великому и запредельному, общего стояния пред Богом.

Служат старые священники. Есть, впрочем, также молодые, но иные уж, чем раньше; все иное. Все попроще, побледней и будто строже. Будто многое отмылось, вековое, цепеневшее. И будто бы Никола сам, помощник страждущим, ближе сошел в жизнь страшную.

Колокола звонят. Свечи теплятся. Ризы сияют на иконах, хор поет. Любовь, спокойный, светлый мир зовет. «Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененные, и Аз упокою Вы». И снова, и снова, как Рахиль древняя, как Мария Матерь Господа, оmyвает мать слезами постаревшее свое лицо, мать над сыновним трупом, над женихом невеста и сестра над братом. И сердца усталые, души, в огне мятущиеся, души, грехом палимые, изнемогшие под грузом убиенных, — все идут сюда, быть может, и палач и жертва, и придут, доколе живо сердце человеческое.

Хор поет призывно: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Девушки в платочках беленьких, как сестры милосердия, прислуживают при служении.

V

Образ юности отошедшей, жизни шумной и вольной, ласковой сутолоки, любви, надежд, успехов и меланхолий, веселья и стремленья — это ты, Арбат. Ты и шумел и веселился, богател и беззаботничал — ты поплатился. По тебе прошли метели страшные, размыли тебя и замертвили, выели все тротуары твои, омрачили, холоду нагнали по домам, тифом, холодом, голодом, казнями пронеслись по жителям твоим и многих разметали вдаль. Залетел опять, как некогда, поэт золотовласый в чуждые края; умчался и поэт бирюзоглазый к иностранцам. Многие поумирали. А кто выжил, кто остался, те узнали, жизнь, грозный и свирепый лик твой. Из детей стали мужами. Окрепили, закалились, поседел. Нечего уж больше веселиться и мечтать, меланхоличничать. Борис, отстаивай свой дом, семью, детей. Вези паек, тащи салазки, разгребай сугробы и коли дрова, но не сдавайся, русский, гражданин Арбата. Много нагрешил ты, заплатил недешево. Но такова жизнь. И не стоит на месте. Налетела буря, пронеслась,

карая, взвешивая, встряхивая, — стала тихнуть. Утомились воевать и ненавидеть; начал силу забирать обычный день — атомная пружина человечества. Снова стал ты изменяться, сам Арбат. И с удивлением взирает рыцарь в латах, рыцарь задумчивый с высот Калошина, что человек опять закопошился за витринами магазинов и за дверками лавчонок, мастерских; что возится и чинит плотник, и стекольщик заменяет пулями пробитый бём на новый, и старательно расписывает живописец вывеску над булочной. Вновь толпа нарядней. Вновь стремятся женщины к одеждам, а мужчины к деньгам. Вновь по вечерам кафе сияют, и из книжных магазинов книги смотрят, и извозчики спуют. Блестит Арбат, как полагается, по вечерам. И тот же Орион, семизвездием тайнопрельщающим, ведет свой путь загадочный в пустынях неба, над печально-бурной суетою людей.

А ты живешь в жизни новейшей, вновь беспощадной, среди богатых и бедных, даровитых и бездарных, неудачников, счастливых. Не забывай уроков. Будь спокоен, скромн, сдержан. Призывай любовь и кротость, столь безмерно изгнанных, столь поруганных. Слушай звон колоколов Арбата. В горестях, скорбях суровых, пей вино благодати, опьянения духовного, и да будет для тебя оно острее и слаще едких слез. Слезы же приими. Плачь с плачущими. Замерзай с замерзшими и голодай с голодными. Но не гаси себя и не сдавайся плену мелкой жизни, мелкого стяжательства ты, русский, гражданин Арбата.

И Никола Милостивый, тихий и простой святитель, покровитель страждущих, друг бедных и заступник беззаступных, распростерший над твоею улицей три креста своих, три алтаря своих, благословит путь твой и в метель жизненную проведет. Так расцветет мой дом, но не заглохнет.

А старенький, седой извозчик, именем Микола, проезжавший некогда на санках по Арбату на клячонке Дмитровской, тот немудрящий старичок, что ездил при царе и через баррикады, не бояся пуль, и лишь замолк на время — он уж едет снова от Дорогомилова к Большому Афанасьевскому.

Георгий Владимирович ИВАНОВ
1894—1958

В ветвях олеандровых трель соловья.
Калитка захлопнулась с жалобным стуком.
Луна закатилась за тучи. А я
Кончаю земное хождение по мукам,

Хождение по мукам, что видел во сне, —
С изгнанием, любовью к тебе и грехами.
Но я не забыл, что обещано мне
Воскреснуть. Вернуться в Россию — стихами.

За столько лет такого маянья
По городам чужой земли
Есть от чего прийти в отчаянье,
И мы в отчаянье пришли.

В отчаянье, в приют последний,
Как будто мы пришли зимой
С вечерни в церковке соседней,
По снегу русскому, домой.

Борис Юлианович ПОПЛАВСКИЙ
1903—1935

Георгию Иванову

В холодных душах свет зари,

Пустые вечера.

А на бульварах газ горит,

Весна с садами говорит.

Был снег вчера.

Поет сирень за камнем стен,

Весна горит.

А вдалеке призыв сирен,

Там, пролетая сквозь сирень,

Автомобиль грустит.

Застава в розовом огне

Над теплою рекой.

Деревня вся еще во сне.

Сияет церковь на холме.

Подать рукой.

Душа, тебе навек блуждать

Средь вешних выюг,

В пустом предместьи утра ждать,

Где в розовом огне года

Плывут на юг.

Там соловей в саду поет,

Клонит ко сну.

Душа, тебя весна зовет,

Смеясь, вступи на тонкий лед,

Пойди ко дну.

Сирени выпал легкий снег

В прекрасный час.

Огромный ангел на холме

В холодном розовом огне

Устал, погас.

Георгий Викторович АДАМОВИЧ 1892—1972

* * *

Когда мы в Россию вернемся... о, Гамлет восточный, когда? —
Пешком, по размытым дорогам, в стоградусные холода,
Без всяких коней и триумфов, без всяких там кликов, пешком,
Но только наверное знать бы, что вовремя мы добредем.

Больница. Когда мы в Россию... колышется счастье в бреду.
Как будто «Коль славен» играют в каком-то приморском саду,
Как будто сквозь белые стены, в морозной предутренней мгле
Колышутся тонкие свечи в морозном и спящем Кремле.

Когда мы... довольно, довольно! Он болен, измучен и наг.
Над нами трехцветным позором полощется нищенский флаг,

И слишком здесь пахнет эфиром, и душно, и слишком тепло.
Когда мы в Россию вернемся... но снегом ее замело.

Пора собираться. Светает. Пора бы и двигаться в путь.
Две медных монеты на веки. Скрещенные руки на грудь.

Вопросы и задания

1. Каким общим пафосом окрашена советская поэзия 30-х годов? Как соотносятся в ней героико-патриотическое, любовное и лирико-исповедальное начала?

2. В чем заключалась притягательность песенной лирики М. Светлова, М. Исаковского и других поэтов для массового читателя и слушателя?

3. Как в романе Н. Островского «Как закалялась сталь» решается проблема положительного героя эпохи? Что доминирует в характере Павла Корчагина? Проиллюстрируйте приведенными отрывками из романа знаменитый корчагинский монолог: «Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое <...> И надо спешить

жить. Ведь нелепая болезнь или какая-нибудь трагическая случайность могут прервать ее».

4. Как в прозе И. Шмелева и Б. Зайцева воссоздается образ «утраченной» России?

5. Что составляет основу авторской позиции и авторского идеала в романе И. Шмелева «Лето Господне» и рассказа Б. Зайцева «Улица Святого Николая»? Что сближает их с прозой И. Бунина и с предшествующей реалистической традицией?

6. Что внесла в литературу XX века «парижская нота» русской поэзии 30-х годов? Вписывается ли лирика Г. Иванова, Б. Поплавского, Г. Адамовича в «серебряный век» русской поэзии? Какие средства выбирает каждый из поэтов для передачи трагического состояния «расколотой лиры» — поэзии русской эмиграции? (См. раздел учебника «Литературный процесс 30–40-х годов».)

Осип Эмильевич МАНДЕЛЬШТАМ
1891—1938

NOTRE DAME

Где римский судия судил чужой народ,
Стоит базилика, — и, радостный и первый,
Как некогда Адам, распластывая нервы,
Играет мышцами крестовый легкий свод.

Но выдает себя снаружи тайный план:
Здесь позаботилась подпружных арок сила,
Чтоб масса грузная стены не сокрушила,
И свода дерзкого бездействует таран.

Стихийный лабиринт, непостижимый лес,
Души готической рассудочная пропасть,
Египетская мощь и христианства робость,
С тростинкой рядом — дуб, и всюду царь — отвес.

Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные ребра,
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам...

1912

Заснула чернь! Зияет площадь аркой.
Лунной облита бронзовая дверь.
Здесь арлекин вздыхал о славе яркой,
И Александра здесь замучил зверь.

Курантов бой и тени государей...
Россия, ты, на камне и крови,
Участвовать в своей последней каре
Хоть тяжестью меня благослови!

1913

АДМИРАЛТЕЙСТВО

В столице северной томится пыльный тополь,
Запутался в листве прозрачный циферблат,
И в темной зелени фрегат или акрополь
Сияет издали — воде и небу брат.

Ладья воздушная и мачта-недотрога,
Служа линейкою преемникам Петра,
Он учит: красота — не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра.

Нам четырех стихий приязненно господство,
Но создал пятую свободный человек:
Не отрицает ли пространства превосходство
Сей целомудренно построенный ковчег?

Сердито лепятся капризные медузы,
Как плуги брошены, ржавеют якоря;
И вот разорваны трех измерений узы
И открываются всемирные моря!

1913

* * *

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладю когда-то поднялся.

Как журавлиный клин в чужие рубежи —
На головах царей божественная пена —
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?

И море, и Гомер — всё движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

1915

На розвальнях, уложенных соломой,
Едва прикрытые рогожей роковой,
От Воробьевых гор до церкви знакомой
Мы ехали огромною Москвой.

А в Угличе играют дети в бабки,
И пахнет хлеб, оставленный в печи.
По улицам меня везут без шапки,
И теплятся в часовне три свечи.

Не три свечи горели, а три встречи —
Одну из них сам Бог благословил,
Четвертой не бывать, а Рим далече, —
И никогда он Рима не любил.

Ныряли сани в черные ухабы,
И возвращался с гульбища народ.
Худые мужики и злые бабы
Переминались у ворот.

Сырая даль от птичьих стай чернела,
И связанные руки затекли;
Царевича везут, немеет страшно тело —
И рыжую солому подожгли.

1916

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда — так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей!

Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург! я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.

Петербург! у меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

1930

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей, —
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей —
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей...

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе;
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе, —

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.

1931, конец 1935

БАТЮШКОВ

Словно гуляка с волшебною тростью,
Батюшков нежный со мною живет.
Он тополями шагает в Замостье,
Нюхает розу и Дафну поет.

Ни на минуту не веря в разлуку,
Кажется, я поклонился ему:
В светлой перчатке холодную руку
Я с лихорадочной завистью жму.

Он усмехнулся. Я молвил: спасибо.
И не нашел от смущения слов:
Ни у кого — этих звуков изгибы...
И никогда — этот говор валов...

Наше мученье и наше богатство,
Косноязычный, с собой он принес
Шум стихотворства и колокол братства
И гармонический проливень слез.

И отвечал мне оплакавший Тасса:
Я к величаньям еще не привык;
Только стихов виноградное мясо
Мне освежило случайно язык...

Что ж! Поднимай удивленные брови
Ты, горожанин и друг горожан,
Вечные сны, как образчики крови,
Переливай из стакана в стакан...

1932

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подковы, кует за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него — то малина
И широкая грудь осетина.

1933

Мастерица виноватых взоров,
Маленьких держательница плеч, —
Усмирен мужской опасный норов,
Не звучит утопленница-речь.

Ходят рыбы, рдея плавниками,
Раздувая жабры. На, возьми
Их, бесшумно окающих ртами,
Полухлебом плоти накорми.

Мы не рыбы красно-золотые,
Наш обычай сестринский таков:
В теплом теле ребрышки худые
И напрасный влажный блеск зрачков.

Взмахом бровки мечен путь опасный.
Что же мне, как янычару, люб
Этот крошечный, летуче-красный,
Этот жалкий полумесяц губ...

Не серчай, турчанка дорогая,
Я с тобой в глухой мешок зашьюсь,
Твои речи темные глотаю,
За тебя кривой воды напьюсь.

Ты, Мария, — гибнущим подмога.
Надо смерть предупредить, уснуть.
Я стою у твердого порога.
Уходи. Уйди. Еще побудь...

1934

Вопросы и задания

1. Какое образное воплощение получает мандельштамовская «формула поэзии» в стихотворениях «Notre Dame» и «Батюшков»? Какова роль метафоры в поэтике О. Мандельштама? Найдите связь между содержанием указанных стихотворений и следующим утверждением поэта: «Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещьность, милое тело».

2. С помощью каких средств изображается диалог времен и культур в лирике О. Мандельштама («Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «На розвальнях, уложенных соломой...»)? Докажите, опираясь на содержание указанных стихотворений, тезис О. Мандельштама о том, что «поэт не боится повторений и легко пьянеет классическим вином».

3. Как эволюционирует «петербургская» тема в лирике О. Мандельштама разных лет («Адмиралтейство», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...»)? Что составляет контраст в образно-метафорической обрисовке дореволюционного Петербурга и Петербурга-Ленинграда? В чем содержание стихотворения «Я вернулся в мой город...» перекликается с ахматовским «Реквиемом»?

4. Как в стихотворениях разных лет явлен трудный диалог поэта с Россией, противостояние личности и государства? Что противопоставляет Мандельштам-художник безжалостному «веку-волкодаву»?

5. В чем художественное своеобразие стихотворения «Мастерица виноватых взоров...», названного А. Ахматовой «лучшим любовным стихотворением XX века»? Как проявляется в нем самобытность, неповторимость творческого «я» поэта? (См. статью учебника «Равенство души и глагола — вот поэт...», раздел «Литературный процесс 30–40-х годов».)

Алексей Николаевич ТОЛСТОЙ
1882—1945

ДЕНЬ ПЕТРА

В темной и низкой комнате был слышен храп, густой, трудный, с присвистами, с клокотанием.

Пахло табаком, винным перегаром и жарко натопленной печью.

Внезапно храпевший стал забирать ниже, хрипче и оборвал; зачмокал губами, заборотал, и начался кашель, табачный, перепойный; откашлявшись, плюнул, и на заскрипевшей кровати сел человек.

В едва забрезжившем утреннем свете, сквозь длинное и узкое окошко с частым переплетом, можно было рассмотреть обрюзгшее, большое лицо в колпаке, пряди темных сальных волос и мягкую рубаху, растянутую на груди.

Потирая потную грудь, сидящий зевнул; пошарив туфли, сунул в них ноги и обернул голову к изразцовой, далеко выдвинутой вперед, огромной печи. На лежанке ее ворочался, почесываясь во сне, солдат в сюртуке, в больших сапогах. Неспешно сидящий позвал густым басом:

— Мишка!

И солдата точно сдунуло с лежанки. Не успев еще разлепить веки, он уже стоял перед кроватью. Качнулся было, но, дернув носом, вытянулся, выпятил грудь, подобрал губы.

— Долго на рожу твою мне смотреть, сукин сын, — тем же неспешным баском проговорил сидящий. Мишка сделал полный оборот и, выбрасывая по-фронтовому ноги, вышел. И сейчас же за дверью, сквозь которую проник на минуту желтый свет свечей, зашептало несколько голосов.

Сидящий натянул штаны, шерстяные, пахнущие потом чулки, кряхтя поднялся, застегнул на животе вязаный жилет красной шерсти, вздел в рукава байковую коричневую куртку, швырнул колпак на постель, пригладил пальцами темные волосы и подошел к двери, ступая косолапо и тяжело.

В комнате соседней, более высокой и просторной, с дубовыми балками на потолке, с обшитыми свежим дубом стенами, с небольшим и тяжелым столом, заваленным бумагами, свитками карт, инструментами, отливками железа, чугуна, меди, засыпанным табаком и прожженным, с глобусом и подозрительной трубой в углах, с книгами, переплетенными в телячью кожу и валяющимися повсюду, — на подоконнике, стульях и полу, — в рабочем этом кабинете царя Петра, где ярко пылала изразцовая печь, стояло семь человек. Одни в военных зеленых сюртуках, жмущих под мышками, другие — в бархатных камзолах. И сюртуки и камзолы, неряшливые, залитые вином, топорщились, сидели мешками. Огромные парики были всклокочены, надеты, как шапки, — криво, из-под черных бровок торчали собственные волосы — рыжеватые, русые, славянские. В свете сырого утра и наплывших светил лица придворных казались зеленоватыми, обрюзгшими, с резкими морщинами — следами бессонных ночей и водки.

Дверь распахнулась, вошел Петр, и перед ним склонилось низко семь париков. Кивнув, он сел у стола, резко сдвинул в сторону бумаги, опростав для руки место, забарабанил пальцами, и на присутствующих уставились круглые его черные глаза, словно горевшие безумием.

Такова была его манера смотреть. Взгляд впитывал, постигал, проникал пронзительно, мог быть насмешливым, издевательским, гневным. Упаси Бог стоять перед разгневанным его взором! Говорят, курфюрстина Евгения опрокинулась в обморок, когда Петр, громко, всем на смущение, чавкая в Берлине за ужином гусиный фарш, глянул внезапно и быстро ей в зрачки. Но еще никто никогда не видел взора его спокойным и тихим, отражающим дно души. И народ, хорошо помнивший в Москве его глаза, говорил, что Петр — антихрист, не человек.

Васька-денщик, дворянский сын Сукин, принес на подносе водки, огурцов и хлеб. Петр принял заскоруждыми пальцами стакан, медленно выпил водку, вытер губы ладонью и стал грызть огурец.

Это был его завтрак. Морщины на лбу разошлись, и рот, красивый, но обезображенный постоянным усилием сдержать гримасу, усмехнулся. Петр сильно втянул воздух через ноздри и стал набивать канупер в почерневшую трубочку. Денщик подал фитиль. Захрипев чубуком, Петр сказал:

— Поди разбуди, выпусти, — и подал ключ от шкафов, куда забирались на ночь остальные три денщика.

Шкафы эти устроены были недавно, после того как обнаружилось, что, несмотря на угрозы и битье, денщики удирают через слуховое окошко к «девушкам сверху» — фрейлинам.

Затем царь прищурился, сморщился и с гримасой проговорил:

— Светлейший князь Меншиков, чай, со вчерашнего дебоширства да поминания Ивашки Хмельницкого головой гораздо оглупел. Поди, поди. Послушаем, как ты врешь с перепоем.

Потянув со стола листы с цифрами, он выпустил густой клуб дыма в длинное, перекошенное страхом лицо светлейшего. Но улыбка обманула. Крупный пот выступил на высоком, побагровевшем от гнева лбу Петра. Присутствующие опустили глаза. Не дышали. Господи, пронеси!

— Селитры на сорок рублей, шесть алтын и две деньги. Где селитра? — спрашивал Петр. — Овес, по алтыну четыре деньги, двенадцать тысяч мер. Где овес? Деньги здесь, а овес где?

— Во Пскове, на боярском подворье, в кулях по сей день, — пробормотал светлейший.

— Врешь!

Храни Никола кого-нибудь шевельнуться! Голову Петра пригнуло к плечу. Рот, щеку, даже глаз перекосило. Князь неосмотрительно, охраняя холеное свое лицо, норовил повернуться спиной, хоть плечиком, но не успел: сорвавшись со стола, огромный царский кулак ударил ему в рот, разбил губы, и из сладких глаз светлейшего брызнувшие слезы смешались с кровью. Он дрожал, не вытираясь. И у всех отлегло от сердца. Толстой завертел даже табакерку в костлявых пальцах. Шаховской издал некий звук губами. Грозу пронесло пустяком.

Так началось утро, обычный, буднийшний питербурхский денек.

А дела было много. Покончить с воровскими счетами князя Меншикова; написать в Москву его величеству князю-кесарю Ромодановскому, чтобы гнал из Орла, Тулы и Галича в Питербурх плотников и дроворубов, «понеже прибывшие в феврале людишки все перемерли, и гнать паче всего молодых, чтобы на живот и ноги не ссылались, не мерли напрасно»; да написать в Лодийное Поле, «что на недели сам буду на верфи»; да написать

в Варшаву Долгорукому, да в Ревель купцу Якову Дилу, чтобы прислал полпива доброго дюжины три, да чесноку связку, да шпикку. Окончив занятия, письма, приказы регламент — ехать надо на новую верфь, где строится двухпалубный линейный корабль; побывать на пушечном заводе и на канатном; завернуть по пути к сапожнику Матеусу, окрестить дочь, выпить чарку перцовой, закусив пирогом с морковью, сунуть под подушку роженице-куме рубль серебром; избить до смерти дьяка-вора на соляной заставе; походить по постройкам на набережных и на острове; в двенадцать часов — обед, и сон — до трех; отдохнув, ехать в Тайную канцелярию, где Толстой Петр Андреевич, Ушаков да Писарев допытывают с пристрастием слово и дело государево. А вечером — ассамблея по царскому приказу. «Быть всем, скакать под музыку вольно, пить и курить табак, а буди кто не явится — царский гнев лютый».

Дела было много.

Сырой ветер гнал сильный туман с моря; шумел поредевший ельник на Васильевских болотах; гнулись высокие сосны, кое-где еще торчавшие по городу; сдувало гнилую солому с изб и клетей, завывало в холодных печных трубах, хлопало дверями: много в то время пустело домов, потому что народ мер до последней степени от язвы, туманов и голода. Лихое, невеселое было житье в Питербурхе.

Вздувшаяся река была в бревенчатые набережные; качались, трескали крутобокие барки; снег и косой дождь наплухивал целые озера на площадях и улицах, где для проезда брошены были поперек бревна, доски, чурбаны.

На черном пожарище выгоревшего в прошлый четверг гостиного двора, что на Троицкой площади, торчали четыре виселицы, и ветер раскачивал в тумане четырех воров, повешенных здесь на боязнь и великое страхование впредь. По берегам реки, вдоль Невской перспективы, уже обсаженной с обеих сторон чахлыми деревцами, стучали топоры, тянулись тачки с песком, тележки с известью, булыжником, кирпичами. В грязи, в желтом тумане, на забиваемых в болотный ил сваях возникали каждый день все новые амбары, длинные бараки, гошпитали, частные дома переселяемых бояр. Понемногу все меньше становилось мазаных, из ивняка и глины, избенок, где еще недавно жили Головин, Остерман, Шафиров. Только проворный светлейший уже давно успел выкатить себе деревянные пала-

ты с башней, как у кирки, и присматривал местечко для каменного дворца.

Многие тысячи народа, со всех концов России — все языки, — трудились день и ночь над постройкой города. Наводнения смывали работу, опустошал ее пожар; голод и язва косили народ, и снова тянулись по топким дорогам, по лесным тропам партии каменщиков, дроворубов, бочкарей, кожемяк. Иных ковали в железо, чтобы не разбежались, иных засекали насмерть у верстовых столбов, у тиунской избы; пощады не знали конвоиры-драгуны, бритые, как коты, в заморских зеленых кафтанах.

Строился царский город на краю земли, в болотах, у самой неметчины. Кому он был нужен, для какой мўки еще новой надо было обливаться потом и кровью и гибнуть тысячами, — народ не знал. Но от податей, оброков, дорожных и войсковых повинностей стоном стонала земля. А если кто и заикался от накипевшего сердца: «Ныне-де спрашивают с крестьян наших подводы, и так мы от подвод, от поборов и от податей разорились, а ныне еще и сухарей спрашивают; государь свою землю разорил и выпустошил; только моим сухарем он, государь, подавится», — тех неосторожных, заковав руки и ноги в железо, везли в Тайную канцелярию или в Преображенский приказ, и счастье было, кому просто рубили голову: иных терзали зубьями, или протыкали колом железным насквозь, или коптили живьем. Страшные казни грозили всякому, кто хоть тайно, хоть наедине или во хмелю задумался бы: к добру ли ведет нас царь, и не напрасны ли все эти муки, не приведут ли они к мукам злейшим на многие сотни лет?

Но думать, даже чувствовать что-либо, кроме покорности, было воспрещено. Так царь Петр, сидя на пустошах и болотах, одной своей страшной волей укреплял государство, перестраивал землю. Епископ или боярин, тяглый человек, школяр или родства не помнящий бродяга слова не мог сказать против этой воли: услышит чье-нибудь вострое ухо, добежит до приказной избы и крикнет за собой: «слово и дело». Повсюду сновали комиссары, фискалы, доносчики; летели с грохотом по дорогам телеги с колодниками; робостью и ужасом охвачено было все государство.

Пустели города и села; разбегался народ на Дон, на Волгу, в Брянские, Муромские, Пермские леса. Кого перехватывали драгуны, кого воры забивали дубинами на дорогах, кого резали вол-

ки, драли медведи. Порастали бурьяном поля, дичало, пустело крестьянство, грабили воеводы и комиссары.

Что была Россия ему, царю, хозяину, загоревшемуся досадой и ревностью: как это — двор его и скот, батраки и все хозяйство хуже, глупее соседского? С перекошенным от гнева и нетерпения лицом прискакал хозяин из Голландии в Москву, в старый, ленивый, православный город, с колокольным тихим звоном, с повалившимися заборами, с калинами и девками у ворот, с китайскими, индийскими, персидскими купцами у кремлевской стены, с коровами и драными попами на площадях, с премудрыми боярами, со стрельцовой вольницей.

Налетел с досадой, — ишь угодье какое досталось в удел, не то что у курфюрста бранденбургского, у голландского штатгальтера. Сейчас же, в этот же день, все перевернуть, перекроить, обстричь бороды, надеть всем голландский кафтан, поумнеть, думать начать по-иному.

И при малом сопротивлении — лишь заикнулись только, что, мол, не голландские мы, а русские, избыли, мол, и хозарское иго, и половецкое, и татарское, не раз кровью и боками своими восстанавливали родную землю, не можем голландцами быть, смилуйся, — куда тут! Разъярилась царская душа на такую непробудность, и полетели стрельцкие головы.

Днем и ночью при свете горящего смолья, на брошенных в грязь бревнах, рубили головы. Сам светлейший, тогда еще Алексашка, лихо, не кладя наземь человека, с налету саблей смахивал голову, хвалился. Пили много в те дни крепкой водки, дочерна настоящей на султанском перце. Сам царь слез с коня у Лубянских ворот, отпихнул палача, за волосы пригнул к бревну стрельцкого сотника и с такой силой ударил его по шее, что топор, зазвенев, до половины ушел в дерево. Выругался царь матерно, вскочил на коня, поскакал в Кремль.

Спать не могли в те ночи. Пили, курили голландские трубки. Помещику одному, Лаптеву, засунули концом внутрь свечу, положили его на стол, зажгли свечу, смеялись гораздо много.

В нагольном полушубке, в оленьем, надвинутом на уши колпаке, обмотав горло вязаным шарфом, Петр взлез на двухколесную таратайку, взял вожжи и, затеснив локтем рябого солдата, жавшегося сбочку, выехал со двора.

Смирный карий мерин, привыкший к любой непогоде, не спеша зачмокал копытами; скоро ехать было нельзя: таратайку сильно подбрасывало на бревенчатой, уже разьеженной мостовой, валило в рытвины, полные грязи.

Сильный ветер дул в лицо, гоня нескончаемые, разорванные в клочья облака. Солнце висело низко и то заслонялось серыми пеленами, то выплывало из них, багровое, несветлое, северное, и клубился, клубился повсюду, на земле и меж облаками, желтоватый, промозглый туман.

Вот так погода! Хороша погода! Морская, крепкая, сквозняк! С удовольствием, раздувая ноздри, вдыхал Петр соленый, сырой ветер, гнавший где-то по морю торговые, полные товаров суда, многопушечные корабли, выдувавший из всех закоулков залежалый дух российский.

И пусть топор царя прорубал окно в самых костях и мясе народном, пусть гибли в великом сквозняке смирные мужики, не знавшие даже — зачем и кому нужна их жизнь; пусть треснула сверху донизу вся непробудность, — окно все же было прорублено, и свежий ветер ворвался в ветхие терема, согнал с теплых печурок заspanных обывателей, и закопошились, поползли к раздвинутым границам русские люди — делать общее, государственное дело.

Но все же случилось не то, чего хотел гордый Петр; Россия не вошла, нарядная и сильная, на пир великих держав. А подтянутая им за волосы, окровавленная и обезумевшая от ужаса и отчаяния, предстала новым родственникам в жалком и неравном виде — рабою. И сколько бы ни гремели грозно русские пушки, повелось, что рабской и униженной была перед всем миром великая страна, раскинувшаяся от Вислы до Китайской стены.

Через Троицкую площадь шли семеновцы с медными киками на головах, в промокших кафтанах. Солдаты лихо месили по грязи и разом взяли на караул, выкатывая глаза в сторону государя. Чиновники, спешившие по своим делам, пробираясь по настиланному вдоль лавок и домишек мосткам, низко снимали шляпы, и ветер трепал букли их париков. Простой народ, в зипунах и овчинах, иные совсем босые, валились на колени прямо в лужи, хотя и был приказ: «Ниц перед государем, идя по его государевой надобности, не падать, а снять шляпу, и, стоя, где остановился, быть в пристойном виде, покуда он, государь, пройти не изволит».

Один только толстый булочник, ганноверец, в полосатых штанах, в чистом фартуке, стоя у дверцы булочной, где на ставнях были нарисованы какие-то смешные носатые старички, весело усмехнулся и крикнул, махнув трубкой:

— Гут морген, герр Питер!

И Петр, повернув к нему багровое, круглое лицо, ответил хрипло:

— Гут морген, герр Мюллер!

На набережной, между бунтами досок, бревен и бочек с известью, толпились рабочие. Туда же бежал в больших сапогах, с лотком пирожков, мальчишка, покрытый рогожей. А с того берега на веслах и парусе подходил полицейский баркас, кренился, зарывался в волны носом, и на носу его ругательски ругался обер-полицеймейстер. Все это обличало явный непорядок.

А непорядок был вот в чем: посредине народа, в страхе великом обступившего бочку с известью, на бочке стоял тощий, сутулый человек без шапки. Волосы, спутанные, как войлок, падали косицами на плечи; горбоносое, изможденное лицо было темно и в глубоких морщинах; глаза провалились и горели люто; узкая борода металась по голой груди; ребра, обтянутые, собачьи, сквозили через дыры подпоясанного лыком армяка. Вытягивая руку в древнем двуперстном знаменнии, он кричал пронзительно дурным голосом:

— Православные, ныне привезли знаки на трех кораблях. А те знаки — чем людей клеймить, и сам государь по ним ездил, и привезены на Котлин остров, но токмо никому не кажут и за крепким караулом содержат, и солдаты стоят при них бессменно...

— Верно... верно... — зароптала толпа. — Сами слышали... Клейма привезены... Вот такой же кричал намерднн.

Сзади два усатых сержанта уже принялись расталкивать, гнать народ. Иные отошли, другие теснее, как овцы, сдвинулись к бочонку... Рваный же человек растопырил руку и, суя в нее пальцем, кричал:

— Вот здесь, между большим и средним пальцем, царь будет пятнать, и станут в него веровать. Слушайте, христиане, слушайте... В Москве мясо всех уж заставили есть в Сырную неделю и в Великий пост. И на Соловки послали трех дьяков, чтобы монахов учить мясо есть. И весь народ мужеска и женска пола будет государь печатать, а у помещиков и у крестьян всякий хлеб

описывать, и каждому будут давать самое малое число, а из остального отписного хлеба будут давать только тем людям, которые запечатаны, а на которых печатей нет, тем хлеба давать не станут. Бойтесь этих печатей, православные. Бегите, скрывайтесь. Последнее время настало... Антихрист пришел, Антихрист...

Крестясь и отплеываясь, пятились мужики. Иные побежали. Закликали бабы... Смяли мальчишку в рогоже, опрокинули с пирожками лоток. Человек двадцать солдат лупили палками по головам и спинам. Рваный слез с бочки и пошел, наклонив голову. Перед ним расступились, и он скрылся за бунтами леса.

Когда Петр, широко шагая через лужи, подошел к месту происшествия, солдаты уже разогнали рабочих, и только обер-полицеймейстер Ивашин таскал за волосы вятского, какого-то хилого мужичка, последнего, кто подвернулся под руку. Вятский, растопырив руки и согнувшись, покорно вертел головой по всем направлениям, куда таскало его начальство; Ивашин же с ужасом косился на подходившего царя: дело было нешуточное — бунт и его, полицеймейстера, недоглядка.

«Пропал, пропал, пришибет на месте», — торопливо думал он, крутя за виски покорную голову.

— Что? Кто? Почему? — отрывисто, дергая щекой, спросил Петр и сам, схватив сзади за полушубок вятского мужика, приблизил его тощее, с провалившимися щеками, смиренно-готовое к неминуемой смерти лицо к безумным своим глазам. Приблизил, впился и проник, точно вынул всю его нехитрую мужицкую правду.

«Господи Иисусе», — посипевшими губами пролепетал вятский. Но Петр уже отшвырнул его и обратился к Ивашину:

— Причину нарушения работ, господин обер-полицеймейстер, извольте рапортовать.

Бритое, рябое лицо Ивашина подернулось серым налетом. Вытянувшись до последней жилы, он отрапортовал:

— Пирожник пироги принес, народишко начал хватать безобразно, началась драка и безобразие, пирожника едва не задавили, пироги все потоптали.

Соврал, соврал Ивашин, и сам потом много дивился, как он так ловко вывернулся из скверной истории, — гораздо хорошо соврал, глядя честно и прямо в царские глаза. Петр спросил спокойнее:

— С чем пироги?

— С грибами, ваше величество.

Придерживая шпагу, Ивашин живо присел и, подняв из грязи, подал царю пирожок. Петр разломил, понюхал и бросил.

— А этот, ваше величество, — Ивашин сапогом пихнул вятского мужичка в ноги, — всем им, вора́м, зачинщик, крикун и вор.

— Батогов! — Петр повернулся и зашагал косолапой, но стремительной поступью вдоль набережной к работам. Ивашин рысью, придерживая треугольную шляпу и шпагу, поспевал за ним.

Вдоль топкого берега, куда били, расплзаясь, черно-ледяные волны, копошились до трехсот человеческих фигур: орловцы и туляки в войлочных гречушниках, киргизы в остроконечных, как кибитки, шапках, с меховыми ушами, одетые в оленье кофты поморы, сибиряки в собачьих шубах и иной бродячий люд, кто обмотанный тряпками, кто просто прикрытый рогожей.

— Оглядывайся... Оглядывайся... Оглядывайся... — пошли негромкие голоса по всему берегу. Не жалея ни рук, ни спин, подгоняемые десятскими и еще более зорким взглядом царя, все эти изнуренные, цинготные, покрытые лишаями и сыпью строители великого города «бодро и весело», как сказано в регламенте работ, били в сваи, рысью тащили бревна, с грохотом сбрасывали их, пилили, накатывали; человек пятьдесят, стоя по пояс в воде, обтесывали торцы. Едко пахло мокрым деревом, дегтем и дымом от обжигаемых свай.

Все эти люди были, как духи земли, вызваны из небытия, чтобы, не ропща и не уставая, строить стены, укрепления, дворцы, овладевать разливом рек, ловить ветер в паруса, бороться с огнем.

Одного слова, движения бровей было достаточно, чтобы подняться на сажень берег Невы, оковать его гранитом, ввинтить бронзовые кольца, воздвигнуть вон там, поправее трех ощищенных елей, огромное здание с каналами, арками, пушками у ворот и высоким шпилем, на золоте которого загорится северное солнце.

Грызая ноготь, Петр исподлобья посматривал на то место, где назначалось быть адмиралтейству. Там, на низком берегу, стояли длинные бараки с дегтем, пенькой, чугунными отливками; кругом строились леса, тянулись тележки по гребням выкидываемой из каналов зеленоватой земли, и сколько еще нужно было гнева и нетерпения, чтобы поднялся из болот и тумана дивный город!

А тут еще пирожки какие-то мешают.

В конце стройки Петр свернул на мостки, сквозь доски которых под его шагами зачмокала вода. Здесь он вынул часы, отколупнул черным ногтем крышку — было ровно половина одиннадцатого — и шагнул в качавшийся и скрипевший о сваи одномачтовый бот.

Скуластый матрос, в короткой стеганой куртке и в падающих из-под нее складками широких коричневых штанах, весело взглянул на Петра Алексеевича, сунул в карман фарфоровую трубочку и, живо перебирая руками, поднял парус. Тотчас лодка, бессильно до этого качавшаяся, точно напрягла мускулы, накренилась, мачта, закрипев, согнулась под крепким ветром. Петр снял руку с поручни мостков, положил руль, и лодка скользнула, взлетела на гребень и пошла через Неву.

Петр проговорил сквозь зубы:

— Ветерок, Степан, а?

Осклабясь, матрос прищурился на ветер, сплюнул.

— Был норд на рассвете, ободняло, — ишь на норд-вест повернул.

— Врешь, норд-вест-вест.

На это Степан усмехнулся, качнул головой, но не ответил: хотя с Петром Алексеевичем были они и давнишними друзьями-мореходами, все-таки много спорить с ним не приходилось.

У строящегося адмиралтейства, где была уже вытянута сажень на полтора высокая, из крепких бревен, пахнувшая смолой набережная, Петр выскочил из лодки и, все так же спеша и на ходу махая руками, пошел к пеньковым складам.

Матросы, чиновники, рабочие и солдаты издали слышали косолапые и тяжелые шаги царя и, слышав, низко нагнулись над бумагами и книгами, засуетились каждый по своему делу.

Неяркое, как пузырь, солнце повисело полдня за еловой пусторослью и закатилось. Темно-красный свет разлился на все небо; как уголья, пылали края свинцовых туч, заваливших закат на тысячу верст; в вышину поднялись оттуда клубы черно-красного тумана; багровая, мрачная, текла Нева; лужи на площади, колеи, слюдяные окошки домиков и стволы сосен — все отдавало этим пыланием; и не яркими, бледными казались сыплющие искрами большие костры, разложенные на местах работ.

Но вот яркой иголкой блеснула пушка на крепостном валу, ударил и далеко покотился выстрел, затрещали барабаны, и длинные партии рабочих потянулись к баракам.

У бревенчатых длинных и низких строений с высокими крышами дымились котлы, охраняемые солдатами; в подходившей толпе, несмотря на строгий приказ, вертелись сбитенщики с крепким сбитнем, воры, офени и лихие люди, предлагавшие поиграть в зернь, в кости, покурить табачку; гнули калеки и бродяжки; толкся всякий людишко, норовивший пограбить, пожить, погреться. Давали, конечно, по шеям, да всем не надаешь — пропускали.

Во втором Васильевском бараке, так же как и повсюду, усталые и продрогшие рабочие обступили котел, просовывая каждый свою чашку усатому унтеру, говорившему поминутно:

— Легче, ребята, осаживай!

Получивший порцию брел в барак, садился на нары и ел, помалкивая: пищу-де хайть нельзя — государева. Хлеб покупали на свои деньги, говорили, что в царский подмешивают конский навоз.

С двух концов горящие над парашами лучины едва освещали нары, тянущиеся в три яруса, щелястые, нетесанные стены и множество грязного тряпья, развешанного под потолком на мочальных веревках. Набив брюхо, кряхтя и крестясь, полз народ на нары, наваливал на себя тулупы, рогожи, тряпье и засыпал до утреннего барабана. У дверей всю ночь шагал солдат в кивере, с перевязью, с большой алебардой, покашливал для страха и время от времени вставлял новую лучину. Строго было заказано — не баловать, а пуще всего зря языком не трепать.

Но без греха не проживешь, и солдату можно дать копейку, чтобы не слушал, чего не надо, и в барак пробирался лихой человек — Монтатон, не русский, залезал под самую крышу и там, разложив на платке все свое хозяйство: склянку с вином, зернь, табак и кости, — начинал скрести ногтем — скрр, скрр, здесь, мол, ожидаемся.

Каждую ночь сползались к нему Семен Заяц, да Митрофан, тоже Заяц, да Семен Куцый, да Антон из Черкас, шепотом вели беседу, кидали кости, звенели копейками и осторожно, чтобы не было великого шума, заезжали в ухо Монтатону за плутовство. Проводили время.

Да и не все ли было равно — ну, застанут и засекут: на царевой работе никто еще больше трех лет не вытягивал.

Так было и сегодня. Собралась кумпания, запалили огарочек сальный, достали зернь, начали резаться. Солдат шагал у лучины, зевал от скуки. Вдруг слышит, где-то внизу на нарах шепчут:

— Отец Варлаам, а как же он нас печатать станет?

— Промеж среднего и большого пальца, тебе говорят, дура.

— Отец Варлаам, верно это?

— Верно, — отвечал давешний вопленный голос, — клейма те железные, раскалят и приложат, и на них крест, только не наш, не христианский.

— Господи, что же делать-то? А если я не дамся?

— А прежде зельем будут опаивать, табаком окуривать, для прелести скакать в машкерах круг тебя, и на бочках ездить, и баб без одежды будут казать.

— Верно, верно, ребята, на прошлую Масленицу сам видел, — на бочках ездили и бабы скакали.

— А что же я вам говорю!

Солдат, видя, что не Монтатонова это кумпания подает голос и разговор идет самый воровской, подошел, опустил алебарду и сказал, заглянув под темные нары:

— Эй, кто там бормочет, черти? Не спите!

Голоса затихли сразу: кто-то ноги босые поджал. Солдат постоял, нюхнул табачку и сказал еще:

— Сволочи, спать другим не даете. Разве не знаете государя нашего приказ строгий: в рабочих помещениях не разговаривать, только для-ради пищу попросить, али иглу, али соли. Ныне строго.

И только он приноровился запустить вторую понюшку под усы в обе ноздри, как вопленный голос закричал на все темное помещение:

— Врешь! Государя нашего у немцев подменили, а этот не государь, давеча сам видел, — у него лица нет, а лицо у него не человеческое, и он голову дергает и глазами вертит, и его земля не держит, гнется. Беда, беда всей земле русской! Обманули нас, православные!..

Но тут солдат, бросив рожок с табаком и алебарду, закричал «караул!» — и побежал к выходу, расталкивая лезущий вниз с нар перепуганный народ. Зашумели голоса. Взвизгнула баба где-то под рогожей; другая, выскочив к лучине, забилась, заквакала. «Бейте его!» — кричали одни. «Да кого бить-то?», «Давют,

батюшки!». Монтатон, побросав свой инструмент, ужом лез к выходу; поймали его, вырвали полголовы волос.

И ввалился, наконец, караул, с факелами и оружием наголо. Все стихло. Рослый, крепколицый офицер, оглядывая мужиков со всклоченными волосами, с разинутыми ртами, двинул треугольную шляпу на лоб и, полуобернувшись к команде, приказал четко и резко:

— Арестовать всех. В Тайную канцелярию.

Тайная канцелярия занимала довольно большую площадь, огороженную высоким частоколом. Главный корпус построен из кирпича, а все пристройки — тюрьмы, клетки, казематы — бревенчатые, и все время пристраивались, так как не хватало места для привозимых отовсюду государственных преступников.

В главном корпусе, низком, красном здании, крытом черепицей, с толстыми стенами и небольшими, высоко от земли, решетчатыми окошками, помещались: прямо — низкая комната с дубовыми, вдоль стен, лавками для ожидающих под караулом, направо — комната дьяков, налево — кабинет начальника Тайной канцелярии, и оттуда кованная железом дверь вела в застенок, сводчатое помещение с коридорами и камерами. Сзади во двореке валялись — разный инструмент, нужный и ненужный: рогожи, связки прутьев, ржавые кандалы, кожи, гробы; и стояли «спицы» — самое страшное орудие пытки, редко применяемое.

Все комнаты были оштукатуренные и уже грязные от пятен сырости, прикосновения рук и спин. Везде каменный, захоженный грязью пол, крепкие дубовые столы и лавки.

Место было суровое, только в кабинете начальника день и ночь пылал камин, потому что Толстой был зябок и часто, чиня допрос, придвигал стул к огню и закрывал глаза, слушая, как пугается обвиняемый да дьяк скрипит гусиным пером.

В восемь часов бухнула наружная дверь, и в комнату, где у стен сидели вперемежку колодники и солдаты, вошел Петр; прищурился на то место, где в густых испарениях плавал свет сального огарка, неясно освещая лысину нагнувшегося над бумагой дьяка и бледные лица вскочивших в испуге колодников, приложил пальцы к ноздрям, шумно высморкался, вытер нос полою мокрого полушубка и, нагнувшись, шагнул в кабинет председателя.

— Ну, ну, сиди, — проворчал царь в сторону Толстого и, сев перед камином, протянул к огню красные, в жилах, руки и огромные подошвы сапог. — Паршивый народ, не умеет простой штуки — стропила связать, дурачье, — продолжал он, явно желая похвастаться. — Шафиров инженера выписал из Риги, хвастун и глупец к тому же. Я на крышу влез и показал ему, как вяжут стропила. Запищал инженерик: «Дас ист унмеглих, герр гот!». А я сгреб его под париком за виски: это, говорю, меглих, это тебе меглих?..

Ухмыляясь, он вынул короткую изгрызанную трубочку, пальцами схватил уголек из очага, покидал его на ладони и сунул в трубку. Толстой сказал:

— Ваше величество, дело пономаря Гулятьева, что в прошедшем месяце у Троицы на колокольне кикимору видел и говорил: «Питербурху быть пусту», разобрано, свидетели все допрошены, остается вашему величеству резолюцию положить.

— Знаю, помню, — ответил Петр, пуская клуб дыма. — Гулятьева, глупых чтобы слов не болтал, бить кнутом и на каторгу на год.

— Слушаю, — нагнувшись над бумагами, проговорил Толстой. — А свидетели?

— Свидетели? — Петр широко зевнул, согревшись у огня. — Выдай им пачпорта, отошли по жительству под расписку.

В это время стукнули в дверь. Толстой строго посмотрел через очки и сказал, поджав губы:

— Войди.

Появился давешний крепколицый офицер; выкатив грудь, держа руку у шпаги, другую у мокрой треуголки, отрапортовал, что по государеву слову и делу арестовано им девяносто восемь человек мужска и женска пола, приведено за частокोल, прошуде дальнейших распоряжений.

Толстой, прищурясь, пожевал ртом; большой лоб его, с необыкновенными бровями — черными и косматыми, покрылся морщинами.

— На кого же ты слово государево говоришь? На кого именно? — спросил он. — На всех девяносто восемь человек говоришь, так ли я понимаю?

Рука офицера задрожала у шляпы, он молчал, стоя статуей. Царь, вытянув ноги, глядел круглыми глазами в огонь, время от

времени туда сплевывая. На цыпочках вошел приказный дьяк, поклонился царскому креслу и сейчас же, присев у своего стола, записал, водя кривым носом над бумагой. Толстой, выйдя на середину комнаты, с наслаждением нюхнул из золотой табакерки, склонил к плечу хитрое, ленивое лицо, оглядывая оторопелого офицера, и сказал в нос:

— Большое дело ты затеял: девяносто восемь человек обвиняешь, а со свидетелями и вся тысяча наберется. Добрый полк. Сколько же я кож бычьих на кнуты изведу? Сколько бумаги исписать придется? И, Боже мой, вот задал работу! Чего же ты молчишь, друг мой, али испужался?

И при этом с улыбкой покосился на царя и захихикал, отряхивая тонкими пальцами с кафтана табак.

Офицер срывающимся, взволнованным голосом пробормотал:

— Ваше превосходительство, в бараке втором, Васильевском, поносные слова на государя говорены, и говорил их вор и бродяга Варлаам с товарищи...

И, не кончив, офицер дрогнул и попятился: с такою силой отшвырнул Петр тяжелое кресло от огня и, поднявшись во весь рост, засопел, багровый и искаженный, сыпля горящий пепел из трубки:

— Ну, води его сюда...

Изменился в лице и Толстой, точно весь высох в минуту, заговорил торопливо:

— Веди его, води одного пока, да не сюда, а прямо в застенки. Товарищей препроводить в казарму, держать под караулом крепко... Головой отвечаешь! — пронзительно крикнул он, подсакивая к офицеру, который, сделав полный оборот, быстро вышел.

Петр расстегнул медный крючок полушубка на шее и сказал, криво усмехаясь:

— Говорил я вам, ваше превосходительство, — Варлаам в Питербурхе. Вы не верили.

— Ваше величество...

— Молчи! Дурак! Смотри, Толстой, как бы и твоя голова не слетела.

Петр с силой толкнул железную дверь и, нагибаясь, пошел по узкому проходу в правешнюю. Толстой же постоял минуту в неподвижности, затем, поднеся холодную, сухонькую ладонь ко

лбу, потер его и, уже торопливо захватив под мышку бумаги и семена, вышел вслед за государем.

Так началось огромное и страшное дело о проповеднике антихриста, занявшее много месяцев. И много людей сложило головы на нем, и молва об этом деле далеко прокатилась по России.

Варлаам уже сорок минут висел на дыбе. Вывернутые в лопатках, связанные над головою руки его были подтянуты к перекладине ремнем; голова опущена, спутанные пряди волос закрывали все лицо, мешались с длинной бородой; обнаженное, с выдающимися ребрами, вытянутое и грязное тело его было в пятнах копоты, и сбоку стекал сгусток крови: Варлааму только что дали тридцать пять ударов кнутом, а спереди попалили вениками. Грязные ноги его, с поджатыми судорожно пальцами, были охвачены хомутом и привязаны к бревну, на котором, вытягивая все его тело, стоял дюжий мужик в коротком тулупчике — палач.

Напротив, у стола, при двух свечах, озаряющих кирпичные своды, сидели: Петр, развалясь и закинув голову, с надутой жилами шеей, посредине — Толстой и направо от него — огромный, похожий красным лицом на льва, угрюмый человек — Ушаков; он был без парика, в лисьей шапке и бархатной, с косматым воротником, шубе.

— Не снять ли его, кабы не кончился? — проговорил Толстой, просматривая только что записанное показание.

Ушаков, глядя неподвижно на висящего и свистя заложенным от табаку и простуды горлом, сказал:

— Дать водки, очухается.

Толстой поднял глаза на царя. Петр кивнул. Палач шепотом сказал в темноту за столбы:

— Вась, Вась, поправее, в уголышке там склянка.

Из темноты вышел круглолицый, с женственным ртом, кудрявый парень, бережно неся четырехгранную склянку с водкой. Вдвоем они запрокинули голову висящему, покопошились и отошли. Варлаам застонал негромко, почмокал, затем закрутил головой... И на Петра опять, как и давеча, уставились черные глаза его, блестящие сквозь пряди волос. Толстой вслух стал читать запись дознания. Вдруг Варлаам проговорил слабым, но ясным голосом:

— Бейте и мучайте меня, за Господа нашего Иисуса Христа готов отвечать перед мучителями...

— Ну, ну, — цыкнул было Ушаков, но Петр схватил его за руку и перегнулся на столе, вслушиваясь.

— Отвечаю за весь народ православный. Царь, и лютей тебя цари были, не убоюсь лютости! — с передышками, как читая трудную книгу, продолжал Варлаам. — Тело мое возьмешь, а я уйду от тебя, царь. На лапах на четырех заставишь ходить, в рот мне удила вложишь, и язык мой отнимешь, и землю мою не моей землей назовешь, а я уйду от тебя. Высоко сидишь, и корона твоя как солнце, и не прельстишь. Я знаю тебя. Век твой недолгий. Корону твою сорву, и вся прелесть твоя объявится дымом смрадным.

Петр проговорил, разлепив губы:

— Товарищей, товарищей назови.

— Нет у меня товарищей, ни подсобников, токмо вся Расея товарищи мои.

Страшно перекосило рот у царя, запрыгала щека, и голову пригнуло; с шумным дыханием, стиснув зубы, он сдерживал и поборол судорогу. Ушаков и Толстой не шевелились в креслах. Палач всей силой навалился на бревно, и Варлаам закинул голову. Слышно было, как трещали свечи. Петр поднялся наконец, подошел к висящему и долго стоял перед ним, точно в раздумье.

— Варлаам! — проговорил он, и все вздрогнули. Парень с женским ртом, вытянув шею, глядел из-за столба нежными голубыми глазами на царя.

— Варлаам! — повторил Петр.

Висящий не шевелился. Царь положил ладонь ему на грудь у сердца.

— Снять, — сказал он, — вернуть руки. На завтра приготовить спицы.

У светлейшего в только что отделанной приемной зале, с еще волглыми стенами, высокими, невиданными окнами, при свете двухсот свечей, танцевали grosфатер. Четыре музыканта — скрипка, флейта, фанфары и контрабас — дудели и пилили, обливаясь потом.

Боярыни и боярышни, хотя и в немецких, но по-русскому тяжелых — до пуда весом — платьях, без украшений, — драгоценности в то время были запрещены, — но нарумяненные, как яблоки, и с густо насурмленными в одну линию черными

бровями, неловко держась за своих кавалеров, скакали и высоко подпрыгивали по вошеному полу, в общем кругу танцующих.

Посредине круга стоял герой мод и кутежей — Франц Лефорт, дебошан французский. Бритое, тонкое лицо его с пьяными глазами было обрамлено огромным рыжим париком; букли его доходили почти до пояса. Золотой кафтан горой поднимался на бедрах. Помахивая рукой, с падающими из-за обшлага кружевами, он напевал в такт, топал красным башмачком.

Мимо него проносились, подпрыгивая, и перепуганный, потный прапорщик гвардии, с дворянскими мясами, натуго перетянутыми суконным сюртуком, и долговязый, презрительный остзеец, с рыбьим взором, впалой грудью и в огромных ботфортах, и пьяный с утра, наглый государев денщик, и боярин древнего рода, не знающий хорошо, где он: в пьяном кружале, в аду или только дурной это сон...

Струи дыма ползли в залу из низкой комнаты, где за длинными столами играли в шахматы, курили трубки, пили вино и хлопали друг друга по дюжим спинам птенцы Петровы.

И повсюду меж танцующими и пьяными похаживал с козлиною бородкой сухонький человек, одетый в дьяконский парчовый стихарь и с картонной золотой митрой на лысой голове — князь Шаховской, «человек ума немалого и читатель книг, но самый злой сосуд и пьяный», второй архиерейский всепьянейшего собора и царский шут.

Веселье было великое. Музыка, и взрывы смеха, и топот ног по вошеному полу. В залу вошел Петр. Он был головою выше всех. Коротким кивком отвечая на низкие поклоны, прямо прошел к столам, сел с краю и на парчовую скатерть положил стиснутые кулаки. Лицо его было бледно и презрительно, черные волосы прилипли ко лбу.

Косясь на царя, гости продолжали веселиться, чтобы не нажить беды. Один Шаховской смело подошел к нему со спины и, выпятив губу, проговорил гнусаво:

— Ну как, брат Пахом-Пихай, что пить-то будем?

Вздрогнул Петр, оскалась, обернулся и с кривой усмешкой сказал:

— Тройной перцовой, ваше святейшество.

Не шутка — варево адское была тройная перцовая. Человека валила в пятнадцать минут, будь он хоть каменный, и его святейшество сразу понял, что не для шутки потребовал Петр этого зелья, а со зла. И, поняв, немедленно определил и свое поведение: подобрал высоко стихарь, на затылок сдвинул митру и побежал по гостям, крича в лицо каждому:

— Слюни распустил, венгерское попиваешь? Сам за себя, противник-черт, боишься. Сыч, сыч, насупился, о чем думаешь, а я не знаю. А может, ты Хмельницким гнушаешься, в собор к нам ходить не хочешь, от питья морду воротишь? А может, у тебя противные мысли?

И, отскочив, тыкал распухшим в суставах, старческим пальцем в побледневшее от таких намеков лицо придворного, и смеялся визгливо, и бежал к другим, приседая, кривляясь и нет-нет да закидывая глазок в сторону государя.

Перед царем поставили жбан, полный бурого зелья. Светлейший, с припухшим ртом, но улыбающийся сладко, надушенный, в кружевах, в шелковом парике, обсыпанном золотыми блестками, наливал тройную перцовую в чарки изрядной вместимости и посылал гостям, спешившим, хоть притворно да поскорее, освинеть во хмелю на потеху государю.

Петр, щурясь сквозь табачный дым, загребал пальцами с блюда то, что ему подкладывали, громко жевал, суя в рот большие куски хлеба, и в промежутки глотал водку, с трудом насыщаясь и с большим еще трудом хмелея. Есть он мог много, — всегда, было бы что под рукой.

Гости ожидали, когда царь, откушав, начнет шутить, что бывало иной раз покрепче перцовой. Но красное, с толстыми, круглыми щеками лицо его не прояснялось. Он уже отсунул блюдо и, положив локти на стол, грыз янтарный чубук, — по-прежнему выпуклые глаза царя были точно стеклянные, невидящие. И страх стал одолевать гостей: уж не прискакал ли курьер из Варшавы с недобрыми вестями? Или в Москве опять беспокойно? Или кто-нибудь здесь из сидящих провинился?

Вынув изо рта чубук, Петр сплюнул под стол и проговорил, морща от подперевшей отрыжки:

— Ну-ка, архидьякон, подь сюда.

Князь Шаховской, надувшись индюком, отставляя посох, приблизился.

— Во имя отца моего Бахуса и Венера, шленды, девки греческой, вопиющий ко мне насытится, и зовущий меня упьется, — загнузил он, закрывая голые, желтоватые глаза.

— Я с тобою не шучу, — перебил Петр, и внезапно вздулась жила у него поперек лба; остекленевшими глазами он оглядел гостей, чуть подольше задержавшись на столе, где сидели прусские офицеры. — Я тебя в шуты не нанимал, сам просился.

Он фыркнул носом и стал совать палец в трубку.

— Что-то чересчур стараешься! Перестарался, перестарался. Вот что! Боюсь, про нас с тобой говорить станут лишнее. Скажут, пожалуй, — царский шут...

Он не закончил, как часто бывало, свою мысль и стиснул зубы, скрипнул ими, сдерживая гримасу.

— Боюсь, твоим стараньем, да, да... стараньем чрезмерным, как бы на меня твой колпак не надели бы, часом... С рогами... Собираются... Знаю... Ведь говорят, говорят, слышал небось... Рогатый колпак небось пригожее мне, чем корона...

И опять повернул голову направо, налево, пронзительно всматриваясь. Его несвязные, пьяные слова, темный их смысл усугубили страх между гостями. Похоже было на то, что царь опять напал на какой-то заговор, и каждый испуганно оглянулся, отодвинулся от приятеля. Меньше других смутились светлейший, привыкший ко всячинке, да Шаховской. Его притворно пьяные, теперь умные, щелками, глаза напряженно следили за каждым из порывистых движений царя. Он понимал, какие тайные мысли жгли государя, и, внезапно пододвинувшись, сказал с растяжкой, по-мужицки:

— Брось, Пахом, вот осерчал из-за какой дряни. На, возьми, не жалко, — и с громким, слезливым вздохом снял с себя митру и подал царю.

Петр усмехнулся дико и вдруг с коротким, как кашель, хохотом надвинул на голову картонный колпак.

— Архидьякон, — закричал он, — князю земли кланяйся, поклонись, аминь.

Взял за бороду Шаховского у самого подбородка, нагнул три раза к себе, запрокинул его лицо, схватил со стола жбан с водкой и стал лить ее князю в разинутый рот.

Шаховской, булькая, пил. Оторвался, собачьими, страдающими глазами взглянул на государя и снова прильнул. Наконец ко-

ленки его начали дрожать часто, мелко, руки в широких рукавах поднялись, бессильно шевеля пальцами; тройная перцовая лилась мимо рта по стихарю.

— Будя, — прошептал он и зашатался. Видно было, что и царю сильно ударил хмель. Бросив Шаховского, он вышел в залу и крикнул музыкантам:

— Чаше, чаще! — подхватил боярыню какую-то, обнял ее спину, притиснул полную, голую грудь к осыпанному пеплом кафтану и принялся отбивать дробь тяжелыми ботфортами, кружиться и сигать по всей зале, увлекая и кружа едва поспевающую за ним, взмокшую боярыню — княгиню Троекурову.

Светлейший тем временем быстро пораскинул умом и, два раза, для совета, добежав до княгинюшки, приготовил все, что на потребу Купидону, и ждал только минутки. Когда Петр угомонился, прислонясь к колонне и вытираясь рукавом, Меньшиков подбежал на цыпочках и шепнул ему что-то. Слышали, как Петр воскликнул с пьяным весельем:

— Ну, ну, идем, — и, широко шагая и махая руками, проследовал впереди светлейшего во внутренние покои.

Светлейший, в одном камзоле, придерживая руку у горла и кланяясь, провожал государя на крыльце, благодарил за милость.

— Иди, иди к гостям, без тебя уеду, — закашлявшись от ветра, проворчал Петр и обсунул на полущубке ременный пояс.

Ночь была темная, секло косой изморозью. Перед крыльцом, над замерзшими колеями грязи, покачивались фонари в руках конюхов. Вдалеке, с фонарем же, проходили человек семь в тулупах — ночной караул, тускло поблескивая торчащими во все стороны алебардами.

Светлейшего пришлось силой втолкнуть в дверь, дабы приторным своим ласканьем не надоедал чрезмерно; за окнами все еще играла музыка; свистел ветер в обглоданной сосне близ дома; роптала и билась о сваи ледяная, невидимая сейчас Нева; только желтели на ней и качались корабельные фонари; фыркали, смутно серея поблизости, выездные и верховые лошади; а Петр все еще стоял на крыльце, надвинув до бровей шапку.

Сытый, и пьяный, и утешенный всем человеческим, царь точно прислушивался, как из этой сытости снова, не вовремя, когда

спать просто надо, поднимается жадная, лихая душа, неуспокоенная, голодная.

Никаким вином не оглушить ее, ни едой, ни весельем, ни бабьей сыростью. Ни покоя, ни отдыха. И не от этой ли бессонной тревоги зиму и лето скачет Петр в телегах и дилижансах, верхом и в рогожных кибитках, с Азова в Архангельск, с Демидовских чугунолитейных заводов под Выборг, в Берлин, на Олонецкие целебные воды? И строит, приказывает, судит, казнит, водит полки и видит: коротки дни, мало одной жизни...

— Лошадь! — сказал Петр.

Конюха с фонарями шарахнулись. Подъехала давешняя двуколка с рябым, скрюченным от холода солдатом... Петр грузно влез в сиденье. Застоявшийся вороной жеребец, сменивший давешнего старичка каракового, перебирая ногами, начал было приседать, подкидывать передом.

— Шалишь! — крикнул Петр, рванул вожжами и стегнул жеребца, махнувшего раза три в оглоблях и затем размашистой, легкой рысью понесшего валкую двуколку в темноту. На дороге испуганно посторонился ночной караул и далеко вдогонку крикнул: «Смирно». А потом солдатики шепотом рассказывали в шинке:

«Вот было страха ночью! Идем мы, значит, всемером, а он на вороной лошадице как дунет мимо нас вихрем, лошадища огромная, а сам сидит как копна. Разве человеку мыслимо в таком виде ездить: уж больно велик, темен».

У Тайной канцелярии Петр бросил вожжи, скользя и спотыкаясь, подошел к воротам, цыкнул на караульных: «Глаза протри, не видишь кто...» — и, перебежав дворик, сильно хлопнул наружной дверью.

Варлаама привели и оставили с глазу на глаз с государем. На углу стола плавал в плошке огонек. Шипели, с трудом разгораясь, дрова в очаге. Петр, в шубе и шапке, сидел глубоко в кресле, облокотясь о поручни, подперев обеими руками голову, словно вдруг и смертельно уставший. Варлаам, выставив бороду, глядел на царя.

— Кто тебе велел слова про меня говорить? — спросил Петр негромко, почти спокойно.

Варлаам вздохнул, переступил босыми ногами. Царь протянул ему раскрытую ладонь:

— На, возьми руку, пощупай, — человек, не дьявол.

Варлаам пододвинулся, но ладони не коснулся.

— Рук не могу поднять, свернуть, — сказал он.

— Много вас, Варлаам? Скажи, пытать сейчас не стану, скажи так.

— Много.

Петр опять помолчал.

— Старинные книги читаете, двуперстным крестом спастись хотите? Что же в книгах у вас написано? Скажи.

Варлаам еще пододвинулся. Запекшийся рот его под спутанными усами раскрылся несколько раз, как у рыбы. Он смолчал. Петр повторил:

— Говори, что же ты.

И Варлаам, кашлянув, как перед чтением, и прикрыв воспаленными веками глаза, начал говорить о том, что в книге Кирилла сказано, что «во имя Симона Петра имеет быть гордый князь мира сего — антихрист», и что на генеральном дворе у Спасителя не нарисована рука благословляющая, и у образа Пресвятыя Богородицы младенца не написано, и что попам-де служить на пяти просфорах больше не велено, и что скорописные новые требники, где пропущено «и Духа Святого», те попы рвут и топчут ногами, и в мирянах великая смута и прелесть, и что у графа Головкина у сына красная щека, да у Федора Чемоданова, у сына ж его, пятно черное на щеке, и на том пятне волосы, и что такие люди, сказано, будут во время антихристово.

Петр, казалось, не слушал, подперев кулаками щеку. Когда Варлаам кончил и замолк, он повторил несколько раз в раздумье:

— Не пойму, не пойму. Лихая беда действительно. Эка — наплели... Тьма непролазная.

И долго глядел на разгоревшиеся поленья. Затем поднялся и стоял, огромный и добрый, перед Варлаамом, который вдруг зашептал, точно смеясь всем сморщенным, обтянутым лицом своим:

— Эх ты, батюшка мой...

Тогда царь стремительно нагнулся к нему, взял за уши и, словно поцеловать желая, обдал жарким табачным и винным дыханием, глубоко заглянул в глаза, проворчал что-то, отвернулся, глубоко надвинул шапку, кашлянул:

— Ну, Варлаам, видно, мы не договорились до хорошего. Завтра мучить приду. Прощай.

— Прощай, батюшка!

Варлаам потянулся, как к родному, как к отцу обретенному, как к обреченному на еще большие муки брату своему, но Петр, уже не оборачиваясь, пошел к двери, почти заслонив ее всю широкой спиной.

За воротами, взявшись за скобку двуколки и на минуту замедлив садиться, он подумал, что день кончен — трудовой, трудный, хмельной. И бремя этого дня и всех дней прошедших и будущих свинцовой тягой легло на плечи ему, взявшему непосильную человеку тяжесть: одного за всех.

1918

ПЕТР ПЕРВЫЙ (Отрывки)

КНИГА I

Глава 7

4

Приятным ветром наполняло четыре больших прямых паруса на грот- и фок-мачтах и два прямых носовых — на конце длинного бушприта... Чуть навалившись на левый борт, корабль «Святой Георгий» скользил по весеннему солнечному серому морю. Кое-где, окруженные пеной, виднелись хрупкие льдины. На громоздкой, как башня, корме вился бранденбургский флаг. Палуба корабля была чистая, вымытая, блестела начищенная медь. Веселая волна ударяла о дубового Нептуна, на носу под бушпритом взлетала радужной пылью.

Петр, Алексашка Меньшиков, Алеша Бровкин, Волков и хилый, с подстриженной бородой, большеголовый поп Битка, — все, одетые в немецкое, серого сукна, платье, в нитяных чулках и юфтовых башмаках с железными пряжками, сидели на свертках смоляных канатов, курили в трубках хороший табак.

Петр, положив локти на высоко задранные колени, веселый, добрый, говорил:

— Фридрих, курфюрст бранденбургский, к которому плывем в Кенигсберг, свой брат, — поглядите — как встретит... Мы ему вот как нужны... Живет в страхе: с одной стороны его шведы

жмут, с другой — поляки... Мы это все уже разузнали. Будет просить у нас военного союза, — увидите, ребята.

— Это тоже мы подумаем, — сказал Алексашка.

Петр сплюнул в море, вытер конец трубки о рукав:

— То-то что нам этот союз ни к чему. Пруссия с турками воевать не будет. Но, ребята, в Кенигсберге не озорничайте — голову оторву... Чтoб о нас слава не пошла.

Поп Битка сказал с перепойной надтругой:

— Поведение наше всегда приличное, нечего грозить... А тако-го сану — курфюрст — не слыхивали.

Алексашка ответил:

— Пониже короля, повыше дюка, — получается — курфюрст. Но, ка-анешно, у этого — страна разоренная — перебивается с хлеба на квас.

Алеша Бровкин слушал, разинув светлые глаза и безусый рот... Петр дунул ему в рот дымом. Алеша закашлялся. Засмеялись, стали пихать его под бока... Алеша сказал:

— Ну, чаво, чаво... Чай, все-таки боязно, — вдруг это мы — и к ним.

На них, балующих среди канатов, с изумлением посматривал старый капитан, финн. Не верилось, чтобы один из этих веселых парней — московский царь... Но мало ли диковинного на свете...

С левого борта вдали плыли песчаные берега. Изредка виднелся парус. На запад за край уходил полный парусов корабль. Это было море викингов, ганзейских купцов, теперь — владения шведов. Клонилось солнце. «Святой Георгий» отдал шкоты и фордевиндом, мягко журча по волнам, плыл к длинной отмели, отделяющей от моря закрытый залив Фришгаф. Вырос маяк и низкие форты крепости Пилау, охранявшей проход в залив. Подплыв, выстрелили из пушки, бросили якорь. Капитан просил москвитов к ужину.

5

Поутру вылезли на берег. Особенного здесь ничего не было: песок, сосны. Десятка два рыбацких судов, сети, сохнувшие на колышках. Низенькие, изъеденные ветрами бедные хижины, но в окошках за стеклами — белые занавесочки... (Петр со сладостью вспомнил Анхен.) У подметенных порогов — женщины в полотняных чепцах за домашней работой, мужики в кожаных

шапках — зюйдвестках, губы бриты, борода только на шее. Ходят, пожалуй, неповоротливее нашего, но видно, что каждый идет по делу, и приветливы без робости.

Петр спросил, где у них шинок. Сели за дубовые чистые столы, дивясь опрятности и хорошему запаху, стали пить пиво. Здесь Петр написал по-русски письмо курфюрсту Фридриху, чтоб увидиться. Волков вместе с солдатом из крепости повез его в Кенигсберг.

Рыбаки и рыбацки стояли в дверях, заглядывали в окна. Петр весело подмигивал этим добрым людям, спрашивал, как кого зовут, много ли наловили рыбы, потом позвал всех к столу и угостил пивом.

В середине дня к шинку подкатила золоченая карета со страусовыми перьями на крыше, проворно выскочил напудренный, весь в голубом шелку, камер-юнкер фон Принц и, расталкивая рыбаков и рыбацек, с испуганным лицом пробирался к москвитам, стучавшим оловянными кружками. На три шага от стола снял широкополую шляпу и помел по полу перьями, при сем отступил, рука коромыслом, нога подогнута.

— Его светлейшество, мой повелитель, великий курфюрст бранденбургский Фридрих имеет удовольствие просить ваше... (Тут он запнулся. Петр погрозил ему.) Просит высокого и давно желанного гостя пожаловать из сей жалкой хижины в отведенное согласно его сану приличное помещение...

Алексашка Меньшиков впился глазами в голубого кавалера, пхнул под столом Алешку:

— Вот — это политес... На цыпках стоит, — картинка... Парик, гляди, короткий, а у нас — до пупа... Ах, сукин сын!..

Петр сел с фон Принцем в карету. Ребята поехали сзади на простой телеге. В лучшей части города, в Кнейпгофе, для гостей был отведен купеческий дом. Въехали в Кенигсберг в сумерках, колеса загремели по чистой мостовой. Ни заборов, ни частоколов, — что за диво! Дома прямо — лицом на улицу, рукой подать от земли — длинные окна с мелкими стеклами. Повсюду приветливый свет. Двери открыты. Люди ходят без опаски... Хотелось спросить — да как же вы грабежа не боитесь? Неужто и разбойников у вас нет?

В купеческом доме, где стали, — опять — ничего не спрятано, хорошие вещи лежат открыто. Дурак не унесет. Петр, оглядывая темного дуба столовую, богато убранную картинами, посудой, турьими рогами, тихо сказал Алексашке:

— Прикажи всем настрого, если кто хоть на мелочь позарится, — повешу на воротах...

— И правильно, мин херц, мне и то боязно стало... Покуда не привыкнут, я велю карманы всем зашить... Ну, не дай Бог с пьяных-то глаз...

Фон Принц опять вернулся с каретой. Пётр поехал с ним во дворец...

Прошли туда через потайную калитку огородом, где плескал фонтан и на лужайках темнели кусты, подстриженные то в виде шара, то петуха или пирамиды. Фридрих встретил гостя в саду, в стеклянных дверях, протянул к нему кончики пальцев, прикрытые кружевными манжетами. Шелковистый парик обрамлял его весьма пронзительное лицо с острым носом и большим пробитым лбом. На голубой через грудь ленте переливались бриллиантовые звезды.

— О брат мой, юный брат мой, — проговорил он по-французски и повторил то же по-немецки. Пётр глядел на него сверху, как журавль, и не знал, как назвать его — братом? Не по чину... Дяденькой? Неудобно. Светлостью или еще как? Не угадаешь — еще обидится...

Не выпуская рук гостя и пятясь, курфюрст ввел его по ковру в небольшой покой. У Петра закружилась голова, — будто ожила одна из любимых в детстве картинок, что висели у него в Преображенском. На мраморном, весело топившемся камине помахивали маятником дивной работы часы, украшенные небесной сферой, звездами и месяцем. Мягкий свет стенных с зеркалом трехсвечников озарял шпалерные картины на стенах, хрупкие стульчики и лавочки и множество красивых и забавных вещей, коим трудно найти употребление. Ветки с цветами яблонь и вишен в тонких, как мыльный пузырь, высоких кубках.

Курфюрст вертел табакерку, острые глаза его были добродушно полуприкрыты. Усадил гостя у огня на такой легонький золоченый стульчик, что Пётр больше держался на мускулах ног, боясь поломать вещь... Курфюрст пересыпал немецкую речь французскими словами. Наконец помянул о военном союзе. Тут Пётр понял. Застенчивость немного сняло с него. На голландско-немецком матросском языке пояснил, что здесь он инкогнито и о делах не говорит, а через неделю придут великие послы, — с теми и надо говорить о мире.

Курфюрст шлепнул в ладоши. Неслышно растворилось то, что Петр принимал за окно, — зеркальная дверца, — и лакеи в красных ливреях внесли столик, уставленный едой и напитками.

У Петра схватило кишки от голода, — сразу повеселел. Но еды оказалось до обидности мало: несколько ломтиков колбасы, жареная птичка-голубь, пирожок с паштетом, салат... Изящным движением курфюрст предложил гостю сесть за стол, заложил накрахмаленную салфетку за камзол и с тонкой улыбкой говорил:

— Вся Европа с восхищением следит за блистательными успехами оружия вашего царского величества против врагов Христовых. Увы, я принужден лишь рукоплескать вам, как римлянин со скамей амфитеатра. Моя несчастная страна окружена врагами — поляки и шведы. Покуда в Саксонии, в Польше, на Балтийском море, в Ливонии хозяйничают эти разбойники шведы, процветание народов невозможно... Юный друг мой, вы скоро поймете, — наш общий враг, посланный Богом за грехи наши, — не турки, но шведы... Они берут пошлину с каждого корабля в Балтийском море. Мы все трудимся, — они, как осы, живут грабежом. Страдаем не только мы, но Голландские штаты и Англия... А турки, турки! Они сильны лишь поддержкой Франции — этого ненасытного тирана, который узурпаторски протягивает руку к испанской короне Габсбургов... Дорогой друг, скоро вы будете свидетелем великой коалиции против Франции. Король Людовик Четырнадцатый стар, его знаменитые маршалы в могиле, Франция разорена непосильными налогами... У нее не найдется сил помогать турецкому султану... В международной игре карта Турции будет бита... Но Швеция, о, это опаснейший враг за спиной Московии.

Легко касаясь кончиками локтей стола, курфюрст теребил цветок яблони. Водянистые глаза его поблескивали. Озаренное свечами бритое лицо было бесовски умное.

Петр чувствовал, — оплетет его немец.

Выпил большой стакан вина.

— Хотел бы у ваших инженеров артиллерийской стрельбе поучиться...

— Весь парк к услугам вашего величества...

— Данке...

— Попробуйте глоточек вот этого мозельского вина...

— Данке. Нам еще рановато в европейскую кашу лезть, — турки нам в великую досаду...

— Только не рассчитывайте на помощь Польши, мой юный друг, — там пляшут под шведскую дудку...

— А мозельское вино доброе...

— Черное море вам ровно ничего не даст для развития торговли... Тогда как несколько гаваней на балтийском побережье раскроют перед Россией неисчислимые богатства.

Курфюрст кусал лепестки яблони, стальной взгляд его с невидимой усмешкой скользнул по смущенному лицу москвитина...

6

Всю последующую неделю до прибытия посольства Петр провел за городом, стреляя из пушек по мишеням. От главного артиллерийского инженера Штейтнера фон Штернфельда он получил аттестат:

«...Господина Петра Михайловича признавать и почитать за совершенного в метании бомб, и в теории науки и в практике, осторожного и искусного огнестрельного художника, и ему во внимание к его отличным сведениям оказывать всевозможное вспоможение и приятную благосклонность...»

Великие послы въехали в Кенигсберг столь пышно, как никогда и нигде того не случалось. Впереди поезда вели верховых лошадей под дорогими чепраками и попонами, за ними — прусские гвардейцы, пажи, кавалеры и рыцари. Оглушительно гремели русские трубачи. За ними шли тридцать волонтеров в зеленых кафтанах, шитых серебром. Верхами — посольские в малиновых кафтанах с золотыми гербами на груди и спине. В развалистой, кругом стеклянной карете ехали три посла — Лефорт, Головин и Возницын — в атласных белых шубах на соболях, с бриллиантовыми двуглавыми орлами на бобровых, как трубы, горлатных шапках. Сидели они, откинувшись, неподвижно, как истуканы, сверкая перстнями на пальцах и на концах тростей. За каретой — московские дворяне, надевшие на себя все, что было дорогого...

Пока шли приемы и переговоры с курфюрстом, Петр уехал кататься на яхте по Фришгафу. Дела здесь не было: сколько курфюрст ни хитер, — с Польшей союз был нужнее, чем с ним. Великие послы, не в пример прошлым временам, к словам и к букве не

цеплялись, в обычаях были обходчивы, только не захотели колени преклоненно целовать руку курфюрста, потому что-де еще не король. Предложили они союз не военный, а дружественный и на том уперлись. Курфюрст стал улаживать. Послы сказали: ладно, быть союзу военному, но воевать противу тех держав, кои отстанут от войны с Турцией. И это решение было противно курфюрсту, он поехал на яхту к Петру и проговорил с ним всю ночь. Но мальчишка только кусал грязные ногти. Под конец сказал:

— Да, ладно... Бумагу только не будем писать... Бude у тебя нужда, курфюрст, поможем, вот крест... Верить?

.....
Заклучив тайный словесный союзный договор (что все же пришлось закрепить на бумаге), великое посольство собралось к отъезду, но пришлось задержаться на три недели в Пилау из-за важнейшего известия: в Польше начались выборы нового короля. На сеймах и сеймиках шляхетство рубилось саблями и стреляло из пистолей, отстаивая кандидатов. Их нашлось более десяти человек, но главными и достоверными были Август, курфюрст саксонский, и принц Конти, брат французского короля.

Француз на польском престоле — значило отпадение Польши от союза против турок и война с Московией. Только здесь, на европейском берегу, Петр понял, что значит политическая игра. Из Пилау он послал гонца к Виниусу с приказом написать такое письмо полякам, чтобы как можно напугать партию французского принца. В Москву сочинили грамоту на имя кардинала примаса гнездинского. В ней говорилось: «...Когда бы в польском государстве француз королем стал, то не токмо против неприятеля святого креста союз, но и вечный мир с Польшей был бы зело крепко поврежден... Того ради мы, великий государь, имея ко государям нашим королям польским постоянную дружбу, также и к панам, раде и речи посполитой, такого короля с французской и турской стороны быти не желаем...» Грамоту подкрепили соболями и червонными. Из Парижа тоже прислали золото. Суетные поляки выбрали в короли и Августа и Конти. Началась смута. Паны вооружали челядь и мужиков, разбивали друг у друга хутора, жгли местечки. Петр в тревоге писал в Москву, чтоб двинули войско к литовской границе на подсобу Августу. Но Август сам явился в Польшу с двенадцатитысячным войском — садиться на престол. Французская партия была бита. Паны разъехались

по замкам, мелкое шляхетство — по шинкам. Принц Конти, — так стало известно в Европе, — доехав только до Булони, пожал плечами и вернулся к своим развлечениям. Король Август поклялся русскому резиденту в Варшаве, что будет заодно с Петром.

Великое дело закончилось благополучно. Послы и Петр с волонтерами покинули Пилау.

7

Петр ехал на перекладных впереди посольства, не останавливаясь, через Берлин, Бранденбург, Гальберштадт. Свернули только к знаменитым железным заводам близ Ильзенбурга. Здесь Петру показали выпуск чугуна из доменной печи, варку железа в горшках, ковку из тонких пластин ружейных стволов, обточку и сверление на станках, вертящихся от водяных колес. Работали цеховые мастера и подмастерья по своим кузницам и мастерским. Изделия сносились в замок Ильзенбург: ружья, пистолеты, сабли, замки, подковы. Петр подговорил было двух добрых мастеров ехать в Москву, но цех не отпустил их.

Ехали по дорогам, обсаженным грушами и яблонями, никто из жителей плодов сих не воровал. Кругом — дубовые рощи, прямоугольники хлебов, за каменными изгородями — сады, и среди зелени — черепичные крыши, голубятни. На полянах — красивые сытые коровы, блестят ручьи в бережках, вековые дубы, водяные мельницы. Проедешь две-три версты — городок, — кирпичная островерхая кирка, мощеная площадь с каменным колодцем, высокая крыша ратуши, тихие чистенькие дома, потешная вывеска пивной, медный таз цирюльника над дверью. Приветливо улыбающиеся люди в вязаных колпаках, коротких куртках, белых чулках... Старая добрая Германия...

В теплый июльский вечер Петр и Алексашка на переднем дормезе въехали в местечко Коппенбург, что близ Ганновера. Лаяли собаки, светили на дорогу окна, в домах садились ужинать. Какой-то человек в фартуке появился в освещенной двери трактира под вывеской: «К золотому поросенку» — и крикнул что-то кучеру. Тот остановил уставших лошадей, обернулся к Петру:

— Ваша светлость, трактирщик заколол свинью, и сегодня у него колбаски с фаршем... Лучше ночлега не найдем...

Петр и Меньшиков вылезли из дормеза, разминая ноги.

— А что, Алексашка, заведем когда-нибудь у себя такую жизнь?

— Не знаю, мин херц, — не скоро, пожалуй...

— Милая жизнь... Слышь, и собаки здесь лают без ярости... Парадиз... Вспомню Москву, — так бы сжег ее...

— Хлев, это верно...

— Сидят на старине, — ж...па сгнила... Землю за тысячу лет пахать не научились... Отчего сие? Курфюрст Фридрих — умный человек: к Балтийскому морю нам надо пробиваться — вот что... И там бы город построить новый — истинный парадиз... Гляди, — звезды здесь ярче нашего...

— А у нас бы, мин херц, кругом бы тут все обгадили...

— Погоди, Алексашка, вернись — дух из Москвы вышибу...

— Только так и можно...

Вошли в трактир. Над большим очагом и на дубовой балке под потолком висели окорока и колбасы, от пылающего хвороста блестела медная посуда, трактирщик низко кланялся, ухмыляясь красной, как кастрюля, рожей. Спросили пива, и только расположились закусывать, — с улицы вошел кавалер.

Был он в высокой — конусом — широкополой шляпе, в суконном плаще, задевающим за шпоры. Кивнул трактирщику, чтобы тот удалился, подскочнул, захватил спереди шляпу и начал раскланиваться, шпагой задирая плащ, летая по кухне. Петр и Алексашка, разинув рты, глядели на него. Кавалер сказал на мягком наречии:

— Ее светлость курфюрстина ганноверская, Софья, с дочерью Софьей Шарлоттой, курфюрстиной бренденбургской, и сыном кронпринцем Георгом Людовиком, августейшим наследником английского престола, и герцогом Цельским, также придворными ее светлости дамами и кавалерами, — покинув Ганновер, поспешили навстречу вашему царскому величеству с единственным намерением вознаградить себя за утомительную дорогу и неудобства ночлега — знакомством с необыкновенным и славным царем московским...

Коппенштейн, — таково было имя кавалера, — просил Петра пожаловать к ужину: курфюрстина с дочерью не садятся за стол, ожидая гостей... Петр половину только понял из сказанного и до того испугался, — едва не дернул на улицу...

— Не могу, — сказал, заикаясь, — зело тороплюсь... Да и время позднее... Назад когда из Голландии поеду, тогда разве...

Плащ и шляпа Коппенштейна опять полетели по кухне. Он настаивал, не смущаясь. Алексашка шепнул по-русски:

— Не отвяжется... Лучше сходи на часок, мин херц, — немцы обидчивы...

Петр с досады оторвал пуговицу на камзоле. Согласился с условием, чтобы их с Алексашкой провели как-нибудь задним ходом, в безлюдстве, и чтоб за столом была одна курфюрстина, в крайности — с дочерью. Нахлобучил на глаза пыльный треух, с тоской взглянул на колбасы под очагом.

На улице ждала карета.

8

Курфюрстина Софья с дочерью Софьей Шарлоттой сидели у накрытого к ужину стола, перед камином, занавешенным из-за уродства китайской тканью. Мать и дочь мужественно терпели все неудобства в средневековом замке, предоставленном им местным помещиком. Несколько современных шпалер и ковров едва прикрывали облупленные кирпичные стены, где высоко под сводами несомненно водились совы. Спешно добытые хозяином шелковые креслица стояли на плитчатом полу, истертом сапогами рыжебородых рыцарей и подковами рыцарских жеребцов. Отовсюду пахло мышами и пылью. Дамы содрогнулись при мысли о грубости нравов, слава Создателю, — исчезнувших навсегда. Их взор утешала висевшая на ржавом крюке, предназначенном для щитов и панцирей, большая картина, она изображала роскошное изобилие: прилавок с грудой морских рыб и лангустов, связки битой птицы, овощи и фрукты, кабаны, пораженные копьями... Краски излучали солнечный свет...

Живопись, музыка, поэзия, игра живого ума, устремленного ко всему утонченному и изящному, — вот единственное достойное содержание мимолетной жизни: так думали мать и дочь. Они были образованнейшими женщинами в Германии. Обе состояли в переписке с Лейбницем¹, говорившим: «Ум этих женщин настолько пытлив, что иногда приходится капитулировать перед их глубоко-мысленными вопросами». Покровительствовали искусствам и словесности. Софья Шарлотта основала в Берлине академию

¹ Лейбниц Готфрид Вильгельм — знаменитый немецкий философ, математик, физик, историк и дипломат.

наук. На днях курфюрст Фридрих с добродушным остроумием сообщил им в письме впечатления о царе варваров, путешествующем под видом плотника. «Московия, как видно, пробуждается от азиатского сна. Важно, чтобы ее первые шаги были направлены в благотельную сторону». Мать и дочь не любили политики, их привело в Коппенбург благороднейшее любопытство.

Курфюрстина Софья сжимала худыми пальцами подлокотник кресла. Она прислушивалась, — за окном, раскрытым в ночной сад, сквозь шорох листвы чудился стук колес. Вздрагивали нитки жемчугов на ее белом парике, натянутом на каркас из китового уса, столь высокий, что, даже подняв руки, она не могла бы коснуться его верхушки. Курфюрстина была худа, вся в морщинах, недостаток между нижними зубами залеплен воском, кружева на вырезе лилового платья прикрывали то, что не могло уже соблазнять. Лишь черные большие глаза ее светились живым лукавством.

Софья Шарлотта, с темным, как у матери, взором, но более покойным, была красива, величественна и бела. Умный лоб под напудренным париком, блистающие плечи и грудь, открытая почти до сосков, тонкие губы, сильный подбородок... Немного вздернутый нос ее заставлял внимательно вглядеться в лицо, ища скрытого легкомыслия.

— Наконец-то, — сказала Софья Шарлотта, поднимаясь, — подъехали.

Мать опередила ее. Обе, шумя шелком, подошли к глубокой, в толще стены, нише окна. По дорожке сада стремительно шагла, размахивая руками, длинная тень, за ней попевала вторая — в плаще и шляпе конусом, подальше — третья.

— Это он, — сказала курфюрстина, — Боже, это великан...

Дверь отворил Коппенштейн.

— Его царское величество!

Появилась косолапая нога в пыльном башмаке и шерстяном чулке, — боком вошел Петр. Увидя двух дам, озаренных свечами, пробормотал: «Гутен абенд...» Поднес руку ко лбу, будто что-бы потерять, совсем смутился и закрыл лицо ладонью.

Курфюрстина Софья подошла на три шага, приподняла кончиками пальцев платье и с легкостью, не свойственной годам, сделала реверанс.

— Ваше царское величество, добрый вечер...

Софья Шарлотта так же, подойдя на ее место, лебединым движением отнесла вбок прекрасные руки, приподняла пышные юбки, присела.

— Ваше царское величество простит нам то законное нетерпение, с каким мы стремились увидеть юного героя, повелителя бесчисленных народов и первого из русских, разбившего губительные предрассудки своих предков.

Отдирая руку от лица, Петр кланялся, складывался, как жердь, и видел, что смешон до того, — вот-вот дамы зальются обидным смехом. Смущение его было крайнее, немецкие слова выскочили из памяти.

— Их кан ниht шпрехен... Я не могу говорить, — бормотал он упавшим голосом... Но говорить не пришлось. Курфюрстина Софья задала сто вопросов, не ждя ответа: о погоде, о дороге, о России, о войне, о впечатлениях путешествия, просунула руку ему под локоть и повела к столу. Сели все трое — лицом к мрачному залу с темными сводами.

Мать положила жареную птичку, дочь налила вина. От женщин пахло сладкими духами. Старушка, разговаривая, ласково, как мать, касалась сухонькими пальчиками его руки, еще судорожно сжатой в кулак, ибо ногтей своих он застыдился на снежной скатерти среди цветов и хрусталя. Софья Шарлотта угощала его с приятной обходительностью, приподнимаясь, чтобы дотянуться до кувшина или блюда, — оборачиваясь с прельстительной улыбкой:

— Откушайте вот этого, ваше величество... Право, это стоит того, чтобы вы откушали...

Не будь она так красива и гола, не шурши ее надушенное платье, — совсем бы сестра родная. И голоса у них были как у родных. Петр перестал топорщиться, начал отвечать на вопросы. Курфюрстины рассказывали ему о знаменитых фламандских и голландских живописцах, о великих драматургах при французском дворе, о философии и красоте. О многом он не имел понятия, переспрашивал, дивился...

— В Москве — науки, искусства! — сказал он, лягнув ногой под стол. — Сам их здесь только увидел... Их у нас не заводили, боялись... Бояре наши, дворяне — мужичье сиволапое — спят, жрут да молятся... Страна наша мрачная. Вы бы там со страху дня не прожили. Сижу здесь с вами, — жутко оглянуться... Под одной

Москвой — тридцать тысяч разбойников... Говорят про меня — я много крови лью, в тетрадах подметных, что-де я сам пытаю...

Рот у него скривился, щека подскочила, выпуклые глаза на миг остекленели, будто не стол с яствами увидел перед собой, а кислую от крови избу без окон в Преображенской слободе. Резко дернул шеей и плечом, отмахиваясь от видения... Обе женщины с испуганным любопытством следили за изменениями лица его...

— Так вы тому не верьте... Больше всего люблю строить корабли... Галера «Принкипиум» от мачты до киля вот этими руками построена (разжал наконец кулаки, показал мозоли)... Люблю море и очень люблю пускать потешные огни. Знаю четырнадцать ремесел, но еще плохо, за этим сюда приехал... А про то, что зол и кровь люблю, — врут... Я не зол... А пожить в Москве, каждый бешеным станет... В России все нужно ломать, — все заново... А уж люди у нас упрямы! — на ином мясо до костей подкнутом слезет... — Запнулся, взглянул в глаза женщин и улыбнулся им виновато: — У вас королями быть — разлюбезное дело... А ведь мне, мамаша, — схватил курфюрстину Софью за руку, — мне нужно сначала самому плотничать научиться.

Курфюрстины были в восторге. Они прощали ему и грязные ноги и то, что вытирал руки о скатерть, чавкал громко, рассказывая о московских нравах, ввертывал матросские словечки, подмигивал круглым глазом и для выразительности пытался не раз толкнуть локтем Софью Шарлотту.

Все, — даже чудившаяся его жестокость и девственное непонимание иных проявлений гуманности, — казалось им хотя и страшноватым, но восхитительным. От Петра, как от сильного зверя, исходила первобытная свежесть. (Впоследствии курфюрстина Софья записала в дневнике: «Это — человек очень хороший и вместе очень дурной. В нравственном отношении он — полный представитель своей страны».)

От шипучего вина, от близости таких умных и хороших женщин Петр развеселился. Софья Шарлотта пожелала представить ему дядю, брата и двор. Петр полез в карман за трубкой, странно улыбаясь маленьким ртом, кивнул: «Ладно, валяйте...» Вошли герцог Цельский, сухой старик, с испанской, каких теперь уже не носили, седой бородкой и закрученными усами волокиты и дуэлиста, кронпринц — вялый, узколицый юноша

в черном бархате; пестрые и пышные дамы и кавалеры; широкоплечий красавец Алексашка, окруженный фрейлинами, — этот всюду был дома, — и послы: Лефорт и толстый Головин, наместник Сибирский. (Они нагнали в Коппенбурге царский дормез и, узнавши, где Петр, в великом страхе, не поевши, не переодевшись, поспешили в замок.)

Петр обнял герцога, подняв под мышки, поцеловал в щеку будущего английского короля, согнул руку коромыслом и бойко поклонился придворным. Дамы враз присели, кавалеры запрыгали со шляпами.

— Алексашка, прикрой дверь покрепче, — сказал он по-русски. Налил вином бокал, без малого — с кварту, кивком подозвал ближайшего кавалера и — опять со странной улыбкой:

— Отказываться по русскому обычаю от царской чаши нельзя, пить всем — и дамам и кавалерам по полной...

Словом, веселье началось, как на Кукуе. Появились итальянские певцы с мандолинами. Петр захотел танцевать. Но итальянцы играли слишком мягко, тягуче. Он послал Алексашку в трактир, в обоз за своими музыкантами. Пришли преображенские дудошники и рожечники, — все в малиновых рубашках, стриженные под горшок, — стали, как истуканы, у стены и ударили в ложки, в тарелки, заиграли на коровьих рогах, деревянных свистелках, медных дудах... Под средневековыми сводами отродясь не раздавалось такой дьявольской музыки. Петр подтопывал, вертел глазами:

— Алексашка, жги!

Меньшиков повел плечами, повел бровями, соскучился лицом и пошел с носка на пятку. Софья пожелала видеть, как танцует Петр. Он шепотно взял старушку за пальцы, повел ее лебедью. А посадив, выбрал толстенькую — помоложе и начал выписывать ногами курбеты. Лефорт взялся распоряжаться танцами. Софья Шарлотта выбрала толстого Головина. Подоспевшие из сада волонтеры разобрали дам и хватили вприсядку с вывертами, татарскими бешеными взвизгами. Крутились юбки, растрепались парики. Всыпали поту немкам. И многие дивились, — отчего у дам жесткие ребра? Спросил и Петр об этом у Софьи Шарлотты. Курфюрстина не поняла сначала, потом смеялась до слез:

— Сие не ребра, а пружины да кости в наших корсетах...

КНИГА II

Глава 1

3

Князь Роман, княж Борисов, сын Буйносов, а по-домашнему — Роман Борисович, в одном исподнем сидел на краю постели, кряхтя, почесывался — и грудь и под мышками. По старой привычке лез в бороду, но отдергивал руку: брито, колко, противно... Уа-ха-ха-ха-а-а... — позевывал, глядя на небольшое оконце. Светало, — мутно и скучно.

В прежние года в этот час Роман Борисович уж вдевал бы в рукава кунью шубу, с честью надвигал до бровей бобровую шапку, — шествовал бы с высокой тростью по скрипучим переходам на крыльцо. Дворни душ полтора, кто у возка — держат коней, кто бежит к воротам. Весело рвали шапки, кланялись поясным махом, а те, кто стоял поближе, лобызали ножки боярину... Под ручки, под бочки подсаживали в возок... Каждое утро, во всякую погоду, ехал Роман Борисович во дворец — ждать, когда государевы светлые очи (а после — царевнины очи пресветлые) обратятся на него. И не раз того случая дожидался...

Все минуло! Проснешься — батюшки! неужто минуло? Дико и вспомнить: были когда-то покой и честь... Вон висит на тесовой стене — где бы ничему не висеть — голландская, ради адского соблазна писанная, паскудная девка с задранным подолом. Царь велел в опочивальне повесить не то на смех, не то в наказание. Терпи...

Князь Роман Борисович угрюмо поглядел на платье, брошенное с вечера на лавку: шерстяные, бабы, поперек полосатые чулки, короткие штаны жмут спереди и сзади, зеленый, как из жести, кафтан с галуном. На гвозде — вороной парик, из него палками пыль-то не выколотишь. Зачем все это?

— Мишка! — сердито закричал боярин. (В низенькую, обитую красным сукном дверцу вскочил бойкий паренек в длинной православной рубашке. Махнул поклон, откинул волосы.) — Мишка, умыться подай. (Паренек взял медный таз, налил воды.) Прилично держи лохань-та... Лей на руки...

Роман Борисович больше фыркал в ладони, чем мылся, — противно такое бритое, колючее мыть... Ворча, сел на постель, чтобы надела портки. Мишка подал блюдо с мелом и чистую тряпочку.

— Это еще что? — крикнул Роман Борисович.

— Зубы чистить.

— Не буду!

— Воля ваша... Как царь-государь говорил надясь зубы чистить, — боярыня велела каждое утро подавать...

— Кину в морду блюдцем... Разговорчив стал...

— Воля ваша...

Одевшись, Роман Борисович подвигал телом, — жмет, тесно, жестко... Зачем? Но велено строго, — дворянам всем быть на службе в немецком платье, при алонжевом парике... Терпи!.. Снял с гвоздя парик (неизвестно — какой бабы волосы), с отворачиванием наложил. Мишку (полез было поправить круто завитые космы) ударил по руке. Вышел в сени, где трещала печь. Снизу, из поварни (куда уходила крутая лестница), несло горьким, паленым.

— Мишка, откуда вонища? Опять кофей варят?

— Царь-государь приказал боярыне и боярышням с утра кофей пить, так и варим...

— Знаю... Не скаль зубы...

— Воля ваша...

Мишка открыл обитую сукном дверцу в крестовую палату. Роман Борисович, достойно крестясь, подошел к аналою. На бархате раскрыт закапанный воском часослов. Снял нагар со свечечки. Вздел круглые железные очки. Лизнул палец, перевернул страницу и задумался, глядя в угол, где едва поблескивали оклады на иконах: горел один только зеленый огонек перед Николаем-чудотворцем...

Было отчего задуматься... Ведь так если дальше пойдет, — всем великим родам, княжеским и дворянским, разорение, а про бесчестье и ругательство говорить не приходится. «Ишь ты, — взялись дворянство искоренять! Искорени... При Иване Грозном пробовали так-то — разорять княженицкие фамилии... Получилась гиль, смута... И ныне будет гиль... Становой хребет государству — мы... Разори нас, — и государства нет, жить незачем... Холопами, что ли, царь, будешь управлять?.. Чепуха!.. Молод еще, слаб разумом, да и тот, видно, на Кукуе пропил...»

Роман Борисович поправил очки, начал читать — гнусливо, по чину. Но мысли гуляли мимо строчек...

«Дворни пятьдесят душ взяли в солдаты... Пятьсот рублей взяли на воронежский флот... В воронежской вотчине хлеб за гроши взяли в казну, — все амбары вычистили. Пшеницы было за три года урожая, — ждал, когда цену дадут... (От резкой досады горько стало во рту.) Теперь слышно — у монастырей вотчины будут отбирать, все доходы брать в казну... Солонины велено заготовить десять бочек... Ах, Боже мой, солонина-то им зачем?..»

Читал. За слюдяным, в свинцовой раме, окошечком зеленело утро. Мишка у двери бил поклоны...

«На Масленой бесчестили великие фамилии!.. По триста человек ряженных налетало, — в полночь, а то и позднее. Страх-то какой! Рожи сажей вымазаны. Пьяные. Не разберешь, где тут и царь. Сожрут, напьются, наблюют, дворовым девкам подолы обдерут... Кричат козлами, петухами, птицами».

Роман Борисович переступил с ноги на ногу, — вспомнил, как в последний день его, напоивши вином до изумления, спустив штаны, посадили в лукошко с яйцами... И не смешно вовсе... Жена видела. Мишка видел... «Ох, Господи! Зачем? К чему это?»

Роман Борисович с натугой размышлял: в чем же причина бедствию? За грехи, что ли? В Москве шепчут, — в мир-де пришел лстец. Католики и лютеране — его слуги, иноземные товары — все с печатью антихристовою. Настал-де конец света.

Искривясь красноватым лицом на огонек свечечки, Роман Борисович сомневался. «Невероятно... Господь не допустит пропасть русскому дворянству. Обождать да потерпеть. Эх-хе-хе...»

Усердно помолясь, сел под сводом у окна за столик, покрытый ковром. Разогнув немалой толщины тетрадь, где было записано все касательно — кому дано в долг, с кого взыскано, с какой деревеньки взято деньгами, или хлебом, или запасами, — медленно перелистывал страницы, шевелил обритыми губами.

В палату вошел старший приказчик Сенка, взысканный из кабальных холопов за пронырливый ум и великую злость к людям. Чистый был цепной кобель: до последней полушки выколачивал боярское добро. Крал, конечно, хотя — в меру, по совести, и — хоть режь его — никогда в воровстве не сознавался. Роман Борисович не раз, ухватя его за дремучую бороду на толстых жабрах, возил и бил затылком о стену: «Украл, ведь украл, сознавайся!..» Сенка, не моргая, рыжими глазами глядел на боярина, как на Бога. Только, когда оставят его

бить, отогнет полу сермяжного кафтана, высморкает мягкий нос, заплачет.

— Напрасно, Роман Борисович, слуг бьешь так-то. Бог тебя простит, я перед тобой ни в чем не виноват...

Сенка влез бочком в чуть приоткрытую дверь, перекрестился на Николая-чудотворца, поклонился боярину и стал на колени.

— Ну, Сенка, что скажешь хорошего?

— Все слава Богу, Роман Борисович.

Сенка, стоя на коленях, вздев глаза к потолку, начал докладывать наизусть — с кого сколько было получено за вчерашний день, откуда и что привезено, кто остался должен. Двоих мужиков, злых недоимщиков, Федьку и Коську, привел из сельца Иваньково и со вчерашнего вечера поставил на дворе на правёж...¹

Роман Борисович удивился, приоткрыл рот, — неужто не хотят платить? Сунулся в тетрадь: Федька в прошлом году взял шестьдесят рублей, — избу-де новую справить, да сбрую, да ле-мех новый, да на семена... Коська взял тридцать семь рублей с полтиной, тоже, видно, врал, что на хозяйство...

— Ах, сволочи, ах, мошенники! Ты бить-то их велел батогами?

— С вечера бьют, — сказал Сенка, — двое приставлены к каждому — бить без пощады... Что ж, Роман Борисович, батюшка, вам горевать: Федька с Коськой не заплатят, — против их долга у нас кабальные расписки, — возьмем обоих в кабалу лет на десять. Нам рабы нужны...

— Деньги мне нужны, не рабы! — Роман Борисович бросил на стол гусиное перо. — Рабов пой-корми — царь опять в солдаты возьмет...

— Деньги нужны — сделайте, как у Ивана Артемича, у Бровкина: поставил у себя полотняный завод в Замоскворечье, сдает в казну парусное полотно. От денег мошна лопается...

— Да, слышал... Врешь ты, чай, все.

Бровкинский полотняный завод давно не давал покою Роману Борисовичу. Сенка чуть не каждый день поминал про него: явно хотел на этом деле уворовать не мало. А вот Нарышкин, Лев Кириллович (дядя государев), тот поступает вернее: деньги дает в Немецкой слободе одному голландцу, Ван-дер-Фику,

¹ Пытка, которой подвергали должников, покуда не заплатят.

и тот посылает их в Амстердам на биржу в рост, и Нарышкину с тех денег на каждый год идет с десяти тысяч шестьсот рублей одного роста. «Шесть сот рублей — не пито, не едено!..»

— Жили деды, забот не ведали, — проговорил Роман Борисович. — А государство крепче стояло. (Надел в рукава поданную Сенкой шубу на бараньем меху.) С государем сидели, думу думали, — вот какие были наши заботы... А тут не рад и проснуться...

Роман Борисович пошел по лестницам, — вниз и вверх, — по холодным переходам. По пути отворил забухшую дверь, — оттуда пахло кислым, горячим паром, в глубине едва были видны при горевшей лучине четыре мужика, — босые, в одних рубахах, — валявшие баранью шерсть.

— Ну, ну, работайте, работайте, Бога не забывайте, — сказал Роман Борисович. Мужики ничего не ответили. Идя далее, открыл дверь в рукодельную светлицу. Девки и девчонки, душ двадцать, встав от столов и пялец, поклонились в пояс. Боярин закрутил носом.

— Ну, тут у вас и дух, девки... Работайте, работайте, Бога не забывайте...

Заглянул Роман Борисович и в швальню и в кожевню, где в чанах кисли и дубились кожи. Угрюмые мужики-кожемяки мяли кожи руками... Сенка, вздув сальную свечу в круглом фонаре с дырочками, снимал тяжелые замки на чуланах и клетях, где хранились запасы. Все было в порядке. Роман Борисович спустился на широкий двор. Было уже светло, облачно. У колодца поили овец. От ворот до сеновала стояли возы с сеном. Мужики сняли шапки.

— Мужички, маловаты воза-то! — крикнул Роман Борисович...

Повсюду из ветхих изб и клетей, топившихся по-черному, шли дымки, сбиваясь ветром, — застилали двор. Повсюду — кучи золы и навоза. Морозное тряпье хлопало на веревках. Около конюшни, лицом к стене, понуро переминались два мужика без шапок. Из конюшни, завидев на крыльце боярина, торопливо выбежали рослые челядинцы, схватили с земли палки, стараясь, начали бить мужиков по заду и ляжкам...

— Ой, ой, Господи, за что?.. — стонали Федька и Коська...

— Так, так, за дело, всыпь еще, — поддакивал с крыльца Роман Борисович.

Федька, длинный, рябой, красный мужик, — обернувшись:

— Милостивец, Роман Борисович, да нет у нас... Ей-богу, хлеб до Рождества съели... Скотину, что ли, возьми, — разве можно эдакую муку терпеть...

Сенка сказал Роману Борисовичу:

— Скотина у него мелкая, худая, он врет... А можно взять у него девку, — в пол его долга. А остальное доработает.

Роман Борисович сморщился, отвернулся.

— Подумаю. Вечор потолкуем.

За дымами, за голыми деревьями постно ударил колокол. Над ржавыми главами поднялось воронье. «Ох, грехи тяжкие», — пробормотал Роман Борисович, оглянул еще раз хозяйство и пошел в столовую палату — пить кофей.

<...>

10

<...>

Много мелочей еще не было окончено. Не хватало гвоздей. Только вчера по ростепели пришла часть санного обоза с железом из Тулы. В кузницах работали всю ночь. Дорог был каждый день, чтобы успеть догнать по высокой воде тяжелые корабли до гирла Дона.

Пылали все горны. Кузнецы в прожженных фартуках, в соленых от пота рубахах, рослые молотобойцы, по пояс голые, с опаленной кожей, закопченные мальчишки, раздувающие мехи, — все валились с ног, отмахивали руки, почернели. Отдыхающие (сменялись несколько раз в ночь) сидели тут же: кто у раскрытых дверей жевал вяленую рыбу, кто спал на куче березовых углей.

Старший мастер Кузьма Жемов, присланный Львом Кирилловичем со своего завода в Туле (куда был взят из тульской тюрьмы — в вечную работу), покалечил руку. Другой мастер угорел и сейчас стонал на ночном ветерке, лежа около кузницы на сырых досках.

Наваривали лапы большому якорю для «Крепости». Якорь, подвешенный на блоке к потолочной матице, сидел в горне. Омахивая пот, свистя легкими, воздуходувы раскачивали рычаги шести мехов. Два молотобойца стояли наготове, опустив к ноге длинноручные молота. Жемов здоровой рукой (другая была замотана тряпкой) ковырял в углях, приговаривал:

— Не ленись, не ленись, поддай...

Петр в грязной белой рубаше, в парусиновом фартуке, с мазками копоти на осунувшемся лице, сжав рот в куриную гузку, осторожно длинными клещами поворачивал в том же горне якорную лапу. Дело было ответственное и хитрое — наварка такой большой части...

Жемов, — обернувшись к рабочим, стоящим у концов блока:

— Берись... Слушай... (И — Петру.) В самый раз, а то пережжем... (Петр, не отрывая выпуклых глаз от углей, кивнул, пошевелил клещами.) Быстро, навались... Давай!..

Торопливо перехватывая руками, рабочие потянули конец. Заскрипел блок. Сорокапудовый якорь пошел из горна. Искры взвились метелью по кузнице. Добела раскаленная якорная нога, щелкая окалиной, повисла над наковальней. Теперь надо было ее нагнуть, плотно уместить. Жемов — уже шепотом:

— Нагибай, клади... Клади плотнее... (Якорь лег.) Сбивай окалину. (Загорающимся венником стал смахивать окалину.) Лапу! (Обернувшись к Петру, закричал диким голосом.) Что ж ты! Давай!

— Есть!

Петр вымахнул из горна пудовые клещи и промахнулся по наковальне, — едва не выронил из клещей раскаленную лапу. Присев от натуги, ощерясь, наложил...

— Плотнее! — крикнул Жемов и только взглянул на молотобойцев. Те, выхаркивая дыхание, пошли бить кругами, с оттяжкой. Петр держал лапу, Жемов постукивал молотком — так-так-так, так-так-так. Жгучая окалина брызгала в фартуки.

Сварили. Молотобойцы, отдуваясь, отошли. Петр бросил клещи в чан. Вытерся рукавом. Глаза его весело сузились. Подмигнул Жемову. Тот весь собрался морщинами:

— Что ж, бывает, Петр Алексеевич... Только в другой раз эдак вот не вымахивай клещи-то, — так и человека можно задеть и непременно сваркой мимо наковальни попадешь. Меня тоже били за эти дела...

Петр промолчал, вымыл руки в чану, вытерся фартуком, надел кафтан. Вышел из кузницы. Остро пахло весенней сыростью. Под большими звездами на чуть сереющей реке шуршали льдины. Покачивался мачтовый огонь на «Крепости». Сунув руки в карманы, тихо посвистывая, Петр шел по берегу, у самой воды.

<...>

КНИГА III

Глава 2

5

Петр Алексеевич увидел сквозь табачный дым, сквозь частый переплет окна, что месяц со срезанным бочком, все время мчавшийся сквозь разорванные туманы, остановился и повис.

— Сиди, сиди, Данилыч, провожать не надо, схожу — подышу, вернусь.

Он встал из-за стола и вышел на крыльцо под Нептуна и грудастую деву с золотым горшком. Влетел в ноздри остро пахучий, мягкий ветер. Петр Алексеевич сунул трубку в карман. От стены дома — из-за колонны — отделился какой-то человек без шапки, в армяке, в лаптях, опустил на колени и поднял над головой лист бумаги.

— Тебе чего? — спросил Петр Алексеевич. — Ты кто? Встань, — указа не знаешь?

— Великий государь, — сказал человек тихим, проникающим голосом, — бьет тебе челом детинишка скудный и бедный, беззаступный и должный, Андрюшка Голиков... Погибаю, государь, смилуйся...

Петр Алексеевич сердито потянул носом, сердито взял грамоту, приказал еще раз — встать:

— От работы бегаешь? Болен? Водку на сосновых шишках вам выдают, как я велел?

— Здоров я, государь, от работы не бегаю, вожу камень и землю копаю, бревна пилю... Государь, сила чудная во мне пропадает... Живописец есмь от рода Голиковых — богомазов из Палехи. Могу парсуны писать, как бы живые лица человечьи, не стареющие и не умирающие, но дух живет в них вечно... Могу писать морские волны и корабли на них под парусами и в пушечном дыму, — весьма искусно...

Петр Алексеевич в другой раз фыркнул, но уже не сердито:

— Корабли умеешь писать? А — как тебе поверить, что не врешь?

— Мог бы сбегать, принести, показать, да — на стене написано, на штукатурке, и не красками — углем... Красок-то, кистей — нет. Во сне их вижу... За краски, хоть в горшочках с наперсток,

да за кисточек несколько, государь, так бы тебе отслужил — в огонь бы кинулся...

В третий раз Петр Алексеевич фыркнул коротким носом: «Пойдем?» — и, подняв лицо к месяцу, что светил на тонкий ледок луж, хрустевших под ботфортами, пошел, как всегда, стремительно. Андрей Голиков рысцой поспевал за ним, косясь на необыкновенно длинную тень от царя Петра, стараясь не наступить на нее.

Миновали площадь, свернули под редкие сосны, дошли до Большой Невки, где по берегу стояли, крытые дерном, низенькие землянки строительных рабочих. У одной из них Голиков — вне себя — кланяясь и причитая шепотом, отворил горбыльную дверь. Петр Алексеевич нагнулся, шагнул туда. Человек двадцать спало на нарах, — из-под полушубков, из-под рогож торчали босые ноги. Голый по пояс, большебородый человек сидел на низенькой скамеечке около светца с горящей лучиной, — латал рубаху.

Он не удивился, увидя царя Петра, воткнул иглу, положил рубаху, встал и медленно поклонился, как в церкви — черному лику.

- Жалуйся! — отрывисто сказал Петр. — Еда плохая?
- Плохая, государь, — ответил человек просто, ясно.
- Одеты худо?
- Осенью выдали одежонку, — за зиму — вишь — сносили.
- Хвораете?
- Многие хворают, государь, — место очень тяжелое.
- Аптека вас пользует?
- Про аптеку слыхали, точно.
- Не верите в аптеку?
- Да как тебе сказать, сами собой будто бы поправляемся.
- Ты откуда? По какому наряду пришел?
- Из города Керенска пришел, по третьему, по осеннему наряду... Мы — посадские. Тут, в землянке, мы все — вольные...

- Почему остался зимовать?
- Не хотелось на зиму домой возвращаться, — все равно с голоду выть на печи. Остался по найму, на казенном хлебе, — возим лес. А ты посмотри — какой хлеб дают. — Мужик вытащил из-под полушубка кусок черного хлеба, помял, поломал его в негнущихся пальцах. — Плесень. Разве тут аптека поможет?

Андрей Голиков тихонько переменял лучину в светце, — в низенькой, обмазанной глиной, местами лишь побеленной землян-

ке стало светлее. Кое-кто из-за рогожи поднял голову. Петр Алексеевич присел на нары, обхватил коленку, пронзительно, — в глаза, — глядел на бородатого мужика:

— А дома, в Керенске, что делаешь?

— Мы — сбитенщики. Да ныне мало сбитню стали пить, денег ни у кого нет.

— Я виноват, всех обобрал? Так?

Бородатый поднял, опустил голые плечи, поднялся, опустил медный крест на его тощей груди, — с усмешкой качнул головой:

— Пытаешь правду?.. Что ж, правду говорить не боимся, мы ломаные... Конечно, в старопрежние годы народ жил много легче. Даней и поборов таких не было... А ныне — все деньги да деньги давай... Платили прежде с дыму, с сохи, большей частью — круговой порукой, можно было договориться, поослобонить, — удобство было... Ныне ты велел платить всем подушно, все души переписал, — около каждой души комиссар крутится, земский целовальник, плати. А последние года еще, — сюда, в Питербург, тебе ставь в лето три смены, сорок тысяч земских людей... Легко это? У нас с каждого десятого двора берут человека, — с топором, с долотом или с лопатой, с поперечной пилой. С остальных девяти дворов собирают ему кормовые деньги — с каждого двора по тринадцати алтын и две денежки... А их надо найти... Вот и дери на базаре глотку: «Вот он, сбитень горячий!» Другой бы добрый человек и выпил, — в кармане ничего нет, кроме «спасиба». Сыновей моих ты взял в драгуны, дома — старуха да четыре девчонки — мал мала меньше. Конечно, государь, тебе виднее — что к чему...

— Это верно, что мне виднее! — жестко проговорил Петр Алексеевич. — Дай-ка этот хлеб-то. — Он взял заплесневелый кусок, разломил, понюхал, сунул в карман. — Пройдет Нева, привезут новую одежду, лапти. Муку привезут, хлеб будем печь здесь. — Он пошел было к двери, забыв про Голикова, но тот до того умоляюще метнулся, взглянул на него, Петр Алексеевич с усмешкой сказал: — Ну, богомаз? Показывай...

Часть стены между нарами, тщательно затертая и побеленная, была прикрыта рогожей. Голиков осторожно снял рогожу, подтащил тяжелый светец, зажег еще и другую лучину и, держа ее в дрожащей руке, возгласил высоким голосом:

— Вельми преславная морская виктория в усть Неве майя пятого дня, тысячу семьсот третьего года: неприятельская шня-

ва «Астрель» о четырнадцати пушек и адмиральский бот «Гедан» о десяти пушек сдаются господину бомбардиру Петру Алексеевичу и поручику Меньшикову.

На штукатуренной стене искусно, тонким углем, были изображены на завитых пеной волнах два шведских корабля, в пушечном дыму, окруженные лодками, с которых русские солдаты лезли на бордаж. Над кораблями из облака высывались две руки, держащие длинный вымпел со сказанной надписью. Петр Алексеевич присел на корточки. «Ну и ну!» — проговорил. Все было правильно, — и оснастка судов, и надутые пузырями паруса, и флаги. Он даже разобрал Алексашку с пистолетом и шпагой, лезущего по штурмовому трапу, и узнал себя, — принаряженного слишком, но — действительно — он стоял тогда под самой неприятельской кормой, на носу лодки, кричал и кидал гранаты.

— Ну и ну! Откуда же ты знаешь про сию викторию?

— Я тогда на твоей лодке был, гребцом...

Петр Алексеевич потрогал пальцем рисунок, — и верно, что уголь. (Голиков за спиной его тихо застонал.)

— Этак я тебя, пожалуй, в Голландию пошлю — учиться. Не сопьешься? А то я вас знаю, дьяволов...

...Петр Алексеевич вернулся к генерал-губернатору, опять сел на золоченый стул. Свечи догорали. Гости сильно уже подвыпили. На другом конце стола корабельщики, склоняясь головами, пели жалобную песню. Один Александр Данилович был ясен. Он сразу заметил, что у мин херца подергивается уголок рта, и быстро соображал — с чего бы это?

— На, закуси! — вдруг крикнул ему Петр Алексеевич, выхватывая из кармана кусок заплесневелого хлеба. — Закуси вот этим, господин генерал-губернатор!..

— Мин херц, тут не я виноват, хлебными выдачами ведает Голловкин, ему подавиться этим куском... Ах, вор, ах, бесстыдник!

— Ешь! — у Петра Алексеевича бешено расширились глаза. — Дерьмом людей кормишь — ешь сам, Нептун! Ты здесь за все отвечаешь! За каждую душу человечью...

Александр Данилович повел на мин херца томным, раскаянным взором и стал жевать эту корку, глотая нарочно с трудом, будто через слезы...

<...>

1929—1945

Вопросы и задания

1. Сопоставьте содержание рассказа «День Петра» с главами романа «Петр Первый» (*рубрика учебника «Самостоятельный анализ текста», раздел «Алексей Николаевич Толстой»*). Что свидетельствует об эволюции «петровской» темы от рассказа к роману?

2. Каким предстает Петр в различных эпизодах толстовского романа? Какие черты доминируют в личности царя-реформатора при всем разнообразии проявлений его характера? Выделите основные средства характеристики персонажа, к которым прибегает автор, рисуя образ Петра.

3. Как представлена в романе старая Русь? Какие черты последней собраны в образе боярина Буйносова? Какова роль приема контраста в изображении быта и нравов «петровского» и «боярского» лагерей?

4. Какое звучание обретает в «Петре Первом» традиционная для исторической прозы тема народа и власти? В чем проявилась противоречивость взаимоотношений «верхов» и «низов» в Петровскую эпоху? Какова идейно-художественная роль сцен-диалогов между Петром и кузнецом Жемовым, палехским живописцем Андреем Голиковым?

5. Как мастерство А.Н. Толстого — исторического романиста проявляется в построении сюжета, композиции романа, его языке и средствах художественной изобразительности? Прокомментируйте высказывание К. Чуковского об А.Н. Толстом и его романе: «...Как художник, как ведатель души человеческой, как воскреситель умерших эпох, он [Толстой] поднялся на новую ступень». Что нового внес А. Толстой в историческую романистику и в частности — в «петровскую» тему, к которой неоднократно обращались русские писатели-классики? (*См. статьи учебника «Рассказ «День Петра» (1918) как предыстория романа «Петр Первый», «Образ Петра и образ России в их драматичном единстве», «Свет мысли и воля Петра в характерах героев романа» и др., раздел «Алексей Николаевич Толстой».*)

Михаил Александрович ШОЛОХОВ 1905—1984

РОДИНКА

На столе — гильзы патронные, пахнущие сгоревшим порохом, баранья кость, полевая карта, сводка, уздечка наборная с душком лошадиного пота, краюха хлеба. Все это на столе, а на лавке тесаной, заплесневевшей от сырой стены, спиной плотно к подоконнику прижавшись, Николка Кошевой, командир эскадрона сидит. Карандаш в пальцах его, изящных, недвижимых. Рядом с давнишними плакатами, распластанными на столе, — анкета, наполовину заполненная. Шершавый лист скупко рассказывает: **Кошевой Николай. Командир эскадрона. Землероб. Член РКСМ.**

Против графы «Возраст» карандаш медленно выводит: **18 лет.**

Плечист Николка, не по летам выглядит. Старят его глаза в морщинках лучистых и спина, по-стариковски сутулая.

— Мальчишка ведь, пацаненок, куга зеленая, — говорят шутя в эскадроне, — а подыщи другого, кто бы сумел почти без урона ликвидировать две банды и полгода водить эскадрон в бои и схватки не хуже любого старого командира!

Стыдится Николка своих восемнадцати годов. Всегда против ненавистой графы «Возраст» карандаш ползет, замедляя бег, а Николкины скулы полыхают досадным румянцем. Казак Николкин отец, а по отцу и он — казак. Помнит будто в полусне, когда ему было лет пять-шесть, сажал его отец на коня своего служивского.

— За гриву держись, сынок! — кричал он, а мать из дверей стряпки улыбалась Николке, бледнея, и глазами широко раскрытыми глядела на ножонки, окарачившие острую хребтину коня, и на отца, державшего повод.

Давно это было. Пропал в германскую войну Николкин отец, как в воду канул. Ни слуху о нем, ни духу. Мать померла. От отца Николка унаследовал любовь к лошадям, неизмеримую отва-

гу и родинку, такую же, как у отца, величиной с голубиное яйцо, на левой ноге, выше щиколотки. До пятнадцати лет мыкался по работникам, а потом шинель длинную выпросил и с проходившим через станицу красным полком ушел на Врангеля. Летом нынешним купался Николка в Дону с военкомом. Тот, заикаясь и кривя контуженную голову, сказал, хлопая Николку по сутулой и черной от загара спине:

— Ты того... того... Ты счастли... счастливый! Ну да, счастливый! Родинка — это, говорят, счастье.

Николка ощерил зубы кипенные, нырнул и, отфыркиваясь, крикнул из воды:

— Брешешь ты, чудак! Я с малства сирота, в работниках всю жизнь гибнул, а он — счастье!..

И поплыл на желтую косу, обнимавшую Дон.

II

Хата, где квартирует Николка, стоит на яру над Доном. Из окон видно зеленое расплескавшееся Обдонье и вороненую сталь воды. По ночам в бурю волны стучатся под яром, ставни тоскуют, захлебываясь, и чудится Николке, что вода вкрадчиво ползет в щели пола и, прибывая, трясет хату.

Хотел он на другую квартиру перейти, да так и не перешел, остался до осени. Утром морозным на крыльцо вышел Николка, хрупкую тишину ломая перезвоном подкованных сапог. Спустился в вишневый садик и лег на траву, заплаканную, седую от росы. Слышно, как в сарае уговаривает хозяйка корову стоять спокойно, телок мычит требовательно и басовито, а о стенки цибарки вызванивают струи молока.

Во дворе скрипнула калитка, собака забрехала. Голос взводного:

— Командир дома?

Приподнялся на локтях Николка:

— Вот он я! Ну, чего там еще?

— Нарочный приехал из станицы. Говорит, банда пробилась из Сальского округа, совхоз Грушинский заняла...

— Веди его сюда...

Тянет нарочный к конюшне лошадь, потом горячим облитую. Посреди двора упала та на передние ноги, потом на бок, захрипела отрывисто и коротко и издохла, глядя стекленеющими глазами на цепную собаку, захлебнувшуюся злобным лаем. Потому

издохла, что на пакете, привезенном нарочным, стояли три креста и с пакетом этим скакал сорок верст не передыхая нарочный.

Прочитал Николка, что председатель просит его выступить с эскадроном на подмогу, и в горницу пошел, шашку цепляя, думал устало: «Учиться бы поехать куда-нибудь, а тут банда... Военком стыдит: мол, слова правильно не напишешь, а еще эскадронный... Я-то при чем, что не успел приходскую школу окончить? Чудак он... А тут банда... Опять кровь, а я уж уморился так жить... Опостылело все...»

Вышел на крыльцо, заряжая на ходу карабин, а мысли, как лошади по утопанному шляху, мчались: «В город бы уехать... Учиться б...»

Мимо издохшей лошади шел в конюшню, глянул на черную ленту крови, точившуюся из пыльных ноздрей, и отвернулся.

III

По кочковатому летнику, по колеям, ветрами облизанным, мышасть придорожник кучерявится, лебеда и пышатки густо и махровито лопушатся. По летнику сено когда-то возили к гумнам, застывшим в степи янтарными брызгами, а торный шлях улегся бугром у столбов телеграфных. Бегут столбы в муть осеннюю, белесую, через лога и балки перешагивают, а мимо столбов шляхом глянцевитым ведет атаман банду — полсотни казаков донских и кубанских, властью советской недовольных. Трое суток, как набедившийся волк от овечьей отары, уходит дорогами и целиною бездорожно, а за ним вназирку — отряд Николки Кошевого.

Отъявленный народ в банде, служивский, бывалый, а все же крепко призадумывается атаман: на стременах привстает, степь глазами излапывает, версты считает до голубенькой каемки лесов, протянутой по ту сторону Дона.

Так и уходят по-волчьи, а за ними эскадрон Николки Кошевого следы топчет.

Днями летними, погожими в степях донских, под небом густым и прозрачным звоном серебряным вызванивает и колышется хлебный колос. Это перед покосом, когда у ядреной пшеницы «гарновки» ус чернеет на колосе, будто у семнадцатилетнего парня, а жито дует вверх и норовит человека перерасти.

Бородатые станичники на суглинке, по песчаным буграм,azole левад засевают клинышками жито. Сроду не родится оно, издавна десятина не дает больше тридцати мер, а сеют потому, что из жита самогон гонят, яснее слезы девичьей; потому, что исстари так заведено, деды и прадеды пили, а на гербе казаков Области Войска Донского, должно, недаром изображен был пьяный казак, телешом сидящий на бочке винной. Хмелем, густым и ярым, бродят по осени хутора и станицы, нетрезво качаются красновехие папахи над плетнями из краснотала.

По тому самому и атаман дня не бывает трезвым, потому-то все кучера и пулеметчики пьяно кособочатся на рессорных танках.

Семь лет не видал атаман родных куреней. Плен германский, потом Врангель, в солнце расплавленный Константинополь, лагерь в колючей проволоке, турецкая фелюга со смолистым, соленым крылом, камыши кубанские, султанские и — банда.

Вот она, атаманова жизнь, коли назад через плечо оглянуться. Зачерствела душа у него, как летом в жарынь черствеют следы раздвоенных бычачьих копыт возле музги¹ степной. Боль, чудная и непонятная, точит изнутри, тошнотой наливает мускулы, и чувствует атаман: не забыть ее и не залить лихоманку никаким самогоном. А пьет — дня трезвым не бывает — потому, что пахуче и сладко цветет жито в степях донских, опрокинутых под солнцем жадной черноземной утробой, и смуглощечие жалмерки² по хуторам и станицам такой самогон вываривают, что с водой родниковой текучей не различить.

IV

Зарею стукнули первые заморозки. Серебряной проседью брызнуло на разлапистые листья кувшинок, а на мельничном колесе поутру заприметил Лукич тонкие разноцветные, как слюда, льдинки.

С утра прихворнул Лукич: покалывало в поясницу, от боли глухой ноги сделались чугунными, к земле липли. Шаркал по мельнице, с трудом передвигая несуразное, от костей отстающее тело. Из просорушки шмыгнул мышинный выводок; поглядел

¹ *Музга* — озерко, болотце.

² *Жалмерка* — здесь: жена ушедшего на службу казака.

кверху глазами слезливо-мокрыми: под потолком с переключенной голубь сыпал скороговоркой дробное и деловитое бормотание. Ноздрями, словно из суглинка вылепленными, втянул дед вязкий душок водяной плесени и запах перемолотого жита, прислушался, как нехорошо, захлебываясь, сосала и облизывала сваи вода, и бороду мочалистую помял задумчиво.

На пчельнике прилег отдохнуть Лукич. Под тулупом спал наискось, распахнувши рот, в углах губ бороду слюнявил слюной клейкой и теплой. Сумерки густо измазали дедову хатенку, в молочных лоскутьях тумана застряла мельница.

А когда проснулся — из лесу выехали двое конных. Один из них крикнул деду, шагавшему по пчельнику:

— Иди сюда, дед!

Глянул Лукич подозрительно, остановился. Много перевидал он за смутные годы таких вот вооруженных людей, бравших не спрашивая корм и муку, и всех их огулом, не различая, крепко недолюбливал.

— Живей ходи, старый хрен!

Промеж ульев долбленных двинулся Лукич, тихонько губами вылинявшими беззвучно зашамкал, стал поодаль от гостей, наблюдая искоса.

— Мы красные, дедок... Ты нас не бойся, — миролюбиво прошипел атаман. — Мы за бандой гоняемся, от своих отбились... Может, видел вчера, отряд тут проходил?

— Были какие-то.

— Куда они пошли, дедушка?

— А холера их ведает!

— У тебя на мельнице никто из них не остался?

— Нетути, — сказал Лукич коротко и повернулся спиной.

— погоди, старик. — Атаман с седла соскочил, качнулся на дуговатых ногах пьяно и, крепко дохнув самогоном, сказал: — Мы, дед, коммунистов ликвидируем... Так-то!.. А кто мы есть, не твоего ума дело! — Споткнулся, повод роняя из рук. — Твое дело зерна на семьдесят коней приготовить и молчать... Чтобы в два счета!.. Понял? Где у тебя зерно?

— Нетути, — сказал Лукич, поглядывая в сторону.

— А в этом амбаре что?

— Хлам, стало быть, разный... Нетути зерна!

— А ну, пойдем!

Ухватил старика за шиворот и коленом потянул к амбару ко-
собокому, в землю вросшему. Двери распахнул. В закромах пше-
ница и чернобылый ячмень.

— Это тебе что, не зерно, старая сволочуга?

— Зерно, кормилец... Отмол это... Год я его по зернушку соби-
рал, а ты конями потравить норовишь...

— По-твоему, нехай наши кони с голоду дохнут? Ты что же
это, за красных стоишь, смерть выпрашиваешь?

— Помилуй, жалкенький мой! За что ты меня? — Шапчонку
сдернул Лукич, на колени жмякнулся, руки волосатые атамано-
вы хватал, целуя...

— Говори: красные тебе любы?

— Прости, болезный!.. Извиняй на слове глупом. Ой, прости,
не казни ты меня, — голосил старик, ноги атамановы обнимая.

— Божись, что ты не за красных стоишь... Да ты не крестись,
а землю ешь!..

Ртом беззубым жует песок из пригоршней дед и слезами его
подмачивает.

— Ну, теперь верю. Вставай, старый!

И смеется атаман, глядя, как не встанет на занемевшие ноги ста-
рик. А из закровов тянут наехавшие конные ячмень и пшеницу,
под ноги лошадям сыпят и двор устилают золотистым зерном.

V

Заря в тумане, в мокрети мгливой.

Миновал Лукич часового и не дорогой, а стежкой лесной, од-
ному ему ведомой, затрусил к хутору через буераки, через лес,
насторожившийся в предутренней чуткой дреме.

До ветряка дотюпал, хотел через прогон завернуть в улочку,
но перед глазами сразу вспухли неясные очертания всадников.

— Кто идет? — окрик тревожный в тишине.

— Я это... — шамкнул Лукич, а сам весь обмяк, затрясся.

— Кто такой? Что — пропуск? По каким делам шляешься?

— Мельник я... С водянки тутошней. По надобностям в хутор
иду.

— Каки таки надобности? А ну, пойдем к командиру! Вперед
иди... — крикнул один, наезжая лошадью.

На шее почуял Лукич парные лошадиные губы и, прихрамы-
вая, засеменял в хутор.

На площади у хатенки, черепицей крытой, остановились. Провожатый кряхтя слез с седла, лошадь привязал к забору и, громыхая шашкой, взошел на крыльцо.

— За мной иди!..

В окнах огонек маячит. Вошли.

Лукич чихнул от табачного дыма, шапку снял и торопливо перекрестился на передний угол.

— Старика вот задержали. В хутор правился.

Николка со стола приподнял лохматую голову, в пуху и перьях, спросил сонно, но строго:

— Куда шел?

Лукич вперед шагнул и радостью поперхнулся:

— Родимый, свои это, а я думал — опять супостатники энти... Заробел дюже и спросить побоялся... Мельник я. Как шли вы через Митрохин лес и ко мне заезжали, еще молоком я тебя, касатик, поил... Аль запамятовал?..

— Ну, что скажешь?

— А то скажу, любезный мой: вчераь затемно наехали ко мне банды эти самые и зерно начисто стравили конями. Смывались надо мною... Старший ихний говорит: присягай нам, в одну душу, и землю заставил есть.

— А сейчас они где?

— Тамотко и есть. Водки с собой навезли, лакают, нечистые, в моей горнице, а я сюда прибег доложить вашей милости, может, хоть вы на них какую управу сыщете.

— Скажи, чтоб седлали!.. — С лавки привстал, улыбаясь деду, Николка и шинель потянул за рукав устало.

VI

Рассвело.

Николка, от ночей бессонных зелененький, подскакал к пулеметной двуколке:

— Как пойдем в атаку — лупи по правому флангу. Нам надо крыло ихнее заломить.

И поскакал к развернутому эскадрону.

За кучей чахлых дубков на шляху показались конные — по чetyре в ряд, тачанки в середине.

— Наметом! — крикнул Николка и, чуя за спиной нарастающий грохот копыт, вытянул своего жеребца плетью.

У опушки отчаянно застучал пулемет, а те на шляху быстро, как на учении, левой рассыпались.

Из бурелома на бугор выскочил волк, репьями увешанный. Прислушался, уткнув голову вперед. Невдалеке барабанили выстрелы, и тягучей волной колыхался разноголосый вой.

— Тук! — падал в ольшанике выстрел, а где-то за бугром, за пахотой эхо скороговоркой бормотало:

— Так!

И опять часто:

— Тук, тук, тук!..

А за бугром отвечало:

— Так! так! так!..

Постоял волк и не спеша, вперевадку, потянул в лог, в заросли пожелтевшей нескошенной куги...

— Держись!.. Тачанок не кидать!.. К перелеску... К перелеску... в кровину мать! — кричал атаман, привстав на стремена.

А возле тачанок уже суетились кучера и пулеметчики, обрубая постромки, и цепь, изломанная беспрестанным огнем пулеметов, уже захлестнулась в неудержимом бегстве.

Повернул атаман коня, а на него, раскрылатившись, скачет один и шашкой помахивает. По биноклю, метавшемуся на груди, по бурке догадался атаман, что не простой красноармеец скачет, и поводья натянул. Издалека увидел молодое безусое лицо, злобой перекошенное, и сузившиеся от ветра глаза. Конь под атаманом заплясал, приседая на задние ноги, а он, дергая из-за пояса зацепившийся маузер за кушак, крикнул:

— Щенок белогубый!.. Махай, махай, я тебе намахаю!..

Атаман выстрелил в нараставшую черную бурку. Лошадь, проскакав сажень восьмь, упала, а Николка бурку сбросил, стреляя, перебежал к атаману ближе, ближе...

За перелеском кто-то взвыл по-звериному и осекся. Солнце закрылось тучей, и на степь, на шлях, на лес, ветрами и осенью отерханный, упали плывущие тени.

«Неук, сосун, горяч, через это и смерть его тут налапает», — обрывками думал атаман и, выждав, когда у того кончилась обойма, поводья пустил и налетел коршуном.

С седла перевесившись, шашкой махнул, на миг ощутил, как обмякло под ударом тело и послушно сползло наземь. Соскочил атаман, бинокль с убитого сдернул, глянул на ноги, дрожавшие мелким ознобом, оглянулся и присел сапоги снять хромовые с мертвяка. Ногой упираясь в хрустящее колено, снял один сапог быстро и ловко. Под другим, видно, чулок закатился: не скидается. Дернул, злобно выругавшись, с чулком сорвал сапог и на ноге, повыше щиколотки, родинку увидел с голубиное яйцо. Медленно, словно боясь разбудить, вверх лицом повернул холодеющую голову, руки измазал в крови, выползавшей изо рта широким бугристым валом, всмотрелся и только тогда плечи угловатые обнял неловко и сказал глухо:

— Сынок!.. Николушка!.. Родной!.. Кровинушка моя... — Чернея, крикнул: — Да скажи же хоть слово! Как же это, а?

Упал, заглядывая в меркнувшие глаза; веки, кровью залитые, приподымал, тряс безвольное, податливое тело... Но накрепко закусил Николка посинелый кончик языка, будто боялся проговориться о чем-то неизмеримо большом и важном.

К груди прижимая, поцеловал атаман стынувшие руки сына и, стиснув зубами запотевшую сталь маузера, выстрелил себе в рот...

А вечером, когда за перелеском замаячили конные, ветер донес голоса, лошадиное фыркание и звон стремян, с лохматой головы атамана нехотя сорвался коршун-стервятник. Сорвался и растаял в сереньком, по-осеннему бесцветном небе.

1924

ЛАЗОРЕВАЯ СТЕПЬ

Над Доном, на облысевшем от солнечного жара бугре, под кустом дикого терна лежим мы: дед Захар и я. Рядом с чешуйчатой грядкой туч бродит коричневый коршун. Листья терна, пестро окрашенные птичьим пометом, не дают нам прохлады. От зноя в ушах горячий звон: когда смотришь вниз на курчавую рябь

Дона или под ноги на сморщенные арбузные корки — в рот набегает тягучая слюна, и слюну эту лень сплевывать.

В ложине, возле высыхающей музги, овцы жмутся в тесные кучи. Устало откинув зады, виляют захлюстанными курдюками, надрывно чихают от пыли. У плотины здоровенный ягнотище, упираясь задними ногами, сосет грязно-желтую овцу. Изредка поддает головой в материно вымя; овца стонет, горбится, припуская молоко, и, мне кажется, выражение глаз у нее страдальческое.

Дед Захар сидит ко мне боком. Скинув вязаную шерстяную рубаху, он подслеповато жмурится и ощупью что-то ищет в складках и швах. Деду без года семьдесят. Голая спина замысловато опутана морщинами, лопатки острыми углами выпирают под кожей, но глаза — голубые и юные, взгляд из-под серых бровей — проворен и колюч.

Пойманную вошь он с трудом держит в дрожащих зачерствелых пальцах, держит ее бережно, потом кладет на землю, подальше от себя, мелким крестиком чертит воздух и глухо бурчит:

— Уползай, тварь! Жить небось хочешь? А? То-то оно... Ишь ты, насосалась... помещица...

Кряхтя, напяливает дед рубаху и, запрокидывая голову, тянет из деревянной баклаги степлившуюся воду. Кадык при каждом глотке ползет вверх, от подбородка к горлу свисают две обмякшие складки, по бороде текут капельки, сквозь опущенные шафранные веки красновато просвечивает солнце.

Затыкая баклагу, он искоса глядит на меня и, перехватив мой взгляд, сухо жует губами, смотрит в степь. За ложинной дымкой теплится марево, ветер над обугленной землей пряно пахнет чабрецовым медом. Помолчав, дед отодвигает от себя пастушечью чакушу¹, обкуренным пальцем указывает мимо меня:

— Видишь, за энтим логом макушки тополев? Имение панов Томилиных — Тополевка. Там же около и мужичий поселок Тополевка, раньше крепостные были. Отец мой кучеровал у пана до смерти. Мне-то, оголыцу, он рассказывал, как пан Евграф Томилин выменял его за ручного журавля у соседа-помещика. После отцовской смерти я заступил на его место кучером. Самому пану в это время было под шестьдесят. Тўшистый был мужчина, многокровный. В молодости при царе в гвардии служил, а потом

¹ Чакуша — пастуший костыль.

кончил службу и уехал доживать на Дон. Землю ихнюю на Дону казаки отобрали, а пану казна отрезала в Саратовской губернии три тыщи десятин. Сдавал он их в аренду саратовским мужикам, сам проживал в Тополевке.

Диковинный был человек. Ходил завсегда в бешмете тонкого сукна, при кинжале. Поедет, бывало, в гости, выберемся из Тополевки, приказывает:

— Гони, хамлюга!

Я лошадям кнута. Скачем — ветер не поспевает слезы сушить. Попадется середь дороги ярк — водой вешней их нарежет через дорогу пропасть, — передних колес не слышно, а задние только — гах!.. Скрадем полверсты, пан ревет: «Поворачивай!» Оберну назад и во весь опор к тому ярку... Раз до трех в проклятушем побываем, покель изломаем лесбрину либо колеса с коляски живьем сымем. Тогда крякнет мой пан, встанет и идет пешки, а я следом коней в поводу веду. Была у него ишо такая забава: выедем из имения — он сядет со мной на козлы, вырвет кнут из рук: «Шевели коренного!..» Я коренника раскачиваю вовсю, дуга не шелохнется, а он кнутом пристяжную режет. Выезд был тройкой, в пристяжных ходили дончаки чистых кровей, как змеи, голову набок, землю грызут.

И вот он кнутом полосует какую-нибудь одну, сердяга пеной обливается... Потом кинжал вынет, нагнется и постромки — жик, как волос бритвой срежет. Лошадь-то саженья два через голову летит, грохнется обземь, кровь из ноздрей потоком — и готова!.. Таким способом и другую... Коренник до той поры прет, покуда не запалится, а пану хотя бы что, ажник повеселеет малость, кровица так и заиграет на щеках.

Сроду до места прибытия не доезжал: либо коляску обломает, либо лошадей погубит, а посля пёшки прет... Веселый был пан... Дело прошлое, пущай нас Бог судит... Присватался он к моей бабе, она в горничных состояла. Прибежит, бывало, в людскую — рубаха в шмотьях, ревет белугой. Гляну, а у ней все груди искусаны, кожа лентами висит... Раз как-то посылает меня пан в ночь за фершалом. Знаю, что надобности нету, смекнул, в чем дело, взял в степи ночи дождался и вернулся. В имение через гумно въехал, бросил лошадей в саду, взял кнут и иду в людскую, в свою каморку. Дверью рыпнул, серников нарочно не зажигаю, а слышу, что на кровати возня... Тольки это приподнялся мой

пан, я его кнутом, а кнут у меня был с свинчаткой на конце... Слышу, гребется к окну, я в потемках ишо раз его потянул через лоб. Высигнул он в окно, я маленько похлестал бабу и лег спать. Дён через пять поехали в станицу; стал я пристегивать полсть на коляске, а пан кнут взял и разглядывает конец. Вертел, вертел в руках, свинчатку нащупал и спрашивает:

— Ты, собачья кровь, на что свинец зашил в кнут?

— Вы сами изволили приказать, — отвечаю ему.

Промолчал и всю дорогу до первого ярка сквозь зубы посвистывает, а я обернусь этак мельком — вижу: волосы на лоб спущенные и фуражка глубоко надвинута...

Года через два паралик его задушил. Привезли в Усть-Медведицу, докторов поназвали, а он лежит на полу, почернел весь. Достает катериновки из кармана пачками, кидает на пол, хрипит в одну душу: «Лечите, гады! Всё отдам!..»

Царство небесное, помер с деньгами. Наследником сын-офицер остался. Махоньким был, так щенят, бывалоча, живьем свежует — обдерет и пустит. В папашу выродился. А подрост — перестал дурить. Высокий был, тонкий, под глазами сроду черные круги, как у бабы... Носил на носу очки золотые, на снурке очки-то. В германскую войну был начальником над пленными в Сибири, а после переворота объявился в наших краях. К тому времени у меня от покойного сына уж внуки были в годах; старшего, Семена, женил, а Аникушка ходил ишо в парубках. При них я проживал, концы жизни в узелочек завязывал... Весной обратно получился переворот. Выгнали наши мужики молодого пана из имения, в тот же день на обчестве Семка мужиков уговаривал панские угоды разделить и имущество забрать по домам. Так и сделали: добро растянули, а землю порезали на делянки и зачали пахать. Через неделю, а может, и меньше, дошел слух, что идет пан с казаками наш поселок вырезать. Сходом послали мы две подводы на станцию за оружием. На Страстной неделе привезли от Красной гвардии оружие, порыли за Тополевой кой окопы. Протянули их ажик до панского пруда.

Видишь, вон там, где чабрец растет круговинами, за энтой балкой и легли тополевы окопы. Были там и мои — Семка с Аникеем. Бабы с утра харчи им отнесли, а солнце в дуб — на бугре появилась конница. Рассыпались лавой, засинели шапки. С гумна видал я, как передний на белом коне махнул палашом и конные го-

рохом посыпались с бугра. По проходке угадал я белого панского рысака, а по коню узнал и седока... Два раза наши сбивали их, а на третий обошли казаки сзади, хитростью взяли, и пошла тут сеча... Заря истухла, кончился бой. Вышел я из хаты на улицу, вижу: гонят конные к имению кучу народу. Я — костыль в руки и туда.

Во дворе наши тополевские мужики сбились в кучу, не хуже как вот эти овцы. Кругом казаки... Подошел, спрашиваю:

— А скажите, братцы, где мои внуки?

Слышу, из середины откликаются обое. Потолковали мы промеж себя трошки; вижу, выходит на крыльцо пан.

Увидал меня и шумит:

— Это ты, дед Захар?

— Так точно, ваше благородие!

— Зачем пришел?

Подхожу к крыльцу, стал на колени:

— Внуков пришел из беды выручать. Поимей милость, пан! Папаше вашему, дай Бог царство небесное, век служил, вспомни, пан, мое усердие, пожалей старость!..

Он и говорит:

— Вот что, дед Захар, я очень уважаю твои заслуги перед моим папашей, но внуков твоих вызволить не могу. Они коренные смутьяны. Смирись, дед, духом.

Я ножки его обнял, ползу по крыльцу:

— Смилуйся, пан! Родимушка мой, вспомни, как дед Захар тебе услужал, не губи, у Семки мово ить дите грудное!

Закурил он пахучую папироску, дымверху пушает и говорит:

— Поди скажи им, мерзавцам, пушай придут ко мне в комнаты; ежели выпросят прощение — так и быть, ради папашиной памяти вкачу им розог и запишу в свой отряд. Может, они усердием и покروют свою страдную вину.

Я рысью во двор, рассказал внукам, тяну их за рукава:

— Идите, дурные, с земли не вставайте, покуда не простит!

Семен хоть бы голову поднял. Сидит на припечках и былкой землю ковыряет. Аникушка глядел-глядел на меня да как брякнет:

— Поди, — говорит, — к своему пану и скажи ему: мол, дед Захар на коленях всю жисть положил, и сын его положил, а внуки уже не хотят. Так и передай!

— Не пойдешь, сучий сын?

— Не пойду!

— Тебе, поганцу, жить-помирать — один алтын, а Семку куда тянешь? На кого бабу с дитем кинет?

Вижу, у Семена затряслись руки, копает землю былкой, ищет там неположенного, сам молчит. Молчит, как бык.

— Иди, дедушка, не квели нас, — просит Аникей.

— Не пойду, гад твоей морде! Анисья Семкина руки на себя наложит в случае чего!..

У Семена былка-то в руках хрусть — и сломилась.

Жду. Обратно молчат.

— Семушка, опомнись, кормилец мой! Иди к пану.

— Опомнились! Не пойдем! Иди полозь ты! — лютует Аникушка.

Я и говорю:

— Попрекаешь тем, что перед паном на коленках стоял? Что ж, я человек старый, вместо материной титьки панский кнут со-сал... Не погребую и перед родными внуками на колени стать.

Стал на колени, земно кланяюсь, прошу. Мужики отвернулись, быдто и не видят.

— Уйди, дед... Уйди, убью! — орет Аникушка, а у самого пена на губах и глаза дикие, как у заарканенного волка.

Повернулся я и опять к пану. Ножки его прижал к грудям — не отпихнет, руки закаменели, и уж слова не выговорю. Спрашивает:

— Где же внуки?

— Боятся, пан...

— А, боятся... — И больше ничего не сказал. Сапожком своим ударил меня прямо в рот и пошел на крыльцо.

Дед Захар задышал порывисто и часто; на минутку лицо его сморщилось и побелело; страшным усилием задушив короткое, старческое рыданье, он вытер ладонью сухие губы, отвернулся. В стороне за музгой коршун, косо распластав крылья, ударился в траву и приподнял над землей белогрудого стрепета. Перья упали снежными лохмотьями, блеск их на траве был нестерпимо резок и колюч. Дед Захар высморкался и, вытерев пальцы о подол вязаной рубахи, снова заговорил:

— Вышел я следом на крыльцо, глядь — Аниська Семенова с дитем бежит. Не хуже как этот коршун, вдарились она об мужа и пристыла у него на руках...

Подозвал пан вахмистра, указывает на Семена с Аникушкой. Вахмистр, с ним шесть казаков взяли их и повели в панскую ле-

ваду. Я следом иду, а Аниська дитя кинула посередь двора и за паном волокется. Семен попереди всех шибко-шибко идет, дошел до конюшни и сел.

— Ты чего это? — спрашивает пан.

— Сапог ногу жмет, мочи нет, — и улыбается.

Снял сапоги, подает мне:

— Носи, дедушка, на доброе здоровье. На них подошвы двойные, добрые.

Забрал я эти сапоги, опять идем. Поравнялись с огорожей, поставили внуков к плетню, казаки ружья заряжают, пан стоит около, ноготки на пальцах махонькими ножничками обрезают, и ручка ихняя очень белая. Говорю я ему:

— Дозвольте, пан, посымать им одежду. Одежа на них добрая, нам по бедности сгодится, сносим.

— Пушай сымают.

Снял Аникушка шаровары, вывернул наизнанку и повесил на колышек плетня. Из кармана вынул кисет, закурил, стоит, ногу отставил и дым колечками пускает, а плюет через плетень... Семен растелешился догола, исподники холщовые и то снял, а шапку-то позабыл снять, зная, замстило... Меня то морозом дерет, то в жар кинет. Лапну себя за голову, а пот зачем-то холодный, как родниковая вода... Гляну — стоят рядушком... У Семена грудь вся дремучим волосом поросла, голый, а на голове шапка... Анисья, по бабьему положению, глянула, что стоит муж такой нагий и в шапке, как кинется к нему, обвилась, ровно хмель вокруг дуба. Семен от себя ее отпихивает:

— Уйди, шалава!.. Опомнись, на людях-то!.. Повылазило тебе, не видишь, что я очень голый... совестно...

Она же раскосматилась, ревет в одну душу:

— Стреляйте обех нас!..

Пан ножнички свои положил в кармашек, спрашивает:

— Стрелять?

— Стреляй, проклятый!..

Это на пана-то!

— Привяжите ее к мужу! — приказывает.

Анисья опаматовалась да назад, ан не тут-то было. Казаки смеются, вяжут ее к Семену недоуздкой... Упала, глупая, наземь и мужа свалила... Пан подошел, скрозь зубы спрашивает:

— Может, ради дитя, какое осталось, попросишь прощенья?

— Попрошу, — стонает Семен.

— Ну, попроси, только у Бога... опоздал у меня просить!..

На земле лежачих их и побили... Аникушка после выстрелов закачался на ногах, но упал не сразу. Спервоначалу на колени, а потом резко обернулся и лег вверх лицом. Пан подошел, спрашивает очень ласково:

— Хочешь жить? Коли хочешь — проси прощенья. Так и быть, полсотни розог — и на фронт.

Набрал Аникушка слюней полон рот, а доплюнуть силов не хватило, по бороде потекли... Побелел весь от злости, только куда уж... три пули его продырявили...

— Перетяните его на дорогу! — приказывает пан.

Поволокли его казаки и кинули через плетень, поперек дороги. Тем часом в станицу из Тополевки ехала сотня казаков, при них две пушки. Пан на плетень, как кочет, вскочил, звонко кричит:

— Ездовый, ры-ысью, не объезжать!..

На мне волосы встали дыбом. Держу в руках Семенову одеялу и сапоги, а ноги не держат, гнутся... Лошади, они имеют Божью искру, ни одна на Аникушку не ступнула, сигают через... Припал я к плетню, глаза не могу закрыть, во рту спеклось... Колеса пушки попали на ноги Аникею... Захрустели они, как ржаной сухарь на зубах, измялись в тоненькие трощинки... Думал, помрет Аникей от смертной боли, а он хоть бы крикнул, хоть бы стон уронил... Лежит, голову плотно прижал, землю с дороги пригоршнями в рот пихает... Землю жует и смотрит на пана, глазом не сморгнет, а глаза ясные, светлые, как небушко...

Тридцать два человека в тот день расстрелял пан Томилин. Один Аникей живой остался через гордость свою...

Дед Захар пил из баклаги долго и жадно. Утирая выцветшие губы, нехотя dokonчил:

— Быльем поросло это. Остались одни окопы, в каких наши мужики землю себе завоевывали. Растет в них мурава да краснобыл степной... Аникею ноги отняли, ходит он теперь на руках, туловищу по земле тягает. С виду — веселый, с Семеновым парнишкой кажин день возле притолки меряются. Парнишка-то перерастает его... Зимой, бывало, вылезет на проулок, люди скотину к речке гонят поить, а он подымет руки и сидит на дороге...

Быки со страху на лед побегут, на сколизи чуть не раздираются, а он смеется... Один раз лишь заприметил я... Весной трактор нашей коммуны землю нахал за казачьей гранью, а он увязался, поехал туда. Я овец пас неподалеку. Гляжу, полозит мой Аникей по пахоте. Думаю, что он будет делать? И вижу: оглянулся Аникей, кругом, видит, людей вблизи нету, так он припал к земле лицом, глыбу, лемешами отвернутую, обнял, к себе жмет, руками гладит, целует... Двадцать пятый год ему, а землю сроду не придется пахать... Вот он и тоскует...

В дымчато-синих сумерках дремала лазоревая степь, на круговинах отцветающего чабреца последнюю за день взятку брали пчелы. Ковыль, белобрысый и напыщенный, надменно качал султанистыми метелками. Овечья отара двигалась под гору к Тополевке. Дед Захар, опираясь на чакушу, шел молча. По дороге, на заботливо расшитом полотнище пыли, виднелись следы: один волчий, шаг в шаг, редкий и разлапистый, другой — косыми полосами кромсавший дорогу — след тополевого трактора.

Там, где летник вливается в заросший подорожником позабытый Гетманский шлях, следы расстались. Волчий свернул в сторону, в яры, залохматевшие зеленой ненролазью бурьяна и терновника, а на дороге остался один след, пахнувший керосиновой гарью, размеренный и грузный.

1926

ТИХИЙ ДОН (Отрывки)

Книга I

Часть 1

XVI

Только после того как узнал от Томилина про Аксинью, понял Степан, вынашивая в душе тоску и ненависть, что, несмотря на плохую жизнь с ней, на ту давнишнюю обиду, любил он ее тяжелой, ненавидящей любовью.

По ночам лежал в повозке, укрывшись шинелью, заломив над головою руки, думал о том, как вернется домой, как встретит его жена, и чувствовал, словно вместо сердца копошится в груди ядовитый тарантул... Лежал, готовя в уме тысячи подробностей расправы, и было такое ощущение, будто на зубах зернистый и крупный песок. Расплескал злобу в драке с Петром. Домой приехал вялый, поэтому-то легко отделалась Акусьня.

С того дня прижился в астаховском курене невидимый покойник. Акусьня ходила на цыпочках, говорила шепотом, но в глазах, присыпанный пеплом страха, чуть приметно тлел уголек, оставшийся от зажженного Гришкой пожара.

Вглядываясь в нее, Степан скорее чувствовал это, чем видел. Мучился. По ночам, когда в кухне над камелем засыпало мушиное стадо и Акусьня, дрожа губами, стлала постель, бил ее Степан, зажимая рот черной шершавой ладонью. Выспрашивал бесстыдно подробности о связи с Гришкой. Акусьня металась по твердой, с запахом овчины кровати, трудно дышала. Степан, приморившись истязать мягкое, как закрутевшее тесто, тело, шарил по лицу ее рукою, слез искал. Но щеки Акусьни были пламенно сухи, двигались под пальцами Степана, сжимаясь и разжимаясь, челюсти.

— Скажешь?

— Нет!

— Убью!

— Убей! Убей, ради Христа... Отмучаюсь... Не житье...

Стиснув зубы, Степан закручивал на жениной груди прохладную от пота тонкую кожу.

Акусьня вздрагивала, стонала.

— Больно, что ль? — веселел Степан.

— Больно.

— А мне, думаешь, не больно было?

Засыпал он поздно. Во сне, сжимаясь, двигал черными, пухлыми в суставах пальцами. Акусьня, приподнявшись на локте, подолгу глядела на красивое, измененное сном лицо мужа. Роняя на подушку голову, что-то шептала.

Гришки она почти не видела. Раз как-то у Дона повстречалась с ним. Григорий пригонял поить быков, поднимался по спуску, помахивая красненькой хворостинкой, глядя под ноги. Акусьня шла ему навстречу. Увидела и почувствовала, как похолодело под руками коромысло и жаром осыпала кровь виски.

После, вспоминая эту встречу, ей стоило немалых усилий, чтобы уверить себя, что это было наяву. Григорий увидел ее, когда она почти поравнялась с ним. На требовательный скрип ведер приподнял голову, дрогнул бровями и глупо улыбнулся. Акси́нья шла, глядя через его голову на зеленый, дышащий волнами Дон, еще дальше — на гребень песчаной косы.

Краска выжала из глаз ее слезы.

— Ксюша!

Акси́нья прошла несколько шагов и стала, нагнув голову, как под ударом. Григорий, злобно хлестнув хворостиной отставшего муругого быка, сказал, не поворачивая головы:

— Степан когда выедет жито косить?

— Зараз... запрягает.

— Проводишь — иди в наши подсолнухи, в займище, и я приду.

Поскрипывая ведрами, Акси́нья сошла к Дону. У берега желтым, пышным кружевом на зеленом подоле волны змеились пена. Белые чайки-рыболовы с криком носились над Доном.

Серебряным дождем сыпала над поверхностью воды мелочь-рыбешка. С той стороны, за белью песчаной косы, величаво и строго высились седые под ветром вершины старых тополей. Акси́нья, черпая воду, уронила ведро. Поднимая левой рукой юбку, забрела по колено. Вода защекотала натертые подвязками икры, и Акси́нья в первый раз после приезда Степана засмеялась, тихо и неуверенно.

Оглянулась на Гришку: так же помахивая хворостинкой, будто отгоняя оводов, медленно взбирался он по спуску.

Акси́нья ласкала мутным от прихлынувших слез взором его сильные ноги, уверенно попиравшие землю. Широкие Гришкины шаровары, заправленные в белые шерстяные чулки, алели лампасами. На спине его, возле лопатки, трепыхался клочок свежепорванной грязной рубахи, желтел смуглый треугольник оголенного тела. Акси́нья целовала глазами этот крохотный, когда-то ей принадлежавший кусочек любимого тела; слезы падали на улыбавшиеся побледневшие губы.

Она поставила на песок ведра и, цепляя дужку зубцом коромысла, увидела на песке след, оставленный остроносым Гришкиным чириком. Воровато огляделась — никого, лишь на дальней пристани купаются ребяташки. Присела на корточки и прикрыла ладонью след, потом вскинула на плечи коромысло и, улыбаясь на себя, заспешила домой.

Над хутором, задернутое кисейной полумглой, шло солнце. Где-то под курчавым табуном белых облачков сияла глубокая, прохладная пастбищная синь, а над хутором, над раскаленными железными крышами, над безлюдьем пыльных улиц, над дворами с желтым, выжженным сухменем травы висел мертвый зной.

Аксинья, плеская из ведер воду на растрескавшуюся землю, покачиваясь, подошла к крыльцу. Степан в широкополой соломенной шляпе запрягал в косилку лошадей. Поправляя шлею на дремавшей в хомуте кобыле, глянул на Аксинью.

— Налей воды в баклагу.

Аксинья вылила в баклагу ведро, обожгла руки о железные склепанные обручи.

— Леду бы надо. Степлится вода, — сказала, глядя на мокрую от пота спину мужа.

— Поди возьми у Мелеховых... Не ходи!.. — крикнул Степан, вспомнив.

Аксинья пошла затворять брошенную настежь калитку. Степан, опустив глаза, ухватил кнут.

— Куда?..

— Калитку прикрыть.

— Вернись, подлюга... сказано — не ходи!

Она торопливо подошла к крыльцу, хотела повесить коромысло, но дрогнувшие руки отказались служить — коромысло покатилося по порожкам.

Степан кинул на переднее сиденье брезентовый плащ; усаживаясь, расправил вожжи.

— Ворота отвори.

Распахнув ворота, Аксинья осмелилась спросить:

— Когда приедешь?

— К вечеру. Сложился косить с Аникушкой. Харчи ему отнеси. Из кузни придет — поедет на поля.

Мелкие колеса косилки, повизгивая, врезаясь в серый плюш пыли, выбрались за ворота. Аксинья вошла в дом, постояла, прижимая ладони к сердцу, и, накинув платок, побежала к Дону.

«А ну, как вернется? Что тогда?» — опалила мысль. Стала, словно под ногами увидела глубокий яр, поглядела назад и — чуть не рысью по-над Доном к займищу.

Плетни. Огороды. Желтая марь засматривающих солнцу в глаза подсолнухов. Зеленый в бледной цветени картофель. Вот шамилевские бабы, припоздав, допалывают картофельную

делянку; согнутые, в розовых рубашках спины, короткие взлеты мотыг, падающих на серую пахоть. Акси́нья, не переводя духа, дошла до мелеховского огорода. Оглянулась; скинув хворостинный кляч с устоя, открыла дверцы. По утоптанной стежке дошла до зеленого частокола подсолнечных будыльев. Пригибаясь, забралась в самую гущину, измазала лицо золотистой цветочной пылью; подбирая юбку, присела на расшитую повитью землю.

Прислушалась: тишина до звона в ушах. Где-то вверху одиноко гудит шмель. Полые, в щетинистом пушке будылья подсолнечников молча сосут землю.

С полчас сидела, мучаясь сомнением — придет или нет, хотела уж идти, привсталла, поправляя под платком волосы, — в это время тягуче заскрипели дверцы. Шаги.

— Аксютка!

— Сюда иди...

— Ага, пришла.

Шелестя листьями, подошел Григорий, сел рядом. Помолчали.

— В чем это у тебя щека?

Акси́нья рукавом размазала желтую пахучую пыль.

— Должно, с подсолнуха.

— Ишо вот тут, возле глаза.

Вытерла. Встретились глазами. И, отвечая на Гришкин немой вопрос, заплакала.

— Мочи нету... Пропала я, Гриша.

— Чего ж он?

Акси́нья злобно рванула ворот кофты. На вывалившихся розоватых, девически-крепких грудях вишнево-синие частые подтеки.

— Не знаешь чего?.. Бьет каждый день!.. Кровь высасывает!.. И ты тоже хорош... Напаскудил, как кобель, и в сторону... Все вы... — Дрожащими пальцами застегивала кнопки и испуганно — не обиделся ли — глядела на отвернувшегося Григория.

— Виноватого ищешь? — перекусывая травяную былку, протянул он.

Спокойный голос его обжег Акси́нью.

— Аль ты не виноват? — крикнула запальчиво.

— Сучка не захочет — кобель не вскочит.

Акси́нья закрыла лицо ладонями. Крепким, рассчитанным ударом упала обида.

Морщась, Григорий сбоку поглядел на нее. В ложбинке между указательным и средним пальцами просачивалась у нее слеза.

Кривой, запыленный в зарослях подсолнухов луч просвечивал прозрачную капельку, сушил оставленный ею на коже влажный след.

Григорий не переносил слез. Он беспокойно заерзал по земле, ожесточенно стряхнул со штанины коричневого муравья и снова коротко взглянул на Аксиныю. Она сидела не изменив положения, только на тыльной стороне ладони вместо одной уже три слезные дробинки катились вперегонку.

— Чего кричишь? Обидел? Ксюша! Ну, погоди... Постой, хочу что-то сказать.

Аксиныя оторвала от мокрого лица руки.

— Я за советом пришла... За что ж ты?.. И так горько... а ты...

«Лежачего вдарил...» — Григорий побагровел.

— Ксюша... сбрехнул словцо, ну, не обижайся...

— Я не навязываться пришла... Не бойсь!

В эту минуту она сама верила, что не затем пришла, чтобы навязываться Григорию; но когда бежала над Доном в займище, думала, не отдавая себе ясного отчета: «Отговорю! Нехай не женится. С кем же жизнь свяжу?!» Вспомнила тогда о Степане и норовисто мотнула головой, отгоняя некстати подвернувшуюся мысль.

— Значится, кончилась наша любовь? — спросил Григорий и лег на живот, облокотившись и выплевывая розовые, изжеванные под разговор лепестки повительного цветка.

— Как кончилась? — испугалась Аксиныя. — Как же это? — переспросила она, стараясь заглянуть ему в глаза.

Григорий ворочал синими выпуклыми белками, отводил глаза в сторону.

Пахла выветренная, истощенная земля пылью, солнцем. Ветер шуршал, переворачивая зеленые подсолнечные листья. На минуту затуманилось солнце, заслоненное курчавой спиной облака, и на степь, на хутор, на Аксиныну понурюю голову, на розовую чашечку цветка повители упала, клубясь и уплывая, дымчатая тень.

Григорий вздохнул — с выхрипом вышел вздох — и лег на спину, прижимая лопатки к горячей земле.

— Вот что, Аксиныя, — заговорил он, медленно расставляя слова, — муторно так-то — сосет гдей-то в грудях. Я надумал...

Над огородом, повизгивая, поплыл скрип арбы.

— Цоб, лысый! Цобэ! Цобэ!..

Окрик показался Аксиные настолько громким, что она ничком упала на землю. Григорий, приподнимая голову, шепнул:

— Платок сыми. Белеет. Как бы не увидали.

Аксинья сняла платок. Струившийся между подсолнухами горячий ветер затрепал на шее завитки золотистого пуха. Утихая, повизгивала отъезжавшая арба.

— Я вот что надумал, — начал Григорий и оживился, — что случилось, того ить не вернешь, чего ж тут виноватого искать? Надо как-то дальше проживать...

Аксинья, насторожившись, слушала, ждала, ломала отнятую у муравья былку.

Глянула Григорию в лицо — уловила сухой и тревожный блеск его глаз.

— ...Надумал я, давай с тобой прикончим...

Качнулась Аксинья. Скрюченными пальцами вцепилась в жилистую повитель. Раздувая ноздри, ждала конца фразы. Огонь страха и нетерпения жадно лизал ей лицо, сушил во рту слюну. Думала, скажет Григорий: «...прикончим Степана», но он досадливо облизал пересохшие губы (тяжело ворочались они), сказал:

— ...прикончим эту историю. А?

Аксинья встала, натыкаясь грудью на желтые болтающиеся головки подсолнечников, пошла к дверцам.

— Аксинья! — придушенно окликнул Григорий.

В ответ тягуче заскрипели дверцы.

Книга I

Часть 3

XXIII

К глазной лечебнице доктора Снегирева примыкал маленький садик.

Таких неуютных стриженных садов много по окраинным переулкам Москвы, в них не отдыхает глаз от каменной тяжелой скуки города, и еще резче и больней вспоминается при взгляде на них дикое приволье леса. В больничном садике хозяйничала осень: крыла дорожки оранжевой бронзой листьев, утренними заморозками мяла цветы и водянистой зеленью наливала на газонах траву. В погожие дни по дорожкам гуляли больные, вслушиваясь в переливы церковных звонов богомольной Москвы.

В ненастье (а в том году оно преобладало) слонялись из палаты в палату, лежали на койках, отмалчиваясь, прискучившие и самим себе и друг другу.

В лечебнице преобладали гражданские больные, раненые помещались в одной палате; было их пять человек: Ян Варейкис, высокий, русский латыш с окладистой подстриженной бородой и голубыми глазами; Иван Врублевский, двадцативосьмилетний красавец драгун, уроженец Владимирской губернии; сибирский стрелок Косых, вертлявый желтый солдатишко Бурдин и Мелехов Григорий. Потом привезли еще одного. Во время вечернего чая продолжительно затрепетал звонок. Григорий выглянул в коридор. В переднюю вошли трое: сестра милосердия и человек в черкеске, третьего они поддерживали под руки. Он, наверное, только что прибыл с вокзала: об этом свидетельствовала его грязная солдатская гимнастерка с кровавыми бурыми следами на груди. Ему вечером же сделали операцию. После недолгих приготовлений (в палаты доносился шум, — кипятили инструменты) в операционную провели новоприбывшего. Спустя несколько минут оттуда послышалась приглушенная песня: пока раненому удаляли остаток глаза, выбитого осколком, он, усыпленный хлороформом, пел и невнятно ругался. После операции его принесли в палату к раненым. Через сутки тяжкая одурь хлороформа вышла из мозгов, и он рассказал, что был ранен под Вербергом на германском фронте, фамилия его Гаранжа, был пулеметчиком, родом сам из Черниговской губернии. За несколько дней он особенно близко сошелся с Григорием; койки их стояли рядом, и они, уже после вечернего обхода, шепотом подолгу разговаривали.

— Ну, козак, як дила?

— Как сажа бела.

— Глаз, шо ж вин?

— Хожу на уколы.

— Скильки зробили?

— Восемнадцать.

— Больно чи ни?

— Нет, сладко.

— А ты попроси, щоб воны геть його вирізали.

— Не всем кривым быть.

— Це так.

Желчный, язвительный сосед Григория был недоволен всем: ругал власть, войну, участь свою, больничный стол, повара, докторов — все, что попадало на острый его язык.

— За що мы с тобой, хлопче, воювалы?

— За что все, за то и мы.

— Та ты толком скажи мэни, толком.

— Отвяжись!

— Га! Дуркан ты. Це дило треба разжуваты. За буржуив мы воювалы, чуешь? Що ж це таке — буржуй? Птыця така у коноплях живе.

Он разъяснял Григорию непонятные слова, пересыпал свою речь ругательным забористым перцем.

— Не таракти! Не понимаю хохлячьего твоего языка, — перебивал его Григорий.

— Ось тобі! Що ж ты, москаль, не понимаешь?

— Реже гутарь.

— Я ж, мий ридненький, и то балакаю нэ густо. Ты кажешь — за царя, а шо ж воно такое — царь? Царь — пьянюга, царица — курва, паньским грошам от войны прибавка, а нам на шею... удавка. Чуешь? Ось! Хвабрыкант горилку пье, — солдат вошку бье, тяжко обоим... Хвабрикант с барышом, а рабочий нагишом, так воно порядком и пластуется... Служи, козак, служи! Ще один хрэст заробишь, гарный, дубовый... — Говорил по-украински, но в редкие минуты, когда волновался, переходил на русский язык и, уснащая его ругательствами, изъяснялся чисто.

Изо дня в день внедрял он в ум Григория досель неизвестные тому истины, разоблачал подлинные причины возникновения войны, едко высмеивал самодержавную власть. Григорий пробовал возражать, но Гаранжа забивал его в тупик простыми, убийственно простыми вопросами, и Григорий вынужден был соглашаться.

Самое страшное в этом было то, что сам он в душе чувствовал правоту Гаранжи и был бессилен противопоставить ему возражения, не было их и нельзя было найти. С ужасом Григорий сознавал, что умный и злой украинец постепенно, неуклонно разрушает все его прежние понятия о царе, родине, о его казачьем воинском долге.

В течение месяца после прихода Гаранжи прахом задымились все те устои, на которых покоилось сознание. Подгнили эти устои, ржавью подточила их чудовищная нелепица войны, и нужен был только толчок. Толчок был дан, проснулась мысль, она изнуряла, придавливала простой, бесхитростный ум Григория. Он метался, искал выхода, разрешения этой непосильной для его разума задачи и с удовлетворением находил его в ответах Гаранжи.

Поздней ночью однажды Григорий встал с постели и разбудил Гаранжу. Подсел к нему на кровать. В окно сквозь приспущенную штору тек зеленоватый свет сентябрьского месяца. Щеки проснувшегося Гаранжи темнели супесными рытвинами, влажно блестели черные впадины глазниц. Он зевал, зябко кутал ноги в одеяло.

— Шо нэ спышь?

— Сну нету. Сон от меня уходит. Ты мне объясни вот что: война одним на пользу, другим в разор...

— Ну? — зевнул Гаранжа.

— погоди! — зашептал Григорий, опалемый гневом. — Ты говоришь, что на потребу богатым нас гонят на смерть, а как же народ? Аль он не понимает? Неужели нету таких, чтоб могли рассказать? Вышел бы и сказал: «Братцы, вот за что вы гибнете в кровях».

— Як це так, вышел? Ты шо, сказывся? А ну, побачив бы я, як ты вышел. Мы ось с тобой шепчемся, як гуси у камыши, а гавкни ризко — и пид пулю. Черная глухота у народи. Война его побудить. Из хмары писля грому дощ буде...

— Что же делать? Говори, гад! Ты мне сердце разворошил.

— А шо тобі сердце каже?

— Не пойму, — признался Григорий.

— Хто мэнэ с кручи пихае, того я пихну. Трэба, нэ лякаясь, повернуть винтовки. Трэба у того загнать пулю, кто посылае людей у пэкло. Ты знай, — Гаранжа приподнялся и, скрипнув зубами, вытянул руки, — поднимется вэлыка хвыля, вона усэ снэсэ!

— По-твоему, что ж... все вверх ногами надо поставить?

— Га! Власть треба, як грязные портки, скинуть. Трэба с панив овчину драть, трэба им губы рвать, бо гарно вони народ помордували.

— А при повои власти войну куда денешь? Так же будут клочиться, — не мы, так дети наши. Войне чем укорот дашь? Как ее уничтожить, раз из века воюют?

— Вирно, война испокон веку иде, и до той годины вона не перэвэдэться, пока будэ на свити дурноедська власть. От! А як була б у кождому государстви власть робоча, тоди б не воювалы. То и трэба зробить. А це будэ, в дубову домовину их мать!.. Будэ! И у германцив и у хрэнцузив — у всех заступэ власть робоча и хлиборобська. За шо ж мы тоди будемо брухаться? Грэнцы — геть! Чорну злобу — геть! Одна по всьому свиту будэ червона жизнь. Эх! — Гаранжа вздохнул и, покусывая кончики усов, блистая единственным глазом, мечтательно улыбнулся. — Я б, Грыцько, кровь свою руду по капли выпидыв бы, щоб дожить до такого... Полюмя мэни сердцевиноу лиже...

Они проговорили до рассвета. В серых сумерках забылся Григорий беспокойным сном.

Утром его разбудили голоса и плач. Иван Врублевский, лежа на кровати вниз лицом, всхлипывал, сморкался; вокруг него стояли фельдшерица, Ян Варейкис и Косых.

— Чего он хлюпает? — высунув голову из-под одеяла, хрипнул Бурдин.

— Глаз разбил. Начал из стакана вынуть и кокнул его об пол, — скорее с злорадством, чем с сожалением, ответил Косых.

Какой-то обрусевший немец, торговец искусственными глазами, движимый патриотическими побуждениями, выдавал свой товар солдатам бесплатно. Накануне Врублевскому подобрали и вставили стеклянный глаз, тончайшей работы, такой же голубой и красивый, как и настоящий. Настолько художественно он был сделан, что даже при внимательном изучении нельзя было отличить подлинный глаз от искусственного. Врублевский радовался и смеялся, как ребенок.

— Приду домой, — говорил он, по-владимирски окая, — любую девку обману. Женюсь, а потом признаюсь, что глаз-то стеклянный.

— Омманет, язви его! — хохотал Бурдин, постоянно напевавший о Дуне и о таракане, который прогрыз Дуне сарафан.

И вот несчастная случайность — и красавец парень вернется в родную деревню кривым уродом.

— Новый дадут, не реви, — утешал Григорий.

Врублевский поднял опухшее от слез лицо с красной дыркой вместо глаза.

— Не дадут. Глаз — он триста рублей стоит. Не дадут.

— Глаз был так глаз! Каждая жилка на нем прорисована! — восторгался Косых.

После утреннего чая Врублевский поехал с фельдшерницей в магазин к немцу, и тот вновь подобрал глаз.

— Немцы-то, они лучше русских! — неистовствовал в восторге Врублевский. — У русского купца хрен выпросишь, а этот и слова не сказал.

Минул сентябрь. Время скупотсчитывало дни. Тянулись они нескончаемо длинные, набитые мертвящей скукой. По утрам в девять пили чай. Каждому больному на тарелочке подавали два чахлых прозрачных ломтика французской булки и кусочек сливочного масла, величиной с мизинец, после обеда больные расходились голодные. Вечером пили чай, для разнообразия запивая его холодной водой. Состав больных менялся. Из «военной палаты» (так окрестили больные палату, где лежали раненые солдаты) первым выписался сибиряк Косых, за ним последовал латыш Варейкис. В последних числах октября выписали Григория.

Красивый, с подстриженной бородкой, хозяин больницы доктор Снегирев на испытании признал зрение Григория удовлетворительным. В темной комнате Григорию показывали на известном расстоянии освещенные большие буквы и цифры. Его выписали и направили в госпиталь на Тверской, так как залеченная рана на голове неожиданно открылась и появилось легкое нагноение. Прощаясь с Гаранжой, Григорий спросил:

— Увидимся ли?

— Гора с горой нэ сходиться...

— Ну, хохол, спасибо, что глаза мне открыл. Теперь я зрячий и... злой!

— У полк прийдэш — побалакай на цэй счет с козакамы.

— Ладно.

— Як що доведэться буваты у Черниговщины, в слободѣ Гороховки, спрашивай коваля Андрея Гаранжу, рад буду тэбэ бачиты. Прощувай, хлопче!

Они обнялись. Надолго сохранила память Григория образ ук-

раинца с суровым единственным глазом и ласковыми линиями рта на серых щеках.

В госпитале Григорий провалялся недели полторы. Он вынашивал в душе неоформленные решения, бродила в нем желчь гаранжевского учения. С соседями по палате он говорил мало, некое тревожное смятение сквозило в каждом его движении. «Беспокойный» — так охарактеризовал его при приеме заведующий госпиталем, бегло осматривая нерусское лицо Григория.

Первые дни Григория лихорадило, лежал он на койке, вслушиваясь в неумолчные звоны в ушах.

В это время и произошел такой инцидент.

Проездом из Воронежа госпиталь высочайше соизволила посетить особа императорской фамилии. Уведомленные об этом с утра лица врачебного персонала госпиталя заметались, как мыши в горящем амбаре. Раненых приодели; беспокоя их, внеочередно сменили постельное белье, младший врач даже пытался учить, как отвечать особе и как держать себя в разговоре с оной. Тревога передалась и раненым: некоторые заранее стали говорить шепотом. В полдень у подъезда вякнул автомобильный рожок, и в сопровождении должного количества свиты в настежь распахнутые двери госпиталя вошла особа. (Один из раненых, весельчак и балагур, уверял после товарищей, что к моменту приезда именитых посетителей госпитальный флаг с красным крестом вдруг буйно затрепыхался, несмотря на то что погода стояла на редкость ясная и безветренная, а на противоположной стороне, на вывеске парикмахерского заведения элегантный завитой мужчина сделал нечто похожее на коленопреклонное движение или реверанс.) Начался обход палат. Особа задавала приличествующие ее положению и обстановке нелепые вопросы; раненые, по совету младшего врача, вылупив глаза больше той меры, которой учили их в строю, отвечали: «Точно так, ваше императорское высочество» и «Никак нет», с приложением этого же титула. Комментарии к ответам давал заведующий госпиталем, причем вился он, как уж, ущемленный вилами, и даже издалека на него было жалко смотреть. Царственная особа, переходя от койки к койке, раздавала иконки. Толпа блестящих мундиров и густая волна дорогих духов надвигалась на Григория. Он стоял возле своей койки небри-

тый, худой, с воспаленными глазами; мелкая дрожь острых коричневых скул выдавала его волнение.

«Вот они, на чью радость нас выгнали из родных куреней и кинули на смерть. Ах, гадюки! Проклятые! Дурноеды! Вот они, самые едучие вши на нашей хребтине!.. Не за эту ли... топтали мы конями чужие хлеба и убивали чужих людей? А полз я по жнивью и кричал? А страх? Оторвали от семьи, морили в казарме...» — клубился в голове его кипящий ком мыслей. Пенная злоба поводила его губы. «Сытые какие все, аж блестят. Туда б вас, трижды проклятых! На коней, под винтовку, вшами вас засыпать, гнилым хлебом, мясом червивым кормить!..»

Григорий низал глазами лощеных офицеров свиты и останавливал мерклый взгляд на сумчатых щеках члена императорской фамилии.

— Донской казак, георгиевский кавалер, — изгибаясь, указал на него заведующий, и таким тоном было это сказано, словно он сам заслужил этот крест.

— Какой станицы? — спросила особа, держа наготове иконку.

— Вешенской, ваше императорское высочество.

— За что имеешь крест?

В светлых пустых глазах особы тлея скука, пресыщенность. Рыжеватая левая бровь заученно приподнималась — это делало лицо особы более выразительным. Григорий на мгновение ощутил холодок и покалывание в груди; такое чувство являлось в первый момент атаки. Губы его неудержимо кривились, прыгали.

— Я бы... Мне бы по надобности сходить... по надобности, ваше императорское... по малой нужде... — Григорий качнулся, словно переломленный, указывая широким жестом под кровать.

Левая бровь особы стала дыбом, рука с иконкой застыла на полпути. Особа, недоуменно свесив брюзглую губу, повернулась к сопутствовавшему ей седому генералу с фразой на английском языке. Еле заметное замешательство тронуло свиту: высокий офицер с аксельбантами рукой, затянутой в белоснежную перчатку, коснулся глаз; второй потупил голову, третий с вопросом глянул в лицо четвертому... Седой генерал, почтительно улыбаясь, на английском языке что-то доложил их императорскому высочеству, и особа соизволила милости-

во сунуть в руки Григория иконку и даже одарить его высшей милостью: коснуться рукой его плеча.

После отъезда высоких гостей Григорий упал на койку. Запрыгивая головой в подушку, вздрагивая плечами, лежал несколько минут; нельзя было понять — плакал он или смеялся, но встал с сухими, проясневшими глазами. Его сейчас же вызвал в кабинет заведующий госпиталем.

— Ты, каналья!.. — начал он, комкая в пальцах бороду цвета линялой заячьей шкурки.

— Я тебе не каналья, гад! — не владея нижней отвисшей челюстью, шагая к доктору, сказал Григорий. — На фронте вас нету! — И, осилив себя, уже сдержанней: — Отправьте меня домой!

Доктор, пятясь от него, зашел за письменный стол, сказал мягче:

— Отправим. Убирайся к черту!

Григорий вышел, не тая улыбки, но со взбешенными глазами.

За его чудовищную, непростительную выходку в присутствии высокой особы администрация госпиталя лишила его питания на трое суток. Кормили его товарищи по палате и сердобольный, страдавший от грыжи повар.

Книга II

Часть 5

XIII

Слепяще-яркий снеговой хребет бугра, облитый глазурью солнца и синью безоблачного дня, белел, сахарно искрился. Под ним пестрым лоскутным одеялом лежала слобода Ольховый Рог. Влево синела Свиноуха, вправо туманными пятнами пластались хуторки и немецкие колонии, за изгибом голубела Терновская. На востоке за слободой корячился и полз вверх пологий, изрытый балками меньший размером бугор. На нем частоколом торчали телеграфные столбы, уходившие на Кашары.

День был на редкость ясный, морозный. Около солнца радужные дымились столбы. Ветер гнул с севера. В степи сипела поземка. Но снеговые просторы, обнятые горизонтом, были свет-

лы, лишь на востоке, под самым острием горизонта, задернутая лиловой марью, курилась степь.

Пантелей Прокофьевич, везший Григория из Миллерова, решил в Ольховом Рогу не останавливаться, а тянуть до Кашар и там заночевать. Он выехал из дому по телеграмме Григория, к вечеру 28 января приехал в Миллерово. Григорий ожидал его на постоялом дворе. Наутро они выехали и около одиннадцати часов проезжали уже Ольховый Рог.

После того как был ранен в бою под Глубокой, Григорий провалялся в походном лазарете в Миллерове неделю; слегка подлечив ногу, решил поехать домой. Коня привели ему станичные казаки. Ехал Григорий со смешанным чувством недовольства и радости: недовольства потому, что покидал свою часть в самый разгар борьбы за власть на Дону, а радость испытывал при одной мысли, что увидит домашних, хутор; сам от себя таил желание повидать Аксинью, но были и о ней думки.

С отцом они встретились как-то отчужденно. Пантелей Прокофьевич (нажужжал ему в уши Петро) хмуро присматривался к Григорию, — в его коротких, бивших наосклизь взглядах густели недовольство, выжидающая тревога. На станции вечером он долго расспрашивал Григория о событиях, полыхавших в области; ответы сына, видимо, его не удовлетворяли. Он жевал поседевшую бороду, глядел на свои подшитые кожей валенки, чмыкал носом. В спор вступил неохотно, но разгорелся, защищая Каледина, — в горячую минуту по-прежнему прицкинул на Григория и даже хромой ногой затоптал.

— Ты мне не толкуй! Был у нас по осени Каледин в хуторе! Сбор был на майдане, он на стол влез, гутарил со стариками и предсказал, как по Библии, что придут мужики, война будет, и ежели будем мы туды-суды шататься, — заберут все и зачнут заселять область. Он ишо в то время знал, что будет война. Что ж вы, сукины сыны, думаете? Аль он меньше вашего знает? Ученый такой генерал, армию водил — и меньше твоего знает? В Каменской-то позасели вот такие, как ты, пустобрехи необразованные — и мутят народ. Подтелков твой — из каких? Вахмистр?.. Ого! Одних со мной чинов. Вот это так!.. Дожи-ли... Дальше некуда!

Григорий неохотно спорил с ним. Знал, еще не видя отца, какого тот толка. А тут новое всучилось: не мог ни простить, ни за-

быть Григорий гибель Чернецова и бессудный расстрел пленных офицеров.

Лошади в дышловой запряжке легко несли сани-кошелку. Позади, привязанный чумбуром, рысил оседланный Григорьев конь. Знакомые с детства разворачивались в дороге слободы и хутора: Кашары, Поповка, Каменка, Нижне-Яблоповский, Грачев, Ясеновка. Всю дорогу до самого хутора Григорий как-то несвязно и бестолково думал о недавнем, пытался хоть вехами наметить будущее, но мысль доходила до отдыха дома и дальше напарывалась на тупик. «Приеду, поотдохну трошки, залечу ранку, а там... — думал он и мысленно махал рукой: — Там видно будет. Само дело покажет...»

Ломала и его усталость, нажитая на войне. Хотелось отвернуться от всего бурлившего ненавистью, враждебного и непонятного мира. Там, позади, все было путано, противоречиво. Трудно нащупывалась верная тропа; как в топкой гати, зыбилась под ногами почва, тропа дробилась, и не было уверенности — по той ли, по которой надо, идет. Тянуло к большевикам — шел, других вел за собой, а потом брало раздумье, холодел сердцем. «Неужто прав Изварин? К кому же прислониться?» Об этом невятно думал Григорий, привалясь к задку кошелки. Но когда представлял себе, как будет к весне готовить бороны, арбы, плесть из краснотала ясли, а когда разденется и обсохнет земля, — выедет в степь; держась наскучавшимися по работе руками за чапиги, пойдет за плугом, ощущая его живое биение и толчки; представлял себе, как будет вдыхать сладкий дух молодой травы и поднятого лемехами чернозема, еще не утратившего пресного аромата снеговой сырости, — теплело на душе. Хотелось убирать скотину, метать сено, дышать увядшим запахом донника, пырея, пряным душком навоза. Мира и тишины хотелось, поэтому-то застенчивую радость и берег в суровых глазах Григорий, глядя вокруг: на лошадей, на крутую, обтянутую тулупом спину отца. Все напоминало ему полузабытую прежнюю жизнь: и запах овчин от тулупа, и домашний вид нечищенных лошадей, и какой-нибудь петух в слободе, горланящий с погребницы. Сладка и густа, как хмелины, казалась ему в это время жизнь тут, в глушине.

На другой день перед вечером подъехали к хутору. Григорий с бугра кинул взгляд за Дон: вон Бабьи енды, опушенные со-

большим мехом камыша; вон сухой тополь, а переезд через Дон уже не тут, где был раньше. Хутор, знакомые квадраты кварталов, церковь, площадь. Кровь кинулась Григорию в голову, когда напал глазами на свой курень. Воспоминания наводнили его. С база — поднятый колодезный журавль словно кликал, вытянув вверх серую вербовую руку.

— Не щипет глаза? — улыбнулся Пантелей Прокофьевич, оглядываясь, и Григорий, не лукавя и не кривя душой, сознался:

— Щипет... да ишо как!..

— Что значит — родина! — удовлетворенно вздохнул Пантелей Прокофьевич.

Он правил на средину хутора. Лошади резво бежали с горы, сани шли под раскат, виляя из стороны в сторону. Григорий отгадал отцовский замысел, но все же спросил:

— Ты чего ж правишь в хутор? Держи к своему проулку.

Пантелей Прокофьевич, поворачиваясь и ухмыляясь в заиндеветую бороду, мигнул:

— Сыновей на войну провожал рядовыми казаками, а выслужились в офицеры. Что ж, аль мне не гордо прокатить сына по хутору? Пушай глядят и завидуют. А у меня, брат, сердце маслом обливается!

На главной улице он сдержанно крикнул на лошадей, — свешиваясь набок, поиграл махорчатым кнутом, и лошади, чуя близкий дом (словно и не лег позади путь в сто сорок верст!), пошли свежо, шибко. Встречавшиеся казаки кланялись, с базов и из окон куреней из-под ладоней глядели бабы; через улицу, кудахтая, перекасти-полем катились куры. Все шло гладко, как по писаному. Проехали площадь. Конь Григория покосил глазом на чью-то привязанную к моховскому забору лошадь, заржал и высоко понес голову. Завиднелись конец хутора, крыша астаховского куреня... Но тут-то, на первом перекрестке, случилось неладное: поросенок, бежавший через улицу, замешкался, попал под копыта лошадей, хрюкнул и откатился раздавленный, повизгивая, норовя приподнять переломленный хребет.

— Ах, черти тебя поднесли!.. — выругался Пантелей Прокофьевич, успев стегнуть кнутом раздавленного поросенка.

На беду, принадлежал он Анютке, вдове Афоньки Озерова, — бабе злой и не в меру длинноязыкой. Она не замедлила выскочить на баз; накидывая платок, посыпала такими отборными ру-

гательствами, что Пантелей Прокофьевич даже лошадей попридержал, повернулся назад.

— Замолчи, дура! Чего орешь? Заплатим за твоего шелудивого!..

— Нечистый дух!.. Чертяка... Сам ты шелудивый, кобель хромой... Вот к атаману тебя зараз!.. — горланила она, махая руками. — Я тебя, узду твою мать, научу, как сиротскую животину давить!..

Заело Пантелея Прокофьевича, крикнул, багровея:

— Халява!

— Турка проклятый!.. — с живостью отозвалась Озерова.

— Сука, сто чертов твоей матери! — повысил басок Пантелей Прокофьевич.

Но Анютка Озерова за словом в карман сроду не лазила.

— Чужбинник! Б... старый! Воряга! Борону чужую украл... По жалмеркам бегаешь... — зачастила она сорочьим говором.

— Вот я тебя кнутом, псюня!.. Заткни зевало!

Но тут Анютка такое загнула, что даже Пантелей Прокофьевич — человек, поживший и повидавший на своем веку, — зарозовел от смущения и сразу взмок потом.

— Трогай!.. Чего связался? — сердито сказал Григорий, видя, что понемногу на улицу выходит народ и со вниманием прислушивается к случайному обмену мнениями между старым Мелеховым и честной вдовой Озеровой.

— Ну и язык... с вожжину длиной! — Пантелей Прокофьевич сокрушенно плюнул и так погнал лошадей, словно намеревался раздавить самое Анютку.

Уже проехав квартал, он не без боязни оглянулся:

— Плюется и костерит почему зря!.. Ишь ты вражина... Чтоб ты лопнула поперек, чертяка толстая! — в ярости сказал он. — Тебя бы вместе с твоим поросем стоптать! Попадись вот такой хлюстанке на язык, — одни мослы останутся.

Мимо рванулись голубые ставни куреня. Петро без папахи, в распоясанной гимнастерке, растворял ворота. С крыльца мелькнули беленький платок и смеющееся, блестящее черными глазами лицо Дуняшки.

Целуя брата, Петро мельком заглянул ему в глаза:

— Здоровый?

— Рану получил.

— Где?

— Под Глубокой.

— Нужда заставила там огинаться! Давно бы шел домой.

Он тепло и дружески потряс Григория, с рук на руки передал Дуняшке. Обнимая крутые, вызревшие плечи сестры, Григорий поцеловал ее в губы и глаза, сказал, отступая, дивясь:

— Да ты, Дуняха, черт тебя знает!.. Ишо какая девка вышла, а я-то думал — дурненькая будет, никудышненькая.

— Ну, уж ты, братушка!.. — Дуняшка увернулась от щипка и, сияя таким же, как у Григория, белозубым оскалом улыбки, отошла.

Ильинична несла на руках детей; ее бегом опередила Наталья. Расцвела и похорошела она диковинно. Гладко причесанные черные блестящие волосы, собранные позади в тяжелый узел, оттеняли ее радостно зарумянившееся лицо. Она прижалась к Григорию, несколько раз быстро, невпопад коснулась губами его щек, усов и, вырывая из рук Ильиничны сына, протягивала его Григорию.

— Сын-то какой — погляди! — звенела с горделивой радостью.

— Дай мне *моего* сына поглядеть! — Ильинична взволнованно отстранила ее.

Мать нагнула голову Григория, поцеловала его в лоб и, мимо-летно глядя грубой рукой его лицо, заплакала от волнения и радости.

— А дочь-то, Гри-и-иша!.. Ну, возьми же!..

Наталья посадила на другую руку Григория закутанную в платок девочку, и он, растерявшись, не знал, на кого ему глядеть: то ли на Наталью, то ли на мать, то ли на детишек. Насупленный, угрюмоглазый сынишка вылит был в мелеховскую породу: тот же удлиненный разрез черных, чуть строгих глаз, размашистый рисунок бровей, синие, выпуклые белки и смуглая кожа. Он совал в рот грязный кулачишко, избочившись, неприступно и упорно глядел на отца. У дочери Григорий видел только крохотные, внимательные и такие же черные глазенки, — лицо ее кутал платок.

Держа их обоих на руках, он двинулся было к крыльцу, но боль пронизала ногу.

— Возьми-ка их, Наташа... — Григорий виновато, в одну сторону рта, усмехнулся. — А то я на порожки не влезу..

Посреди кухни, поправляя волосы, стояла Дарья. Улыбаясь, она развязно подошла к Григорию, закрыла смеющиеся глаза, прижимаясь влажными, теплыми губами к его губам.

— Табаком-то прет! — И смешливо поиграла полукружьями подведенных, как нарисованных тушью, бровей.

— Ну, дай ишо разок погляжу на тебя! Ах ты, мой чадунюшка, сыночек!

Григорий улыбался, щекочущее волнение хватало его за сердце, когда он прижимался к материнскому плечу.

Во дворе Пантелей Прокофьевич распрягал лошадей, хромал вокруг саней, алея красным кушаком и верхом треуха. Петро уже отвел в конюшню Григорьева коня, нес в сенцы седло и что-то говорил, поворачиваясь на ходу к Дуняшке, снимавшей с саней бочонок с керосином.

Григорий разделся, повесил на спинку кровати тулуп и шинель, причесал волосы. Присев на лавку, он позвал сынишку:

— Поди-ка ко мне, Мишатка. Ну, чего ж ты, — не угадаешь меня?

Не вынимая изо рта кулака, тот подошел бочком, несмело остановился возле стола. На него любовно и гордо глядела от печки мать. Она что-то шептала на ухо девочке, спустила ее с рук, тихонько толкнула:

— Иди же!

Григорий сгреб их обоих; рассадив на коленях, спросил:

— Не угадаете меня, орехи лесные? И ты, Полюшка, не угадаешь папаньку?

— Ты не папанька, — прошептал мальчуган (в обществе сестры он чувствовал себя смелее).

— А кто же я?

— Ты — чужой казак.

— Вот так голос!..¹ — Григорий захохотал. — А папанька где ж у тебя?

— Он у нас на службе, — убеждающе, склоняя голову, сказала девочка (она была побойчей).

— Так его, чадунюшки! Пушай свой баз знает. А то он идей-то лытает по целому году, а его узнавай! — с поддельной суровостью вставила Ильинична и улыбнулась на улыбку Григория. — От тебя и баба твоя скоро откажется. Мы уж за нее хотели зятя примать.

— Ты что ж это, Наталья? А? — шутливо обратился Григорий к жене.

¹ Вот так так, вот это да!

Она зарделась, преодолевая смущение перед своими, подошла к Григорию, села около, бескрайне счастливыми глазами долго обводила всего его, гладила горячей черствой рукой его сухую коричневую руку.

— Дарья, на стол собирай!

— У него своя жена есть, — засмеялась та и все той же вьющейся, легкой походкой направилась к печке.

По-прежнему была она тонка, нарядна. Сухую, красивую ногу ее туго охватывал фиолетовый шерстяной чулок, аккуратный чирик сидел на ноге, как вточенный; малиновая сборчатая юбка была туго затянута, безукоризненной белизной блистала расшитая завеска. Григорий перевел взгляд на жену — и в ее внешности заметил некоторую перемену. Она приоделась к его приезду; сатиновая голубая кофточка, с узким кружевным в кисти рукавом, облегла ее ладный стан, бугрилась на мягкой большой груди; синяя юбка, с расшитым, морщиненым подолом, внизу была широка, вверху — в обхват. Григорий сбоку оглядел ее полные, как выточенные, ноги, волнующе-тугой обтянутый живот и широкий, как у кормленной кобылицы, зад, подумал: «Казачку из всех баб угадаешь. В одеже — привычка, чтоб все на виду было; хочешь — гляди, а хочешь — нет. А у мужичек зад с передом не разберешь, — как в мешке ходит...»

Ильинична перехватила его взгляд, сказала с нарочитой хвастливостью:

— Вот у нас как офицерские жены ходят! Ишо и городским нос утрут!

— Чего вы там, маманя, гутарите! — перебила ее Дарья. — Куда уж нам до городских! Сережка вон сломалась, да и той грош цена! — dokonчила она с горестью.

Григорий положил руку на широкую, рабочую спину жены, в первый раз подумал: «Красивая баба, в глаза шибается... Как же она жила без меня? Небось, завидовали на нее казаки, да и она, может, на кого-нибудь позавидовала. А что, ежели жалмеркой принимала?» От этой неожиданной мысли у него екнуло сердце, стало пакостно на душе. Он испытующе поглядел в ее розовое, лоснившееся и благоухавшее огуречной помадой лицо. Наталья вспыхнула под его внимательным взглядом, осилив смущение, шепнула:

— Ты чего так глядишь? Соскучился, что ли?

— Ну, а как же!

Григорий отогнал негожие мысли, но что-то враждебное, неосознанное шевельнулось в эту минуту к жене.

Кряхтя, влез в дверь Пантелей Прокофьевич. Он помолился на образа, крякнул:

— Ну, ишо раз здорово живете!

— Слава Богу, старик... Замерз? А мы ждали: щи горячие, прямо с пылу, — суетилась Ильинична, гремя ложками.

Развязывая на шее красный платок, Пантелей Прокофьевич постукивал обмерзшими подшитыми валенками. Стянул тулуп, содрал намерзшие на усах и бороде сосульки и, подсаживаясь к Григорию, сказал:

— Замерз, а в хуторе обогрелся... Переехали поросенка у Анютки...

— У какой? — оживленно спросила Дарья и перестала кромсать высокий белый хлеб.

— У Озеровой. Как она выскочит, подлюка, как понесет! И такой, и сякой, и жулик, и борону у кого-то украл. Какую борону — черти ее знают!

Пантелей Прокофьевич подробно перечислил все прозвища, которыми наделила его Анютка, — не сказал лишь о том, что упрекнула его в молодом грехе, по части жалмерок. Григорий усмехнулся, садясь за стол. И Пантелей Прокофьевич, желая оправдаться в его глазах, горячо dokonчил:

— Такую ересь перла, что и в рот взять нечего! Хотел уже вернуться, кнутом ее перепоясать, да Григорий был, а с ним все как-то вроде неспособно.

Петро отворил дверь, и Дуняшка на кушаке ввела красного, с лысиной, телка.

— К Масленой блины с кайманом будем исть! — весело крикнул Петро, пихая телка ногой.

После обеда Григорий развязал мешок, стал оделять семью гостинцами.

— Это тебе, маманя... — Он протянул теплый шалевый платок. Ильинична приняла подарок, хмурясь и розовея по-молодому.

Накинула его на плечи, да так повернулась перед зеркалом и повела плечами, что даже Пантелей Прокофьевич вознегодовал:

— Карга старая, а туда же — перед зеркалой! Тьфу!

— Это тебе, папаша... — скороговоркой буркнул Григорий, на глазах у всех разворачивая новую казачью фуражку, с высоко вздернутым верхом и пламенно-красным околышем.

— Ну, спаси Христос! А я фуражкой бедствовал. В лавках нынешний год их не было... Абы в чем лето проходил... В церкву ажник страшно идтить в старой. Ее, эту старую, уж на чучелу впору надевать, а я носил... — говорил он сердитым голосом, озираясь, словно боясь, что кто-нибудь подойдет и отнимет сыновний подарок.

Сунулся примерить было к зеркалу, но взглядом стерегла его Ильинична. Старик перенял ее взгляд, круто вильнул, захромал к самовару. Перед ним и примерял, надевая фуражку набекрень.

— Ты чего ж это, дрючок старый? — напустилась Ильинична. Но Пантелей Прокофьевич отбrehался:

— Господи! Ну, и глупая ты! Ить самовар, а не зеркала? То-то и оно!

Жену наделил Григорий шерстяным отрезом на юбку; детям роздал фунт медовых пряников; Дарье — серебряные с камешками серьги; Дуняшке — на кофточку; Петру — папирос и фунт табаку.

Пока бабы тараторили, рассматривая подарки, Пантелей Прокофьевич пиковым королем прошелся по кухне и даже грудь выгнул:

— Вот он, казачок лейб-гвардии казачьего полка! Призы сыма! На инператорском смотре первый захватил! Седло и всю амуницию! Ух, ты...

Петро, покусывая пшеничный ус, любовался отцом, Григорий посмеивался. Закурили, и Пантелей Прокофьевич, опасливо поглядев на окна, сказал:

— Покуда не подошли разная родня и соседи... расскажи вот Петру, что там делается.

Григорий махнул рукой.

— Дерутся.

— Большевики где зараз? — спросил Петро, усаживаясь поудобней.

— С трех сторон: с Тихорецкой, с Таганрога, с Воронежа.

— Ну, а ревком ваш что думает? Зачем их допускает на наши земли? Христоня с Иваном Алексеевичем приехали, бrehали разное, но я им не верю. Не так что-то там...

— Ревком — он бессильный. Бегут казаки по домам.

— Через это, значит, и прислоняется он к Советам?

— Конечно, через это.

Петро помолчал; вновь закуривая, открыто глянул на брата:

— Ты какой же стороны держишься?

— Я за советскую власть.

— Дурак! — порохом пыхнул Пантелей Прокофьевич. — Петро, хучь ты втолкуй ему!

Петро улыбнулся, похлопал Григория по плечу.

— Горячий он у нас — как необъезженный конь. Рази ж ему втолкуешь, батя?

— Мне нечего втолковывать! — загорячился Григорий. — Я сам не слепой... Фронтвики что у вас гутарют?

— Да что нам эти фронтвики! Аль ты этого дуrolома Христана не знаешь? Чего он может понимать? Народ заблудился весь, не знает, куда ему податься... Горе одно! — Петро закусил ус. — Гляди вот что к весне будет, — не соберешь... Поиграли и мы в большевиков на фронте, а теперь пора за ум браться. «Мы ничего чужого не хотим, и наше не берите», — вот как должны сказать казаки всем, кто нахрапом лезет к нам. А в Каменской у вас грязно дело. Покумились с большевиками, — они и уставляют свои порядки.

— Ты, Гришка, подумай. Парень ты не глупой. Ты должен уразуметь, что казак — он как был казак, так казаком и останется. Вонючая Русь у нас не должна править. А ты знаешь, что иногородние зараз гутарют? Всю землю разделить на души. Это как?

— Иногородним коренным, какие в Донской области живут издавна, дадим землю.

— А шиша им! Вот им выкусить!.. — Пантелей Прокофьевич сложил дулю; дергая большим когтистым пальцем, долго водил вокруг Григорьева горбатого носа.

По крыльцу загромыхали шаги. Застонали схваченные морозом порожки. Вошли Аникушка, Христоня, Томилин Иван в несуразно высокой, заячьего меха папахе.

— Здорово, служивый! Пантелей Прокофич, магарыч станови! — гаркнул Христоня.

От его крика испуганно мыкнул задремавший у теплой печки телок. Он, оскользаясь, вскочил на свои еще шаткие ноги, круглыми агатовыми глазами глядя на пришедших, и, наверное, от испуга, зацедил на пол тоненькую струйку. Дуняшка переби-

ла ему охоту, легонько стукнув по спине; вытерев лужу, подставила ноганый чугунок.

— Телка испужал, горластый! — досадливо сказала Ильинична.

Григорий пожал казакам руки, пригласил садиться. Вскоре пришли еще казаки с этого края хутора. Под разговор накурили так, что лампа замигала и надсадно закашлял телок.

— Лихоманка вас заберит! — ругалась Ильинична, уже в полночь выпроваживая гостей. — Вон на баз ступайте, там и дымите, трубокуры! Идите, идите! Служивый наш ишо не отдыхал с дороги. Ступайте с Богом!

Книга III

Часть 6

XVI

Далеко за Доном — время перевалило уже за обед — пулемет глухо выщелкал две очереди и смолк.

Через полчаса Григорий, не отходивший от окна в горнице, ступил назад, до скул оделся пепельной синевой.

— Вот они!

Ильинична ахнула, кинулась к окну. По улице вроссыпь скакали восемь конных. Они на рысях дошли до мелеховского база, приостановившись, оглядели переезд за Дон, чернотропный проследок, стиснутый Доном и горой, повернули обратно. Сытые лошади их, мотая куцо обрезанными хвостами, закидали, забрызгали снежными ошметками. Конная разведка, рекогносцировавшая хутор, скрылась. Спустя час Татарский налился скрипом шагов, чужою, окаящей речью, собачьим брехом. Пехотный полк, с пулеметами на санях, с обозом и кухнями, перешел Дон и разлился по хутору.

Как ни страшен был этот первый момент вступления вражеского войска, но смешливая Дуняшка не вытерпела и тут: когда разведка повернула обратно, она фыркнула в завеску, выбежала на кухню. Наталья встретила ее испуганным взглядом.

— Ты чего?

— Ох, Наташенька! Милушка!.. Как они верхами ездят! Уж он по седлу взад-вперед, взад-вперед... А руки в локтях болтаются. И сами — как из лоскутов сделанные, все у них трясется!

Она так мастерски воспроизвела, как ерзали в седлах красноармейцы, что Наталья добежала, давясь смехом, до кровати, упала в подушки, чтоб не привлечь гневного внимания свекра.

Пантелей Прокофьевич в мелком трясушем ознобе бесцельно передвигал по лавке в бокоуше дратву, шилья, баночку с березовыми шпильками и все поглядывал в окно сузившимся, затравленным взглядом.

А в кухне расходились бабы, словно не перед добром: пунцовая Дуняшка с мокрыми от слез глазами, блестящими, как зерно обрызганного росой паслена, показывала Дарье посадку в седлах красноармейцев и в размеренные движения с бессознательным цинизмом вкладывала непристойный намек. Ломались от нервного смеха у Дарьи крутые подковы крашенных бровей, она хохотала, хрипло и сдавленно выговаривая:

— Небось, шаровары до дыр изотрет!.. Такой-то ездок... Луку выгнет!..

Даже Петра, вышедшего из горницы с убитым видом, на минуту развеселил смех.

— Чудно глядеть на ихнюю езду? — спросил он. — А им не жалко. Побьют спину коню — другого подцепют. Мужики! — И с бесконечным презрением махнул рукой. — Он и лошадь-то, может, в первый раз видит: «Мал-ти поёдим, гляди — и доёдим». Отцы ихние колесного скрипу боялись, а они джигитуют!.. Эх! — Он похрустел пальцами, ткнулся в дверь горницы.

Красноармейцы толпой валили вдоль улицы, разбивались на группы, заходили во дворы. Трое свернули в воротца к Аникушке, пятеро, из них один конный, остались около астаховского куреня, а остальные пятеро направились вдоль плетня к Мелеховым. Впереди шел невысокий пожилой красноармеец, бритый, с приплюснутым, широконоздрым носом, сам весь ловкий, подбористый, с маху видать — старый фронтовик. Он первый вошел на мелеховский баз и, остановившись около крыльца, с минуту, угнув голову, глядел, как гремит на привязи желтый кобель, задыхаясь и захлебываясь лаем; потом снял с плеча винтовку. Выстрел сорвал с крыши белый дымок инея. Григорий, поправляя ворот душившей его рубахи, увидел в окно, как в снегу, пятня его кровью, катается собака, в предсмертной яростной муке грызет простреленный бок и железную цепь. Оглянувшись, Григо-

рий увидел омытые бледностью лица женщин, беспамятные глаза матери. Он без шапки шагнул в сенцы.

— Оставь! — чужим голосом крикнул вслед отец.

Григорий распахнул дверь. На порог, звеня, упала порожняя гильза. В калитку входили отставшие красноармейцы.

— За что убил собаку? Помешала? — спросил Григорий, став на пороге.

Широкие ноздри красноармейца хватнули воздуха, углы тонких, выбритых досиня губ сползли вниз. Он оглянулся, перекинул винтовку на руку.

— А тебе что? Жалко? А мне вот и на тебя патрон не жалко потратить. Хочешь? Становись!

— Но-но, брось, Александр! — подходя и смеясь, проговорил рослый рыжебровый красноармеец. — Здравствуйте, хозяин! Красных видали? Принимайте на квартиру. Это он вашу собачку убил? Напрасно!.. Товарищи, проходите.

Последним вошел Григорий. Красноармейцы весело здоровались, снимали подсумки, кожаные японские патронташи, на кровать в кучу валили шинели, ватные теплушки, шапки. И сразу весь курень наполнился ядовито-пахучим спиртовым духом солдатчины, неделимым запахом людского пота, табака, дешевого мыла, ружейного масла, — запахом дальних путин.

Тот, которого звали Александром, сел за стол, закурил папиросу и, словно продолжая начатый с Григорием разговор, спросил:

— Ты в белых был?

— Да...

— Вот... Я сразу вижу сову по полету, а тебя по соплям. Бельский! Офицер, а? Золотые погоны?

Дым он столбом выбрасывал из ноздрей, сверлил стоявшего у притолоки Григория холодными, безулыбчивыми глазами и все постукивал снизу папиросу прокуренным выпуклым ногтем.

— Офицер ведь? Признавайся! Я по выправке вижу; сам, чай, германскую сломал.

— Был офицером. — Григорий насильственно улыбнулся и, поймав сбоку на себе испуганный, молящий взгляд Натальи, нахмурился, подрожал бровью. Ему стало досадно за свою улыбку.

— Жаль! Оказывается, не в собаку надо было стрелять...

Красноармеец бросил окурок под ноги Григорию, подмигнул остальным.

И опять Григорий почувствовал, как, помимо воли, кривит его губы улыбка, виноватая и просящая, и он покраснел от стыда за свое невольное, неподвластное разуму проявление слабости. «Как нашкодившая собака перед хозяином», — стыдом ожгла его мысль, и на миг выросло перед глазами: такой же улыбкой щерил черные атласные губы убитый белогрудый кобель, когда он, Григорий, хозяин, вольный и в жизни его и в смерти, подходил к нему и кобель, падая на спину, оголял молодые резцы, бил пушистым рыжим хвостом...

Пантелей Прокофьевич все тем же незнакомым Григорию голосом спросил: может, гости хотят вечерять? Тогда он прикажет хозяйке...

Ильинична, не дожидаясь согласия, рванулась к печке. Рогач в руках ее дрожал, и она никак не могла поднять чугунок со щами. Опустив глаза, Дарья собрала на стол. Красноармейцы рассаживались, не крестясь. Старик наблюдал за ними со страхом и скрытым отвращением. Наконец не выдержал, спросил:

— Богу, значит, не молитесь?

Только тут подобие улыбки скользнуло по губам Александра. Под дружный хохот остальных он ответил:

— И тебе бы, отец, не советовал! Мы своих богов давно отправили... — Запнулся, стиснул брови. — Бога нет, а дураки верят, молятся вот этим деревяшкам!

— Так, так... Ученые люди, они, конечно, достигли, — испуганно согласился Пантелей Прокофьевич.

Против каждого Дарья положила по ложке, но Александр отодвинул свою, попросил:

— Может быть, есть не деревянная? Недостает еще заразы набраться! Разве это ложка? Огрызок!

Дарья пыхнула порохом:

— Свою надо иметь, ежели чужими гребуете.

— Но, ты помолчи, молодка! Нет ложки? Тогда дай чистое полотенце, вытру эту.

Ильинична поставила в миске щи, он и ее попросил:

— Откушай сама сначала, мамаша.

— Чего мне их кушать? Может, пересоленные? — испугалась старуха.

— Ты откушай, откушай! Не подсыпала ли ты гостям порошка какого...

— Зачерпни! Ну? — строго приказал Пантелей Прокофьевич и сжал губы. После этого он принес из бокоуши сапожный инструмент, подвинул к окну ольховый обрубок, служивший ему стулом, приладил в пузырьке жирник и сел со старым сапогом в обнимку. В разговор больше не вступал.

Петро не показывался из горницы. Там же сидела с детьми и Наталья. Дуняшка вязала чулок, прижавшись к печке, но после того, как один из красноармейцев назвал ее «барышней» и пригласил поужинать, она ушла. Разговор умолк. Поужинав, красноармейцы закурили.

— У вас можно курить? — спросил рыжебровый.

— Своих трубокуров полно, — неохотно сказала Ильинична.

Григорий отказался от предложенной ему папироски. У него все внутри дрожало, к сердцу прилиwała щемящая волна при взгляде на того, который застрелил собаку и все время держался в отношении его вызывающе и нагло. Он, как видно, хотел столкновения и все время искал случая уязвить Григория, вызывать его на разговор.

— В каком полку служили, ваше благородие?

— В разных.

— Сколько наших убил?

— На войне не считают. Ты, товарищ, не думай, что я родился офицером. Я им с германской пришел. За боевые отличия дали мне лычки эти...

— Я офицерам не товарищ! Вашего брата мы к стенке ставим. Я, грешник, тоже не одного на мушку посадил.

— Я тебе вот что скажу, товарищ... Негоже ты ведешь себя: будто вы хутор с бою взяли. Мы ить сами бросили фронт, пустили вас, а ты как в завоеванную сторону пришел... Собак стрелять — это всякий сумеет и безоружного убить и обидеть тоже нехитро...

— Ты мне не указывай! Знаем мы вас! «Фронт бросили»! Если б не набили вам, так не бросили бы. И разговаривать с тобой я могу по-всякому.

— Оставь, Александр! Надоело! — просил рыжебровый.

Но тот уже подошел к Григорию, раздувая ноздри, дыша с сапом и свистом.

— Ты меня лучше не тронь, офицер, а то худо будет!

— Я вас не трогаю.

— Нет, трогаешь!

Приоткрывая дверь, Наталья сорванным голосом позвала Григория. Он обошел стоявшего против него красноармейца, пошел и качнулся в дверях, как пьяный. Петро встретил его ненавидящим, стнящим шепотом:

— Что ты делаешь?.. На черта он тебе сдался? Чего ты с ним связываешься! И себя и нас сгубишь! Сядь!.. — Он с силой толкнул Григория на сундук, вышел в кухню.

Григорий раскрытым ртом жадно хлебал воздух, от смуглых щек его отходил черный румянец, и потускневшие глаза обрели слабый блеск.

— Гриша! Гришенька! Родненький! Не связывайся! — просила Наталья, дрожа, зажимая рты готовым зареветь детишкам.

— Чего ж я не уехал? — спросил Григорий и, тоскуя, глянул на Наталью. — Не буду. Цыц! Сердцу нет мочи терпеть!

Позднее пришли еще трое красноармейцев. Один, в высокой черной папахе, по виду начальник, спросил:

— Сколько поставлено на квартиру?

— Семь человек, — за всех ответил рыжебровый, перебиравший певучие лады ливенки.

— Пулеметная застава будет здесь. Потеснитесь.

Ушли. И сейчас же заскрипели ворота. На баз въехало две подводы. Один из пулеметов втащили в сенцы. Кто-то жег спички в темноте и яростно матерился. Под навесом сарая курили, на гумне, дергая сено, зажигали огонь, но никто из хозяев не вышел.

— Пошел бы, коней глянул, — шепнула Ильинична, проходя мимо старика.

Тот только плечами дрогнул, а пойти не пошел. Всю ночь хлопали двери. Белый пар висел под потолком и росой садился на стены. Красноармейцы постелили себе в горнице на полу. Григорий принес и расстелил им полсть, в голову положил свой полушубок.

— Сам служил, знаю, — примиряюще улыбнулся он тому, кто чувствовал в нем врага.

Но широкие ноздри красноармейца зашевелились, взгляд непримиримо скользнул по Григорию...

Григорий и Наталья легли в той же комнате на кровати. Красноармейцы, сложив винтовки в головах, вповалку разместились на полсти. Наталья хотела потушить лампу, у нее внушительно спросили:

— Тебя кто просил гасить огонь? Не смей! Прикрути фитиль, а огонь должен гореть всю ночь.

Детей Наталья уложила в ногах, сама, не раздеваясь, легла к стенке. Григорий, закинув руки, лежал молча.

«Ушли бы мы, — стискивая зубы, прижимаясь сердцем к углу подушки, думал Григорий. — Ушли бы в отступ, и вот сейчас Наташку распинали бы на этой кровати и тешились над ней, как тогда в Польше над Франей...»

Кто-то из красноармейцев начал рассказ, но знакомый голос перебил его, зазвучал в мутной полутьме с выжидающими паузами:

— Эх, скучно без бабы! Зубами бы грыз... Но хозяин, — он офицер... Простым, которые сопливые, они жен не уступают... Слышишь, хозяин?

Кто-то из красноармейцев уже храпел, кто-то сонно засмеялся. Голос рыжебрового зазвучал угрожающе:

— Ну, Александр, мне надоело тебя уговаривать. На каждой квартире ты скандалишь, фулиганишь, позоришь красноармейское звание. Этак не годится! Сейчас вот иду к комиссару или к ротному. Слышишь? Мы с тобой поговорим!

Пристыла тишина. Слышно было только, как рыжебровый, сердито сопя, натягивает сапоги. Через минуту он вышел, хлопнув дверью.

Наталья, не удержавшись, громко всхлипнула. Григорий рукой трясуче гладил голову ее, потный лоб и мокрое лицо. Правой спокойно шарил у себя по груди, а пальцы механически застегивали и расстегивали пуговицы нательной рубахи.

— Молчи, молчи! — чуть слышно шептал он Наталье. И в этот миг знал непреложно, что духом готов на любое испытание и унижение, лишь бы сберечь свою и родимых жизнь.

Спичка осветила лицо привставшего Александра, широкий обод носа, рот, присосавшийся к папироске. Слышно было, как он вполголоса заворчал и, вздохнув сквозь многоголосый храп, стал одеваться.

Григорий, нетерпеливо прислушивавшийся, в душе бесконечно благодарный рыжебровому, радостно дрогнул, услышав под окном шаги и негодующий голос:

— И вот он все привязывается... что делать... беда... товарищ комиссар...

Приоткрывая дверь, Наталья сорванным голосом позвала Григория. Он обошел стоявшего против него красноармейца, пошел и качнулся в дверях, как пьяный. Петро встретил его ненавидящим, стениящим шепотом:

— Что ты делаешь?.. На черта он тебе сдался? Чего ты с ним связываешься! И себя и нас сгубишь! Сядь!.. — Он с силой толкнул Григория на сундук, вышел в кухню.

Григорий раскрытым ртом жадно хлебал воздух, от смуглых щек его отходил черный румянец, и потускневшие глаза обрета-ли слабый блеск.

— Гриша! Гришенька! Родненький! Не связывайся! — просила Наталья, дрожа, зажимая рты готовым зареветь детишкам.

— Чего ж я не уехал? — спросил Григорий и, тоскуя, глянул па Наталью. — Не буду. Цыц! Сердцу нет мочи терпеть!

Позднее пришли еще трое красноармейцев. Один, в высокой черной папахе, по виду начальник, спросил:

— Сколько поставлено на квартиру?

— Семь человек, — за всех ответил рыжебровый, перебиравший певучие лады ливенки.

— Пулеметная застава будет здесь. Потеснитесь.

Ушли. И сейчас же закрипели ворота. На баз въехало две подводы. Один из пулеметов втащили в сенцы. Кто-то жег спички в темноте и яростно матерился. Под навесом сарая курили, на гумне, дергая сено, зажигали огонь, но никто из хозяев не вышел.

— Пошел бы, коней глянул, — шепнула Ильинична, проходя мимо старика.

Тот только плечами дрогнул, а пойти не пошел. Всю ночь хлопали двери. Белый пар висел под потолком и росой садился на стены. Красноармейцы постелили себе в горнице на полу. Григорий принес и расстелил им полсть, в голова́ положил свой полушубок.

— Сам служил, знаю, — примиряюще улыбнулся он тому, кто чувствовал в нем врага.

Но широкие ноздри красноармейца зашевелились, взгляд непримиримо скользнул по Григорию...

Григорий и Наталья легли в той же комнате на кровати. Красноармейцы, сложив винтовки в головах, вповалку разместились на полсти. Наталья хотела потушить лампу, у нее внушительно спросили:

— Тебя кто просил гасить огонь? Не смей! Прикрути фитиль, а огонь должен гореть всю ночь.

Детей Наталья уложила в ногах, сама, не раздеваясь, легла к стенке. Григорий, закинув руки, лежал молча.

«Ушли бы мы, — стискивая зубы, прижимаясь сердцем к углу подушки, думал Григорий. — Ушли бы в отступ, и вот сейчас Наташку распинали бы на этой кровати и тешились над ней, как тогда в Польше над Франей...»

Кто-то из красноармейцев начал рассказ, но знакомый голос перебил его, зазвучал в мутной полутьме с выжидающими паузами:

— Эх, скучно без бабы! Зубами бы грыз... Но хозяин, — он офицер... Простым, которые сопливые, они жен не уступают... Слышишь, хозяин?

Кто-то из красноармейцев уже храпел, кто-то сонно засмеялся. Голос рыжебрового зазвучал угрожающе:

— Ну, Александр, мне надоело тебя уговаривать. На каждой квартире ты скандалишь, фулиганишь, позоришь красноармейское звание. Этак не годится! Сейчас вот иду к комиссару или к ротному. Слышишь? Мы с тобой поговорим!

Пристыла тишина. Слышно было только, как рыжебровый, сердито сопя, натягивает сапоги. Через минуту он вышел, хлопнув дверью.

Наталья, не удержавшись, громко всхлипнула. Григорий рукой трясуче гладил голову ее, потный лоб и мокрое лицо. Правой спокойно шарил у себя по груди, а пальцы механически застегивали и расстегивали пуговицы нательной рубахи.

— Молчи, молчи! — чуть слышно шептал он Наталье. И в этот миг знал непреложно, что духом готов на любое испытание и унижение, лишь бы сберечь свою и родимых жизнь.

Спичка осветила лицо привставшего Александра, широкий обод носа, рот, присосавшийся к папироске. Слышно было, как он вполголоса заворчал и, вздохнув сквозь многоголосый храп, стал одеваться.

Григорий, нетерпеливо прислушивавшийся, в душе бесконечно благодарный рыжебровому, радостно дрогнул, услышав под окном шаги и негодующий голос:

— И вот он все привязывается... что делать... беда... товарищ комиссар...

Шаги зазвучали в сенцах, скрипнула, отворившись, дверь. Чей-то молодой командный голос приказал:

— Александр Тюрников, одевайся и сейчас же уходи отсюда! Ночевать будешь у меня на квартире, а завтра мы тебя будем судить за недостойное красноармейца поведение!

Григорий встретил доброжелательный острый взгляд стоявшего у дверей, рядом с рыжебровым, человека в черной кожаной куртке.

Он по виду молод и по-молодому суров; с чересчур уж подчеркнутой твердостью были сжаты его губы, обметанные юношеским пушком.

— Беспокойный гость попался, товарищ? — обратился он к Григорию, чуть приметно улыбаясь. — Ну, теперь спите, мы его завтра утихомирим. Всего доброго. Идем, Тюрников!

Ушли, и Григорий вздохнул облегченно. А наутро рыжебровый, расплачиваясь за квартиру и харчи, нарочито замешкался и сказал:

— Вот, хозяева, не обижайтесь на нас. У нас этот Александр вроде головой тронутый. У него в прошлом году на глазах офицеры в Луганске — он из Луганска родом — расстреляли мать и сестру. Оттого он такой... Ну, спасибо. Прощайте. Да, вот детишкам чуть было не забыл! — И, к несказанной радости ребят, вытащил из вещевого мешка и сунул им в руки по куску серого от грязи сахара.

Пантелей Прокофьевич растроганно глядел на внуков.

— Ну, вот им гостинец! Мы его, сахар-то, года полтора уж не видим... Спаси Христос, товарищ!.. Кланяйтесь дяденьке! Полюшка, благодари!.. Милушка, чего же ты набычилась, стоишь?

Красноармеец вышел, и старик — гневно к Наталье:

— Необразованность ваша! Хучь бы пышку дала ему на дорогу. Отдарить-то надо доброго человека? Эх!

— Беги! — приказал Григорий.

Наталья, накинув платок, догнала рыжебрового за калиткой. Красная от смущения, сунула пышку ему в глубокий, как степной колодец, карман шинели.

Книга IV

Часть 8

II

К лету в Татарский возвратилось десятка три казаков из числа ходивших в отступление. В большинстве своем это были старики и служивые старших возрастов, а молодые и средних лет казаки, за вычетом больных и раненых, почти полностью отсутствовали. Часть их была в Красной армии, остальные — в составе врангелевских полков — отсиживались в Крыму, готовясь к новому походу на Дон.

Добрая половина отступавших навсегда осталась в чужих краях: иные погибли от тифа, другие приняли смерть в последних схватках на Кубани, несколько человек, отбившись от обоза, замерзли в степи за Манычем, двое были захвачены в плен красно-зелеными и пропали без вести... Многих казаков недосчитывались в Татарском. Женщины проводили дни в напряженном и тревожном ожидании и каждый раз, встречая коров на выгоне, подолгу стояли, вглядываясь из-под ладоней — не покажется ли на шляху, задержанном лиловой вечерней марью, запоздалый пешеход?

Приходил домой какой-нибудь оборванный, обовшивевший и худой, но долгожданный хозяин, и в хате начиналась радостная, бестолковая суета: грели воду для черного от грязи служивого, дети наперебой старались услужить отцу и караулили каждое его движение, растерявшаяся от счастья хозяйка то кидалась накрывать на стол, то бежала к сундуку, чтобы достать чистую пару мужниного белья. А бельишко, как на грех, оказывалось незаштопанным, а дрожащие пальцы хозяйки никак не могли продеть нитку в игольное ушко... В эту счастливую минуту даже дворовой собаке, которая издали узнала хозяина и до порога бежала за ним, облизывая ему руки, разрешалось войти в дом; даже за разбитую посуду или пролитое молоко не попадало детям, и любой их проступок сходил безнаказанно... Не успевал хозяин переодеться после купания, как уже в хату полно набивалось женщин. Приходили узнать о судьбе родных, пугливо и жадно ловили каждое слово служивого. А спустя немного какая-нибудь женщина выходила во двор, прижав ладони к залитому слезами лицу, шла по проул-

ку, как слепая, не разбирая дороги, и вот уж в одном из домишек причитала по мертвому новая вдова и тонко вторили ей плачущие детские голоса. Так было в те дни в Татарском: радость, вступающая в один дом, вводила в другой неизбывное горе.

Наутро помолодевший, чисто выбритый хозяин вставал чуть свет, оглядывал хозяйство, примечал, за что надо взяться сразу. После завтрака он уже принимался за дело. Весело шипел рубанок или постукивал топор где-нибудь под навесом сарая, в холодке, словно возвещая, что появились в этом дворе жадные на работу, умелые мужские руки. А там, где накануне узнали о смерти отца и мужа, глухая тишина стояла в доме и на подворье. Молча лежала придавленная горем мать, и около нее теснились, сбиваясь в кучку, повзрослевшие за одну ночь сироты-дети.

Ильинична, услышав о возвращении кого-либо из хуторных, говорила:

— И когда это наш придет! Чужие идут, а про нашего и слуху нет.

— Молодых казаков не спускают, как вы не понимаете, маманя! — с досадой отвечала ей Дуняшка.

— Как это не спускают? А Тихон Герасимов? Он на год моложе Гриши.

— Он же раненый, маманя!

— Какой он там раненый! — возражала Ильинична. — Вчера видала его возле кузницы, ходит как по струнке. Такие раненые не бывают.

— Был раненый, а зараз на поправке.

— А наш мало был раненый? Все тело его в рубцах, что ж, ему и поправка не нужна, по-твоему?

Дуняшка всячески старалась доказать матери, что надеяться на приход Григория сейчас нельзя, но убедить в чем-либо Ильиничну было делом нелегким.

— Замолчи, дура! — приказывала она Дуняшке. — Я не меньше твоего знаю, и ты ишо молода матерю учить. Говорю — должен прийти, значит, придет. Ступай, ступай, я с тобой и речей не хочу терять!

Старуха с величайшим нетерпением ждала сына и вспоминала о нем при всяком случае. Стоило только Мишатке оказать ей неповиновение, как она тотчас грозила: «А вот погоди, анчутка вихрастый, придет отец, докажу ему, так он тебе всыпет!» За-

видев на проезжавшей мимо окон арбе свежесделанные ребра, она вздыхала и непременно говорила: «По справе сразу видно, что хозяин дома, а нашему — как, скажи, кто дорогу домой заказал...» Никогда в жизни Ильинична не любила табачного дыма и всегда выгоняла курцов из кухни, но за последнее время она изменилась и в этом отношении. «Сходи покличь Прохора, — не раз говорила она Дуняшке, — нехай придет, выкурит сигарку, а то уже тут мертвежиной воняет. Вот придет со службы Гриша, тогда у нас жилым, казачьим духом запахнет...» Каждый день, стряпая, она готовила что-нибудь лишнее и после обеда ставила чугуны со щами в печь. На вопрос Дуняшки — зачем она это делает, Ильинична удивленно ответила: «А как же иначе? Может, служивенький наш нынче придет, вот он сразу и поест горяченького, а то пока разогреешь, того да сего, а он голодный, небось...» Однажды, придя с бахчи, Дуняшка увидела висевшую на гвозде в кухне старую поддевку Григория и фуражку с выцветшим околышем. Дуняшка вопросительно взглянула на мать, и та, как-то виновато и жалко улыбаясь, сказала: «Это я, Дуняшка, достала из сундука. Войдешь с базу, глянешь, и как-то легче делается... Будто он уже с нами...»

Дуняшке опостытели бесконечные разговоры о Григории. Однажды она не вытерпела, упрекнула мать:

— И как вам, маманя, не надоест все об одном и том же гутарить? Вы уж обрыдли всем с вашими разговорами. Только от вас и послышишь: Гриша да Гриша...

— Как это мне надоест об родном сыне гутарить? Ты народи своих, а тогда узнаешь... — тихо ответила Ильинична.

После этого она унесла из кухни к себе в горницу поддевку и фуражку Григория и несколько дней вслух не вспоминала о сыне. Но незадолго до начала лугового покоса она сказала Дуняшке:

— Вот ты серчаешь, как я вспоминаю об Грише, а как же мы будем без него жить? Об этом ты подумала, глупая? Заходит покос, а у нас и грабельника обтесать некому... Вон как у нас все поползло, и ничему мы с тобой рахунки не дадим. Без хозяина и товар плачет...

Дуняшка промолчала. Она отлично понимала, что вопросы хозяйства вовсе не так уж тревожат мать, что все это служит только предлогом поговорить о Григории, отвести душу. Ильинична с новой силой затосковала по сыну и скрыть этого не смо-

ку, как слепая, не разбирая дороги, и вот уж в одном из домишек причитала по мертвому новая вдова и тонко вторили ей плачущие детские голоса. Так было в те дни в Татарском: радость, вступающая в один дом, вводила в другой неизбывное горе.

Наутро помолодевший, чисто выбритый хозяин вставал чуть свет, оглядывал хозяйство, примечал, за что надо взяться сразу. После завтрака он уже принимался за дело. Весело шипел рубанок или постукивал топор где-нибудь под навесом сарая, в холодке, словно возвещая, что появились в этом дворе жадные на работу, умелые мужские руки. А там, где накануне узнали о смерти отца и мужа, глухая тишина стояла в доме и на подворье. Молча лежала придавленная горем мать, и около нее теснились, сбиваясь в кучку, повзрослевшие за одну ночь сироты-дети.

Ильинична, услышав о возвращении кого-либо из хуторных, говорила:

— И когда это наш придет! Чужие идут, а про нашего и слуху нет.

— Молодых казаков не спускают, как вы не понимаете, маманя! — с досадой отвечала ей Дуняшка.

— Как это не спускают? А Тихон Герасимов? Он на год моложе Гриши.

— Он же раненый, маманя!

— Какой он там раненый! — возражала Ильинична. — Вчера видала его возле кузницы, ходит как по струнке. Такие раненые не бывают.

— Был раненый, а зараз на поправке.

— А наш мало был раненый? Все тело его в рубцах, что ж, ему и поправка не нужна, по-твоему?

Дуняшка всячески старалась доказать матери, что надеяться на приход Григория сейчас нельзя, но убедить в чем-либо Ильиничну было делом нелегким.

— Замолчи, дура! — приказывала она Дуняшке. — Я не меньше твоего знаю, и ты ишо молода матерю учить. Говорю — должен прийти, значит, придет. Ступай, ступай, я с тобой и речей не хочу терять!

Старуха с величайшим нетерпением ждала сына и вспоминала о нем при всяком случае. Стоило только Мишатке оказать ей неповиновение, как она тотчас грозила: «А вот погоди, анчутка вихрастый, придет отец, докажу ему, так он тебе всыпет!» За-

видев на проезжавшей мимо окон арбе свежесделанные ребра, она вздыхала и непременно говорила: «По справе сразу видно, что хозяин дома, а нашему — как, скажи, кто дорогу домой заказал...» Никогда в жизни Ильинична не любила табачного дыма и всегда выгоняла курцов из кухни, но за последнее время она изменилась и в этом отношении. «Сходи покличь Прохора, — не раз говорила она Дуняшке, — нехай придет, выкурит сигарку, а то уже тут мертвежиной воняет. Вот придет со службы Гриша, тогда у нас жилым, казачьим духом запахнет...» Каждый день, стряпая, она готовила что-нибудь лишнее и после обеда ставила чугуны со щами в печь. На вопрос Дуняшки — зачем она это делает, Ильинична удивленно ответила: «А как же иначе? Может, служивенький наш нынче придет, вот он сразу и поест горяченького, а то пока разогреешь, того да сего, а он голодный, небось...» Однажды, придя с бахчи, Дуняшка увидела висевшую на гвозде в кухне старую поддевку Григория и фуражку с выцветшим околышем. Дуняшка вопросительно взглянула на мать, и та, как-то виновато и жалко улыбаясь, сказала: «Это я, Дуняшка, достала из сундука. Войдешь с базу, глянешь, и как-то легче делается... Будто он уже с нами...»

Дуняшке опостытели бесконечные разговоры о Григории. Однажды она не вытерпела, упрекнула мать:

— И как вам, маманя, не надоест все об одном и том же гутарить? Вы уж обрыдли всем с вашими разговорами. Только от вас и слышишь: Гриша да Гриша...

— Как это мне надоест об родном сыне гутарить? Ты народи своих, а тогда узнаешь... — тихо ответила Ильинична.

После этого она унесла из кухни к себе в горницу поддевку и фуражку Григория и несколько дней вслух не вспоминала о сыне. Но незадолго до начала лугового покоса она сказала Дуняшке:

— Вот ты серчаешь, как я вспоминаю об Грише, а как же мы будем без него жить? Об этом ты подумала, глупая? Заходит покос, а у нас и грабельника обтесать некому... Вон как у нас все поползло, и ничему мы с тобой рахунки не дадим. Без хозяина и товар плачет...

Дуняшка промолчала. Она отлично понимала, что вопросы хозяйства вовсе не так уж тревожат мать, что все это служит только предлогом поговорить о Григории, отвести душу. Ильинична с новой силой затосковала по сыну и скрыть этого не смо-

гла. Вечером она отказалась от ужина и, когда Дуняшка спросила ее — не захворала ли она? — неохотно ответила:

— Старая я стала... И сердце у меня болит об Грише... Так болит, что ничего мне не мило и глазам глядеть на свет больно...

Но не Григорию пришлось хозяйствовать на мелеховском базу... Перед луговым покосом в хутор приехал с фронта Мишка Кошевой. Он заночевал у дальних родственников и наутро пришел к Мелеховым. Ильинична стряпала, когда гость, вежливо постучав в дверь и не получив ответа, вошел в кухню, снял старенькую солдатскую фуражку, улыбнулся Ильиничне:

— Здорово, тетка Ильинична! Не ждала?

— Здравствуй. А ты кто такой мне, чтобы я тебя ждала? Нашему забору двоюродный плетень? — грубо ответила Ильинична, негодуя глянув в ненавистное ей лицо Кошевого.

Нимало не смущенный таким приемом Мишка сказал:

— Так уж и плетень... Как-никак знакомые были.

— Только и всего.

— Да больше и не надо, чтобы зайти проведать. Я не жить к вам пришел.

— Этого бы ишо не доставало, — проговорила Ильинична и, не глядя на гостя, принялась за стряпню.

Не обращая внимания на ее слова, Мишка внимательно рассматривал кухню, говорил:

— Зашел проведать, поглядеть, как вы живете... Не видались-то год с лишним.

— Не дуже по тебе соскучились, — буркнула Ильинична, яростно двигая по загнетке чугуны.

Дуняшка прибирала в горнице и, заслышав Мишкин голос, побледнела, безмолвно всплеснула руками. Она вслушивалась в происходивший на кухне разговор, присев на лавку, не шевелясь. На лице Дуняшки то вспыхивал густой румянец, то бледность покрывала щеки так, что на тонкой горбинке носа выступали продольные белые полосы. Она слышала, как твердо прошагал по кухне Мишка, сел на скрипнувший под ним стул, потом чиркнул спичкой. В горницу потянуло папиросным дымком.

— Старик, говорят, помер?

— Помер.

— А Григорий?

Ильинична долго молчала, затем с видимой неохотой ответила:

— В красных служит. Такую ж звезду на шапку нацепил, как и ты.

— Давно бы надо ему нацепить ее...

— Это — его дело.

В голосе Мишки прозвучала явная тревога, когда он спросил:

— А Евдокия Пантелевна?

— Прибирается. Больно ранний ты гость, добрые-то люди спозаранок не ходят.

— Будешь недобрым. Соскучился, вот и пришел. Чего уж тут время выбирать.

— Ох, Михаил, не гневил бы ты меня...

— Чем же я вас, тетушка, гневлю?

— А тем!

— Все-таки, чем же?

— Вот этими своими разговорами!

Дуняшка слышала, как Мишка тяжело вздохнул. Больше она не смогла выдержать: вскочила, оправила юбку, вышла на кухню. Желтый, исхудавший до неузнаваемости, Мишка сидел возле окна, докуривал папиросу. Мутные глаза его оживились, на лице проступил чуть приметный румянец, когда он увидел Дуняшку. Торопливо поднявшись, он хрипло сказал:

— Ну, здравствуй!

— Здравствуй... — чуть слышно ответила Дуняшка.

— Ступай воды принеси, — тотчас приказала Ильинична, мельком взглянув на дочь.

Мишка терпеливо ждал возвращения Дуняшки. Ильинична молчала. Молчал и Мишка, потом затушил в пальцах окурок, спросил:

— Чего вы лютуете на меня, тетушка? Дорогу я вам перешел или что?

Ильинична повернулась от печки, словно ужаленная.

— Как тебе только совесть позволяет приходить к нам, бесстыжие твои глаза?! — сказала она. — И ты у меня ишо спрашиваешь?! Душегуб ты...

— Это какой же я душегуб?

— Истинный! Кто Петра убил? Не ты?

— Я.

— Ну вот! Опосля этого кто же ты есть? И ты идешь к нам... садишься, как будто... — Ильинична задохнулась, смолкла, но,

оправившись, продолжала: — Мать я ему или кто? Как же твои глаза на меня глядят?

Мишка заметно побледнел. Он ждал этого разговора. Слегка заикаясь от волнения, он сказал:

— Не с чего моим глазам зажмуряться! А ежели б Петро меня поймал, что бы он сделал? Думаешь, в маковку поцеловал бы? Он бы тоже меня убил. Не для того мы на этих буграх сходились, чтобы нянькаться один с другим! На то она и война.

— А свата Коршунова? Старика мирного убивать, это — тоже война?

— А как же? — удивился Мишка. — Конечно, война! Знаю я этих мирных! Такой мирный дома сидит, портки в руках держит, а зла наделает больше, чем иной на позициях... Самое такие, как дед Гришака, и настраивали казаков супротив нас. Через них и вся эта война зачалась! Кто агитацию пушал против нас? Они, вот эти самые мирные. А ты говоришь — «душегуб»... Тоже, наша душегуба! Я, бывало, ягнюка или поросенка не могу зарезать и зараз — знаю, что не зарежу. У меня на эту живность рука не налегает. Другие, бывало, режут, — и то я уши заткну и ухожу куда-нибудь подальше, чтобы и не слышать и не видеть.

— А свата...

— Дался вам этот сват! — досадливо перебил Мишка. — От него пользы было, как от козла молока, а вреду много. Говорил ему: выходи из дому, не пошел, ну и лег на том месте. Злой я на них, на этих старых чертей! Животную не могу убить — может, со зла только, а такую, вы меня извиняйте, пакость, как этот ваш сват или другой какой вражина, — могу сколько угодно! На них, на врагов, какие зря на белом свете живут, у меня рука твердая!

— Через эту твою твердость ты и высох весь, — язвительно сказала Ильинична. — Совесть небось точит...

— Как бы не так! — добродушно улыбнулся Мишка. — Станет меня совесть точить из-за такого барахла, как этот дед. Меня лихорадка замучила, вытрепала всего начисто, а то бы я их, мамаша...

— Какая я тебе мамаша? — вспыхнула Ильинична. — Сучку кличь мамашей!

— Ну, ты меня не сучи! — глуховато сказал Мишка и зловеще сощурил глаза. — Я подряда не брал всего от тебя терпеть. А говорю тебе, тетка, толком: за Петра не держи на меня сердца. Сам он нашел, чего искал.

— Душегуб ты! Душегуб! Ступай отсюда, зреть я тебя не могу! — настойчиво твердила Ильинична.

Мишка закурил снова, спокойно спросил:

— А Митрий Коршунов — сват ваш — не душегуб? А Григорий кто? Про сына-то ты молчишь, а уж он-то душегуб настоящий, без подмеса!

— Не бреши!

— Со вчерашнего дня не брешу. Ну, а кто он, по-твоему? Сколько он наших загубил, об этом ты знаешь? То-то и оно! Коли такое прозвище ты, тетушка, даешь всем, кто на войне был, тогда все мы душегубы. Все дело в том, за что души губить и какие, — значительно сказал Мишка.

Ильинична промолчала, но, видя, что гость и не думает уходить, сурово сказала:

— Хватит! Некогда мне с тобой гутарить, шел бы ты домой.

— У меня домов, как у зайца теремов, — усмехнулся Мишка и встал.

Черта с два его можно было отвадить всякими этими штучками и разговорами! Не такой уж он, Мишка, был чувствительный, чтобы обращать внимание на оскорбительные выходки взбесившейся старухи. Он знал, что Дуняшка его любит, а на остальное, в том числе и на старуху, ему было наплевать.

На следующий день утром он снова пришел, поздоровался как ни в чем не бывало, сел у окна, провожая глазами каждое движение Дуняшки.

— Часто наведываешься... — вскользь бросила Ильинична, не отвечая на Мишкино приветствие.

Дуняшка вспыхнула, взглянула на мать загоревшимися глазами и опустила взгляд, не сказав ни слова.

Усмехаясь, Мишка ответил:

— Не к тебе хожу, тетка Ильинична, зря ты горишь.

— Лучше б ты вовсе забыл дорогу к нашему куреню.

— А куда же мне идтить-то? — посерьезнев, спросил Мишка. — По милости вашего свата Митрия остался я один, как глаз у кривого, а в пустой хате бирюком не просидишь. Хочешь ты или не хочешь, тетушка, а ходить я к вам буду, — закончил он и сел удобнее, широко расставив ноги.

Ильинична внимательно посмотрела на него. Да, пожалуй, такого не так-то просто выставить. Бычье упорство было во всей

сутуловатой Мишкиной фигуре, в наклоне головы, в твердо сжатых губах...

После того как он ушел, Ильинична проводила детей во двор, сказала, обращаясь к Дуняшке:

— Чтобы больше и ноги его тут не ступало. Поняла?

Дуняшка, не сморгнув, глянула на мать. Что-то присущее всем Мелеховым на миг появилось в бешеном прищуре ее глаз, когда она, словно откусывая каждое слово, проговорила:

— Нет! Будет ходить! Не закажете! Будет! — И, не выдержав, закрыла лицо передником, выбежала в сени.

Ильинична, тяжело переводя дыхание, присела к окну, долго сидела, молча покачивая головой, устремив невидящий взгляд куда-то далеко в степь, где серебряная под солнцем кромка молодой полыни отделяла землю от неба.

Перед вечером Дуняшка с матерью — не примирившиеся и молчаливые — ставили на огороде у Дона упавший плетень. Подошел Мишка. Он молча взял из рук Дуняшки лопату, сказал:

— Мелко роешь. Ветер дунет, и опять упадет ваш плетень, — и стал углублять ямки для стоянов, потом помог поставить плетень, приклячил его к стоянам и ушел. Утром он принес и поставил возле мелеховского крыльца два только что обструганных грабельника и держак на вилы; поздоровавшись с Ильиничной, деловито спросил:

— Траву в лугу косить думаете? Люди уже поехали за Дон.

Ильинична промолчала. Вместо матери ответила Дуняшка:

— Нам и переехать-то не на чем. Баркас с осени лежит под сараем, разохся весь.

— Надо бы спустить его весной на воду, — укоризненно сказал Мишка. — Может, его законопатить? Без баркаса вам будет неспособно.

Дуняшка покорно и выжидающе взглянула на мать. Ильинична молча месила тесто и делала вид, будто весь этот разговор ее вовсе не касается.

— Конопи есть у вас? — спросил Мишка, чуть приметно улыбаясь.

Дуняшка пошла в кладовую, принесла охапку конопляных хлопьев.

К обеду Мишка управился с лодкой, зашел в кухню.

— Ну, стянул баркас на воду, нехай замокает. Примкните его к карше, а то как бы кто не угнал. — И снова спросил: — Так как же, тетушка, насчет покоса? Может, пособить вам? Все одно я зараз без дела.

— Вон у нее спроси, — Ильинична кивнула головой в сторону Дуняшки.

— Я у хозяйки спрашиваю.

— Я тут, видно, не хозяйка...

Дуняшка заплакала, ушла в горницу.

— Тогда придется пособить, — крикнув, решительно сказал Мишка. — Где тут у вас плотницкий инструмент? Грабли хочу вам поделать, а то старые, должно, негожи.

Он ушел под сарай и, посвистывая, стал выстругивать зубья на грабли. Маленький Мишатка вертелся около него, умоляюще засматривал в глаза, просил:

— Дяденька Михаил, сделай мне маленькие грабли, а то мне некому сделать. Бабуня не умеет, и тетка не умеет... Один ты умеешь, ты хорошо умеешь!

— Сделаю, тезка, ей-богу, сделаю, только отойди трошки, а то как бы тебе стружа в глаза не попала, — уговаривал его Кошейвой, посмеиваясь и с изумлением думая: «Ну, до чего похож, чертеночек... Вылитый батя! И глаза, и брови, и верхнюю губу так же подымает... Вот это — работенка!»

Он начал было мастерить крохотные детские граблишки, но закончить не смог: губы его посинели, на желтом лице появилось озлобленное и вместе с тем покорное выражение. Он перестал насвистывать, положил нож и зябко шевельнул плечами.

— Михайло Григорич, тезка, принеси мне какую-нибудь де-рюжку, я ляжу, — попросил он.

— А зачем? — поинтересовался Мишатка.

— Захворать хочу.

— На что?

— Эх, до чего ты неотвязный, прямо как репей... Ну, пришло время захворать, вот и все! Неси скорей!

— А грабли мои?

— Потом доделаю.

Крупная дрожь сотрясала Мишкино тело. Стуча зубами, он прилег на принесенную Мишаткой дерюгу, снял фуражку и накрыл ею лицо.

- Это ты уже захворал? — огорченно спросил Мишатка.
- Готов, захворал.
- А чего ты дрожишь?
- Лихорадка меня трясет.
- А на что зубами клацаешь?

Мишка из-под фуражки одним глазом взглянул на своего маленького докучливого тезку, коротко улыбнулся и перестал отвечать на его вопросы. Мишатка испуганно посмотрел на него, побежал в курень.

— Бабуня! Дядя Михаил лег под сараем и так дрожит, так дрожит, ажник подсигивает!

Ильинична посмотрела в окно, отошла к столу и долго-долго молчала, о чем-то задумавшись...

— Ты чего же молчишь, бабуня? — нетерпеливо спросил Мишатка, теребя ее за рукав кофты.

Ильинична повернулась к нему, твердо сказала:

— Возьми, чадунюшка, одеялу и отнеси ему, анчихристу, нехай накроется. Это лихоманка его бьет, болезнь такая. Одеялу ты донесешь? — Она снова подошла к окну, глянула во двор, торопливо сказала: — Постой, постой! Не носи, не надо.

Дуняшка накрывала своей овчинной шубой Кошевого и, наклонившись, что-то говорила ему...

После приступа Мишка до сумерек возился с подготовкой к покосу. Он заметно ослабел. Движения его стали вялы и неуверенны, но грабли Мишатке он все же смастерил.

Вечером Ильинична собрала ужинать, усадила за стол детей, — не глядя на Дуняшку, сказала:

— Иди, кличь этого... как его... вечерять.

Мишка сел за стол, не перекрестив лба, устало сгорбившись. На желтом лице его, покрытом грязными полосами засохшего пота, отражалось утомление, рука мелко вздрагивала, когда он нес ко рту ложку. Он ел мало и неохотно, изредка равнодушно оглядывая сидевших за столом. Но Ильинична с удивлением заметила, что потухшие глаза «душегуба» теплели и оживлялись, останавливаясь на маленьком Мишатке, огоньки восхищения и ласки на миг вспыхивали в них и гасли, а в углах рта еще долго таилась чуть приметная улыбка. Потом он переводил взгляд, и снова на лицо его тенью ложилось тупое равнодушие.

Ильинична стала исподтишка наблюдать за Кошевым и только тогда увидела, как страшно исхудал он за время болезни. Под серой от пыли гимнастеркой резко и выпукло очерчивались полудужья ключиц, выступами горбились острые от худобы углы широких плеч, и странно выглядел заросший рыжеватою щетиной кадык на ребячески тонкой шее... Чем больше всматривалась Ильинична в сутулую фигуру «душегуба», в восковое лицо его, тем сильнее испытывала чувство какого-то внутреннего неудобства, раздвоенности. И вдруг непрощенная жалость к этому ненавистному ей человеку — та щемящая материнская жалость, которая покоряет и сильных женщин, — проснувшись в сердце Ильиничны. Не в силах совладать с новым чувством, она подвинула Мишке тарелку, доверху налитую молоком, сказала:

— Ешь ты, ради Бога, дюжей! До того ты худой, что и смотреть-то на тебя тошно... Тоже, жених!

XVIII

Ранней весною, когда сойдет снег и подсохнет полегшая за зиму трава, в степи начинаются весенние палы. Потоками струится подгоняемый ветром огонь, жадно пожирает он сухой аржанец, взлетает по высоким будыльям татарника, скользит по бурым верхушкам чернобыла, стелется по низинам... И после долго пахнет в степи горькой гарью от выжженной и потрескавшейся земли. Кругом весело зеленеет молодая трава, трепещут над нею в голубом небе бесчисленные жаворонки, пасутся на кормовитой зеленке пролетные гуси и выют гнезда осевшие на лето стрепета. А там, где прошли палы, зловеще чернеет мертвая, обуглившаяся земля. Не гнездуется на ней птица, стороною обходит ее зверь, только ветер, крылатый и быстрый, пролетает над нею и далеко разносит сизую золу и едкую темную пыль.

Как выжженная палами степь, черна стала жизнь Григория. Он лишился всего, что было дорого его сердцу. Все отняла у него, все порушила безжалостная смерть. Остались только дети. Но сам он все еще судорожно цеплялся за землю, как будто и на самом деле изломанная жизнь его представляла какую-то ценность для него и для других...

Похоронив Аксинью, трое суток бесцельно скитался он по степи, но ни домой, ни в Вешенскую не поехал с повинной. На четвертые сутки, бросив лошадей в одном из хуторов Усть-

Хоперской станицы, он переправился через Дон, пешком ушел в Слащевскую дубраву, на опушке которой в апреле впервые была разбита банда Фомина. Еще тогда, в апреле, он слышал о том, что в дубраве оседло живут дезертиры. К ним и шел Григорий, не желая возвращаться к Фомину.

Несколько дней бродил он по огромному лесу. Его мучил голод, но пойти куда-либо к жилью он не решался. Он утратил со смертью Аксиньи и разум и былую смелость. Треск поломанной ветки, шорох в густом лесу, крик ночной птицы — все повергало его в страх и смятение. Питался Григорий недозрелыми ягодами клубники, какими-то крохотными грибами, листьями орешника — и сильно отощал. На исходе пятого дня его встретили в лесу дезертиры, привели к себе в землянку.

Их было семь человек. Все они — жители окрестных хуторов — обосновались в дубраве с осени прошлого года, когда началась мобилизация. Жили в просторной землянке по-хозяйски домовито и почти ни в чем не нуждались. Ночами часто ходили проведывать семьи; возвращаясь, приносили хлеб, сухари, пшено, муку, картофель, а мясо на варено без труда добывали в чужих хуторах, изредка воруя скот.

Один из дезертиров, некогда служивший в 12-м казачьем полку, опознал Григория, и его приняли без особых пререканий.

* * *

Григорий потерял счет томительно тянувшимся дням. До октября он кое-как прожил в лесу, но когда начались осенние дожди, а затем холода — с новой и неожиданной силой проснулась в нем тоска по детям, по родному хутору...

Чтобы как-нибудь убить время, он целыми днями сидел на нарах, вырезывал из дерева ложки, выдалбливал миски, искусно мастерил из мягких пород игрушечные фигурки людей и животных. Он старался ни о чем не думать и не давать дороги к сердцу ядовитой тоске. Днем это ему удавалось, но длинными зимними ночами тоска воспоминаний одолевала его. Он подолгу ворочался на нарах и не мог заснуть. Днем никто из жильцов землянки не слышал от него ни слова жалобы, но по ночам он часто просыпался, вздрагивая, проводил рукою по лицу — щеки его и отросшая за полгода густая борода были мокры от слез.

Ему часто снились дети, Аксинья, мать и все остальные близкие, кого уже не было в живых. Вся жизнь Григория была в прошлом, а прошлое казалось недолгим и тяжким сном. «Походить бы ишо раз по родным местам, покрасоваться на детишек, тогда можно бы и помирать», — часто думал он.

На провесне как-то днем неожиданно появился Чумаков. Он был мокрым по пояс, но по-прежнему бодр и суетлив. Высушив одежду возле печурки, обогревшись, подсел к Григорию на нары.

— Погуляли же мы, Мелехов, с той поры, как ты от нас отбился! И под Астраханью были и в калмыцких степях... Поглядели на белый свет! А что крови чужой пролили — счету нету. У Якова Ефимыча жену взяли заложницей, имущество забрали, ну, он и остервенился, приказал рубить всех, кто советской власти служит. И зачали рубить всех подряд: и учителей, и разных там фельдшеров, и агрономов... Черт-те кого только не рубили! А зараз — кончили и нас, совсем, — сказал он, вздыхая и все еще ежась от озноба. — Первый раз разбили нас под Тишанской, а неделю назад — под Соленым. Ночью окружили с трех сторон, оставили один ход на бугор, а там снегу — лошадям по пузо... С рассветом вдарили из пулеметов, и началось... Всех посекали пулеметами. Я да сынишка Фомина — только двое и спаслись. Он, Фомин-то, Давыдку своего с собой возил с самой осени. Погиб и сам Яков Ефимыч... На моих глазах погиб. Первая пуля попала ему в ногу, перебила коленную чашечку, вторая — в голову, наосклизь. До трех раз падал он с коня. Остановимся, подыдем, посадим в седло, а он проскачет трошки и опять упадет. Третья пуля нашла его, ударила в бок... Тут уж мы его бросили. Отскакал я на сотейник, оглянулся, а его уже лежачего двое конных шашками полосуют...

— Что ж, так и должно было получиться, — равнодушно сказал Григорий.

Чумаков переночевал у них в землянке, утром стал прощаться.

— Куда идешь? — спросил Григорий.

Улыбаясь, Чумаков ответил:

— Легкую жизнью шукать. Может, и ты со мной?

— Нет, топай один.

— Да, мне с вами не жить... Твое ремесло, Мелехов, — ложечки-чашки вырезать — не по мне, — насмешливо проговорил Чумаков и с поклоном снял шапку. — Спаси Христос, мирные

разбойнички, за хлеб-соль, за приют. Нехай Боженька даст вам веселой жизни, а то дюже скучно у вас тут. Живете в лесу, молитесь поломанному колесу — разве это жизнь?

Григорий после его ухода пожил в дубраве еще с неделю, потом собрался в дорогу.

— Домой? — спросил у него один из дезертиров.

И Григорий, впервые за все время своего пребывания в лесу, чуть приметно улыбнулся:

— Домой.

— Подождал бы весны. К Первому маю амнистию нам дадут, тогда и разойдемся.

— Нет, не могу ждать, — сказал Григорий и распрощался.

Утром на следующий день он подошел к Дону против хутора Татарского. Долго смотрел на родной двор, бледнея от радостного волнения. Потом снял винтовку и подсумок, достал из него шитвянку, конопляные хлопья, пузырек с ружейным маслом, зачем-то пересчитал патроны. Их было двенадцать обойм и двадцать шесть штук рассыпью.

У крутояра лед отошел от берега. Прозрачно-зеленая вода плескалась и обламывала иглистый ледок окраинцев. Григорий бросил в воду винтовку, наган, потом высыпал патроны и тщательно вытер руки о полу шинели.

Ниже хутора он перешел Дон по синему, изъеденному ростепелью, мартовскому льду, крупно зашагал к дому. Еще издали он увидел на спуске к пристани Мишатку и еле удержался, чтобы не побежать к нему.

Мишатка обламывал свисавшие с камня ледяные сосульки, бросал их и внимательно смотрел, как голубые осколки катятся вниз, под гору.

Григорий подошел к спуску, — задыхаясь, хрипло окликнул сына:

— Мишенька! Сынок!..

Мишатка испуганно взглянул на него и опустил глаза. Он узнал в этом бородатом и страшном на вид человеке отца...

Все ласковые и нежные слова, которые по ночам шептал Григорий, вспоминая там, в дубраве, своих детей, — сейчас вылетели у него из памяти. Опустившись на колени, целуя розовые холодные ручонки сына, он сдавленным голосом твердил только одно слово:

— Сынок... сынок...

Потом Григорий взял на руки сына. Сухими, иступленно горящими глазами жадно всматриваясь в его лицо, спросил:

— Как же вы тут?.. Тетка, Полюшка — живые-здоровые?

По-прежнему не глядя на отца, Мишатка тихо ответил:

— Тетка Дуня здоровая, а Полюшка померла осенью... От голошной. А дядя Михаил на службе...

Что ж, вот и сбылось то небольшое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына...

Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром.

Конец

1925—1940

Вопросы и задания

1. Какие темы и мотивы шолоховских «Донских рассказов» нашли свое продолжение и развитие в романе-эпопее «Тихий Дон»? В чем идейный смысл названия рассказа «Родинка»? Как соотносятся в нем два сюжета — внешний (исторический) и внутренний, «родовой»? (См. статью учебника «Опыт анализа рассказа «Родинка»: рождение эпической новеллы», раздел «Михаил Александрович Шолохов».)

2. Проанализируйте рассказ «Лазоревая степь», руководствуясь тезисным планом рубрики «Самостоятельный анализ текста» (раздел «Михаил Александрович Шолохов»).

3. Какие сюжетные коллизии и характеры представлены в I книге романа-эпопеи «Тихий Дон»? Как отражена в ней жизнь донского казачества, его традиции и нравы?

4. Как в облике Григория Мелехова соединяются личностное, индивидуальное и семейно-родовое начала? Почему автор не боится сниженных характеристик героя (сцена объяснения Григория и Аксиньи в гл. XVI 1-й части I книги романа)?

Какую роль в психологической обрисовке героев играет пейзаж?

5. Какими деталями и красками пользуется автор, изображая картины Первой мировой войны и участие в ней казачества? Как приходит к «правде войны» Григорий Мелехов? Кто из героев романа оказал на него наи-

разбойнички, за хлеб-соль, за приют. Нехай Боженька даст вам веселой жизни, а то дюже скучно у вас тут. Живете в лесу, молитесь поломанному колесу — разве это жизнь?

Григорий после его ухода пожил в дубраве еще с неделю, потом собрался в дорогу.

— Домой? — спросил у него один из дезертиров.

И Григорий, впервые за все время своего пребывания в лесу, чуть приметно улыбнулся:

— Домой.

— Подождал бы весны. К Первому маю амнистию нам дадут, тогда и разойдемся.

— Нет, не могу ждать, — сказал Григорий и распрощался.

Утром на следующий день он подошел к Дону против хутора Татарского. Долго смотрел на родной двор, бледнея от радостного волнения. Потом снял винтовку и подсумок, достал из него шитвянку, конопляные хлопья, пузырек с ружейным маслом, зачем-то пересчитал патроны. Их было двенадцать обойм и двадцать шесть штук россыпью.

У крутояра лед отошел от берега. Прозрачно-зеленая вода плескалась и обламывала иглистый ледок окраинцев. Григорий бросил в воду винтовку, наган, потом высыпал патроны и тщательно вытер руки о полу шинели.

Ниже хутора он перешел Дон по синему, изъеденному ростепелью, мартовскому льду, крупно зашагал к дому. Еще издали он увидел на спуске к пристани Мишатку и еле удержался, чтобы не побежать к нему.

Мишатка обламывал свисавшие с камня ледяные сосульки, бросал их и внимательно смотрел, как голубые осколки катятся вниз, под гору.

Григорий подошел к спуску, — задыхаясь, хрипло окликнул сына:

— Мишенька! Сынок!..

Мишатка испуганно взглянул на него и опустил глаза. Он узнал в этом бородатом и страшном на вид человеке отца...

Все ласковые и нежные слова, которые по ночам шептал Григорий, вспоминая там, в дубраве, своих детей, — сейчас вылетели у него из памяти. Опустившись на колени, целуя розовые холодные ручонки сына, он сдавленным голосом твердил только одно слово:

— Сынок... сынок...

Потом Григорий взял на руки сына. Сухими, иступленно горящими глазами жадно всматриваясь в его лицо, спросил:

— Как же вы тут?.. Тетка, Полюшка — живые-здоровые?

По-прежнему не глядя на отца, Мишатка тихо ответил:

— Тетка Дуня здоровая, а Полюшка померла осенью... От голодной. А дядя Михаил на службе...

Что ж, вот и сбылось то небольшое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына...

Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром.

Конец

1925—1940

Вопросы и задания

1. Какие темы и мотивы шолоховских «Донских рассказов» нашли свое продолжение и развитие в романе-эпопее «Тихий Дон»? В чем идейный смысл названия рассказа «Родинка»? Как соотносятся в нем два сюжета — внешний (исторический) и внутренний, «родовой»? (См. статью учебника «Опыт анализа рассказа «Родинка»: рождение эпической новеллы», раздел «Михаил Александрович Шолохов».)

2. Проанализируйте рассказ «Лазоревая степь», руководствуясь тезисным планом рубрики «Самостоятельный анализ текста» (раздел «Михаил Александрович Шолохов»).

3. Какие сюжетные коллизии и характеры представлены в I книге романа-эпопеи «Тихий Дон»? Как отражена в ней жизнь донского казачества, его традиции и нравы?

4. Как в облике Григория Мелехова соединяются личностное, индивидуальное и семейно-родовое начала? Почему автор не боится сниженных характеристик героя (сцена объяснения Григория и Аксиньи в гл. XVI 1-й части I книги романа)?

Какую роль в психологической обрисовке героев играет пейзаж?

5. Какими деталями и красками пользуется автор, изображая картины Первой мировой войны и участие в ней казачества? Как приходит к «правде войны» Григорий Мелехов? Кто из героев романа оказал на него наи-

разбойнички, за хлеб-соль, за приют. Нехай Боженька даст вам веселой жизни, а то дюже скучно у вас тут. Живете в лесу, молитесь поломанному колесу — разве это жизнь?

Григорий после его ухода пожил в дубраве еще с неделю, потом собрался в дорогу.

— Домой? — спросил у него один из дезертиров.

И Григорий, впервые за все время своего пребывания в лесу, чуть приметно улыбнулся:

— Домой.

— Подождал бы весны. К Первому маю амнистию нам дадут, тогда и разойдемся.

— Нет, не могу ждать, — сказал Григорий и распрощался.

Утром на следующий день он подошел к Дону против хутора Татарского. Долго смотрел на родной двор, бледнея от радостного волнения. Потом снял винтовку и подсумок, достал из него шитвянку, конопляные хлопья, пузырек с ружейным маслом, зачем-то пересчитал патроны. Их было двенадцать обойм и двадцать шесть штук россыпью.

У крутояра лед отошел от берега. Прозрачно-зеленая вода плескалась и обламывала иглистый ледок окраинцев. Григорий бросил в воду винтовку, наган, потом высыпал патроны и тщательно вытер руки о полу шинели.

Ниже хутора он перешел Дон по синему, изъеденному ростепелью, мартовскому льду, крупно зашагал к дому. Еще издали он увидел на спуске к пристани Мишатку и еле удержался, чтобы не побежать к нему.

Мишатка обламывал свисавшие с камня ледяные сосульки, бросал их и внимательно смотрел, как голубые осколки катятся вниз, под гору.

Григорий подошел к спуску, — задыхаясь, хрипло окликнул сына:

— Мишенька! Сынок!..

Мишатка испуганно взглянул на него и опустил глаза. Он узнал в этом бородатом и страшном на вид человеке отца...

Все ласковые и нежные слова, которые по ночам шептал Григорий, вспоминая там, в дубраве, своих детей, — сейчас вылетели у него из памяти. Опустившись на колени, целуя розовые холодные ручонки сына, он сдавленным голосом твердил только одно слово:

— Сынок... сынок...

Потом Григорий взял на руки сына. Сухими, исступленно горящими глазами жадно всматриваясь в его лицо, спросил:

— Как же вы тут?.. Тетка, Полюшка — живые-здоровые?

По-прежнему не глядя на отца, Мишатка тихо ответил:

— Тетка Дуня здоровая, а Полюшка померла осенью... От голодной. А дядя Михаил на службе...

Что ж, вот и сбылось то небольшое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына...

Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще родило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром.

Конец

1925—1940

Вопросы и задания

1. Какие темы и мотивы шолоховских «Донских рассказов» нашли свое продолжение и развитие в романе-эпопее «Тихий Дон»? В чем идейный смысл названия рассказа «Родинка»? Как соотносятся в нем два сюжета — внешний (исторический) и внутренний, «родовой»? (См. статью учебника «Опыт анализа рассказа «Родинка»: рождение эпической новеллы», раздел «Михаил Александрович Шолохов».)

2. Проанализируйте рассказ «Лазоревая степь», руководствуясь тезисным планом рубрики «Самостоятельный анализ текста» (раздел «Михаил Александрович Шолохов»).

3. Какие сюжетные коллизии и характеры представлены в I книге романа-эпопеи «Тихий Дон»? Как отражена в ней жизнь донского казачества, его традиции и нравы?

4. Как в облике Григория Мелехова соединяются личностное, индивидуальное и семейно-родовое начала? Почему автор не боится сниженных характеристик героя (сцена объяснения Григория и Аксиньи в гл. XVI 1-й части I книги романа)?

Какую роль в психологической обрисовке героев играет пейзаж?

5. Какими деталями и красками пользуется автор, изображая картины Первой мировой войны и участие в ней казачества? Как приходит к «правде войны» Григорий Мелехов? Кто из героев романа оказал на него наи-

разбойнички, за хлеб-соль, за приют. Нехай Боженька даст вам веселой жизни, а то дюже скучно у вас тут. Живете в лесу, молитесь поломанному колесу — разве это жизнь?

Григорий после его ухода пожил в дубраве еще с неделю, потом собрался в дорогу.

— Домой? — спросил у него один из дезертиров.

И Григорий, впервые за все время своего пребывания в лесу, чуть приметно улыбнулся:

— Домой.

— Подождал бы весны. К Первому маю амнистию нам дадут, тогда и разойдемся.

— Нет, не могу ждать, — сказал Григорий и распрощался.

Утром на следующий день он подошел к Дону против хутора Татарского. Долго смотрел на родной двор, бледнея от радостного волнения. Потом снял винтовку и подсумок, достал из него шитвянку, конопляные хлопья, пузырек с ружейным маслом, зачем-то пересчитал патроны. Их было двенадцать обойм и двадцать шесть штук россыпью.

У крутояра лед отошел от берега. Прозрачно-зеленая вода плескалась и обламывала иглистый ледок окраинцев. Григорий бросил в воду винтовку, наган, потом высыпал патроны и тщательно вытер руки о полу шинели.

Ниже хутора он перешел Дон по синему, изъеденному ростепелью, мартовскому льду, крупно зашагал к дому. Еще издали он увидел на спуске к пристани Мишатку и еле удержался, чтобы не побежать к нему.

Мишатка обламывал свисавшие с камня ледяные сосульки, бросал их и внимательно смотрел, как голубые осколки катятся вниз, под гору.

Григорий подошел к спуску, — задыхаясь, хрипло окликнул сына:

— Мишенька! Сынок!..

Мишатка испуганно взглянул на него и опустил глаза. Он узнал в этом бородатом и страшном на вид человеке отца...

Все ласковые и нежные слова, которые по ночам шептал Григорий, вспоминая там, в дубраве, своих детей, — сейчас вылетели у него из памяти. Опустившись на колени, целуя розовые холодные ручонки сына, он сдавленным голосом твердил только одно слово:

— Сынок... сынок...

Потом Григорий взял на руки сына. Сухими, иступленно горящими глазами жадно всматриваясь в его лицо, спросил:

— Как же вы тут?.. Тетка, Полюшка — живые-здоровые?

По-прежнему не глядя на отца, Мишатка тихо ответил:

— Тетка Дуня здоровая, а Полюшка померла осенью... От голодной. А дядя Михаил на службе...

Что ж, вот и сбылось то небольшое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына...

Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром.

Конец

1925—1940

Вопросы и задания

1. Какие темы и мотивы шолоховских «Донских рассказов» нашли свое продолжение и развитие в романе-эпопее «Тихий Дон»? В чем идейный смысл названия рассказа «Родинка»? Как соотносятся в нем два сюжета — внешний (исторический) и внутренний, «родовой»? (См. статью учебника «Опыт анализа рассказа «Родинка»: рождение эпической новеллы», раздел «Михаил Александрович Шолохов».)

2. Проанализируйте рассказ «Лазоревая степь», руководствуясь тезисным планом рубрики «Самостоятельный анализ текста» (раздел «Михаил Александрович Шолохов»).

3. Какие сюжетные коллизии и характеры представлены в I книге романа-эпопеи «Тихий Дон»? Как отражена в ней жизнь донского казачества, его традиции и нравы?

4. Как в облике Григория Мелехова соединяются личностное, индивидуальное и семейно-родовое начала? Почему автор не боится сниженных характеристик героя (сцена объяснения Григория и Аксиньи в гл. XVI 1-й части I книги романа)?

Какую роль в психологической обрисовке героев играет пейзаж?

5. Какими деталями и красками пользуется автор, изображая картины Первой мировой войны и участие в ней казачества? Как приходит к «правде войны» Григорий Мелехов? Кто из героев романа оказал на него наи-

разбойнички, за хлеб-соль, за приют. Нехай Боженька даст вам веселой жизни, а то дюже скучно у вас тут. Живете в лесу, молитесь поломанному колесу — разве это жизнь?

Григорий после его ухода пожил в дубраве еще с неделю, потом собрался в дорогу.

— Домой? — спросил у него один из дезертиров.

И Григорий, впервые за все время своего пребывания в лесу, чуть приметно улыбнулся:

— Домой.

— Подождал бы весны. К Первому маю амнистию нам дадут, тогда и разойдемся.

— Нет, не могу ждать, — сказал Григорий и распрощался.

Утром на следующий день он подошел к Дону против хутора Татарского. Долго смотрел на родной двор, бледнея от радостного волнения. Потом снял винтовку и подсумок, достал из него шитвянку, конопляные хлопья, пузырек с ружейным маслом, зачем-то пересчитал патроны. Их было двенадцать обойм и двадцать шесть штук россыпью.

У крутояра лед отошел от берега. Прозрачно-зеленая вода плескалась и обламывала иглистый ледок окраинцев. Григорий бросил в воду винтовку, наган, потом высыпал патроны и тщательно вытер руки о полу шинели.

Ниже хутора он перешел Дон по синему, изъеденному ростепелью, мартовскому льду, крупно зашагал к дому. Еще издали он увидел на спуске к пристани Мишатку и еле удержался, чтобы не побежать к нему.

Мишатка обламывал свисавшие с камня ледяные сосульки, бросал их и внимательно смотрел, как голубые осколки катятся вниз, под гору.

Григорий подошел к спуску, — задыхаясь, хрипло окликнул сына:

— Мишенька! Сынок!..

Мишатка испуганно взглянул на него и опустил глаза. Он узнал в этом бородатом и страшном на вид человеке отца...

Все ласковые и нежные слова, которые по ночам шептал Григорий, вспоминая там, в дубраве, своих детей, — сейчас вылетели у него из памяти. Опустившись на колени, целуя розовые холодные ручонки сына, он сдавленным голосом твердил только одно слово:

— Сынок... сынок...

Потом Григорий взял на руки сына. Сухими, иступленно горящими глазами жадно всматриваясь в его лицо, спросил:

— Как же вы тут?.. Тетка, Полюшка — живые-здоровые?

По-прежнему не глядя на отца, Мишатка тихо ответил:

— Тетка Дуня здоровая, а Полюшка померла осенью... От голошной. А дядя Михаил на службе...

Что ж, вот и сбылось то небольшое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына...

Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще родило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром.

Конец

1925—1940

Вопросы и задания

1. Какие темы и мотивы шолоховских «Донских рассказов» нашли свое продолжение и развитие в романе-эпопее «Тихий Дон»? В чем идейный смысл названия рассказа «Родинка»? Как соотносятся в нем два сюжета — внешний (исторический) и внутренний, «родовой»? (См. статью учебника «Опыт анализа рассказа «Родинка»: рождение эпической новеллы», раздел «Михаил Александрович Шолохов».)

2. Проанализируйте рассказ «Лазоревая степь», руководствуясь тезисным планом рубрики «Самостоятельный анализ текста» (раздел «Михаил Александрович Шолохов»).

3. Какие сюжетные коллизии и характеры представлены в I книге романа-эпопеи «Тихий Дон»? Как отражена в ней жизнь донского казачества, его традиции и нравы?

4. Как в облике Григория Мелехова соединяются личностное, индивидуальное и семейно-родовое начала? Почему автор не боится сниженных характеристик героя (сцена объяснения Григория и Аксиньи в гл. XVI 1-й части I книги романа)?

Какую роль в психологической обрисовке героев играет пейзаж?

5. Какими деталями и красками пользуется автор, изображая картины Первой мировой войны и участие в ней казачества? Как приходит к «правде войны» Григорий Мелехов? Кто из героев романа оказал на него наи-

разбойнички, за хлеб-соль, за приют. Нехай Боженька даст вам веселой жизни, а то дюже скучно у вас тут. Живете в лесу, молитесь поломанному колесу — разве это жизнь?

Григорий после его ухода пожил в дубраве еще с неделю, потом собрался в дорогу.

— Домой? — спросил у него один из дезертиров.

И Григорий, впервые за все время своего пребывания в лесу, чуть приметно улыбнулся:

— Домой.

— Подождал бы весны. К Первому маю амнистию нам дадут, тогда и разойдемся.

— Нет, не могу ждать, — сказал Григорий и распрощался.

Утром на следующий день он подошел к Дону против хутора Татарского. Долго смотрел на родной двор, бледнея от радостного волнения. Потом снял винтовку и подсумок, достал из него шитвянку, конопляные хлопья, пузырек с ружейным маслом, зачем-то пересчитал патроны. Их было двенадцать обойм и двадцать шесть штук россыпью.

У крутояра лед отошел от берега. Прозрачно-зеленая вода плескалась и обламывала иглистый ледок окраинцев. Григорий бросил в воду винтовку, наган, потом высыпал патроны и тщательно вытер руки о полу шинели.

Ниже хутора он перешел Дон по синему, изъеденному ростепелью, мартовскому льду, крупно зашагал к дому. Еще издали он увидел на спуске к пристани Мишатку и еле удержался, чтобы не побежать к нему.

Мишатка обламывал свисавшие с камня ледяные сосульки, бросал их и внимательно смотрел, как голубые осколки катятся вниз, под гору.

Григорий подошел к спуску, — задыхаясь, хрипло окликнул сына:

— Мишенька! Сынок!..

Мишатка испуганно взглянул на него и опустил глаза. Он узнал в этом бородатом и страшном на вид человеке отца...

Все ласковые и нежные слова, которые по ночам шептал Григорий, вспоминая там, в дубраве, своих детей, — сейчас вылетели у него из памяти. Опустившись на колени, целуя розовые холодные ручонки сына, он сдавленным голосом твердил только одно слово:

— Сынок... сынок...

Потом Григорий взял на руки сына. Сухими, исступленно горящими глазами жадно всматриваясь в его лицо, спросил:

— Как же вы тут?.. Тетка, Полюшка — живые-здоровые?

По-прежнему не глядя на отца, Мишатка тихо ответил:

— Тетка Дуня здоровая, а Полюшка померла осенью... От голодной. А дядя Михаил на службе...

Что ж, вот и сбылось то небольшое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына...

Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще родило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром.

Конец

1925—1940

Вопросы и задания

1. Какие темы и мотивы шолоховских «Донских рассказов» нашли свое продолжение и развитие в романе-эпопее «Тихий Дон»? В чем идейный смысл названия рассказа «Родинка»? Как соотносятся в нем два сюжета — внешний (исторический) и внутренний, «родовой»? (См. статью учебника «Опыт анализа рассказа «Родинка»: рождение эпической новеллы», раздел «Михаил Александрович Шолохов».)

2. Проанализируйте рассказ «Лазоревая степь», руководствуясь тезисным планом рубрики «Самостоятельный анализ текста» (раздел «Михаил Александрович Шолохов»).

3. Какие сюжетные коллизии и характеры представлены в I книге романа-эпопеи «Тихий Дон»? Как отражена в ней жизнь донского казачества, его традиции и нравы?

4. Как в облике Григория Мелехова соединяются личностное, индивидуальное и семейно-родовое начала? Почему автор не боится сниженных характеристик героя (сцена объяснения Григория и Аксиньи в гл. XVI 1-й части I книги романа)?

Какую роль в психологической обрисовке героев играет пейзаж?

5. Какими деталями и красками пользуется автор, изображая картины Первой мировой войны и участие в ней казачества? Как приходит к «правде войны» Григорий Мелехов? Кто из героев романа оказал на него наи-

разбойнички, за хлеб-соль, за приют. Нехай Боженька даст вам веселой жизни, а то дюже скучно у вас тут. Живете в лесу, молитесь поломанному колесу — разве это жизнь?

Григорий после его ухода пожил в дубраве еще с неделю, потом собрался в дорогу.

— Домой? — спросил у него один из дезертиров.

И Григорий, впервые за все время своего пребывания в лесу, чуть приметно улыбнулся:

— Домой.

— Подождал бы весны. К Первому маю амнистию нам дадут, тогда и разойдемся.

— Нет, не могу ждать, — сказал Григорий и распрощался.

Утром на следующий день он подошел к Дону против хутора Татарского. Долго смотрел на родной двор, бледнее от радостного волнения. Потом снял винтовку и подсумок, достал из него шитвянку, конопляные хлопья, пузырек с ружейным маслом, зачем-то пересчитал патроны. Их было двенадцать обойм и двадцать шесть штук россыпью.

У крутояра лед отошел от берега. Прозрачно-зеленая вода плескалась и обламывала иглистый ледок окраинцев. Григорий бросил в воду винтовку, наган, потом высыпал патроны и тщательно вытер руки о полу шинели.

Ниже хутора он перешел Дон по синему, изъеденному ростепелью, мартовскому льду, крупно зашагал к дому. Еще издали он увидел на спуске к пристани Мишатку и еле удержался, чтобы не побежать к нему.

Мишатка обламывал свисавшие с камня ледяные сосульки, бросал их и внимательно смотрел, как голубые осколки катятся вниз, под гору.

Григорий подошел к спуску, — задыхаясь, хрипло окликнул сына:

— Мишенька! Сынок!..

Мишатка испуганно взглянул на него и опустил глаза. Он узнал в этом бородатом и страшном на вид человеке отца...

Все ласковые и нежные слова, которые по ночам шептал Григорий, вспоминая там, в дубраве, своих детей, — сейчас вылетели у него из памяти. Опустившись на колени, целуя розовые холодные ручонки сына, он сдавленным голосом твердил только одно слово:

— Сынок... сынок...

Потом Григорий взял на руки сына. Сухими, иступленно горящими глазами жадно всматриваясь в его лицо, спросил:

— Как же вы тут?.. Тетка, Полюшка — живые-здоровые?

По-прежнему не глядя на отца, Мишатка тихо ответил:

— Тетка Дуня здоровая, а Полюшка померла осенью... От голодной. А дядя Михаил на службе...

Что ж, вот и сбылось то небольшое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына...

Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще родило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром.

Конец

1925—1940

Вопросы и задания

1. Какие темы и мотивы шолоховских «Донских рассказов» нашли свое продолжение и развитие в романе-эпопее «Тихий Дон»? В чем идейный смысл названия рассказа «Родинка»? Как соотносятся в нем два сюжета — внешний (исторический) и внутренний, «родовой»? (См. статью учебника «Опыт анализа рассказа «Родинка»: рождение эпической новеллы», раздел «Михаил Александрович Шолохов».)

2. Проанализируйте рассказ «Лазоревая степь», руководствуясь тезисным планом рубрики «Самостоятельный анализ текста» (раздел «Михаил Александрович Шолохов»).

3. Какие сюжетные коллизии и характеры представлены в I книге романа-эпопеи «Тихий Дон»? Как отражена в ней жизнь донского казачества, его традиции и нравы?

4. Как в облике Григория Мелехова соединяются личностное, индивидуальное и семейно-родовое начала? Почему автор не боится сниженных характеристик героя (сцена объяснения Григория и Аксиньи в гл. XVI 1-й части I книги романа)?

Какую роль в психологической обрисовке героев играет пейзаж?

5. Какими деталями и красками пользуется автор, изображая картины Первой мировой войны и участие в ней казачества? Как приходит к «правде войны» Григорий Мелехов? Кто из героев романа оказал на него наи-

разбойнички, за хлеб-соль, за приют. Нехай Боженька даст вам веселой жизни, а то дуже скучно у вас тут. Живете в лесу, молитесь поломанному колесу — разве это жизнь?

Григорий после его ухода пожил в дубраве еще с неделю, потом собрался в дорогу.

— Домой? — спросил у него один из дезертиров.

И Григорий, впервые за все время своего пребывания в лесу, чуть приметно улыбнулся:

— Домой.

— Подождал бы весны. К Первому маю амнистию нам дадут, тогда и разойдемся.

— Нет, не могу ждать, — сказал Григорий и распрощался.

Утром на следующий день он подошел к Дону против хутора Татарского. Долго смотрел на родной двор, бледнея от радостного волнения. Потом снял винтовку и подсумок, достал из него шитвянку, конопляные хлопья, пузырек с ружейным маслом, за чем-то пересчитал патроны. Их было двенадцать обойм и двадцать шесть штук россыпью.

У крутояра лед отошел от берега. Прозрачно-зеленая вода плескалась и обламывала иглистый ледок окраинцев. Григорий бросил в воду винтовку, наган, потом высыпал патроны и тщательно вытер руки о полу шинели.

Ниже хутора он перешел Дон по синему, изъеденному ростепелью, мартовскому льду, крупно зашагал к дому. Еще издали он увидел на спуске к пристани Мишатку и еле удержался, чтобы не побежать к нему.

Мишатка обламывал свисавшие с камня ледяные сосульки, бросал их и внимательно смотрел, как голубые осколки катятся вниз, под гору.

Григорий подошел к спуску, — задыхаясь, хрипло окликнул сына:

— Мишенька! Сынок!..

Мишатка испуганно взглянул на него и опустил глаза. Он узнал в этом бородатом и страшном на вид человеке отца...

Все ласковые и нежные слова, которые по ночам шептал Григорий, вспоминая там, в дубраве, своих детей, — сейчас вылетели у него из памяти. Опустившись на колени, целуя розовые холодные ручонки сына, он сдавленным голосом твердил только одно слово:

— Сынок... сынок...

Потом Григорий взял на руки сына. Сухими, иступленно горящими глазами жадно всматриваясь в его лицо, спросил:

— Как же вы тут?.. Тетка, Полюшка — живые-здоровые?

По-прежнему не глядя на отца, Мишатка тихо ответил:

— Тетка Дуня здоровая, а Полюшка померла осенью... От голошной. А дядя Михаил на службе...

Что ж, вот и сбылось то небольшое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына...

Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще родило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром.

Конец

1925–1940

Вопросы и задания

1. Какие темы и мотивы шолоховских «Донских рассказов» нашли свое продолжение и развитие в романе-эпопее «Тихий Дон»? В чем идейный смысл названия рассказа «Родинка»? Как соотносятся в нем два сюжета — внешний (исторический) и внутренний, «родовой»? (См. статью учебника «Опыт анализа рассказа «Родинка»: рождение эпической новеллы», раздел «Михаил Александрович Шолохов».)

2. Проанализируйте рассказ «Лазоревая степь», руководствуясь тезисным планом рубрики «Самостоятельный анализ текста» (раздел «Михаил Александрович Шолохов»).

3. Какие сюжетные коллизии и характеры представлены в I книге романа-эпопеи «Тихий Дон»? Как отражена в ней жизнь донского казачества, его традиции и нравы?

4. Как в облике Григория Мелехова соединяются личностное, индивидуальное и семейно-родовое начала? Почему автор не боится сниженных характеристик героя (сцена объяснения Григория и Аксиньи в гл. XVI I-й части I книги романа)?

Какую роль в психологической обрисовке героев играет пейзаж?

5. Какими деталями и красками пользуется автор, изображая картины Первой мировой войны и участие в ней казачества? Как приходит к «правде войны» Григорий Мелехов? Кто из героев романа оказал на него наи-

разбойнички, за хлеб-соль, за приют. Нехай Боженька даст вам веселой жизни, а то дюже скучно у вас тут. Живете в лесу, молитесь поломанному колесу — разве это жизнь?

Григорий после его ухода пожил в дубраве еще с неделю, потом собрался в дорогу.

— Домой? — спросил у него один из дезертиров.

И Григорий, впервые за все время своего пребывания в лесу, чуть приметно улыбнулся:

— Домой.

— Подождал бы весны. К Первому маю амнистию нам дадут, тогда и разойдемся.

— Нет, не могу ждать, — сказал Григорий и распрощался.

Утром на следующий день он подошел к Дону против хутора Татарского. Долго смотрел на родной двор, бледнея от радостного волнения. Потом снял винтовку и подсумок, достал из него шитвянку, конопляные хлопья, пузырек с ружейным маслом, зачем-то пересчитал патроны. Их было двенадцать обойм и двадцать шесть штук россыпью.

У крутояра лед отошел от берега. Прозрачно-зеленая вода плескалась и обламывала иглистый ледок окраинцев. Григорий бросил в воду винтовку, наган, потом высыпал патроны и тщательно вытер руки о полу шинели.

Ниже хутора он перешел Дон по синему, изъеденному ростепелью, мартовскому льду, крупно зашагал к дому. Еще издали он увидел на спуске к пристани Мишатку и еле удержался, чтобы не побежать к нему.

Мишатка обламывал свисавшие с камня ледяные сосульки, бросал их и внимательно смотрел, как голубые осколки катятся вниз, под гору.

Григорий подошел к спуску, — задыхаясь, хрипло окликнул сына:

— Мишенька! Сынок!..

Мишатка испуганно взглянул на него и опустил глаза. Он узнал в этом бородатом и страшном на вид человеке отца...

Все ласковые и нежные слова, которые по ночам шептал Григорий, вспоминая там, в дубраве, своих детей, — сейчас вылетели у него из памяти. Опустившись на колени, целуя розовые холодные ручонки сына, он сдавленным голосом твердил только одно слово:

— Сынок... сынок...

Потом Григорий взял на руки сына. Сухими, иступленно горящими глазами жадно всматриваясь в его лицо, спросил:

— Как же вы тут?.. Тетка, Полюшка — живые-здоровые?

По-прежнему не глядя на отца, Мишатка тихо ответил:

— Тетка Дуня здоровая, а Полюшка померла осенью... От голодной. А дядя Михаил на службе...

Что ж, вот и сбылось то немногое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына...

Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром.

Конец

1925—1940

Вопросы и задания

1. Какие темы и мотивы шолоховских «Донских рассказов» нашли свое продолжение и развитие в романе-эпопее «Тихий Дон»? В чем идейный смысл названия рассказа «Родинка»? Как соотносятся в нем два сюжета — внешний (исторический) и внутренний, «родовой»? (См. статью учебника «Опыт анализа рассказа «Родинка»: рождение эпической новеллы», раздел «Михаил Александрович Шолохов».)

2. Проанализируйте рассказ «Лазоревая степь», руководствуясь тезисным планом рубрики «Самостоятельный анализ текста» (раздел «Михаил Александрович Шолохов»).

3. Какие сюжетные коллизии и характеры представлены в I книге романа-эпопеи «Тихий Дон»? Как отражена в ней жизнь донского казачества, его традиции и нравы?

4. Как в облике Григория Мелехова соединяются личностное, индивидуальное и семейно-родовое начала? Почему автор не боится сниженных характеристик героя (сцена объяснения Григория и Аксиньи в гл. XVI 1-й части I книги романа)?

Какую роль в психологической обрисовке героев играет пейзаж?

5. Какими деталями и красками пользуется автор, изображая картины Первой мировой войны и участие в ней казачества? Как приходит к «правде войны» Григорий Мелехов? Кто из героев романа оказал на него наи-

разбойнички, за хлеб-соль, за приют. Нехай Боженька даст вам веселой жизни, а то дюже скучно у вас тут. Живете в лесу, молитесь поломанному колесу — разве это жизнь?

Григорий после его ухода пожил в дубраве еще с неделю, потом собрался в дорогу.

— Домой? — спросил у него один из дезертиров.

И Григорий, впервые за все время своего пребывания в лесу, чуть приметно улыбнулся:

— Домой.

— Подождал бы весны. К Первому маю амнистию нам дадут, тогда и разойдемся.

— Нет, не могу ждать, — сказал Григорий и распрощался.

Утром на следующий день он подошел к Дону против хутора Татарского. Долго смотрел на родной двор, бледнея от радостного волнения. Потом снял винтовку и подсумок, достал из него шитвянку, конопляные хлопья, пузырек с ружейным маслом, зачем-то пересчитал патроны. Их было двенадцать обойм и двадцать шесть штук россыпью.

У крутояра лед отошел от берега. Прозрачно-зеленая вода плескалась и обламывала иглистый ледок окраинцев. Григорий бросил в воду винтовку, наган, потом высыпал патроны и тщательно вытер руки о полу шинели.

Ниже хутора он перешел Дон по синему, изъеденному ростепелью, мартовскому льду, крупно зашагал к дому. Еще издали он увидел на спуске к пристани Мишатку и еле удержался, чтобы не побежать к нему.

Мишатка обламывал свисавшие с камня ледяные сосульки, бросал их и внимательно смотрел, как голубые осколки катятся вниз, под гору.

Григорий подошел к спуску, — задыхаясь, хрипло окликнул сына:

— Мишенька! Сынок!..

Мишатка испуганно взглянул на него и опустил глаза. Он узнал в этом бородатом и страшном на вид человеке отца...

Все ласковые и нежные слова, которые по ночам шептал Григорий, вспоминая там, в дубраве, своих детей, — сейчас вылетели у него из памяти. Опустившись на колени, целуя розовые холодные ручонки сына, он сдавленным голосом твердил только одно слово:

— Сынок... сынок...

Потом Григорий взял на руки сына. Сухими, иступленно горящими глазами жадно всматриваясь в его лицо, спросил:

— Как же вы тут?.. Тетка, Полюшка — живые-здоровые?

По-прежнему не глядя на отца, Мишатка тихо ответил:

— Тетка Дуня здоровая, а Полюшка померла осенью... От голодной. А дядя Михаил на службе...

Что ж, вот и сбылось то небольшое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына...

Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром.

Конец

1925—1940

Вопросы и задания

1. Какие темы и мотивы шолоховских «Донских рассказов» нашли свое продолжение и развитие в романе-эпопее «Тихий Дон»? В чем идейный смысл названия рассказа «Родинка»? Как соотносятся в нем два сюжета — внешний (исторический) и внутренний, «родовой»? (См. статью учебника «Опыт анализа рассказа «Родинка»: рождение эпической новеллы», раздел «Михаил Александрович Шолохов».)

2. Проанализируйте рассказ «Лазоревая степь», руководствуясь тезисным планом рубрики «Самостоятельный анализ текста» (раздел «Михаил Александрович Шолохов»).

3. Какие сюжетные коллизии и характеры представлены в I книге романа-эпопеи «Тихий Дон»? Как отражена в ней жизнь донского казачества, его традиции и нравы?

4. Как в облике Григория Мелехова соединяются личностное, индивидуальное и семейно-родовое начала? Почему автор не боится сниженных характеристик героя (сцена объяснения Григория и Аксиньи в гл. XVI 1-й части I книги романа)?

Какую роль в психологической обрисовке героев играет пейзаж?

5. Какими деталями и красками пользуется автор, изображая картины Первой мировой войны и участие в ней казачества? Как приходит к «правде войны» Григорий Мелехов? Кто из героев романа оказал на него наи-

разбойнички, за хлеб-соль, за приют. Нехай Боженька даст вам веселой жизни, а то дюже скучно у вас тут. Живете в лесу, молитесь поломанному колесу — разве это жизнь?

Григорий после его ухода пожил в дубраве еще с неделю, потом собрался в дорогу.

— Домой? — спросил у него один из дезертиров.

И Григорий, впервые за все время своего пребывания в лесу, чуть приметно улыбнулся:

— Домой.

— Подождал бы весны. К Первому маю амнистию нам дадут, тогда и разойдемся.

— Нет, не могу ждать, — сказал Григорий и распрощался.

Утром на следующий день он подошел к Дону против хутора Татарского. Долго смотрел на родной двор, бледнея от радостного волнения. Потом снял винтовку и подсумок, достал из него шитвянку, конопляные хлопья, пузырек с ружейным маслом, зачем-то пересчитал патроны. Их было двенадцать обойм и двадцать шесть штук россыпью.

У крутояра лед отошел от берега. Прозрачно-зеленая вода плескалась и обламывала иглистый ледок окраинцев. Григорий бросил в воду винтовку, наган, потом высыпал патроны и тщательно вытер руки о полу шинели.

Ниже хутора он перешел Дон по синему, изъеденному ростепелью, мартовскому льду, крупно зашагал к дому. Еще издали он увидел на спуске к пристани Мишатку и еле удержался, чтобы не побежать к нему.

Мишатка обламывал свисавшие с камня ледяные сосульки, бросал их и внимательно смотрел, как голубые осколки катятся вниз, под гору.

Григорий подошел к спуску, — задыхаясь, хрипло окликнул сына:

— Мишенька! Сынок!..

Мишатка испуганно взглянул на него и опустил глаза. Он узнал в этом бородатом и страшном на вид человеке отца...

Все ласковые и нежные слова, которые по ночам шептал Григорий, вспоминая там, в дубраве, своих детей, — сейчас вылетели у него из памяти. Опустившись на колени, целуя розовые холодные ручонки сына, он сдавленным голосом твердил только одно слово:

— Сынок... сынок...

Потом Григорий взял на руки сына. Сухими, иступленно горящими глазами жадно всматриваясь в его лицо, спросил:

— Как же вы тут?.. Тетка, Полюшка — живые-здоровые?

По-прежнему не глядя на отца, Мишатка тихо ответил:

— Тетка Дуня здоровая, а Полюшка померла осенью... От голошной. А дядя Михаил на службе...

Что ж, вот и сбылось то небольшое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына...

Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром.

Конец

1925—1940

Вопросы и задания

1. Какие темы и мотивы шолоховских «Донских рассказов» нашли свое продолжение и развитие в романе-эпопее «Тихий Дон»? В чем идейный смысл названия рассказа «Родинка»? Как соотносятся в нем два сюжета — внешний (исторический) и внутренний, «родовой»? (См. статью учебника «Опыт анализа рассказа «Родинка»: рождение эпической новеллы», раздел «Михаил Александрович Шолохов».)

2. Проанализируйте рассказ «Лазоревая степь», руководствуясь тезисным планом рубрики «Самостоятельный анализ текста» (раздел «Михаил Александрович Шолохов»).

3. Какие сюжетные коллизии и характеры представлены в I книге романа-эпопеи «Тихий Дон»? Как отражена в ней жизнь донского казачества, его традиции и нравы?

4. Как в облике Григория Мелехова соединяются личностное, индивидуальное и семейно-родовое начала? Почему автор не боится сниженных характеристик героя (сцена объяснения Григория и Аксиньи в гл. XVI 1-й части I книги романа)?

Какую роль в психологической обрисовке героев играет пейзаж?

5. Какими деталями и красками пользуется автор, изображая картины Первой мировой войны и участие в ней казачества? Как приходит к «правде войны» Григорий Мелехов? Кто из героев романа оказал на него наи-

большее влияние в период его службы в царской армии? С чем связаны последующие «метания» Григория между враждующими сторонами внутри расколотого государства? (См. статью учебника «Григорий Мелехов «на грани в борьбе двух начал», раздел «Михаил Александрович Шолохов».)

6. В чем М.А. Шолохов видит глубинные причины трагедии донского казачества в годы революции? Как в очередной русской «усобице» сталкиваются «классовый» и «человеческий» факторы? Проанализируйте с этой точки зрения эпизод появления красноармейцев в доме Мелеховых (гл. XVI, ч. 6 III книги романа). В чем смысл «нового» поведения Григория в возникшей острой ситуации?

7. Как в шолоховском романе представлена традиционная для русской классики «мысль семейная»? Проанализируйте с этой точки зрения эпизод возвращения Михаила Кошевого на хутор (гл. II, ч. 8 IV книги романа). В чем проявляется нравственная высота прежде безответной и тихой Ильиничны? Как заявляет о себе в романе великая правда Дона, идея святости семейного очага и ее хранителей — Натальи, Пантелея Прокофьевича и других? (См. статьи учебника «Идея дома, святости семейного очага Пантелея Прокофьевича», «Мысль семейная» Натальи Мелеховой», раздел «Михаил Александрович Шолохов».)

8. Какова правда Аксиньи в романе? Что уравнивает ее с Натальей в любви к Григорию? Почему так безнадежен «побег» Григория и Аксиньи в финале романа?

9. Проанализируйте эпизод возвращения Григория Мелехова в разоренный дом (последняя глава романа). Обратите внимание на символику деталей. В чем смысл сцены с Мишаткой? Что стоит за «открытостью» шолоховского финала?

10. Задумайтесь над смыслом названия шолоховского романа-эпопеи. Как объединяется в нем конкретно-историческое и надвременное, вечное? Почему для автора так важен диалог героев с природой, их погружение в песенную стихию Дона? (См. статью учебника «Образы солнца, степного простора, песни в «Тихом Доне», раздел «Михаил Александрович Шолохов».)

Михаил Афанасьевич БУЛГАКОВ
1891—1940**БЕЛАЯ ГВАРДИЯ (Отрывки)****Часть первая**

2

<...>

— Где Елена? — озабоченно спросил старший. — Нужно будет ему простыню дать, тыvedi его мыться.

Елена же в это время плакала в комнате за кухней, где за ситцевой занавеской, в колонке, у цинковой ванны, металось пламя сухой наколотой березы. Хриплые кухонные часишки настучали одиннадцать. И представился убитый Тальберг. Конечно, на поезд с деньгами напали, конвой перебили, и на снегу кровь и мозг. Елена сидела в полумгле, смятый венец волос пронизало пламя, по щекам текли слезы. Убит. Убит...

И вот тоненький звоночек затрепетал, наполнил всю квартиру. Елена бурей через кухню, через темную книжную, в столовую. Огни ярче. Черные часы забили, затикали, пошли ходуном.

Но Николка со старшим угадали очень быстро после первого взрыва радости. Да и радость-то была больше за Елену. Скверно действовали на братьев клиновидные, гетманского военного министерства погоны па плечах Тальберга. Впрочем, и до погон еще, чуть ли не с самого дня свадьбы Елены, образовалась какая-то трещина в вазе турбинской жизни, и добрая вода уходила через нее незаметно. Сух сосуд. Пожалуй, главная причина этому — в двухслойных глазах капитана Генерального штаба Тальберга, Сергея Ивановича...

Эх-эх... Как бы там ни было, сейчас первый слой можно было читать ясно. В верхнем слое простая человеческая радость от тепла, света и безопасности. А вот поглубже — ясная тревога, и привез ее Тальберг с собою только что. Самое же глубокое было, конечно, скрыто, как всегда. Во всяком случае, на фигуре Сергея

Ивановича ничего не отразилось. Пояс широк и тверд. Оба значка — академии и университета — белыми головками сияют ровно. Поджарая фигура поворачивается под черными часами, как автомат. Тальберг очень озяб, но улыбается всем благосклонно. И в благосклонности тоже сказалась тревога. Николка, шмыгнув длинным носом, первый заметил это. Тальберг, вытягивая слова, медленно и весело рассказал, как на поезд, который вез деньги в провинцию и который он конвоировал, у Бородянки, в сорока верстах от Города, напали — неизвестно кто! Елена в ужасе жмурилась, жалась к значкам, братья опять вскрикивали «ну-ну», а Мышлаевский мертво храпел, показывая три золотых коронки.

— Кто же такие? Петлюра?

— Ну, если бы Петлюра, — снисходительно и в то же время тревожно улыбнувшись, молвил Тальберг, — вряд ли я бы здесь беседовал... э... с вами. Не знаю кто. Возможно, разложившиеся сердюки. Ворвались в вагоны, винтовками взмахивают, кричат: «Чей конвой?» Я ответил: «Сердюки». Они потоптались, потоптались, потом слышу команду: «Слазь, хлопцы!» И все исчезли. Я полагаю, что они искали офицеров, вероятно, они думали, что конвой не украинский, а офицерский. — Тальберг выразительно покосился на Николкин шеврон, глянул на часы и неожиданно добавил: — Елена, пойдем-ка на пару слов...

Елена торопливо ушла вслед за ним на половину Тальбергов в спальню, где на стене над кроватью сидел сокол на белой рукавице, где мягко горела зеленая лампа на письменном столе Елены и стояли на тумбе красного дерева бронзовые пастушки на фронте часов, играющих каждые три часа гавот.

Неимоверных усилий стоило Николке разбудить Мышлаевского. Тот по дороге шатался, два раза с грохотом зацепился за двери и в ванне заснул. Николка дежурил возле него, чтобы он не утонул. Турбин же старший, сам не зная зачем, прошел в темную гостиную, прижался к окну и слушал: опять далеко, глухо, как в вату, и безобидно бухали пушки, редко и далеко.

Елена рыжеватая сразу постарела и подурнела. Глаза красные. Свесив руки, печально она слушала Тальберга. А он сухой штабной колонной возвышался над ней и говорил неумолимо:

— Елена, никак иначе поступить нельзя.

Тогда Елена, помирившись с неизбежным, сказала так:

— Что ж, я понимаю. Ты, конечно, прав. Через дней пять-шесть, а? Может, положение еще изменится к лучшему?

Тут Тальбергу пришлось трудно. И даже свою вечную патентованную улыбку он убрал с лица. Оно постарело, и в каждой точке была совершенно решенная дума. Елена... Елена. Ах, неверная, зыбкая надежда... Дней пять... шесть...

И Тальберг сказал:

— Нужно ехать сию минуту. Поезд идет в час ночи...

... Через полчаса все в комнате с соколом было разорено. Чемодан на полу, и внутренняя матросская крышка его дыбом. Елена, похудевшая и строгая, со складками у губ, молча вкладывала в чемодан сорочки, кальсоны, простыни. Тальберг, на коленях у нижнего ящика шкафа, ковырял в нем ключом. А потом... потом в комнате противно, как во всякой комнате, где хаос укладки, и еще хуже, когда абажур сдернут с лампы. Никогда. Никогда не сдергивайте абажур с лампы! Абажур священен. Никогда не убегайте крысёй побегом на неизвестность от опасности. У абажура дремите, читайте — пусть воет вьюга, — ждите, пока к вам придут.

Тальберг же бежал. Он возвышался, попирая обрывки бумаги, у застегнутого тяжелого чемодана в своей длинной шинели, в аккуратных черных наушниках, с гетманской серо-голубой кокардой и опоясан пашкой.

На дальнем пути Города I, Пассажирского, уже стоит поезд — еще без паровоза, как гусеница без головы. В составе девять вагонов с ослепительно белым электрическим светом. В составе в час ночи уходит в Германию штаб генерала фон Буссова. Тальберга берут: у Тальберга нашлись связи... Гетманское министерство — это глупая и пошлая оперетка (Тальберг любил выражаться тривиально, но сильно), как, впрочем, и сам гетман. Тем более пошлая, что...

— Пойми (шепот), немцы оставляют гетмана на произвол судьбы, и очень, очень может быть, что Петлюра войдет... а это, знаешь ли...

О, Елена знала! Елена отлично знала. В марте 1917 года Тальберг был первый, — поймите, первый, — кто пришел в военное училище с широченной красной повязкой на рукаве. Это было в самых первых числах, когда все еще офицеры в Городе при известиях из Петербурга становились кирпичными и уходили куда-то, в темные коридоры, чтобы ничего не слышать. Тальберг как член революционного военного комитета, а не кто иной, аресто-

вал знаменитого генерала Петрова. Когда же к концу знаменитого года в Городе произошло уже много чудесных и странных событий, и родились в нем какие-то люди, не имеющие сапог, но имеющие широкие шаровары, выглядывающие из-под солдатских серых шинелей, и люди эти заявили, что они не пойдут ни в коем случае из Города на фронт, потому что на фронте им делать нечего, что они останутся здесь, в Городе, Тальберг сделался раздражительным и сухо заявил, что это не то, что нужно, пошлая оперетка. И он оказался до известной степени прав: вышла действительно оперетка, но не простая, а с большим кровопролитием. Людей в шароварах в два счета выгнали из Города серые разрозненные полки, которые пришли откуда-то из лесов, с равнины, ведущей к Москве. Тальберг сказал, что те в шароварах — авантюристы, а корни в Москве, хоть эти корни и большевистские.

Но однажды, в марте, пришли в Город серыми шеренгами немцы, и на головах у них были рыжие металлические тазы, предохранявшие их от шрапнельных пуль, а гусары ехали в таких мохнатых шапках и на таких лошадях, что при взгляде на них Тальберг сразу понял, где корни. После нескольких тяжелых ударов германских пушек под Городом московские смылись куда-то за сизые леса есть дохлятину, а люди в шароварах притащились обратно, вслед за немцами. Это был большой сюрприз. Тальберг растерянно улыбался, но ничего не боялся, потому что шаровары при немцах были очень тихие, никого убивать не смели и даже сами ходили по улицам как бы с некоторой опаской, и вид у них был такой, словно у неуверенных гостей. Тальберг сказал, что у них нет корней, и месяца два нигде не служил. Николка Турбин однажды улыбнулся, войдя в комнату Тальберга. Тот сидел и писал на большом листе бумаги какие-то грамматические упражнения, а перед ним лежала тоненькая, отпечатанная на дешевой серой бумаге книжонка:

«Игнатий Перпилло — Украинская грамматика».

В апреле восемнадцатого, на Пасхе, в цирке весело гудели матовые электрические шары и было черно до купола народом. Тальберг стоял на арене веселой, боевой колонной и вел счет рук — шароварам крышка, будет Украина, но Украина «гетманская», — выбирали «гетмана всея Украины».

— Мы отгорожены от кровавой московской оперетки, — говорил Тальберг и блестел в странной, гетманской форме дома, на фоне милых, старых обоев. Давились презрительно часы: тонк-

танк, и вылилась вода из сосуда. Николке и Алексею не о чем было говорить с Тальбергом. Да и говорить было бы очень трудно, потому что Тальберг очень сердился при каждом разговоре о политике, и в особенности в тех случаях, когда Николка совершенно бестактно начинал: «А как же ты, Сережа, говорил в марте?...» У Тальберга тотчас показывались верхние, редко расставленные, но крупные и белые зубы, в глазах появлялись желтенькие искорки, и Тальберг начинал волноваться. Таким образом, разговоры вышли из моды сами собой.

Да, оперетка... Елена знала, что значит это слово на припухших прибалтийских устах. Но теперь оперетка грозила плохим, и уже не шароварам, не московским, не Ивану Ивановичу какому-нибудь, а грозила она самому Сергею Ивановичу Тальбергу. У каждого человека есть своя звезда, и недаром в средние века придворные астрологи составляли гороскопы, предсказывали будущее. О, как мудры были они! Так вот, у Тальберга, Сергея Ивановича, была неподходящая, неудачливая звезда. Тальбергу было бы хорошо, если бы все шло прямо, по одной определенной линии, но события в это время в Городе не шли по прямой, они проделывали причудливые зигзаги, и тщетно Сергей Иванович старался угадать, что будет. Он не угадал. Далеко еще, верст сто пятьдесят, а может быть и двести, от Города, на путях, освещенных белым светом, — салон-вагон. В вагоне, как зерно в стручке, болтался бритый человек, диктуя своим писарям и адъютантам. Горе Тальбергу, если этот человек придет в Город, а он может прийти! Горе. Номер газеты «Вести» всем известен, имя капитана Тальберга, выбиравшего гетмана, также. В газете статья, принадлежавшая перу Сергея Ивановича, а в статье слова:

Петлюра — авантюрист, грозящий своею опереткой гибелью краю...

— Тебя, Елена, ты сама понимаешь, я взять не могу на скитанья и неизвестность. Не правда ли?

Ни звука не ответила Елена, потому что была горда.

— Я думаю, что мне беспрепятственно удастся пробраться через Румынию в Крым и на Дон. Фон Буссов обещал мне содействие. Меня ценят. Немецкая оккупация превратилась в оперетку. Немцы уже уходят. (Шепот.) Петлюра, по моим расчетам,

тоже скоро рухнет. Настоящая сила идет с Дона. И ты знаешь, мне ведь даже нельзя не быть там, когда формируется армия права и порядка. Не быть — значит погубить карьеру, ведь ты знаешь, что Деникин был начальником моей дивизии. Я уверен, что не пройдет и трех месяцев, ну самое позднее — в мае, мы придем в Город. Ты ничего не бойся. Тебя ни в коем случае не тронут, ну, а в крайности, у тебя же есть паспорт на девичью фамилию. Я попрошу Алексея, чтобы тебя не дали в обиду.

Елена очнулась.

— Постой, — сказала она, — ведь нужно братьев сейчас предупредить о том, что немцы нас предадут?

Тальберг густо покраснел.

— Конечно, конечно, я обязательно... Впрочем, ты им сама скажи. Хотя ведь это дело меняет мало.

Странное чувство мелькнуло у Елены, но предаваться размышлению было некогда: Тальберг уже целовал жену, и было мгновение, когда его двухэтажные глаза пронизало только одно — нежность. Елена не выдержала и всплакнула, но тихо, тихо, — женщина она была сильная, недаром дочь Анны Владимировны. Потом произошло прощание с братьями в гостиной. В бронзовой лампе вспыхнул розовый свет и залил весь угол. Пианино показало уютные белые зубы и партитуру Фауста там, где черные нотные закорючки идут густым черным строем и разноцветный рыжебородый Валентин поет:

Я за сестру тебя молю,
Сжался, о, сжался ты над ней!
Ты охраняй ее.

Даже Тальбергу, которому не были свойственны никакие сентиментальные чувства, запомнились в этот миг и черные аккорды, и истрепанные страницы вечного Фауста. Эх, эх... Не придется больше услышать Тальбергу каватины про Бога Всесильного, не услышать, как Елена играет Шервинскому аккомпанемент! Все же, когда Турбиных и Тальберга не будет на свете, опять зазвучат клавиши, и выйдет к рампе разноцветный Валентин, в ложах будет пахнуть духами, и дома будут играть аккомпанемент женщины, окрашенные светом, потому что Фауст, как Саардамский Плотник, — совершенно бессмертен.

Тальберг все рассказал тут же у пианино. Братья вежливо промолчали, стараясь не поднимать бровей. Младший из гордости, старший потому, что был человек-тряпка. Голос Тальберга дрогнул.

— Вы же Елену берегите, — глаза Тальберга в первом слое посмотрели просительно и тревожно. Он помялся, растерянно глянул на карманные часы и беспокойно сказал: — Пора.

Елена притянула к себе за шею мужа, перекрестила его торопливо и криво и поцеловала. Тальберг уколол обоих братьев щетками черных подстриженных усов. Тальберг, заглянув в бумажник, беспокойно проверил пачку документов, пересчитал в тощем отделении украинские бумажки и немецкие марки и, улыбаясь, напряженно улыбаясь и оборачиваясь, пошел. Дзинь... дзинь... в передней свет сверху, потом на лестнице громыханье чемодана. Елена свесилась с перил и в последний раз увидела острый хохол башлыка.

В час ночи с пятого пути из тьмы, забитой кладбищами по-рожных товарных вагонов, с места взяв большую грохочущую скорость, пыша красным жаром поддувала, ушел серый, как жаба, бронепоезд и дико завыл. Он пробежал восемь верст в семь минут, попал на Пост-Волынский, в гвалт, стук, грохот и фонари, не задерживаясь, по прыгающим стрелкам свернул с главной линии вбок и, возбуждая в душах обмерзших юнкеров и офицеров, скорчившихся в теплушках и в цепях у самого Поста, смутную надежду и гордость, смело, никого решительно не боясь, ушел к германской границе. Следом за ним через десять минут прошел через Пост сияющий десятками окон пассажирский, с громадным паровозом. Тумбовидные, массивные, запакованные до глаз часовые-немцы мелькнули на площадках, мелькнули их широкие черные штыки. Стрелочники, давясь морозом, видели, как мотало на стыках длинные пульманы, окна бросали в стрелочников снопы. Затем все исчезло, и души юнкеров наполнились завистью, злобой и тревогой.

— У... с-с-волочь!.. — проныло где-то у стрелки, и на теплушки налетела жгучая выюга. Заносило в эту ночь Пост.

А в третьем от паровоза вагоне, в купе, крытом полосатыми чехлами, вежливо и заискивающе улыбаясь, сидел Тальберг против германского лейтенанта и говорил по-немецки.

— О, ја, — тянул время от времени толстый лейтенант и пожевывал сигару.

Когда лейтенант заснул, двери во всех купе закрылись и в теплом и ослепительном вагоне настало монотонное дорожное бормотанье, Тальберг вышел в коридор, откинул бледную штору с прозрачными буквами «Ю.-З. ж. д.» и долго глядел в мрак. Там беспорядочно прыгали искры, прыгал снег, а впереди паровоз нес и завывал так грозно, так неприятно, что даже Тальберг расстроился.

3

<...>

— Мерзавец он. Больше ничего! — сам себе сказал Турбин, в одиночестве через комнату и переднюю от Елены. Мысли Елены передались ему и жгли его уже много минут. — Мерзавец, а я действительно тряпка. Если уж не выгнал его, то, по крайней мере, нужно было молча уйти. Поезжай к чертям. Не потому даже мерзавец, что бросил Елену в такую минуту, это, в конце концов, мелочь, вздор, а совсем по-другому. Но вот почему? А черт, да понятен он мне совершенно. О, чертова кукла, лишенная малейшего понятия о чести! Все, что ни говорит, говорит, как бесструнная балалайка, и это офицер русской военной академии. Это лучшее, что должно было быть в России...

Квартира молчала. Полоска, выпадавшая из спальни Елены, потухла. Она заснула, и мысли ее потухли, но Турбин еще долго мучился у себя в маленькой комнате, у маленького письменного стола. Водка и германское вино удружили ему плохо. Он сидел и воспаленными глазами глядел в страницу первой попавшейся ему книги и вычитывал, бессмысленно возвращаясь к одному и тому же:

Русскому человеку честь — одно только лишнее бремя.

Только под утро он разделся и уснул, и вот во сне явился к нему маленького роста кошмар в брюках в крупную клетку и глумливо сказал:

— Голым профилем на ежа не сядешь!.. Святая Русь — страна деревянная, нищая и... опасная, а русскому человеку честь — только лишнее бремя.

— Ах ты! — вскричал во сне Турбин, — г-гадина, да я тебя. — Турбин во сне полез в ящик стола доставать браунинг, сонный, достал, хотел выстрелить в кошмар, погнался за ним, и кошмар пропал.

Часа два тек мутный, черный, без сновидений сон, а когда уже начало светать бледно и нежно за окнами комнаты, выходящей на застекленную веранду, Турбину стал сниться Город.

7

<...>

В семь часов на Бородинском поле, освещенном розоватыми шарами, стояла, пожимаясь от предраассветного холода, гудя и ворча говором, та же растянутая гусеница, что поднималась по лестнице к портрету Александра. Штабс-капитан Студзинский стоял поодаль ее в группе офицеров и молчал. Странное дело, в глазах его был тот же косоватый отблеск тревоги, как и у полковника Малышева начиная с четырех часов утра. Но всякий, кто увидел бы и полковника и штабс-капитана в эту знаменитую ночь, мог бы сразу и уверенно сказать, в чем разница: у Студзинского в глазах — тревога предчувствия, а у Малышева в глазах тревога определенная, когда все уже совершенно ясно, понятно и погано. У Студзинского из-за обшлага его шинели торчал длинный список артиллеристов дивизиона. Студзинский только что произвел перекличку и убедился, что двадцати человек не хватает. Поэтому список носил на себе следы резкого движения штабс-капитанских пальцев: он был скомкан.

В похолодевшем зале вились дымки — в офицерской группе курили.

Минута в минуту в семь часов перед строем появился полковник Малышев, и, как предыдущим днем, его встретил приветственный грохот в зале. Господин полковник, как и в предыдущий день, был опоясан серебряной шашкой, но в силу каких-то причин тысяча огней уже не играла на серебряной резьбе. На правом бедре у полковника покоился револьвер в кобуре, и означенная кобура, вероятно, вследствие несвойственной полковнику Малышеву рассеянности, была расстегнута.

Полковник выступил перед дивизионом, левую руку в перчатке положил на эфес шашки, а правую без перчатки наложил на кобуру и произнес следующие слова:

— Приказываю господам офицерам и артиллеристам мортирного дивизиона слушать внимательно то, что я им скажу! За ночь в нашем положении, в положении армии и, я бы сказал, в государственном положении на Украине произошли резкие и внезапные изменения. Поэтому я объявляю вам, что дивизион распущен! Предлагаю каждому из вас, сняв с себя всякие знаки отличия и захватив здесь в цейхгаузе все, что каждый из вас пожелает и что он может унести на себе, разойтись по домам, скрыться в них, ничем себя не проявлять и ожидать нового вызова от меня!

Он помолчал и этим как будто бы еще больше подчеркнул ту абсолютно полную тишину, что была в зале. Даже фонари перестали шипеть. Все взоры артиллеристов и офицерской группы сосредоточились на одной точке в зале, именно — на подстриженных усах господина полковника.

Он заговорил вновь:

— Этот вызов последует с моей стороны немедленно, лишь произойдет какое-либо изменение в положении. Но должен вам сказать, что надежд на него мало... Сейчас мне самому еще неизвестно, как сложится обстановка, но я думаю, что лучшее, на что может рассчитывать каждый... э... (полковник вдруг выкрикнул следующее слово) лучший! из вас — это быть отправленным на Дон. Итак: приказываю всему дивизиону, за исключением господ офицеров и тех юнкеров, которые сегодня ночью несли караулы, немедленно разойтись по домам!

— А?! А?! Га, га, га! — прошелестело по всей громаде, и штыки в ней как-то осели. Замелькали растерянные лица, и как будто где-то в шеренгах мелькнуло несколько обрадованных глаз...

Из офицерской группы выделился штабс-капитан Студзинский, как-то иссиня-бледноватый, косящий глазами, сделал несколько шагов по направлению к полковнику Малышеву, затем оглянулся на офицеров. Мышлаевский смотрел не на него, а все туда же, на усы полковника Малышева, причем вид у него был такой, словно он хочет, по своему обыкновению, выругаться скверными матерными словами. Карась нелепо подбоченился и заморгал глазами. А в отдельной группочке молодых прапорщиков вдруг прошелестело неуместное разрушительное слово «арест»!..

— Что такое? Как? — где-то баском послышалось в шеренге среди юнкеров.

— Арест!..

— Измена!!

Студзинский неожиданно и вдохновенно глянул на светящийся шар над головой, вдруг скосил глаза на ручку кобуры и крикнул:

— Эй, первый взвод!

Передняя шеренга с краю сломалась, серые фигуры выделились из нее, и произошла странная суэта.

— Господин полковник! — совершенно сирым голосом сказал Студзинский. — Вы арестованы.

— Арестовать его!! — вдруг истерически звонко выкрикнул один из прапорщиков и двинулся к полковнику.

— Пойдите, господа! — крикнул медленно, но прочно соображающий Карась.

Мышлаевский проворно выскочил из группы, ухватил экспансивного прапорщика за рукав шинели и отдернул его назад.

— Пустите меня, господин поручик! — злобно дернув ртом, выкрикнул прапорщик.

— Тише! — прокричал чрезвычайно уверенный голос господина полковника. Правда, и ртом он дергал не хуже самого прапорщика, правда, и лицо его пошло красными пятнами, но в глазах у него было уверенности больше, чем у всей офицерской группы. И все остановились.

— Тише! — повторил полковник. — Приказываю вам стать на места и слушать!

Воцарилось молчание, и у Мышлаевского резко насторожился взор. Было похоже, что какая-то мысль уже проскочила в его голове, и он ждал от господина полковника вещей важных и еще более интересных, чем те, которые тот уже сообщил.

— Да, да, — заговорил полковник, дергая щекой, — да, да... Хорош бы я был, если бы пошел в бой с таким составом, который мне послал Господь Бог. Очень был бы хорош! Но то, что простительно добровольцу-студенту, юноше-юнкеру, в крайнем случае, прапорщику, ни в коем случае не простительно вам, господин штабс-капитан!

При этом полковник вонзил в Студзинского исключительной резкости взор. В глазах у господина полковника по адресу Студзинского прыгали искры настоящего раздражения. Опять стала тишина.

— Ну, так вот-с, — продолжал полковник. — В жизнь свою не митинговал, а, видно, сейчас придется. Что ж, помитингуем! Ну, так вот-с: правда, ваша попытка арестовать своего командира обличает в вас хороших патриотов, но она же показывает, что вы... э... офицеры — как бы выразиться? — неопытные! Коротко: времени у меня нет, и, уверяю вас, — зловеще и значительно подчеркнул полковник, — и у вас тоже. Вопрос: кого желаете защищать?

Молчание.

— Кого желаете защищать, я спрашиваю? — грозно повторил полковник.

Мышлаевский с искрами огромного и теплого интереса выдвинулся из группы, козырнул и молвил:

— Гетмана обязаны защищать, господин полковник.

— Гетмана? — переспросил полковник. — Отлично-с. Дивизион, смирно! — вдруг рявкнул он так, что дивизион инстинктивно дрогнул. — Слушать!! Гетман сегодня около четырех часов утра, позорно бросив нас всех на произвол судьбы, бежал! Бежал, как последняя каналья и трус! Сегодня же, через час после гетмана, бежал туда же, куда и гетман, то есть в германский поезд, командующий нашей армией генерал от кавалерии Белоруков. Не позже чем через несколько часов мы будем свидетелями катастрофы, когда обманутые и втянутые в авантюру люди вроде вас будут перебиты, как собаки. Слушайте: у Петлюры на подступах к городу свыше чем стотысячная армия, и завтрашний день... да что я говорю, не завтрашний, а сегодняшний, — полковник указал рукой на окно, где уже начинал синеть покров над городом, — разрозненные, разбитые части несчастных офицеров и юнкеров, брошенные штабными мерзавцами и этими двумя прохвостами, которых следовало бы повесить, встретятся с прекрасно вооруженными и превышающими их в двадцать раз численностью войсками Петлюры... Слушайте, дети мои! — вдруг сорвавшимся голосом крикнул полковник Малышев, по возрасту годившийся никак не в отцы, а лишь в старшие братья всем стоящим под штыками. — Слушайте! Я, кадровый офицер, вынесший войну с германцами, чему свидетель штабс-капитан Студзинский, на свою совесть беру и ответственность, все!.. все!! Вас предупреждаю! Вас посылаю домой! Понятно? — прокричал он.

— Да... а... га, — ответила масса, и штыки ее закачались. И затем громко и судорожно заплакал во второй шеренге какой-то юнкер.

Штабс-капитан Студзинский совершенно неожиданно для всего дивизиона, а вероятно и для самого себя, странным, не офицерским жестом ткнул руками в перчатках в глаза, причем дивизионный список упал на пол, и заплакал.

Тогда, заразившись от него, зарыдали еще многие юнкера, шеренги сразу развалились, и голос Радамеса Мышлаевского, покрывая нестройный гвалт, рявкнул трубачу:

— Юнкер Павловский! Бейте отбой!!

* * *

— Господин полковник, разрешите поджечь здание гимназии? — светло глядя на полковника, сказал Мышлаевский.

— Не разрешаю, — вежливо и спокойно ответил ему Малышев.

— Господин полковник, — задумчиво сказал Мышлаевский, — Петлюре достанется цейхгауз, орудия и главное, — Мышлаевский указал рукою в дверь, где в вестибюле над пролетом виднелась голова Александра.

— Достанется, — вежливо подтвердил полковник.

— Но как же, господин полковник?..

Малышев повернулся к Мышлаевскому, глядя на него внимательно, сказал следующее:

— Господин поручик, Петлюре через три часа достанутся сотни живых жизней, и единственно, о чем я жалею, что я ценой своей жизни и даже вашей, еще более дорогой, конечно, их гибели приостановить не могу. О портретах, пушках и винтовках прошу вас более со мною не говорить.

— Господин полковник, — сказал Студзинский, остановившись перед Малышевым, — от моего лица и от лица офицеров, которых я толкнул на безобразную выходку, прошу вас принять наши извинения.

— Принимаю, — вежливо ответил полковник.

<...>

Часть третья

20

<...>

Ночь расцветала. Сонная дрема прошла над городом, мутной белой птицей пронеслась, минуя сторонкой крест Владимира, упала за Днепром в самую гущу ночи и поплыла вдоль железной дуги. Доплыла до станции Дарницы и задержалась над ней. На третьем пути стоял бронепоезд. Наглухо, до колес, были зажаты площадки в серую броню. Паровоз чернел многогранной глыбой, из брюха его вываливался огненный плат, разлегаясь на рельсах, и со стороны казалось, что утроба паровоза набита раскаленными углями. Он сипел тихонько и злобно, сочилось что-то в боковых стенках, тупое рыло его молчало и шурилось в приднепровские леса. С последней площадки ввысь, черную и синюю, целилось широченное дуло в глухом наморднике верст на двенадцать и прямо в полночный крест.

Станция в ужасе замерла. На лоб надвинула тьму, и светилась в ней осовевшими от вечернего грохота глазками желтых огней. Суета на ее платформах была непрерывная, несмотря на предутренний час. В низком желтом бараке телеграфа три окна горели ярко, и слышался сквозь стекла непрекращающийся стук трех аппаратов. По платформе бегали взад и вперед, несмотря на жгучий мороз, фигуры людей в полушубках по колено, в шинелях и черных бушлатах. В стороне от бронепоезда и сзади, растянувшись, не спал, переключался и гремел дверями теплушек эшелон.

А у бронепоезда, рядом с паровозом и первым железным корпусом вагона, ходил, как маятник, человек в длинной шинели, в рваных валенках и остроконечном куколе-башлыке. Винтовку он нежно лелеял на руке, как уставшая мать ребенка, и рядом с ним ходила меж рельсами, под скупым фонарем, по снегу, острая щепка черной тени и теневой беззвучный штык. Человек очень сильно устал и зверски, не по-человечески озяб. Руки его, синие и холодные, тщетно рылись деревянными пальцами в рвани рукавов, ища убежища. Из окаймленной белой накипью и бахромой неровной пасти башлыка, открывавшей мохнатый, обмороженный рот, глядели глаза в снежных космах ресниц. Глаза эти были голубые, страдальческие, сонные, томные.

Человек ходил методически, свесив штык, и думал только об одном, когда же истечет наконец морозный час пытки и он уйдет с озверевшей земли вовнутрь, где божественным жаром пышут трубы, греющие эшелоны, где в тесной конуре он сможет свалиться на узкую койку, прильнуть к ней и на ней распластаться. Человек и тень ходили от огненного всплеска броневых брехов к темной стене первого боевого ящика, до того места, где чернела надпись:

Бронепоезд «Пролетарий».

Тень, то вырастая, то уродливо горбясь, но неизменно остроголовая, рыла снег своим черным штыком. Голубоватые лучи фонаря висели в тылу человека. Две голубоватые луны, не грея и дразня, горели на платформе. Человек искал хоть какого-нибудь огня и нигде не находил его; стиснув зубы, потеряв надежду согреть пальцы ног, шевеля ими, неуклонно рвался взором к звездам. Удобнее всего ему было смотреть на звезду Марс, сияющую в небе впереди над Слободкой. И он смотрел на нее. От его глаз шел на миллионы верст взгляд и не упускал ни на минуту красноватой живой звезды. Она сжималась и расширялась, явно жила и была пятиконечная. Изредка, истомившись, человек опускал винтовку прикладом в снег, остановившись, мгновенно и прозрачно засыпал, и черная стена бронепоезда не уходила из этого сна, не уходили и некоторые звуки со станции. Но к ним присоединялись новые. Вырастал во сне небосвод невиданный. Весь красный, сверкающий и весь одетый Марсами в их живом сверкании. Душа человека мгновенно наполнялась счастьем. Выходил неизвестный, непонятный всадник в кольчуге и братски наплывал на человека. Кажется, совсем собирался провалиться во сне черный бронепоезд, и вместо него вырастала в снегах зарытая деревня — Малые Чугры. Он, человек, у околицы Чугров, а навстречу ему идет сосед и земляк.

— Жилин? — говорил беззвучно, без губ, мозг человека, и тотчас грозный сторожевой голос в груди выстукивал три слова:

— Пост... часовой... замерзнешь...

Человек уже совершенно нечеловеческим усилием отрывал винтовку, вскидывал на руку, шатнувшись, отдирав ноги и шел опять.

Вперед — назад. Вперед — назад. Исчезал сонный небосвод, опять одевало весь морозный мир синим шелком неба, продырявленного черным и губительным хоботом орудия. Играла Венера красноватая, а от голубой луны фонаря временами поблескивала на груди человека ответная звезда. Она была маленькая и тоже пятиконечная.

* * *

Металась и металась потревоженная дрема. Летела вдоль Днепра. Пролетела мертвые пристани и упала над Подолом. На нем очень давно погасли огни. Все спали. Только на углу Волынской в трехэтажном каменном здании, в квартире библиотекаря, в узенькой, как дешевый номер дешевой гостиницы, комнате, сидел голубоглазый Русаков у лампы под стеклянным горбом колпака. Перед Русаковым лежала тяжелая книга в желтом кожаном переплете. Глаза шли по строкам медленно и торжественно.

«И увидал я мертвых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах соответственно с делами своими.

Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим.

.....
кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.

.....
и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали и моря уже нет».

По мере того как он читал потрясающую книгу, ум его становился как сверкающий меч, углубляющийся в тьму.

Болезни и страдания казались ему неважными, несущественными. Недуг отпадал, как короста с забытой в лесу отсохшей ветви. Он видел синюю, бездонную мглу веков, коридор тысячелетий. И страха не испытывал, а мудрую покорность и благоговение. Мир становился в душе, и в мире он дошел до слов: «...слезу с очей, и смерти не будет, уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

* * *

Смутная мгла расступилась и пропустила к Елене поручика Шервинского. Выпуклые глаза его развязно улыбались.

— Я демон, — сказал он, шелкнув каблуками, — а он не вернется, Тальберг, — и я пою вам...

Он вынул из кармана огромную сусальную звезду и нацепил ее на грудь с левой стороны. Туманы сна ползли вокруг него, его лицо из клубов выходило ярко-кукольным. Он пел пронзительно, не так, как наяву:

— Жить, будем жить!!

— А смерть придет, помирать будем... — пропел Николка и вошел.

В руках у него была гитара, но вся шея в крови, а на лбу желтый венчик с иконками. Елена мгновенно подумала, что он умрет, и горько зарыдала и проснулась с криком в ночи:

— Николка. О, Николка?

И долго, всхлипывая, слушала бормотание ночи.

И ночь все плыла.

* * *

И наконец, Петька Щеглов во флигеле видел сон.

Петька был маленький, поэтому он не интересовался ни большевиками, ни Петлюрой, ни Демоном. И сон привиделся ему простой и радостный, как солнечный шар.

Будто бы шел Петька по зеленому большому лугу, а на этом лугу лежал сверкающий алмазный шар, больше Петьки. Во сне взрослые, когда им нужно бежать, прилипают к земле, стонут и мечутся, пытаясь оторвать ноги от трясины. Детские же ноги резвы и свободны. Петька добежал до алмазного шара и, задохнувшись от радостного смеха, схватил его руками. Шар обдал Петьку сверкающими брызгами. Вот весь сон Петьки. От удовольствия он расхохотался в ночи. И ему весело стрекотал сверчок за печкой. Петька стал видеть иные, легкие и радостные сны, а сверчок все пел и пел свою песню, где-то в щели, в белом углу за ведром, оживляя сонную, бормочущую ночь в семье.

Последняя ночь расцвела. Во второй половине ее вся тяжелая синева, занавес Бога, облакающий мир, покрылась звездами. Похоже было, что в неизмеримой высоте за этим синим пологом у царских врат служили всенощную. В алтаре зажигали огоньки, и они

Вперед — назад. Вперед — назад. Исчезал сонный небосвод, опять одевало весь морозный мир синим шелком неба, продырявленного черным и губительным хоботом орудия. Играла Венера красноватая, а от голубой луны фонаря временами поблескивала на груди человека ответная звезда. Она была маленькая и тоже пятиконечная.

* * *

Металась и металась потревоженная дрема. Летела вдоль Днепра. Пролетела мертвые пристани и упала над Подолом. На нем очень давно погасли огни. Все спали. Только на углу Волынской в трехэтажном каменном здании, в квартире библиотекаря, в узенькой, как дешевый номер дешевой гостиницы, комнате, сидел голубоглазый Русаков у лампы под стеклянным горбом колпака. Перед Русаковым лежала тяжелая книга в желтом кожаном переплете. Глаза шли по строкам медленно и торжественно.

«И увидел я мертвых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах соответственно с делами своими.

Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим.

.....
кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.

.....
и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали и моря уже нет».

По мере того как он читал потрясающую книгу, ум его становился как сверкающий меч, углубляющийся в тьму.

Болезни и страдания казались ему неважными, несущественными. Недуг отпадал, как короста с забытой в лесу отсохшей ветви. Он видел синюю, бездонную мглу веков, коридор тысячелетий. И страха не испытывал, а мудрую покорность и благоговение. Мир становился в душе, и в мире он дошел до слов: «...слезу с очей, и смерти не будет, уже ни плача, ни воля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

* * *

Смутная мгла расступилась и пропустила к Елене поручика Шервинского. Выпуклые глаза его развязно улыбались.

— Я демон, — сказал он, щелкнув каблуками, — а он не вернется, Тальберг, — и я пою вам...

Он вынул из кармана огромную сусальную звезду и нацепил ее на грудь с левой стороны. Туманы сна ползли вокруг него, его лицо из клубов выходило ярко-кукольным. Он пел пронзительно, не так, как наяву:

— Жить, будем жить!!

— А смерть придет, помирать будем... — пропел Николка и вошел.

В руках у него была гитара, но вся шея в крови, а на лбу желтый венчик с иконками. Елена мгновенно подумала, что он умрет, и горько зарыдала и проснулась с криком в ночи:

— Николка. О, Николка?

И долго, всхлипывая, слушала бормотание ночи.

И ночь все плыла.

* * *

И наконец, Петька Щеглов во флигеле видел сон.

Петька был маленький, поэтому он не интересовался ни большевиками, ни Петлюрой, ни Демоном. И сон привиделся ему простой и радостный, как солнечный шар.

Будто бы шел Петька по зеленому большому лугу, а на этом лугу лежал сверкающий алмазный шар, больше Петьки. Во сне взрослые, когда им нужно бежать, прилипают к земле, стонут и мечутся, пытаются оторвать ноги от трясины. Детские же ноги резвы и свободны. Петька добежал до алмазного шара и, задохнувшись от радостного смеха, схватил его руками. Шар обдал Петьку сверкающими брызгами. Вот весь сон Петьки. От удовольствия он расхохотался в ночи. И ему весело стрекотал сверчок за печкой. Петька стал видеть иные, легкие и радостные сны, а сверчок все пел и пел свою песню, где-то в щели, в белом углу за ведром, оживляя сонную, бормочущую ночь в семье.

Последняя ночь расцвела. Во второй половине ее вся тяжелая синева, занавес Бога, облакающий мир, покрылась звездами. Похоже было, что в неизмеримой высоте за этим синим пологом у царских врат служили всенощную. В алтаре зажигали огоньки, и они

проступали на завесе целыми крестами, кустами и квадратами. Над Днепром с грешной и окровавленной и снежной земли поднимался в черную, мрачную высь полночный крест Владимира. Издали казалось, что поперечная перекладина исчезла — слилась с вертикалью, и от этого крест превратился в угрожающий острый меч.

Но он не страшен. Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?

1923—1924

Красная корона

(*Historia morbi*¹)

Больше всего я ненавижу солнце, громкие человеческие голоса и стук. Частый, частый стук. Людей боюсь до того, что, если вечером слышу в коридоре чужие шаги и говор, начинаю вскрикивать. Поэтому и комната у меня особенная, покойная и лучшая, в самом конце коридора, № 27. Никто не может ко мне прийти. Но чтобы еще вернее обезопасить себя, я долго упрашивал Ивана Васильевича (плакал перед ним), чтобы он выдал мне удостоверение на машинке. Он согласился и написал, что я нахожусь под его покровительством и что никто не имеет права меня взять. Но я не очень верил, сказать по правде, в силу его подписи. Тогда он заставил подписать и профессора и приложил к бумаге круглую синюю печать. Это другое дело. Я знаю много случаев, когда люди оставались живы только благодаря тому, что у них нашли в кармане бумажку с круглой печатью. Правда, того рабочего в Бердянске, со щекой, вымазанной сажей, повесили на фонаре именно после того, как нашли у него в сапоге скомканную бумажку с печатью. Но то совсем другое. Он был преступник-большевик, и

¹ История болезни (*лат.*).

синяя печать была преступная печать. Она его загнала на фонарь, а фонарь был причиной моей болезни (не беспокойтесь, я прекрасно знаю, что я болен).

В сущности, еще раньше Коли со мной случилось что-то. Я ушел, чтоб не видеть, как человека вешают, но страх ушел вместе со мной в трясущихся ногах. Тогда я, конечно, не мог ничего поделывать, но теперь я смело бы сказал:

— Господин генерал, вы — зверь! Не смейте вешать людей!

Уже по этому вы можете видеть, что я не труслив, о печати заговорил не из страха перед смертью. О нет, я ее не боюсь. Я сам застрелюсь, и это будет скоро, потому что Коля доведет меня до отчаяния. Но я застрелюсь сам, чтобы не видеть и не слышать Колю. Мысль же, что придут другие люди... Это отвратно.

* * *

Целыми днями напролет я лежу на кушетке и смотрю в окно. Над нашим зеленым садом воздушный провал, за ним желтая громада в семь этажей повернулась ко мне глухой беззаконной стеной, и под самой крышей — огромный ржавый квадрат. Вывеска. Зуботехническая лаборатория. Белыми буквами. Вначале я ее ненавидел. Потом привык, и, если бы ее сняли, я, пожалуй, скучал бы без нее. Она маячит целый день, на ней сосредоточиваю внимание и размышляю о многих важных вещах. Но вот наступает вечер. Темнеет купол, исчезают из глаз белые буквы. Я становлюсь серым, растворяюсь в мрачной гуще, как растворяются мои мысли. Сумерки — страшное и значительное время суток. Все гаснет, все мешается. Рыженький кот начинает бродить бархатными шажками по коридорам, и изредка я вскрикиваю. Но света не позволяю зажигать, потому что, если вспыхнет лампа, я целый вечер буду рыдать, заламывая руки. Лучше покорно ждать той минуты, когда в струистой тьме загорится самая важная, последняя картина.

* * *

Старуха мать сказала мне:

— Я долго так не проживу. Я вижу: безумие. Ты старший, и я знаю, что ты любишь его. Верни Колю. Верни. Ты старший.

Я молчал.

Тогда она вложила в свои слова всю жажду и всю ее боль:

— Найди его! Ты притворяешься, что так нужно. Но я знаю тебя. Ты умный и давно уже понимаешь, что все это — безумие. Приведи его ко мне на день. Один. Я опять отпущу его.

Она лгала. Разве она отпустила бы его опять?

Я молчал.

— Я только хочу поцеловать его глаза. Ведь все равно его убьют. Ведь жалко? Он — мой мальчик. Кого же мне еще просить? Ты старший. Приведи его.

Я не выдержал и сказал, пряча глаза:

— Хорошо.

Но она схватила меня за рукав и повернула так, чтобы глянуть в лицо.

— Нет, ты поклянись, что привезешь его живым.

Как можно дать такую клятву?

Но я, безумный человек, поклялся:

— Клянусь.

* * *

Мать малодушна. С этой мыслью я уехал. Но видел в Бердянске покосившийся фонарь. Господин генерал, я согласен, что я был преступен не менее вас, я страшно отвечаю за человека, выпачканного сажей, но брат здесь ни при чем. Ему девятнадцать лет.

После Бердянска я твердо выполнил клятву и нашел его в двадцати верстах у речонки. Необыкновенно яркий был день. В мутных клубах белой пыли по дороге на деревню, от которой тянуло гарью, шагом шел конный строй. В первой шеренге с краю он ехал, надвинув козырек на глаза. Все помню: правая шпора спустилась к самому каблуку. Ремешок от фуражки тянулся по щеке под подбородок.

— Коля! Коля! — Я вскрикнул и подбежал к придорожной канаве.

Он дрогнул. В шеренге хмурые потные солдаты повернули головы.

— А... брат! — крикнул он в ответ. Он меня почему-то никогда не называл по имени, а всегда — брат. Я старше его на десять лет. И он всегда внимательно слушал мои слова. — Стой. Стой здесь, — продолжал он, — у лесочка. Сейчас мы подойдем. Я не могу оставить эскадрон.

У опушки, в стороне от спешившегося эскадрона, мы курили жадно. Я был спокоен и тверд. Все — безумие. Мать была совершенно права.

И я шептал ему:

— Лишь только из деревни вернетесь, едешь со мной в город. И немедленно отсюда и навсегда.

— Что ты, брат?

— Молчи, — говорил я, — молчи. Я знаю.

Эскадрон сел. Колыхнулись, рысью пошли на черные клубы. И застучало вдаль. Частый, частый стук.

Что может случиться за один час? Придут обратно. И я стал ждать у палатки с красным крестом.

* * *

Через час я увидел его. Так же рысью он возвращался. А эскадрона не было. Лишь два всадника с пиками скакали по бокам, и один из них — правый — то и дело склонялся к брату, как будто что-то шептал ему. Щурясь от солнца, я глядел на странный маскарад. Уехал в серенькой фуражке, вернулся в красной. И день окончился. Стал черный щит, на нем цветной головной убор. Не было волос и не было лба. Вместо него был красный венчик с желтыми зубами-ключьями.

Всадник — брат мой, в красной лохматой короне, сидел неподвижно на взмыленной лошади, и если б не поддерживал его бережно правый, можно было бы подумать: он едет на парад.

Всадник был горд в седле, но он был слеп и нем. Два красных пятна с потеками были там, где час назад светились ясные глаза...

Левый всадник спешил, левой рукой схватил повод, а правой тихонько потянул Колю за руку. Тот качнулся.

И голос сказал:

— Эх, вольноопределяющего нашего... осколком. Санитар, зови доктора...

Другой охнул и ответил:

— С-с... Что ж, брат, доктора? Тут давай попа.

Тогда флер черный стал гуще и все затянул, даже головной убор...

* * *

Я ко всему привык. К белому нашему зданию, к сумеркам, к рыженькому коту, что трется у двери, но к его приходам я привыкнуть не могу. В первый раз еще внизу, в № 63, он вышел из стены. В красной короне. В этом не было ничего страшного. Таким его я вижу во сне. Но я прекрасно знаю: раз он в короне — значит, мертвый. И вот он говорил, шевелил губами, запекшился кровью. Он расклеил их, свел ноги вместе, руку к короне приложил и сказал:

— Брат, я не могу оставить эскадрон.

И с тех пор всегда, всегда одно и то же. Приходит в гимнастерке с ремнями через плечо, с кривой пашкой и беззвучными шпорами и говорит одно и то же. Честь. Затем:

— Брат, я не могу оставить эскадрон.

Что он сделал со мной в первый раз! Он вспугнул всю клинику. Мое же дело было кончено. Я рассуждаю здраво: раз в венчике — убитый, а если убитый приходит и говорит — значит, я сошел с ума.

* * *

Да. Вот сумерки. Важный час расплаты. Но был один раз, когда я заснул и увидел гостиную со старенькой мебелью красного плюша. Уютное кресло с треснувшей ножкой. В раме пыльной и черной портрет на стене. Цветы на подставках. Пианино раскрыто, и партитура «Фауста» на нем. В дверях стоял он, и буйная радость зажгла мое сердце. Он не был всадником. Он был такой, как до проклятых дней. В черной тужурке с вымазанным мелом локтем. Живые глаза лукаво смеялись, и клочок волос свисал на лоб. Он кивал головой:

— Брат, идем ко мне в комнату. Что я тебе покажу!..

В гостиной было светло от луча, что тянулся из глаз, и бремя угрызения растаяло во мне. Никогда не было зловещего дня, в который я послал его, сказав «иди», не было стука и дымогари. Он никогда не уезжал, и всадником не был. Он играл на пианино, звучали белые костяшки, все брызгал золотой сноп, и голос был жив и смеялся.

* * *

Потом я проснулся. И ничего нет. Ни света, ни глаз. Никогда больше не было такого сна. И зато в ту же ночь, чтобы усилить адову мою муку, все ж таки пришел, неслышно ступая, всадник в боевом снаряжении и сказал, как решил мне говорить вечно.

Я решил положить конец. Сказал ему с силой:

— Что же ты, вечный мой палач? Зачем ты ходишь? Я все сознаю. С тебя я снимаю вину на себя — за то, что послал тебя на смертное дело. Тяжесть того, что был повешен, тоже кладу на себя. Раз я это говорю, ты прости и оставь меня.

Господин генерал, он промолчал и не ушел.

Тогда я ожесточился от муки и всей моей волей пожелал, чтобы он хоть раз пришел к вам и руку к короне приложил. Уверяю вас, вы были бы кончены, так же как и я. В два счета. Впрочем, может быть, вы тоже не одиноки в часы ночи? Кто знает, не ходит ли к вам тот, грязный, в саже, с фонаря в Бердянске? Если так, по справедливости мы терпим. Помогать вам повесить я послал Колю, вешали же вы. По словесному приказу без номера.

Итак, он не ушел. Тогда я вспугнул его криком. Все встали. Прибежала фельдшерица, будили Ивана Васильевича. Я не хотел начать следующего дня, но мне не дали угробить себя. Связали полотном, из рук вырвали стекло, забинтовали. С тех пор я в номере двадцать седьмом. После снадобья я стал засыпать и слышал, как фельдшерица говорила в коридоре:

— Безнадежен.

* * *

Это верно. У меня нет надежды. Напрасно в жгучей тоске в сумерки я жду сна — старую знакомую комнату и мирный свет лучистых глаз. Ничего этого нет и никогда не будет.

Не тает бремя. И в ночь покорно жду, что придет знакомый всадник с незрячими глазами и скажет мне хрипло:

— Я не могу оставить эскадрон.

Да, я безнадежен. Он замучит меня.

1922

МАСТЕР И МАРГАРИТА (Отрывки)

Часть первая

Глава 2

Понтий Пилат

В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат.

Более всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла, и все теперь предвещало нехороший день, так как запах этот начал преследовать прокуратора с рассвета. Прокуратору казалось, что розовый запах источают кипарисы и пальмы в саду, что к запаху кожи и конвоя примешивается проклятая розовая струя. От флигелей в тылу дворца, где расположилась пришедшая с прокуратором в Ершалаим первая когорта Двенадцатого Молниеносного легиона, заносило дымком в колоннаду через верхнюю площадку сада, и к горьковатому дыму, свидетельствовавшему о том, что кашевары в кентуриях начали готовить обед, примешивался все тот же жирный розовый дух. О боги, боги, за что вы наказываете меня?

«Да, нет сомнений! Это она, опять она, непобедимая, ужасная болезнь гемикrania, при которой болит полголовы. От нее нет средств, нет никакого спасения. Попробую не двигать головой».

На мозаичном полу у фонтана уже было приготовлено кресло, и прокуратор, не глядя ни на кого, сел в него и протянул руку в сторону.

Секретарь почтительно вложил в эту руку кусок пергамента. Не удержавшись от болезненной гримасы, прокуратор искося, бегло проглядел написанное, вернул пергамент секретарю и с трудом проговорил:

- Подследственный из Галилеи? К тетрарху дело посылали?
- Да, прокуратор, — ответил секретарь.
- Что же он?

— Он отказался дать заключение по делу и смертный приговор Синедриона направил на ваше утверждение, — объяснил секретарь.

Прокуратор дернул щекой и сказал тихо:

— Приведите обвиняемого.

И сейчас же с площадки сада под колонны на балкон двое легионеров ввели и поставили перед креслом прокуратора человека лет двадцати семи. Этот человек был одет в старенький и разорванный голубой хитон. Голова его была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба, а руки связаны за спиной. Под левым глазом у человека был большой синяк, в углу рта — ссадина с запекшейся кровью. Приведенный с тревожным любопытством глядел на прокуратора.

Тот помолчал, потом тихо спросил по-арамейски:

— Так это ты подговаривал народ разрушить ершалаимский храм?

Прокуратор при этом сидел как каменный, и только губы его шевелились чуть-чуть при произнесении слов. Прокуратор был как каменный, потому что боялся качнуть пылающей адской болью головой.

Человек со связанными руками несколько подался вперед и начал говорить:

— Добрый человек! Поверь мне...

Но прокуратор, по-прежнему не шевелясь и ничуть не повышая голоса, тут же перебил его:

— Это меня ты называешь добрым человеком? Ты ошибаешься. В Ершалаиме все шепчут про меня, что я свирепое чудовище, и это совершенно верно, — и так же монотонно прибавил: — Кентуриона Крысобоя ко мне.

Всем показалось, что на балконе потемнело, когда кентурион, командующий особой кентурией, Марк, прозванный Крысобоем, предстал перед прокуратором.

Крысобой был на голову выше самого высокого из солдат легиона и настолько широк в плечах, что совершенно заслонил еще невысокое солнце.

Прокуратор обратился к кентуриону по-латыни:

— Преступник называет меня «добрый человек». Выведите его отсюда на минуту, объясните ему, как надо разговаривать со мной. Но не калечить.

И все, кроме неподвижного прокуратора, проводили взглядом Марка Крысобоя, который махнул рукою арестованному, показывая, что тот должен следовать за ним.

Крысобоя вообще все провожали взглядами, где бы он ни появлялся, из-за его роста, а те, кто видел его впервые из-за того еще, что лицо кентуриона было изуродовано: нос его некогда был разбит ударом германской палицы.

Простучали тяжелые сапоги Марка по мозаике, связанный пошел за ним бесшумно, полное молчание настало в колоннаде, и слышно было, как ворковали голуби на площадке сада у балкона, да еще вода пела замысловатую приятную песню в фонтане.

Прокуратору захотелось подняться, подставить висок под струю и так замереть. Но он знал, что и это ему не поможет.

Выведя арестованного из-под колонн в сад, Крысобой вынул из рук у легионера, стоявшего у подножия бронзовой статуи, бич и, несильно размахнувшись, ударил арестованного по плечам. Движение кентуриона было небрежно и легко, но связанный мгновенно рухнул наземь, как будто ему подрубили ноги, захлебнулся воздухом, краска сбегала с его лица и глаза обесмыслились. Марк одною левою рукою, легко, как пустой мешок, вздернул на воздух упавшего, поставил его на ноги и заговорил гнусаво, плохо выговаривая арамейские слова:

— Римского прокуратора называть — игемон. Других слов не говорить. Смирно стоять. Ты понял меня или ударить тебя?

Арестованный пошатнулся, но совладал с собою, краска вернулась, он перевел дыхание и ответил хрипло:

— Я понял тебя. Не бей меня.

Через минуту он вновь стоял перед прокуратором.

Прозвучал тусклый, больной голос:

— Имя?

— Мое? — торопливо отозвался арестованный, всем существом выражая готовность отвечать толково, не вызывать более гнева.

Прокуратор сказал негромко:

— Мое — мне известно. Не притворяйся более глупым, чем ты есть. Твое.

— Иешуа, — поспешно ответил арестант.

— Прозвище есть?

— Га-Ноцри.

— Откуда ты родом?

— Из города Гамалы, — ответил арестант, головой показывая, что там, где-то далеко, направо от него, на севере, есть город Гамала.

— Кто ты по крови?

— Я точно не знаю, — живо ответил арестованный, — я не помню моих родителей. Мне говорили, что мой отец был сириец...

— Где ты живешь постоянно?

— У меня нет постоянного жилища, — застенчиво ответил арестант, — я путешествую из города в город.

— Это можно выразить короче, одним словом — бродяга, — сказал прокуратор и спросил: — Родные есть?

— Нет никого. Я один в мире.

— Знаешь ли грамоту?

— Да.

— Знаешь ли какой-либо язык, кроме арамейского?

— Знаю. Греческий.

Вспухшее веко приподнялось, подернутый дымкой страдания глаз уставился на арестованного. Другой глаз остался закрытым.

Пилат заговорил по-гречески:

— Так ты собирався разрушить здание храма и призывал к этому народ?

Тут арестант опять оживился, глаза его перестали выражать испуг, и он заговорил по-гречески:

— Я, доб... — тут ужас мелькнул в глазах арестанта оттого, что он едва не оговорился, — я, игемон, никогда в жизни не собирався разрушать здание храма и никого не подговаривал на это бессмысленное действие.

Удивление выразилось на лице секретаря, сгорбившегося над низеньким столом и записывавшего показания. Он поднял голову, но тотчас же опять склонил ее к пергаменту.

— Множество разных людей стекается в этот город к празднику. Бывают среди них маги, астрологи, предсказатели и убийцы, — говорил монотонно прокуратор, — а попадаются и лгуны. Ты, например, лгун. Записано ясно: подговаривал разрушить храм. Так свидетельствуют люди.

— Эти хорошие люди, — заговорил арестант и, торопливо прибавив: — игемон, — продолжал: — ничему не учились и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что путани-

ца эта будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной.

Наступило молчание. Теперь уже оба больные глаза тяжело глядели на арестанта.

— Повторяю тебе, но в последний раз: перестань притворяться сумасшедшим, разбойник, — произнес Пилат мягко и монотонно, — за тобою записано немного, но записанного достаточно, чтобы тебя повесить.

— Нет, нет, игемон, — весь напрягаясь в желании убедить, говорил арестованный, — ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил. Я его умолял: сожги ты бога ради свой пергамент! Но он вырвал его у меня из рук и убежал.

— Кто такой? — брезгливо спросил Пилат и тронул висок рукой.

— Левий Матвей, — охотно объяснил арестант, — он был сборщиком податей, и я с ним встретился впервые на дороге в Виффагии, там, где углом выходит фиговый сад, и разговорился с ним. Первоначально он отнесся ко мне неприязненно и даже оскорблял меня, то есть думал, что оскорбляет, называя меня собакой, — тут арестант усмехнулся, — я лично не вижу ничего дурного в этом звере, чтобы обижаться на это слово.

Секретарь перестал записывать и исподтишка бросил удивленный взгляд, но не на арестованного, а на прокуратора.

— ...однако, послушав меня, он стал смягчаться, — продолжал Иешуа, — наконец бросил деньги на дорогу и сказал, что пойдет со мною путешествовать...

Пилат усмехнулся одною щекой, оскалив желтые зубы, и промолвил, повернувшись всем туловищем к секретарю:

— О, город Ершалаим! Чего только не услышишь в нем. Сборщик податей, вы слышите, бросил деньги на дорогу!

Не зная, как ответить на это, секретарь счел нужным повторить улыбку Пилата.

— А он сказал, что деньги ему отныне стали ненавистны, — объяснил Иешуа странные действия Левия Матвея и добавил: — И с тех пор он стал моим спутником.

Все еще скалясь, прокуратор поглядел на арестованного, затем на солнце, неуклонно поднимающееся вверх над конными

статуями гипподрома, лежащего далеко внизу направо, и вдруг в какой-то тошной муке подумал о том, что проще всего было бы изгнать с балкона этого странного разбойника, произнеся только два слова: «Повесить его». Изгнать и конвой, уйти из колоннады внутрь дворца, велеть затемнить комнату, поваляться на ложе, потребовать холодной воды, жалобным голосом позвать собаку Бангá, пожаловаться ей на гемикранию. И мысль об яде вдруг соблазнительно мелькнула в больной голове прокуратора.

Он смотрел мутными глазами на арестованного и некоторое время молчал, мучительно вспоминая, зачем на утреннем безжалостном ершалаимском солнцепеке стоит перед ним арестант с обезображенным побоями лицом и какие еще никому не нужные вопросы ему придется задавать.

— Левий Матвей? — хриплым голосом спросил больной и закрыл глаза.

— Да, Левий Матвей, — донесся до него высокий, мучающий его голос.

— А вот что ты все-таки говорил про храм толпе на базаре?

Голос отвечавшего, казалось, колот Пилату в висок, был невыразимо мучителен, и этот голос говорил:

— Я, игемон, говорил о том, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины. Сказал так, чтобы было понятнее.

— Зачем же ты, бродяга, на базаре смущал народ, рассказывая про истину, о которой ты не имеешь представления? Что такое истина?

И тут прокуратор подумал: «О боги мои! Я спрашиваю его о чем-то ненужном на суде... Мой ум не служит мне больше...» И опять померещилась ему чаша с темною жидкостью. «Яду мне, яду!»

И вновь он услышал голос:

— Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе трудно даже глядеть на меня. И сейчас я невольно являюсь твоим палачом, что меня огорчает. Ты не можешь даже и думать о чем-нибудь и мечтаешь только о том, чтобы пришла твоя собака, единственное, по-видимому, существо, к которому ты привязан. Но мучения твои сейчас кончатся, голова пройдет.

Секретарь вытаращил глаза на арестанта и не дописал слова.

Пилат поднял мученические глаза на арестанта и увидел, что солнце уже довольно высоко стоит над гипподромом, что луч пробрался в колоннаду и подползает к стоптанным сандалиям Иешуа, что тот сторонится от солнца.

Тут прокуратор поднялся с кресла, сжал голову руками, и на желтоватом его бритом лице выразился ужас. Но он тотчас же подавил его своею волею и вновь опустил в кресло.

Арестант же тем временем продолжал свою речь, но секретарь ничего более не записывал, а только, вытянув шею, как гусь, старался не проронить ни одного слова.

— Ну вот, все и кончилось, — говорил арестованный, благожелательно поглядывая на Пилата, — и я чрезвычайно этому рад. Я советовал бы тебе, игемон, оставить на время дворец и погулять пешком где-нибудь в окрестностях, ну хотя бы в садах на Елеонской горе. Гроза начнется, — арестант повернулся, прищурился на солнце, — позже, к вечеру. Прогулка принесла бы тебе большую пользу, а я с удовольствием сопровождал бы тебя. Мне пришли в голову кое-какие новые мысли, которые могли бы, полагаю, показаться тебе интересными, и я охотно поделился бы ими с тобой, тем более что ты производишь впечатление очень умного человека.

Секретарь смертельно побледнел и уронил свиток на пол.

— Беда в том, — продолжал никем не останавливаемый связанный, — что ты слишком замкнут и окончательно потерял веру в людей. Ведь нельзя же, согласись, поместить всю свою привязанность в собаку. Твоя жизнь скудна, игемон, — и тут говорящий позволил себе улыбнуться.

Секретарь думал теперь только об одном, верить ли ему ушам своим или не верить. Приходилось верить. Тогда он постарался представить себе, в какую именно причудливую форму выльется гнев вспыльчивого прокуратора при этой неслыханной дерзости арестованного. И этого секретарь представить себе не мог, хотя и хорошо знал прокуратора.

Тогда раздался сорванный, хрипловатый голос прокуратора, по-латыни сказавшего:

— Развяжите ему руки.

Один из конвойных легионеров стукнул копьем, передал его другому, подошел и снял веревки с арестанта. Секретарь поднял

свиток, решил пока что ничего не записывать и ничему не удивляться.

— Сознайся, — тихо по-гречески спросил Пилат, — ты великий врач?

— Нет, прокуратор, я не врач, — ответил арестант, с наслаждением потирая измятую и опухшую багровую кисть руки.

Круто, исподлобья Пилат буравил глазами арестанта, и в этих глазах уже не было мути, в них появились всем знакомые искры.

— Я не спросил тебя, — сказал Пилат, — ты, может быть, знаешь и латинский язык?

— Да, знаю, — ответил арестант.

Краска выступила на желтоватых щеках Пилата, и он спросил по-латыни:

— Как ты узнал, что я хотел позвать собаку?

— Это очень просто, — ответил арестант по-латыни, — ты водил рукой по воздуху, — арестант повторил жест Пилата, — как будто хотел погладить, и губы...

— Да, — сказал Пилат.

Помолчали, потом Пилат задал вопрос по-гречески:

— Итак, ты врач?

— Нет, нет, — живо ответил арестант, — поверь мне, я не врач.

— Ну, хорошо. Если хочешь это держать в тайне, держи. К делу это прямого отношения не имеет. Так ты утверждаешь, что не призывал разрушить... или поджечь, или каким-либо иным способом уничтожить храм?

— Я, игемон, никого не призывал к подобным действиям, повторю. Разве я похож на слабоумного?

— О да, ты не похож на слабоумного, — тихо ответил прокуратор и улыбнулся какой-то страшной улыбкой, — так поклянись, что этого не было.

— Чем хочешь ты, чтобы я поклялся? — спросил, очень оживившись, развязанный.

— Ну, хотя бы жизнью твоею, — ответил прокуратор, — ею клясться самое время, так как она висит на волоске, знай это!

— Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил, игемон? — спросил арестант, — если это так, ты очень ошибаешься.

Пилат вздрогнул и ответил сквозь зубы:

— Я могу перерезать этот волосок.

— И в этом ты ошибаешься, — светло улыбаясь и заслоняясь рукой от солнца, возразил арестант, — согласишься, что перерезать волосок уж наверно может лишь тот, кто подвесил?

— Так, так, — улыбнувшись, сказал Пилат, — теперь я не сомневаюсь в том, что праздные зеваки в Ершалаиме ходили за тобою по пятам. Не знаю, кто подвесил твой язык, но подвешен он хорошо. Кстати, скажи: верно ли, что ты явился в Ершалаим через Сузские ворота верхом на осле, сопровождаемый толпою черни, кричавшей тебе приветствия как бы некоему пророку? — тут прокуратор указал на свиток пергамента.

Арестант недоуменно поглядел на прокуратора.

— У меня и осла-то никакого нет, игемон, — сказал он. — Пришел я в Ершалаим точно через Сузские ворота, но пешком, в сопровождении одного Левия Матвея, и никто мне ничего не кричал, так как никто меня тогда в Ершалаиме не знал.

— Не знаешь ли ты таких, — продолжал Пилат, не сводя глаз с арестанта, — некоего Дисмаса, другого — Гестаса и третьего — Вар-раввана?

— Этих добрых людей я не знаю, — ответил арестант.

— Правда?

— Правда.

— А теперь скажи мне, что это ты все время употребляешь слова «добрые люди»? Ты всех, что ли, так называешь?

— Всех, — ответил арестант, — злых людей нет на свете.

— Впервые слышу об этом, — сказал Пилат, усмехнувшись, — но, может быть, я мало знаю жизнь! Можете дальнейшее не записывать, — обратился он к секретарю, хотя тот и так ничего не записывал, и продолжал говорить арестанту: — В какой-нибудь из греческих книг ты прочел об этом?

— Нет, я своим умом дошел до этого.

— И ты проповедуешь это?

— Да.

— А вот, например, кентурион Марк, его прозвали Крысобоєм, — он — добрый?

— Да, — ответил арестант, — он, правда, несчастливый человек. С тех пор как добрые люди изуродовали его, он стал жесток и черств. Интересно бы знать, кто его искалечил?

— Охотно могу сообщить это, — отозвался Пилат, — ибо я был свидетелем этого. Добрые люди бросались на него, как собаки на

медведя. Германцы вцепились ему в шею, в руки, в ноги. Пехотный манипул попал в мешок, и если бы не врубилась с фланга кавалерийская турма, а командовал ею я, — тебе, философ, не пришлось бы разговаривать с Крысобоєм. Это было в бою при Идиставизо, в Долине Дев.

— Если бы с ним поговорить, — вдруг мечтательно сказал арестант, — я уверен, что он резко изменился бы.

— Я полагаю, — отозвался Пилат, — что мало радости ты доставил бы легату легиона, если бы вздумал разговаривать с кем-нибудь из его офицеров или солдат. Впрочем, этого и не случится, к общему счастью, и первый, кто об этом позаботится, буду я.

В это время в колоннаду стремительно влетела ласточка, сделала под золотым потолком круг, снизилась, чуть не задела острым крылом лица медной статуи в нише и скрылась за капителью колонны. Быть может, ей пришла мысль вить там гнездо.

В течение ее полета в светлой теперь и легкой голове прокуратора сложилась формула. Она была такова: игемон разобрал дело бродячего философа Иешуа, по кличке Га-Ноцри, и состава преступления в нем не нашел. В частности, не нашел ни малейшей связи между действиями Иешуа и беспорядками, происшедшими в Ершалаиме недавно. Бродячий философ оказался душевнобольным. Вследствие этого смертный приговор Га-Ноцри, вынесенный Малым Синедрионом, прокуратор не утверждает. Но ввиду того, что безумные, утопические речи Га-Ноцри могут быть причиною волнений в Ершалаиме, прокуратор удаляет Иешуа из Ершалаима и подвергает его заключению в Касарии Стратоновой на Средиземном море, то есть именно там, где резиденция прокуратора.

Оставалось это продиктовать секретарю.

Крылья ласточки фыркнули над самой головой игемона, птица метнулась к чаше фонтана и вылетела на волю. Прокуратор поднял глаза на арестанта и увидел, что возле того столбом загорелась пыль.

— Всё о нем? — спросил Пилат у секретаря.

— Нет, к сожалению, — неожиданно ответил секретарь и подал Пилату другой кусок пергамента.

— Что еще там? — спросил Пилат и нахмурился.

Прочитав поданное, он еще более изменился в лице. Темная ли кровь прилила к шее и лицу или случилось что-либо другое,

но только кожа его утратила желтизну, побурела, а глаза как будто провалились.

Опять-таки виновата была, вероятно, кровь, прилившая к вискам и застучавшая в них, только у прокуратора что-то случилось со зрением. Так, померещилось ему, что голова арестанта уплыла куда-то, а вместо нее появилась другая. На этой плешивой голове сидел редкозубый золотой венец; на лбу была круглая язва, разъедавшая кожу и смазанная мазью; запавший беззубый рот с отвисшей нижней капризной губой. Пилату показалось, что исчезли розовые колонны балкона и кровли Ершалаима вдали, внизу за садом, и все утонуло во-круг в густейшей зелени капрейских садов. И со слухом совершилось что-то странное — как будто вдали проиграли негромко и грозно трубы и очень явственно слышался носовой голос, надменно тянущий слова: «Закон об оскорблении величества...»

Мысли понеслись короткие, бессвязные и необыкновенные: «Погиб!», потом: «Погибли!..» И какая-то совсем нелепая среди них о каком-то долженствующем непременно быть — и с кем?! — бессмертии, причем бессмертие почему-то вызвало нестерпимую тоску.

Пилат напрягся, изгнал видение, вернулся взором на балкон, и опять перед ним оказались глаза арестанта.

— Слушай, Га-Ноцри, — заговорил прокуратор, глядя на Иешуа как-то странно: лицо прокуратора было грозно, но глаза тревожны, — ты когда-либо говорил что-нибудь о великом кесаре? Отвечай! Говорил?.. Или... не... говорил? — Пилат протянул слово «не» несколько больше, чем это полагается на суде, и послал Иешуа в своем взгляде какую-то мысль, которую как бы хотел внушить арестанту.

— Правду говорить легко и приятно, — заметил арестант.

— Мне не нужно знать, — придушенным, злым голосом отозвался Пилат, — приятно или неприятно тебе говорить правду. Но тебе придется ее говорить. Но, говоря, взвешивай каждое слово, если не хочешь не только неизбежной, но и мучительной смерти.

Никто не знает, что случилось с прокуратором Иудеи, но он позволил себе поднять руку, как бы заслоняясь от солнечного луча, и за этой рукой, как за щитом, послать арестанту какой-то намекающий взор.

— Итак, — говорил он, — отвечай, знаешь ли ты некоего Иуду из Кириафа, и что именно ты говорил ему, если говорил, о кесаре?

— Дело было так, — охотно начал рассказывать арестант, — позавчера вечером я познакомился возле храма с одним молодым человеком, который назвал себя Иудой из города Кириафа. Он пригласил меня к себе в дом в Нижнем Городе и угостил...

— Добрый человек? — спросил Пилат, и дьявольский огонь сверкнул в его глазах.

— Очень добрый и любознательный человек, — подтвердил арестант, — он выказал величайший интерес к моим мыслям, принял меня весьма радушно...

— Светильники зажег... — сквозь зубы в тон арестанту проговорил Пилат, и глаза его при этом мерцали.

— Да, — немного удивившись осведомленности прокуратора, продолжал Иешуа, — попросил меня высказать свой взгляд на государственную власть. Его этот вопрос чрезвычайно интересовал.

— И что же ты сказал? — спросил Пилат, — или ты ответишь, что ты забыл, что говорил? — но в тоне Пилата была уже безнадежность.

— В числе прочего я говорил, — рассказывал арестант, — что всякая власть является насилием над людьми и что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть.

— Далее!

— Далее ничего не было, — сказал арестант, — тут вбежали люди, стали вязать меня и повели в тюрьму.

Секретарь, стараясь не проронить ни слова, быстро чертил на пергаменте слова.

— На свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиверия! — сорванный и больной голос Пилата разорвался.

Прокуратор с ненавистью почему-то глядел на секретаря и конвой.

— И не тебе, безумный преступник, рассуждать о ней! — Тут Пилат вскричал: — Вывести конвой с балкона! — И, повернувшись к секретарю, добавил: — Оставьте меня с преступником наедине, здесь государственное дело.

Конвой поднял копы и, мерно стуча подкованными калигами, вышел с балкона в сад, а за конвоем вышел и секретарь.

Молчание на балконе некоторое время нарушала только песня воды в фонтане. Пилат видел, как вздувалась над трубочкой водяная тарелка, как отламывались ее края, как падали струйками.

Первым заговорил арестант:

— Я вижу, что совершилась какая-то беда из-за того, что я говорил с этим юношей из Кириафа. У меня, игемон, есть предчувствие, что с ним случится несчастье, и мне его очень жаль.

— Я думаю, — странно усмехнувшись, ответил прокуратор, — что есть еще кое-кто на свете, кого тебе следовало бы пожалеть более, чем Иуду из Кириафа, и кому придется гораздо хуже, чем Иуде! Итак, Марк Крысобой, холодный и убежденный палач, люди, которые, как я вижу, — прокуратор указал на изуродованное лицо Иешуа, — тебя били за твои проповеди, разбойники Дисмас и Гестас, убившие со своими присными четырех солдат, и, наконец, грязный предатель Иуда — все они добрые люди?

— Да, — ответил арестант.

— И настанет царство истины?

— Настанет, игемон, — убежденно ответил Иешуа.

— Оно никогда не настанет! — вдруг закричал Пилат таким страшным голосом, что Иешуа отшатнулся. Так много лет тому назад в Долине Дев кричал Пилат своим всадникам слова: «Руби их! Руби их! Великан Крысобой попался!» Он еще повысил сорванный командами голос, выкликая слова так, чтобы их слышали в саду: — Преступник! Преступник! Преступник!

А затем, понизив голос, он спросил:

— Иешуа Га-Ноцри, веришь ли ты в каких-нибудь богов?

— Бог один, — ответил Иешуа, — в него я верю.

— Так помолись ему! Покрепче помолись! Впрочем, — тут голос Пилата сел, — это не поможет. Жены нет? — почему-то тоскливо спросил Пилат, не понимая, что с ним происходит.

— Нет, я один.

— Ненавистный город, — вдруг почему-то пробормотал прокуратор и передернул плечами, как будто озяб, а руки потер, как бы обмывая их, — если бы тебя зарезали перед твоим свиданием с Иудой из Кириафа, право, это было бы лучше.

— А ты бы меня отпустил, игемон, — неожиданно попросил арестант, и голос его стал тревожен, — я вижу, что меня хотят убить.

Лицо Пилата исказилось судорогой, он обратился к Иешуа вспаленные, в красных жилках белки глаз и сказал:

— Ты полагаешь, несчастный, что римский прокуратор отпустит человека, говорившего то, что говорил ты? О боги, боги! Или ты думаешь, что я готов занять твое место? Я твоих мыслей не разделяю! И слушай меня: если с этой минуты ты произнесешь хотя бы одно слово, заговоришь с кем-нибудь, берегись меня! Повторяю тебе: берегись.

— Игемон...

— Молчать! — вскричал Пилат и бешеным взором проводил ласточку, опять впорхнувшую на балкон, — ко мне! — крикнул Пилат.

И когда секретарь и конвой вернулись на свои места, Пилат объявил, что утверждает смертный приговор, вынесенный в собрании Малого Синедриона преступнику Иешуа Га-Ноцри, и секретарь записал сказанное Пилатом.

<...>

Глава 12

Черная магия и ее разоблачение

Маленький человек в дырявом желтом котелке и с грушевидным малиновым носом, в клетчатых брюках и лакированных ботинках выехал на сцену Варьете на обыкновенном двухколесном велосипеде. Под звуки фокстрота он сделал круг, а затем испустил победный вопль, от чего велосипед поднялся на дыбы. Проехавшись на одном заднем колесе, человечек перевернулся вверх ногами, ухитрился на ходу отвинтить переднее колесо и пустить его за кулисы, а затем продолжал путь на одном колесе, вертя педали руками.

На высокой металлической мачте с седлом наверху и с одним колесом выехала полная блондинка в трико и юбочке, усеянной серебряными звездами, и стала ездить по кругу. Встречаясь с ней, человечек издавал приветственные крики и ногой снимал с головы котелок.

Наконец, прикатил малютка лет восьми со старческим лицом и зашнырял между взрослыми на крошечной двухколеске, к которой был приделан громадный автомобильный гудок.

Сделав несколько петель, вся компания под тревожную дробь барабана из оркестра подкатилась к самому краю сцены, и зрители первых рядов ахнули и откинулись, потому что публике показалось, что вся тройка со своими машинами грохнется в оркестр.

Но велосипеды остановились как раз в тот момент, когда передние колеса уже грозили соскользнуть в бездну на головы музыкантам. Велосипедисты с громким криком «Ап!» соскочили с машин и раскланялись, причем блондинка посылая публике воздушные поцелуи, а малютка протрубил смешной сигнал на своем гудке.

Рукоплескания потрясли здание, голубой занавес пошел с двух сторон и закрыл велосипедистов, зеленые огни с надписью «Выход» у дверей погасли, и в паутине трапещей под куполом, как солнце, зажглись белые шары. Наступил антракт перед последним отделением.

Единственным человеком, которого ни в коей мере не интересовали чудеса велосипедной техники семьи Джулли, был Григорий Данилович Римский. В полном одиночестве он сидел в своем кабинете, кусал тонкие губы, и по лицу его то и дело проходила судорога. К необыкновенному исчезновению Лиходеева присоединилось совершенно непредвиденное исчезновение администратора Варенухи.

Римскому было известно, куда он ушел, но он ушел и... не пришел обратно! Римский пожимал плечами и шептал сам себе: — Но за что?!

И, странное дело: такому деловому человеку, как финдиректор, проще всего, конечно, было позвонить туда, куда отправился Варенуха, и узнать, что с тем стряслось, а между тем он до десяти часов вечера не мог принудить себя сделать это.

В десять же, совершив над собою форменное насилие, Римский снял трубку с аппарата и тут убедился в том, что телефон его мертв. Курьер доложил, что и остальные аппараты в здании испортились. Это, конечно, неприятное, но не сверхъестественное событие почему-то окончательно потрясло финдиректора, но в то же время и обрадовало: отвалилась необходимость звонить.

В то время как над головой финдиректора вспыхнула и замигала красная лампочка, возвещавшая начало антракта, вошел

курьер и сообщил, что приехал иностранный артист. Финдиректора почему-то передернуло, и, став уж совсем мрачнее тучи, он отправился за кулисы, чтобы принимать гастролера, так как более принимать было некому.

В большую уборную из коридора, где уже трещали сигнальные звонки, под разными предложениями заглядывали любопытные. Тут были фокусники в ярких халатах и в чалмах, конькобежец в белой вязаной куртке, бледный от пудры рассказчик и гример.

Прибывшая знаменитость поразила всех своим невиданным по длине фраком дивного покроя и тем, что явилась в черной полумаске. Но удивительнее всего были двое спутников черного мага: длинный клетчатый в треснувшем пенсне и черный жирный кот, который, войдя в уборную на задних лапах, совершенно непринужденно сел на диван, щурясь на оголенные гримировальные лампы.

Римский постарался изобразить на лице улыбку, от чего оно сделалось кислым и злым, и раскланялся с безмолвным магом, сидящим рядом с котом на диване. Рукопожатия не было. Зато развязный клетчатый сам отрекомендовался финдиректору, назвав себя «ихний помощник». Это обстоятельство удивило финдиректора, и опять-таки неприятно: в контракте решительно ничего не упоминалось ни о каком помощнике.

Весьма принужденно и сухо Григорий Данилович осведомился у свалившегося ему на голову клетчатого о том, где аппаратура артиста.

— Алмаз вы наш небесный, драгоценнейший господин директор, — дребезжащим голосом ответил помощник мага, — наша аппаратура всегда при нас. Вот она! Эй, цвей, дрей! — И, повертев перед глазами Римского узловатыми пальцами, внезапно вытащил из-за уха у кота собственные Римского золотые часы с цепочкой, которые до этого были у финдиректора в жилетном кармане под застегнутым пиджаком и с продетой в петлю цепочкой.

Римский невольно ухватился за живот, присутствующие ахнули, а гример, заглядывающий в дверь, одобрительно крикнул.

— Ваши часики? Прошу получить, — развязно улыбаясь, сказал клетчатый и на грязной ладони подал растерянному Римскому его собственность.

— С таким в трамвай не садись, — тихо и весело шепнул рассказчик примеру.

Но кот отмочил штуку почище номера с чужими часами. Неожиданно поднявшись с дивана, он на задних лапах подошел к подзеркальному столику, передней лапой вытащил пробку из графина, налил воды в стакан, выпил ее, водрузил пробку на место и гримировальной тряпкой вытер усы.

Тут никто даже и не ахнул, только рты раскрыли, а гример восхищенно шепнул:

— Ай, класс!

Тут в третий раз тревожно загремели звонки, и все, возбужденные и предвкушающие интересный номер, повалили из уборной вон.

Через минуту в зрительном зале погасли шары, вспыхнула и дала красноватый отблеск на низ занавеса рампа, и в освещенной щели занавеса предстал перед публикой полный, веселый как дитя человек с бритым лицом, в помятом фраке и несвежем белье. Это был хорошо знакомый всей Москве конферансье Жорж Бенгальский.

— Итак, граждане, — заговорил Бенгальский, улыбаясь младенческой улыбкой, — сейчас перед вами выступит... — тут Бенгальский прервал сам себя и заговорил с другими интонациями: — Я вижу, что количество публики к третьему отделению еще увеличилось. У нас сегодня половина города! Как-то на днях встречаю я приятеля и говорю ему: «Отчего не заходишь к нам? Вчера у нас была половина города». А он мне отвечает: «А я живу в другой половине!» — Бенгальский сделал паузу, ожидая, что произойдет взрыв смеха, но так как никто не засмеялся, то он продолжал: — ...Итак, выступит знаменитый иностранный артист мосье Воланд с сеансом черной магии! Ну, мы-то с вами понимаем, — тут Бенгальский улыбнулся мудрой улыбкой, — что ее вовсе не существует на свете и что она не что иное, как суеверие, а просто маэстро Воланд в высокой степени владеет техникой фокуса, что и будет видно из самой интересной части, то есть разоблачения этой техники, а так как мы все как один и за технику, и за ее разоблачение, то попросим господина Воланда!

Произнеся всю эту ахинею, Бенгальский сцепил обе руки ладонь к ладони и приветственно замахал ими в прорез занавеса, от чего тот, тихо шумя, и разошелся в стороны.

Выход мага с его длинным помощником и котом, вступившим на сцену на задних лапах, очень понравился публике.

— Кресло мне, — негромко приказал Воланд, и в ту же секунду, неизвестно как и откуда, на сцене появилось кресло, в которое и сел маг, — скажи мне, любезный Фагот, — осведомился Воланд у клетчатого гаера, носившего, по-видимому, и другое наименование, кроме «Коровьев», — как по-твоему, ведь московское народонаселение значительно изменилось?

Маг поглядел на затихшую, пораженную появлением кресла из воздуха публику.

— Точно так, мессир, — негромко ответил Фагот-Коровьев.

— Ты прав. Горожане сильно изменились внешне, я говорю, как и сам город, впрочем. О костюмах нечего уж и говорить, но появились эти... как их... трамваи, автомобили...

— Автобусы, — почтительно подсказал Фагот.

Публика внимательно слушала этот разговор, полагая, что он является прелюдией к магическим фокусам. Кулисы были забиты артистами и рабочими сцены, и между их лицами виднелось напряженное, бледное лицо Римского.

Физиономия Бенгальского, приютившегося сбоку сцены, начала выражать недоумение. Он чуть-чуть приподнял бровь и, воспользовавшись паузой, заговорил:

— Иностраннный артист выражает свое восхищение Москвой, выросшей в техническом отношении, а также и москвичами, — тут Бенгальский дважды улыбнулся, сперва партеру, а потом галерее.

Воланд, Фагот и кот повернули головы в сторону конферансье.

— Разве я выразил восхищение? — спросил маг у Фагота.

— Никак нет, мессир, вы никакого восхищения не выражали, — ответил тот.

— Так что же говорит этот человек?

— А он попросту соврал! — звучно, на весь театр сообщил клетчатый помощник и, обратясь к Бенгальскому, прибавил: — Поздравляю вас, гражданин, совравши!

С галереи плеснуло смешком, а Бенгальский вздрогнул и выпучил глаза.

— Но меня, конечно, не столько интересуют автобусы, телефоны и прочая...

— Аппаратура! — подсказал клетчатый.

— Совершенно верно, благодарю, — медленно говорил маг тяжелым басом, — сколько гораздо более важный вопрос: изменились ли эти горожане внутренне?

— Да, это важнейший вопрос, сударь.

В кулисах стали переглядываться и пожимать плечами, Бенгальский стоял красный, а Римский был бледен. Но тут, как бы отгадав начинающуюся тревогу, маг сказал:

— Однако мы заговорились, дорогой Фагот, а публика начинает скучать. Покажи нам для начала что-нибудь простенькое.

Зал облегченно шевельнулся. Фагот и кот разошлись в разные стороны по рампе. Фагот щелкнул пальцами, залихватски крикнул:

— Три, четыре! — поймал из воздуха колоду карт, стасовал ее и лентой пустил коту. Кот ленту перехватил и пустил ее обратно. Атласная змея фыркнула, Фагот раскрыл рот, как птенец, и всю ее, карту за картой, заглотал.

После этого кот раскланялся, шаркнув правой задней лапой, и вызвал неимоверный аплодисмент.

— Класс, класс! — восхищенно кричали за кулисами.

А Фагот тыкнул пальцем в партер и объявил:

— Колода эта таперича, уважаемые граждане, находится в седьмом ряду у гражданина Парчевского, как раз между трехрублевкой и повесткой о вызове в суд по делу об уплате алиментов гражданке Зельковой.

В партере зашевелились, начали привставать, и, наконец, какой-то гражданин, которого, точно, звали Парчевским, весь пунцовый от изумления, извлек из бумажника колоду и стал тыкать ею в воздух, не зная, что с ней делать.

— Пусть она останется у вас на память! — прокричал Фагот. — Недаром же вы говорили вчера за ужином, что кабы не покер, то жизнь ваша в Москве была бы совершенно несносна.

— Стара штука, — послышалось с галерки, — этот в партере из той же компании.

— Вы полагаете? — заорал Фагот, прищуриваясь на галерею, — в таком случае, и вы в одной шайке с нами, потому что она у вас в кармане!

На галерке произошло движение, и послышался радостный голос:

— Верно! У него! Тут, тут... Стой! Да это червонцы!

Сидящие в партере повернули головы. На галерее какой-то смятенный гражданин обнаружил у себя в кармане пачку, перевязанную банковским способом и с надписью на обложке: «Одна тысяча рублей».

Соседи наваливались на него, а он в изумлении ковырял ногтем обложку, стараясь дознаться, настоящие ли это червонцы или какие-нибудь волшебные.

— Ей-богу, настоящие! Червонцы! — кричали с галерки радостно.

— Сыграйте и со мной в такую колоду, — весело попросил какой-то толстяк в середине партера.

— Авек plezier! — отозвался Фагот, — но почему же с вами одним? Все примут горячее участие! — и скомандовал: — Прошу глядеть вверх!.. Раз! — в руке у него оказался пистолет, он крикнул: — Два! — Пистолет вздернулся кверху. Он крикнул: — Три! — сверкнуло, бухнуло, и тотчас же из-под купола, ныряя между трапециями, начали падать в зал белые бумажки.

Они вертелись, их разносило в стороны, забивало на галерею, откидывало в оркестр и на сцену. Через несколько секунд денежный дождь, все густея, достиг кресел, и зрители стали бумажки ловить.

Поднимались сотни рук, зрители сквозь бумажки глядели на освещенную сцену и видели самые верные и праведные водяные знаки. Запах также не оставлял никаких сомнений: это был ни с чем по прелести не сравнимый запах только что отпечатанных денег. Сперва веселье, а потом изумление охватило весь театр. Всюду гудело слово «червонцы, червонцы», слышались вскрикивания, «ах, ах!» и веселый смех. Кое-кто уже ползал в проходе, шаря под креслами. Многие стояли на сиденьях, ловя вертялые, капризные бумажки.

На лицах милиции помаленьку стало выражаться недоумение, а артисты без церемонии начали высовываться из кулис.

В бельэтаже послышался голос: «Ты чего хватаешь? Это моя! Ко мне летела!» и другой голос: «Да ты не толкайся, я тебя сам так толкану!» И вдруг послышалась плюха. Тотчас в бельэтаже появился шлем милиционера, из бельэтажа кого-то повели.

Вообще возбуждение возрастало, и неизвестно, во что бы все это вылилось, если бы Фагот не прекратил денежный дождь, внезапно дунув в воздух.

Двое молодых людей, обменявшись многозначительным и веселым взглядом, снялись с мест и прямехонько направились в буфет. В театре стоял гул, у всех зрителей возбужденно блестели глаза. Да, да, неизвестно, во что бы все это вылилось, если бы Бенгальский не нашел в себе силы и не шевельнулся бы. Стараясь покрепче овладеть собой, он по привычке потер руки и голосом наибольшей звучности заговорил так:

— Вот, граждане, мы с вами видели сейчас случай так называемого массового гипноза. Чисто научный опыт, как нельзя лучше доказывающий, что никаких чудес и магии не существует. Попросим же маэстро Воланда разоблачить нам этот опыт. Сейчас, граждане, вы увидите, как эти, якобы денежные, бумажки исчезнут так же внезапно, как и появились.

Тут он заплодировал, но в совершенном одиночестве, и на лице при этом у него играла уверенная улыбка, но в глазах этой уверенности отнюдь не было, и скорее в них выражалась мольба.

Публике речь Бенгальского не понравилась. Наступило полное молчание, которое было прервано клетчатым Фаготом.

— Это опять-таки случай так называемого вранья, — объявил он громким козлиным тенором, — бумажки, граждане, настоящие!

— Bravo! — отрывисто рявкнул бас где-то в высоте.

— Между прочим, этот, — тут Фагот указал на Бенгальского, — мне надоед. Суется все время, куда его не спрашивают, ложными замечаниями портит сеанс! Что бы нам такое с ним сделать?

— Голову ему оторвать! — сказал кто-то сурово на галерке.

— Как вы говорите? Ась? — тотчас отозвался на это безобразное предложение Фагот, — голову оторвать? Это идея! Бегемот! — закричал он коту, — делай! Эй, цвей, дрей!!

И произошла невиданная вещь. Шерсть на черном коте встала дыбом, и он раздрающе мяукнул. Затем сжался в комок и, как пантера, махнул прямо на грудь Бенгальскому, а оттуда перескочил на голову. Урча, пухлыми лапами кот вцепился в жидкую шевелюру конференсье и, дико взыв, в два поворота сорвал эту голову с полной шеи.

Две с половиной тысячи человек в театре вскрикнули как один. Кровь фонтанами из разорванных артерий на шее ударила вверх и залила и манишку и фрак. Безглавое тело как-то нелепо заглобо ногами и село на пол. В зале послышались истерические кри-

ки женщин. Кот передал голову Фаготу, тот за волосы поднял ее и показал публике, и голова эта отчаянно крикнула на весь театр:

— Доктора!

— Ты будешь в дальнейшем молоть всякую чушь? — грозно спросил Фагот у плачущей головы.

— Не буду больше! — прохрипела голова.

— Ради бога, не мучьте его! — вдруг, покрывая гам, прозвучал из ложи женский голос, и маг повернул в сторону этого голоса лицо.

— Так что же, граждане, простить его, что ли? — спросил Фагот, обращаясь к залу.

— Простить! Простить! — раздались вначале отдельные и преимущественно женские голоса, а затем они слились в один хор с мужскими.

— Как прикажете, мессир? — спросил Фагот у замаскированного.

— Ну что же, — задумчиво отозвался тот, — они — люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны... ну, что ж... и милосердие иногда стучится в их сердца... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... квартирный вопрос только испортил их... — и громко приказал: — Наденьте голову.

Кот, прицелившись поаккуратнее, нахлобучил голову на шею, и она точно села на свое место, как будто никуда и не отлучалась. И главное, даже шрама на шее никакого не осталось. Кот лапами обмахнул фрак Бенгальского и пластрон, и с них исчезли следы крови. Фагот поднял сидящего Бенгальского на ноги, сунул ему в карман фрака пачку червонцев и выпроводил со сцены со словами:

— Катитесь отсюда! Без вас веселей.

Бессмысленно оглядываясь и шатаясь, конференсье добрел только до пожарного поста, и там с ним сделалось худо. Он жалобно вскрикнул:

— Голова моя, голова!

В числе прочих к нему бросился Римский. Конференсье плакал, ловил в воздухе что-то руками, бормотал:

— Отдайте мою голову! Голову отдайте! Квартиру возьмите, картины возьмите, только голову отдайте!

Курьер побежал за врачом. Бенгальского пробовали уложить на диван в уборной, но он стал отбиваться, сделался буен. Пришлось вызывать карету. Когда несчастного конференсье увезли, Римский побежал обратно на сцену и увидел, что на ней происходят новые чудеса. Да, кстати, в это ли время или немножко раньше, но только маг, вместе со своим полинялым креслом, исчез со сцены, причем надо сказать, что публика совершенно этого не заметила, увлеченная теми чрезвычайными вещами, которые развернул на сцене Фагот.

А Фагот, спровадив пострадавшего конференсье, объявил публике так:

— Таперича, когда этого надоедалу сплывили, давайте откроем дамский магазин!

И тотчас пол сцены покрылся персидскими коврами, возникли громадные зеркала, с боков освещенные зеленоватыми трубками, а меж зеркал витрины, и в них зрители в веселом ошеломлении увидели разных цветов и фасонов парижские женские платья. Это в одних витринах, а в других появились сотни дамских шляп, и с перышками, и без перышек, и с пряжками, и без них, сотни же туфель — черных, белых, желтых, кожаных, атласных, замшевых, и с ремешками, и с камушками. Между туфель появились футляры, и в них заиграли светом блестящие грани хрустальных флаконов. Горы сумочек из антилоповой кожи, из замши, из шелка, а между ними — целые груды чеканных золотых продолговатых футлярчиков, в которых бывает губная помада.

Черт знает откуда взявшаяся рыжая девица в вечернем черном туалете, всем хорошая девица, кабы не портил ее причудливый шрам на шее, заулыбалась у витрин хозяйской улыбкой.

Фагот, сладко ухмыляясь, объявил, что фирма совершенно бесплатно производит обмен старых дамских платьев и обуви на парижские модели и парижскую же обувь. То же самое он добавил относительно сумочек, духов и прочего.

Кот начал шаркать задней лапой, передней и в то же время выделявая какие-то жесты, свойственные швейцарам, открывающим дверь.

Девица хоть и с хрипотцой, но сладко запела, картавя, что-то малопонятное, но, судя по женским лицам в партере, очень соблазнительное:

— Герлэн, Шанель номер пять, Мицуко, Нарсис Нуар, вечерние платья, платья коктейль...

Фагот извивался, кот кланялся, девица открывала стеклянные витрины.

— Прошу! — орал Фагот, — без всякого стеснения и церемоний!

Публика волновалась, но идти на сцену пока никто не решался. Но наконец какая-то брюнетка вышла из десятого ряда партера и, улыбаясь так, что ей, мол, решительно все равно и в общем наплевать, прошла и по боковому трапу поднялась на сцену.

— Bravo! — вскричал Фагот, — приветствую первую посетительницу! Бегемот, кресло! Начнем с обуви, мадам.

Брюнетка села в кресло, а Фагот тотчас вывалил на ковер перед нею целую грудую туфель.

Брюнетка сняла свою правую туфлю, примерила сиреневую, потопала в ковер, осмотрела каблук.

— А они не будут жать? — задумчиво спросила она.

На это Фагот обиженно воскликнул:

— Что вы, что вы! — и кот от обиды мяукнул.

— Я беру эту пару, мосье, — сказала брюнетка с достоинством, надевая и вторую туфлю.

Старые туфли брюнетки были выброшены за занавеску, и туда же проследовала и сама она в сопровождении рыжей девицы и Фогота, несшего на плечиках несколько модельных платьев. Кот суетился, помогал и для пущей важности повесил себе на шею сантиметр.

Через минуту из-за занавески вышла брюнетка в таком платье, что по всему партеру прокатился вздох. Храбрая женщина, до удивительности похорошевшая, остановилась у зеркала, повела обнаженными плечами, потрогала волосы на затылке и изогнулась, стараясь заглянуть себе за спину.

— Фирма просит вас принять это на память, — сказал Фагот и подал брюнетке открытый футляр с флаконом.

— Мерси, — надменно ответила брюнетка и пошла по трапу в партер. Пока она шла, зрители вскакивали, прикасались к футляру.

И вот тут прорвало начисто, и со всех сторон на сцену пошли женщины. В общем возбужденном говоре, смешках и вздохах слышался мужской голос: «Я не позволяю тебе!» — и женский: «Деспот и мещанин, не ломайте мне руку!» Женщины исчезали

за занавеской, оставляли там свои платья и выходили в новых. На табуретках с золочеными ножками сидел целый ряд дам, энергично топая в ковер заново обутыми ногами. Фагот становился на колени, орудовал роговой надевалкой, кот, изнемогая под грудями сумочек и туфель, таскался от витрины к табуреткам и обратно, девица с изуродованной шеей то появлялась, то исчезала и дошла до того, что уж полностью стала тарыхтеть по-французски, и удивительно было то, что ее с полуслова понимали все женщины, даже те из них, что не знали ни одного французского слова.

Общее изумление вызвал мужчина, затесавшийся на сцену. Он объявил, что у супруги его грипп и что поэтому он просит передать ей что-нибудь через него. В доказательство же того, что он действительно женат, гражданин готов был предъявить паспорт. Заявление заботливого мужа было встречено хохотом, Фагот проорал, что верит, как самому себе, и без паспорта, и вручил гражданину две пары шелковых чулок, кот от себя добавил футлярчик с помадой.

Опоздавшие женщины рвались на сцену, со сцены текли счастливицы в балльных платьях, в пижамах с драконами, в строгих визитных костюмах, в шляпочках, надвинутых на одну бровь.

Тогда Фагот объявил, что за поздним временем магазин закрывается до завтрашнего вечера ровно через одну минуту, и неимоверная суeta поднялась на сцене. Женщины наскоро, без всякой примерки, хватали туфли. Одна, как буря, ворвалась за занавеску, сбросила там свой костюм и овладела первым, что подвернулось, — шелковым, в громадных букетах, халатом и, кроме того, успела подцепить два футляра духов.

Ровно через минуту грянул пистолетный выстрел, зеркала исчезли, провалились витрины и табуретки, ковер растаял в воздухе так же, как и занавеска. Последней исчезла высоченная гора старых платьев и обуви, и стала сцена опять строга, пуста и гола.

И вот здесь в дело вмешалось новое действующее лицо.

Приятный, звучный и очень настойчивый баритон слышался из ложи № 2:

— Все-таки желательно, гражданин артист, чтобы вы незамедлительно разоблачили бы перед зрителями технику ваших фокусов, в особенности фокус с денежными бумажками. Желательно также и возвращение конферансье на сцену. Судьба его волнует зрителей.

Баритон принадлежал не кому иному, как почетному гостю сегодняшнего вечера Аркадию Аполлоновичу Семплеярову, председателю акустической комиссии московских театров.

Аркадий Аполлонович помещался в ложе с двумя дамами: пожилой, дорого и модно одетой, и другой — молоденькой и хорошенькой, одетой попроще. Первая из них, как вскоре выяснилось при составлении протокола, была супругой Аркадия Аполлоновича, а вторая — дальней родственницей его, начинающей и подающей надежды актрисой, приехавшей из Саратова и проживающей в квартире Аркадия Аполлоновича и его супруги.

— Пардон! — отозвался Фагот, — я извиняюсь, здесь разоблачать нечего, все ясно.

— Нет, виноват! Разоблачение совершенно необходимо. Без этого ваши блестящие номера оставят тягостное впечатление. Зрительская масса требует объяснения.

— Зрительская масса, — перебил Семплеярова наглый гаер, — как будто ничего не заявляла? Но, принимая во внимание ваше глубокоуважаемое желание, Аркадий Аполлонович, я, так и быть, произведу разоблачение. Но для этого разрешите еще один крохотный номерок?

— Отчего же, — покровительственно ответил Аркадий Аполлонович, — но непременно с разоблачением!

— Слушаюсь, слушаюсь. Итак, позвольте вас спросить, где вы были вчера вечером, Аркадий Аполлонович?

При этом неуместном и даже, пожалуй, хамском вопросе лицо Аркадия Аполлоновича изменилось, и весьма сильно изменилось.

— Аркадий Аполлонович вчера вечером был на заседании акустической комиссии, — очень надменно заявила супруга Аркадия Аполлоновича, — но я не понимаю, какое отношение это имеет к магии.

— Уй, мадам! — подтвердил Фагот, — натурально, вы не понимаете. Насчет же заседания вы в полном заблуждении. Выехав на упомянутое заседание, каковое, к слову говоря, и назначено-то вчера не было, Аркадий Аполлонович отпустил своего шофера у здания акустической комиссии на Чистых прудах (весь театр затих), а сам в автобусе поехал на Елоховскую улицу в гости к артистке разъездного районного театра Милице Андреевне Покобатько и провел у нее в гостях около четырех часов.

— Ой! — страдальчески воскликнул кто-то в полной тишине.

Молодая же родственница Аркадия Аполлоновича вдруг расхохоталась низким и страшным смехом.

— Все понятно! — воскликнула она, — и я давно уже подозревала это. Теперь мне ясно, почему эта бездарность получила роль Луизы!

И, внезапно размахнувшись коротким и толстым лиловым зонтиком, она ударила Аркадия Аполлоновича по голове.

Подлый же Фагот, и он же Корovieв, прокричал:

— Вот, почтенные граждане, один из случаев разоблачения, которого так назойливо добивался Аркадий Аполлонович!

— Как смела ты, негодяйка, коснуться Аркадия Аполлоновича? — грозно спросила супруга Аркадия Аполлоновича, поднимаясь в ложе во весь свой гигантский рост.

Второй короткий прилив сатанинского смеха овладел молодой родственницей.

— Уж кто-кто, — ответила она, хохоча, — а уж я-то смею коснуться! — и второй раз раздался сухой треск зонтика, отскочившего от головы Аркадия Аполлоновича.

— Милиция! Взять ее! — таким страшным голосом прокричала супруга Семплеярова, что у многих похолодели сердца.

А тут еще кот выскочил к рампе и вдруг рывкнул на весь театр человеческим голосом:

— Сеанс окончен! Маэстро! Урежьте марш!!

Ополоумевший дирижер, не отдавая себе отчета в том, что делает, взмахнул палочкой, и оркестр не заиграл, и даже не грянул, и даже не хватил, а именно, по омерзительному выражению кота, урезал какой-то невероятный, ни на что не похожий по развязности своей, марш.

На мгновенье почудилось, что будто слышаны были некогда, под южными звездами, в кафешантане, какие-то мало понятные, полуслепые, но разудалые слова этого марша:

Его превосходительство
Любил домашних птиц
И брал под покровительство
Хорошеньких девиц!!!

А может быть, не было никаких этих слов, а были другие на эту же музыку, какие-то неприличные крайне. Важно не это, а важно то, что в Варьете после всего этого началось что-то вроде столпотворения вавилонского. К семплеяровской ложе бежала милиция, на барьер лезли любопытные, слышались адские взрывы хохота, бешеные крики, заглушаемые золотым звоном тарелок из оркестра.

И видно было, что сцена внезапно опустела и что надувало Фагот, равно как и наглый котяра Бегемот, растаяли в воздухе, исчезли, как раньше исчез маг в кресле с полинявшей обивкой.

Часть вторая

Глава 24

Извлечение мастера

<...>

Веселый ужин продолжался. Свечи оплывали в канделябрах, по комнате волнами распространялось сухое, душистое тепло от камина. Наевшуюся Маргариту охватило чувство блаженства. Она глядела, как сизые кольца от сигары Азazelло уплывали в камин и как кот ловит их на конец шпаги. Ей никуда не хотелось уходить, хотя и было, по ее расчетам, уже поздно. Судя по всему, время подходило к шести утра. Воспользовавшись паузой, Маргарита обратилась к Воланду и робко сказала:

— Пожалуй, мне пора... Поздно.

— Куда же вы спешите? — спросил Воланд вежливо, но сухо-вато. Остальные промолчали, делая вид, что увлечены сигарными дымными кольцами.

— Да, пора, — совсем смутившись от этого, повторила Маргарита и обернулась, как будто ища накидку или плащ. Ее нагота вдруг стала стеснять ее. Она поднялась из-за стола. Воланд молча снял с кровати свой вытертый и засаленный халат, а Коро-вьев набросил его Маргарите на плечи.

— Благодарю вас, мессир, — чуть слышно сказала Маргарита и вопросительно поглядела на Воланда. Тот в ответ улыб-

нулся ей вежливо и равнодушно. Черная тоска как-то сразу подкатила к сердцу Маргариты. Она почувствовала себя обманутой. Никакой награды за все ее услуги на балу никто, по видимому, ей не собирался предлагать, как никто ее и не удерживал. А между тем ей совершенно ясно было, что идти ей отсюда больше некуда. Мимолетная мысль о том, что придется вернуться в особняк, вызвала в ней внутренний взрыв отчаяния. Попросить, что ли, самой, как искушающе советовал Азazelло в Александровском саду? «Нет, ни за что», — сказала она себе.

— Всего хорошего, мессир, — произнесла она вслух, а сама подумала: «Только бы выбраться отсюда, а там уж я дойду до реки и утоплюсь».

— Сядьте-ка, — вдруг повелительно сказал Воланд. Маргарита изменилась в лице и села. — Может быть, что-нибудь хотите сказать на прощанье?

— Нет, ничего, мессир, — с гордостью ответила Маргарита, — кроме того, что если я еще нужна вам, то я готова охотно исполнить все, что вам будет угодно. Я ничуть не устала и очень веселилась на балу. Так что, если бы он и продолжался еще, я охотно бы предоставила мое колено для того, чтобы к нему прикладывались тысячи висельников и убийц, — Маргарита глядела на Воланда, как сквозь пелену, глаза ее наполнялись слезами.

— Верно! Вы совершенно правы! — гулко и страшно прокричал Воланд, — так и надо!

— Так и надо! — как эхо, повторила свита Воланда.

— Мы вас испытывали, — продолжал Воланд, — никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут! Садитесь, гордая женщина! — Воланд сорвал тяжелый халат с Маргариты, и опять она оказалась сидящей рядом с ним на постели. — Итак, Марго, — продолжал Воланд, смягчая свой голос, — чего вы хотите за то, что сегодня вы были у меня хозяйкой? Чего желаете за то, что провели этот бал нагой? Во что цените ваше колено? Каковы убытки от моих гостей, которых вы сейчас наименовали висельниками? Говорите! И теперь уж говорите без стеснения: ибо предложил я.

Сердце Маргариты застучало, она тяжело вздохнула, стала соображать что-то.

— Ну, что же, смелее! — поощрял Воланд, — будите свою фантазию, пришпоривайте ее! Уж одно присутствие при сцене убийства этого отпетого негодяя-барона стоит того, чтобы человека наградили, в особенности если этот человек — женщина. Ну-с?

Дух перехватило у Маргариты, и она уж хотела выговорить заветные и приготовленные в душе слова, как вдруг побледнела, раскрыла рот и вытаращила глаза. «Фрида! Фрида! Фрида! — прокричал ей в уши чей-то назойливый, молящий голос. — Меня зовут Фрида!» И Маргарита, спотыкаясь на словах, заговорила:

— Так я, стало быть, могу попросить об одной вещи?

— Потребовать, потребовать, моя донна, — отвечал Воланд, понимая улыбаясь, — потребовать одной вещи!

Ах, как ловко и отчетливо Воланд подчеркнул, повторяя слова самой Маргариты — «одной вещи»!

Маргарита вздохнула еще раз и сказала:

— Я хочу, чтобы Фриде перестали подавать тот платок, которым она удушила своего ребенка.

Кот возвел глаза к небу и шумно вздохнул, но ничего не сказал, очевидно, помня накрученное на балу ухо.

— Ввиду того, — заговорил Воланд, усмехнувшись, — что возможность получения вами взятки от этой дуры Фриды совершенно, конечно, исключена — ведь это было бы несовместимо с вашим королевским достоинством, — я уж не знаю, что и делать. Остается, пожалуй, одно — обзавестись тряпками и заткнуть ими все щели моей спальни!

— Вы о чем говорите, мессир? — изумилась Маргарита, выслушав эти действительно непонятные слова.

— Совершенно с вами согласен, мессир, — вмешался в разговор кот, — именно тряпками, — и в раздражении кот стукнул лапой по столу.

— Я о милосердии говорю, — объяснил свои слова Воланд, не спуская с Маргариты огненного глаза. — Иногда совершенно неожиданно и коварно оно пролезает в самые узенькие щелки. Вот я и говорю о тряпках.

— И я об этом же говорю! — воскликнул кот и на всякий случай отклонился от Маргариты, прикрыв вымазанными в розовом креме лапами свои острые уши.

— Пошел вон, — сказал ему Воланд.

— Я еще кофе не пил, — ответил кот, — как же это я уйду? Неужели, мессир, в праздничную ночь гостей за столом разделять на два сорта? Одни — первой, а другие, как выражался этот грустный скупердяй-буфетчик, второй свежести?

— Молчи, — приказал ему Воланд и, обратившись к Маргарите, спросил: — Вы, судя по всему, человек исключительной доброты? Высокоморальный человек?

— Нет, — с силой ответила Маргарита, — я знаю, что с вами можно разговаривать только откровенно, и откровенно вам скажу: я легкомысленный человек. Я попросила вас за Фриду только потому, что имела неосторожность подать ей твердую надежду. Она ждет, мессир, она верит в мою мощь. И если она останется обманутой, я попаду в ужасное положение. Я не буду иметь покоя всю жизнь. Ничего не поделаешь! Так уж вышло.

— А, — сказал Воланд, — это понятно.

— Так вы сделаете это? — тихо спросила Маргарита.

— Ни в коем случае, — ответил Воланд, — дело в том, дорогая королева, что тут произошла маленькая путаница. Каждое ведомство должно заниматься своими делами. Не спорю, наши возможности довольно велики, они гораздо больше, чем полагают некоторые, не очень зоркие, люди...

— Да, уж гораздо больше, — не утерпел и вставил кот, видимо гордящийся этими возможностями.

— Молчи, черт тебя возьми! — сказал ему Воланд и продолжал, обращаясь к Маргарите: — Но просто, какой смысл в том, чтобы сделать то, что полагается делать другому, как я выразился, ведомству? Итак, я этого делать не буду, а вы сделайте сами.

— А разве по-моему исполнится?

Азazelло иронически скосил кривой глаз на Маргариту и незаметно покрутил рыжей головой и фыркнул.

— Да делайте же, вот мучение, — пробормотал Воланд и, повернув глобус, стал всматриваться в какую-то деталь на нем, по-видимому, занимаясь и другим делом во время разговора с Маргаритой.

— Ну, Фрида, — подсказал Коровьев.

— Фрида! — пронзительно крикнула Маргарита.

Дверь распахнулась, и растрепанная, нагая, но уже без всяких признаков хмеля женщина с испугленными глазами вбежала в комнату и простерла руки к Маргарите, а та сказала величественно:

— Тебя прощают. Не будут больше подавать платок.

Послышался вопль Фриды, она упала на пол ничком и простерлась крестом перед Маргаритой. Воланд махнул рукой, и Фрида пропала из глаз.

— Благодарю вас, прощайте, — сказала Маргарита и поднялась.

— Ну что ж, Бегемот, — заговорил Воланд, — не будем наживать на поступке непрактичного человека в праздничную ночь, — он повернулся к Маргарите, — итак, это не в счет, я ведь ничего не делал. Что вы хотите для себя?

Наступило молчание, и прервал его Коровьев, который зашептал в ухо Маргарите:

— Алмазная донна, на сей раз советую вам быть поблагодарнее! А то ведь фортуна может и ускользнуть!

— Я хочу, чтобы мне сейчас же, сию секунду, вернули моего любовника, мастера, — сказала Маргарита, и лицо ее исказилось судорогой.

Тут в комнату ворвался ветер, так что пламя свечей в канделябрах легло, тяжелая занавеска на окне отодвинулась, распахнулось окно, и в далекой высоте открылась полная, но не утренняя, а полночная луна. От подоконника на пол лег зеленоватый платок ночного света, и в нем появился ночной Иванушкин гость, называющий себя мастером. Он был в своем больничном одеянии — в халате, туфлях и черной шапочке, с которой не расставался. Небритое лицо его дергалось гримасой, он сумасшедше-пугливо косился на огни свечей, а лунный поток кипел вокруг него.

Маргарита сразу узнала его, простонала, всплеснула руками и подбежала к нему. Она целовала его в лоб, в губы, прижималась к колючей щеке, и долго сдерживаемые слезы теперь бежали ручьями по ее лицу. Она произносила только одно слово, бессмысленно повторяя его:

— Ты... ты, ты...

Мастер отстранил ее от себя и глухо сказал:

— Не плачь, Марго, не терзай меня. Я тяжело болен. — Он ухватился за подоконник рукою, как бы собираясь вскочить на него и бежать, оскалил зубы, всматриваясь в сидящих, и закричал: — Мне страшно, Марго! У меня опять начались галлюцинации.

Рыдания душили Маргариту, она шептала, давясь словами:

— Нет, нет, нет, не бойся ничего! Я с тобою! Я с тобою!

Коровьев ловко и незаметно подпихнул к мастеру стул, и тот опустился на него, а Маргарита бросилась на колени, прижалась к боку больного и так затихла. В своем волнении она не заметила, что нагота ее как-то внезапно кончилась, на ней теперь был шелковый черный плащ. Больной опустил голову и стал смотреть в землю угрюмыми больными глазами.

— Да, — заговорил после молчания Воланд, — его хорошо отделили. — Он приказал Коровьеву: — Дай-ка, рыцарь, этому человеку чего-нибудь выпить.

Маргарита спрашивала мастера дрожащим голосом:

— Выпей, выпей! Ты боишься? Нет, нет, верь мне, что тебе помогут.

Больной взял стакан и выпил то, что было в нем, но рука его дрогнула, и опустевший стакан разбился у его ног.

— К счастью! К счастью! — шептал Коровьев Маргарите, — смотрите, он уже приходит в себя.

Действительно, взор больного стал уже не так дик и беспокоен.

— Но это ты, Марго? — спросил лунный гость.

— Не сомневайся, это я, — ответила Маргарита.

— Еще! — приказал Воланд.

После того как мастер осушил второй стакан, его глаза стали живыми и осмысленными.

— Ну вот, это другое дело, — сказал Воланд, прищуриваясь, — теперь поговорим. Кто вы такой?

— Я теперь никто, — ответил мастер, и улыбка искривила его рот.

— Откуда вы сейчас?

— Из дома скорби. Я — душевнобольной, — ответил пришелец.

Этих слов Маргарита не вынесла и заплакала вновь. Потом, вытерев глаза, она вскричала:

— Ужасные слова! Ужасные слова! Он мастер, мессир, я вас предупреждаю об этом. Вылечите его, он стоит этого.

— Вы знаете, с кем вы сейчас говорите, — спросил у пришедшего Воланд, — у кого вы находитесь?

— Знаю, — ответил мастер, — моим соседом в сумасшедшем доме был этот мальчик, Иван Бездомный. Он рассказал мне о вас.

— Как же, как же, — отозвался Воланд, — я имел удовольствие встретиться с этим молодым человеком на Патриарших прудах. Он едва самого меня не свел с ума, доказывая мне, что меня нету! Но вы-то верите, что это действительно я?

— Приходится верить, — сказал пришелец, — но, конечно, гораздо спокойнее было бы считать вас плодом галлюцинации. Извините меня, — спохватившись, прибавил мастер.

— Ну, что же, если спокойнее, то и считайте, — вежливо ответил Воланд.

— Нет, нет, — испуганно говорила Маргарита и трясла мастера за плечо, — опомнись! Перед тобою действительно он!

Кот ввязался и тут:

— А я действительно похож на галлюцинацию. Обратите внимание на мой профиль в лунном свете, — кот полез в лунный столб и хотел что-то еще говорить, но его попросили замолчать, и он, ответив: — Хорошо, хорошо, готов молчать. Я буду молчаливой галлюцинацией, — замолчал.

— А скажите, почему Маргарита вас называет мастером? — спросил Воланд.

Тот усмехнулся и сказал:

— Это простительная слабость. Она слишком высокого мнения о том романе, который я написал.

— О чем роман?

— Роман о Понтии Пилате.

Тут опять закачались и запрыгали языки свечей, задрезжала посуда на столе, Воланд рассмеялся громовым образом, но никого не испугал и смехом этим не удивил. Бегемот почему-то заплодировал.

— О чем, о чем? О ком? — заговорил Воланд, перестав смеяться. — Вот теперь? Это потрясающе! И вы не могли найти другой темы? Дайте-ка посмотреть, — Воланд протянул руку ладонью вверх.

— Я, к сожалению, не могу этого сделать, — ответил мастер, — потому что я сжег его в печке.

— Простите, не поверю, — ответил Воланд, — этого быть не может. Рукописи не горят. — Он повернулся к Бегемоту и сказал: — Ну-ка, Бегемот, дай сюда роман.

Кот моментально вскочил со стула, и все увидели, что он сидел на толстой пачке рукописей. Верхний экземпляр кот с поклоном подал Воланду. Маргарита задрожала и закричала, волнуясь вновь до слез:

— Вот она, рукопись! Вот она!

Она кинулась к Воланду и восхищенно добавила:

— Всесилен, всесилен!

Воланд взял в руки поданный ему экземпляр, повернул его, отложил в сторону и молча, без улыбки уставился на мастера. Но тот неизвестно отчего впал в тоску и беспокойство, поднялся со стула, заломил руки и, обращаясь к далекой луне, вздрагивая, начал бормотать:

— И ночью при луне мне нет покоя, зачем потревожили меня? О боги, боги...

Маргарита вцепилась в больничный халат, прижалась к нему и сама начала бормотать в тоске и в слезах:

— Боже, почему же тебе не помогает лекарство?

— Ничего, ничего, ничего, — шептал Корovieв, извиваясь возле мастера, — ничего, ничего... Еще стаканчик, и я с вами за компанию.

И стаканчик подмигнул, блеснул в лунном свете, и помог этот стаканчик. Мастера усадили на место, и лицо больного приняло спокойное выражение.

— Ну, теперь все ясно, — сказал Воланд и постучал длинным пальцем по рукописи.

— Совершенно ясно, — подтвердил кот, забыв свое обещание стать молчаливой галлюцинацией, — теперь главная линия этого опуса ясна мне насквозь. Что ты говоришь, Азazelло? — обратился он к молчавшему Азazelло.

— Я говорю, — прогнул тот, — что тебя хорошо было бы утопить.

— Будь милосерден, Азazelло, — ответил ему кот, — и не наводи моего повелителя на эту мысль. Поверь мне, что всякую ночь

я являлся бы тебе в таком же лунном одеянии, как и бедный мастер, и кивал бы тебе, и манил бы тебя за собою. Каково бы тебе было, о Азazelло?

— Ну, Маргарита, — опять вступил в разговор Воланд, — говорите же все, что вам нужно?

Глаза Маргариты вспыхнули, и она умоляюще обратилась к Воланду:

— Позвольте мне с ним пошептаться?

Воланд кивнул головой, и Маргарита, припав к уху мастера, что-то пошептала ему. Слышно было, как тот ответил ей:

— Нет, поздно. Ничего больше не хочу в жизни. Кроме того, чтобы видеть тебя. Но тебе опять советую — оставь меня. Ты пропадешь со мной.

— Нет, не оставлю, — ответила Маргарита и обратилась к Воланду: — Прошу опять вернуть нас в подвал в переулке на Арбате, и чтобы лампа загорелась, и чтобы все стало, как было.

Тут мастер засмеялся и, обхватив давно развившуюся кудрявую голову Маргариты, сказал:

— Ах, не слушайте бедную женщину, мессир. В этом подвале уже давно живет другой человек, и вообще не бывает так, чтобы все стало, как было. — Он приложил щеку к голове своей подруги, обнял Маргариту и стал бормотать: — Бедная, бедная...

— Не бывает, вы говорите? — сказал Воланд. — Это верно. Но мы попробуем. — И он сказал: — Азazelло!

Тотчас с потолка обрушился на пол растерянный и близкий к умоисступлению гражданин в одном белье, но почему-то с чемоданом в руках и в кепке. От страха этот человек трясся и приседал.

— Могарыч? — спросил Азazelло у свалившегося с неба.

— Алоизий Могарыч, — ответил тот, дрожа.

— Это вы, прочитав статью Латунского о романе этого человека, написали на него жалобу с сообщением о том, что он хранит у себя нелегальную литературу? — спросил Азazelло.

Новоявившийся гражданин посинел и залился слезами раскаяния.

— Вы хотели переехать в его комнаты? — как можно задушевнее прогнул Азazelло.

Шипение разъяренной кошки послышалось в комнате, и Маргарита, завывая:

— Знай ведьму, знай! — вцепилась в лицо Алоизия Могарыча ногтями.

Произошло смятение.

— Что ты делаешь? — страдальчески прокричал мастер, — Марго, не позорь себя!

— Протестую, это не позор, — орал кот.

Маргариту оттащил Коровьев.

— Я ванну пристроил, — стуча зубами, кричал окровавленный Могарыч и в ужасе понес какую-то околесицу, — одна побелка... купорос...

— Ну, вот и хорошо, что ванну пристроил, — одобрительно сказал Азazelло, — ему надо брать ванны, — и крикнул: — Вон!

Тогда Могарыча перевернуло кверху ногами и вынесло из спальни Воланда через открытое окно.

Мастер вытаращил глаза, шепча:

— Однако это будет, пожалуй, почище того, что рассказывал Иван! — совершенно потрясенный, он оглядывался и наконец сказал коту: — А простите... это ты... это вы... — он сбился, не зная, как обращаться к коту, на «ты» или на «вы», — вы — тот самый кот, что сядились в трамвай?

— Я, — подтвердил польщенный кот и добавил: — Приятно слышать, что вы так вежливо обращаетесь с котом. Котам обычно почему-то говорят «ты», хотя ни один кот никогда ни с кем не пил брудершафта.

— Мне кажется почему-то, что вы не очень-то кот, — нерешительно ответил мастер, — меня все равно в больнице хватятся, — робко добавил он Воланду.

— Ну, чего они будут хвататься! — успокоил Коровьев, и какие-то бумаги и книги оказались у него в руках, — история болезни вашей?

— Да.

Коровьев швырнул историю болезни в камин.

— Нет документа, нет и человека, — удовлетворенно говорил Коровьев, — а это — домовая книга вашего застройщика?

— Да-а...

— Кто прописан в ней? Алоизий Могарыч? — Коровьев дунул в страницу домово́й книги, — раз, и нету его, и, прошу заметить — не было. А если застройщик удивится, скажите, что ему Алоизий снился. Могарыч? Какой такой Могарыч? Никакого Могарыча не было. — Тут прошнурованная книга испарилась из рук Коровьева. — И вот — она уже в столе у застройщика.

— Вы правильно сказали, — говорил мастер, пораженный чистотой работы Коровьева, — что раз нет документа, нету и человека. Вот именно меня-то и нет, у меня нет документа.

— Я извиняюсь, — вскричал Коровьев, — это именно галлюцинация, вот он ваш документ, — и Коровьев подал мастеру документ. Потом он завел глаза и сладко прошептал Маргарите: — А вот и ваше имущество, Маргарита Николаевна, — и он подал Маргарите тетрадь с обгоревшими краями, засохшую розу, фотографию и, с особенной бережностью, сберегательную книжку, — десять тысяч, как вы изволили внести, Маргарита Николаевна. Нам чужого не надо.

— У меня скорее лапы отсохнут, чем я прикоснусь к чужому, — напыжившись, воскликнул кот, танцуя на чемодане, чтобы умять в него все экземпляры злополучного романа.

— И ваш документик также, — продолжал Коровьев, подавая Маргарите документ, и затем, обратившись к Воланду, почтительно доложил: — Все, мессир!

— Нет, не все, — ответил Воланд, отрываясь от глобуса. — Куда прикажете, моя дорогая донна, девать вашу свиту? Мне она лично не нужна.

Тут в открытую дверь вбежала Наташа, как была нагая, всплеснула руками и закричала Маргарите:

— Будьте счастливы, Маргарита Николаевна! — Она закивала головой мастеру и опять обратилась к Маргарите: — Я ведь все знала, куда вы ходите.

— Домработницы все знают, — заметил кот, многозначительно поднимая лапу, — это ошибка думать, что они слепые.

— Что ты хочешь, Наташа? — спросила Маргарита, — возвращайся в особняк.

— Душенька, Маргарита Николаевна, — умоляюще заговорила Наташа и стала на колени, — упросите их, — она покосилась

на Воланда, — чтоб меня ведьмой оставили. Не хочу я больше в особняк! Ни за инженера, ни за техника не найду! Мне господин Жак вчера на балу сделали предложение. — Наташа разжала кулак и показала какие-то золотые монеты.

Маргарита обратила вопросительный взор к Воланду. Тот кивнул головой. Тогда Наташа кинулась на шею Маргарите, звонко ее расцеловала и, победно вскрикнув, улетела в окно.

На месте Наташи оказался Николай Иванович. Он приобрел свой прежний человеческий облик, но был чрезвычайно мрачен и даже, пожалуй, раздражен.

— Вот кого с особенным удовольствием отпускаю, — сказал Воланд, с отвращением глядя на Николая Ивановича, — с исключительным удовольствием, настолько он здесь лишний.

— Я очень прошу выдать мне удостоверение, — заговорил, дико оглядываясь, Николай Иванович, но с большим упорством, — о том, где я провел предыдущую ночь.

— На какой предмет? — сурово спросил кот.

— На предмет представления милиции и супруге, — твердо сказал Николай Иванович.

— Удостоверений мы обычно не даем, — ответил кот, насупившись, — но для вас, так и быть, сделаем исключение.

И не успел Николай Иванович опомниться, как голая Гелла уже сидела за машинкой, а кот диктовал ей:

— Сим удостоверяю, что предъявитель сего Николай Иванович провел упомянутую ночь на балу у сатаны, будучи привлечен туда в качестве перевозочного средства... поставь, Гелла, скобку! В скобке пиши «боров». Подпись — Бегемот.

— А число? — пискнул Николай Иванович.

— Чисел не ставим, с числом бумага станет недействительной, — отозвался кот, подмахнул бумагу, откуда-то добыл печать, по всем правилам подышал на нее, оттиснул на бумаге слово «уплочено» и вручил бумагу Николаю Ивановичу. После этого Николай Иванович бесследно исчез, а на месте его появился новый неожиданный человек.

— Это еще кто? — брезгливо спросил Воланд, рукой заслоняясь от света свечей.

Варенуха повесил голову, вздохнул и тихо сказал:

— Отпустите обратно. Не могу быть вампиром. Ведь я тогда Римского едва насмерть с Геллой не уходил! А я не кровожадный. Отпустите.

— Это что еще за бред? — спросил, морща лицо, Воланд. — Какой такой Римский? Что это еще за чепуха?

— Не извольте беспокоиться, мессир, — отозвался Азazelло и обратился к Варенухе: — Хамить не надо по телефону. Лгать не надо по телефону. Понятно? Не будете больше этим заниматься?

От радости все помутилось в голове Варенухи, лицо его засияло, и он, не помня, что говорит, забормотал:

— Истинным... то есть я хочу сказать, ваше ве... сейчас же после обеда... — Варенуха прижимал руки к груди, с мольбой глядел на Азazelло.

— Ладно, домой, — ответил тот, и Варенуха растаял.

— Теперь все оставьте меня одного с ними, — приказал Воланд, указывая на мастера и на Маргариту.

Приказание Воланда было исполнено мгновенно. После некоторого молчания Воланд обратился к мастеру:

— Так, стало быть, в арбатский подвал? А кто же будет писать? А мечтания, вдохновение?

— У меня больше нет никаких мечтаний и вдохновения тоже нет, — ответил мастер, — ничто меня вокруг не интересует, кроме нее, — он опять положил руку на голову Маргариты, — меня сломали, мне скучно, и я хочу в подвал.

— А ваш роман, Пилат?

— Он мне ненавистен, этот роман, — ответил мастер, — я слишком много испытал из-за него.

— Я умоляю тебя, — жалобно попросила Маргарита, — не говори так. За что же ты меня терзаешь? Ведь ты знаешь, что я всю жизнь вложила в эту твою работу. — Маргарита добавила еще, обратившись к Воланду: — Не слушайте его, мессир, он слишком замучен.

— Но ведь надо же что-нибудь описывать? — говорил Воланд, — если вы исчерпали этого прокуратора, ну, начните изображать хотя бы этого Алоизия.

Мастер улыбнулся.

— Этого Лапшённикова не напечатает, да, кроме того, это и неинтересно.

— А чем же вы будете жить? Ведь придется нищенствовать.

— Охотно, охотно, — ответил мастер, притянул к себе Маргариту, обнял ее за плечи и прибавил: — Она образумится, уйдет от меня...

— Не думаю, — сквозь зубы сказал Воланд и продолжал: — Итак, человек, сочинивший историю Понтия Пилата, уходит в подвал, в намерении расположиться там у лампы и нищенствовать?

Маргарита отделилась от мастера и заговорила очень горячо:

— Я сделала все, что могла, и я нашептала ему самое соблазнительное. А он отказался от этого.

— То, что вы ему нашептали, я знаю, — возразил Воланд, — но это не самое соблазнительное. А вам скажу, — улыбнувшись, обратился он к мастеру, — что ваш роман вам принесет еще сюрпризы.

— Это очень грустно, — ответил мастер.

— Нет, нет, это не грустно, — сказал Воланд, — ничего страшного уже не будет. Ну-с, Маргарита Николаевна, все сделано. Имеете ли вы ко мне какую-нибудь претензию?

— Что вы, о, что вы, мессир!

— Так возьмите же это от меня на память, — сказал Воланд и вынул из-под подушки небольшую золотую подкову, усыпанную алмазами.

— Нет, нет, нет, с какой же стати!

— Вы хотите со мной поспорить? — улыбнувшись, спросил Воланд.

Маргарита, так как в плаще у нее не было кармана, уложила подкову в салфетку и затянула ее узлом. Тут что-то ее изумило. Она оглянулась на окно, в котором сияла луна, и сказала:

— А вот чего я не понимаю... Что же, это все полночь да полночь, а ведь давно уже должно быть утро?

— Праздничную полночь приятно немного и задержать, — ответил Воланд. — Ну, желаю вам счастья.

Маргарита молитвенно протянула обе руки к Воланду, но не посмела приблизиться к нему и тихо воскликнула:

— Прощайте! Прощайте!

— До свидания, — сказал Воланд.

И Маргарита в черном плаще, мастер в больничном халате вышли в коридор ювелиршиной квартиры, в котором горела свеча и где их дожидалась свита Воланда.

<...>

Глава 32

Прощение и вечный приют

Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки, он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна <успокоит его>.

Волшебные черные кони и те утомились и несли своих всадников медленно, и неизбежная ночь стала их догонять. Чувя ее за свою спину, притих даже неугомонный Бегемот и, вцепившись в седло когтями, летел молчаливый и серьезный, распушив свой хвост. Ночь начала закрывать черным платком леса и луга, ночь зажигала печальные огонечки где-то далеко внизу, теперь уже неинтересные и ненужные ни Маргарите, ни мастеру, чужие огоньки. Ночь обгоняла кавалькаду, сеялась на нее сверху и выбрасывала то там, то тут в загрустившем небе белые пятнышки звезд.

Ночь густела, летела рядом, хватала скачущих за плащи и, содрав их с плеч, разоблачала обманы. И когда Маргарита, обдуваемая прохладным ветром, открывала глаза, она видела, как меняется облик всех летящих к своей цели. Когда же навстречу им из-за края леса начала выходить багровая и полная луна, все обманы исчезли, свалилась в болото, утонула в туманах колдовская нестойкая одежда.

Вряд ли теперь узнали бы Коровьева-Фагота, самозванного переводчика при таинственном и не нуждающемся ни в каких переводах консультанте, в том, кто теперь летел непосредственно рядом с Воландом по правую руку подруги мастера. На месте того, кто в драной цирковой одежде покинул Воробьевы горы под именем Коровьева-Фагота, теперь скакал, тихо звеня золотою цепью повода, темно-фиолетовый рыцарь с мрачайшим и никогда не улыбающимся лицом. Он уперся подбородком в грудь, он не глядел на луну, он не интересовался землею под собою, он думал о чем-то своем, летя рядом с Воландом.

— Почему он так изменился? — спросила тихо Маргарита под свист ветра у Воланда.

— Рыцарь этот когда-то неудачно пошутил, — ответил Воланд, поворачивая к Маргарите свое лицо с тихо горящим глазом, — его каламбур, который он сочинил, разговаривая о свете и тьме, был не совсем хорош. И рыцарю пришлось после этого прошутить немного больше и дольше, нежели он предполагал. Но сегодня такая ночь, когда сводятся счета. Рыцарь свой счет оплатил и закрыл!

Ночь оторвала и пушистый хвост у Бегемота, содрала с него шерсть и расшвыряла ее клочья по болотам. Тот, кто был котом, потешавшим князя тьмы, теперь оказался худеньким юношей, демоном-пажом, лучшим шутом, какой существовал когда-либо в мире. Теперь притих и он и летел беззвучно, подставив свое молодое лицо под свет, льющийся от луны.

Сбоку всех летел, блистая сталью доспехов, Азazelло. Луна изменила и его лицо. Исчез бесследно нелепый безобразный клык, и кривоглазие оказалось фальшивым. Оба глаза Азazelло были одинаковые, пустые и черные, а лицо белое и холодное. Теперь Азazelло летел в своем настоящем виде, как демон безводной пустыни, демон-убийца.

Себя Маргарита видеть не могла, но она хорошо видела, как изменился мастер. Волосы его белели теперь при луне и сзади собрались в косу, и она летела по ветру. Когда ветер отдувал плащ от ног мастера, Маргарита видела на ботфортах его то потухающие, то загорающиеся звездочки шпор. Подобно юноше-демону, мастер летел, не сводя глаз с луны, но улыбался ей, как будто знакомой хорошо и любимой, и что-то, по приобретенной в комнате № 118-й привычке, сам себе бормотал.

И, наконец, Воланд летел тоже в своем настоящем обличье. Маргарита не могла бы сказать, из чего сделан повод его коня, и думала, что возможно, что это лунные цепочки и самый конь — только глыба мрака, и грива этого коня — туча, а шпоры всадника — белые пятна звезд.

Так летели в молчании долго, пока и сама местность внизу не стала меняться. Печальные леса утонули в земном мраке и увлекли за собою и тусклые лезвия рек. Внизу появились и стали от-

блескивать валуны, а между ними зачернели провалы, в которые не проникал свет луны.

Воланд осадил своего коня на каменистой безрадостной плоской вершине, и тогда всадники двинулись шагом, слушая, как кони их подковами давят кремни и камни. Луна заливала площадку зелено и ярко, и Маргарита скоро разглядела в пустынной местности кресло и в нем белую фигуру сидящего человека. Возможно, что этот сидящий был глух или слишком погружен в размышление. Он не слышал, как содрогалась каменистая земля под тяжестью коней, и всадники, не тревожа его, приблизились к нему.

Луна хорошо помогала Маргарите, светила лучше, чем самый лучший электрический фонарь, и Маргарита видела, что сидящий, глаза которого казались слепыми, коротко потирает свои руки и эти самые незрячие глаза вперяет в диск луны. Теперь уж Маргарита видела, что рядом с тяжелым каменным креслом, на котором блестят от луны какие-то искры, лежит темная, громадная остроухая собака и так же, как ее хозяин, беспокойно глядит на луну.

У ног сидящего валяются черепки разбитого кувшина и протирается невысыхающая черно-красная лужа.

Всадники остановили своих коней.

— Ваш роман прочитали, — заговорил Воланд, поворачиваясь к мастеру, — и сказали только одно, что он, к сожалению, не окончен. Так вот, мне хотелось показать вам вашего героя. Около двух тысяч лет сидит он на этой площадке и спит, но когда приходит полная луна, как видите, его терзает бессонница. Она мучает не только его, но его верного сторожа, собаку. Если верно, что трусость — самый тяжкий порок, то, пожалуй, собака в нем не виновата. Единственно, чего боялся храбрый пес, это грозы. Ну что ж, тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит.

— Что он говорит? — спросила Маргарита, и совершенно спокойное ее лицо подернулось дымкой сострадания.

— Он говорит, — раздался голос Воланда, — одно и то же, он говорит, что и при луне ему нет покоя и что у него плохая должность. Так говорит он всегда, когда не спит, а когда спит, то видит одно и то же — лунную дорогу, и хочет пойти по ней и разговаривать с арестантом Га-Ноцри, потому что, как он утверждает,

он чего-то не договорил тогда, давно, четырнадцатого числа весеннего месяца нисана. Но, увы, на эту дорогу ему выйти почему-то не удастся, и к нему никто не приходит. Тогда, что же поделаешь, приходится разговаривать ему с самим собою. Впрочем, нужно же какое-нибудь разнообразие, и к своей речи о луне он нередко прибавляет, что более всего в мире ненавидит свое бессмертие и неслыханную славу. Он утверждает, что он охотно бы поменялся своею участью с оборванным бродягой Левием Матвеем.

— Двенадцать тысяч лун за одну луну когда-то, не слишком ли это много? — спросила Маргарита.

— Повторяется история с Фридой? — сказал Воланд, — но, Маргарита, здесь не тревожьте себя. Все будет правильно, на этом построен мир.

— Отпустите его, — вдруг пронзительно крикнула Маргарита так, как когда-то кричала, когда была ведьмой, и от этого крика сорвался камень в горах и полетел по уступам в бездну, оглашая горы грохотом. Но Маргарита не могла сказать, был ли это грохот падения или грохот сатанинского смеха. Как бы то ни было, Воланд смеялся, поглядывая на Маргариту, и говорил:

— Не надо кричать в горах, он все равно привык к обвалам, и это его не встревожит. Вам не надо просить за него, Маргарита, потому что за него уже попросил тот, с кем он так стремится разговаривать, — тут Воланд опять повернулся к мастеру и сказал: — Ну что же, теперь ваш роман вы можете кончить одною фразой!

Мастер как будто бы этого ждал уже, пока стоял неподвижно и смотрел на сидящего прокуратора. Он сложил руки рупором и крикнул так, что эхо запрыгало по безлюдным и безлесым горам:

— Свободен! Свободен! Он ждет тебя!

Горы превратили голос мастера в гром, и этот же гром их разрушил. Проклятые скалистые стены упали. Осталась только площадка с каменным креслом. Над черной бездной, в которую ушли стены, загорелся необъятный город с царствующими над ним сверкающими идолами над пышно разросшимся за много тысяч этих лун садом. Прямо к этому саду протянулась долгожданная прокуратором лунная дорога, и первым по ней

кинулся бежать остроухий пес. Человек в белом плаще с кровавым подбоем поднялся с кресла и что-то прокричал хриплым, сорванным голосом. Нельзя было разобрать, плачет ли он или смеется, и что он кричит. Видно было только, что вслед за своим верным стражем по лунной дороге стремительно побежал и он.

— Мне туда, за ним? — спросил беспокойно мастер, тронув поводья.

— Нет, — ответил Воланд, — зачем же гнаться по следам того, что уже окончено?

— Так, значит, туда? — спросил мастер, повернулся и указал назад, туда, где соткался в тылу недавно покинутый город с монастырскими пряничными башнями, с разбитым вдребезги солнцем в стекле.

— Тоже нет, — ответил Воланд, и голос его сгустился и потек над скалами, — романтический мастер! Тот, кого так жаждет видеть выдуманный вами герой, которого вы сами только что отпустили, прочел ваш роман. — Тут Воланд повернулся к Маргарите: — Маргарита Николаевна! Нельзя не поверить в то, что вы старались выдумать для мастера наилучшее будущее, но, право, то, что я предлагаю вам, и то, о чем просил Иешуа за вас же, за вас — еще лучше. Оставьте их вдвоем, — говорил Воланд, склоняясь со своего седла к седлу мастера и указывая вслед ушедшему прокуратору, — не будем им мешать. И, может быть, до чего-нибудь они договорятся, — тут Воланд махнул рукой в сторону Ершалаима, и он погас.

— И там тоже, — Воланд указал в тыл, — что делать вам в подвальчике? — Тут потухло сломанное солнце в стекле. — Зачем? — продолжал Воланд убедительно и мягко, — о, трижды романтический мастер, неужто вы не хотите днем гулять со своею подругой под вишнями, которые начинают зацветать, а вечером слушать музыку Шуберта? Неужели ж вам не будет приятно писать при свечах гусиным пером? Неужели вы не хотите, подобно Фаусту, сидеть над ретортой в надежде, что вам удастся вылепить нового гомункула? Туда, туда. Там ждет уже вас дом и старый слуга, свечи уже горят, а скоро они потухнут, потому что вы немедленно встретите рассвет. По этой дороге, мастер, по этой. Прощайте! Мне пора.

— Прощайте! — одним криком ответили Воланду Маргарита и мастер. Тогда черный Воланд, не разбирая никакой дороги, кинулся в провал, и вслед за ним, шумя, обрушилась его свита. Ни скал, ни площадки, ни лунной дороги, ни Ершалаима не стало вокруг. Пропали и черные кони. Мастер и Маргарита увидели обещанный рассвет. Он начинался тут же, непосредственно после полуночной луны. Мастер шел со своею подругой в блеске первых утренних лучей через каменистый мшистый мостик. Он пересек его. Ручей остался позади верных любовников, и они шли по песчаной дороге.

— Слушай беззвучие, — говорила Маргарита мастеру, и песок шуршал под ее босыми ногами, — слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни, — тишиной. Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград, он подымается к самой крыше. Вот твой дом, вот твой вечный дом. Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит. Они будут тебе играть, они будут петь тебе, ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи. Ты будешь засыпать, надевши свой засаленный и вечный колпак, ты будешь засыпать с улыбкой на губах. Сон укрепит тебя, ты станешь рассуждать мудро. А прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я.

Так говорила Маргарита, идя с мастером по направлению к вечному их дому, и мастеру казалось, что слова Маргариты струятся так же, как струился и шептал оставленный позади ручей, и память мастера, беспокойная, исколотая иглами память стала потухать. Кто-то отпускал на свободу мастера, как сам он только что отпустил им созданного героя. Этот герой ушел в бездну, ушел безвозвратно, прощенный в ночь на воскресенье сын короля-звездочета, жестокий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат.

<...>

1929—1940

Вопросы и задания

1. Что представляет собой исторический фон, на котором развивается действие романа «Белая гвардия»? Как соотносятся между собой мир дома Турбиных и жизнь города, охваченного стихией смутного времени? Что внутренне отделяет представителей русского офицерства от людей типа Тальберга и инженера Лисовича?

2. Какова сюжетно-композиционная роль сна Алексея Турбина в начале романа («...Во сне явился к нему маленького роста кошмар в брюках в крупную клетку...»)?

3. Какова роль сцены в Александровской гимназии (ч. I, гл. 7) в понимании причин исторического поражения белой гвардии? Какое звучание в общем строе романа обретает тема личного подвига, нравственного выбора лучших представителей «старой» России? Что отличает и что роднит Алексея и Николку Турбиных, полковника Малышева и Най-Турса, Мышлаевского и Шервинского?

4. Какое место в ряду героев занимают «невоенные» персонажи — Елена Тальберг и житомирский кузен Лариосик? Какие традиции русской классической литературы нашли свое воплощение в характерах и коллизиях «Белой гвардии»?

5. В чем смысл финала романа «Белая гвардия» — «многослойной главы-эпилога, подытоживающей судьбы героев и судьбу России»? Какова роль христианских образов и мотивов в художественной структуре романа? (См. статью учебника «Дом Турбиных как библейский ковчег на волнах потопа», раздел «Михаил Афанасьевич Булгаков».)

6. Проанализируйте рассказ М. Булгакова «Красная корона», используя вопросы и задания рубрики учебника «Самостоятельный анализ текста» (раздел «Михаил Афанасьевич Булгаков»).

7. В чем своеобразие «трехмирной» структуры романа «Мастер и Маргарита»? Как взаимодействуют в нем различные пласты повествования — легендарно-исторический, «московский» и мистический, «потусторонний»? (См. статью учебника «Мастер и Маргарита» — повествование-лабиринт..., раздел «Михаил Афанасьевич Булгаков».)

8. Как в «ершалаимских» главах романа раскрывается традиционная тема добра и зла, лжи и истины? В чем выразились нравственно-философские итоги спора между Иешуа Га-Ноцри и римским прокуратором Понтием Пилатом? Чем объясняется заметная «малогеройность» легендар-

но-исторической канвы романа? (См. статью учебника «Два бессмертия...», раздел «Михаил Афанасьевич Булгаков».)

9. Какова нравственная суть «ревизии», учиненной в Москве Воландом и его свитой? Как соотносятся в сюжетно-композиционной структуре романа сцены сеанса черной магии в Варьете и эпизод бала у сатаны с участием Маргариты? Смешны или трагичны жертвы воландовских «шутков» в Москве? В чем, по М.А. Булгакову, заключается «диалектика» взаимоотношений между светом и тьмой, добром и злом? Как она отражается в цитате из «Фауста», ставшей эпиграфом к роману? (См. статью учебника «Карнавальный смех сатаны», раздел «Михаил Афанасьевич Булгаков».)

10. Каким содержанием в романе наполняется булгаковская формула «настоящей, верной, вечной любви»? Как связаны в «Мастере и Маргарите» тема любви и тема творчества, «негорящих рукописей»? В чем, по Булгакову, заключается отличие «писателя» от «мастера»? Какими автобиографическими мотивами навеяны главы о Мастере и Маргарите? Почему Иван Бездомный-Понырев становится учеником мастера и как в романе утверждается мысль о долге художника перед Истиной? (См. статью учебника «Путь Ивана Бездомного — путь обретения Родины», раздел «Михаил Афанасьевич Булгаков».)

11. Каковы финальные судьбы героев романа по «эту» и «ту» стороны бытия? Что означает «покой», обретенный главными героями в финале? Как перекликается с общей проблематикой «Мастера и Маргариты» реплика мастера, обращенная к вечному мученику на лунной дороге: «Свободен! Свободен! Он ждет тебя!» Ради чего (кого) написан «закатный» роман М.А. Булгакова? (См. статью учебника «Особенности повествовательной ткани романа», раздел «Михаил Афанасьевич Булгаков».)

Борис Леонидович ПАСТЕРНАК
1890—1960

Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.

Достать пролетку. За шесть гривен,
Чрез благовест, чрез клик колес,
Перенестись туда, где ливень
Еще шумней чернил и слез.

Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.

Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.

1912

ПЛАЧУЩИЙ САД

Ужасный! — Капнет и вслушается,
Всё он ли один на свете
Мнет ветку в окне, как кружевце,
Или есть свидетель.

Но давится внятно от тягости
Отеков — земля ноздревая,
И слышно: далеко, как в августе,
Полуночь в полях назревает.

Ни звука. И нет соглядатаев.
В пустынности удостоверясь,
Берется за старое — скатывается
По кровле, за желоб и через.

К губам поднесу и прислушаюсь,
Всё я ли один на свете, —
Готовый навзрыд при случае, —
Или есть свидетель.

Но тишь. И листок не шелохнется.
Ни признака зги, кроме жутких
Глотков и плескания в шлепанцах
И вздохов и слез в промежутке.

1917

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЭЗИИ

Это — круто налившийся свист,
Это — щелканье сдавленных льдинок,
Это — ночь, леденящая лист,
Это — двух соловьев поединок.

Это — сладкий заглохший горох,
Это — слезы вселенной в лопатках,
Это — с пультов и флейт — Фигарó
Низвергается градом на грядку.

Всё, что ночи так важно сыскать
На глубоких купаленных доньях,
И звезду донести до садка
На трепещущих мокрых ладонях.

Площе досок в воде — духота.
Небосвод завалился ольхою.
Этим звездам к лицу б хохотать,
Ан вселенная — место глухое.

1919

ПРО ЭТИ СТИХИ

На тротуарах истолку
С стеклом и солнцем пополам.
Зимой открою потолок
И дам читать сырым углам.

Задекламирует чердак
С поклоном рамам и зиме,
К карнизам прянет чехарда
Чудачеств, бедствий и замет.

Буран не месяц будет мечь,
Концы, начала заметет.
Внезапно вспомню: солнце есть;
Увижу: свет давно не тот.

Галчонком глянет Рождество,
И разгулявшийся денек
Откроет много из того,
Что мне и милой невдомек.

В кашне, ладонью заслонясь,
Сквозь фортку крикну детворе:
Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?

Кто тропку к двери проторил,
К дыре, засыпанной крупой,
Пока я с Байроном курил,
Пока я пил с Эдгаром По?

Пока в Дарьял, как к другу, вхож,
Как в ад, в цейхгауз и в арсенал,
Я жизнь, как Лермонтова дрожь,
Как губы в вермут окунал.

1920

Любить иных — тяжелый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносильна.

Весною слышен шорох снов
И шелест новостей и истин.
Ты из семьи таких основ.
Твой смысл, как воздух, бескорыстен.

Легко проснуться и прозреть,
Словесный сор из сердца вытрясть
И жить, не засоряясь впредь,
Всё это — не большая хитрость.

1931

Никого не будет в доме,
Кроме сумерек. Один
Зимний день в сквозном проеме
Незадернутых гардин.

Только белых мокрых комьев
Быстрый промельк маховой.
Только крыши, снег и, кроме
Крыш и снега, — никого.

И опять зачертит иней,
И опять завертит мной
Прошлогоднее унынье
И дела зимы иной,

И опять кольнут доныне
Не отпущенной виной,
И окно по крестовине
Сдавит голод дровяной.

Но неожиданно по портьеру
Пробежит вторженья дрожь.
Тишину шагами меря,
Ты, как будущность, войдешь.

Ты появишься у двери
В чем-то белом, без причуд,
В чем-то впрямь из тех материй,
Из которых хлопья шьют.

1931

ГАМЛЕТ

Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, всё тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

1946

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Мело, мело по всей земле
Во все пределы.

Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Как летом роем мошкара
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.

Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.

И падали два башмачка
Со стуком на пол.
И воск слезами с ночника
На платье капал.

И всё терялось в снежной мгле,
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздыхал, как ангел, два крыла
Крестообразно.

Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

1946

РАССВЕТ

Ты значил всё в моей судьбе.
Потом пришла война, разруха,
И долго-долго о Тебе
Ни слуху не было, ни духу.

И через много-много лет
Твой голос вновь меня встревожил.
Всю ночь читал я Твой Завет
И как от обморока ожил.

Мне к людям хочется, в толпу,
В их утреннее оживленье.
Я всё готов разнести в щепу
И всех поставить на колени.

И я по лестнице бегу,
Как будто выхожу впервые
На эти улицы в снегу
И вымершие мостовые.

Везде встают, огни, уют,
Пьют чай, торопятся к трамваям.
В течение нескольких минут
Вид города не узнаваем.

В воротах вьюга вяжет сеть
Из густо падающих хлопьев,
И, чтобы вовремя поспеть,
Все мчатся недоев-недопив.

Я чувствую за них за всех,
Как будто побывал в их шкуре,
Я таю сам, как тает снег,
Я сам, как утро, брови хмую.

Со мною люди без имен,
Деревья, дети, домоседы.

Я ими всеми побежден,
И только в том моя победа.

1947

ГЕФСИМАНСКИЙ САД

Мерцаньем звезд далеких безразлично
Был поворот дороги озарен.
Дорога шла вокруг горы Масличной,
Внизу под нею протекал Кедрон.

Лужайка обрывалась с половины.
За нею начинался Млечный Путь.
Седые серебристые маслины
Пытались вдаль по воздуху шагнуть.

В конце был чей-то сад, надел земельный.
Учеников оставив за стеной,
Он им сказал: «Душа скорбит смертельно,
Побудьте здесь и бодрствуйте со мной».

Он отказался без противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства
И был теперь как смертные, как мы.

Ночная даль теперь казалась краем
Уничтоженья и небытия.
Простор вселенной был необитаем,
И только сад был местом для житья.

И, глядя в эти черные провалы,
Пустые, без начала и конца,
Чтоб эта чаша смерти миновала,
В поту кровавом Он молил Отца.

Смягчив молитвой смертную истому,
Он вышел за ограду. На земле

Ученики, осиленные дремой,
Валялись в придорожном ковыле.

Он разбудил их: «Вас Господь сподобил
Жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт.
Час Сына Человеческого пробил.
Он в руки грешников себя предаст».

И лишь сказал, неведомо откуда
Толпа рабов и скопище бродяг,
Огни, мечи и впереди — Иуда
С предательским лобзаньем на устах.

Петр дал мечом отпор головорезам
И ухо одному из них отсек.
Но слышит: «Спор нельзя решать железом,
Вложи свой меч на место, человек.

Неужто тьмы крылатых легионов
Отец не снарядил бы мне сюда?
И волоска тогда на мне не тронув,
Враги рассеялись бы без следа.

Но книга жизни подошла к странице,
Которая дороже всех святынь.
Сейчас должно написанное сбыться,
Пускай же сбудется оно. Аминь.

Ты видишь, ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.
Во имя страшного ее величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.

Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетия поплывут из темноты».

1949

* * *

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.

Все время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья.

О, если бы я только мог
Хотя отчасти,
Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти.

О беззаконьях, о грехах,
Бегах, погонях,
Нечаянностях впопыхах,
Локтях, ладонях.

Я вывел бы ее закон,
Ее начало,
И повторял ее имен
Инициалы.

Я б разбивал стихи, как сад.
Всей дрожью жилок
Цвели бы липы в них подряд,
Гуськом, в затылок.

В стихи б я внес дыханье роз,
Дыханье мяты,
Луга, осоку, сенокос,
Грозы раскаты.

Так некогда Шопен вложил
Живое чудо

Фольварков, парков, рощ, могил
В свои этюды.

Достигнутого торжества
Игра и мука —
Натянутая тетива
Тугого лука.
1956—1959

* * *

Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.

Цель творчества — самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.

И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.

И окупаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги.
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.

Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но поражения от победы
Ты сам не должен отличать.

И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.

1956—1959

КОГДА РАЗГУЛЯЕТСЯ

Большое озеро как блюдо.
За ним — скопление облаков,
Нагроможденных белой грудой
Суровых горных ледников.

По мере смены освещенья
И лес меняет колорит.
То весь горит, то черной тенью
Насевшей копоты покрыт.

Когда в исходе дней дождливых
Меж туч проглянет синева,
Как небо празднично в прорывах,
Как торжества полна трава!

Стихает ветер, даль расчистив.
Разлито солнце по земле.
Просвечивает зелень листьев,
Как живопись в цветном стекле.

В церковной росписи оконниц
Так в вечность смотрят изнутри
В мерцающих венцах бессонниц
Святые, схимники, цари.

Как будто внутренность собора —
Простор земли, и чрез окно
Далекий отголосок хора
Мне слышать иногда дано.

Природа, мир, тайник вселенной,
Я службу долгую твою,
Объятый дрожью сокровенной,
В слезах от счастья, отстою.

1956

В БОЛЬНИЦЕ

Стояли как перед витриной,
Почти запрудив тротуар.
Носилки втокнули в машину.
В кабину вскочил санитар.

И «скорая помощь», минув
Панели, подъезды, зевак,
Сумятицу улиц ночную,
Нырнула огнями во мрак.

Милиция, улицы, лица
Мелькали в свету фонаря.
Покачивалась фельдшерица
Со склянкою нашатыря.

Шел дождь, и в приемном покое
Уныло шумел водосток,
Меж тем как строка за строкою
Марали опросный листок.

Его положили у входа.
Всё в корпусе было полно.
Разило парами иода,
И с улицы дуло в окно.

Окно обнимало квадратом
Часть сада и неба клочок.
К палатам, полам и халатам
Присматривался новичок.

Как вдруг из расспросов сиделки,
Покачивавшей головой,

Он понял, что из переделки
Едва ли он выйдет живой.

Тогда он взглянул благодарно
В окно, за которым стена
Была точно искрой пожарной
Из города озарена.

Там в зареве рдела застава,
И, в отсвете города, клен
Отвешивал веткой корявой
Больному прощальный поклон.

«О Господи, как совершенны
Дела Твои, — думал больной, —
Постели, и люди, и стены,
Ночь смерти и город ночной.

Я принял снотворного дозу
И плачу, платок теребя.
О Боже, волнения слезы
Мешают мне видеть Тебя.

Мне сладко при свете неярком,
Чуть падающем на кровать,
Себя и свой жребий подарком
Бесценным Твоим сознать.

Кончаясь в больничной постели,
Я чувствую рук Твоих жар.
Ты держишь меня, как изделие,
И прячешь, как перстень, в футляр».

1956

СНЕГ ИДЕТ

Снег идет, снег идет.
К белым звездочкам в буране
Тянутся цветы герани
За оконный переплет.

Снег идет, и всё в смятении,
Всё пускается в полет, —
Черной лестницы ступени,
Перекрестка поворот.

Снег идет, снег идет,
Словно падают не хлопья,
А в заплатанном салопе
Сходит наземь небосвод.

Словно с видом чудака,
С верхней лестничной площадки,
Крадучись, играя в прятки,
Сходит небо с чердака.

Потому что жизнь не ждет.
Не оглянешься — и Святки.
Только промежутки краткий,
Смотришь, там и новый год.

Снег идет, густой-густой.
В ногу с ним, стопами теми,
В том же темпе, с ленью той
Или с той же быстротой,
Может быть, проходит время?

Может быть, за годом год
Следуют, как снег идет,
Или как слова в поэме?

Снег идет, снег идет,
Снег идет, и всё в смятении:
Убеленный пешеход,
Удивленные растения,
Перекрестка поворот.

1957

ДОКТОР ЖИВАГО (Отрывок)

Вторая книга

ЧАСТЬ ОДИННАДЦАТАЯ

Лесное воинство

1

Юрий Андреевич второй год пропадал в плену у партизан. Границы этой неволи были очень неотчетливы. Место пленения Юрия Андреевича не было обнесено оградой. Его не стерегли, не наблюдали за ним. Войско партизан все время передвигалось. Юрий Андреевич совершал переходы вместе с ним. Это войско не отделялось, не отгораживалось от остального народа, через поселения и области которого оно двигалось. Оно смешивалось с ним, растворялось в нем.

Казалось, этой зависимости, этого плена не существует, доктор на свободе и только не умеет воспользоваться ей. Зависимость доктора, его плен ничем не отличались от других видов принуждения в жизни, таких же незримых и неосязаемых, которые тоже кажутся чем-то несуществующим, химерой и выдумкой. Несмотря на отсутствие оков, цепей и стражи, доктор был вынужден подчиняться своей несвободе, с виду как бы воображаемой.

Три попытки уйти от партизан кончились его поимкой. Они сошли ему даром, но это была игра с огнем. Больше он их не повторял.

Ему мировил партизанский начальник Ливерий Микулицын, клал его ночевать в свою палатку, любил его общество. Юрий Андреевич тяготился этой навязанной близостью.

2

Это был период почти непрерывного отхода партизан на восток. Временами это перемещение являлось частью общего наступательного плана при оттеснении Колчака из Западной Сибири. Временами, при заходе белых партизанам в тыл и попытке их окружения, движение в том же направлении превра-

щалось в отступление. Доктор долго не мог постигнуть этой премудрости.

Городишки и села по тракту, чаще всего параллельно которому, а иногда и по которому совершалось это отхождение, были разные, смотря по переменам военного счастья, белые и красные. Редко по внешнему их виду можно было определить, какая в них власть.

В момент прохождения через эти городки и селения крестьянского ополчения, главным в них становилась именно эта тянувшаяся через них армия. Дома по обеим сторонам дороги словно вбирались и уходили в землю, а месящие грязь всадники, лошади, пушки и толпящиеся рослые стрелки в скатках, казалось, вырастали на дороге выше домов.

Однажды в одном таком городке доктор принимал захваченный в виде военной добычи склад английских медикаментов, брошенный при отступлении офицерским каппелевским формированием.

Был темный дождливый день в две краски. Все освещенное казалось белым, все неосвещенное — черным. И на душе был такой же мрак упрощения, без смягчающих переходов и полутеней.

Вконец разбитая частыми военными передвижениями дорога представляла поток черной слякоти, через который не везде можно было перейти вброд. Улицу переходили в нескольких очень удаленных друг от друга местах, к которым по обеим сторонам приходилось делать большие обходы. В таких условиях встретил доктор в Пажинске былую железнодорожную попутницу Пелагею Тягунову.

Она узнала его первая. Он не сразу установил, кто эта женщина со знакомым лицом, бросающая ему через дорогу, как с одной набережной канала на другую, двойственные взгляды, то полные решимости поздороваться с ним, если он ее узнает, то выражающие готовность отступить.

Через минуту он все вспомнил. Вместе с образами переполненного товарного вагона, толпы согнанных на трудовую повинность, их конвойных, и пассажирки с перекинутыми на грудь косами он увидел своих в середине картины. Подробности позапрошлогоднего семейного переезда с яркостью обступили его. Родные лица, по которым он истосковался смертельно, живо возникли перед ним.

Кивком головы он подал знак, чтобы Тягунова поднялась немного вверх по улице, к месту, где ее переходили по выступающим из грязи камням, сам достиг этого места, переправился к Тягуновой и поздоровался с ней.

Она ему много рассказала. Напомнив ему о незаконно забранном в партию трудообязанных красивом неиспорченном мальчике Васе, ехавшем вместе с ними в одной теплушке, Тягунова описала доктору свою жизнь в деревне Веретенниках у Васиной мамы. Ей было у них очень хорошо. Но деревня колола ей глаза тем, что она в веретенниковском обществе чужая, пришлая. Ее попрекали сочиненной ее якобы близостью с Васею. Пришлось ей уехать, чтобы окончательно ее не заклевали. Она поселилась в городе Крестовоздвиженске у сестры Ольги Галузиной. Слухи о виденном будто в Пажинске Притульеве ее сюда сманили. Сведения оказались ложными, а она тут застряла на жительство, получив работу.

Тем временем случились несчастья с людьми, милыми ее сердцу. Из Веретенников дошли известия, что деревня подверглась военной экзекуции за неповиновение закону о продразверстке. Видимо, дом Брыкиных сгорел и кто-то из Васиной семьи погиб. В Крестовоздвиженске у Галузиных отняли дом и имущество. Зятя посадили в тюрьму или расстреляли. Племянник пропал без вести. Первое время разорения сестра Ольга бедствовала и голодала, а теперь прислуживает за харчи крестьянской родне в Звонарской слободе.

По случайности Тягунова работала судомойкой в пажинской аптеке, имущество которой предстояло реквизировать доктору. Всем кормившимся при аптеке, в том числе Тягуновой, реквизиция приносила разорение. Но не во власти доктора было отменить ее. Тягунова присутствовала при операции передачи товара.

Телегу Юрия Андреевича подали на задний двор аптеки к дверям склада. Из помещения выносили тюки, оплетенные ивовыми прутьями бутылки и ящики.

Вместе с людьми на погрузку грустно смотрела из стойла тощая и запаршивевшая кляча аптекаря. Дождливый день клонился к вечеру. На небе чуть расчистило. На минуту показалось стиснутое тучами солнце. Оно садилось. Его лучи темной бронзою брызнули во двор, зловеще золотя лужи жидкого навоза. Ветер не шевелил их. Навозная жижа не двигалась от тяжести.

Зато налитая дождями вода на шоссе зыбилась на ветру и рябила киноварью.

А войско шло и шло по краям дороги, обходя и объезжая самые глубокие озера и колдобины. В захваченной партии лекарств оказалась целая банка кокаину, нюханием которого грешил в последнее время партизанский начальник.

3

Работ у доктора среди партизан было по горло. Зимой — сыпной тиф, летом — дизентерия и, кроме того, усиливавшееся поступление раненых в боевые дни возобновлявшихся военных действий.

Несмотря на неудачи и преобладающее отступление, ряды партизан непрерывно пополнялись новыми восстающими в местах, по которым проходили крестьянские полчища, и перебежчиками из неприятельского лагеря. За те полтора года, что доктор пробыл у партизан, их войско удесятирилось. Когда на заседании подпольного штаба в Крестовоздвиженске Ливерий Микулицын называл численность своих сил, он преувеличил их примерно вдесятеро. Теперь они достигли указанных размеров.

У Юрия Андреевича были помощники, несколько новоиспеченных санитаров с подходящим опытом. Правую его рукою по лечебной части были венгерский коммунист и военный врач из пленных Керени Лайош, которого в лагере звали товарищем Лаюшим, и фельдшер хорват Ангеляр, тоже австрийский военнопленный. С первым Юрий Андреевич объяснялся по-немецки, второй, родом из славянских Балкан, с грехом пополам понимал по-русски.

4

По международной конвенции о Красном Кресте военные врачи и служащие санитарных частей не имеют права вооруженно участвовать в боевых действиях воюющих. Но однажды доктору против воли пришлось нарушить это правило. Завязавшаяся стычка застала его на поле и заставила разделить судьбу сражающихся и отстреливаться.

Партизанская цепь, в которой застигнутый огнем доктор залег рядом с телеграфистом отряда, занимала лесную опушку. За спиною партизан была тайга, впереди — открытая поляна, оголенное незащищенное пространство, по которому шли белые, наступаая.

Они приближались и были уже близко. Доктор хорошо их видел, каждого в лицо. Это были мальчики и юноши из невоенных слоев столичного общества и люди более пожилые, мобилизованные из запаса. Но тон задавали первые, молодежь, студенты первокурсники и гимназисты-восьмиклассники, недавно записавшиеся в добровольцы.

Доктор не знал никого из них, но лица половины казались ему привычными, виденными, знакомыми. Одни напоминали ему бывших школьных товарищей. Может статься, это были их младшие братья? Других он словно встречал в театральной или уличной толпе в былые годы. Их выразительные, привлекательные физиономии казались близкими, своими.

Служение долгу, как они его понимали, одушевляло их восторженным молодечеством, ненужным, вызывающим. Они шли рассыпным редким строем, выпрямившись во весь рост, превосходя выправкой кадровых гвардейцев и, бравидура опасностью, не прибегали к перебежке и залеганию на поле, хотя на поляне были неровности, бугорки и кочки, за которыми можно было укрыться. Пули партизан почти поголовно выкашивали их.

Посреди широкого голого поля, по которому двигались вперед белые, стояло мертвое обгорелое дерево. Оно было обуглено молнией или пламенем костра или расщеплено и опалено предшествующими сражениями. Каждый наступавший добровольческий стрелок бросал па него взгляды, борясь с искушением зайти за его ствол для более безопасного и выверенного прицела, но пренебрегал соблазном и шел дальше.

У партизан было ограниченное число патронов. Их следовало беречь. Имелся приказ, поддержанный круговым уговором, стрелять с коротких дистанций, из винтовок, равных числу видимых мишеней.

Доктор лежал без оружия в траве и наблюдал за ходом боя. Все его сочувствие было на стороне героически гибнувших детей. Он от души желал им удачи. Это были отпрыски семейств, вероятно, близких ему по духу, его воспитания, его нравственно-го склада, его понятий.

Шевельнулась у него мысль выбежать к ним па поляну и сдаться и таким образом обрести избавление. Но шаг был рискованный, сопряженный с опасностью.

Пока он добежал бы до середины поляны, подняв вверх руки, его могли бы уложить с обеих сторон, поражением в грудь и спину, свои — в наказание за совершенную измену, чужие — не разобрав его намерений. Он ведь не раз бывал в подобных положениях, продумал все возможности и давно признал эти планы спасения непригодными. И, мирясь с двойственностью чувств, доктор продолжал лежать на животе, лицом к поляне и без оружия следил из травы за ходом боя.

Однако созерцать и пребывать в бездействии среди кипевшей кругом борьбы не на живот, а на смерть было невысказано и выше человеческих сил. И дело было не в верности стану, к которому приковала его неволя, не в его собственной самозащите, а в следовании порядку совершавшегося, в подчинении законам того, что разыгрывалось перед ним и вокруг него. Было против правил оставаться к этому в безучастии. Надо было делать то же, что делали другие. Шел бой. В него и товарищей стреляли. Надо было отстреливаться.

И когда телефонист рядом с ним в цепи забился в судорогах и потом замер и вытянулся, застыв в неподвижности, Юрий Андреевич ползком поднянулся к нему, снял с него сумку, взял его винтовку и, вернувшись на прежнее место, стал разряжать ее выстрел за выстрелом.

Но жалость не позволяла ему целиться в молодых людей, которыми он любовался и которым сочувствовал. А стрелять сдуру в воздух было слишком глупым и праздным занятием, противоречившим его намерениям. И, выбирая минуты, когда между ним и его мишенью не становился никто из нападающих, он стал стрелять в цель по обгорелому дереву. У него были тут свои приемы.

Целясь и по мере все уточняющейся наводки незаметно и не до конца усиливая нажим собачки, как бы без расчета когда-нибудь выстрелить, пока спуск курка и выстрел не следовали сами собой как бы сверх ожидания, доктор стал с привычной меткостью разбрасывать вокруг помертвелою дерева сбитые с него нижние отсохшие сучья.

Но о ужас! Как ни остерегался доктор, как бы не попасть в кого-нибудь, то один, то другой наступающий вдвигались в решающий миг между ним и деревом, и пересекали прицельную линию в момент ружейного разряда. Двух он задел и ранил,

а третьему несчастливцу, свалившемуся недалеко от дерева, это стоило жизни.

Наконец, белое командование, убедившись в бесполезности попытки, отдало приказ отступить.

Партизан было мало. Их главные силы частью находились на марше, частью отошли в сторону, завязав дело с более крупными силами противника. Отряд не преследовал отступавших, чтобы не выдать своей малочисленности.

Фельдшер Ангеляр привел на опушку двух санитаров с носилками. Доктор велел им заняться ранеными, а сам подошел к лежавшему без движения телефонисту. Он смутно надеялся, что тот, может быть, еще дышит и его можно будет вернуть к жизни. Но телефонист был мертв. Чтобы в этом удостовериться окончательно, Юрий Андреевич расстегнул на груди у него рубашку и стал слушать его сердце. Оно не работало.

На шее у убитого висела ладанка на снурке. Юрий Андреевич снял ее. В ней оказалась зашитая в тряпицу, истлевшая и стершаяся по краям сгибов бумажка. Доктор развернул ее наполовину распавшиеся и рассыпающиеся доли.

Бумажка содержала извлечения из девяностого псалма с теми изменениями и отклонениями, которые вносит народ в молитвы, постепенно удаляющиеся от подлинника от повторения к повторению. Отрывки церковнославянского текста были переписаны в грамотке по-русски.

В псалме говорится: «Живой в помощи Вышнего». В грамотке это стало заглавием заговора: «Живые помощи». Стих псалма «Не убоишися... от стрелы летящая во дни (днем)» превратился в слова ободрения: «Не бойся стрелы летящей войны». «Яко позна имя мое», — говорит псалом. А грамотка: «Поздно имя мое». «С ним есмь в скорби, изму его...» стало в грамотке «Скоро в зиму его».

Текст псалма считался чудодейственным, оберегающим от пуль. Его в виде талисмана надевали на себя воины еще в прошлую империалистическую войну. Прошли десятилетия, и гораздо позднее его стали зашивать в платье арестованные и твердили про себя заключенные, когда их вызывали к следователям на ночные допросы.

От телефониста Юрий Андреевич перешел на поляну к телу убитого им молодого белогвардейца. На красивом лице юноши

были написаны черты невинности и все простившего страдания. «Зачем я убил его?» — подумал доктор.

Он расстегнул шинель убитого и широко раскинул ее полы. На подкладке по каллиграфической прописи, старательно и любящею рукою, наверное материнскою, было вышито: Сережа Ранцевич,— имя и фамилия убитого.

Сквозь пройму Сережиной рубашки вывалились вон и свесились на цепочке наружу крестик, медальон и еще какой-то плоский золотой футлярчик или тавлінка с поврежденной, как бы гвоздем вдавленной крышкой. Футлярчик был полураскрыт. Из него вывалилась сложенная бумажка. Доктор развернул ее и глазам своим не поверил. Это был тот же девяностый псалом, но в печатном виде и во всей своей славянской подлинности.

В это время Сережа застонал и потянулся. Он был жив. Как потом обнаружилось, он был оглушен легкой внутренней контузией. Пуля на излете ударилась в стенку материнского амулета, и это спасло его. Но что было делать с лежавшим без памяти?

Озверение воюющих к этому времени достигло предела. Пленных не доводили живыми до места назначения, неприятельских раненых прикалывали на поле.

При текущем составе лесного ополчения, в которое то вступали новые охотники, то уходили и перебегали к неприятелю старые участники, Ранцевича, при строгом сохранении тайны, можно было выдать за нового, недавно примкнувшего союзника.

Юрий Андреевич снял с убитого телефониста верхнюю одежду и с помощью Ангеляра, которого доктор посвятил в свои замыслы, переодел не приходившего в сознание юношу.

Он и фельдшер выходили мальчика. Когда Ранцевич вполне оправился, они отпустили его, хотя он не таил от своих избавителей, что вернется в ряды колчаковских войск и будет продолжать борьбу с красными.

5

Осенью лагерь партизан стоял в Лисьем отоке, небольшом лесу на высоком бугре, под которым неслась, обтекая его с трех сторон и подрывая берега водороидами, стремительная пенистая речка.

Перед партизанами тут зимовали каппелевцы. Они укрепили лес своими руками и трудами окрестных жителей, а весною его

оставили. Теперь в их невзорванных блиндажах, окопах и ходах сообщения разместились партизаны.

Свою землянку Ливерий Аверкиевич делил с доктором. Вторую ночь он занимал его разговорами, не давая ему спать.

— Хотел бы я знать, что теперь поделывает мой достопочтенный родитель, уважаемый фатер-папахен мой.

«Господи, до чего не выношу я этого паяснического тона,— про себя вздыхал доктор. — И ведь вылитый отец!»

— Насколько я заключил из наших прошлых бесед, вы Аверкия Степановича достаточно узнали. И, как мне кажется,— довольно неплохого мнения о нем. А, милостивый государь?

— Ливерий Аверкиевич, завтра у нас предвыборная сходка на буйвище. Кроме того, на носу суд над санитарами-самогонщиками. У меня с Лайошем по этому поводу еще не готовы материалы. Мы для этой цели с ним завтра соберемся. А я две ночи не спал. Отложим собеседование. Помилосердствуйте.

— Нет — всё же, возвращаясь к Аверкию Степановичу. Что вы скажете о старикане?

— У вас еще совсем молодой отец, Ливерий Аверкиевич. Зачем вы так о нем отзываетесь. А теперь я отвечу вам. Я часто говорил вам, что плохо разбираюсь в отдельных градациях социалистического настоя и особой разницы между большевиками и другими социалистами не вижу. Отец ваш из разряда людей, которым Россия обязана волнениями и беспорядками последнего времени. Аверкий Степанович тип и характер революционный. Так же, как и вы, он представитель русского бродильного начала.

— Что это, похвала или порицание?

— Я еще раз прошу отложить спор до более удобного времени. Кроме того, обращаю ваше внимание на кокаин, который вы опять нюхаете без меры. Вы его самовольно расхищаете из подведомственных мне запасов. Он нам нужен для других целей, не говоря о том, что это яд и я отвечаю за ваше здоровье.

— Опять вы не были на вчерашних занятиях. У вас атрофия общественной жилки, как у неграмотных баб и у заматерелого косного обывателя. Между тем вы — доктор, начитанный и даже, кажется, сами что-то пишете. Объясните, как это вяжется?

— Не знаю как. Наверное, никак не вяжется, ничего не подлаешь. Я достоин жалости.

— Смирение паче гордости. А чем усмехаться так язвительно, ознакомились бы лучше с программой наших курсов и признали бы свое высокомерие неуместным.

— Господь с вами, Ливерий Аверкиевич! Какое тут высокомерие! Я преклоняюсь перед вашей воспитательной работой. Обзор вопросов повторяется на повестках. Я читал его. Ваши мысли о духовном развитии солдат мне известны. Я от них в восхищении. Все, что у вас сказано об отношении воина народной армии к товарищам, к слабым, к незащищенным, к женщине, к идее чистоты и чести, это ведь почти то же, что сложило духоборческую общину, это род толстовства, это мечта о достойном существовании, этим полно мое отрочество. Мне ли смеяться над такими вещами?

Но, во-первых, идеи общего совершенствования так, как они стали пониматься с октября, меня не воспламеняют. Во-вторых, это все еще далеко от осуществления, а за одни еще толки об этом заплачено такими морями крови, что, пожалуй, цель не оправдывает средства. В-третьих, и это главное, когда я слышу о переделке жизни, я теряю власть над собой и впадаю в отчаяние.

Переделка жизни! Так могут рассуждать люди, хотя, может быть, и выдавшие виды, но ни разу не узнавшие жизни, не почувствовавшие ее духа, души ее. Для них существование — это комок грубого, не облагороженного их прикосновением материала, нуждающегося в их обработке. А материалом, веществом, жизнь никогда не бывает. Она сама, если хотите знать, непрерывно себя обновляющее, вечно себя перерабатывающее начало, она сама вечно себя переделывает и претворяет, она сама куда выше наших с вами тупоумных теорий.

— И все же посещение собраний и общение с чудесными, великолепными нашими людьми подняло бы, смею заметить, ваше настроение. Вы не стали бы предаваться меланхолии. Я знаю, откуда она. Вас угнетает, что нас колотят и вы не видите впереди просвета. Но никогда, друже, не надо впадать в панику. Я знаю вещи гораздо более страшные, лично касающиеся меня, — временно они не подлежат огласке, — и то не теряюсь. Наши неудачи временного свойства. Гибель Колчака неотвратима. Попомните мое слово. Увидите. Мы победим. Утештесь.

«Нет, это неподражаемо! — думал доктор. — Какое младенчество! Какая близорукость! Я без конца твержу ему о противопо-

ложности наших взглядов, он захватил меня силой и силой держит при себе, и он воображает, что его неудачи должны расстраивать меня, а его расчеты и надежды вселяют в меня бодрость. Какое самоослепление! Интересы революции и существование солнечной системы для него одно и то же».

Юрия Андреевича передернуло. Он ничего не ответил и только пожал плечами, нисколько не пытаясь скрыть, что наивность Ливерия переполняет меру его терпения и он насилию сдерживается. От Ливерия это не укрылось.

— Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав, — сказал он.

— Поймите, поймите наконец, что все это не для меня. «Юпитер», «не поддаваться панике», «кто сказал а, должен сказать бе», «Мор сделал свое дело, Мор может уйти», — все эти пошлости, все эти выражения не для меня. Я скажу а, а бе не скажу, хоть разорвитесь и лопните. Я допускаю, что вы светочи и освободители России, что без вас она пропала бы, погрязши в нищете и невежестве, и тем не менее мне не до вас и наплевать на вас, я не люблю вас, и ну вас всех к черту.

Властители ваших дум грешат поговорками, а главную забыли, что насильно мил не будешь, и укоренились в привычке освобождать и осчастливливать особенно тех, кто об этом не просит. Наверное, вы воображаете, что для меня нет лучшего места на свете, чем ваш лагерь и ваше общество. Наверное, я еще должен благословлять вас и спасибо вам говорить за свою неволю, за то, что вы освободили меня от семьи, от сына, от дома, от дела, ото всего, что мне дорого и чем я жив.

Дошли слухи о нашествии неизвестной нерусской части в Варыкино. Говорят, оно разгромлено и разграблено. Каменнодворский этого не отрицает. Будто моим и вашим удалось бежать. Какие-то мифические косоглазые в ватниках и папахах в страшный мороз перешли Рыньву по льду, не говоря худого слова, перестреляли все живое в поселке и затем стигнули так же загадочно, как появились. Что вам об этом известно? Это правда?

— Чушь. Вымыслы. Подхваченные сплетниками непроверенные бредни.

— Если вы так добры и великодушны, как в ваших наставлениях о нравственном воспитании солдат, отпустите меня на все четыре стороны. Я отправлюсь на розыски своих, относительно которых я даже не знаю, живы ли они и где они. А если нет, то

замолчите, пожалуйста, и оставьте меня в покое, потому что все остальное неинтересно мне, и я за себя не отвечаю. И, наконец, имею же я, черт возьми, право просто-напросто хотеть спать!

Юрий Андреевич лег ничком на койку, лицом в подушку. Он всеми силами старался не слушать оправдывавшегося Ливерия, который продолжал успокаивать его, что к весне белые будут обязательно разбиты. Гражданская война кончится, настанет свобода, благоденствие и мир. Тогда никто не посмеет держать доктора. А до тех пор надо потерпеть. После всего вынесенного, и стольких жертв, и такого ожидания ждать уже осталось недолго. Да и куда пошел бы теперь доктор. Ради его собственного блага нельзя его сейчас отпускать никуда одного.

«Завел шарманку, дьявол! Заработал языком! Как ему не стыдно столько лет пережевывать одну и ту же жвачку?» — вздыхал про себя и негодовал Юрий Андреевич. «Заслушался себя, златоуст, кокаинист несчастный. Ночь ему не в ночь, ни сна, ни житья с ним, проклятым. О, как я его ненавижу! Видит Бог, я когда-нибудь убью его.

О Тоня, бедная девочка моя! Жива ли ты? Где ты? Господи, да ведь она должна была родить давно! Как прошли твои роды? Кто у нас, мальчик или девочка? Милые мои все, что с вами? Тоня, вечный укор мой и вина моя! Лара, мне страшно назвать тебя, чтобы вместе с именем не выдохнуть души из себя. Господи! Господи! А этот все ораторствует, не унимается, ненавистное, бесчувственное животное! О, я когда-нибудь не выдержу и убью его, убью его».

6

Бабье лето прошло. Стояли ясные дни золотой осени. В западном углу Лисьего отока из земли выступала деревянная башенка сохранившегося добровольческого блокауза. Здесь Юрий Андреевич условился встретиться и обсудить с доктором Лайошем, своим ассистентом, кое-какие общие дела. В назначенный час Юрий Андреевич пришел сюда. В ожидании товарища он стал расхаживать по земляной бровке обвалившегося окопа, поднимался и заходил в караулку и смотрел сквозь пустующие бойницы пулеметных гнезд на простиравшиеся за рекою лесные дали.

Осень уже резко обозначила в лесу границу хвойного и лиственного мира. Первый сумрачною, почти черною стеною ще-

тинился в глубине, второй винно-огненными пятнами светился в промежутках, точно древний городок с детинцем и златоверхими теремами, срубленный в гуще леса из его бревен.

Земля во рву, под ногами у доктора и в колесах лесной, утренниками прохваченной и протвердевшей дороги была густо засыпана и забита сухим, мелким, как бы стриженным, в трубку свернувшимся листом опавшей ивы. Осень пахла этим горьким коричневым листом и еще множеством других приправ. Юрий Андреевич с жадностью вдыхал сложную пряность ледяного моченого яблока, горькой суши, сладкой сырости и синего сентябрьского угара, напоминающего горелые пары обданного водою костра и свежезалитого пожара.

Юрий Андреевич не заметил, как сзади подошел к нему Лайош.

— Здравствуйте, коллега,— сказал он по-немецки. Они занялись делами.

— У нас три пункта. О самогонщиках, о реорганизации лазарета и аптеки, и третий, по моему настоянию, о лечении душевных болезней амбулаторно, в походных условиях. Может быть, вы не видите в этом необходимости, но, по моим наблюдениям, мы сходим с ума, дорогой Лайош, и виды современного помешательства имеют форму инфекции, заразы.

— Очень интересный вопрос. Я потом перейду к нему. Сейчас вот о чем. В лагере брожение. Судьба самогонщиков вызывает сочувствие. Многих также волнует судьба семейств, бегущих из деревень от белых. Часть партизан отказывается выступать из лагеря ввиду приближения обоза с их женами, детьми и стариками.

— Да, их придется подождать.

— И все это перед выборами единого командования, общего над другими, нам не подчиненными отрядами. Я думаю, — единственный кандидат товарищ Ливерий. Группа молодежи выдвигает другого, Вдовиченку. За него стоит чуждое нам крыло, которое примыкало к кругу самогонщиков, дети кулаков и лавочников, колчаковские дезертиры. Они особенно расшумелись.

— Что, по-вашему, будет с санитарями, варившими и продававшими самогон?

— По-моему, их приговорят к расстрелу и помилуют, обратив приговор в условный.

— Однако мы с вами заболтались. Займемся делами. Реорганизация лазарета. Вот что я хотел бы рассмотреть в первую голову.

— Хорошо. Но я должен сказать, что в вашем предложении о психиатрической профилактике не нахожу ничего удивительного. Я сам того же мнения. Появились и распространяются душевные заболевания самого типического свойства, носящие определенные черты времени, непосредственно вызванные историческими особенностями эпохи. У нас есть солдат царской армии, очень сознательный, с прирожденным классовым инстинктом, Памфил Палых. Он именно на этом помешался, на страхе за своих близких, в случае если он будет убит, а они попадут в руки белых и должны будут за него отвечать. Очень сложная психология. Его домашние, кажется, следуют в беженском обозе и нас догоняют. Недостаточное знание языка мешает мне толком расспросить его. Узнайте у Ангеляра или Каменнодворского. Надо бы осмотреть его.

— Я очень хорошо знаю Палых. Как мне не знать его. Одно время вместе сталкивались в армейском совете. Такой черный, жестокий, с низким лбом. Не понимаю, что вы в нем нашли хорошего. Всегда за крайние меры, строгости, казни. И всегда меня отталкивал. Ладно. Я займусь им.

7

Был ясный солнечный день. Стояла тихая сухая, как всю предшествующую неделю, погода.

Из глубины лагеря катился смутный, похожий на отдаленный рокот моря, гул большого людского становища. Попеременно слышались шаги слоняющихся по лесу, голоса людей, стук топоров, звон наковален, ржанье лошадей, тявканье собак и пенье петухов. По лесу двигались толпы загорелого, белозубого, улыбающегося люда. Одни знали доктора и кланялись ему, другие, незнакомые с ним, проходили мимо, не здороваясь.

Хотя партизаны не соглашались уходить из Лисьего отока, пока их не нагонят бегущие за ними следом на телегах партизанские семьи, последние были уже в немногих переходах от лагеря и в лесу шли приготовления к скорому снятию стоянки и перенесению ее дальше на восток. Что-то чинили, чистили, заколачивали ящики, пересчитывали подводы и осматривали их исправность.

В середине леса была большая вытоптанная прогалина, род кургана или городища, носившая местное название буйвища. На

нем обыкновенно созывали войсковые сходки. Сегодня тут тоже было назначено общее сборище для оглашения чего-то важного.

В лесу было еще много непожелтевшей зелени. В самой глубине он почти весь еще был свеж и зеленел. Низившееся послеобеденное солнце пронизывало его сзади своими лучами. Листья пропускали солнечный свет и горели с изнанки зеленым огнем прозрачного бутылочного стекла.

На открытой лужайке близ своего архива начальник связи Каменnodворский жег просмотренный и ненужный бумажный хлам доставшейся ему каппелевской полковой канцелярии вместе с горами своей собственной, партизанской отчетности. Огонь костра был разложен так, что приходился против солнца. Оно просвечивало сквозь прозрачное пламя, как сквозь зелень леса. Огня не было видно, и только по зыбившимся слюдяным струям горячего воздуха можно было заключить, что что-то горит и раскаляется.

Там и сям лес пестрел всякого рода спелыми ягодами: нарядными висюльками сердечника, кирпично-бурой дряблой бузиной, переливчатыми бело-малиновыми кистями калины. Позванивая стеклянными крылышками, медленно проплывали по воздуху рябые и прозрачные, как огонь и лес, стрекозы.

Юрий Андреевич с детства любил сквозящий огнем зари вечерний лес. В такие минуты точно и он пропускал сквозь себя эти столбы света. Точно дар живого духа потоком входил в его грудь, пересекал все его существо и парой крыльев выходил изпод лопаток наружу. Тот юношеский первообраз, который на всю жизнь складывается у каждого и потом навсегда служит и кажется ему его внутренним лицом, его личностью, во всей первоначальной силе пробуждался в нем и заставлял природу, лес, вечернюю зарю и все видимое преобразаться в такое же первоначальное и всеохватывающее подобие девочки. «Лара!» — закрыв глаза, полушептал или мысленно обращался он ко всей своей жизни, ко всей Божьей земле, ко всему расстилавшемуся перед ним, солнцем озаренному пространству.

Но очередное, злободневное, продолжалось, в России была Октябрьская революция, он был в плену у партизан. И, сам того не замечая, он подошел к костру Каменnodворского.

— Делопроизводство уничтожаете? До сих пор не сожгли?

— Куда там! Этого добра еще надолго хватит.

Доктор носком сапога спихнул и разрознил одну из сваленных куч. Это была телеграфная штабная переписка белых. Смутное предположение, что среди бумажек он натолкнется на имя Ранцевича, мелькнуло у него, но обмануло его. Это было неинтересное собрание прошлогодних шифрованных сводок в невразумительных сокращениях вроде следующего: «Омск генкварверх первому копия Омск наштаокр омского карта сорок верст Енисейского не поступало». Он разгреб ногой другую кучку. Из нее расплзлись врозь протоколы старых партизанских собраний. Сверху легла бумажка: «Весьма срочно. Об отпусках. Перевыборы членов ревизионной комиссии. Текущее. Ввиду недосказанности обвинений учительницы села Игнатодворцы армейский совет полагает...»

В это время Каменновдворский вынул что-то из кармана, подал доктору и сказал:

— Вот расписание вашей медицинской части на случай выступления из лагеря. Телеги с партизанскими семьями уже близко. Лагерные разногласия сегодня будут улажены. Со дня на день можно ждать, что мы снимемся.

Доктор бросил взгляд на бумажку и ахнул.

— Это меньше, чем мне дали в последний раз. А сколько раненых прибавилось! Ходячие и перевязочные пешком пойдут. Но их ничтожное количество. А на чем я тяжелых повезу? А медикаменты, а койки, оборудование!

— Как-нибудь сожмется. Надо применяться к обстоятельствам. Теперь о другом. Общая ото всех просьба к вам. Тут есть товарищ, закаленный, проверенный, преданный делу и прекрасный боец. Что-то с ним творится неладное.

— Палых? Мне Лайош говорил.

— Да. Сходите к нему. Исследуйте.

— Что-то психическое?

— Предполагаю. Какие-то бегунчики, как он выражается. Повидимому, галлюцинации. Бессонница. Головные боли.

— Хорошо. Пойду не откладывая. Сейчас у меня свободное время. Когда начало сходки?

— Думаю, уже собираются. Но на что вам? Видите, вот и я не пошел. Обойдутся без нас.

— Тогда я пойду к Памфилу. Хотя я с ног валюсь, так спать хочу. Ливерий Аверкиевич любит по ночам философствовать, заговорил меня. Как пройти к Памфилу? Где он помещается?

— Молодой березнячок за бутовой ямой знаете? Березовый молоднячок.

— Найду.

— Там на полянке командирские палатки. Мы одну Памфилу предоставили. В ожидании семьи. К нему ведь жена и дети едут в обозе. Да, так вот он в одной из командирских палаток. На правах батальонного. За свои революционные заслуги.

8

По пути к Памфилу доктор почувствовал, что не в силах идти дальше. Его одолевала усталость. Он не мог победить сонливости, следствия накопленного за несколько ночей недосыпания. Можно было бы вернуться подремать в блиндаж. Но туда Юрий Андреевич боялся идти. Туда каждую минуту мог прийти Ливерий и помешать ему.

Он прилег на одном из незаросших мест в лесу, сплошь усыпанным золотыми листьями, налетевшими на лужайку с окаймлявших ее деревьев. Листья легли в клетку, пашками, на лужайку. Так же ложились лучи солнца на их золотой ковер. В глазах рябило от этой двойной, скрещающейся пестроты. Она усыпляла, как чтение мелкой печати или бормотание чего-нибудь однообразного.

Доктор лег на шелковисто шуршавшую листву, положив подложенную под голову руку на мох, подушкой облегавший бутристые корни дерева. Он мгновенно задремал. Пестрота солнечных пятен, усыпившая его, клетчатым узором покрыла его вытянувшееся на земле тело и сделала его необнаружимым, неотличимым в калейдоскопе лучей и листьев, точно он надел шапку-невидимку.

Очень скоро излишняя сила, с какой он желал сна и нуждался в нем, разбудила его. Прямые причины действуют только в границах соразмерности. Отклонение от меры производит обратное действие. Не находящее отдыха, недремлющее сознание лихорадочно работало на холостом ходу. Обрывки мыслей неслись вихрем и крутились колесом, почти стуча, как испорченная машина. Эта душевная сумятица мучила и сердила доктора. «Сволочь Ливерий,— возмущался он.— Мало ему, что на свете сейчас сотни поводов рехнуться человеку. Своим пленом, своей дружбой и дурацкой болтовней он без нужды превращает здорового в неврастеника. Я когда-нибудь убью его».

Цветным складывающимся и раскрывающимся лоскутком пролетела с солнечной стороны коричнево-крапчатая бабочка. Доктор сонными глазами проследил за ее полетом. Она села на то, что больше всего походило на ее окраску, на коричнево-крапчатую кору сосны, с которой она и слилась совершенно неотличимо. Бабочка незаметно ступала на ней, как бесследно терялся Юрий Андреевич для постороннего глаза под игравшей на нем сеткой солнечных лучей и теней.

Привычный круг мыслей овладел Юрием Андреевичем. Он во многих работах по медицине косвенно затрагивал его. О воле и целесообразности как следствии совершенствующегося приспособления. О мимикрии, о подражательной и предохранительной окраске. О выживании наиболее приспособленных, о том, что, может быть, путь, откладываемый естественным отбором, и есть путь выработки и рождения сознания. Что такое субъект? Что такое объект? Как дать определение их тождества? В размышлениях доктора Дарвин встречался с Шеллингом, а пролетевшая бабочка с современной живописью, с импрессионистическим искусством. Он думал о творении, твари, творчестве и притворстве.

И он снова уснул, и через минуту опять проснулся. Его разбудил тихий, заглушенный говор невдалеке. Достаточно было нескольких долетевших слов, чтобы Юрий Андреевич понял, что улавливаются о чем-то тайном, противозаконном. Очевидно, сговаривающиеся не заметили его, не подозревали его соседства. Если бы он теперь пошевелинулся и выдал свое присутствие, это стоило бы ему жизни. Юрий Андреевич притаился, замер и стал прислушиваться.

Часть голосов он знал. Это была мразь, подонки партизанщины, примазавшиеся к ней мальчишки Санька Пафнуткин, Гошка Рябых, Коська Нехваленых и тянувшийся за ними Терентий Галузин, коноводы всех пакостей и безобразий. Был с ними также Захар Гораздых, тип еще более темный, причастный к делу о варке самогона, но временно не привлеченный к ответу как выдавший главных виновников. Юрия Андреевича удивило присутствие партизана из «серебряной роты» Сивоблюя, состоявшего в личной охране начальника. По преемственности, шедшей от Разина и Пугачева, этого приближенного за доверие, оказываемое ему Ливерием, звали атамановым ухом. Он, значит, тоже был участником заговора.

Заговорщики сговаривались с подосланными из неприятельских передовых разъездов. Парламентеров совсем не было слышно, так тихо они улаживались с изменниками, и только по перерывам, наступавшим в шепоте сообщников, Юрий Андреевич догадывался, что теперь говорят представители противника.

Больше всего говорил, поминутно матерясь, хриплым сорванным голосом пьяница Захар Гораздых. Он был, наверное, главным зачинщиком.

— Теперь, которые прочие, слухай. Главное, — втихаря, потаюхой. Ежели кто ушатнется, съябедничает, видал финку? Энтою финкой выпущу кишки. Понятно? Теперь нам ни туды, ни сюды, как ни повернись, осиновая вышка. Надо заслужить прощение. Надо исделать штуку, чего свет не видал, из ряду вон. Они требуют его живого, в веревках. Теперь слышишь, к энтим лесам подходит ихний сотник Гулевой. (Ему подсказали, как правильно, он не расслышал и поправился: «генерал Галеев».) Такого случая другой раз не будет. Вот ихние делегаты. Они вам все докажут. Они говорят, беспременно чтобы связанного, живьем. Сами спросите товарищей. Говори, которые прочие. Скажи им что-нибудь, братва.

Стали говорить чужие, подосланные. Юрий Андреевич не мог уловить ни одного слова. По продолжительности общего молчания можно было вообразить обстоятельность сказанного. Опять заговорил Гораздых.

— Слышали, братцы? Теперь вы сами видите, какое нам попало золотце, какое зельце. За такого ли платиться? Рази это человек? Это порченый, блаженный, вроде как бы недоросток или скитник. Я те дам ржать, Терешка! Ты чего зубы скалишь, содомский трех? Не тебе на зубки говорится. Да. Вроде как во отрочестве скитник. Ты ему поддайся, он тебя вконец обмонашит, охолостит. Какие его речи? Изгоним в среде, долой сквернословие, борьба с пьянством, отношение к женщине. Нешто можно так жить? Окончательное мое слово. Седни в вечер у речной переправы, где камни сложены. Я его выманю на елань. Кучей навалимся. С ним сладить какая хитрость? Это раз плюнуть. В чем кавычка? Они хочут надо живьем. Связать. А увижу, не выходит по-нашему, сам расправлюсь, пристукну своими руками. Они своих вышлют, помогут.

Говоривший продолжал развивать план заговора, но вместе с остальными стал удаляться, и доктор перестал их слышать.

«Ведь это они Ливерия, мерзавцы! — с ужасом и возмущением думал Юрий Андреевич, забывая, сколько раз сам он проклинал своего мучителя и желал ему смерти. — Негодяи собираются выдать его белым или убить его. Как предотвратить это? Подойти как бы случайно к костру и, никого не называя, поставить в известность Каменновдворского. И как-нибудь предостеречь Ливерия об опасности».

Каменновдворского на прежнем месте не оказалось. Костер догорал. За огнем следил, чтобы он не распространился, помощник Каменновдворского.

Но покушение не состоялось. Оно было пресечено. О заговоре, как оказалось, знали. В этот день он был раскрыт до конца и заговорщики схвачены. Сивоблюй играл тут двойственную роль сыщика и совратителя. Доктору стало еще противнее.

9

Стало известно, что беженки с детьми уже в двух переходах. В Лисьем отоке готовились к скорому свиданию с домашними и назначенному вслед за этим снятию лагеря и выступлению. Юрий Андреевич пошел к Памфилу Палых.

Доктор застал его у входа в палатку с топором в руке. Перед палаткой высокой кучей были навалены срубленные на жерди молодые березки. Памфил их еще не обтесал. Одни тут и были срублены и, рухнув всею тяжестью, остриями подломившихся сучьев воткнулись в сыроватую почву. Другие он притащил с недалекого расстояния и наложил сверху. Вздрагивая и покачиваясь на упругих подмятых ветвях, березы не прилегали ни к земле, ни одна к другой. Они как бы руками отбивались от срубившего их Памфила и целым лесом живой зелени загораживали ему вход в палатку.

— В ожидании дорогих гостей, — сказал Памфил, объясняя, чем он занят. — Жене, детишкам будет палатка низка. И заливат в дождь. Хочу колыями верх подпереть. Нарубил слег.

— Ты напрасно, Памфил, думаешь, что семью пустят к тебе жить в палатку. Чтобы невоенным, женщинам и детям, в самом войске стоять, где это видано? Их где-нибудь на краю в обозе поставят. В свободное время ходи к ним на свидание, сделай одолжение. А чтобы в воинскую палатку, это едва ли. Да не в этом дело. Говорили, худаешь ты, пить-есть не стал, не спишь? А на вид ничего. Только немного оброс.

Памфил Палых был здоровенный мужик с черными всклокоченными волосами и бородой и шишковатым лбом, производившим впечатление двойного вследствие утолщения лобной кости, подобием кольца или медного обруча обжимавшего его виски. Это придавало Памфилу недобрый и зловещий вид человека косящегося и глядящего исподлобья.

В начале революции, когда по примеру девятьсот пятого года опасались, что и на этот раз революция будет кратковременным событием в истории просвещенных верхов, а глубоких низов не коснется и в них не упрочится, народ всеми силами старались распропагандировать, революционизировать, переполошить, взбаламутить и разъярить.

В эти первые дни люди, как солдат Памфил Палых, без всякой агитации, лютой озверелой ненавистью ненавидевшие интеллигентов, бар и офицерство, казались редкими находками восторженным левым интеллигентам и были в страшной цене. Их бесчеловечность представлялась чудом классовой сознательности, их варварство — образцом пролетарской твердости и революционного инстинкта. Такова была утвердившаяся за Памфилом слава. Он был на лучшем счету у партизанских главарей и партийных вожаков.

Юрию Андреевичу этот мрачный и необщительный силач казался не совсем нормальным вырожденком вследствие общего своего бездушия и однообразия и убогости того, что было ему близко и могло его занимать.

— Войдем в палатку, — пригласил Памфил.

— Нет, зачем. И не влезть мне. На воздухе лучше.

— Ладно. Будь по-твоему. И впрямь пора. Побалакаем на должиках (так называл он сваленные в длину деревья).

И они уселись на ходивших и пружинившихся под ними березовых стволах.

— Скоро, говорят, сказка сказывается, да не скоро дело делается. А и сказку мою не скоро сказать. В три года не выложить. Не знаю, с чего и начать.

Ну, так, что ли. Жили мы с хозяйкой моей. Молодые. Домовничала она. Не жаловался, крестьянствовал я. Дети. Взяли в солдаты. Погнали фланговым на войну. Ну, война. Что мне об ней тебе рассказывать. Ты ее видал, товарищ медврач. Ну, революция. Прозрел я. Открылись глаза у солдата. Не тот немец, ко-

торый германец, чужой, а который свой. Солдаты мировой революции, штыки в землю, домой с фронта, на буржуев! И тому подобное. Ты это все сам знаешь, товарищ военный медврач. И так далее. Гражданская. Вливаюсь в партизаны. Теперь много пропущу, а то никогда не кончить. Теперь, долго ли, коротко ли, что я вижу в текущий момент? Он, паразит, с Российского фронта первый и второй Ставропольский снял и первый Оренбургский казачий. Нешто я маленький, не понимаю? Нешто я в армии не служил? Плохо наше дело, военный доктор, наше дело табак. Он что, сволочь, хочет? Он всей этой прорвой на нас навалиться хочет. Он нас хочет взять в кольцо.

Теперь в настоящее время жена у меня, детишки. Ежели он теперь одолеет, куда они от него уйдут? Разве он возьмет в толк, что они всему неповинные, делу сторона? Не станет он на это смотреть. За меня жене руки скрутит, запытает, за меня жену и детей замучит, по суставчикам, по косточкам переберет. Вот и спи и ешь тут, изволь. Даром что чугунный, согласишься, тронешься.

— Чудак ты, Памфил. Не понимаю тебя. Годы без них обходился, ничего про них не знал, не тужил. А теперь не сегодня завтра с ними свидишься, и чем радоваться, панихиду по них поешь.

— То прежде, а то теперь, большая разница. Одолевает нас белопогонная гадина. Да не обо мне речь. Мое дело гроб. Туда, видно, мне и дорога. Да ведь своих-то родименьких я с собой на тот свет не возьму. Достанутся они в лапы поганому. Всю-то кровь он из них выпустит по капельке.

— И от этого бегунчики? Говорят, бегунчики тебе какие-то являются.

— Ну ии ладно, доктор. Я не все тебе сказал. Не сказал главного. Ну, ладно, слушай мою правду колкую, не взыщи, я тебе все в глаза скажу.

Много я вашего брата в расход пустил, много на мне крови господской, офицерской, и хоть бы что. Числа-имени не помню, вся водой растеклась. Оголец у меня один из головы нейдет, огольца одного я стукнул, забыть не могу. За что я парнишку погубил? Рассмешил, уморил он меня. Со смеху застрелил, сдуру. Ни за что.

В февральскую было. При Керенском. Бунтовали мы. На чугунке было дело. Послали к нам мальчишку агитаря, языком нас

в атаку подымать. Чтобы воевали мы до победного конца. Приехал кадетик нас языком умирять. Такой шупленький. Был у него лозунг: до победного конца. Вскочил он с этим лозунгом на пожарный ушат, пожарный ушат стоял на станции. Вскочил он, значит, на ушат, чтобы оттуда призывать в бой ему повыше, и вдруг крышка у него под ногами подвернулась, и он в воду. Оступился. Ой смехота! Я так и покатился. Думал, помру. Ой умора! А у меня в руках ружье. А я хохочу-хохочу, и все тут, хоть ты что хошь. Ровно он меня зашекотал. Ну, приложился я и хлоп его на месте. Сам не понимаю, как это вышло. Точно меня кто под руку толкнул.

Вот, значит, и бегунчики мои. По ночам станция мерещится. Тогда было смешно, а теперь жалко.

— В городе Мелюзееве было, станция Бирючи?

— Запомятовал.

— С зыбушинскими жителями бунтовали?

— Запомятовал.

— Фронт-то какой был? На каком фронте? На Западном?

— Вроде Западный. Все может быть. Запомятовал.

1957

Вопросы и задания

1. В чем своеобразие «метафорического письма» Б.Л. Пастернака? Каковы творческие взаимоотношения художника и окружающего мира в стихотворении «Февраль. Достать чернил и плакать!..»? Что стоит за пастернаковской формулой «слагания стихов навзрыд»? (См. статью учебника «Искусство активного понимания поэзии Бориса Пастернака», раздел «Борис Леонидович Пастернак».)

2. Проанализируйте самостоятельно стихотворение Б.Л. Пастернака «Плачущий сад», опираясь на ряд теоретико-литературных понятий, предложенный в рубрике учебника «Самостоятельный анализ текста» (раздел учебника «Борис Леонидович Пастернак»).

3. Как в стихотворении Б.Л. Пастернака раскрывается философская сущность поэтического творчества и особый статус художника в мире? Какое звучание в лирике Пастернака обретает традиционная для русской поэзии тема поэта и славы, подлинного и мнимого успеха? Выделите ряд поэтических формул Б.Л. Пастернака, ставших своеобразными эмблема-

ми творчества поэта. Как отразилось в них стремление поэта «во всем... дойти до самой сути»?

4. Как в лирике Б.Л. Пастернака отображена «обратная связь» между миром человека и бытием природы? Сравните два пастернаковских шедевра — «Когда разгуляется» и «Снег идет». Какие состояния природы и человека запечатлены в этих стихотворениях? Как пересекаются в них сиюминутное и вечное, зримое и недоступное «обыденному» взгляду? Каким смыслом наполнен глагол «разгуляется» в знаменитом пастернаковском цикле («Когда разгуляется»)? (См. статью учебника «Существования ткань сквозная», раздел «Борис Леонидович Пастернак».)

5. К каким выразительным средствам прибегает поэт, рисуя образ возлюбленной («Любить иных — тяжелый крест...», «Никого не будет в доме...»)? В чем секрет особого обаяния интимной лирики Б.Л. Пастернака?

6. Как в «Стихотворениях Юрия Живаго» отразились трагические черты «новой» эпохи? Какую роль играют в них христианские сюжеты и символы, а также литературные реминисценции? Какие ценности противопоставляет поэт разрушительной стихии исторического времени, поглощающей человеческие судьбы?

7. Выделите основные темы романа Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго». Какие узловые вопросы времени затронул автор романа? Как объединились в нем эпическое и лирическое начала?

8. Проанализируйте главу «Лесное воинство» из 2-й книги «Доктора Живаго». Что вынес герой романа из общения с представителями «революционной массы»? В чем смысл споров между Юрием Живаго и партизанским вождем Ливерием?

9. Проведите параллели между «партизанскими» главами романа Б.Л. Пастернака и содержанием фадеевского «Разгрома». Чем отличается «максимализм» фадеевского Мечика от «гамлетизма» Живаго? Какова роль образа Памфила Палых в пастернаковской концепции «русского бунта»? (См. статью учебника «Духовные искания героев романа «Доктор Живаго», раздел «Борис Леонидович Пастернак».)

10. Прочитайте стихотворение Б.Л. Пастернака «В больнице». Как представлен в нем трагический исход земного пути человека? Что противопоставляет поэт скорбной неизбежности личного небытия?

Владимир Владимирович НАБОКОВ
1899—1977

* * *

Глаза прикрою — и мгновенно,
весь легкий, звонкий весь, стою
опять в гостинной незабвенной,
в усадьбе, у себя, в раю.

И вот из зеркала косого
под лепетанье хрусталей
глядят фарфоровые совы —
пенаты юности моей.

И вот, над полками, гортензий
легчайшая голубизна,
и солнца луч, как Божий вензель,
на венском стуле, у окна.

По потолку гудит досада
двух заплутавшихся шмелей,
и веет свежестью из сада,
из глубины густых аллей,

неизъяснимой веет смесью
еловой, липовой, грибной:
там, по сырому пестролесью, —
свист, щебетанье, гам цветной!

А дальше — сон речных извилин
и сенокоса тонкий мед.
Стой, стой, виденье! Но бессилен
мой детский возглас. Жизнь идет,

с размаху небеса ломая,
идет... ах, если бы навек
остаться так, не разжимая
росистых и блаженных век!

1923

К РОССИИ

Отвяжись, я тебя умоляю!
Вечер страшен, гул жизни затих.
Я беспомощен. Я умираю
от слепых наплываний твоих.

Тот, кто вольно отчизну покинул,
волен быть на вершинах о ней,
но теперь я спустился в долину,
и теперь приближаться не смей.

Навсегда я готов затаиться
и без имени жить. Я готов,
чтоб с тобой и во снах не сходиться,
отказаться от всяческих снов;

обескровить себя, искалечить,
не касаться любимейших книг,
променять на любое наречье
все, что есть у меня, — мой язык.

Но зато, о Россия, сквозь слезы,
сквозь траву двух несмежных могил,
сквозь дрожащие пятна березы,
сквозь все то, чем я смолodu жил,

дорогими слепыми глазами
не смотри на меня, пожалей,
не ищи в этой угольной яме,
не нащупывай жизни моей!

Ибо годы прошли и столетья,
и за горе, за муку, за стыд, —
поздно, поздно! — никто не ответит
и душа никому не простит.

1939

МАШЕНЬКА (Отрывок)

Глава 2

<...>

Когда в понедельник, около половины третьего, Ганин вошел в столовую, все уже были в сборе. Алферов, увидя его, приветливо улыбнулся, привстал, но Ганин руки не подал и, молча кивнув, занял свое место рядом с ним, заранее проклиная прилипчивого соседа. Подтягин, опрятный скромный старик, который не ел, а кушал, шумно присасывая и придерживая левой рукой салфетку, заткнутую за воротник, посмотрел поверх стекол пенсне на Ганина и потом с неопределенным вздохом снова принялся за суп. Ганин в минуту откровенности как-то рассказал ему о тяжелой Людмилиной любви и теперь жалел об этом. Колин, его сосед слева, передал ему с дрожащей осторожностью тарелку супа и при этом взглянул на него так вкрадчиво, так улыбнулись его странные, с поволокой, глаза, что Ганину стало неловко. Меж тем справа уже бежал маслом смазанный тенорок Алферова, возражавшего на что-то сказанное Подтягиным, сидевшим против него.

— Напрасно хааете, Антон Сергеевич. Культурнейшая страна. Не чета нашей сторонущке.

Подтягин ласково блеснул стеклами и обратился к Ганину:

— Поздравьте меня, сегодня мне прислали визу. Прямо хоть орденскую ленту надевай да к президенту в гости.

У него был необыкновенно приятный голос, тихий, без всяких повышений, звук мягкий и матовый. Полное, гладкое лицо, с седой щеточкой под самой нижней губой и с отступающим подбородком, было как будто покрыто сплошным красноватым загаром, и ласковые морщинки отходили от ясных, умных глаз. В профиль он был похож на большую поседевшую морскую свинку.

— Очень рад, — сказал Ганин. — Когда же вы едете?

Но Алферов не дал старику ответить и продолжал, дергая по привычке шеей, тощей, в золотистых волосках, с крупным прыгающим кадыком.

— Я советую вам здесь остаться. Чем тут плохо? Это, так сказать, прямая линия. Франция скорее зигзаг, а Россия наша, та —

просто загогулина. Мне очень нравится здесь: и работать можно, и по улицам ходить приятно. Математически доказываю вам, что если уж где-нибудь житье-бытье...

— Но я же говорю вам, — мягко прервал Подтягин, — горы бумаг, гроба картонные, папки, папки без конца! Полки под ними так и ломаются. И полицейский чиновник, пока отыскивал мою фамилию, чуть не подох от натуги. Вы вообще не можете себе и представить (при словах «и представить» Подтягин тяжело и жалобно повел головой), сколько человеку нужно перестрадать, чтобы получить право на выезд отсюда. Одних бланков сколько я заполнил. Сегодня уж думал — стукнут мне выездную визу... Куда там... Послали сниматься, а карточки только вечером будут готовы.

— Очень все правильно, — закивал Алферов, — так и должно быть в порядочной стране. Тут вам не российский кавардак. Вы обратили внимание, например, что на парадных дверях написано? «Только для господ». Это знаменательно. Вообще говоря, разницу между, скажем, нашей страной и этой можно так выразить: вообразите сперва кривую, и на ней...

Ганин, не слушая дальше, обратился к Кларе, сидевшей против него:

— Меня вчера просила Людмила Борисовна вам передать, чтобы вы ей позвонили, как только вернетесь со службы. Это насчет кинематографа, кажется.

Клара растерянно подумала: «Как он это так просто говорит о ней... Ведь он знает, что я знаю...»

Она спросила ради приличия:

— Ах, вы ее вчера видели?

Ганин удивленно двинул бровями и продолжал есть.

— Я не совсем понимаю вашу геометрию, — тихо говорил Подтягин, осторожно счищая ножиком хлебные крошки себе в ладонь. Как большинство стареющих поэтов, он был склонен к простой человеческой логике.

— Да как же, это так ясно, — взволновался Алферов, — вообразите...

— Не понимаю, — твердо повторил Подтягин и, откинув слегка голову, всыпал собранные крошки себе в рот. Алферов быстро развел руками, сшиб стакан Ганина.

— Ах, извините!..

— Пустой, — сказал Ганин.

— Вы не математик, Антон Сергеич, — суетливо продолжал Алферов. — А я на числах, как на качелях, всю жизнь прокачался. Бывало, говорил жене: раз я математик, ты мать-и-мачеха...

Горпоцветов и Колин залились тонким смехом. Госпожа Дорн вздрогнула, испуганно посмотрела на обоих.

— Одним словом: цифра и цветок, — холодно сказал Ганин. Только Клара улыбнулась. Ганин стал наливать себе воды, все смотрели на его движение.

— Да, вы правы, нежнейший цветок, — протяжно сказал Алферов, окинув соседа своим блестящим, рассеянным взглядом.

— Прямо чудо, как она пережила эти годы ужаса. Я вот уверен, что она приедет сюда цветущая, веселая... Вы — поэт, Антон Сергеевич, опишите-ка такую штуку, — как женственность, прекрасная русская женственность, сильнее всякой революции, переживает все, — невзгоды, террор...

Колин шепнул Ганину: «Вот он опять... Вчера уже только и было речи, что об его жене...»

«Экий пошляк, — подумал Ганин, глядя на движущуюся бородку Алферова, — а жена у него, верно, шустрая... Такому не изменять — грех...»

— Сегодня — барашек, — провозгласила вдруг Лидия Николаевна деревянным голосом, исподлобья глядя, как жильцы ее невнимательно едят жаркое. Алферов почему-то поклонился и продолжал:

— Напрасно, батюшка, не берете такой темы. — (Подтягин мягко, но решительно мотал головой.) — Может быть, когда увидите мою жену, то поймете, что я хочу сказать... Кстати, она очень любит поэзию. Столкуетесь. И я вам вот еще что скажу...

Колин, украдкой, отбивал такт, искоса посматривая на Алферова. Горноцветов тихо покатывался со смеху, глядя на палец своего друга.

— А главное, — все тараторил Алферов, — ведь с Россией — кончено. Смыли ее, как вот знаете, если мокрой губкой мазнуть по черной доске, по нарисованной роже...

— Однако... — усмехнулся Ганин.

— Не любо слушать, Лев Глебович?

— Не любо, но не мешаю, Алексей Иванович.

— Что же, вы тогда считаете, может быть, что...

— Ах господа, — своим матовым, чуть шепелявым голосом перебил Подтягин, — без политики. Зачем политика?

— А все-таки, мсье Алферов не прав, — неожиданно вставила Клара и проворно поправила прическу.

— Ваша жена приезжает в субботу? — через весь стол невинным голосом спросил Колин, и Горноцветов прыснул в салфетку.

— В субботу, — ответил Алферов, отставляя тарелку с недоеденной бараниной. Его глаза, заблеставшие было воинственным огоньком, сразу задумчиво погасли.

— Знаете что, Лидия Николаевна, — сказал он, — мы вчера с Глеб Львовичем в лифте застряли.

— Компот, — ответила госпожа Дорн, — грушевый.

Танцоры расхохотались. Эрика, толкая боками локти сидевших за столом, стала убирать тарелки. Ганин тщательно свернул салфетку, втиснул ее в кольцо и встал, сладкого он не ел.

«Тощища какая... — думал он, возвращаясь в свою комнату. — И что мне теперь делать? Выйти погулять, что ли?..»

Этот день его, как и предыдущие, прошел вяло, в какой-то безвкусной праздности, лишенной мечтательной надежды, которая делает праздность прелестной. Бездействие теперь его тяготило, а дела не было. Подняв воротник старого макинтоша, купленного за один фунт у английского лейтенанта в Константинополе, и крепко засунув кулаки в карманы, он медленно, вразвалку, пошатался по бледным апрельским улицам, где плыли и качались черные купола зонтиков, и долго смотрел в витрину пароходного общества на чудесную модель Мавритании, на цветные шнуры, соединяющие гавани двух материков на большой карте. И в глубине была фотография тропической рощи, — шоколадного цвета пальмы на бледно-коричневом небе.

Он с час попивал кофе, сидя у чистого огромного окна, и смотрел на прохожих. Вернувшись домой, он пробовал читать, но то, что было в книге, показалось ему таким чужим и неуместным, что он бросил ее посредине придаточного предложения. На него нашло то, что он называл «рассеянье воли». Он сидел не шевелясь перед столом и не мог решить, что ему делать: переменить ли положение тела, встать ли, чтобы пойти вымыть руки, отворить ли окно, за которым пасмурный день уже переходил в сумерки... Это было мучительное и страшное состояние, несколько похожее на ту тяжкую тоску, что охватывает нас, когда,

уже выйдя из сна, мы не сразу можем раскрыть, словно навсегда слипшиеся, веки. Так и Ганин чувствовал, что мутные сумерки, которыми постепенно наливалась комната, заполняют его все-го, претворяют самую кровь в туман, что нет у него сил пресечь сумеречное наваждение. А сил не было потому, что не было у него определенного желанья, и мученье было именно в том, что он тщетно искал желанья. Он не мог принудить себя протянуть руку к лампе, чтобы включить свет. Ему казался невысказанным чудом этот простой переход от намеренья к его осуществлению. Ничто не украшало его бесцветной тоски, мысли ползли без связи, сердце билось тихо, белое докучливо липло к телу. То казалось ему, что вот сейчас нужно написать к Людмиле письмо, твердо объяснить ей, что пора прервать этот тусклый роман, то вспоминалось ему, что вечером нужно с ней идти в кинематограф, и почему-то было гораздо труднее решиться позвонить, чтобы отказаться от сегодняшней встречи, нежели написать письмо, и потому он не мог исполнить ни того, ни другого.

А сколько раз уже он клялся себе, что завтра же с нею порвет, придумывал без труда нужные выражения, но никак не мог себе представить вот ту последнюю минуту, когда пожмет ей руку и спокойно выйдет из комнаты. Вот это движение — повернуться, уйти — казалось невысказанным. Он был из породы людей, которые умеют добиваться, достигать, настигать, но совершенно не способны ни к отречению, ни к бегству, — что в конце концов одно и то же. Так мешались в нем чувство чести и чувство жалости, отуманивая волю этого человека, способного в другое время на всякие творческие подвиги, на всякий труд, и принимающегося за этот труд жадно, с охотой, с радостным намерением все одолеть и всего достичь.

Он не знал, какой толчок извне должен произойти, чтобы дать ему силы порвать трехмесячную связь с Людмилой, так же как не знал, что именно должно случиться, чтобы он мог встать со стула. Очень недолго продолжалось подлинное его увлечение, то состояние его души, при котором Людмила ему представлялась в обольстительном тумане, состояние ищущего, высокого, почти неземного волнения, подобное музыке, играющей именно тогда, когда мы делаем что-нибудь совсем обыкновенное — идем от столика к буфету, чтобы расплатиться, — и превращающей

это наше простое движение в какой-то внутренний танец, в значительный и бессмертный жест.

Эта музыка смолкла в тот миг, когда ночью, на тряском полу темного таксомотора, Людмила ему отдалась, и сразу все стало очень скучным, — женщина, поправлявшая шляпу, что съехала ей на затылок, огни, мелькавшие мимо окон, спина шофера, горой черневшая за передним стеклом.

Теперь приходилось расплачиваться за эту ночь трудным обманом, продолжать эту ночь без конца и бессильно, безвольно предаваться ее ползучей тени, которая теперь насытила все углы комнаты, превратила мебель в облака. Он впал в туманную дремоту, подперев лоб ладонью и странно вытянув под столом одеревеневшие ноги.

А потом, в кинематографе, сталолюдно и жарко. Очень долго молча, без музыки, по экрану мелькали крашенные рекламы, рояли, платья, духи. Наконец заиграл оркестр, и началась драма.

Людмила была весела необычайно. Она пригласила Клару пойти вместе, оттого что отлично чувствовала, что той нравится Ганин, и хотела доставить удовольствие и ей, и самой себе, щегольнуть своим романом и умением его скрывать. Клара же согласилась пойти, оттого что знала, что Ганин в субботу собирается уезжать, и между прочим удивлялась, что Людмила словно об этом не знает, — или, может быть, нарочно ничего не говорит, а уедет с ним вместе.

Ганин, сидевший между ними, был раздражен тем, что Людмила, как большинство женщин ее типа, все время, пока шла картина, говорила о посторонних вещах, перегибалась через колени Ганина к подруге, обдавая его каждый раз холодным, неприятно-знакомым запахом духов. Меж тем картина была занимательная, прекрасно сделанная.

— Послушайте, Людмила Борисовна, — не выдержал наконец Ганин, — перестаньте шептать. Уже немец за мной сердится.

Она в темноте быстро глянула на него, откинувшись, посмотрела на сияющее полотно.

— Я ничего не понимаю, сплошная чепуха какая-то.

— Вольно было вам шептать, — сказал Ганин. — Немудрено, что ничего не понимаете.

На экране было светящееся, сизое движение: примадонна, совершившая в жизни своей невольное убийство, вдруг вспоминала о нем, играя в опере роль преступницы, и, выкатив огромные неправдоподобные глаза, валилась навзничь на подмостки. Медленно проплыла зала театра, публика рукоплещет, ложи и ряды встают в экстазе одобренья. И внезапно Ганину померещилось что-то смутно и жутко знакомое. Он с тревогой вспомнил грубо сколоченные ряды, сиденья и барьеры лож, выкрашенные в злое фиолетовый цвет, ленивых рабочих, вольно и равнодушно, как синие ангелы, переходивших с балки на балку высоко наверху или наводивших слепительные жерла юпитеров на целый полк россиян, согнанный в громадный сарай и снимавшийся в полном неведении относительно общей фабулы картины. Он вспомнил молодых людей в поношенных, но на диво сшитых одеждах, лица дам в лиловых и желтых разводах грима и тех безобидных изгнанников, старичков да невзрачных девиц, которых сажали в самую глубь, лишь для заполнения фона. Теперь внутренность того холодного сарая превратилась на экране в уютный театр, рогожа стала бархатом, нищая толпа — театральной публикой. Он напряг зрение и с пронзительным содроганием стыда узнал себя самого среди этих людей, хлопавших по заказу, и вспомнил, как они все должны были глядеть вперед, на воображаемую сцену, где никакой примадонны не было, а стоял на помосте среди фонарей толстый рыжий человек без пиджака и до одури орал в рупор.

Двойник Ганина тоже стоял и хлопал, вон там, рядом с чернобородым, очень эффектным господином, с лентой поперек белой груди. Он попадал всегда в первый ряд за эту вот бородку и крахмальное белье, а в перерывах жевал бутерброд, а потом, после съемки, надевал поверх фрака убогое пальтишко и ехал к себе домой, в отдаленную часть Берлина, где работал наборщиком в типографии.

И Ганин в этот миг почувствовал не только стыд, но и быстротечность, неповторимость человеческой жизни. Там, на экране, его худощавый облик, острое, поднятое кверху лицо и хлопавшие руки исчезли в сером круговороте других фигур, а еще через мгновение зал, повернувшись как корабль, ушел, и теперь показывали пожилую, на весь мир знаменитую актрису, очень искусно изображавшую мертвую молодую женщину. «Не знаем,

что творим», — с отвращением подумал Ганин, уже не глядя на картину.

Людмила снова шепталась с Кларой — о какой-то портнихе, материи, — драма подходила к концу, и Ганину было смертельно скучно. Когда через несколько минут они пробирались к выходу, Людмила к нему прижалась, шепнула: «Позвоню тебе завтра в два, миленький...»

Ганин и Клара проводили ее до дому и потом вместе пошли в свой пансион. Ганин молчал, и Клара мучительно старалась найти тему для разговора.

— Вы, говорят, в субботу уезжаете? — спросила она.

— Не знаю, ничего не знаю... — хмуро ответил Ганин.

Он шел и думал, что вот теперь его тень будет странствовать из города в город, с экрана на экран, что он никогда не узнает, какие люди увидят ее и как долго она будет мыкаться по свету. И когда потом он лег в постель и слушал поезда, насквозь проходившие через этот унылый дом, где жило семь русских потерянных теней, — вся жизнь ему представилась той же съемкой, во время которой равнодушный статист не ведает, в какой картине он участвует.

<...>

1926

ОБЛАКО, ОЗЕРО, БАШНЯ

Один из моих представителей, скромный, кроткий холостяк, прекрасный работник, как-то на благотворительном балу, устроенном эмигрантами из России, выиграл увеселительную поездку. Хотя берлинское лето находилось в полном разливе (вторую неделю было сыро, холодно, обидно за все зеленевшее зря, и только воробьи не унывали), ехать ему никуда не хотелось, но когда в конторе общества увеспоездок он попробовал билет свой продать, ему ответили, что для этого необходимо особое разрешение от министерства путей сообщения; когда же он и туда сунулся, то оказалось, что сначала нужно составить сложное прошение у нотариуса на гербовой бумаге да, кроме того, раздобыть

в полиции так называемое «свидетельство о невыезде из города на летнее время», причем выяснилось, что издержки составят треть стоимости билета, т. е. как раз ту сумму, которую, по истечении нескольких месяцев, он мог надеяться получить. Тогда, повздохав, он решил ехать. Взял у знакомых алюминиевую фляжку, подновил подошвы, купил пояс и фланелевую рубашку вольного фасона, — одну из тех, которые с таким нетерпением ждут стирки, чтобы сесть. Она, впрочем, была велика этому милому, коротковатому человеку, всегда аккуратно подстриженному, с умными и добрыми глазами. Я сейчас не могу вспомнить его имя и отчество. Кажется, Василий Иванович.

Он плохо спал накануне отбытия. Почему? Не только потому, что утром надо вставать непривычно рано и, таким образом, брать с собой в сон личико часов, тикающих рядом на столике, а потому, что в ту ночь ни с того ни с сего ему начало мниться, что эта поездка, навязанная ему случайной судьбой в открытом платье, поездка, на которую он решился так неохотно, принесет ему вдруг чудное, дрожащее счастье, чем-то схожее и с его детством, и с волнением, возбуждаемым в нем лучшими произведениями русской поэзии, и с каким-то когда-то виденным во сне вечерним горизонтом, и с тою чужою женой, которую он восьмой год безвыходно любил (но еще полнее и значительнее всего этого). И кроме того, он думал о том, что всякая настоящая хорошая жизнь должна быть обращением к чему-то, к кому-то.

Утро поднялось пасмурное, но теплое, парное, с внутренним солнцем, и было совсем приятно трястись в трамвае на далекий вокзал, где был сборный пункт: в экскурсии, увы, участвовало несколько персон. Кто они будут, эти сонные — как все еще нам незнакомые — спутники? У кассы номер шесть, в семь утра, как было указано в примечании к билету, он и увидел их (его уже ждали: минуты на три он все-таки опоздал). Сразу выделился долговязый блондин в тирольском костюме, загорелый до цвета петушиного гребня, с огромными, золотисто-оранжевыми, волосатыми коленями и лакированным носом. Это был снаряженный обществом вожак, и как только новоприбывший присоединился к группе (состоявшей из четырех женщин и стольких же мужчин), он ее повел к запрятанному за поездками поезду, с устрашающей легкостью неся на спине свой чудовищный рюкзак и крепко цокая подкованными башмаками. Разместились в

пустом вагончике сугубо третьего класса, и Василий Иванович, сев в сторонке и положив в рот мятку, тотчас раскрыл томик Тютчева, которого давно собирался перечесть («Мы слизь. Реченная есть ложь», — и дивное о румянном восклицании); но его попросили отложить книжку и присоединиться ко всей группе. Пожилой почтовый чиновник в очках, со щетинисто сизыми черепом, подбородком и верхней губой, словно он сбрил ради этой поездки какую-то необыкновенно обильную растительность, тотчас сообщил, что бывал в России и знает немножко по-русски, например, «пацлуй», да так подмигнул, вспоминая проказы в Царицыне, что его толстая жена набросала в воздухе начало оплеухи наотмашь. Вообще становилось шумно. Перекидывались пудовыми шутками четверо, связанные тем, что служили в одной и той же строительной фирме, — мужчина постарше, Шульц, мужчина помоложе, Шульц тоже, и две девицы с огромными ртами, задастые и непоседливые. Рыжая, несколько фарсового типа вдова в спортивной юбке тоже кое-что знала о России (Рижское взморье). Еще был темный, с глазами без блеска, молодой человек, по фамилии Шрам, с чем-то неопределенным, бархатно-гнусным, в облике и манерах, все время переводивший разговор на те или другие выгодные стороны экскурсии и дававший первый знак к восхищению: это был, как узналось впоследствии, специальный подогреватель от общества увеспоездов.

Паровоз, шибко-шибко работая локтями, бежал сосновым лесом, затем — облегченно — полями, и понимая еще только смутно всю чушь и ужас своего положения, и, пожалуй, пытаясь уговорить себя, что все очень мило, Василий Иванович ухитрялся наслаждаться мимолетными дарами дороги. И действительно: как это все увлекательно, какую прелесть приобретает мир, когда заведен и движется каруселью! Какие выясняются вещи! Жгучее солнце пробиралось к углу окошка и вдруг обливало желтую лавку. Безумно быстро неслась плохо выглаженная тень вагона по травяному скату, где цветы сливались в цветные строки. Шлагбаум: ждет велосипедист, опираясь одной ногой на землю. Деревья появлялись партиями и отдельно, поворачивались равнодушно и плавно, показывая новые моды. Синяя сырость оврага. Воспоминание любви, переодетое лугом. Перистые облака, вроде небесных борзых. Нас с ним всегда поражала эта страшная для души анонимность всех частей пейзажа, невоз-

можность никогда узнать, куда ведет вон та тропинка, — а ведь какая соблазнительная глушь! Бывало, на дальнем склоне или в лесном просвете появится и как бы замрет на мгновение, как задержанный в груди воздух, место до того очаровательное, — полянка, терраса, — такое полное выражение нежной, благожелательной красоты, что, кажется, вот бы остановить поезд и туда, навсегда, к тебе, моя любовь... но уже бешено заскакали, вертятся в солнечном кипятке, тысячи буковых стволов, и опять прозевал счастье. А на остановках Василий Иванович смотрел иногда на сочетание каких-нибудь совсем ничтожных предметов — пятно на платформе, вишневая косточка, окурок, — и говорил себе, что никогда-никогда не запомнит и не вспомнит более вот этих трех штучек в таком-то их взаимном расположении, этого узора, который, однако, сейчас он видит до бессмертности ясно; или еще, глядя на кучку детей, ожидающих поезда, он изо всех сил старался высмотреть хоть одну замечательную судьбу — в форме скрипки или короны, пропеллера или лиры, — и досматривался до того, что вся эта компания деревенских школьников являлась ему как на старом снимке, воспроизведенном теперь с белым крестиком над лицом крайнего мальчика: детство героя.

Но глядеть в окно можно было только урывками. Всем были розданы нотные листки со стихами от общества:

Распростиись с пустой тревогой,
Палку толстую возьми
И шагай большой дорогой
Вместе с добрыми людьми.

По холмам страны родимой
Вместе с добрыми людьми,
Без тревоги нелюдимою,
Без сомнений, черт возьми.

Километр за километром
Ми-ре-до и до-ре-ми,
Вместе с солнцем, вместе с ветром,
Вместе с добрыми людьми.

Это надо было петь хором. Василий Иванович, который не то что петь, а даже плохо мог произносить немецкие слова, вос-

пользовался неразборчивым ревом слившихся голосов, чтобы только приоткрывать рот и слегка покачиваться, будто в самом деле пел, — но предводитель по знаку вкрадчивого Шрама вдруг резко приостановил общее пение и, подозрительно шурясь в сторону Василия Ивановича, потребовал, чтоб он пропел соло. Василий Иванович прочистил горло, застенчиво начал, и после минуты одиночного мучения подхватили все, но он уже не смел выпасть.

У него было с собой: любимый огурец из русской лавки, булка и три яйца. Когда наступил вечер и низкое алое солнце целиком вошло в замызганный, закачанный, собственным грохотом оглушенный вагон, было всем предложено выдать свою провизию, дабы разделить ее поровну, — это тем более было легко, что у всех кроме Василия Ивановича было одно и то же. Огурец всех рассмешил, был признан несъедобным и выброшен в окошко. Ввиду недостаточности пая, Василий Иванович получил меньшую порцию колбасы.

Его заставляли играть в скат, тормозили, расспрашивали, проверяли, может ли он показать на карте маршрут предприятия, — словом, все занимались им, сперва добродушно, потом с угрозой, растущей по мере приближения ночи. Обоих девиц звали Гретами, рыжая вдова была чем-то похожа на самого петуха-предводителя.

Шрам, Шульц и другой Шульц, почтовый чиновник и его жена, все они сливались постепенно, срастаясь, образуя одно сборное, мягкое, многорукое существо, от которого некуда было деваться. Оно налезало на него со всех сторон. Но вдруг на какой-то станции все повылезли, и это было уже в темноте, хотя на западе еще стояло длиннейшее, розовейшее облако, и, пронзая душу, подальше на пути горел дрожащей звездой фонарь сквозь медленный дым паровоза, и во мраке цыкали сверчки, и откуда-то пахло жасмином и сеном, моя любовь.

Ночевали в кривой харчевне. Матерый клоп ужасен, но есть известная грация в движении шелковистой лепизмы. Почтового чиновника отделили от жены, помещенной с рыжей, и подарили на ночь Василию Ивановичу. Кровати занимали всю комнату. Сверху перина, снизу горшок. Чиновник сказал, что спать ему что-то не хочется, и стал рассказывать о своих русских впечатлениях несколько подробнее, чем в поезде. Это было упрямое и обстоятельное чудовище в арестантских подштанниках, с перла-

мутровыми когтями на грязных ногах и медвежьим мехом между толстыми грудями. Ночная бабочка металась по потолку, чокаясь со своей тенью.

— В Царицыне, — говорил чиновник, — теперь имеются три школы: немецкая, чешская и китайская. Так, по крайней мере, уверяет мой зять, ездивший туда строить тракторы.

На другой день с раннего утра и до пяти пополудни пылили по шоссе, лениво переходившему с холма на холм, а затем пошли зеленой дорогой через густой бор. Василию Ивановичу, как наименее нагруженному, дали нести под мышкой огромный круглый хлеб. До чего я тебя ненавижу, насущный! И все-таки его драгоценные, опытные глаза примечали что нужно. На фоне еловой черноты вертикально висит сухая иголка на невидимой паутинке.

Опять ввалились в поезд, и опять было пусто в маленьком, без перегородок, вагоне. Другой Шульц стал учить Василия Ивановича играть на мандолине. Было много смеху. Когда это надоело, затеяли славную забаву, которой руководил Шрам; она состояла вот в чем: женщины ложились на выбранные лавки, а под лавками уже спрятаны были мужчины, и вот, когда из-под той или другой вылезала красная голова с ушами или большая, с подъябочным направлением пальцев, рука (вызывавшая визг), то и выяснялось, кто с кем попал в пару. Трижды Василий Иванович ложился в мерзкую тьму, и трижды никого не оказывалось на скамейке, когда он из-под нее выползал. Его признали проигравшим и заставили съесть окурочек.

Ночь провели на соломенных тюфяках в каком-то сарае и спозаранку отправились снова пешком. Елки, обрывы, пенистые речки. От жары, от песен, которые надо было беспрестанно горланить, Василий Иванович так изнемог, что на полднемном привале немедленно уснул и только тогда проснулся, когда на нем стали шлепать мнимых оводов. А еще через час ходьбы вдруг и открылось ему то самое счастье, о котором он как-то вполгреззы подумал.

Это было чистое, синее озеро с необыкновенным выражением воды. Посередине отражалось полностью большое облако. На той стороне, на холме, густо облепленном древесной зеленью (которая тем поэтичнее, чем темнее), высилась прямо из дактиля в дактиль старинная черная башня. Таких, разумеется, видов

в средней Европе сколько угодно, но именно, именно этот, по невыразимой и неповторимой согласованности его трех главных частей, по улыбке его, по какой-то таинственной невинности, — любовь моя! послушная моя! — был чем-то таким единственным, и родным, и давно обещанным, так понимал созерцателя, что Василий Иванович даже прижал руку к сердцу, словно смотрел: тут ли оно, чтоб его отдать.

Поодаль Шрам, тыкая в воздух альпенштоком предводителем, обращал Бог весть на что внимание экскурсантов, расположившихся кругом на траве в любительских позах, а предводитель сидел на пне, задом к озеру, и закусывал. Потихоньку, прячась за собственную спину, Василий Иванович пошел берегом и вышел к постоялому двору, где, прижимаясь к земле, смеясь, истово бия хвостом, его приветствовала молодая еще собака. Он вошел с нею в дом, пегий, двухэтажный, с прищуренным окном под выпуклым черепичным веком и нашел хозяина, рослого старика, смутно инвалидной внешности, столь плохо и мягко изъяснявшегося по-немецки, что Василий Иванович перешел на русскую речь; но тот понимал как сквозь сон и продолжал па языке своего быта, своей семьи. Наверху была комната для приезжих. «Знаете, я сниму ее на всю жизнь», — будто бы сказал Василий Иванович, как только в нее вошел. В ней ничего не было особенного, — напротив, это была самая дюжинная комнатка, с красным полом, с ромашками, намалеванными на белых стенах, и небольшим зеркалом, наполовину полным ромашкового настоя, — но из окошка было ясно видно озеро с облаком и башней, в неподвижном и совершенном сочетании счастья. Не рассуждая, не вникая ни во что, лишь беспрекословно отдаваясь влечению, правда которого заключалась в его же силе, никогда еще не испытанной, Василий Иванович в одну солнечную секунду понял, что здесь, в этой комнатке с прелестным до слез видом в окне, наконец-то так пойдет жизнь, как он всегда этого желал. Как именно пойдет, что именно здесь случится, он этого не знал, конечно, но все кругом было помощью, обещанием и отрадой, так что не могло быть никакого сомнения в том, что он должен тут поселиться. Мигом он сообразил, как это исполнить, как сделать, чтобы в Берлин не возвращаться более, как выписать сюда свое небольшое имущество — книги, синий костюм, ее фотографию.

Все выходило так просто! У меня он зарабатывал достаточно на малую русскую жизнь.

— Друзья мои, — крикнул он, прибежав снова вниз на прибрежную полянку. — Друзья мои, прощайте! Навсегда остаюсь вон в том доме. Нам с вами больше не по пути. Я дальше не еду. Никуда не еду. Прощайте!

— То есть как это? — странным голосом проговорил предводитель, выдержав небольшую паузу, в течение которой медленно линияла улыбка на губах у Василия Ивановича, между тем как сидевшие на траве привстали и каменными глазами смотрели на него.

— А что? — пролепетал он. — Я здесь решил...

— Молчать! — вдруг со страшной силой заорал почтовый чиновник. — Опомнись, пьяная свинья!

— Пойдите, господа, — сказал предводитель, — одну минуточку, — и, облизнувшись, он обратился к Василию Ивановичу:

— Вы, должно быть, действительно подвыпили, — сказал он спокойно. — Или сошли с ума. Вы совершаете с нами увеселительную поездку. Завтра по указанному маршруту — посмотрите у себя на билете — мы все возвращаемся в Берлин. Речи не может быть о том, чтобы кто-либо из нас — в данном случае вы — отказался продолжать совместный путь. Мы сегодня пели одну песню, — вспомните, что там было сказано. Теперь довольно! Собирайтесь, дети, мы идем дальше.

— Нас ждет пиво в Эвальде, — ласково сказал Шрам. — Пять часов поездом. Прогулки. Охотничий павильон. Угольные копи. Масса интересного.

— Я буду жаловаться, — завопил Василий Иванович. — Отдайте мне мой мешок. Я вправе остаться где желаю. Да ведь это какое-то приглашение на казнь, — будто добавил он, когда его подхватили под руки.

— Если нужно, мы вас понесем, — сказал предводитель, — но это вряд ли будет вам приятно. Я отвечаю за каждого из вас и каждого из вас доставлю назад живым или мертвым.

Увлекаемый, как в дикой сказке по лесной дороге, зажатый, скрученный, Василий Иванович не мог даже обернуться и только чувствовал, как сияние за спиной удаляется, дробимое деревьями, и вот уже нет его, и кругом чернеет бездейственно ропщущая чаша. Как только сели в вагон и поезд двинулся, его

начали избивать, — били долго и довольно изощренно. Придумали, между прочим, буравить ему штопором ладонь, потом ступню. Почтовый чиновник, побывавший в России, соорудил из палки и ремня кнут, которым стал действовать, как черт, ловко. Молодчина! Остальные мужчины больше полагались на свои железные каблуки, а женщины пробавлялись щипками да пощечинами. Было превесело.

По возвращении в Берлин он побывал у меня. Очень изменился. Тихо сел, положив на колени руки. Рассказывал. Повторял без конца, что присужден отказаться от должности, умолял отпустить, говорил, что больше не может, что сил больше нет быть человеком. Я его отпустил, разумеется.

1937

Вопросы и задания

1. Как в стихотворениях В. Набокова разных лет звучит тема России, отчего дома? В чем проявляется драматизм взаимоотношений между поэтом и родиной? Каково сходство и различие «ностальгической» лирики В.В. Набокова и произведений других русских поэтов XX века — И. Бунина, С. Есенина, М. Цветаевой?

2. Какие приемы использует В.В. Набоков, рисуя драму эмигрантского небытия в романе «Машенька»? Что представляют собой обитатели пансиона госпожи Дорн? Почему так непрочно, зыбко их существование? (См. статью учебника «Роман «Машенька» (1926) — начало века бездорожья героев Набокова», раздел «Владимир Владимирович Набоков».)

3. В чем проявляется противоречивость внутреннего облика главного героя «Машеньки»? Что мешает Ганину исполнить задуманное в финале романа? Почему героиня романа, имя которой вынесено в заглавие, является лишь в воспоминаниях героя?

4. Каковы особенности образной стилистики романа «Машенька»? Какую роль в развитии сюжетно-событийной канвы играют воспоминания героя, его духовные «странствия» на фоне внешне остановившейся жизни? Раскройте роль образно-символических деталей в романе (вещи, описание интерьера и т.п.), «говорящих» событий и ситуаций (посещение кинематографа, потеря Подтягиным паспорта и т.д.). Какое место среди прочих деталей занимают часы, отмечающие логику событий в жизни главного героя?

5. Каково авторское отношение к героям романа? Свой ответ аргументируйте.

6. Проанализируйте рассказ В. Набокова «Облако, озеро, башня», опираясь на вопросы и задания в рубрике «Самостоятельный анализ текста» (раздел «Владимир Владимирович Набоков»). Найдите образно-тематические параллели, сближающие содержание рассказа с проблематикой романа «Машенька».

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ

Илья Григорьевич ЭРЕНБУРГ
1891—1967

СВОБОДА ИЛИ СМЕРТЬ!

В жизни народов, в жизни каждого человека бывают суровые часы. Нужно уметь глядеть правде в глаза. Над нашей родиной нависла опасность. Гитлер несет нам унижение, ярмо, жизнь на четвереньках.

Они идут на нас — дикари СС, померанские помещики, офицеры с моноклями, фельдфебели, разбухшие от пива, палачи, которые пытаются по последнему слову техники, спесивые чужеземцы; они хотят обратить наш народ в быдло, в холопов, в машину.

Они хотят нас онемечить, заставить забыть Пушкина и Шевченко. Они хотят расставить в наших городах держиморд, которые будут орать по-немецки на перекрестках. Они хотят выстроить в шеренги белорусов и армян, таджиков и грузин и гаркнуть: «Айн-цвай!»

Презренный Гитлер назвал Льва Толстого «ублюдком». Они хотят сжечь книги Толстого и Горького. Они хотят, чтобы улицы в наших городах были названы именами бандитов — «проспект Геринга» и «переулок Геббельса».

Они хотят по сто раз в день напоминать нам, что мы «низшая раса», что мы должны молиться на их поганных «фонов» — фон Клейстов и фон Риббентропов.

Они хотят поселить на нашей земле своих колонистов, раздать наши нивы и сады Шмидтам и Мюллерам. Колхозники

должны стать батраками у немецких помещиков. Они уже разработали план колонизации нашей черноземной полосы.

Они хотят, чтобы наши рабочие работали на них. Герр Феглер уже заявил, что его «штальферейн» возьмет русскую руду. Они сидят в бомбоубежищах, над которыми кружат английские бомбардировщики, и обсуждают, кто получит акции Магнитогорска, кто акции Юзовки. Они мечтают о немецком тресте, который будет эксплуатировать нефтяные промыслы Баку.

Они хотят, чтобы наша интеллигенция исчезла. Они пошлют учителей на полевые работы, инженеров — мостить им дороги, врачей — ухаживать за их свиньями. Они говорят, что у них хватит своей, немецкой интеллигенции на всю Европу.

Они хотят, чтобы мы жили для них и на них, чтобы мы разговаривали шепотом, чтобы мы дышали по указке.

Советские люди дорожат культурой. Для них книги, картины, песни — это воздух, которым они дышат. Свободен доступ в наши школы. У нас знание — для всех, как солнце для всех. Мы гордимся Толстым. Мы лелеем наших детей — это Пушкины и Толстые завтрашнего дня.

Много веков России. Мы дорожим ее историей, ее культурой, ее славой. Двадцать три года Советскому государству. Мы дорожим его молодостью, его воздухом — воздухом братства и свободы. Сверстники Октября — летчики, танкисты, пехотинцы — дышат героикой нашей великой революции, пафосом красногвардейцев и партизан.

Мы знаем, что все теперь поставлено на карту: наша свобода, наша жизнь, наше будущее. Мы защищаем право свободно дышать. Мы защищаем мир и счастье наших детей.

Никогда, никогда, никогда советские люди не станут рабами! Женщины говорят бойцам: «Защитите нас от позора!» Дети просят: «Отвоюйте нам свободную жизнь!» Русские березы и украинские вишенники шелестят ветвями: «Мы не хотим зелены для насильников!» И бойцы Красной Армии идут на смертный бой с одним чувством — свобода или смерть!

Василий Иванович ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ
1898—1949

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!

Не смеют крылья черные
Над Родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!

Встает страна огромная,
Встает на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!

1941

Константин Михайлович СИМОНОВ **1915—1979**

А. Суркову

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,

Как слезы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали: «Господь вас спаси!»
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.

Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась,

Как будто за каждую русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в Бога не верящих внуков своих.

Ты знаешь, наверное, все-таки родина —
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.

Не знаю, как ты, а меня с деревенской
Дорожной тоской от села до села,
Со вдовьей слезою и песнею женскою
Впервые война на проселках свела.

Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом,
По мертвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, как на смерть одетый, старик.

Ну, что им сказать, чем утешить могли мы их?
Но, горе поняв своим бабьим чутьем,
Ты помнишь, старуха сказала: «Родимые,
Покуда идите, мы вас подождем».

«Мы вас подождем!» — говорили нам пажити.
«Мы вас подождем!» — говорили леса.
Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется,
Что следом за мной их идут голоса.

По русским обычаям, только пожарища
На русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирают товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.

Нас пули с тобою пока еще милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За русскую землю, где я родился,

За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.

1941

* * *

В.С.

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло. —
Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, —
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

1941

Алексей Александрович СУРКОВ
1899—1983

Софье Кревс

Бьется в тесной печурке огонь.
На поленьях смола, как слеза,
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.

Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.

Ты сейчас далеко-далеко.
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти — четыре шага.

Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.

1941

Ольга Федоровна БЕРГГОЛЬЦ
1910—1975**ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ**
(Отрывок)

...Когда прижимались солдаты, как тени,
к земле и уже не могли оторваться, —
всегда находился в такое мгновенье
один безымянный, Сумевший Подняться.

Правдива грядущая гордая повесть:
она подтвердит, не прикрасив нимало, —
один поднимался, но был он — как совесть.
И всех за такими с земли поднимало.

Не все имена поколение запомнит.
Но в тот иступленный, клокочущий полдень
безусый мальчишка, гвардеец и школьник,
поднялся — и цепи штурмующих поднял.

Он знал, что такое Воронья гора.
Он встал и шепнул, а не крикнул: — Пора!

Он полз и бежал, распрямлялся и гнулся,
он звал, и хрипел, и карабкался в гору,
он первым взлетел на нее, обернулся
и ахнул, увидев открывшийся город!

И может быть, самый счастливый на свете,
всей жизнью в тот миг торжествуя победу, —
он смерти мгновенной своей не заметил,
ни страха, ни боли ее не изведав.

Он падал лицом к Ленинграду. Он падал,
а город стремительно мчался навстречу..
...Впервые за долгие годы снаряды
на улицы к нам не ложились в тот вечер.

И звезды мерцали, как в детстве, отрадно
над городом темным, уставшим от бедствий..
— Как тихо сегодня у нас в Ленинграде, —
сказала сестра и уснула, как в детстве.

«Как тихо», — подумала мать и вздохнула.
Так вольно давно никому не вздыхалось.
Но сердце, привыкшее к смертному гулу,
забытой земной тишины испугалось.

1944

Михаил Васильевич ИСАКОВСКИЙ
1900—1973

* * *

Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда ж теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?

Пошел солдат в глубоком горе
На перекресток двух дорог,
Нашел солдат в широком поле
Травой заросший бугорок.

Стоит солдат — и словно комья
Застряли в горле у него.
Сказал солдат: «Встречай, Прасковья,
Героя — мужа своего.

Готовь для гостя угощенье.
Накрой в избе широкий стол, —
Свой день, свой праздник возвращения
К тебе я праздновать пришел...»

Никто солдату не ответил,
Никто его не повстречал,
И только теплый летний ветер
Траву могильную качал.

Вздохнул солдат, ремень поправил,
Раскрыл мешок походный свой,
Бутылку горькую поставил
На серый камень гробовой.

«Не осуждай меня, Прасковья,
Что я пришел к тебе такой:
Хотел я выпить за здоровье,
А должен пить за упокой.

Сойдутся вновь друзья, подружки,
Но не сойтись вовеки нам...»
И пил солдат из медной кружки
Вино с печалью пополам.

Он пил — солдат, слуга народа, —
И с болью в сердце говорил:
«Я шел к тебе четыре года,
Я три державы покорил...»

Хмелел солдат, слеза катилась,
Слезая несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.

1946

Алексей Иванович ФАТЬЯНОВ **1919—1959**

СОЛОВЬИ

Пришла и к нам на фронт весна,
Солдатам стало не до сна —
Не потому, что пушки бьют,
А потому, что вновь поют,
Забыв, что здесь идут бои,
Поют шальные соловьи.

Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят...

Но что война для соловья —
У соловья ведь жизнь своя.
Не спит солдат, припомнив дом
И сад зеленый над прудом,

Где соловьи всю ночь поют,
А в доме том солдата ждут.

Ведь завтра снова будет бой,
Уж так назначено судьбой,
Чтоб нам уйти, недолюбив,
От наших жен, от наших нив.
Но с каждым шагом в том бою
Нам ближе дом в родном краю.

Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят,
Немного пусть поспят...

1960

Муса Мустафиевич ДЖАЛИЛЬ **1906—1944**

ПТАШКА

Бараков цепи и песок сыпучий
Колючкой огорожены кругом.
Как будто мы жуки в навозной куче:
Здесь копошимся. Здесь мы и живем.

Чужое солнце всходит над холмами,
Но почему нахмурилось оно?
Не греет, не ласкает нас лучами, —
Безжизненное, бледное пятно...

За лагерем простерлось к лесу поле,
Отбивка кос там по утрам слышна.
Вчера с забора, залетев в неволю,
Нам пела пташка добрая одна.

Ты, пташка, не на этом пой заборе.
Ведь в лагерь наш опасно залетать.
Ты видела сама — тут кровь и горе,
Тут слезы заставляют нас глотать.

Ой, гостя легкокрылая, скорее
Мне отвечай: когда в мою страну
Ты снова полетишь, свободно рея?
Хочу я просьбу высказать одну.

В душе непокоренной просьба эта
Жилищею была немало дней.
Мой быстрокрылый друг! Как песнь поэта,
Мчись на простор моих родных полей.

По крыльям-стрелам и по звонким песням
Тебя легко узнает мой народ.
И пусть он скажет: — О поэте весть нам
Вот эта пташка издали несет.

Враги надели на него оковы,
Но не сумели волю в нем сломить.
Пусть в заточенье он, поэта слово
Никто не в силах заковать, убить...

Свободной песней пленного поэта
Спеши, моя крылатая, домой.
Пусть сам погибну на чужбине где-то,
Но будет песня жить в стране родной!

1942

ПАЛАЧУ

Не преклоню колен, палач, перед тобою,
Хотя я узник твой, я раб в тюрьме твоей.
Придет мой час — умру. Но знай: умру я стоя,
Хотя ты голову отрубишь мне, злодей.

Увы, не тысячу, а только сто в сраженье
Я уничтожить смог подобных палачей.
За это, возвратясь, я попрошу прощенья,
Колена преклонив, у родины моей.

1943

Вопросы и задания

1. Чем объясняется тот факт, что в первые месяцы войны наиболее важным, востребованным жанром оказалась публицистика? Каким пафосом проникнута статья И. Эренбурга «Свобода или смерть!»? Что являлось главной «сверхзадачей» автора?

2. Какие темы и мотивы определяют художественное своеобразие лирики военных лет? Как соотносятся в ней монументальное, эпическое начало, героика и лирическая исповедальность, одухотворенность? Каким читательским ожиданиям отвечала поэзия сурового времени?

3. В чем особенность лироэпической песенной ситуации, родившейся в самом начале Великой Отечественной войны? Почему стихи военной поры тяготели к обретению мелодии, становились песнями?

4. Какими образами и мотивами пронизаны «Моабитские тетради» Мусы Джалиля? Что противопоставляет поэт-узник безжалостной, чело-веконенавистнической сущности фашизма? Что делает «Моабитские тетради» не только трагическим документом эпохи, но и образцом подлинной поэзии? (См. статьи учебника «Публицистика времен войны...», «Основные мотивы лирики военных лет», «Соловьи» Алексея Фатьянова — шедевр песенного эпоса», «Моабитские тетради» (1942–1944) Мусы Джалиля, раздел «Литература периода Великой Отечественной войны (1941–1945)».)

Александр Трифонович ТВАРДОВСКИЙ
1910—1971

ПЕРЕД ДОЖДЕМ

У дороги дуб зеленый
Зашумел листвою каляной.
Над землею истомленной
Дождь собрался долгожданный.

Из-за моря поспешая,
Грозным движима подпором,
Туча темная, большая
Поднималась точно в гору.

Добрый гром далеко где-то
Прокатился краем неба.
Потянуло полным летом,
Свежим сеном, новым хлебом.

Наползая шире, шире,
Туча землю затеняла.
Капли первые большие
Обронились где попало.

Стало тише и тревожней
На земле похолоделой...
Грузовик рванул порожний
По дороге опустелой.

1937

НОЯБРЬ

В лесу заметней стала елка,
Он прибран засветло и пуст.
И, оголенный, как метелка,
Забитый грязью у проселка,
Обдутый изморозью золкой,
Дрожит, свистит лозовый куст.

1943

Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ

Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.

Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки, —
Точно в пропасть с обрыва —
И ни дна ни покрышки.

И во всем этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки
С гимнастерки моей.

Я — где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я — где с облачком пыли
Ходит рожь на холме;

Я — где крик петушиный
На заре по росе;
Я — где ваши машины
Воздух рвут на шоссе;

Где травинку к травинке
Речка травы прядет, —
Там, куда на поминки
Даже мать не придет.

Подсчитайте, живые,
Сколько сроку назад
Был на фронте впервые
Назван вдруг Сталинград.

Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.

Я убит и не знаю,
Наш ли Ржев наконец?

Удержались ли наши
Там, на Среднем Дону?..
Этот месяц был страшен,
Было все на кону.

Неужели до осени
Был за ним уже Дон
И хотя бы колесами
К Волге вырвался он?

Нет, неправда. Задачи
Той не выиграл враг!
Нет же, нет! А иначе
Даже мертвому — как?

И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она — спасена.

Наши очи померкли,
Пламень сердца погас,
На земле на поверке
Выкликают не нас.

Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам — все это, живые.
Нам — отрада одна:

Что недаром боролись
Мы за родину-мать.
Пусть не слышен наш голос, —
Вы должны его знать.

Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мертвых проклятье —
Эта кара страшна.

Это грозное право
Нам навеки дано, —
И за нами оно —
Это горькое право.

Летом, в сорок втором,
Я зарыт без могилы.
Всем, что было потом,
Смерть меня обделила.

Всем, что, может, давно
Вам привычно и ясно,
Но да будет оно
С нашей верой согласно.

Братья, может быть, вы
И не Дон потеряли,
И в тылу у Москвы
За нее умирали.

И в заволжской дали
Спешно рыли окопы,
И с боями дошли
До предела Европы.

Нам достаточно знать,
Что была, несомненно,
Та последняя пядь
На дороге военной.

Та последняя пядь,
Что уж если оставить,
То шагнувшую вспять
Ногу некуда ставить.

Та черта глубины,
За которой вставало
Из-за вашей спины
Пламя кузниц Урала.

И врага обратили
Вы на запад, назад.
Может быть, побратимы,
И Смоленск уже взят?

И врага вы громите
На ином рубеже,
Может быть, вы к границе
Подступили уже!

Может быть... Да исполнится
Слово клятвы святой! —
Ведь Берлин, если помните,
Назван был под Москвой.

Братья, ныне поправшие
Крепость вражьей земли,
Если б мертвые, павшие
Хоть бы плакать могли!

Если б залпы победные
Нас, немых и глухих,
Нас, что вечности преданы,
Воскрешали на миг, —

О, товарищи верные,
Лишь тогда б на войне
Ваше счастье безмерное
Вы постигли вполне.

В нем, том счастье, бесспорная
Наша кровная часть,
Наша, смертью оборванная,
Вера, ненависть, страсть.

Наше все! Не слукавили
Мы в суровой борьбе,
Все отдав, не оставили
Ничего при себе.

Все на вас перечислено
Навсегда, не на срок.
И живым не в упрек
Этот голос наш мыслимый.

Братья, в этой войне
Мы различья не знали:
Те, что живы, что пали, —
Были мы наравне.

И никто перед нами
Из живых не в долгу,
Кто из рук наших знамя
Подхватил на бегу,

Чтоб за дело святое,
За советскую власть
Так же, может быть, точно
Шагом дальше упасть.

Я убит подо Ржевом,
Тот еще под Москвой.
Где-то, воины, где вы,
Кто остался живой?

В городах миллионных,
В селах, дома в семье?
В боевых гарнизонах
На не нашей земле?

Ах, своя ли, чужая,
Вся в цветах иль в снегу...
Я вам жить завещаю, —
Что я больше могу?

Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить.

Горевать — горделиво,
Не клонясь головой,
Ликовать — не хвастливо
В час победы самой.

И беречь ее свято,
Братья, счастье свое —
В память воина-брата,
Что погиб за нее.

1945—1946

О СУЩЕМ

Мне славы тлен — без интереса
И власти мелочная страсть.
Но мне от утреннего леса
Нужна моя на свете часть;
От уходящей в детство стежки
В бору пахучей конопки;
От той березовой сережки,
Что майский дождь прибьет в пыли;
От моря, моющего с пеной
Камень теплых берегов;
От песни той, что юность пела
В свой век — особый из веков;
И от беды и от победы —
Любой людской — нужна мне часть,
Чтоб видеть все и все изведать,
Всему не издали учась...
И не таю еще признанья:
Мне нужно, дорого до слез
В итоге — твердое сознанье,
Что честно я тянул мой воз.

1957—1958

Вся суть в одном-единственном завете:
 То, что скажу, до времени тая,
 Я это знаю лучше всех на свете —
 Живых и мертвых, — знаю только я.

Сказать то слово никому другому
 Я никогда бы ни за что не мог
 Передоверить. Даже Льву Толстому —
 Нельзя. Не скажет — пусть себе он бог.

А я лишь смертный. За свое в ответе,
 Я об одном при жизни хлопочу:
 О том, что знаю лучше всех на свете,
 Сказать хочу. И так, как я хочу.

1958

Дробится рваный цоколь монумента,
 Взывает сталь отбойных молотков.
 Крутой раствор особого цемента
 Рассчитан был на тысячи веков.

Пришло так быстро время пересчета,
 И так нагляден нынешний урок:
 Чрезмерная о вечности забота —
 Она, по справедливости, не впрок,

Но как сцепились намертво камня,
 Разять их силой — выдать семь потов.
 Чрезмерная забота о забвеньи
 Немалых тоже требует трудов.

Все, что на свете сделано руками,
 Рукам под силу обратить на слом.
 Но дело в том,
 Что сам собою камень, —
 Он не бывает ни добром, ни злом.

1963

ИЗ ЦИКЛА «ПАМЯТИ МАТЕРИ»

* * *

В краю, куда их вывезли гуртом,
Где ни села вблизи, не то что города,
На севере, тайгою запертом,
Всего там было — холода и голода.

Но непременно вспоминала мать,
Чуть речь зайдет про все про то, что минуло,
Как не хотелось там ей помирать, —
Уж очень было кладбище немилое.

Кругом леса без края и конца —
Что видит глаз, — глухие, нелюдимые.
А на погосте том — пи деревца,
Ни даже тебе прутика единого.

Так-сяк, не в ряд нарытая земля
Меж вековыми пнями да корягами,
И хоть бы где подальше от жилья,
А то — могилки сразу за бараками.

И ей, бывало, виделись во сне
Не столько дом и двор со всеми справками,
А взгорок тот в родимой стороне
С крестами под березами кудрявыми.

Такая то краса и благодать,
Вдали большак, дымит пыльца дорожная.
— Проснусь, проснусь, — рассказывала мать, —
А за стеною — кладбище таежное...

Теперь над ней березы, хоть не те,
Что снились за тайгою чужедальнею.
Досталось прописаться в тесноте
На вечную квартиру коммунальную.

И не в обиде. И не все ль равно,
Какою метой вечность сверху мечена.
А тех берез кудрявых — их давно
На свете нету. Сниться больше нечему.

1965

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но все же, все же, все же...

1966

Как после мартовских метелей,
Свежи, прозрачны и легки,
В апреле —
Вдруг порозовели
По-вербному березняки.
Весенним заморозком чутким
Подсушен и взбодрен лесок.
Еще одни, другие сутки,
И под корой проснется сок.

И зимний пень березовый
Зальется пеной розовой.

1966

Полночь в мое городское окно
Входит с ночными дарами:
Позднее небо полным-полно
Скученных звезд мирами.

Мне еще в детстве, бывало, в ночном,
Где-нибудь в дедовском поле
Скопища эти холодным огнем
Точно бы в темя кололи.

Сладкой бессонницей юность мою
Звездное небо томило:
Где бы я ни был, казалось, стою
В центре вселенского мира.

В зрелости так не тревожат меня
Космоса дальние светы,
Как муравьиная злая возня
Маленькой нашей планеты.

1967

Чуть зацветет иван-чай, —
С этого самого цвета —
Раннее лето, прощай,
Здравствуй, полдневное лето.

Липа в ночной полумгле
Светит густой позолотой,
Дышит — как будто в дупле
Скрыты горячие соты.

От перестоя трава
Никнет в сухом оперенье.
Как жестяная, мертва
Темная зелень сирени.

Где-то уже позади
День равноденствие славит.
И не впервые дожди
В теплой листве шепелявят.

Не пропускай, отмечай
Снова и снова на свете
Легкую эту печаль,
Убыли-прибыли эти.

Все их приветствуй с утра
Или под вечер с устатку...
Здравствуй, любая пора,
И проходи по порядку.

1967

В чем хочешь человечество вини
И самого себя, слуга народа,
Но ни при чем природа и погода:
Полны добра перед итогом года,
Как яблоки антоновские, дни.

Безветренны, теплы — почти что жарки,
Один другого краше, дни-подарки
Звонят чуть слышно золотом листвы
В самой Москве, в окрестностях Москвы
И где-нибудь, наверно, в пражском парке.

Перед какой безвестною зимой
Каких еще тревог и потрясений
Так свеж и ясен этот мир осенний,
Так сладок каждый вдох и выдох мой?

1968

К обидам горьким собственной персоны
Не призывать участие добрых душ.
Жить, как живешь, своей страдой бессонной, —
Взялся за гуж — не говори: не дуж.

С тропы своей ни в чем не состукая,
Не отступая — быть самим собой.
Так со своей управиться судьбой,
Чтоб в ней себя нашла судьба любая
И чью-то душу отпустила боль.

1968

ВАСИЛИЙ ТЕРКИН (Главы из поэмы)

ПОЕДИНОК

Немец был силен и ловок,
Ладно скроен, крепко шит,
Он стоял, как на подковах,
Не пугай — не побежит.

Сытый, бритый, береженный,
Дармовым добром кормленный,
На войне, в чужой земле
Отоспавшийся в тепле.

Он ударил, не страдая,
Бил, чтоб сбить наверняка.
И была как кость большая
В русской varejke рука...

Не играл со смертью в прятки, —
Взялся — бейся и молчи, —
Теркин знал, что в этой схватке
Он слабей: не те харчи.

Есть войны закон не новый:
В отступленье — ешь ты вдоволь,
В обороне — так ли сяк,
В наступленье — натошак.

Немец стукнул так, что челюсть
Будто вправо подалась.
И тогда боец, не целясь,
Хрястнул немца промеж глаз.

И еще на снег не сплюнул
Первой крови злую соль,
Немец снова в санки сунул
С той же силой, в ту же боль.

Так сошлись, сцепились близко,
Что уже обоймы, диски,
Автоматы — к черту, прочь!
Только б нож и мог помочь.

Бьются двое в клубах пара,
Об ином уже не речь, —
Ладит Теркин от удара
Хоть бы зубы заберечь.

Но покуда Теркин санки,
Сколько мог,
В бою берег,
Двинул немец, точно штангой,
Да не в санки,
А под вздох.

Охнул Теркин: плохо дело,
Плохо, думает боец.
Хорошо, что легок телом —
Отлетел. А то б — конец...

Устоял — и сам с испугу
Теркин немцу дал леща,
Так что собственную руку
Чуть не вынес из плеча.

Черт с ней! Рад, что не промазал,
Хоть зубам не полон счет,
Но и немец левым глазом
Наблюденья не ведет.

Драка — драка, не игрушка!
Хоть огнем горит лицо,
Но и немец красной юшкой
Разукрашен, как яйцо.

Вот он — в полвершке — противник.
Носом к носу. Теснота.

До чего же он противный —
Дух у немца изо рта.

Злобно Теркин сплюнул кровью.
Ну и запах! Валит с ног.
Ах ты, сволочь, для здоровья,
Не иначе, жрешь чеснок!

Ты куда спешил — к хозяйке?
Матка, млеко? Матка, яйки?
Оказать решил нам честь?
Подавай! А кто ты есть,

Кто ты есть, что к нашей бабке
Заявился на порог,
Не спросясь, не скинув шапки
И не вытерши сапог?

Со старухой сладить в силе?
Подавай! Нет, кто ты есть,
Что должны тебе в России
Подавать мы пить и есть?

Не калека ли убогий
Или добрый человек —
Заблудился
По дороге,
Попросился
На ночлег?

Добрым людям люди рады.
Нет, ты сам себе силен.
Ты наводишь
Свой порядок.
Ты приходишь —
Твой закон.

Кто ж ты есть? Мне толку нету,
Чей ты сын и чей отец.

Человек по всем приметам, —
Человек ты? Нет. Подлец!

Двое топчутся по кругу,
Словно пара на кругу,
И глядят в глаза друг другу:
Зверю — зверь и враг — врагу.

Как на древнем поле боя,
Грудь на грудь, что щит на щит, —
Вместо тысяч бьются двое,
Словно схватка все решит.

А вблизи от деревушки,
Где застал их свет дневной,
Самолеты, танки, пушки
У обоих за спиной.

Но до боя нет им дела,
И ни звука с тех сторон.
В одиночку — грудью, телом
Бьется Теркин, держит фронт.

На печальном том задворке,
У покинутых дворов
Держит фронт Василий Теркин,
В забыты глотая кровь.

Бьется насмерть парень бравый,
Так что дым стоит сырой,
Словно вся страна-держава
Видит Теркина:
— Герой!

Что страна! Хотя бы рота
Видеть издали могла,
Какова его работа
И какие тут дела.

Только Теркин не в обиде.
Не затем на смерть идешь,
Чтобы кто-нибудь увидел.
Хорошо б. А нет — ну что ж...

Бьется насмерть парень бравый —
Так, как бьются на войне.
И уже рукою правой
Он владеет не вполне.

Кость гудит от раны старой,
И ему, чтоб крепче бить,
Чтобы слева класть удары,
Хорошо б левшою быть.

Бьется Теркин,
В драке зоркий,
Утирает кровь и пот.
Изнемог, убился Теркин,
Но и враг уже не тот.

Далеко не та заправка,
И побита морда вся,
Словно яблоко-полявка,
Что иначе есть нельзя.

Кровь — сосульками. Однако
В самый жар вступает драка.

Немец горд.
И Теркин горд.
— Раз ты пес, так я — собака,
Раз ты черт,
Так сам я — черт!

Ты не знал мою натуру,
А натура — первый сорт.
В клочья шкуру —
Теркин чуру
Не попросит. Вот где черт!

Кто одной боится смерти —
Кто плевал на сто смертей.
Пусть ты черт. Да наши черти
Всех чертей
В сто раз чертей.

Бей, не милуй. Зубы стисну.
А убьешь, так и потом
На тебе, как клещ, повисну.
Мертвый буду на живом.

Отоспись на мне, будь ласков,
Да свали меня вперед.

Ах, ты вон как! Драться каской?
Ну не подлый ли народ!

Хорошо же! —
И тогда-то,
Злость и боль забрав в кулак,
Незаряженной гранатой
Теркин немца — с левой — шмяк!

Немец охнул и обмяк...

Теркин ворот нараспашку,
Теркин сел, глотает снег,
Смотрит грустно, дышит тяжело, —
Поработал человек.

Хорошо, друзья, приятно,
Сделав дело, ко двору —
В батальон идти обратно
Из разведки поутру.

По земле ступать советской,
Думать — мало ли о чем!
Автомат нести немецкий,
Между прочим, за плечом.

«Языка» — добычу ночи, —
Что идет, куда не хочет,
На три шага впереди
Подгонять:
— Иди, иди...

Видеть, знать, что каждый встречный-
Поперечный — это свой.
Не знаком, а рад сердечно,
Что вернулся ты живой.

Доложить про все по форме,
Сдать трофеи не спеша.
А потом тебя покормят, —
Будет мерою душа.

Старшина отпустит чарку,
Строгий глаз в нее кося.
А потом у печки жаркой
Ляг, поспи. Война не вся.

Фронт налево, фронт направо,
И в февральской вьюжной мгле
Страшный бой идет, кровавый,
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.

«КТО СТРЕЛЯЛ?»

Отдымился бой вчерашний,
Высох пот, металл простыл.
От окопов пахнет пашней,
Летом мирным и простым.

В полверсте, в кустах — противник,
Тут шагам и пядям счет.
Фронт. Война. А вечер дивный
По полям пустым идет.

По следам страды вчерашней,
По немислимой тропе;
По ничьей, помятой, зряшной
Луговой, густой траве;

По земле, рябой от рытвин,
Рваных ям, воронок, рвов,
Смертным зноем жаркой битвы
Опаленных у краев...

И откуда по пустому
Долетел, донесся звук,
Добрый, давний и знакомый
Звук вечерний. Майский жук!

И ненужной горькой лаской
Растревожил он ребят,
Что в росой покрытых касках
По окопчикам сидят.

И такой тоской родною
Сердце сразу обволокло!

Фронт, война. А тут иное:
Выводи коней в ночное,
Торопись на «пяточок».

Отпляшишь, а там сторонкой
Удаляйся в березняк,
Провожай домой девчонку
Да целуй — не будь дурак,
Налегке иди обратно,
Мать заждалася...

И вдруг —
Вдалеке возник невнятный,
Новый, ноющий, двукратный,
Через миг уже понятный
И томящий душу звук.

Звук тот самый, при котором
В прифронтовой полосе
Поначалу все шоферы
Разбегались от шоссе.

На одной постылой ноте
Ност, вост, как в трубе.
И бежать при всей охоте
Не положено тебе.

Ты, как гвоздь, на этом взгорке
Вбился в землю. Не тоскуй.
Ведь — согласно поговорке —
Это малый сабантуй...

Ждут, молчат, глядят ребята,
Зубы сжав, чтоб дрожь унять.
И, как водится, оратор
Тут находится под стать.

С удивительной заботой
Подсказать тебе горазд:
— Вот сейчас он с разворота
И начнет. И жизни даст.
Жизни даст!

Со страшным ревом
Самолет ныряет вниз,
И сильнее нету слова
Той команды, что готова
На устах у всех:
— Ложись!..

Смерть есть смерть. Ее прихода
Все мы ждем по старине.
А в какое время года
Легче гибнуть на войне?

Летом солнце греет жарко,
И вступает в полный цвет

Все кругом. И жизни жалко
До зарезу. Летом — нет.

В осень смерть под стать картине,
В сон идет природа вся.
Но в грязи, в окопной глине
Вдруг загнуться? Нет, друзья...

А зимой — земля, как камень,
На два метра глубиной,
Привалит тебя комками, —
Нет уж, ну ее — зимой.

А весной, весной... Да где там,
Лучше скажем наперед:
Если горько гибнуть летом,
Если осенью — не мед,
Если в зиму дрожь берет,
То весной, друзья, от этой
Подлой шулки — душу рвет.

И какой ты вдруг покорный
На груди лежишь земной,
Заслонясь от смерти черной
Только собственной спиной.

Ты лежишь ничком, парнишка
Двадцати неполных лет.
Вот сейчас тебе и крышка,
Вот тебя уже и нет.

Ты прижал к вискам ладони,
Ты забыл, забыл, забыл,
Как траву щипали кони,
Что в ночное ты водил.

Смерть грохочет в перепонках,
И далек, далек, далек
Вечер тот и та девчонка,
Что любил ты и берег.

И друзей и близких лица,
Дом родной, сучок в стене...
Нет, боец, ничком молиться
Не годится на войне.

Нет, товарищ, зло и гордо,
Как закон велит бойцу,
Смерть встречай лицом к лицу,
И хотя бы плюнь ей в морду,
Если все пришло к концу...

Ну-ка, что за перемена?
То не шутки — бой идет.
Встал один и бьет с колена
Из винтовки в самолет.

Трехлинейная винтовка
На брезентовом ремне,
Да патроны с той головкой,
Что страшна стальной броне.

Бой неравный, бой короткий.
Самолет чужой, с крестом,
Покачнулся, точно лодка,
Зачерпнувшая бортом.

Накреньясь, пошел по кругу,
Кувьркается над лугом, —
Не задерживай — давай,
В землю штопором въезжай!

Сам стрелок глядит с испугом:
Что наделал невзначай.

Скоростной, военный, черный,
Современный, двухмоторный
Самолет — стальная снасть —
Ухнул в землю, завывая,
Шар земной пробить желая
И в Америку попасть.

— Не пробил, старался слабо.

— Видно, место прогадал.

— Кто стрелял? — звонят из штаба. —

Кто стрелял, куда попал?

Адъютанты землю роют,

Дышит в трубку генерал.

— Разыскать тотчас героя.

Кто стрелял? —

А кто стрелял?

Кто не спрятался в окопчик,

Поминая всех родных,

Кто он — свой среди своих —

Не зенитчик и не летчик,

А герой — не хуже их?

Вот он сам стоит с винтовкой,

Вот поздравили его.

И как будто всем неловко —

Неизвестно отчего.

Виноваты, что ль, отчасти?

И сказал сержант спроста:

— Вот что значит парню счастье,

Глядь — и орден, как с куста!

Не промедливши с ответом,

Парень сдачу подает:

— Не горюй, у немца этот —

Не последний самолет...

С этой шуткой-поговоркой,

Облетевшей батальон,

Перешел в герои Теркин, —

Это был, понятно, он.

СМЕРТЬ И ВОИН

За далекие пригорки
Уходил сраженья жар.
На снегу Василий Теркин
Неподобранный лежал.

Снег под ним, набрякши кровью,
Взялся грудой ледяной.
Смерть склонилась к изголовью:
— Ну, солдат, пойдем со мной.

Я теперь твоя подруга,
Недалеко провожу,
Белой вьюгой, белой вьюгой,
Вьюгой след запорошу.

Дрогнул Теркин, замерзая
На постели снеговой.
— Я не звал тебя, Косая,
Я солдат еще живой.

Смерть, смеясь, нагнулась ниже:
— Полно, полно, молодец,
Я-то знаю, я-то вижу:
Ты живой, да не жилец.

Мимоходом тенью смертной
Я твоих коснулась щек,
А тебе и незаметно,
Что на них сухой снежок.

Моего не бойся мрака,
Ночь, поверь, не хуже дня...

— А чего тебе, однако,
Нужно лично от меня?

Смерть как будто бы замялась,
Отклонилась от него.
— Нужно мне... такую малость,
Ну почти что ничего.

Нужен знак один согласья,
Что устал беречь ты жизнь,
Что о смертном молишь часе...

— Сам, выходит, подпишись? —

Смерть подумала.

— Ну что же, —

Подпишись — и на покой.

— Нет, уволь. Себе дороже.

— Не торгуйся, дорогой.

Все равно идешь на убыль. —

Смерть подвинулась к плечу. —

Все равно стянулись губы,

Стынут зубы...

— Не хочу.

— А смотри-ка, дело к ночи,

На мороз горит заря.

Я к тому, чтоб мне короче

И тебе не мерзнуть зря...

— Потерплю.

— Ну, что ты, глупый!

Ведь лежишь, всего светло.

Я б тебя тотчас тулуном,

Чтоб уже навек тепло.

Вижу, веришь. Вот и слезы,

Вот уж я тебе милей.

— Врешь, я плачу от мороза,

Не от жалости твоей.

— Что от счастья, что от боли —

Все равно. А холод лют.

Завилась поземка в поле.

Нет, тебя уж не найдут...

И зачем тебе, подумай,

Если кто и подберет.

Пожалеешь, что не умер
Здесь, на месте, без хлопот...

— Шутишь, Смерть, плетешь тенета. —
Отвернул с трудом плечо. —
Мне как раз пожить охота,
Я и не жил-то еще...

— А и встанешь, толку мало, —
Продолжала Смерть, смеясь. —
А и встанешь — все сначала:
Холод, страх, усталость, грязь...
Ну-ка, сладко ли, дружище,
Рассуди-ка в простоте.

— Что судить! С войны не взыщешь
Ни в каком уже суде.

— А тоска, солдат, в придачу:
Как там дома, что с семьей?

— Вот уж выполняю задачу —
Кончу немца — и домой.

— Так. Допустим. Но тебе-то
И домой к чему прийти?
Догола земля раздета
И разграблена, учти.
Все в забросе.

— Я работник,
Я бы дома в дело вник.

— Дом разрушен.

— Я и плотник...

— Печки нету.

— И печник...

Я от скуки — на все руки,
Буду жив — мое со мной.

— Дай еще сказать старухе:
Вдруг придешь с одной рукой?
Иль еще каким калекой, —
Сам себе и то постыл.

И со Смертью Человеку
Спорить стало свыше сил.
Истекал уже он кровью,
Коченел. Спускалась ночь...

— При одном моем условии,
Смерть, послушай... я не прочь...

И, томим тоской жестокой,
Одинок, и слаб, и мал,
Он с мольбой, не то с упреком
Уговариваться стал:

— Я не худший и не лучший,
Что погибну на войне.
Но в конце ее, послушай,
Дашь ты на день отпуск мне?
Дашь ты мне в тот день последний,
В праздник славы мировой,
Услыхать салют победный,
Что раздастся над Москвой?
Дашь ты мне в тот день немножко
Погулять среди живых?
Дашь ты мне в одно окошко
Постучать в краях родных?
И как выйдут на крылечко, —
Смерть, а Смерть, еще мне там
Дашь сказать одно словечко?
Полсловечка?
— Нет. Не дам...

Дрогнул Теркин, замерзая
На постели снеговой.

— Так пошла ты прочь, Косая,
Я солдат еще живой.

Буду плакать, выть от боли,
Гибнуть в поле без следа,
Но тебе по доброй воле
Я не сдамся никогда.

— Погоди. Резон почище
Я найду, — подашь мне знак...

— Стой! Идут за мною. Ищут.
Из санбата.
— Где, чужак?
— Вон, по стежке занесенной...

Смерть хохочет во весь рот:
— Из команды похоронной.
— Все равно: живой народ.

Снег шуршит, подходят двое.
Об лопату звякнул лом.

— Вот еще остался воин.
К ночи всех не уберем.

— А и то устали за день,
Доставай кисет, земляк.
На покойничке присядем
Да покурим натошак.

— Кабы, знаешь, до затяжки —
Щец горячих котелок.
— Кабы капельку из фляжки.
— Кабы так — один глоток.
— Или два...

И тут, хоть слабо,
Подал Теркин голос свой:

— Прогоните эту бабу,
Я солдат еще живой.

Смотрят люди: вот так штука!
Видят: верно, — жив солдат.

— Что ты думаешь!
— А ну-ка,
Понесем его в санбат.

— Ну и редкостное дело, —
Рассуждают не спеша. —
Одно дело — просто тело,
А тут — тело и душа.

— Еле-еле душа в теле...
— Шутки, что ль, зазяб совсем.
А уж мы тебя хотели,
Понимаешь, в наркомзем...

— Не толкуй. Заждался малый.
Вырубай шинель во льду.
Поднимай.

А Смерть сказала:

— Я, однако, вслед пойду.

Земляки — они к работе
Приспособлены к иной.
Врете, мыслит, растрясете —
И еще он будет мой.

Два ремня да две лопаты,
Две шинели поперек.
— Береги, солдат, солдата.
— Понесли. Терпи, дружок.
Норовят, чтоб меньше тряски,
Чтоб ровнее как-нибудь,
Берегут, несут с опаской:
Смерть сторонкой держит путь.

А дорога — не дорога, —
Целина, по пояс снег.
— Отдохнули б вы немного,
Хлопцы...
— Милый человек, —
Говорит земляк толково, —
Не тревожься, не жалей.
Потому несем живого,
Мертвый вдвое тяжелей.

А другой:
— Оно известно.
А еще и то учеть,
Что живой спешит до места, —
Мертвый дома — где ни есть.

— Дело, стало быть, в привычке, —
Закljučают земляки. —
Что ж ты, друг, без рукавички?
На-ко теплую, с руки...

И подумала впервые
Смерть, следя со стороны:
«До чего они, живые,
Меж собой свои — дружны.
Потому и с одиночкой
Сладить надобно суметь,
Нехотя даешь отсрочку».

И, вздохнув, отстала Смерть.

1941—1945

ПО ПРАВУ ПАМЯТИ

Смыкая возраста уроки,
Сама собой приходит мысль —
Ко всем, с кем было по дороге,
Живым и павшим отнестись.

Она приходит не впервые,
Чтоб слову был двойной контроль:
Где, может быть, смолчат живые,
Так те прервут меня:
— Позволь!
Перед лицом ушедших былей
Не вправе ты кривить душой, —
Ведь эти были оплатили
Мы платой самую большой...
И мне да будет та застава,
Тот строгий знак сторожевой
Залогом речи нелукавой
По праву памяти живой.

1. ПЕРЕД ОТЛЕТОМ

Ты помнишь, ночью предосенней,
Тому уже десятки лет, —
Курили мы с тобой на сене,
Презрев опасливый запрет.

И глаз до света не сомкнули,
Хоть запах сена был не тот,
Что в ночи душные июля
Заснуть подолгу не дает...

То вслух читая чьи-то строки,
То вдруг теряя связь речей,
Мы собирались в путь далекий
Из первой юности своей.

Мы не испытывали грусти,
Друзья — мыслитель и поэт,
Кидая наше захоlustье
В обмен на целый белый свет.

Мы жили замыслом заветным,
Дорваться вдруг

До всех наук —
Со всем запасом их несметным —
И уж не выпустить из рук.

Сомнения дух нам был неведом;
Мы с тем управимся добром
И за отцов своих и дедов
Еще вдобавок доберем...

Мы повторяли, что напасти
Нам никакие нипочем,
Но сами ждали только счастья, —
Тому был возраст обучен.

Мы знали, что оно сторицей
Должно воздать за наш порыв
В премудрость мира с ходу врыться,
До дна ее разворотив.

Готовы были мы к походу.
Что проще может быть:
Не лгать.
Не трусить.
Верным быть народу.
Любить родную землю-мать,
Чтоб за нее в огонь и в воду.
А если —
То и жизнь отдать.

Что проще!
В целости оставим
Таким завет начальных дней.
Лишь от себя теперь добавим:
Что проще — да.
Но что сложнее?

Таковыми были наши дали,
Как нам казалось, без прикрас,
Когда в безудержном запале

Мы в том друг друга убеждали,
В чем спору не было у нас.

И всласть толкуя о науках,
Мы вместе грезили о том,
Ах, и о том, в каких мы брюках
Домой заявимся п о т о м.

Дивись, отец, всплакни, родная,
Какого гостя Бог занес,
Как он пройдет, распространяя
Московский запах папирос.

Москва, столица — свет не ближний,
А ты, родная сторона,
Какой была, глухой, недвижимой,
Нас на побывку ждать должна.

И хуторские посиделки,
И вечеринки чередом,
И чтоб загорьевские девки
Глазами ели нас п о т о м,
Неловко нам совали руки,
Пылая краской до ушей...

А там бы где-то две подруги,
В стенах столичных этажей,
С упреком нежным ожидали
Уже тем часом нас с тобой,
Как мы на нашем сеновале
Отлет обдумывали свой...

И невдомек нам было вроде,
Что здесь, за нашей спиной,
Сорвется с места край родной
И закружится в хороводе
Вслед за метелицей сплошной...

Ты не забыл, как на рассвете
Оповестили нас, дружков,

Об уходящем в осень лете
Запевы юных петушков.

Их голосов надрыв цыплячий
Там, за соломенной стрехой, —
Он отзывался детским плачем
И вместе удалю лихой.

В какой-то сдавленной печали,
С хрипотцей истовой своей
Они как будто отпевали
Конец ребячьих наших дней.

Как будто сами через силу
Обрядный свой тянули сказ
О чем-то памятном, что было
До нас.
И будет после нас.

Но мы тогда на сеновале
Не так прислушивались к ним,
Мы сладко взапуски зевали,
Дивясь, что день, а мы не спим.

И в предотъездном нашем часе
Предвестий не было о том,
Какие нам дары в запасе
Судьба имела на п о т о м.

И где, кому из нас придется,
В каком году, в каком краю
За петушиной той хрипотцей
Расслышать молодость свою.

Навстречу жданной нашей доле
Рвались мы в путь не наугад, —
Она в согласие с нашей волей
Звала отведать хлеба-соли.
Давно ли?
Жизнь тому назад...

2. СЫН ЗА ОТЦА НЕ ОТВЕЧАЕТ

Сын за отца не отвечает —
Пять слов по счету, ровно пять.
Но что они в себе вмещают,
Вам, молодым, не вдруг обнять.

Их обронил в кремлевском зале
Тот, кто для всех нас был одним
Судеб вершителем земным,
Кого народы величали
На торжествах отцом родным.

Вам —
Из другого поколения —
Едва ль постичь до глубины
Тех слов коротких откровенья
Для виноватых без вины.

Вас не смутить в любой анкете
Зловещей некогда графой:
Кем был до вас еще на свете
Отец ваш, мертвый иль живой.

В чаду полуночных собраний
Вас не мытарил тот вопрос:
Ведь вы отца не выбирали, —
Ответ по-нынешнему прост.

Но в те года и пятилетки,
Кому с графой не повезло, —
Для несмываемой отметки
Подставь безропотно чело.

Чтоб со стыдом и мукой жгучей
Носить ее — закон таков.
Быть под рукой всегда — на случай
Нехватки классовых врагов.

Готовым к пытке быть публичной
И к горшей горечи подчас,
Когда дружок твой закадычный
При этом не поднимет глаз...

О, годы юности немилой,
Ее жестоких передряг.
То был отец, то вдруг он — враг.
А мать?
Но сказано: два мира,
И ничего о матерях...

И здесь, куда — за половодьем
Тех лет — спешил ты босиком,
Ты именуешься отродьем,
Не сыном даже, а сынком...

А как с той кличкой жить парнишке,
Как отбывать безвестный срок, —
Не понаслышке,
Не из книжки
Толкует автор этих строк...

Ты здесь, сынок, но ты нездешний,
Какой тебе еще резон,
Когда родитель твой в кромешный,
В тот самый список занесен.

Еще бы ты с такой закваской
Мечтал ступить в запретный круг.

И руку жмет тебе с опаской
Друг закадычный твой...

И вдруг:

— Сын за отца не отвечает.

С тебя тот знак отныне снят.
Счастлив стократ:
Не ждал, не чаял,
И вдруг — ни в чем не виноват.

Конец твоим лихим невзгодам,
Держись бодрей, не нрячь лица.
Благодари отца народов,
Что он простил тебе отца
Родного —

с легкостью неожиданной
Проклятье снял. Как будто он
Ему неведомый и странный
Узрел и отменил закон.

(Да, он умел без оговорок,
Внезапно — как уж припечет —
Любой своих просчетов ворох
Перенести на чей-то счет;
На чье-то вражье искажение
Того, что возвещал завет,
На чье-то головокруженье
От им предсказанных побед.)
Сын — за отца? Не отвечает!
Аминь!

И как бы невдомек:
А вдруг тот сын (а не сынок!),
Права такие получая,
И за отца ответить мог?

Ответить — пусть не из науки,
Пусть не с того зайдя конца,
А только, может, вспомнив руки,
Какие были у отца.

В узлах из жил и сухожилий,
В мослах поскрюченных перстов —
Те, что — со вздохом — как чужие,
Садясь к столу, он клал на стол.
И точно граблями, бывало,
Цепляя

ложки черенок,
Такой увертливый и малый,
Он ухватить не сразу мог.

Те руки, что своею волей —
Ни разогнуть, ни сжать в кулак:
Отдельных не было мозолей —
Сплошная. —

Подлинно — кулак!

И не иначе, с тем расчетом
Горбел годами над землей,
Кропил своим бесплатным потом,
Смыкал над ней зарю с зарей.

И от себя еще добавлю,
Что, может, в час беды самой
Его мужицкое тщеславье,
О, как выиграло — Боже мой!

И в тех краях, где виснул иней
С барачных стен и потолка,
Он, может, полон был гордыни,
Что вдруг сошел за кулака.

Ошибка вышла? Не скажите, —
Себе внушал он самому, —
Уж если этак, значит, — житель,
Хозяин, значит, — потому...

А может быть, в тоске великой
Он покидал свой дом и двор
И отвергал слепой и дикий,
Для круглой цифры, приговор.

И в скопе конского вагона,
Что вез куда-то за Урал,
Держался гордо, отчужденно
От тех, чью долю разделял.

Навалом с ними в той теплушке —
В одном увязанный возу,
Тянутся детям к их краюшке
Не позволяя, тая слезу...

(Смотри, какой ты сердобольный, —
Я слышу вдруг издалека, —

Опять с кулацкой колокольни,
Опять на мельницу врага. —
Доколе, Господи, доколе
Мне слышать эхо древних лет:
Ни мельниц тех, ни колоколен
Давным-давно на свете нет.)

От их злорадства иль участия
Спиной горбатой заслонясь,
Среди врагов советской власти
Один, что славил эту власть;
Ее помощник голоштаный,
Ее опора и боец,
Что на земельке долгожданной
При ней и зажил наконец, —
Он, ею кинутый в погибель,
Не попрекнул ее со злом:
Ведь суть не в малом перегибе,
Когда — Великий перелом...

И верил: все на место встанет
И не замедлит пересчет,
Как только — только лично Сталин
В Кремле письмо его прочтет...

(Мужик не сметил, что отныне,
Проси чего иль не проси,
Не Ленин, даже не Калинин
Был адресат всяя Руси.
Но тот, что в целях коммунизма
Являл иной уже размах
И на газетных полосах
Читал республик целых письма —
Не только в прозе, но в стихах.)

А может быть, и по-другому
Решал мужик судьбу свою:
Коль нет путей обратных к дому,
Не пропадем в любом краю.

Решал — попытка без убытка,
Споровим свой себе указ.
И — будь добра, гора Магнитка,
Зачислить нас в рабочий класс...

Но как и где отец причалит,
Не об отце, о сыне речь:
Сын за отца не отвечает, —
Ему дорогу обеспечить.

Пять кратких слов...
Но год от года
На нет сходили те слова,
И званье сын врага народа
Уже при них вошло в права.

И за одной чертой закона
Уже равняла всех судьба:
Сын кулака иль сын наркома,
Сын командарма иль попа...

Клеймо с рожденья отмечало
Младенца вражеских кровей.
И все, казалось, не хватало
Стране клейменных сыновей.

Недаром в дни войны кровавой
Благословлял ее иной:
Не попрекнув его виной,
Что душу горькой жгла отравой,
Война предоставляла право
На смерть и даже долю славы
В рядах бойцов земли родной.
Предоставляла званье сына
Солдату воинская часть...

Одна была страшна судьбина:
В сражение без вести пропасть.

И до конца в живых изведав
Тот крестный путь, полуживым —
Из плена в плен — под гром победы
С клеймом проследовать двойным.

Нет, ты вовеки не гадала
В судьбе своей, отчизна-мать,
Собрать под небом Магадана
Своих сынов такую рать..

Не знала,
Где всему начало,
Когда успела воспитать
Всех, что за проволокой держала,
За з о н о й той, родная мать...

Средь наших праздников и буден
Не всякий даже вспомнить мог,
С каким уставом к смертным людям
Взывал их посетивший Бог.

Он говорил: иди за мною,
Оставь отца и мать свою,
Все мимолетное, земное
Оставь — и будешь ты в раю.

А мы, кичась неверьем в Бога,
Во имя собственных святынь
Той жертвы требовали строго:
Отринь отца и мать отринь.

Забудь, откуда вышел родом,
И осознай, не прекословь:
В ущерб любви к отцу народов —
Любая прочая любовь.

Ясна задача, дело свято, —
С тем — к высшей цели — прямиком.
Предай в пути родного брата
И друга лучшего тайком.

И душу чувствами людскими
Не отягчай, себя щадя.
И лжесвидетельствуй во имя,
И зверствуй именем вождя.

Любой судьбине благодарен,
Тверди одно, как он велик,
Хотя б ты крымский был татарин,
Ингуш иль друг степей калмык.

Рукоплещи всем приговорам,
Каких постигнуть не дано.
Оклевеши народ, с которым
В изгнание брошен заодно.

И в душном скопище исходов —
Нет, не библейских, наших дней —
Превозноси отца народов:
Он сверх всего.
Ему видней.
Он все начала возвещает
И все концы, само собой.

Сын за отца не отвечает —
Закон, что также означает:
Отец за сына — головой.

Но все законы погасила
Для с а м о г о благая ночь.
И не ответчик он за сына,
Ах, ни за сына, ни за дочь.

Там, у немой стены кремлевской,
По счастью, знать не знает он,
Какой лихой бедой отцовской
Покрыт его загробный сон...

Давно отцами стали дети,
Но за всеобщего отца

Мы оказались все в ответе,
И длится суд десятилетий,
И не видать еще конца.

3. О ПАМЯТИ

Забыть, забыть велят безмолвно,
Хотят в забвенье утопить
Живую былль. И чтобы волны
Над ней сомкнулись. Быль — забыть!

Забыть родных и близких лица
И стольких судеб крестный путь —
Все то, что сном давнишним будь,
Дурною, дикой небылицей,
Так и ее — поди забудь.

Но это было явной былью
Для тех, чей был оборван век,
Для ставших лагерьною пылью,
Как некто некогда изрек.

Забыть — о, нет, не с теми вместе
Забыть, что не пришли с войны, —
Одних, что даже этой чести
Суровой были лишены.

Забыть велят и просят лаской
Не помнить — память под печать,
Чтоб ненароком той оглаской
Непосвященных не смущать.

О матерях забыть и женах,
Своих — не ведавших вины,
О детях, с ними разлученных,
И до войны,
И без войны.

А к слову — о непосвященных:
Где взять их? Все посвящены.

Все знают все; беда с народом! —
 Не тем, так этим знают родом,
 Не по отметкам и рубцам,
 Так мимоездом, мимоходом,
 Не сам,
 Так через тех, кто сам...

И даром думают, что намять
 Не дорожит сама собой,
 Что ряской времени затянет
 Любую быль,
 Любую боль;

Что так и так — летит планета,
 Годам и дням ведя отсчет,
 И что не взыщется с поэта,
 Когда за призраком запрета
 Смолчит про то, что душу жжет...

Нет, все былые недомолвки
 Домолвить ныне долг велит.
 Пытливой дочке-комсомолке
 Поди сошлись на свой главлит;

Втолкуй, зачем и чья опека
 К статье закрытой отнесла
 Неназываемого века
 Недоброй памяти дела;

Какой, в порядок не внесенный,
 Решил за нас
 Особый съезд
 На этой памяти бессонной,
 На ней как раз
 Поставить крест.

И кто сказал, что взрослым людям
 Страниц иных нельзя прочесть?
 Иль нашей доблести убудет
 И на миру померкнет честь?

Иль, о минувшем вслух поведав,
Мы лишь порадуем врага,
Что за свои платить победы
Случалось нам втридорога?

В новинку ль нам его злословье?
Иль все, чем в мире мы сильны,
Со всей возвращенной нами новью,
И потом политой и кровью,
Уже не стоит той цены?
И дело наше — только греза,
И слава — шум пустой молвы?

Тогда молчаливники правы,
Тогда все прах — стихи и проза,
Все только так — из головы.
Тогда совсем уже — не диво,
Что голос памяти правдивой
Вещал бы нам и впредь беду:
Кто прячет прошлое ревниво,
Тот вряд ли с будущим в ладу...

Что нынче счесть большим, что малым —
Как знать, но люди не трава:
Не обратить их всех навалом
В одних не помнящих родства.

Пусть очевидцы поколенья
Сойдут по-тихому на дно,
Благополучного забвенья
Природе нашей не дано.

Спроста иные затвердили,
Что будто нам про черный день
Не ко двору все эти были,
На нас кидающие тень.

Но все, что было, не забыто,
Не шито-крыто на миру.

Одна неправда нам в убыток,
И только правда ко двору!

А я — не те уже годочки —
Не вправе я себе отсрочки
Предоставлять.

Гора бы с плеч —
Еще успеть без проволочки
Немую боль в слова облечь.

Ту боль, что скрытно временами
И встарь теснила нам сердца
И что глушили мы громами
Рукоплесканий в честь о т ц а.

С предельной силой в каждом зале
Они гремели потому,
Что мы всегда не одному
Тому отцу рукоплескали.

Всегда, казалось, рядом был
Свою земную сдавший смену,
Тот, кто оваций не любил,
По крайней мере знал им цену.

Чей образ вечным и живым
Мир уберег за гранью брэнной,
Кого учителем своим
Именовал о т е ц смиренно...

И, грубо сдвоив имена,
Мы как одно их возглашали
И заносили на скрижали,
Как будто суть была одна.

А страх, что всем у изголовья
Лихая ставила пора,
Нас обучил хранить безмолвье
Перед разгулом недобра.

Велел в безгласной нашей доле
На мысль в спецсектор сдать права,
С тех пор — как отзыв давней боли
Она для нас — явись едва.
Нет, дай нам знак верховной воли,
Дай откровенье Божества.

И наготове вздох особый —
Держанья нашего предел:
Вот если б Ленин встал из гроба,
На все, что стало, поглядел...

Уж он за всеми мелочами
Узрел бы ширь и глубину,
А может быть, пожал плечами
И обронил бы:
— Ну и ну!

Так, сяк гадают те и эти,
Предвидя тот иль этот суд, —
Как наигравшиеся дети,
Что из отлучки старших ждут.

Но все, что стало или станет,
Не сдать, не сбыть нам с рук своих,
И Ленин нас судить не встанет:
Он не был богом и в живых.

А вы, что ныне норовите
Вернуть былую благодать,
Так вы уж Сталина зовите —
Он богом был —
Он может встать.

И что он легок на помине
В подлунном мире, бог-отец,
О том свидетельствует ныне
Его китайский образец...

...Ну что ж, пускай на сеновале,
Где мы в ту ночь отвергли сон,
Иными мнились наши дали —
Нам сокрушаться не резон.

Чтоб мерить все надежной меркой,
Чтоб с правдой сущей быть не врозь,
Многостороннюю проверку
Прошли мы — где кому пришлось.

И опыт — наш почтенный лекарь,
Подчас причудливо крутой, —
Нам подносил по воле века
Его целительный настой.

Зато и впредь как были — будем, —
Какая вдруг ни грянь гроза —
Людьми

из тех людей,
что людям,

Не пряча глаз,
Глядят в глаза.

1966—1969

Вопросы и задания

1. Прочитайте стихотворения А.Т. Твардовского «О сущем» и «Вся суть в одном-единственном завете...». Как выражено в них творческое и гражданское кредо художника? Выполните текстуальный анализ стихотворения «О сущем», опираясь на вопросы из рубрики учебника «Самостоятельный анализ текста» (раздел «Александр Трифонович Твардовский»).

2. Как в стихотворениях «Ноябрь», «Перед дождем» и других отражена связь человека с природой, столь важная для понимания поэтики А.Т. Твардовского? Какие образы и словесные краски использует поэт в передаче животворного единства человеческого и природного мира?

3. Как в творчестве А.Т. Твардовского развивается тема исторической памяти (по стихотворениям «Я убит подо Ржевом», «Памяти матери», поэме «По праву памяти»)?

4. Раскройте философскую проблематику стихотворения «Дробится рваный цоколь монумента...». В чем смысл заключительной сентенции автора?

5. Какие темы и мотивы определяют звучание поздней лирики А.Т. Твардовского? Как противопоставляются в ней вечное и преходящее, истинное и ложное? (См. статьи учебника «Я полон веры несомненной...» и «Поздняя лирика Твардовского», раздел «Александр Трифонович Твардовский».)

6. В чем уникальность и вневременная значительность поэмы А.Т. Твардовского «Василий Теркин»? Как в авторском определении жанра «Теркина» отражена масштабность замысла художника?

7. Какие отличительные черты русского «труженика-солдата» нашли свое воплощение в образе Василия Теркина? В чем герой поэмы Твардовского близок персонажам русского фольклора?

8. Какова роль авторских оценок и комментариев в «теркинских» главах? Что являлось главной целью автора при создании этого ставшего легендарным произведения?

9. Обратившись к тексту «Василия Теркина», прокомментируйте высказывание И.А. Бунина о языке поэмы А.Т. Твардовского: «...Какая меткость, какая точность во всем и какой необыкновенно народный, солдатский язык — ни сучка ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого, слова». (См. статью учебника «Василий Теркин» — книга про бойца Александра Твардовского», раздел «Александр Трифонович Твардовский».)

Николай Алексеевич ЗАБОЛОЦКИЙ
1903—1958

ЛЕБЕДЬ В ЗООПАРКЕ

Сквозь летние сумерки парка
По краю искусственных вод
Красавица, дева, дикарка —
Высокая лебедь плывет.

Плывет белоснежное диво,
Животное, полное грез,
Колебя на лоне залива
Лиловые тени берез.

Головка ее шелковиста,
И мантия снега белей,
И дивные два аметиста
Мерцают в глазницах у пей.

И светлое льется сиянье
Над белым изгибом спины,
И вся она как изваянье
Приподнятой к небу волны.

Скрежещут над парком трамваи,
Скрипит под машинами мост,
Истошно кричат попугаи,
Поджав перламутровый хвост.

И звери сидят в отдаленье,
Приделаны к выступам нор,
И смотрят фигуры оленьи
На воду сквозь тонкий забор.

1948

ПОРТРЕТ

Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.

Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?

Ее глаза — как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Ее глаза — как два обмана,
Покрытых мглою неудач.

Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук.

Когда потемки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
Ее прекрасные глаза.

1953

Я воспитан природой суровой,
Мне довольно заметить у ног
Одуванчика шарик пуховой,
Подорожника твердый клинок.

Чем обычной простое растение,
Тем живее волнует меня
Первых листьев его появление
На рассвете весеннего дня.

В государстве ромашек, у края,
Где ручей, задыхаясь, поет,
Прележал бы всю ночь до утра я,
Запрокинув лицо в небосвод.

Жизнь потоком светящейся пыли
Все текла бы, текла сквозь листья,
И туманные звезды светили,
Заливая лучами кусты.

И, внимая весеннему шуму
Посреди очарованных трав,
Все лежал бы и думал я думу
Беспредельных полей и дубрав.

1953

НЕКРАСИВАЯ ДЕВОЧКА

Среди других играющих детей
Она напоминает лягушонка.
Заправлена в трусы худая рубашонка,
Колечки рыжеватые кудрей
Рассыпаны, рот длинен, зубки кривы,
Черты лица остры и некрасивы.
Двум мальчуганам, сверстникам ее,
Отцы купили по велосипеду.
Сегодня мальчишки, не торопясь к обеду,
Гоняют по двору, забывши про нее,
Она ж за ними бегаёт по следу.
Чужая радость так же, как своя,
Томит ее и вон из сердца рвется,
И девочка ликует и смеется,
Охваченная счастьем бытия.

Ни тени зависти, ни умысла худого
Еще не знает это существо.
Ей все на свете так безмерно ново,
Так живо все, что для иных мертво!

И не хочу я думать, наблюдая,
Что будет день, когда она, рыдая,
Увидит с ужасом, что посреди подруг
Она всего лишь бедная дурнушка!
Мне верить хочется, что сердце не игрушка,
Сломать его едва ли можно вдруг!
Мне верить хочется, что чистый этот пламень,
Который в глубине ее горит,
Всю боль свою один переболит
И перетопит самый тяжкий камень!
И пусть черты ее нехороши
И нечем ей прельстить воображенье, —
Младенческая грация души
Уже сквозит в любом ее движении.
А если это так, то что есть красота
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

1955

ГРОЗА ИДЕТ

Двигается нахмуренная туча,
Обложив полнеба вдалеке,
Двигается, огромна и тягуча,
С фонарем в приподнятой руке.

Сколько раз она меня ловила,
Сколько раз, сверкая серебром,
Сломанными молниями била,
Каменный выкатывала гром!

Сколько раз, ее увидев в поле,
Замедлял я робкие шаги
И стоял, сливаясь поневоле
С белым блеском вольтовой дуги!

Вот он — кедр у нашего балкона.
Надвое громами расщеплен,

Он стоит, и мертвая корона
Подпирает темный небосклон.

Сквозь живое сердце древесины
Пролегает рана от огня,
Иглы, почерневшие с вершины,
Осыпают звездами меня.

Пой мне песню, дерево печали!
Я, как ты, ворвался в высоту,
Но меня лишь молнии встречали
И огнем сжигали на лету.

Почему же, надвое расколот,
Я, как ты, не умер у крыльца,
И в душе все тот же лютый голод,
И любовь, и песня до конца!

1957

ПРИЗНАНИЕ

Зацелована, околдована,
С ветром в поле когда-то обвенчана,
Вся ты словно в оковы закована,
Драгоценная моя женщина!

Не веселая, не печальная,
Словно с темного неба сошедшая,
Ты и песнь моя обручальная,
И звезда моя сумасшедшая.

Я склонюсь над твоими коленями,
Обниму их с неистовой силою,
И слезами и стихотвореньями
Обожгу тебя, горькую, милую.

Отвори мне лицо полуночное,
Дай войти в эти очи тяжелые,
В эти черные брови восточные,
В эти руки твои полуголые.

Что прибавится — не убавится,
 Что не сбудется — позабудется...
 Отчего же ты плачешь, красавица?
 Или это мне только чудится?

1957

МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ КУСТ

Я увидел во сне можжевеловый куст,
 Я услышал вдали металлический хруст,
 Аметистовых ягод услышал я звон,
 И во сне, в тишине, мне понравился он.

Я почуял сквозь сон легкий запах смолы.
 Отогнув невысокие эти стволы,
 Я заметил во мраке древесных ветвей
 Чуть живое подобье улыбки твоей.

Можжевеловый куст, можжевеловый куст,
 Остывающий лепет изменчивых уст,
 Легкий лепет, едва отдающий смолой,
 Проколовший меня смертоносной иглой!

В золотых небесах за окошком моим
 Облака проплывают одно за другим,
 Облетевший мой садик безжизнен и пуст...
 Да простит тебя Бог, можжевеловый куст!

1957

Не позволяй душе лениться!
 Чтоб в ступе воду не толочь,
 Душа обязана трудиться
 И день и ночь, и день и ночь!

Гони ее от дома к дому,
 Тащи с этапа на этап,

По пустырю, по бурелому,
Через сугроб, через ухаб!

Не разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды,
Держи лентяйку в черном теле
И не снимай с нее узды!

Коль дать ей вздумаешь поблажку,
Освобождая от работ,
Она последнюю рубашку
С тебя без жалости сорвет.

А ты хватай ее за плечи,
Учи и мучай дотемна,
Чтоб жить с тобой по-человечьи
Училась заново она.

Она рабыня и царица,
Она работница и дочь,
Она обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

1958

О КРАСОТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЛИЦ

Есть лица, подобные пышным порталам,
Где всюду великое чудится в малом.
Есть лица — подобия жалких лачуг,
Где варится печень и мокнет сычуг.
Иные холодные, мертвые лица
Закрыты решетками, словно темница.
Другие — как башни, в которых давно
Никто не живет и не смотрит в окно.
Но малую хижинку знал я когда-то,
Была неказиста она, небогата,
Зато из окошка ее на меня
Струилось дыханье весеннего дня.

Поистине мир и велик и чудесен!
Есть лица — подобья ликующих песен.
Из этих, как солнце, сияющих нот
Составлена песня небесных высот.

1955

Вопросы и задания

1. Проанализируйте самостоятельно стихотворение Н. Заболоцкого «Я воспитан природой суровой...», пользуясь тезисным планом в рубрике учебника «Самостоятельный анализ текста» (раздел «Николай Алексеевич Заболоцкий»).

2. Как в стихотворениях «Лебедь в зоопарке» и «Некрасивая девочка» решается важнейшая в творчестве Н. Заболоцкого проблема: «Что есть красота?» В чем контрастно и в чем созвучно содержание этих стихотворений? (См. статью учебника «Что есть красота?» — вечный вопрос и завещание Заболоцкого», раздел «Николай Алексеевич Заболоцкий».)

3. В какие эмоциональные тона окрашены стихотворения Н. Заболоцкого «Признание» и «Можжевельный куст», вошедшие в поэтический цикл «Последняя любовь»? Какими средствами пользуется поэт, воссоздавая неповторимую музыку «последней любви»?

4. Что составляет философскую тематику стихотворений-наставлений Н. Заболоцкого («Портрет», «Не позволяй душе лениться!..»)? Какими чувствами и духовными прозрениями поэта наполнены эти внешне неприязнительные, «прямолинейные» призывы и советы?

5. Можно ли считать стихотворение Н. Заболоцкого «Гроза идет» своеобразным очерком творческой биографии поэта? Как в нем показан процесс становления и развертывания таланта, подлинного дара художника?

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50—80-х годов

Евгений Александрович ЕВТУШЕНКО
Р. 1933

Идут белые снега,
как по нитке скользя...
Жить и жить бы на свете,
да, наверно, нельзя.

Чьи-то души, бесследно
растворяясь вдали,
словно белые снега,
идут в небо с земли.

Идут белые снега...
И я тоже уйду.
Не печалюсь о смерти
и бессмертья не жду.

Я не верую в чудо.
Я не снег, не звезда,
и я больше не буду
никогда, никогда.

И я думаю, грешный, —
ну, а кем же я был,
что я в жизни поспешной
больше жизни любил?

А любил я Россию
всею кровью, хребтом —
ее реки в разливе
и когда подо льдом,

дух ее пятистенков,
дух ее сосняков,
ее Пушкина, Стеньку
и ее стариков.

Если было несладко,
я не шибко тужил.
Пусть я прожил нескладно —
для России я жил.

И надеждою маюсь
(полный тайных тревог),
что хоть самую малость
я России помог.

Пусть она позабудет
про меня без труда,
только пусть она будет
навсегда, навсегда.

Идут белые снеги,
как во все времена,
как при Пушкине, Стеньке
и как после меня.

Идут снеги большие,
аж до боли светлы,
и мои и чужие
заметая следы...

Быть бессмертным не в силе,
но надежда моя:
если будет Россия,
значит, буду и я.

1965

КАРЬЕРА

Ю. Васильеву

Твердили пастыри, что вреден
и неразумен Галилей,
но, как показывает время:
кто неразумен, тот умней.

Ученый, сверстник Галилея,
был Галилея не глупее.
Он знал, что вертится Земля,
но у него была семья.

И он, сядя с женой в карету,
свершив предательство свое,
считал, что делает карьеру,
а между тем губил ее.

За осознание планеты
шел Галилей один на риск.
И стал великим он... Вот это —
я понимаю — карьерист!

Итак, да здравствует карьера,
когда карьера такова,
как у Шекспира и Пастера,
Гомера и Толстого... Льва!

Зачем их грязью покрывали?
Талант — талант, как ни клейми.
Забыты те, кто проклинали,
но помнят тех, кого кляли.

Все те, кто рвались в стратосферу,
врачи, что гибли от холер, —
вот эти делали карьеру!
Я с их карьер беру пример.

Я верю в их святую веру.
 Их вера — мужество мое.
 Я делаю себе карьеру
 тем, что не делаю ее!

1957

Б. Ахмадулиной

Со мною вот что происходит:
 ко мне мой старый друг не ходит,
 а ходят в праздной суете
 разнообразные не те.

И он

не с теми ходит где-то
 и тоже понимает это,
 и наш раздор необъясним,
 и оба мучаемся с ним.

Со мною вот что происходит:
 совсем не та ко мне приходит,
 мне руки на плечи кладет
 и у другой меня крадет.

А той —

скажите, Бога ради,
 кому на плечи руки класть?

Та,

у которой я украден,
 в отместку тоже станет красть.

Не сразу этим же ответит,
 а будет жить с собой в борьбе
 и не осознанно наметит
 кого-то дальнего себе.

О, сколько нервных

и недужных,
 ненужных связей,

дружб ненужных!

Во мне уже осатаненность!

О, кто-нибудь,

приди,

нарушь

чужих людей
и разобщенность
и соединенность
близких душ!

1957

Роберт Иванович РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
1932—1994

* * *

На Земле
безжалостно маленькой
жил да был человек маленький.
У него была служба
маленькая
и маленький очень портфель.
Получал он зарплату
маленькую,
и однажды
прекрасным утром
постучалась к нему в окошко
небольшая, казалось,
война...

Автомат ему выдали маленький,
сапоги ему выдали маленькие,
каску выдали маленькую
и маленькую —
по размерам —
шинель...

...А когда он упал —
некрасиво, неправильно, —
в атакующем крике
вывернув рот,
то на всей земле

не хватило мрамора,
чтобы вырубить парня
в полный
рост!

Может быть, все-таки мне
повезло,
если я видел время запутанное,
время запуганное
время беспутное,
которое то мчалось,
то шло.
А люди шагали за ним по пятам.
Поэтому я его хаять не буду..
Все мы —
гарнир к основному блюду,
которое жарится где-то там.

Тихо летят паутинные нити.
Солнце горит на оконном стекле..
Что-то я делал не так?
Извините:
жил я впервые
на этой Земле.
Я ее только теперь ощущаю.
К ней припадаю.
И ей клянусь..
И по-другому прожить обещаю,
если вернусь...

Но ведь я не вернусь.

Андрей Андреевич ВОЗНЕСЕНСКИЙ
Р. 1933

ОСЕНЬ В СИГУЛДЕ

Свисаю с вагонной площадки,
прощайте,

прощай, мое лето,
пора мне,
на даче стучат топорами,
мой дом забивают дощатый,
прощайте,

леса мои сбросили кроны,
пусты они и грустны,
как ящик с аккордеона,
а музыку — унесли,

мы — люди,
мы тоже порожни,
уходим мы,
так уж положено,
из стен,
матерей
и из женщин,
и этот порядок извечен,

прощай, моя мама,
у окон
ты станешь прозрачно, как кокон,
наверно, умаялась за день,
присядем,

друзья и враги, бывайте,
гуд-бай,
из меня сейчас

со свистом вы выбегаете,
и я уйду из вас,

о родина, прощаемся,
буду звезда, ветла,
не плачу, не попрошайка,
спасибо, жизнь, что была,

на стрельбищах
в 10 баллов
я пробовал выбить 100,
спасибо, что ошибался,
но трижды спасибо, что

в прозрачные мои лопатки
вошла гениальность, как
в резиновую перчатку
красный мужской кулак,

«Андрей Вознесенский» — будет,
побыть бы не словом, не бульдиком,
еще на щеке твоей душевной —
«Андрюшкой»,

спасибо, что в рощах осенних
ты встретила, что-то спросила
и пса волокла за ошейник,
а он упирался,
спасибо,

я ожил, спасибо за осень,
что ты мне меня объяснила,
хозяйка будила нас в восемь,
а в праздники сипло басыла,
пластинка блатного пошиба,
спасибо,

но вот ты уходишь, уходишь,
как поезд отходит, уходишь,
из пор моих полых уходишь,

мы врозь друг из друга уходим,
чем нам этот дом неуютен?

Ты рядом и где-то далеко,
почти что у Владивостока,

я знаю, что мы повторимся
в друзьях и подругах, в травинках,
нас этот заменит и тот —
«природа боится пустот»,

спасибо за сдутые кроны,
на смену придут миллионы,
за ваши законы — спасибо,

но женщина мчится по склонам,
как огненный лист за вагоном...

Спасите!

1961

ТИШИНЫ!

Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?
Тишины...

чтобы тень от сосны,
щекоча нас, перемещалась,
холодящая, словно шалость,
вдоль спины, до мизинца ступни.

Тишины...

Звуки будто отключены.
Чем назвать твои брови с отливом?
Понимание —
молчаливо.

Тишины.

Звук запаздывает за светом.
Слишком часто мы рты разеваем.
Настоящее — неназываемо.
Надо жить ощущением, цветом.

Кожа тоже ведь человек,
с впечатленьями, голосами.
Для нее музыкально касанье,
как для слуха — поет соловей.

Как живется вам там, болтуны,
на низинах московских, аральских?
Горлопаны, не наорались?

Тишины...

Мы в другое погружены.
В ход природы неисповедимый.
И по едкому запаху дыма
мы пойдем, что идут чабаны.

Значит, вечер. Вскипает приварок.
Они курят, как тени тихи.

И из псов, как из зажигалок,
светят тихие языки.

1964

НОСТАЛЬГИЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ

Я не знаю, как остальные,
но я чувствую жесточайшую,
не по прошлому ностальгию —
ностальгию по настоящему.

Будто послушник хочет к Господу,
ну а доступ лишь к настоятелю —
так и я умоляю доступа
без посредников к настоящему.

Будто сделал я что-то чуждое,
или даже не я — другие...
Упаду на поляну — чувствую
по живой земле ностальгию.

Нас с тобой никто не расколет.
Но когда тебя обнимаю —
обнимаю с такой тоскою,
будто кто тебя отнимает.

Когда слышу тирады подленькие
оступившегося товарища,
я ищу не подобья — подлинника,
по нему грущу, настоящему.

Одиночества не искупит
в сад распахнутая столярка.
Я тоскую не по искусству,
задыхаюсь по-настоящему.

Все из пластика — даже рубища,
надоело жить очерково.
Нас с тобою не будет в будущем,
а церковка...

И когда мне хохочет в рожу
идиотствующая мафия,
говорю: «Идиоты — в прошлом.
В настоящем рост понимания».

Хлещет черная вода из крана,
хлещет ржавая, настоявшаяся,
хлещет красная вода из крана,
я дождусь — пойдет настоящая.

Что прошло, то прошло. К лучшему.
Но прикусываю, как тайну,
ностальгию по настоящему,
что настанет. Да не застану.

Белла Ахатовна АХМАДУЛИНА
Р. 1937

Влечет меня старинный слог.
Есть обаянье в древней речи.
Она бывает наших слов
и современнее, и резче.

Вскричать: «Полцарства за коня!» —
какая вспыльчивость и щедрость!
Но снизойдет и на меня
последнего задора тщетность.

Когда-нибудь очнусь во мгле,
навек проиграв сраженье,
и вот придет на память мне
безумца древнего решенье.

О, что полцарства для меня!
Дитя, наученное веком,
возьму коня, отдам коня
за полмгновенья с человеком,

любимым мною. Бог с тобой,
о конь мой, конь мой, конь ретивый.
Я безвозмездно повод твой
ослаблю — и табун родимый

нагонишь ты, нагонишь там,
в степи пустой и порыжелой.
А мне наскучил тарарам
этих побед и поражений.

Мне жаль коня! Мне жаль любви!
И на манер средневековый
ложится под ноги мои
лишь след, оставленный подковой.

По улице моей который год
звучат шаги — мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
той темноте за окнами угоден.

Запущены моих друзей дела,
нет в их домах ни музыки, ни пенья,
и лишь, как прежде, девочки Дега
голубенькие оправляют перья.

Ну что ж, ну что ж, да не разбудит страх
вас, беззащитных, среди этой ночи.
К предательству таинственная страсть,
друзья мои, туманит ваши очи.

О одиночество, как твой характер крут!
Посверкивая циркулем железным,
как холодно ты замыкаешь круг,
не внемля увереньям бесполезным.

Так призови меня и награди!
Твой баловень, обласканный тобою,
утешусь, прислонясь к твоей груди,
уююсь твоей стужей голубою.

Дай стать на цыпочки в твоем лесу,
на том конце замедленного жеста
найти листву, и поднести к лицу,
и ощутить сиротство, как блаженство.

Даруй мне тишь твоих библиотек,
твоих концертов строгие мотивы,
и — мудрая — я позабуду тех,
кто умерли или доселе живы.

И я познаю мудрость и печаль,
свой тайный смысл доверят мне предметы.
Природа, прислонясь к моим плечам,
объявит свои детские секреты.

И вот тогда — из слез, из темноты,
из бедного невежества былого
друзей моих прекрасные черты
появятся и растворятся снова.

Анатолий Константинович ПЕРЕДРЕЕВ 1934—1987

ОКРАИНА

Околица, родная, что случилось,
Окраина, куда нас занесло,
И города из нас не получилось,
И навсегда утрачено село.

Взрастив свои акации и вишни,
Ушла в себя и думаешь сама,
Зачем ты понастроила жилища,
Которые ни избы, ни дома?

Как будто бы под сенью этих вишен,
Под каждым этим низким потолком
Ты собиралась только выжить, выжить,
А жить потом ты думала, потом.

Окраина, ты вечером темнеешь,
Томясь большим сиянием огней,
А на рассвете так росисто веешь
Воспоминаньем свежести полей.

И тишиной, и речкой, и лесами,
И всем, что было отчею судьбой...
Разбуженная ранними гудками,
Окутанная дымкой голубой!

РОМАНС

В. Кожинovu

Настрой же струны на своей гитаре,
Настрой же струны на старинный лад,

В котором все в цветенье и разгаре —
«Сияла ночь, луной был полон сад...»

И не смотри, что я не подпеваю,
Что я лицо ладонями закрыл,
Я ничего, мой друг, не забываю,
Я помню все, что ты не позабыл.

Все, что такой отмечено судьбою
И так звучит — на сердце и на слух, —
Что нам всего не перепеть с тобою,
Еще не все потеряно, мой друг!

Еще струна натянута до боли,
Еще душе так непременно жаль
Той красоты, рожденной в чистом поле,
Печали той, которой дышит даль...

И дорогая русская дорога
Еще слышна — не надо даже слов,
Чтоб разобрать издалека-далёка
Знакомый звон забытых бубенцов.

Давид Самуилович САМОЙЛОВ
1920—1990

Пусть нас увидят без возни,
Без козней, розни и надсады.
Тогда и скажется: «Они
Из поздней пушкинской плеяды».
Я нас возвысить не хочу.
Мы — послушники ясновидца.
Пока в России Пушкин длится,
Метелям не задуть свечу.

СОРОКОВЫЕ

Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещения похоронные
И перестуки эшелонные.

Гудят накатанные рельсы.
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с запада к востоку...

А это я на полустанке
В своей замурзанной ушанке,
Где звездочка не уставная,
А вырезанная из банки.

Да, это я на белом свете,
Худой, веселый и задорный.
И у меня табак в кисете,
И у меня мундштук наборный.

И я с девчонкой балагурю,
И больше нужного хромаю,
И пайку надвое ломаю,
И все на свете понимаю.

Как это было! Как совпало —
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..

Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые...
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!

1961

Владимир Николаевич СОКОЛОВ
1928—1997

Спасибо, музыка, за то,
Что ты меня не оставляешь,
Что ты лица не закрываешь,
Себя не прячешь ни за что.

Спасибо, музыка, за то,
Что ты единственное чудо,
Что ты душа, а не причуда,
Что для кого-то ты ничто.

Спасибо, музыка, за то,
Чего и умным не подделать,
За то спасибо, что никто
Не знает, что с тобой поделать.

Валентину Никулину

Я устал от двадцатого века,
От его окровавленных рек.
И не надо мне прав человека,
Я давно уж не человек.

Я давно уже ангел, наверно,
Потому что, печально томим,
Не прошу, чтоб меня легковерно
От земли, что так выглядит скверно,
Шестикрылый унес серафим.

1988

Юрий Поликарпович КУЗНЕЦОВ
1941—2003

Бывает у русского в жизни
Такая минута, когда
Раздумье его об отчизне
Сияет в душе, как звезда.

Ну как мне тогда не заплакать
На каждый зеленый листок!
Душа, ты рванешься на запад,
А сердце пойдет на восток.

Родные черты узнавая,
Иду от Кремлевской стены
К потемкам ливонского края,
К туманам охотской волны.

Прошу у отчизны не хлеба,
А воли и ясного неба.
Идти мне железным путем
И зреть, что случится потом.

АТОМНАЯ СКАЗКА

Эту сказку счастливую слышал
Я уже на теперешний лад,
Как Иванушка во поле вышел
И стрелу запустил наугад.

Он пошел в направление полета
По серебристому следу судьбы.
И попал он к лягушке в болото,
За три моря от отчей избы.

«Пригодится на правое дело!» —
Положил он лягушку в платок.
Вскрыл ей белое царское тело
И пустил электрический ток.

В долгих муках она умирала,
В каждой жилке стучали века.
И улыбка познания играла
На счастливом лице дурака.

Вопросы и задания

1. «Гражданственность — талант нелегкий», — утверждал поэт Е. Евтушенко в годы поэтического бума конца 50-х — начала 60-х годов. Какое подтверждение и развитие получил этот тезис в творчестве поэтов-шестидесятников?

2. Выделите черты «громкой» лирики в стихотворениях Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского. Укладывается ли творчество названных авторов в рамки эстрадной поэзии? Как соединяются в нем поэтическое новаторство и влияние классической традиции? (См. статью учебника «Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) лирика», раздел «Литературный процесс 50–80-х годов».)

3. В чем заключается своеобразие поэтического стиля Б. Ахмадулиной? Какие образы и мотивы наполняют интимное пространство ее «тихой» лирики?

4. Что составляет своеобразный внутренний «нерв» произведений А. Передереева? В чем его поэзия созвучна поэзии С. Есенина и поэтов «крестьянской купницы»?

5. Как в лирике Д. Самойлова, В. Соколова, Ю. Кузнецова соединяются лирические, философские и публицистические мотивы? Что внесла их поэзия в многогранный и духовно сложный образ России, созданный поэтами-современниками? Является ли отрицательной характеристикой относительная «старомодность» их поэтической манеры? Свой ответ аргументируйте. (См. статью учебника «Нравственно-философский смысл «тихой лирики», раздел «Литературный процесс 50–80-х годов».)

Константин Дмитриевич ВОРОБЬЕВ
1919—1975**УБИТЫ ПОД МОСКВОЙ**
(Отрывок)

7

Выступление Рюмин назначил на два часа ночи, и с какого бы направления он ни подводил роту к невидимому селению и сколько бы там ни было немцев, они все до одного обрекались на смерть, потому что предоставить им плен в этих условиях курсанты не могли. Все, что роте предстояло сделать в темноте, Рюмин не только последовательно знал, но и видел в том обостренно резком луче света, который центрировался в его уме предельным напряжением воли и рассудка. Он был уже до конца убежден, что избрал единственно правильное решение — стремительным броском вперед. Курсанты не должны знать об окружении, потому что идти с этим назад значило просто спастись, заранее устрасясь. Нет. Только вперед, на разгром спящего врага, а потом уже на выход к своим...

Но почти безотчетно Рюмин не хотел сейчас думать о грядущем дне и о своих действиях в нем. Всякий раз, когда только он мысленно встречался с рассветом, сердце просило смутное и несбыточное — дня не нужно было; вместо него могла бы сразу наступить новая ночь...

Взводы покинули окопы в урочное время и сошлись и построились в поле за рвом. Тут немного метелило и было яснее направление ветра — он дул с востока. Рюмин пошел перед строем, зачем-то высоко и вкрадчиво, как на минной полосе, поднимая ноги, и в напряженном безмолвии курсанты по-ефрейторски выкидывали перед ним винтовки с голубыми кинжальными штыками и сами почему-то дышали учащенно и шумно. Рюмин будто впервые увидел свою роту, и судьба каждого курсанта — своя тоже — вдруг предстала перед ним средоточием всего, чем может закончиться война для Родины — смертью или победой. Он вполголоса повторил боевой приказ и задачу роте, и кто-то из курсантов, забывшись, громко сказал:

— Мы им покажем, на чем свинья хвост носит!

Рота двинулась вперед, и рядом с большим, тревожным и грозным в мозгу Рюмина цепко засела ненужная, до обиды ничтожная и назойливая, как комар, мысль: «А на чем она его носит? На чем?..»

Занятое немцами село рота обошла с юга и в половине четвертого остановилась в низине, поросшей кустами краснотала. Рюмин приказал четвертому взводу выдвинуться к опушке леса в северной части села и, заняв там оборону, произвести в четыре десять пять залпов по дворам и хатам бронебойно-зажигательными патронами. Тогда остальные взводы, подтянувшись к селу с тыла, бросаются в атаку. Четвертый взвод остается на месте и в упор расстреливает отступающих к лесу голых фашистов. Рюмин так и сказал — голых, и Алексей на мгновение увидел перед собой озаренное красным огнем поле и молчаливо бегущих куда-то донага раздетых людей. Он пошел впереди взвода тем самым шагом, каким Рюмин обходил роту перед ее выступлением — как на минной полосе, и курсанты тоже пошли так, и неглубокий снег, перемешанный с землей и пыреем, буграми налипал к подошвам сапог, и приходилось отколупывать его штыками.

Лес завиделся издалека — темная кромка его обрисовывалась в белесовато-мутной мгле как провал земли, и уже издали к пресному запаху снега стал примешиваться горьковато-крутой настой дубовой коры. В окостеневшем безмолвии нельзя было отделаться от щемящего чувства заброшенности. Алексей то пристально всматривался в троих разведчиков, шедших недалеко впереди с осторожной непреклонностью слепых людей, готовых каждую секунду натолкнуться на преграду, то оглядывался назад и, благодарный кому-то за то, что он не один тут, видел рассредоточенный строй курсантов, далеко выкинувших перед собой винтовки и пригнувшихся, как под напором встречной бури.

Но лес был пуст, таинствен и звучен, как старинный собор, и от его южной опушки до села оказалось не больше трехсот метров. Взвод залег плотной цепью, и сразу летуче запахло бензином — у кого-то пролилась бутылка. Алексей лежал в середине цепи, ощущая животом колкие комочки двух «лимонок» в карманах шинели. Стрелки его наручных часов, казалось, навсегда остановились на цифрах 12 и 4. Село виднелось смутно. Оно скорее угадывалось, придавленное к земле оцепенелой тиши-

ной. Когда длинная стрелка часов сползла с единицы, Алексей воркующим тенором — волновался — сказал: «Внимание!» — и медленно стал поднимать пистолет вверх. Он до тех пор вытягивал руку, пока не заломило плечо. Указательный палец ооченел на спусковом крючке. Не доверив ему, Алексей подкрепил его средним, и контрольный выстрел сорвался ровно за минуту раньше времени...

Этот первый залп получился удивительно стройным, как падение единого тела, и сразу же в разных местах села в небо взметнулись лунно-дымные стебли ракет, и было видно, как стремительно понеслись куда-то вбок и вкось пегие крыши построек. Остальным залпам не хватило слаженности — они хлестали село ударами как бы с продолговатым потягом, и Алексей не знал, это ли нужно капитану Рюмину.

После пятого залпа какую-то долю минуты во взводе стояла трудная тишина затаенного ожидания и все вокруг казалось угрожающе непрочным, опасным и зыбким. Курсанты начали зачем-то привставать на четвереньки, и только тогда к лесу прикатился поспешно согласный крик атакующих взводов, будто они троекратно поздоровались в селе с кем-то. Крик тут же слился с разломным треском выстрелов и взрывами гранат. При очередной вспышке серии ракет Алексей хищно окинул взглядом поляну. Она была голубой и пустынной, и он обещающим и виноватым голосом прокричал своему взводу:

— Сейчас побегут! Сейчас мы их!..

Бой в селе нарастал с каждой минутой. К размеренным выстрелам курсантских самозарядок все чаще и чаще начали примешиваться слитные трели чужих автоматов. Этот звук, рождавшийся и погасавший с какой-то подавляющей волю машинной торопливостью, был в то же время игрушечно легок и ладен. В нем не чувствовалось никакого усилия солдата. Он был как издевательская потеха над тем, кто лежит с немой винтовкой и слышит это со стороны.

Когда в северной части села гулко и звонисто заработали крупнокалиберные пулеметы и там же неожиданно бурно вспыхнуло высокое пламя пожара и завывли моторы, Алексей вскочил на ноги и воркующим тенором скомандовал атаку...

Горел сарай. Поляну заливал красный мигающий свет. Былинки бурьяна отбрасывали на снег толстые дрожащие тени, и

курсанты, боясь споткнуться о них, неслись смешными прыжками, и кто-то от самого леса самозабвенно ругался неслыханно сложным матом, поминая стужу, бурю, святого апостола и селезенку. Оказывается, подбегать к невидимому врагу и молчать — невозможно, и четвертый взвод закричал, но не «ура» и не «за Сталина», а просто заорал бессловесно и жутко, как только достиг околицы села.

Взвод вонзился в село, как вилы в копну сена, и с этого момента Алексей утратил всяческую власть над курсантами. Не зная еще, что слепым ночным боем управляет инстинкт дерущихся, а не командиры, очутившись в узком дворе, заставленном двумя ревущими грузовиками, он с тем же чувством, которое владело им вчера при расстреле броневиков, выпалил по одному разу в каждый и неизвестно кому приказал истошным голосом:

— Бутылками их! Бутылками!

Тогда же он услышал рядом с собой, за кучей хвороста, испуганно-недоуменный крик:

— Отдай, проститутка! Кому говорю!!

Как в детстве камень с обрыва Устьяна лога, Алексей с силой швырнул в грузовики «лимонку» и прыгнул за кучу хвороста. Он не услышал взрыва гранаты, потому что все вокруг грохотало и обваливалось и потому что из-за хвороста к нему задом пятился кто-то из курсантов, ведя на винтовке, как на привязи, озаренного отсветом пожара немца в длинном резиновом плаще и с автоматом на шее. Клонясь вперед, тот обеими руками намертво вцепился в ствол СВТ, а штык по самую рукоятку сидел в его животе, и курсант снова испуганно прокричал: «Отдай!» — и рванул винтовку. В нелепом скачке немец упал на колени и, рывком насаживаясь на полуобнажившийся рубиново-светящийся штык, запрокинул голову в каком-то исступленно-страстном заклятье:

— Lassen sie es doch, Herr Offizier. Um Gottes willen!¹

Ни на каком суде, никому и никогда Алексей не посмел бы признаться в том коротком и остро-пронзительном взрыве ярости и отвращения, которые он испытал к курсанту, разгадав чем-то тайным в себе темный смысл фразы поверженного немца.

¹ Оставьте, господин офицер. Ради Бога! (нем.)

— Стреляй скорее в него! Ну?! — стонуше крикнул он, и разом с глухим захлебным выстрелом ему явственно послышался противный мягкий звук, похожий на удар палкой по влажной земле.

Горело уже в разных концах села, и было светло как днем. Одуравшие от страха немцы страшились каждого затемненного закоулка и бежали на свет пожаров, как бегают зайцы на освещенную фарами роковую для себя дорогу. Они словно никогда не знали или же напрочно забыли о неизъяснимом превосходстве своих игрушечно-великолепных автоматов над русской «новейшей» винтовкой и, судорожно прижимая их к животам, ошалело били куда попало. Эти чужие пулеметно-автоматные очереди вселенской веской силой каждый раз давили Алексея к земле, и яркой радостью — «Меня не убьют! Не убьют!» — хлестали его тело рассыпчато-колкие и гремуче-тугие взрывы курсантских «лимонок» и противотанковых гранат. Он все еще пытался командовать или хотя бы собрать вокруг себя несколько человек, но его никто не слушал: взводы перемешались, все что-то кричали, прыгали через плетни и изгороди, стреляли, падали и снова вставали. Он тоже бежал, стрелял. Падал и поднимался, и каждая секунда времени разрасталась для него в огромный период, вслед за которым вот-вот должно наступить что-то необычное и таинственное, непосильное разуму человека. Он уже не кричал, а выл, и единственное, чего хотел, — это видеть капитана Рюмина, чтобы быть с ним рядом...

Ни тогда, ни позже Алексей не мог понять: почему сапог, желтый, короткий, с широким раструбом голенища, стоял? Не лежал, не просто валялся, а стоял посередине двора? Сахарно-бело и невинно-жутко из него высывалась тонкая, с округлой оконечностью кость. Он не разглядывал это, а лишь скользнул по сапогу краем глаз и понял все, кроме главного для него в ту минуту — почему сапог стоит?

Он побежал на улицу мимо амбара и длинного крытого грузовика, похожего на автобус. Грузовик неохотно разгорался в клубах черного грузного дыма, и оттуда, как из густых зарослей, навстречу Алексею выпрыгнул немец в расстегнутом мундире. Наклонившись к земле, он оглядывался на улицу, когда Алексей выстрелил. Немец ударился головой в живот Алексея, клетотно охнул, и его автомат застрекотал где-то у них в ногах. Алексей ощутил, как его частыми и несильными рывками потянуло книзу за полы шинели.

Он приник к немцу, обхватив его руками за узкие костлявые плечи. Он знал многие приемы рукопашной борьбы, которым обучали его в училище, но ни об одном из них сейчас не вспомнил. Перехваченный руками пистолет плашмя прилегал к спине немца, и стрелять Алексей не мог — для этого нужно было разжать руки. Немец тоже не стрелял больше и не пробовал освободиться. Он как-то доверчиво сник и отяжелел и вдруг замычал и почти переломился в талии. Терпкий уксусный запах рвоты волной ударил Алексею в лицо. Догадавшись, что немец смертельно ранен им, Алексей разжал руки и отпрянул в сторону. Немец не упал, а как-то охоче рухнул бесформенной серой кучкой, упрятав под себя ноги. Пятясь от него, Алексей бессознательно откинул полу шинели, чтобы увидеть за чем-то свои ноги. Пола шинели была тяжелой и мокрой. Что-то белесовато-розовое и жидкое налипало к голенищам и носкам сапог. «Это он... облевал», — со стыдом, обидой и гадливостью подумал Алексей. Внутренности его свились в клубок и больно подкатились к горлу, и он кинулся за амбар и притулился там у плетня в узком закоулке, заваленном вязанками картофельной ботвы.

Его рвало долго и мучительно. В промежутках приступов он все чаще и явственней различал голоса своих, — бой затихал. Обессиленный, смятый холодной внутренней дрожью, Алексей наконец встал и, шатаясь, пошел к убитому им немцу. «Я только посмотрю... Загляну в лицо, и все. Кто он? Какой?»

Немец лежал в прежней позе — без ног, лицом вниз. Задравшийся мундир оголял на его спине серую рубаху и темные шлейки подтяжек, высоко натянувшие штаны на плоский, худой зад. Несколько секунд Алексей изумленно смотрел только на подтяжки: они пугающе «по-живому» прилегали к спине мертвеца. Издали, перегнувшись, Алексей стволом пистолета осторожно прикрыл их подолом мундира и пьяной рысцей побежал со двора. По улице, в свете пожаров, четверо курсантов бегом гнали куда-то пятерых пленных, и те бежали, старательно и послушно, тесной кучей, а курсанты каким-то лихо-стремительным подхватом держали перед собой немецкие автоматы, и кто-то один выкрикивал командно и не в шутку:

— Айн-цвай! Айн-цвай!

Алексей пропустил пленных, пытаясь заглянуть в лицо каждому, и, пристроясь к курсантам, спросил на бегу у того, что отсчитывал шаг:

— Куда вы их?

— В распоряжение лейтенанта Гуляева, товарищ лейтенант! — строго ответил курсант и властно повысил голос: — Айн-цвай! Айн-цвай!

Невольно ладя шаг под эту команду, Алексей побежал сзади курсантов, то и дело поворачивая голову влево и вправо — у плетней и заборов лежали знакомые серые бугорки. Курсанты повернули пленных в широкий, огороженный железной решеткой сад. Там у ворот стояла на попа длинная узкая бочка в подтеках мазута, и над ней ревел и бился плотный столб красно-черного огня и дыма. Несколько курсантов и Гуляев держались в сторонке, направив в бочку немецкие автоматы, и у Гуляева на левом боку ярко блестела лакированная кобура парабеллума.

— Ну, Лешк! — закричал Гуляев, увидев Алексея. — В пух разнесли! Понимаешь? Вдрызг! Видал?!

Он не мог говорить, упоенный буйной радостью первой победы, и, вскинув автомат, выпустил в небо длинную очередь. И тут же он взглянул на пленных, но искоса, скользко, и совсем другим голосом — невнятно, сквозь сжатые зубы — сказал окружавшим его курсантам:

— Туда!

Пленных окружили и повели в глубину сада, а Гуляев с прежним счастьем сказал Алексею:

— В пух, понимаешь? Расположились тут, сволочи, как дома. В одних кальсонах спят. Видал? Вконец охамели...

Ожидаясь вглядываясь в сад, суется и пряча от Гуляева полу своей шинели, Алексей спросил, где капитан.

— В том конце, возле школы, — сказал Гуляев. — Там сейчас мины и разное барахло взорвут. В твоём взводе большие потери? У меня всего лишь пятеро...

Алексей не ответил и побежал из сада, и все время в его мозгу звонисто отсчитывалось «айн-цвай, айн-цвай», и он выбрасывал и ставил ноги под эту команду. Он испытал внезапную, горячую и торопливую радость, когда увидел Рюмина.

...Рота вступила в «свой» лес только в седьмом часу, и к тем пятнадцати, которых несли на плащ-палатках, сразу же прибавилось еще двое раненых, — спасаясь, несколько немцев проникли сюда. Чужим приемом — рукоятки в животы — курсанты подняли в ле-

су разноцветную пулевую пургу. Тут уже били ради любопытства и озорства, подчиняясь чувству восхищенного удивления и негодования — «как из мешка!». Плотность огня трофейных автоматов и в самом деле была поразительной: они, как пилой, срезали молодые деревья, и на то, чтобы расчистить себе путь, курсантам понадобилось не много времени. Как только утихла стрельба, раненые один за другим снова начали стонать и просить пить, и с какой-то своевольной властью курсанты приказывали им потерпеть.

— Ну чего развели нуду? К утру доставим в госпиталь, а через неделю будете с орденами и кубиками!

— Это точно! Там их не меньше батальона сыграло...

— Одних автобусов штук сорок было!..

— Да шесть броневиков.

Рота двигалась медленно. Потери немцев росли по мере отдаления курсантов от села, и каждый знал, что он умалил там и к чему прибавил. Это нужно было не им, здоровым и живым, а семнадцати раненым и тем еще одиннадцати, что навсегда остались в горящем селе, кому уже никогда не придется носить ни кубарей на петлицах, ни орденов на груди...

1963

Юрий Васильевич БОНДАРЕВ **Р. 1924**

ГОРЯЧИЙ СНЕГ **(Отрывок)**

Глава двадцать третья

<...>

На пороге блиндажа кислая, железистая духота, тяжелый после мороза воздух, пропитанный запахом пота, нечистых бинтов, нагретых шинелей, ударил ему в нос из мутно освещенного двумя чадающими керосиновыми лампами подземелья. Это был угарный запах человеческой беспомощности, боли, но в котором еще чувствовалась жизнь и надежда на жизнь.

Весь блиндаж был заполнен: раненые лежали на земляных нарах, на полу, в разных углах — все те, кого приносили сюда в течение дня, начиная с бомбежки и первой танковой атаки, те, кого настигла возле орудий судьба.

Паром от дверей потянуло понизу, холодная струя пробила спертую духоту, и в полутьме заворочались на полу тела под шинелями, слышались вздохи, стоны, голоса, тихие, раздавленные от долгой борьбы с болью:

— Кто пришел-то? Сестра?.. Подойди-ка, опять у меня намокло, течет и течет... Ремнем бы затянуть ногу, плаваю, ровно в луже.

— Зоенька, а Зоенька, на батарее-то есть кто живой? Или как там? Чего стреляли и тихо стало?

Кузнецов стоял в этом душном шевелении голосов, и его будто покачивало на горячих волнах: никто из лежавших здесь еще ничего не знал. И шепотом прошло по блиндажу — отдаленно от него, как легкие толчки в грудь:

— Не Зоя, братцы, лейтенант пришел.

— Какой лейтенант, наш?

— Командир первого взвода. Ранило его, видать. Еле стоит. Никак, последний остался? А Зоя где ж?

Кузнецов молчал.

Лишь двое в блиндаже были на ногах — раненный в плечо связист Святов, тот самый белесый мальчик, неловко скрывавший свой первый испуг на войне, когда Кузнецов во время бомбежки спрыгнул к нему в ровик, и Чибисов с перебинтованной рукой, висевшей на грязной марлевой перевязи.

Чибисов, работая здоровой рукой, ломал снарядные ящики подле раскаленной докрасна печки, на которой бурлили котелки с растопленным снегом. Увидев Кузнецова, нетвердо стоявшего около двери, в ватнике, с черными кругами смертельной усталости под глазами, он тотчас втянул голову в плечи, заморгал с ожиданием удара или окрика, прошептал несвязно и оправдательно, будто ничего не известно было Кузнецову:

— Товарищ лейтенант... Не стерпел я, не совладал... Детишки у меня, товарищ лейтенант...

— Где Давлатян? — вполголоса спросил Кузнецов, бросил, как чугунную, обременяющую его ношу, автомат к стене и, дернув ворот, опять коснулся горла холодной перчаткой. — Лейтенант Давлатян... где?

— Здесь, товарищ лейтенант, здесь, на нарах, сюда, пожалуйста, идите, — донесся призывный шепот из полутьмы блиндажа. — Живой он... Вас все просил.

Связист Святлов перевязывал на полу раненого — у самого же шея и плечо перебинтованы, — вытирая ладошку о ватник, заулыбался Кузнецову по-мальчишески светло, обрадованно, точно облегчение тот принес в блиндаж. И в том, как Святлов посмотрел и сказал, была нескрытая радость человека, оставшегося в живых:

— Товарищ лейтенант, вот туточки командир второго взвода.

Кузнецов, перешагивая через раненых, подошел к нарам и здесь, в тени, по неестественно горячему блеску глаз из белых бинтов, окутавших голову, узнал Давлатяна.

— Гога, жив? — проговорил Кузнецов. — Вот я пришел к тебе, Гога. Раньше не мог...

Давлатян был весь в странной, непривычной госпитальной белизне: кроме головы, пухло перебинтовано и бедро; ноги прикрыты шинелью; а в ногах шапка, брезентовая сумка, выданная на формировке, пустая кобура с ремнем, котелок со снеговой водой.

— Коля, — прошелестел шепот Давлатяна. — Пришел, да? Ты не знаешь, как я рад, Коля, что ты пришел. Я Зою просил, чтобы она сказала тебе. Я даже записку писал!

Увеличенные глаза Давлатяна огромно, сухо и черно высвечивались на его лице, теперь маленьком, совсем детском в окантовке бинтов, утратившем смуглость, обычную жизненную подвижность; запекшиеся, искусанные до кровоподтеков губы проговаривали слова, но в новой интонации его голоса не было того чистого, трогающего, как воспоминания, чего-то школьного, мирного, солнечного, довоенного, что так поражало и удивляло раньше Кузнецова. И, не зная зачем, подсознательно желая услышать то прежнее, школьное, успокаивающее, он спросил:

— Тебе лучше, Гога?

— Да, мне лучше, лучше, — зашептал, чуть поворачивая голову и торопясь, Давлатян, — теперь я буду жить, я уверен... Теперь только боль, знаешь! Кончился дурацкий бред. Но ерунда, ерунда... Жаль, я не могу встать, будь проклят этот осколок!.. Я не могу себе простить, мне жалко своих ребят. Все началось с бомбежки... Как там наверху, Коля? Расскажи все...

— Ничего, Гога. Бой кончился. Ночью. Не думай об этом. Все кончилось.

— Кончилось... Ты сколько подбил танков? Расскажи, как все было.

— Не знаю. Не считал. Танков шло много. Было несколько атак. Отходили в балку и снова...

— Большие потери? Да? Ты говори правду. Пожалуйста... Ты все расскажи! Если, конечно, можешь.

— Да, потери.

— Почему ты так отвечаешь? Не хочешь?

— Нет, Гога. Потом... Не могу. Устал.

Стало тихо в блиндаже — сдержаннее прорывались стоны, прекратилось, затихло беспокойное шуршание соломы на полу, раненые вслушивались в негромкий разговор лейтенантов: те, кто был еще в силах приподняться, напрягались поймать слухом слова облегчения и дуновение надежды от неожиданно пришедшего с батареи совсем не раненного лейтенанта, наделенного до зависти счастливой судьбой говорить нормальным голосом, ходить, чувствовать свое целое тело. Даже то, что этот лейтенант, командир взвода, не был ранен, рождало надежду на избавление от страданий: значит, батарея еще жила, значит, еще там, наверху, были люди. Но никто не вмешивался в разговор, не прерывал, лишь тяжело раненные, не приходя в сознание, однозвучно стонали в углях.

«Они ждут от меня чего-то, — подумал Кузнецов. — Но я сам не знаю, что будет через час. Не знаю, когда появится возможность всех их отправить в медсанбат, не знаю, где сейчас медсанбат».

А Давлатян, затянутый до глухоты в ушах бинтами, не слышал, должно быть, осторожно наступившего затишья в блиндаже, его раздвинутые на половину лица глаза с нездоровым, жарким огнем возбуждения блуждали по потолку блиндажа, по лбу Кузнецова, находили его глаза и стыдливо спрашивали, что он думает о нем: осуждает, жалеет, сочувствует? И Давлатян заговорил горячо и не совсем внятно:

— Ты пойми меня, Коля, мне не повезло второй раз... Я несчастливый. Тогда, под Воронежем, заболел этой идиотской болезнью, а теперь ранило... Ну, что же это такое? Мне не повезло, не повезло! А я так мечтал попасть на передовую, я так хотел подбить хоть один танк! Я ничего не успел. Вот тебя ведь не ранило, тебе очень повезло. А мой взвод... Начиная с бомбежки... Ты понимаешь меня, Коля? Бессмысленно, бессмысленно все со мной! Почему мне не везет? Почему я невезучий, Коля?

Кузнецов молчал. По завлажневшим глазам, по голосу Давлатяна понял, что он может сейчас заплакать от своего несчастья, от невезения, от досады, — и смутное чувство разделенности по разности возраста охватывало Кузнецова. Они были объединены и вместе с тем разделены бесконечностью лет. Давлатян был где-то в мягкой, прозрачной и приятной дали, там, в прежнем и прошлом, в том наивном, детском — в училище, на марше, в ночи перед боем — он остался там. Нет, он не видел ни смерти своего наводчика Касымова, ни смерти Сергуненкова, ни гибели расчета Чубарикова под гусеницами танка, ни пленного немца, ни разведчика в воронке, ни в той смертельной низине сжавшейся калачиком на снегу Зои, под боком которой расплывалось темное пятно и валялся маленький, как игрушка, никелированный «вальтер». Одни сутки, как бесконечные двадцать лет, разделяли их, и счастье Давлатяна было несчастьем Кузнецова, потому что память его не освобождалась, держала в себе все.

«Он сказал: бессмысленно? Бессмысленно... Но может быть, в бессмыслии того, что было, и есть смысл? Это так, и этого не знает Давлатян. Нет, нет, не может быть бессмысленно! Почему, зачем тогда все? Зачем тогда я стрелял и видел в этом смысл? Я ненавидел их, убивал, я поджигал танки и я хотел этого смысла! И когда пошли к воронке — тоже. Да, был смысл, я знаю. Но смерть Зои — это бессмыслие, это невозможное бессмыслие! Почему так? И смысл и бессмыслие?.. Да, так. Я не могу почему-то сказать об этом Давлатяну. Если бы он видел, как она лежала там, в низине, сжавшись калачиком, а руки были на животе!..»

— Я завидую тебе, Гога, — с трудом выговорил Кузнецов и встал с онемелой полуулыбкой, он никогда не улыбался так. — Может, тебе и повезло... Война ведь еще не кончилась, Гога. В госпитале подлечат — и все танки твои...

Зачем он говорил это и успокаивал Давлатяна?

— Ты сказал, что мне повезло? — вскрикнул петушиным фальцетом Давлатян и заворочал забинтованной головой. — Для чего ты сказал? Для чего ты это говоришь? Как назло, как назло, меня... Я выстрелил четыре раза!.. Я ничего не успел, я не хотел такого везения! Ты меня не понимаешь, я не хочу такого везения! Это судьба такая!

— Выздоровливай, Гога... Прости, мне к орудию, — сказал Кузнецов. — Я зайду еще. Надеюсь, утром всех отправят в медсан-

бат. Всех! — добавил он тверже, чтобы как-нибудь ответить на эти из разных углов тоскливо-терпеливые взгляды не прерывавших их разговор раненых, и, сказав, пошел к выходу, потому что других обнадеживающих слов не доставало ему в душе.

— Коля! — умоляющим голосом крикнул с нар Давлатян. — Я тебя жду, очень жду!.. Коля, пойми, так с ума сойти можно! Хоть бы в медсанбат скорей! И Зою, Зою пошли к нам. Там возле орудия ранило кого-то, да?

— Я зайду, Гога. Да, я зайду. Потом... Всех отправим в медсанбат. Как только придут машины.

Около двери стояли, касаясь друг друга, как бы накрепко объединенные одной судьбой жить, Святов и Чибисов; юное, не умеющее ничего скрыть, омытое внутренней радостью лицо связиста Святова, длинная шея его, высоко вытянутая из ворота ватника, напоминали чем-то Сергуненкова. Да, все в Святове говорило о непотаенной надежде жить, о том, что, слава Богу, его легко ранило, поэтому он готов с охотой, с добротой ходить, ухаживать за всеми, перевязывать и услужливо выполнять любые распоряжения Кузнецова. Но Кузнецов никаких распоряжений не давал — шел к выходу из блиндажа, коротко задержался перед дверью, словно неясно видя, пошарил рукой возле стены, нащупал свой автомат и раскрыл заскрипевшую дверь. Он вышел.

— Товарищ лейтенант...

За спиной опять скрип двери, движение, шаги чьи-то, как топот собачьих лап по снегу.

— Что? Вы, Чибисов?

В белесоватом воздухе рассвета Чибисов, вышедший за ним, виден был размыто, нечетко: прижав белеющую бинтами руку к груди, переваливался с ноги на ногу и передергивал плечами, бровями, всем грязным своим маленьким личиком, точно муча съедала его, и, не стерпев, не вынеся, он решился тайно высказать ее Кузнецову именно здесь, а не в блиндаже.

— Что, Чибисов? Что вы хотели сказать?

— Товарищ лейтенант... извините вы меня, за-ради Бога... — заговорил Чибисов с обрывающими дыхание слезами в голосе. — Не совладал я с собой, не совладал... Совестно мне... Что ж делать-то мне? Товарищ лейтенант, не хотел ведь я. Сказывал ведь все вам сержант-то? Страх был, страх, Го-споди!..

И он схватил за рукав Кузнецова, ткнулся в него губами, по-собачьи мелко подергиваясь.

— Что вы? Сейчас же перестаньте! — сказал Кузнецов и вырвал руку. — Идите в блиндаж и ухаживайте за ранеными. Идите, Чибисов, идите...

— Совестно мне, совестно. Век вас буду помнить, товарищ лейтенант. Убить ведь меня мало, убить на месте! Не совладал я...

«Что он? Скорей бы он уходил, Чибисов, скорей!»

— Идите в блиндаж. Идите, я сказал... что вы?

Снова шаги, хруп снега где-то рядом. Стукнула дверь. Тишина в блиндаже. Тишина на берегу. Нигде ни единого выстрела. Белой зыбью скользила, приплясывала поземка по иссиня-бледному катку стылой реки с черными впадинами огромных прорубей — в близких этих полыньях, вырубленных снарядами, мнилось ему, позванивали, сталкивались, терлись друг о друга острые на слух осколки льдинок, как тогда, когда Зоя вызвала его из землянки расчета и он провожал ее по берегу и не дошел до блиндажа.

Ах, какая тоска и пустота декабрьской ночи была в этой без единого выстрела тишине, в этом заснеженном берегу, без единого солдата, в этой поземке, позванивании льдинок, в этих корявых ветвях ветел, врезанных в сумрак уже предрассветного воздуха, неживого, серого, недвижимого, и было ему трудно дышать на этом сковавшем все холоде! Он стоял, закрыв глаза, опустив автомат к земле.

«Почему она сказала тогда: «Поцелуй меня, как сестру. У тебя ведь есть сестра?» И что ответил я? «У меня нет сестры!..» Зачем я так сказал?»

Он подумал это, и ему показалось, что она где-то здесь, рядом, что она жива и ничего не было этой ночью, все лишь представилось ему, — она выйдет сейчас из сумрака, перетянутая, почти переломленная своим офицерским ремнем по талии, в полушубке, подымет глаза, чернота их блеснет из-за бахромы инея на ресницах, губы и длинные брови дрогнут от улыбки, и скажет шепотом: «Кузнечик, тебе и мне приснилось, что я погибла. Ты меня будешь жалеть хоть немножко?»

Но было пустынно и мертвенно-тихо вокруг.

Спотыкаясь, он поднялся по ступеням на берег, вошел в ход сообщения и в нескольких метрах от орудия вдруг упал грудью

на бровку траншеи, потом в тупом отчаянии прижался лбом к холодным шершавым перчаткам, что-то жарко и горько сдвинулось в его горле, он сморщился, скрипнув зубами, и долго терся губами и лбом об эту ледяную, шершавую и жесткую шерсть перчаток, молча, с каким-то сладострастием глотая слезы. Он плакал так одиноко, задушенно и отчаянно впервые в жизни. И когда вытирал лицо, снег на рукаве ватника был горячим от его слез.

1965—1969

Василий Иванович БЕЛОВ **Р. 1932**

ЛАД (Фрагменты)

Сказка

Как любил сказку А.С. Пушкин! Его гений освобождался от младенческой дремы под сказки Арины Родионовны. Его первая юношеская поэма была создана целиком на сказочных образах. Да и дальше талант великого поэта креп и мужал не без помощи русской сказки.

Народная философия со всеми ее национальными особенностями лучше, чем где-либо, выражается в сказке, причем положения этой философии, звучавшие когда-то просто и ясно, зачастую не доходят до нас. Понятна ли, к примеру, нынешнему читателю мысль, выраженная в сказке об Иване Глиняном? Несомненно, многие сказочные истины, подобно ярчайшим краскам, записанным позднейшими иконописцами, терпеливо ждут своего второго рождения.

Своеобразие фольклорного жанра обусловлено своеобразием народного быта. Жанр умирает вместе с многовековым национальным укладом. Мастерство сказочников и рассказчиков исчезает точно так же, как профессиональное мастерство исчезает вместе с экономическим упразднением той или иной профессии.

Современная жизнь сказки почти целиком сводится к прозябанию в фольклорных текстах, она ограничена книжной культурой. Цельность даже и такого существования постоянно разрушается театром, кино и телевидением с помощью так называемых «авторских» текстов. Заимствование сказочных образов и сюжетов современными драматургами и сценаристами очень сильно смахивает на плагиат, поскольку используются готовые сюжеты, характеры и образы. Что же, выходит, каждого, кто использует в своих писаниях фольклорный материал, надо судить в уголовном порядке? Вопрос этот звучит несколько радикально. Но он заставляет слегка задуматься, задуматься хотя бы над тем, что пушкинский Балда — это одно, а Балда или Иван-дурак современного записного телевизионщика — совсем другое. Сразу вспоминается и то, что даже такие большие писатели, как Алексей Толстой, не путали литературную запись (обработку) фольклорного материала с индивидуальным творчеством.

Но оставим на совести литературных критиков вопрос о том, где плагиат, а где подлинное творчество. Посмотрим, что остается от фольклорного жанра после «свободного заимствования», после того, как режиссеры, сценаристы и писатели растащили народную сказку по экранам, телеэкранам, по сценам ТЮЗов, кукольных театров и т.д.

Как это ни удивительно, а Ивану-дураку, Емеле и другим героям народных сказок от этих заимствований в общем-то ни тепло и ни холодно, они остаются сами собой даже тогда, когда на экранах и сценах появляются тысячи фальшивых, самозванных Емель и Иванов. Лишь при появлении шукшинского Иванушки подлинный Иван удивленно вскинул брови и как бы произнес: «Этот вроде бы я». Сказал и тут же снова исчез. Где же он спрятался? Может, за библиотечными стеллажами? Вряд ли...

Что там ни говори, а первый удар по русской народной сказке нанесен не теперь. И нанес его именно библиотечный стеллаж. Дело в том, что народная сказка на экране или на сцене — это не сказка, напечатанная и прочитанная, это тоже всего лишь пол-сказки. Настоящая сказка живет только там, где есть триединство: рассказчика, слушателя и художественной традиции. Все эти три, так сказать, величины постоянны, и каждая одинаково необходима. И если слушатель народной сказки может быть

коллективным, то на этом и кончается сходство его с радиослушателем, зрителем в театре, телезрителем. Коллективного же рассказчика (театр) да еще анонимно-условного (радио, телевидение) в жизни сказки не может быть, это вообще противоречит ее природе.

Шедевры народной поэзии, в том числе и в сказочном жанре, рождались в такой бытовой среде, которая и сама в своем устойчивом стремлении к совершенству была достаточно художественно организована. Как видим, быт северного крестьянства сохранял это свойство, несмотря на все сюрпризы истории. И лишь после войны эта художественная организованность народного быта начала исчезать, она начала исчезать вместе с исчезновением тысяч деревень и подворий, вместе с гибелью на фронтах Великой Отечественной наиболее жизнедеятельной части населения.

Во время войны в Тимонихе как-то несколько ночей ночевал Витька-нищий — мальчик лет десяти. Он был круглый сирота, но кто-то, может быть дальние родственники, внушил ему такую мысль: ночуя в чужих людях, надо рассказывать сказки. Разжиться не разживешься, а прокормиться сумеешь. Невелик был репертуар у мальчишки, всего одна сказка... Но как же он старался!

Сказочный герой, преданный родными братьями, брошенный в пропасть, попадает в тридевятое царство. Тоскуя по родине, он бродит по пустынному морскому берегу. Поднимается ужасная буря, повергнувшая на берегу могучий дуб, на котором свито гнездо улетевшей на промысел Ногай-птицы. Юноша спасает от бури малых птенцов, и в благодарность Ногай-птица соглашается вынести его из тридевятого царства. Соглашается с тем условием, что он будет кормить ее в долгом пути. И вот они летят все выше и выше... Он бросает ей куски бычьего мяса, но пища кончается, когда уже виден край белого света. Ногай-птица, обесиленная, готова рухнуть. Он отрывает свою левую руку и бросает ей, но этого мало, и тогда он рвет по частям свое тело и кормит птицу, чтобы сохранить ей силы.

Сказка заканчивается счастливо: Ногай-птица «отхаркивает» человеческую плоть, и тело срастается, обрызганное сначала мертвой, затем живой водой.

А бывало ли так в действительности?

Витькины плечи были слишком хрупки, чтобы выдержать всю грандиозную тяжесть жанра. В Тимонику, как и в тысячи других деревень, не возвратилось с войны ни одного мужчины...

Сказочная поэзия являлась естественной необходимостью всего бытового и нравственного уклада. Творчество сказителя было необходимо среде, слушателям, всему миру. Это вовсе не значит, что эстетическая потребность в сказке удовлетворялась как попало и где попало. Сказка возникала сама собой, особенно в условиях вынужденного безделья: в дорожном ночлеге, во время ненастья, в лесном бараке, а то и в доме крестьянина. Архангельские поморы, уходя в долгое опасное плавание, нередко брали с собой *натодельного* сказочника, пользовавшегося всеми правами члена артели. То же самое можно было наблюдать во многих плотницких артелях: умение *сказывать* давало негласную компенсацию одряхлевшему либо искалеченному плотнику. В зимнее время, когда не надо никуда торопиться, по вечерам слушать и рассказывать сказки собирались *специально*, устраивались даже своеобразные турниры сказочников. Здесь обретались популярность и слава, проступали индивидуальные свойства: пробовали силы начинающие, выявлялось косноязычие пустобрехов и никчемность вульгарщины.

Так же, как умение разговаривать, умение *рассказывать* приобретало некую обязательность, хотя никто тебя не осудит, если ты не умеешь рассказывать (как осуждают за то, что не умеешь сделать топорщице, и слегка подсмеиваются, если ты дремучий молчун), никто не станет насмешничать. Но все равно лучше было уметь рассказывать, чем не уметь.

Нищие и убогие, чтобы хлебный кус не вставал в горле, рассказывали особенно много, хотя никто не отказывал им в милостыне и без этого.

Некоторые сказки объединяют в себе свойства и бухтин и бывальщин. Нежелание следовать канону приводит рассказчика к смешению сказочных сюжетов с сюжетами бухтин, преданий, бывальщин, всевозможных интересных происшествий. Вот как начинается «Сказка про охоту», записанная в Никольском районе Вологодской области. «Я человек, как небогатый, продать было нечего, обдумал себе план, где приобрести денег на подать. Согласил товарищей идти в лес верст за сто с лишком, в сузем,

в Ветлужский уезд, ловить птиц и зверей... Время было осеннее, в октябре, так числа семнадцатого».

Полная бытовая достоверность и документальные подробности в сочетании с невероятными событиями вызывают особый эмоциональный эффект. Слушатель не знает, что ему делать: то ли дивиться, то ли смеяться. Подобный фольклор не поддается никакой ученой классификации.

В семье сказка витает уже над изголовьем младенца, звучит (худо ли, хорошо ли — другой вопрос) на протяжении всего детства. Вначале он слышит сказки от деда и бабушки, от матери и отца, от старших сестер и братьев, затем он слышит их, как говорится, в профессиональном исполнении, а однажды, оставленный присматривать за младшим братишкой, начинает рассказывать сам.

Слушатель, становясь рассказчиком, тут же дает свободу и ход своим возможностям, которые могут быть разными, от совсем мизерных до таких могучих, какими были они, например, у Кривополеновой. Природный талант, редкие исполнительские свойства сказочника включают в себя прежде всего *художественную* память, некое подспудное, даже неосмысленное владение традиционными поэтическими богатствами. Эта художественная память дополняется у талантливого сказителя свойством *импровизации*.

Редко, очень редко настоящий сказочник повторял себя. Обычно одна и та же сказка звучала у него по-разному, но еще реже он рассказывал одну и ту же сказку. Подобно профессиональному умельцу, например резчику по дереву, сказитель не мог в точности повторить себя, каждая встреча со слушателем была оригинальна, своеобразна, как своеобразен каждый карниз или наличник у хорошего резчика.

Другое дело — рассказчик заурядный. Он и сказок знал мало, и рассказывал всегда одинаково. Он тоже хранил традицию, но в его устах традиционные образы и сюжеты становились затаканно скучными, традиция мертвела, затем и вовсе исчезала. И тогда уже не помогала ни мимика, ни жестикуляция, ни умение вкомпоновать сказку в текущий быт и связать сюжет с определенными местами и названиями, с реальными слушателями, то есть все те приемы, которые использовали и талантливые сказочники.

Так, уже несколько раз упомянутая Наталья Самсонова однажды полдня рассказывала сказку всему детскому саду, пришедшему специально слушать. Она остановилась, как показалось, на самом интересном месте и закончила сказку только на следующий день.

Отношения талантливых и бездарных рассказчиков были просты и определены: менее умелые стихали, когда начинал рассказывать хороший рассказчик. Если же сталкивались самолюбия одинаково талантливых, могло возникнуть настоящее состязание — подлинный и редкий праздник для слушателей.

Сказка, словно одежда и еда, была либо будничной, либо праздничной. Жить без сказки равносильно тому, что жить без еды или одежды. Сказка частично утоляла в народе неизбежную жажду прекрасного. С нею свершалось — постоянно и буднично — самоочищение национального духа, совершенствовалась и укреплялась нравственность и народная философия.

Классификация сказок по жанрам — дело не столько трудное, сколько ненужное, суесловное. И все же среди тысяч рассказанных в тысячах вариантов в определенную группу складываются *детские* сказки, а среди них особенно выделяются сказки о животных. Нигде анималистика не представлена так широко, как в сказке. Но даже и детскую сказку можно рассказать по-разному. Вот, к примеру, как звучит сказка «Про Курочку Рябу», рассказанная для взрослых Елизаветой Пантелеевой Чистяковой из деревни Покровской Пунемской волости Кирилловского уезда.

«Был старик да старуха. У них была пестра курочка. Снесла яичко у Кота Котофеича под окошком на шубном лоскуточке. Глядь-ка, мышка выскочила, хвостом вернула, глазком мигнула, ногой лягнула, яйцо изломала. Старик плачет, старуха плачет, веник пашет, ступа пляшет, песты толкут. Вышли на колодец за водой поповы девки, им и сказали, што яйцо изломалось. Девки ведра изломали с горя. Попадье сказали, та под печку пироги посадила без памяти. Попу сказали, поп-от побегал на колокольню, в набат звонит. Миряна собрались: «Што жо сделалось?» Тут между собой миряна стали драться с досады».

Младенческое восприятие еще не готово к подобной многозначительности, и для детей бабушка рассказала бы сказку наверняка по-другому.

В свою очередь, взрослая сказка может быть и детской и взрослой сразу, в зависимости от обстоятельств, чутя и такта рассказчика. Та же Наталья Самсонова непристойные выражения, имевшиеся в некоторых сказках, маскировала звуковым искажением либо выпускала совсем. Брат же ее, Автоном Рябков, очень охотно рассказывал сказки «с картинками», но только для взрослой мужской компании. При детях и женщинах он переходил на обычные.

Бухтина

Федор Соколов (деревня Дружинино Харовского района) пришел с войны весь израненный и по этой причине называл себя решетом. А когда колхоз вернул ему отобранного во время «перегиба» единственного теленка, он объяснил это дело так: «Я решил их раскулачить». При встрече со стариком Баровым они всерьез обсуждали, сколько гвоздей надо на гроб, в какое время лучше умереть и стоит ли убежать с того света, если там «не пондравится».

Заливальщики и бухтинники, ревнуя народ к настоящим сказителям, дурачили слушателя скоморошьими шутками. Поэтому бухтина иногда начиналась с действия. Так, Савватий Петров из деревни Тимонихи, оставшись временно без жены, сел однажды доить корову. Корова убежала, а он начал шарить рукой по дну подойника, ища якобы оторвавшуюся коровью титьку. Он же смея ради не раз имитировал то петуха в известный момент, то кошачье «заскребывание».

Раисья Капитоновна Пудова, весьма реалистическая рассказчица, тоже была не прочь загнуть бухтинку, например, о корове, которая после дойки опускала в подойник заднюю ногу и, оглянувшись назад, булькала ногой в молоке.

Бухтина — это народный анекдот, сюжетная шутка, в которой здравый смысл вывернут наизнанку. Наряду с частушкой это до сих пор живущий жанр устного народного творчества. То, что этот жанр существовал и раньше, доказывается многими фольклорными записями. Некрасовский дед Мазай, развозивший зайцев в лодке по сухим местам, напоминает писаховского Малину, но литература покамест лишь слегка коснулась этой стороны народного словесного творчества.

Чем же отличается бухтина от сказки и от бывальщины? Между ними может и не быть внешнего жанрового различия:

сказка в иных случаях похожа то на бывальщину, то на бухтину. Бывальщина подчас объединяет в себе и бухтинные и сказочные черты. И все-таки бухтины — явление вполне самостоятельное, причем не только в фольклоре, но вообще в жизни, в народном быте.

Фантазия заливальщика бухтин полностью раскрепощена. Она напоминает и паясничанье скомороха, свободного от всех условностей, и видимую бессмыслицу юродивого. В отличие от бывальщин фантастический элемент в бухтине как бы линяет, теряя свою мистическую окраску. Фантастическое в народной бывальщине, как и в литературе (хотя бы в гоголевском «Вии»), усиливается при слиянии с бытовой реальностью. Приземленность фантастического в мистической бывальщине вызывает ужас, заставляет вздрагивать даже взрослых слушателей. Бытовая, но лишенная мистики фантастика вызывает смех. Юмористические эффекты как раз и рождаются на прочном спае реального, само собой разумеющегося с чем-то абстрактным и непредметным. В отличие от современного городского анекдота бухтина не всегда стремится к сатирической направленности. Бывает и так, что она рождается и живет лишь во имя себя, не желая нести идеологическую нагрузку, разрешая множество толкований. В других случаях сатирический или иной смысл спрятан очень тонко, ничто не выпирает наружу. Высмеивания вообще может не быть при рассказе. Умный слушатель улавливает самые отдаленные намеки. Нарочитая ложь, открытое вранье не противоречат в народной бухтине ее мудрости и нравственному изяществу.

Пословица

«Без смерти не умрешь», — любил говорить Михайло Григорьевич. Но как понимать эту пословицу? Что за философия кроется за таким изречением, для чего повторять эту вроде бы простую истину?

Без смерти не умрешь... Всего четыре слова. Ударение на первом. По-видимому, здесь не одно лишь отрицание самоубийства, противного народному мировосприятию. Самоубийство по такому восприятию — великий грех. В другой пословице говорится, что «смерть по грехам страшна». (Вспомним народное поверие о колдунах, которые не могут умереть, пока кто-то другой не возьмет у них грех общения с нечистой силой.)

Михайло Григорьевич спал по четыре часа в сутки, но эти часы он считал пропащими. Лучшим временем было у него чаепитие. «Ох, при себе-то и пожить!» — приговаривал он в такие минуты.

Пожить при себе... Снова нечто непонятное для современного восприятия и рационалистического ума.

«Не делай добра — ругать не будут» — одна из любимых его пословиц. Это у него, который всю жизнь стремился к одному: делать добро и жить по Евангелию...

Странное дело! Пословица как будто исключает сотни других, говорящих о силе и необходимости добра. Но это только на первый взгляд. Вспомним, с какой чистой душой устремился Дон-Кихот делать добро, освобождать пастушонка, привязанного к дубу, и как позже тот же пастушонок бросился на бедного рыцаря с руганью, обвиняя его во всех своих бедах. Народная мудрость неоднозначна, многослойна. И чтобы понять пословицу Михайлы Григорьевича, необязательно звать на помощь бессмертного Сервантеса...

«Богатство разум рождает», — говорит одна пословица. Нет, это «убыток уму прибыток», — утверждает другая. Которой же из них верить? А все и дело в том, что они не противоречат друг дружке. Просто каждая из них годится в определенных обстоятельствах. Может быть, первая сложена для философов, вторая для купцов, может, наоборот, а может, для тех и других. А разве нельзя допустить, что нормальному человеку добавляет ума как прибыток, так и убыток, что только на дурака не действует ни то ни другое?

Нет ничего заразительнее простого чтения далевого сборника пословиц. Зацепившись однажды за ваше внимание, книга накрепко захватывает вас, не хочет оставаться одна, посягая на самое сокровенное. Но ведь по художественной своей силе пословицы не равнозначны, и поэтому подобное чтение обманчиво. Ваше сознание то и дело адаптируется, переключается не только по смыслу, но и по величине эмоционального импульса. Интерес быстро становится неестественным, болезненно-навязчивым, восприятие притупляется. Появляется иллюзия полного понимания, полного контакта с народной мудростью. На самом же деле эта мудрость прячется за строку все дальше и глубже, как бы считая вас недостойным ее.

Да и может ли жить вся народная мудрость в одной, пусть и толстой, книге? Пословицы, многими тысячами собранные вместе, в один каземат, как-то не играют, может, даже мешают друг другу. Им тесно в книге, им нечем там дышать. Они живут лишь в контексте, в стихии непословичного языка.

Какой живой, полнокровной становится каждая (даже захудаленькая) пословица в бытовой обстановке, в разговорном языке! И тем не менее (нет худа без добра!) смысл и прелесть большинства хороших пословиц можно постичь, только глубоко задумавшись, то есть при чтении...

Раскроем рукописный сборник пословиц, датированный 1824 годом. Собиратель, судя по почерку и алфавитному подбору, был человеком грамотным. Он начинает рукопись с такой пословицы: «Аминем беса не избыть». «Атаманом артель крепка», — говорится дальше. Если читать не вдумываясь, сразу становится скучно. Но давайте попробуем вдуматься.

«Бранятся, на мир слова оставляют» — что это? Оказывается, когда бьются, то разговаривать некогда, кровь пускают друг другу молча. Слова годятся для *мирной* беседы, только в обоюдном разговоре можно избежать брани, то есть войны, схватки, побоища.

Как видим, пословица звучит вполне современно.

«Выше лба уши не растут». Вроде бы понятно, но, оказывается, главный смысл здесь в том, что никому не услышать больше того, на что он способен.

Читаем дальше: «Вор не всегда крадет, а всегда берет», «Вам поют, а нам наветки дают», «Гость не много гостит, да много видит» (заморский особенно, добавим мы от себя), «Голодный волк и завертки рвет», «Жаль девки, а потеряли парня».

Что ни пословица, то и загадка. Наше современное восприятие поверхностно, мы плохо вникаем в глубину и смысл подобных пословиц.

«Знаючи недруга, не пошто и пир», «За неволю и с мужем, коли гостей нету».

Даже две такие превосходные пословицы, но поставленные рядом, мешают одна другой, и на этот случай также есть пословица: «Один говорит красно, два — пестро». В самом деле, можно ли читать вторую, не вникнув в первую? Но если даже поймешь первую, то не захочется так быстро переключаться на тему о женской эмансипации...

Алфавит велик, век быстр, времени мало. Поспешим далее: «Звонки бубны за горами, а к нам придут — как лукошки», «Зоб полон, а глаза голодны», «Запас мешку не порча», «Змей и умирает, а зелье хватает», «Игуменя за чарку, сестры за ковш», «Испуган зверь далече бежит», «Кину хлеб назад — будет впереди».

...Хочется выписывать и выписывать. Но как понять хотя бы пословицу о хлебе? Что это значит? Неужели всего лишь то, что чем туже котомка (назад), тем дальше уйдешь?

На букву «л» анонимный собиратель, современник А.С. Пушкина, записал и такие пословицы: «Лисица хвоста не замарают», «Ленивому всегда праздник», «Люди ходят — не слышать, а мы где ни ступим, так стукнет», «Лошадка в хомуте везет по могуте».

Над последней пословицей, как и над предыдущими, современному человеку думать да думать (речь идет здесь вовсе не о мужицком транспорте). «Мы про людей вечеринку сидим, а люди про нас и ночь не спят». Далеко не всем с ходу становится ясно, что говорится тут о ворах, тайных ночных татях.

Пословица «Млад месяц не в одну ночь светит» — женская. Сложена про неопытного, совсем юного мужа или любовника, но она так же многозначна, как выражение «ночь-матка, все гладко». «Не прав медведь, что корову съел, не права и корова, что в лес зашла», «Не все, что серо, — волк», «Не по летам быют — по ребрам», «Не гузном петь, коли голосу нет», «Ни то ни се кипело и то пригорело», «На гнилой товар да слепой купец», «На грех мастера нет», «На ретивую лошадку не кнут, а воз» (о строптивой жене), «Не умела песья нога на блюде лежать», «Один черт — не дьявол», «Отдам тебе кость — хоть гложи, хоть брось» (о замужней дочери), «По шерсти собаке и имя дано», «По саже хоть гладь, хоть бей, все равно черен будешь от ней», «Передний заднему дорога» (в пессимистическом смысле о покойнике, в оптимистическом — о новорожденном).

Сделаем хотя бы короткую передышку. Вдумаемся в такую, например, пословицу: «Пролитое полно не живет». Какие широкие ассоциативные возможности всего в четырех этих словах! Конечно, пословица ничего не говорит человеку, не способному мыслить образно. Не вспомнится она ему при виде послегрозовой тучи, израненного на войне человека, не придет в голову при виде разоренного дома или кабацкой стойки, плавающей в на-

родных слезах. Пословица годится даже для нас и в сию минуту, когда мы размышляем о форме и содержании...

Посмотрим, что записано далее:

«Давни обычаи, крепка любовь», «Собака и на владыку лает», «Старый долг за находку место» (сюрприз, так сказать), «С чужого коня среди грязи долой», «Своя болячка велик желвак», «Свой своему поневоле друг», «Слепой слепца водит, оба зги не видят», «Смолоду прорешка, под старость дира» (именно дира, а не дыра), «Старого черта да подперло бежать», «С сыном бранись — за печь гребись, с зятем бранись — вон торопись», «Та не беда, что на деньги пошла», «Терпи, голова, в кости скована», «Тужи по молодости, как по волости» (о здоровье), «Теля умерло, хлева прибыло» (то есть худа без добра не бывает).

Нет, алфавитный порядок, что ни говори, не подходит, простое перечисление почти ничего не дает, когда имеем дело с пословицами. Одно такое изречение, как «Милость и на суде хвалится», может стать предметом отдельного разговора. Но у нас нет времени для таких разговоров...

«У кого во рту желчь, у того все горько», «Укравши часownik да услышь, Господи, правду мою!», «У денег глаз нету» (сравним с тем, что «деньги не пахнут»), «У Фили пили, да Филю ж и били», «Хвалит другу чужую сторону, а сам туда ни ногой».

В старых народных запасах есть изречение на любой случай, на любое архисовременное явление, нравственный максимализм многих изречений не стареет с веками:

«Чего хвалить не умеешь, того не хули», «Что грозно, то и честно», «Шуту в дружбе не верь», «Явен грех малу вину творит», «Смелым Бог владеет, а пьяным черт шатает», «Не люби потаковщика, люби встришника» (идушего встречу, не всегда согласно с твоим мнением), «Правда светлее солнца», «Сон — смерти брат», «Сей слезами, пожнешь радостью».

Видно, что собиратель писал гусиным пером. Жирный крест перечеркнул такую надпись: «Сия тетрадка мне помнится, я писал назад тому один год — в 1824 году месяца Генваря 5-го числа в канун Крещения, 1825 года Генваря 10-го дня».

Подпись отсутствует, обнаруживая в авторе скромность и нежелание всякого тщеславия. Зато далее записано еще около трехсот превосходных пословиц. Вот некоторые из них:

«Близь царя — близь чести, близь царя — близь смерти», «Беглому одна дорога, а погонщикам — много» (погонщик — значит преследователь), «В слепом царстве слепой король», «В дороге и отец сыну — товарищ», «Гнет не парит, а переломит — не тузит», «Где царь, там и орда».

В каждой такой строке сквозит история, а иные пословицы звучат для современного ума почти загадочно:

«Верь в бороде, а порука в воде», «В воду глядят, а огонь горит», «Вши воду видели, а валеки люди слышали», «Взяли ходины, не будут ли родины?», «Доброе молчание — чему не ответ», «Для того слеп плачет, что зги не видать», «Два лука и оба туги», «Днем со свечою и спать», «Добрая весть, коли пора есть», «Добро того бить, кто плачет», «За ночью что за городом», «Красная нужда дворянам служба», «Рука от руки погибает, а нога ногу поднимает». Можно догадаться, что в пословице: «Кобылка лежит, а квашня бежит», — говорится о мужчине и женщине. Но что значит: «Ключ сильнее замка»? Или: «Мельник шумом богат»?

Не совсем понятно и выражение «Между дву наголе». «Не вскормя, ворога не видать» — по-видимому, толкует о том, что хороша не всякая доброта и дружба. (Может быть, это близко к пословице: «Не делай добра, ругать не будут».) А что значит пословица: «Орлы дерутся — молодцу перья»? Получается, что лучшие пословицы многозначны, средние одно- и двузначны, а плохие просто скучны и прямолинейны. Также и истинно народное восприятие пословиц было многоступенчатым. Чем глобальнее высший смысл пословицы, тем больше у нее частных значений. Возьмем такую общеизвестную пословицу: «Из песни слова не выкинешь». Поверхностно и самонадеянно относясь к пословицам, мы не замечаем, что пословица не о песне, а о чем-то более важном, глубоком. Например, вообще о человеческой жизни, причем необязательно веселой и беззаботной, как песня чижики. Тогда «слово», которое из песни нельзя выкинуть, можно представить в виде какого-то неизбежного события (женитьба, рекрутчина и т.д.).

Трудно удержаться от соблазна выписать из этой удивительной тетради еще несколько пословиц: «Нужда закон переменяет», «На тихого Бог нанесет, а резвый сам натечет», «Не у детей и сидни в чести», «Нищего ограбить — сумою пахнет», «Невинна душа, пристрастна смерть», «Не бойся истца, а бойся судьи», «От избытка ума — глаголют», «Оглянись назад, не горит ли по-

сад», «Плохого князя телята лижут», «Старый ворон не каркнет даром», «Сыт пономарь и попу подаст».

Но конца нет и не будет... Как видим, пословица, упрятанная в книгу или в рукопись, еще не погибает совсем. Она и в таком, консервированном (если можно так высказаться), виде хранит образно-эмоциональную силу, в любой момент готовую проявиться. Но ведь книги читаются не всеми людьми, а такие сборники знакомы и вовсе очень немногим. К тому же пословица не раскрывает свои богатства эмоционально не разбуженному, а также не знающему народного быта читателю.

По каким-то никому не известным причинам фольклорные знатоки ставят рядом с пословицей *поговорку*, жанровые границы которой вообще не заметны. Поговоркой можно назвать любое образное выражение. Они, поговорки, могут вообще не иметь смысла, а лишь музыкально-ритмичное оформление, забавляющее слух, звуковые сочетания и безличные возгласы («Ох, елки-палки лес густой», «Вырвизуб», «Кровь с молоком» и т.д.). Поговорка присутствовала повсюду. Обучение детей счету происходило благодаря поговоркам, словно бы мимоходом: «Два, три — нос утри», «Девять, десять — воду весят», «Один-надцать, двенадцать — на улице бранятся».

1979—1981

Владимир Алексеевич СОЛОУХИН 1924—1997

ВЛАДИМИРСКИЕ ПРОСЕЛКИ (Отрывок)

...Снова медовая горячая духота архиерейского двора окружила нас, и резок был переход из нее в каменную прохладу собора, устоявшуюся тут за долгие века. Ворота, окованные медью, черные, как уголь, просвечивали золотой росписью. Это и есть знаменитая золотая наводка, которую делают один раз на вечные времена. Ворота уцелели от Батыева разорения, и это считалось церковным чудом.

— Вон, — Варганов кивнул на нижний угол ворот, — двадцать лет мимо ходил, а потом думаю: дай отчищу! Отчистил уголышек, а там Самсон, львиную пасть раздирающий. Чистая Византия! Стены собора расписаны религиозной живописью. Верхняя живопись неинтересная, — пояснил Алексей Дмитриевич. — Под живописью, если ее счистить, — фрески семнадцатого века, а если и фрески убрать, откроется орнамент Мономаховых времен. Фреска, она ведь кладется на сырую штукатурку. Писать ее можно только четыре часа, потом штукатурка высыхает. Иные мастера рисунок сначала прочерчивали гвоздем. — И Варганов показал нам прочерченные круги на штукатурке, причем гвоздь нацарапал в одном месте без толку несколько окружностей. Мастер никак не мог найти центра.

— От неопытности, что ли? — поинтересовались мы.

— Скорее всего, выпивши был, вот и портил штукатурку. Рублев фрески писал сразу, без гвоздей. Это был виртуоз.

— Что за гробница там, в углу?

— А, — равнодушно бросил Варганов, — здесь лежит князь Кислый, дружкой на свадьбе у царя Василия гулял.

Мы заметили, что о разных князьях, княгинях и их родственниках Варганов говорит так просто и легко, как будто они родственники его приятелей или приятели ему самому. Когда шли от собора до Покровского монастыря, произошел случай еще характернее. Подвыпивший мужчина тридцати с лишним лет отвел Варганова в сторону и минут пять что-то ему доказывал.

— Кто это? — спросили мы, когда Варганов догнал нас.

— Это потомок одного новгородского купца. Князь Ярослав захватил тогда новгородских людишек как раз перед Липецкой битвой. Семьсот лет назад дело было — может, слышали?

— Теперь-то он кто?

— Теперь он шофер на здешней автобазе. Все пристаёт ко мне, чтобы я у него кое-какую купеческую утварь для музея купил.

— Что у него за утварь?

— Посуда медная: ендовы, ковши, подносы.

Незаметно дошли до Покровского монастыря. Первым делом Варганов повел всех в склеп. Мы спускались все ниже и ниже по кирпичным ступеням, а Варганов говорил:

— Иван Грозный любил здесь ходить. Покровский монастырь был у него в большом фаворе. На Казань пошел — здесь моле-

бен служил. С Казани шел — опять молебен служил. Даже обет давал, что если возьмет Казань, то одарит монастырь царскими дарами.

Между тем каменные гробницы окружили нас.

— Екатерина Шуйская, дочка Малюты Скуратова, — небрежно бросил Варганов, показывая на камень. — Как Скопин, разбив поляков, вошел в Москву, Шуйские от зависти решили его отравить. Вот эта мадам ему яд на пиру подавала.

— Царица Александра, — сообщал Алексей Дмитриевич, останавливаясь у следующего камня. — Сына своего Иван Грозный убил, а после убиенного вдова осталась. Это она. А то вон царица Анна, пятая жена самого Ивана Грозного. Ядом ее, бедную, опоили. Здесь лежала дочка Бориса Годунова — Ксения. Неудачливо сложилась у нее жизнь. Сначала вроде улыбнулась, а потом все и пропало. Ее ведь за датского королевича просватали, а Лжедмитрий захватил и принудил к сожительству. Тут Марина Мнишек вмешалась, приказала сослать.

По мере того как рассказывал Варганов, прямоугольные камни, проглядывающие из полумрака монастырского склепа, мрачные сами по себе, приобретали еще большую мрачность. Эту опоили ядом, другая сама опоила ядом, у третьей убили мужа, четвертую сослали...

— Здесь же, — остановился Алексей Дмитриевич у крайнего к входу камня, — пожалуй, самая интересная могила. Хотите, расскажу? Соборный храм в этом монастыре основал отец Ивана Грозного — царь Василий. С ним была и царица — молодая красавица Соломония Сабурова. Она, конечно, не могла знать наперед, что через десять лет муж сошлет ее в этот монастырь. Сослал же он ее за бездетность. Царю наследник нужен, а Соломония не рожала и не рожала.

Не хотелось ей, бедной, постригаться. Билась, говорят, ножницы из рук вырывала, плакала...

Царь Василий между тем женился на Елене Глинской, вскоре родившей мальчика, не кого иного, как будущего Ивана Грозного. Однако что же Соломония?

Постригли ее за бездетность в монахини, и вдруг вскорости она забеременела и даже ребеночка родила. Этот ребенок с рождения был обречен на смерть. Его бы, конечно, убили, дабы, ког-

да вырастет, не претендовал на престол, не заводил в царстве смуту. Как-никак, родной брат Ивану Грозному.

Но прошел слух, что он помер и похоронен в этом склепе. Похоронен и похоронен — как говорят, концы в воду.

Недавно пришла мне мысль: дай-ка раскопаю, погляжу, что там, в могиле. Раскопал, вижу — гробик крохотный, а в гробике... кукла, обыкновенная кукла, в тряпки одетая, словно сейчас положили. Я ее послал в Москву, реставратору Видоновой, та прислала мне шелковую мальчиковую рубашку, остальные тряпки не стоили внимания.

Значит, захоронение было ложное. Его устроили, чтобы спасти жизнь настоящему младенцу. Значит, настоящий-то младенец остался жив.

— И что же, какая его судьба?

Варганов помолчал — может быть, для большего впечатления.

— Разбойника Кудеяра слышали? Он. У меня нет в руках точных данных, но окольные исторические наблюдения, опыт и интуиция подсказывают мне, что он и есть разбойник Кудеяр.

— Как, разбойник Кудеяр, о котором сложено столько песен и легенд?!

В самом деле, может быть, недаром такое внимание привлекала к себе личность Кудеяра? Даже историк Костомаров написал о нем книжку. Еще и сегодня в Воронежской области вам покажут остатки Кудеярова городища, укрепленного становища разбойников.

А может, и правда: одному брату — царство русское, а другому — вольная воля по всей русской земле. Лежи, кукла, в земле, лежи, а настоящий сын, вон он, на горячей лошади, в окружении верных друзей, в окружении вольного люда рыщет по темным лесам под именем Кудеяра! Не завидует доле царя, которому мерещится в каждом углу измена да крамола. А и помирать — так на вольном воздухе, а не в душном терему, под небесными звездами, а не под вонючей лампадой!

Здесь же, в Покровском монастыре, Варганов показал нам некоторые примеры реставрационных работ. Реставраторы как раз трудились над трапезной монастыря. Задача Варганова в реставрации Суздаля сводилась к тому, чтобы сквозь слепую кирпичную кладку позднейшего времени увидеть ранние формы.

— Иной раз по одному кирпичному клинышку приходится восстанавливать все окно.

— Разве это возможно?

— Сначала и я думал — нельзя. Но точно так же зоолог по одной-двум костям, найденным в земле, восстанавливает целый скелет летающего ящера. Интересно искали мы лестницу в архиерейских палатах.

— Как же?

— Стали считать слои побелок на стене. Насчитали их одиннадцать. По всей стене одиннадцать, а в иных местах только две. Значит, там, где две, что-то раньше было, что мешало белить стены. Когда прочертили границу между одиннадцатью побелками и двумя, получились очертания лестницы. Так вот, шажок за шажком, восстанавливаем все. А то вот еще. — Варганов вскинул голову и показал на три окна, расположенные подряд в кирпичной стене монастырского здания. — Разве не интересно?

— Окна... конечно... это очень занятно...

— Слепые вы люди! Разве не видите, что каждое окно по-разному отделано?

Тут мы тоже увидели, что каменная резьба вокруг каждого окна разная и что это в какой-то степени нарушает архитектурный ансамбль, как если бы хозяин деревенского дома приколотил к окнам разные наличники.

— Значит, поняли! А почему так получилось?

— Наверно, был неграмотный архитектор.

Варганов усмехнулся.

— Виноват не архитектор, а характер русского человека. У каждого окна в люльке висело по мастеру. Мастера старались один перед другим, каждый хотел отличиться, сделать лучше, чем сосед, по-своему, вот и натворили...

— Вы эти камни читаете, как книгу.

— Да, — без ложной скромности согласился Варганов. — Здесь целые каменные фолианты. А вообще Суздаль, как он есть, — это фольклор, только выраженный архитектурными формами. Весь Суздаль — это одна каменная песня. Между прочим, такое убеждение помогло спасти Суздаль от разрушения. Решили было ломать все поздние церкви, а оставить несколько самых древних построек. Что тут делать! Если церковь построена в восемнадцатом веке, попробуй доказать ее историческую

ценность. Сама по себе она, может, действительно ничего не стоит, но сломай — и нарушится ансамбль города, появится в ансамбле черная прореха. Только тем и убедил, что Суздаль, мол, надо брать не по отдельным церквам, а в целом. Он весь есть одна каменная песня, а из песни слова не выкинешь.

Варганов задумался, как бы вспомнив что-то светлое и хорошее. Усмехнулся.

— Была у меня на практике девушка из Архитектурного института — Лиза Караваева. Это положение, что Суздаль — единственный ансамбль, одна песня, она взяла темой для диссертации. Научно решила показать.

— Показала?

— Получилась диссертация — гимн во славу Суздаля. Я ей пишу: «Милая Лиза, ты воображаешь, что суздальские мужики уходили на Горку и, скребя в затылке, прикидывали: а где бы еще для красоты поставить церковку? А помнишь, милая Лиза, я показывал тебе изумительное древнее шитье? Мастерница как бы взяла в горсть разноцветных самоцветов да драгоценных камней и небрежно рассыпала их по черному бархату. Вот так и Суздаль!»

1957

Юрий Валентинович ТРИФОНОВ **1925—1981**

ОБМЕН (Отрывок)

<...>

Впервые за несколько месяцев после той тягомотной истории с институтом Дмитриев увидел Левку Бубрика. И сразу вспомнил, что покойный дед осуждал его за Левку. Был даже какой-то разговор, когда дед сказал: «Мы с Ксеньей ожидали, что из тебя получится что-то другое. Ничего страшного, разумеется, не произошло. Ты человек не скверный. Но и не удивительный».

А с Левкой были знакомы с детства, учились в одном институте. Не то что друзья «водой не разольешь», но связанные кре-

пью домов и семей товарищи. Отец Левки, доктор Бубрик, лечивший Дмитриева еще в малолетстве, был братом мужа тети Жени, погибшего на войне. То есть Левка был неродным племянником тети Жени. Сразу после института Левка поехал в Башкирию и проработал там три года на промыслах, в то время как Дмитриев, который был постарше и на год раньше получил диплом, остался работать в Москве на газовом заводе, в лаборатории. Ему тоже предлагали разные заманчивые одиссеи, но согласиться было трудно. Мать очень хотела, чтобы он поехал в Туркмению, в Дарган-Тепе, потому что недалеко от родного Лоринского Куня-Ургенча — каких-нибудь шестьсот километров, пустилки! — и брат с сестрой могли бы встречаться за пиалой кокача и скучать вместе по дому. Наташка родилась слабенькой, болела, Лена тоже болела, не было молока, нашли кормилицу Фросю, школьную уборщицу, жившую в бараке на Таракановке, Дмитриев ездил к ней вечерами за бутылочками. Какой там Дарган-Тепе! Да и не было никакого Дарган-Тепе. Были грезы по утрам, в тишине, когда он просыпался с нечаянной бодростью и думал: «А хорошо бы...» И все представлялось так прозрачно, четко, как будто он поднимался ясным днем на гору и смотрел оттуда далеко вниз. «Витя, — говорила Лена (или «Витенька», если был период безмятежности и любви), — зачем ты себя обманываешь? Ты же не можешь никуда от нас. Я не знаю, любишь ли ты нас, но ты не можешь, не можешь! Все кончено! Ты опоздал. Надо было раньше...» И, обняв, смотрела ему в глаза синими ласковыми глазами ведьмы. Он молчал, потому что это были его собственные мысли, которых он боялся. Да, да, он опоздал. Поезд ушел. Прошло уже четыре года с тех пор, как он окончил институт, потом прошло пять, семь, девять. Наташка стала школьницей. Английская спецшкола в Утином переулке, предмет вожделения, зависти, мерило родительской любви и *расшибаемости в лепешку*. Другой микрорайон, почти немислимо. И никому, кроме Лены, было бы не под силу. Ибо она вгрызалась в свои желания, как бульдог. Такая миловидная женщина-бульдог с короткой стрижкой соломенного цвета и всегда приятно загорелым, слегка смуглым лицом. Она не отпускала до тех пор, пока желания — прямо у нее в зубах — не превращались в плоть. Великое свойство! Прекрасное, изумительное, решающее для жизни. Свойство настоящих мужчин.

«Ни в какие экспедиции. Не дольше чем на неделю» — это было ее желание. Бедное простодушное желание со вмятинами от железных зубов.

Другим желанием Лены, которое ее занимало в течение нескольких лет, было: устроиться в ИМКОИН. О, ИМКОИН, ИМКОИН, недостижимый, заоблачный, как Джомолунгма! Разговоры об ИМКОИНе, телефонные звонки насчет ИМКОИНа, слезливое отчаянье, вспышки надежды.

«Папа, ты разговаривал с Григорием Григорьевичем по поводу ИМКОИНа?» — «Леночка, тебе звонили из ИМКОИНа!» — «Откуда?» — «Из ИМКОИНа!» — «О Боже мой, из отдела кадров или просто Зойка?» Две идеально устроенные в этой жизни приятельницы работали в ИМКОИНе — Институте международной координированной информации. Наконец, удалось. ИМКОИН стал плотью и хрустел на зубах, как хорошо прожаренное куриное крылышко. Удобно, сдельно, прекрасно расположено — в минуте ходьбы от ГУМа, — а прямой начальницей была одна из приятельниц, с которой вместе учились в институте. Приятельница давала переводить столько, сколько Лена просила. Потом-то они поссорились, но года три все было «о'кей». В обеденный перерыв бегали в ГУМ смотреть, не выбросили ли каких кофточек. По четвергам показывали иностранные фильмы на языках. Но подготовить диссертацию вместо Дмитриева Лена, к сожалению, не могла. Дмитриев получал тогда, в лаборатории, сто тридцать, а его институтский знакомец, однокурсник — серый малый, но большой трудяга, хитрый Митрий, который во всем себе отказывал и даже не женился до поры, — получал вдвое больше потому, что высидел свинцовым задом диссертацию. Лене страшно хотелось, чтобы Дмитриев стал кандидатом. Всем хотелось того же. Лена помогала в английском, мать одобряла, Наташка по вечерам разговаривала шепотом, а теща присмирела, но через полгода он сдался. Наверное, потому же: поезд ушел. Не хватало сил, каждый вечер он приходил с головной болью, с единственным желанием — поскорей завалиться спать. Он и заваливался, если по телевизору не было чего-нибудь стоящего — футбола или старой комедии. И, сдавшись, возненавидел всю эту муть с диссертацией, говорил, что лучше честно получать сто тридцать целковых, чем мучиться, надирать здоровье и унижаться перед нужными людьми. И Лена теперь

тоже так считала и презрительно называла знакомых кандидатов дельцами, пройдохами. В это время как нельзя более кстати — а может, некстати — подкатился Левка Бубрик со своей просьбой насчет Института нефтяной и газовой аппаратуры, сокращенно ГИНЕГА.

Левка, возвратившись из Башкирии, долго не мог найти подходящей работы. И вот нашел ГИНЕГА. Но туда еще надо было попасть. Никогда бы ни Левка, никто другой не попал бы в ГИНЕГА, если бы Иван Васильевич не позвонил Прусакову. А потом даже поехал к Прусакову сам на казенной машине. Прусаков держал это место для кого-то другого, но Иван Васильевич нажал, и Прусаков согласился. В конце концов, не Левкин же тесть ездил к Прусакову, а дмитриевский! Правда, ради Левки. Это верно. Потому что Лена попросила отца, она жалела Левку и его жену, эту толстую клушу Инночку. Потом Инночка устроила хороший бенц в гостях у общих друзей, кричала: «Ты жуткий человек!» Но Лена на все это пошла сознательно и держалась очень стойко и хладнокровно. Друзья говорили, что Лена держалась великолепно. Она все взяла на себя и говорила, что Дмитриев не хотел, но она настояла. «Виновата я, одна я, Витьку не вините! А вы бы хотели, чтоб мы жили на сто тридцать и Витька убивал три часа на дороге?»

Конечно, так и было. Мысль пришла ей первой, когда Иван Васильевич приехал и рассказал, что за место. И Дмитриев действительно не хотел. Три ночи не спал, колебался и мучился, но постепенно то, о чем нельзя было и подумать, не то что сделать, превратилось в нечто незначительное, миниатюрное, хорошо упакованное, вроде облатки, которую следовало — даже необходимо для здоровья — проглотить, несмотря на гадость, содержащуюся внутри. Этой гадости никто ведь не замечает. Но все глотают облатки. «Я Леву уважаю, — говорила Лена, — и даже люблю, но ночему-то моего мужа я люблю больше. И если уж папа, старый человек, который терпеть не может одолжаться, собрался и поехал...»

Надо было сказать им сразу, но не хватило духу — тянули, отмачивались. Они узнали стороной. И как отрезало: не приходили, не звонили. Черт их знает, может, они были и правы, но так тоже не делается: придите, поговорите по-хорошему, узнайте, как и почему. А когда встретились у друзей, Бубрик отвернул

нос, а Инночка орала, как торговка на рынке. Ну что ж, наплевать и забыть. И только года через четыре или пять — был день рождения Ксении Федоровны, зима, конец февраля — вся эта история опять всколыхнулась. Мать с дедом и раньше пилили Дмитриева, но не очень злобно, потому что и вправду считали, что все завела Лена. А с Лены какой же спрос? С Леной приходилось мириться, как с дурной погодой. Но вот тогда, в день рождения матери...

Отчетливо, как сейчас: поднимаются по лестнице, остановились у двери. Наташка держит подарки, коробку конфет и книгу на английском языке Теккерея «Ярмарка тщеславия», а Лена прислонилась плечом к двери и, закрыв глаза, шепчет как бы про себя, но, конечно, для Дмитриева: «Ой, Боже мой, Боже мой, Боже мой...» Вот, мол, на какие испытания иду ради тебя. И он начинает привычно закипать. Лена не любит ходить к свекрови. С каждым годом — все больше через силу. Что поделаться? Ну, не любит, не может, не выносит. Все ее раздражает. Как бы сладко ни кормили, как бы любезно ни разговаривали, бесполезно: все равно что отапливать улицу. Нарочно ласково Дмитриев говорит с дочкой, обняв ее: «Как, мартышка, довольна, что пришла к бабушке?» — «Ага!» — «Любишь сюда ходить?» — «Люблю!» А Лена, улыбаясь, добавляет: «Люблю, скажи, но я должна рано ложиться спать. И пусть папочка, скажи, не засиживается, чтоб не тащить его из-за стола силой. В половине, скажи, десятого встаем и едем».

Все бы обошлось тогда, если б не эта дура Марина, двоюродная сестра. Как увидел ее красную физиономию за столом над пирогами и вафлями, сразу понял: несдобровать. Лена гораздо умнее ее, но чем-то они схожи. И всегда, как встречаются на семейных сборах, затевается между ними какая-то петуховина. То спорят в открытую, а то пикируются хитро, так что со стороны и не заметишь. Вроде ватерполистов, которые бьют друг друга ногами под водой, чего зрители не видят. Ночью Дмитриева вдруг ошеломили: «Почему твоя кухня весь вечер меня язвила?» — «Как язвила?» — «А ты не слышал?» — «Что именно?» — «Ну, хотя бы то, что она говорила насчет женщин Востока? Насчет их задов и ног?» — «Позволь, но ты ведь, кажется, не женщина Востока?» — «Ах, что с тобой говорить...»

И тогда, в феврале — почему-то запомнилось до последнего слова, — началось с невиннейшего, с подводных толчков. А за-

помнилось потому, что — последний раз Лена в гостях у матери. С тех пор никогда. Уже лет пять ни разу. Ксения Федоровна заходит, навещает внучку, а Лена к ней — нет. «Как поживаешь, Марина? У тебя все по-прежнему?» — «Конечно! А как у тебя? Служишь все там же?» Эти фразы, сказанные с улыбкой и в рамках правил, означали на самом деле: «Ну как, Марина, никто на тебя по-прежнему не клюнул? Я-то уверена, что никто не клюнул и никогда не клюнет, моя дорогая старая дева». — «А меня это не волнует, потому что я живу творческой жизнью. Не то что ты. Ведь ты служишь, а я творю, живу творчеством». Марина работала тогда редактором в издательстве. Сейчас где-то на телевидении. «А что-нибудь хорошее вы издали за последнее время?» — «Кое-что издали. Это у тебя что за материал? Брала в ГУМе?» И тут были упругие удары под водой: «О каком творчестве ты там лепечешь? Хоть одну хорошую книгу ты лично отредактировала, выпустила?» — «Да, конечно. Но говорить с тобой об этом нет смысла потому, что тебя это не может интересовать. Тебя же интересует ширпотреб». Были какие-то споры о стихах, о всемирном мещанстве. Эту тему Марина очень любила, не упускала случая потоптать мещанство. У, мещане! Когда она хлопотала по поводу тех, кто не признает Пикассо или скульптора Эрзю, во рту ее что-то клубилось и даже как будто сверкало.

Все ненавистное, что для Марины соединялось в слове «мещанство», для Лены было заключено в слове «ханжество». И она объявила, что «все это ханжество». Марина изумилась: «Ханжество?» — «Да, да, ханжество». — «Любить Пикассо ханжество?» — «Разумеется, потому что те, кто говорят, что любят Пикассо, обычно его не понимают, а это и есть ханжество». — «Бог мой! Держите меня! — хохотала Марина. — Любить Пикассо ханжество! Ой-ой-ой!» Лица обеих горели, глаза пылали нешуточным блеском. Пикассо! Ван Гог! Сублимация! Акселерация! Поль Джексон! Какой Поль Джексон? Не важно, потому что ханжество! Ханжество? Ханжество, ханжество. Нет, ты объясни тогда: что ты называешь ханжеством? Ну, все то, что делается не от сердца, а с задней мыслью, с желанием выставить себя в лучшем виде. «А-а! Значит, ты занимаешься ханжеством, когда приходишь к тете Ксене на день рождения и приносишь ей конфеты?»

Лена, поглядев на Дмитриева с улыбкой, в которой было почти торжество (я предсказывала, но ты настоял, так что по-лучай, кушай!), сказала, что у нее с Ксенией Федоровной отношения действительно не самые лучшие, но она пришла ее поздравить не из ханжества, а потому, что просил Витя. Что-то вроде того. Дальше провал. Гости прощались. Мать спотыкалась. Тетя Женя заговорила о Левке Бубрике, зачем — неизвестно. Она всегда хочет сделать как лучше, а получается наоборот. Мать сказала: возмутительная история, и она долго не верила, что Витя мог так поступить. «Ах, вы считаете, что во всем виновата я? А ваш Виктор был ни при чем?» — «Виктора я не оправдываю». — «Но все-таки — я?!» Щеки Лены покрывались бурным румянцем, а в лице Ксении Федоровны проступали гранитные черты.

«Да, конечно, я способна на все. Ваш Виктор хороший мальчик, я его совратила». Тетя Женя сказала, тряся благожелательной сивой головкой: «Милая Лена, вы же сами так объясняли Левочке, я очень хорошо помню». — «Мало ли что я объясняла! Я заботилась о своем муже. И вы не имеете, не имеете...» — «Перестань кричать!» — «А ты предатель! Не хочу с тобой разговаривать». Схватив Наташку, рванулась из-за стола. «Почему ты всегда молчишь, когда меня оскорбляют?» И — на лестницу, на мороз, навсегда.

Он бежал вниз, поскальзывался на обледенелых лужах. Лена и Наташка глупо прыгали от него в троллейбус, дверь замыкалась, и он не знал, куда дальше, что же будет. Не мог никуда. Когда дом разрушался, он не мог никуда, ни к кому. Нет, еще однажды после того февраля она пришла к матери — не было выхода, Иван Васильевич лежал с инсультом, теща дни и ночи проводила с ним, а у Дмитриева и Лены горели путевки на Золотые пески — не с кем было оставить Наташку. В Болгарии вечерами гуляли в свитерах и очень сильно любили друг друга. Днем номер накалялся, хотя опускали штору, вода в душе была теплая. И никогда так сильно не любили друг друга.

<...>

1969

Варлам Тихонович ШАЛАМОВ
1907—1982**СЕНТЕНЦИЯ***Надежде Яковлевне Мандельштам*

Люди возникали из небытия — один за другим. Незнакомый человек ложился по соседству со мной на нары, приваливался ночью к моему костлявому плечу, отдавая свое тепло — капли тепла — и получая взамен мое. Были ночи, когда никакого тепла не доходило до меня сквозь обрывки бушлата, телогрейки, и поутру я глядел на соседа как на мертвеца и чуть-чуть удивлялся, что мертвец жив, встает по окрику, одевается и выполняет покорно команду. У меня было мало тепла. Не много мяса осталось на моих костях. Этого мяса было достаточно только для злости — последнего из человеческих чувств. Не равнодушие, а злость была последним человеческим чувством — тем, которое ближе к костям. Человек, возникший из небытия, исчезал днем — на угольной разведке было много участков, — и исчезал навсегда. Я не знаю людей, которые спали рядом со мной. Я никогда не задавал им вопросов, и не потому, что следовал арабской пословице: не спрашивай — и тебе не будут лгать. Мне было все равно — будут мне лгать или не будут, я был вне правды, вне лжи. У блатных на сей предмет есть жесткая, яркая, грубая поговорка, пронизанная глубоким презрением к задающему вопрос: не веришь — прими за сказку. Я не расспрашивал и не выслушивал сказок.

Что оставалось со мной до конца? Злоба. И, храня эту злобу, я рассчитывал умереть. Но смерть, такая близкая совсем недавно, стала понемногу отодвигаться. Не жизнью была замещена смерть, а полусознанием, существованием, которому нет формул и которое не может называться жизнью. Каждый день, каждый восход солнца приносил опасность нового, смертельного толчка. Но толчка не было. Я работал кипятильщиком — легчайшая из всех работ, легче, чем быть сторожем, но я не успевал нарубить дров для титана, кипятильника системы «титан». Меня могли выгнать — но куда? Тайга далеко, поселок наш, командировка по-колымскому, — это как остров в таежном море. Я еле

таскал ноги, расстояние в двести метров от палатки до работы казалось мне бесконечным, и я не один раз садился отдыхать. Я и сейчас помню все выбоины, все ямы, все рытвины на этой смертной тропе, ручей, перед которым я ложился на живот и лакал холодную вкусную целебную воду. Двуручная пила, которую я таскал то на плече, то волоком, держа за одну ручку, казалась мне грузом невероятной тяжести.

Я никогда не мог вовремя вскипятить воду, добиться, чтобы титан закипал к обеду.

Но никто из рабочих, из вольняшек, — все они были вчерашними заключенными — не обращал внимания, кипела ли вода или нет. Колыма научила нас всех различать питьевую воду только по температуре. Горячая, холодная, а не кипяченая и сырая.

Нам не было дела до диалектического скачка перехода количества в качество. Мы не были философами. Мы были работягами, и наша горячая питьевая вода этих важных качеств скачка не имела.

Я ел, равнодушно стараясь съесть все, что попадалось на глаза, — обрезки, обломки съестного, прошлогодние ягоды на болоте. Вчерашний или позавчерашний суп из вольного котла. Нет, вчерашнего супа у наших вольняшек не оставалось.

В палатке нашей было два ружья, два дробовика. Куропатки не боялись людей, и первое время птицу били прямо с порога палатки. Добыча запекалась целиком в золе костра или варилась, когда ощипана бережно. (Пух-перо — на подушку, тоже коммерция, верные деньги — приработок вольных хозяев ружей и таежных птиц.) Выпотрошенные, ощипанные куропатки варились в консервных банках — трехлитровых, подвешенных к кострам. От этих таинственных птиц я никогда не находил никаких остатков. Голодные вольные желудки измельчили, смололи, иссосали все птичьи кости без остатка. Это тоже было одно из чудес тайги.

Я никогда не попробовал ни кусочка от этих куропаток. Мое — были ягоды, корни травы, пайка. И я — не умирал. Я стал все более равнодушно, без злобы смотреть на холодное красное солнце, на горы-гольцы, где все — скалы, повороты ручья, лиственницы, тополя — было угловатым и недружелюбным. По вечерам с реки поднимался холодный туман — и не было часа в таежных сутках, когда мне было бы тепло.

Отмороженные пальцы рук и ног ныли, гудели от боли. Ярко-розовая кожа пальцев так и оставалась розовой, легкоранимой.

Пальцы были вечно замотаны в какие-то грязные тряпки, оберегая руку от новой раны, от боли, но не от инфекций. Из больших пальцев на обеих ногах сочился гной, и не было гною конца.

Меня будили ударом в рельс. Ударом в рельс снимали с работы. После еды я сразу ложился на нары, не раздеваясь, конечно, и засыпал. Палатка, в которой я спал и жил, виделась мне как сквозь туман — где-то двигались люди, возникала громкая матерная брань, возникали драки, наступало мгновенно безмолвие перед опасным ударом. Драки быстро угасали — сами по себе, никто не удерживал, не разнимал, просто глохли моторы драки, и наступала ночная холодная тишина с бледным высоким небом сквозь дырки брезентового потолка, с храпом, хрипом, стонами, кашлем и беспамятной руганью спящих.

Однажды ночью я ощутил, что слышу эти стоны и хрипы. Ощущение было внезапным, как озарение, и не обрадовало меня. Позднее, вспоминая эту минуту удивления, я понял, что потребность сна, забытья, беспамятства стала меньше, — я выпался, как говорил Моисей Моисеевич Кузнецов, наш кузнец, умница из умниц.

Появилась настойчивая боль в мышцах. Какие уж у меня были тогда мышцы — не знаю, но боль в них была, злила меня, не давала отвлечься от тела. Потом появилось нечто иное, чем злость или злоба, существующее вместе со злостью. Появилось равнодушие — бесстрашие. Я понял, что мне все равно — будут меня бить или нет, будут давать обед и пайку или нет. И хотя в разведке, на бесконвойной командировке, меня не били — бьют только на приисках, — я, вспоминая прииск, мерил свое мужество мерой прииска. Этим равнодушием, этим бесстрашием был переброшен мостик какой-то от смерти. Сознание, что бить здесь не будут — не бьют и не будут бить, — рождало новые силы, новые чувства.

За равнодушием пришел страх, не очень сильный страх — боязнь лишиться этой спасительной жизни, этой спасительной работы кипятильщика, высокого холодного неба и ноющей боли в изношенных мускулах. Я понял, что боюсь уехать отсюда на прииск. Боюсь — и все. Я никогда не искал лучшего от хорошего в течение всей своей жизни. Мясо на моих костях день ото дня росло. Зависть — вот как называлось следующее чувство, которое вернулось ко мне. Я позавидовал мертвым своим това-

рищам — людям, которые погибли в тридцать восьмом году. Я позавидовал и живым соседям, которые что-то жуют, соседям, которые что-то закуривают. Я не завидовал начальнику, прорабу, бригадиру — это был другой мир.

Любовь не вернулась ко мне. Ах как далека любовь от зависти, от страха, от злости. Как мало нужна людям любовь! Любовь приходит тогда, когда все человеческие чувства уже вернулись. Любовь приходит последней, возвращается последней — да и возвращается ли она? Но не только равнодушие, зависть и страх были свидетелями моего возвращения к жизни. Жалость к животным вернулась раньше, чем жалость к людям.

Как самый слабый в этом мире шурфов и разведочных канав, я работал с топографом — таскал за топографом рейку и теодолит. Бывало, что для скорости передвижения топограф прилаживал ремни теодолита за свою спину, а мне доставалась только легчайшая, раскрашенная цифрами рейка. Топограф был из заключенных. С собой для смелости — тем летом было много беглецов в тайге — топограф таскал мелкокалиберную винтовку, выпросив оружие у начальства. Но винтовка нам только мешала. И не только потому, что была лишней вещью в нашем трудном путешествии. Мы сели отдохнуть на поляне, и топограф, играя мелкокалиберкой, прицелился в красногрудого снегиря, подлетевшего рассмотреть поближе опасность, увести в сторону. Если надо — пожертвовать жизнью. Самочка снегиря сидела где-то на яйцах — только этим и объяснялась безумная смелость птички. Топограф вскинул винтовку, и я отвел ствол в сторону:

- Убери ружье!
- Да ты что? С ума сошел?
- Оставь птицу, и все.
- Я начальнику доложу.
- Черт с тобой и с твоим начальником.

Но топограф не захотел ссориться и ничего начальнику не сказал. Я понял: что-то важное вернулось ко мне.

Не один год я не видел газет и книг и давно выучил себя не сожалеть об этой потере. Все пятьдесят моих соседей по палатке, по брезентовой рваной палатке, чувствовали так же — в нашем бараке не появилось ни одной газеты, ни одной книги. Высшее начальство — прораб, начальник разведки, десятник — спускалось в наш мир без книг.

Язык мой, приисковый грубый язык, был беден — как бедны были чувства, еще живущие около костей. Подъем, развод по работам, обед, конец работы, отбой, «гражданин начальник», «разрешите обратиться», лопата, шурф, «слушаюсь», бур, кайло, на улице холодно, дождь, суп холодный, суп горячий, хлеб, пайка, «оставь покурить» — двумя десятками слов обходился я не первый год. Половина из этих слов была ругательствами. Существовал в юности, в детстве анекдот, как русский обходился в рассказе о путешествии за границу всего одним словом в разных интонационных комбинациях. Богатство русской ругани, ее неисчерпаемая оскорбительность раскрылись передо мной не в детстве и не в юности. Анекдот с ругательством выглядел здесь как язык какой-нибудь институтки. Но я не искал других слов. Я был счастлив, что не должен искать какие-то другие слова. Существуют ли эти другие слова, я не знал. Не умел ответить на этот вопрос.

Я был испуган, ошеломлен, когда в моем мозгу, вот тут — я это ясно помню, — под правой теменной костью, родилось слово, вовсе не пригодное для тайги, слово, которого и сам я не понял, не только мои товарищи. Я прокричал это слово, встав на нары, обращаясь к небу, к бесконечности.

— Сентенция!¹ Сентенция! — И я захохотал. — Сентенция! — орал я прямо в северное небо, в двойную зарю, еще не понимая значения этого родившегося во мне слова. А если это слово возвратилось, обретено вновь — тем лучше! Тем лучше! Великая радость переполняла все мое существо. — Сентенция!

— Вот псих!

— Псих и есть! Ты — иностранец, что ли? — язвительно спрашивал горный инженер Вронский, тот самый Вронский, Три табачинки.

— Вронский, дай закурить.

— Нет, у меня нету.

— Ну хоть три табачинки.

— Три табачинки? Пожалуйста.

Из кисета, полного махорки, извлекались грязным ногтем три табачинки.

— Иностранец? — Вопрос переводил нашу судьбу в мир провокаций и доносов, следствий и добавок срока.

¹ *Сентенция* — изречение нравоучительного характера.

Но мне не было дела до провокационного вопроса Вронского. Находка была чересчур огромной.

— Сентенция!

— Псих и есть!

Чувство злости — последнее чувство, с которым человек уходил в небытие, в мертвый мир. Мертвый ли? Даже камень не казался мне мертвым, не говоря уж о траве, деревьях, реке. Река была не только воплощением жизни, не только символом жизни, но и самой жизнью. Ее вечное движение, рокот неумолчный, свой какой-то разговор, свое дело, которое заставляет воду бежать вниз по течению сквозь встречный ветер, пробиваясь сквозь скалы, пересекая степи, луга. Река, которая меняла высушенное солнцем, обнаженное русло и чуть-чуть видной ниточкой водной пробиралась где-то в камнях, повинаясь извечному своему долгу, ручейком, потерявшим надежду на помощь неба — на спасительный дождь. Первая гроза, первый ливень — и вода меняла берега, ломала скалы, кидала вверх деревья и бешено мчалась вниз той же самой вечной своей дорогой...

Сентенция! Я сам не верил себе, боялся, засыпая, что за ночь это вернувшееся ко мне слово исчезнет. Но слово не исчезало.

Сентенция! Пусть так переименуют речку, на которой стоял наш поселок, наша командировка Рио-рита. Чем это лучше Сентенции? Дурной вкус хозяина земли — картографа — ввел на мировые карты Рио-риту. И исправить нельзя.

Сентенция — что-то римское, твердое, латинское было в этом слове. Древний Рим для моего детства был историей политической борьбы, борьбы людей, а Древняя Греция была царством искусства. Хотя и в Древней Греции были политики и убийцы, а в Древнем Риме было немало людей искусства. Но детство мое обострило, упростило, сузило и разделило два этих очень разных мира. Сентенция — римское слово.

Неделю я не понимал, что значит слово «сентенция». Я шептал его, выкрикивал, пугал и смешил этим словом соседей. Я требовал у мира, у неба разгадки, объяснения, перевода... А через неделю понял — и содрогнулся от страха и радости. Страх — потому, что пугался возвращения в тот мир, куда мне не было возврата. Радости — потому, что видел, что жизнь возвращается ко мне помимо моей собственной воли.

Прошло много дней, пока я научился вызывать из глубины мозга все новые и новые слова, одно за другим. Каждое приходило с трудом, каждое возникало внезапно и отдельно. Мысли и слова не возвращались потоком. Каждое возвращалось поодиночке, без конвоя других знакомых слов, и возникало раньше на языке, а потом — в мозгу.

А потом настал день, когда все, все пятьдесят рабочих бросили работу и побежали в поселок, к реке, выбираясь из своих шурфов, канав, бросая недопиленные деревья, недоваренный суп в котле. Все бежали быстрее меня, но и я доковылял ввремя, помогая себе в этом беге с горы руками.

Из Магадана приехал начальник. День был ясный, горячий, сухой. На огромном лиственничном пне, что у входа в палатку, стоял патефон. Патефон играл, преодолевая шипенье иглы, играл какую-то симфоническую музыку.

И все стояли вокруг — убийцы и конокрады, блатные и фраера, десятники и работяги. А начальник стоял рядом. И выражение лица у него было такое, будто он сам написал эту музыку для нас, для нашей глухой таежной командировки. Шеллачная пластинка кружилась и шипела, кружился сам пень, заведенный на все свои триста кругов, как тугая пружина, закрученный на целых триста лет...

Вопросы и задания

1. Что давало критике основание называть прозу писателей-фронтовиков 60–70-х годов «окопной правдой», а их метод — «окопным реализмом»? Как в произведениях Ю. Бондарева и К. Воробьева раскрывается проблема внутреннего выбора человека в условиях жесточайших военных испытаний?

2. В чем заключаются сила и обаяние молодых героев «Горячего снега» и повести «Убиты под Москвой» и в чем сущность трагедии их поколения? (См. статью учебника «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60–70-х годов», раздел «Литературный процесс 50–80-х годов».)

3. В чем жанровое своеобразие «Владимирских проселков» В. Солюхина и «Лада» В. Белова? Почему так называемая «деревенская проза» стала одним из наиболее перспективных направлений в литературе 50–80-х годов?

4. Как стремление писателей к истокам, «ладу» русской жизни отразилось на поэтике их текстов? (См. статью учебника «Новый образ русской деревни и крестьянской души», раздел «Литературный процесс 50–80-х годов».)

5. В чем отличие проблематики «городских» рассказов и повестей Ю. Трифонова от прозы писателей-«деревенщиков»? Что составляет основную нравственную коллизию повести Трифонова «Обмен»? Как происходит «олукаянивание» главного героя повести Дмитриева?

6. Ощутимы ли в прозе Ю.В. Трифонова отголоски чеховских традиций изображения «пошлого мира»? Свой ответ аргументируйте. (См. статью учебника «Городская проза», раздел «Литературный процесс 50–80-х годов».)

7. В чем заключается нравственная и философская глубина «лагерной» прозы В. Шаламова? Как в рассказе «Сентенция» раскрывается тема победы подлинной культуры над «жестоким веком», возвращения к человеческому в условиях «расчеловечивания» личности?

Александр Валентинович ВАМПИЛОВ 1937–1972

СТАРШИЙ СЫН (Отрывок)

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина первая

<...>

Из подъезда выходят Нина и Бусыгин. Нина в плаще, с сумочкой.

Бусыгин. Нет-нет, иди одна. Лучше уж я пойду с отцом. Послушаю музыку. Глинку, Берлиоза...

Нина. Я тебе не советую.

Бусыгин. Почему?

Нина. Никакого Берлиоза ты не услышишь.

Бусыгин. Как же? Отец сказал...

Нина. Мало ли что он сказал. Вот уже полгода, как он не работает в филармонии.

Бусыгин. Серьезно?

Нина. Да. И лучше, если ты об этом будешь знать.

Бусыгин. Где же он работает?

Нина. Работал в кинотеатре, а недавно перешел в клуб железнодорожников. Играет там на танцах.

Бусыгин. Да?

Нина. Но имей в виду, он не должен знать, что ты об этом знаешь.

Бусыгин. Понятно.

Нина. Конечно, это уже давно известно, и только мы — я, Васенька и он — делаем вид, что он все еще в симфоническом оркестре. Это наша семейная тайна.

Бусыгин. Что ж, если ему так нравится...

Нина. Я не помню своей матери, но недавно я нашла ее письма — мать там называет его не иначе как блаженный. Так она к нему и обращалась. «Здравствуй, блаженный...», «Пойми, блаженный...», «Блаженный, подумай о себе...», «У тебя семья, блаженный...», «Прощай, блаженный...». И она права... На работе у него вечно какие-нибудь сложности. Он неплохой музыкант, но никогда не умел за себя постоять. К тому же он попивает, ну и вот, осенью в оркестре было сокращение, и, естественно...

Бусыгин. Погоди. Он говорил, что он сам сочиняет музыку.

Нина (*насмешливо*). Ну как же.

Бусыгин. А что за музыка?

Нина. Музыка-то?.. Потрясающая музыка. То ли кантата, то ли оратория. Называется «Все люди — братья». Всю жизнь, сколько себя помню, он сочиняет эту самую ораторию.

Бусыгин. Ну и как? Надеюсь, дело идет к концу?

Нина. Еще как идет. Он написал целую страницу.

Бусыгин. Одну?

Нина. Единственную. Только один раз, это было в прошлом году, он переходил на вторую страницу. Но сейчас он опять на первой.

Бусыгин. Да, он работает на совесть.

Нина. Он ненормальный.

Бусыгин. А может, так ее и надо сочинять, музыку?

Нина. Ты рассуждаешь, как он... И все-таки жалко.

Бусыгин. Чего жалко?

Нина. Жалко с вами расставаться... Ничего не понимаю. Я так ждала отъезда, а теперь, когда осталось несколько дней... И с Васькой жалко расставаться. И с тобой. Хотя еще вчера я про тебя и знать не знала... Слушай, братец! Где ты пропадал? Почему ты раньше не появился?

Бусыгин. Но ты знаешь...

Нина. Нет бы раньше. Водил бы меня в кино, на танцы, защищал бы, уму-разуму учил. Это даже подло с твоей стороны.

Бусыгин. Что поделаешь?.. Оставайся, если хочешь. *(Поправляется с заметной поспешностью.)* Задержишь, я имею в виду.

Нина. Зачем?

Бусыгин. Ну... в кино ходим, на танцы...

Нина. Ты же завтра уезжаешь.

Бусыгин. А я... я вернусь.

Нина. Нет, все уже решено.

Бусыгин. Где ты с ним встречаешься?

Нина. В центре, как обычно.

Бусыгин. Когда вы появитесь?

Нина. Мы идем в кино. Здесь будем часов в восемь... Ну хочешь, пойдем вместе?

Бусыгин. Что я там буду делать?.. Нет. Познакомимся с твоим летчиком вечером.

Нина. Надеюсь, он тебе понравится. Он хороший, он так ко мне относится... Ты не думай, я и другим нравилась. Я сама его выбрала.

Бусыгин. Почему? Он лучше всех?

Нина. Он меня любит... Знаешь, увлечения есть увлечения, но в жизни хочется чего-то раз и навсегда.

Бусыгин. Понятно.

Нина. Что тебе опять понятно?

Из домика слышится смех Макарской.

Бусыгин. Веселая женщина.

Нина. Даже слишком. Опять кого-то подцепила...

Бусыгин. Ты к ней чересчур строга. Она милая женщина.

Нина. Откуда ты знаешь, какая она?

Бусыгин. Я с ней знаком.

Нина. Да?

Бусыгин. Вчера, когда мы искали вашу квартиру, я с ней беседовал...

Нина. Вот как?

Бусыгин. Она мне понравилась.

Нина. Понравилась?

Бусыгин. А что?

Нина. Она?

Бусыгин. А почему бы нет? Она славная...

Нина. Старуха.

Бусыгин. Блондинка. Мне нравятся блондинки.

Нина. Крашенная.

Снова слышится смех Макарской.

Бусыгин. Жизнерадостная. Я люблю жизнерадостных.

Нина. Терпеть ее не могу!

Бусыгин. Одинокая. Одиноких мне всегда жалко.

Нина. Ненавижу!

Бусыгин *(заигрался)*. А я, пожалуй, за ней таки приударю.

Нина. Нет! Не смей к ней подходить.

Бусыгин. Ого!.. Послушай, это уже похоже на ревность.

Нина *(удивилась)*. Что?..

Бусыгин. Может, ты меня ревнуешь?

Нина *(испугалась)*. Ревную?.. *(Смутившись)*. Ну да... Конечно, ревную. А разве сестра не может ревновать?

Бусыгин *(забывшись)*. Да какая сестра!.. *(Опомнился)*. Ну да, сестра — брата! Конечно, может. Если она его... Если она к нему хорошо относится...

Нина *(неуверенно)*. Ну конечно...

Бусыгин. Это в порядке вещей. Вон на Кавказе, так там даже до резни доходит... Ну, ты иди, а то опоздаешь.

Нина *(очнувшись)*. Да! Давно пора... Пойду... *(Идет, но возвращается)*. Послушай, а на Кавказе не бывает так, чтобы сестра влюбилась в брата?

Бусыгин. Влюбилась?.. Нет, так не бывает.

Нина. Что ты говоришь? (*Засмеялась.*) А я-то думала...

Бусыгин (*тоже смеется*). По-моему, это невозможно.

Нина (*смеется*). Невозможно?

Бусыгин. По-моему, нет.

Нина (*смеется*). А жалко... (*Перестав смеяться.*) А с тобой, знаешь, не соскучишься.

Бусыгин. Со мной? Никогда.

Нина. Ладно, я уйду... Часа в два разбуди отца. Еда на плите, разогреете. Да посмотри за младшим братом, как бы он не сбежал.

Бусыгин. Не сбежит. Мы с ним договорились.

Нина. Смотри, отец на тебя надеется... Счастливо. (*Подходит к нему ближе.*) А с этой (*жест в сторону домика Макарской*) ты все же лучше не связывайся. Хорошо?

Бусыгин. Хорошо... Счастливо тебе...

Нина. Счастливо, братец. (*Уходит.*)

Бусыгин (*помахав ей рукой, негромко*). Прощай, сестренка...

<...>

1968

Вопросы и задания

1. Как в драматургии А. Вампилова сочетаются драматизм и водевильность, поэзия и проза жизни? Какие ценности исповедует автор и каковы формы их донесения до читателя, зрителя?

2. Какие нравственные коллизии порождает внешне анекдотическая история сыновнего «самозванства» Бусыгина в комедии «Старший сын»? Чем обусловлено «перераспределение» ролей персонажей, их внутреннее очищение или, наоборот, «потускнение» в ходе авантюрного сюжета? Что открывает для себя «старший сын» Бусыгин в «маргинальной» семье Сарфановых? (См. статью учебника «Театр Вампилова: мучительные поиски спасительных нравственных ориентиров», раздел «Литературный процесс 50–80-х годов».)

Булат Шалвович ОКУДЖАВА
1924—1997

Часовые любви на Смоленской стоят.
Часовые любви у Никитских не спят.
Часовые любви по Петровке идут неизменно...
Часовым полагается смена.

О великая вечная армия,
где не властны слова и рубли,
где все — рядовые: ведь маршалов нет у любви!
Пусть поход никогда ваш не кончится.
Признаю только эти войска!..
Сквозь зимы и вьюги к Москве подступает
весна.

Часовые любви на Волхонке стоят.
Часовые любви на Неглинной не спят.
Часовые любви по Арбату идут неизменно...
Часовым полагается смена.

1958

ПЕСЕНКА ОБ АРБАТЕ

Ты течешь, как река. Странное название!
И прозрачен асфальт, как в реке вода.
Ах, Арбат, мой Арбат, ты — мое призвание.
Ты — и радость моя, и моя беда.

Пешеходы твои — люди не великие,
каблуками стучат — по делам спешат.
Ах, Арбат, мой Арбат, ты — моя религия,
мостовые твои подо мной лежат.

От любви твоей вовсе не излечишься,
сорок тысяч других мостовых любя.

Ах, Арбат, мой Арбат, ты — мое отечество,
никогда до конца не пройди тебя!

1959

СТАРИННАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ПЕСНЯ

Ф. Светову

Поднявший меч на наш союз
достоин будет худшей кары,
и я за жизнь его тогда
не дам и ломаной гитары.
Как вожаденно жаждет век
нащупать брешь у нас в цепочке...
Возьмемся за руки, друзья,
чтоб не пропасть поодиночке.

Среди совсем чужих пиров
и слишком ненадежных истин,
не дожидаясь похвалы,
мы перья белые почистим.
Пока безумный наш султан
сулит дорогу нам к острогу,
возьмемся за руки, друзья,
возьмемся за руки, ей-богу.

Когда ж придет дележки час,
не нас калач ржаной поманит,
и рай настанет не для нас,
зато Офелия помянет.
Пока ж не грянула пора
нам отправляться понемногу,
возьмемся за руки, друзья,
возьмемся за руки, ей-богу.

1967

* * *

П. Луспекаеву

Ваше благородие, госпожа разлука,
мне с тобою холодно, вот какая штука.
Письмецо в конверте погоди — не рви...
Не везет мне в смерти,
повезет в любви.

Ваше благородие, госпожа чужбина,
жарко обнимала ты, да мало любила.
В шелковые сети постой — не лови...
Не везет мне в смерти,
повезет в любви.

Ваше благородие, госпожа удача,
для кого ты добрая, а кому иначе.
Девять граммов в сердце постой — не зови...
Не везет мне в смерти,
повезет в любви.

Ваше благородие, госпожа победа,
значит, моя песенка до конца не спета!
Перестаньте, черти, клясться на крови...
Не везет мне в смерти,
повезет в любви.

1967

ПОЖЕЛАНИЕ ДРУЗЬЯМ

Ю. Трифонову

Давайте восклицать, друг другом восхищаться.
Высокопарных слов не стоит опасаться.
Давайте говорить друг другу комплименты —
ведь это все любви счастливые моменты.

Давайте горевать и плакать откровенно
то вместе, то поврозь, а то попеременно.

Не нужно придавать значения злословью —
поскольку грусть всегда соседствует с любовью.

Давайте понимать друг друга с полуслова,
чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова.
Давайте жить, во всем друг другу потакая, —
тем более что жизнь короткая такая.

1975

ПЕСЕНКА КАВАЛЕРГАРДА

Кавалергарды, век не долог,
и потому так сладок он.
Поет труба, откинут полог,
и где-то слышен сабель звон.
Еще рокошет голос струнный,
но командир уже в седле...
Не обещайте деве юной
любви вечной на земле!

Течет шампанское рекою,
и взгляд туманится слегка,
и все как будто под рукою,
и все как будто на века.
Но как ни сладок мир подлунный —
лежит тревога на челе...
Не обещайте деве юной
любви вечной на земле!

Напрасно мирные забавы
продлить пытаетесь, смеясь.
Не раздобыть надежной славы,
покуда кровь не пролилась...
Крест деревянный иль чугунный
назначен нам в грядущей мгле...
Не обещайте деве юной
любви вечной на земле!

1975

Владимир Семенович ВЫСОЦКИЙ
1938—1980

ПЕДАГОГУ

Е. Ф. Саричевой

Вы обращались с нами строго,
Порою так, что не дыши,
Но ведь за строгостью так много
Большой и преданной души.
Вы научили нас, молчащих,
Хотя бы сносно говорить,
Но слов не хватит настоящих,
Чтоб Вас за все благодарить.

1960

ПЕСНЯ О ДРУГЕ

Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг, а так;
Если сразу не разберешь,
Плох он или хорош,
Парня в горы тяни — рискни!
Не бросай одного его:
Пусть он в связке в одной с тобой, —
Там поймешь, кто такой.

Если парень в горах — не ах,
Если сразу раскис и вниз,
Шаг ступил на ледник — и сник,
Оступился — и в крик, —
Значит, рядом с тобой — чужой.
Ты его не брани — гони:
Вверх таких не берут и тут
Про таких не поют.

Если ж он не скулил, не ныл,
Если хмур был и зол, но шел,
А когда ты упал со скал,
Он стонал, но держал.
Если шел он с тобой, как в бой,
На вершине стоял — хмельной, —
Значит, как на себя самого,
Положись на него!

1966

* * *

Корабли постоят
и ложатся на курс,
но они возвращаются
сквозь непогоды...
Не пройдет и полгода —
и я появлюсь,
чтобы снова уйти
на полгода.

Возвращаются все —
кроме лучших друзей,
кроме самых любимых
и преданных женщин.
Возвращаются все,
кроме тех, кто нужней.
Я не верю судьбе,
а себе
еще меньше.

Но мне хочется думать,
что это не так,
что сжигать корабли
скоро выйдет из моды.
Я, конечно, вернусь
весь в друзьях и в мечтах...
Я, конечно, спою —
не пройдет
и полгода.

1966

ОХОТА НА ВОЛКОВ

Рвусь из сил — и из всех сухожилий,
Но сегодня — опять, как вчера:
Обложили меня. Обложили!
Гонят весело на номера!

Из-за елей хлопочут двустволки —
Там охотники прячутся в тень, —
На снегу кувыркаются волки,
Превратившись в живую мишень.

Идет охота на волков. Идет охота!
На серых хищников — матерых и щенков.
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.
Кровь на снегу — и пятна красные флажков.

Не на равных играют с волками
Егеря, но не дрогнет рука!
Оградив нам свободу флажками,
Бьют уверенно, наверняка.

Волк не может нарушить традиций, —
Видно, в детстве, слепые щенки,
Мы, волчата, сосали волчицу
И всосали: «нельзя за флажки!»

Идет охота на волков. Идет охота!
На серых хищников — матерых и щенков.
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.
Кровь на снегу — и пятна красные флажков.

Наши ноги и челюсти быстры, —
Почему же, вожак, дай ответ —
Мы затравленно мчимся на выстрел
И не пробуем — через запрет?!

Волк не может, не должен иначе.
Вот кончается время мое:
Тот, которому я предназначен,
Улыбнулся — и поднял ружье...

Идет охота на волков. Идет охота!
На серых хищников — матерых и щенков.

Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.
Кровь на снегу — и пятна красные флажков.

Я из повиновения вышел
За флажки — жажда жизни сильней!
Только сзади я радостно слышал
Удивленные крики людей.

Рвусь из сил — и из всех сухожилий,
Но сегодня — не так, как вчера:
Обложили меня! Обложили!
Но остались ни с чем егеря!

Идет охота на волков. Идет охота!
На серых хищников — матерых и щенков!
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.
Кровь на снегу — и пятна красные флажков.

1968

БАНЬКА ПО-БЕЛОМУ

Протопи ты мне баньку, хозяйюшка, —
Раскалю я себя, распалю,
На полоке, у самого краешка,
Я сомненья в себе истреблю.

Разомлею я до неприличности,
Ковш холодной — и все позади, —
И наколка времен культа личности
Засинеет на левой груди.

Протопи ты мне баньку по-белому, —
Я от белого свету отвык.
Угорю я, — и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.

Сколько веры и леса повалено,
Сколь изведено горя и трасс,
А на левой груди — профиль Сталина,
А на правой — Маринка анфас.

Эх! За веру мою беззаветную
Сколько лет отдыхал я в раю!

Променял я на жизнь беспросветную
Несусветную глупость мою.

Протопи ты мне баньку по-белому, —
Я от белого свету отвык.
Угорю я, — и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.

Вспоминаю, как утречком раненько
Брату крикнуть успел: «Пособи!»
И меня два красивых охранника
Повезли из Сибири в Сибирь.

А потом, на карьере, в топи ли,
Наглотавшись слезы и сырца,
Ближе к сердцу кололи мы профили,
Чтоб *он* слышал, как рвутся сердца.

Не топи ты мне баньку по-белому, —
Я от белого свету отвык.
Угорю я, — и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.

Ох, знобит от рассказа дотошного!
Пар мне мысли прогнал от ума.
Из тумана холодного пошлого
Погружаюсь в горячий туман.

Застучали мне мысли под темечком:
Получилось, я зря *им* клеймен, —
И хлещу я березовым веничком
По наследию мрачных времен.

Протопи ты мне баньку по-белому, —
Чтоб я к белому свету привык, —
Угорю я, — и мне, угорелому,
Ковш холодной развяжет язык.
Протопи!..

Не топи!..

Протопи!..

Я НЕ ЛЮБЛЮ

Я не люблю фатального исхода,
От жизни никогда не устаю.
Я не люблю любое время года,
Когда веселых песен не пою.

Я не люблю холодного цинизма,
В восторженность не верю, и еще —
Когда чужой мои читает письма,
Заглядывая мне через плечо.

Я не люблю, когда — наполовину
Или когда прервали разговор.
Я не люблю, когда стреляют в спину,
Я также против выстрелов в упор.

Я ненавижу сплетни в виде версий,
Червей сомненья, почестей иглу,
Или — когда все время против шерсти,
Или — когда железом по стеклу.

Я не люблю уверенности сытой, —
Уж лучше пусть откажут тормоза.
Досадно мне, что слово «честь» забыто
И что в чести наветы за глаза.

Когда я вижу сломанные крылья,
Нет жалости во мне, и неспроста:
Я не люблю насилие и бессилье, —
Вот только жаль распятого Христа.

Я не люблю себя, когда я трушу,
И не терплю, когда невинных бьют.
Я не люблю, когда мне лезут в душу,
Тем более — когда в нее плюют.

Я не люблю манежи и арены:
На них мильон меняют по рублю, —
Пусть впереди большие перемены,
Я это никогда не полюблю!

1969

ОН НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ

Почему все не так? Вроде все, как всегда:
То же небо — опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода...
Только он не вернулся из боя.

Мне теперь не понять — кто же прав был из нас
В наших спорах без сна и покоя.
Мне не стало хватать его только сейчас, —
Когда он не вернулся из боя.

Он молчал невпопад и не в такт подпевал,
Он всегда говорил про другое,
Он мне спать не давал, он с восходом вставал,
А вчера не вернулся из боя.

То, что пусто теперь, — не про то разговор:
Вдруг заметил я — нас было двое...
Для меня будто ветром задуло костер,
Когда он не вернулся из боя.

Нынче вырвалась, будто из плена, весна.
По ошибке окликнул его я:
«Друг! Оставь покурить!» — а в ответ — тишина:
Он вчера не вернулся из боя.

Наши мертвые нас не оставят в беде,
Наши павшие — как часовые...
Отражается небо в лесу, как в воде,
И деревья стоят голубые.

Нам и места в землянке хватало вполне,
Нам и время текло для обоих...
Все теперь — одному, только кажется мне,
Это я не вернулся из боя.

1969

И снизу лед и сверху — маюсь между:
Пробить ли верх иль пробуравить низ?
Конечно — всплыть и не терять надежду,
А там — за дело в ожиданьи виз.

Лед надо мною — надломись и тресни!
 Я весь в поту, как пахарь от сохи.
 Вернусь к тебе, как корабли из песни,
 Все помня, даже старые стихи.

Мне меньше полувека — сорок с лишним, —
 Я жив, тобой и Господом храним.
 Мне есть что спеть, представ перед Всевышним,
 Мне есть чем оправдаться перед Ним.

1980

Александр Александрович БАШЛАЧЕВ 1962—1988

НА ЖИЗНЬ ПОЭТОВ

Поэты живут. И должны оставаться живыми.
 Пусть верит перу жизнь, как истина в черновике.
 Поэты в миру оставляют великое имя,
 Затем, что у всех на уме — у них на языке.

Но им все трудней быть иконой в размере оклада.
 Там, где, судя по паспортам — все по местам.
 Дай Бог им пройти семь кругов беспокойного лада,
 По чистым листам, где до времени — все по устам.

Поэт умывает слова, возводя их в приметы,
 Подняв свои полные ведра внимательных глаз.
 Несчастливая жизнь! Она до смерти любит поэта.
 И за семерых отмеряет. И режет. Эх, раз, еще раз!

Как вольно им петь. И дышать полной грудью на ладан...
 Святая вода на пустом киселе неживом.
 Не плачьте, когда семь кругов беспокойного лада
 Пойдут по воде над прекрасной шальной головой.

Пусть не ко двору эти ангелы чернорабочие.
Прорвется к перу то, что долго рубить и рубить топорам.
Поэты в миру после строк ставят знак кровоточия.
К ним Бог на порог. Но они верно имеют свой срам.

Поэты идут до конца. И не смейте кричать им: «Не надо!»
Ведь Бог... Он не врет, разбивая свои зеркала.
И вновь семь кругов беспокойного, звонкого лада
Глядят Ему в рот, разбегаясь калибром ствола.

Шатаясь от слез и от счастья смеясь под сурдинку,
Свой вечный допрос они снова выводят к кольцу.
В быту тяжелы, но, однако, легки на поминках.
Вот тогда и поймем, что цветы им, конечно, к лицу.

Не верьте концу, но не ждите иного расклада.
А что там было в пути? Метры, рубли...
Не важно, когда семь кругов беспокойного лада
Позволят идти наконец, не касаясь земли.

Ну вот, ты — поэт... Еле-еле душа в черном теле.
Ты принял обет сделать выбор, ломая печать.
Мы можем забыть всех, что пели не так, как умели.
Но тех, кто молчал, давайте не будем прощать.

Не жалко распать, для того чтоб вернуться к Пилату.
Поэта не взять все одно ни тюрьмой, ни сумой.
Короткую жизнь. Семь кругов беспокойного лада
Поэты идут. И уходят от нас на восьмой.

КАК ВЕТРА ОСЕННИЕ

Как ветра осенние подметали плаху,
Солнце шло сторонкою, да время — стороной,
И хотел я жить. И умирал да сослепу, со страху
Потому, что я не знал, что ты со мной.

Как ветра осенние заматали небо,
Плакали, тревожили облака.

Я не знал, как жить. Ведь я еще не выпек хлеба,
А на губах не сохла капля молока.

Как ветра осенние да подули ближе,
Закружили голову. И ну давай кружить,
Ой-ой-ой — да я сумел бы выжить,
Если б не было такой простой работы — жить.

Как ветра осенние жали — не жалели рожь.
Ведь тебя посеяли, чтоб ты пригодился.
Ведь совсем не важно, от чего помрешь,
Ведь куда важнее, для чего родился.

Как ветра осенние черной птицей голосили:
«А ты откуда взялся, богатырь-снегирь?»
Я хотел бы жить, жить и умереть в России,
Если б не было такой земли — Сибирь.

Как ветра осенние уносят мое семя.
Листья воскресения да с весточки — весны.
Я хочу дожить, хочу увидеть время,
Когда эти песни станут не нужны.
Когда мои песни станут не нужны...

Вопросы и задания

1. В чем своеобразие жанра песни-рассказа, песни-исповеди, песни-моноспектакля, получившего свое развитие в творчестве поэтов-песенников 60–80-х годов?

2. Что отличает тематику и особенности поэтического темперамента таких ярких представителей жанра авторской песни, как В. Высоцкий и Б. Окуджава? Выделите ключевые образы, представляющие поэтику каждого из авторов.

3. Из какой культурно-поэтической традиции «вырос» талант рок-барда А. Башлачева? Как в его стихотворениях развивается мотив выявления призвания и обретения Родины?

4. Какова художественная функция различного рода реминисценций в текстах А. Башлачева? (См. статью учебника «Авторская песня 60–80-х годов», раздел «Литературный процесс 50–80-х годов».)

Василий Макарович ШУКШИН 1929—1974

ВЫБИРАЮ ДЕРЕВНЮ НА ЖИТЕЛЬСТВО

Некто Кузовников Николай Григорьевич вполне нормально и хорошо прожил. Когда-то, в начале тридцатых годов, великая сила, которая тогда передвигала народы, взяла и увела его из деревни. Он сперва тосковал в городе, потом присмотрелся и понял: если немного смекалки, хитрости и если особенно не залупаться, то и не обязательно эти котлованы рыть, можно прожить легче. И он пошел по складскому делу — стал кладовщиком и всю жизнь был кладовщиком, даже в войну. И теперь он жил в большом городе в хорошей квартире (отдельно от детей, которые тоже вышли в люди), старел, собирался на пенсию. Воровали он со складов? Как вам сказать... С точки зрения какого-нибудь соплика с высшим юридическим образованием — да, воровал, с точки зрения человека рассудительного, трезвого — это не воровство: брал ровно столько, сколько требовалось, чтобы не испытывать ни в чем недостатка, причем если учесть — окинуть взором — сколько добра прошло через его руки, то сама мысль о воровстве станет смешной. Разве так воруют! Он брал, но никогда не забывался, никогда не показывал, что живет лучше других. Потому-то ни один из этих, с университетскими значками, ни разу не поймал его за руку. С совестью Николай Григорьевич был в ладах: она его не тревожила. И не потому, что он был бессовестный человек, нет, просто это так изначально повелось: при чем тут совесть! Сумей только аккуратно сделать, не психуй и не жадничай и не будь идиотом, а совесть — это... знаете... Когда есть в заглавнике, можно и про совесть поговорить, но все же спится тогда спокойнее, когда ты все досконально продумал, все взвесил, проверил, свел концы с концами — тогда пусть у кого-нибудь другого совесть болит. А это — сверкать голым задом да про совесть трещать — это, знаете, неумно.

Словом, все было хорошо и нормально. Николай Григорьевич прошел свою тропку жизни почти всю. В минуту добрую, задумчивую говорил себе: «Молодец: и в тюрьме не сидел, и в войну не укокошили».

Но была одна странность у Николая Григорьевича, которую он сам себе не сумел бы объяснить, наверно, если б даже захотел. Но он и не хотел объяснять и особенно не вдумывался, а подчинялся этой прихоти (надо еще понять, прихоть это или что другое), как многому в жизни подчинялся.

Вот что он делал последние лет пять-шесть.

В субботу, когда работа кончалась, когда дома, в тепле, ждала жена, когда все в порядке и на душе хорошо и мирно, он выпивал стаканчик водки и ехал в трамвае на вокзал. Вокзал в городе огромный, вечно набит людьми. И есть там место, где курят, возле туалета. Там всегда — днем и ночью — полно, дым коромыслом и галдеж стоит непрерывный. Туда-то и шел напрямик Николай Григорьевич. И там вступал в разговоры.

— Мужики, — прямо обращался он, — кто из деревни?

Таких всегда было много. Они-то в основном и толклись там — деревенские.

— Ну?.. — спрашивали его. — А что тебе?

— Хочу деревню подобрать на жительство. Нигде, может, кто в курсе, не требуются опытные складские работники? Я тридцать четыре года проработал в этой системе... — И Николай Григорьевич доверчиво, просто, с удовольствием и подробно рассказывал, что он сам — деревенский, давно оттуда уехал, работал всю жизнь на складах, а теперь, под старость, потянуло опять в деревню... И тут-то начиналось. Его как-то сразу прекрасно понимали с его тоской, соглашались, что да, сколько по городам ни околачивайся, а если ты деревенский, то рано или поздно в деревню снова потянет. Начинали предлагать деревни на выбор. Николай Григорьевич только успевал записывать адреса. Начинали шуметь. Спорили.

— Да уж ты со своей Вязовкой!..

— А ты знаешь ее? Чего ты сразу руками-то замахал?! Ты хоть раз бывал там?

— Вязовку-то? Да я ее как облупленную знаю, вашу Вязовку! Господи, Вязовка!.. У человека — к старости, желательно, чтоб природа...

— А при чем тут природа-то? — вступали другие. — Надо не от природы отталкиваться, а от работы. Я не знаю вашей Вязовки, но склад-то там есть? Человек же прежде всего насчет работы спрашивает.

— Нет, — говорил Николай Григорьевич, — желательно, чтоб и природа, конечно...

— Да в том-то и дело! Что он тебе, склад?! Склад, он и есть склад, теперь они везде есть. И если, например...

— Ну, вы тоже рассудили, — говорил какой-нибудь степенный, — только поорать. Ну — склад, они действительно везде теперь, а как, например, с жильем? У нас вон — и склад, и река, и озеро, а постройки страшно дорогие.

— Ну, сколь так? — вникал в подробности Николай Григорьевич.

— Это смотря что требуется.

— Ну, например, пятистенок... Добрый еще.

— С постройками?

— Ну да, баня, сарай для дров... Ну, навес какой-нибудь, завозня там — я построить люблю в свободное время.

— Если, допустим, хороший пятистенок, — начинал соображать мужик, — банешка...

— Не развалюха, конечно, хорошая баня.

— Хорошая баня, сарай из горбыля, у нас в основном все сараи из горбыля идут, из отлета...

— Пилорама в деревне?

— Не в самой деревне, а на отделении.

— Ну, ну?

— Если все честь по чести, огород нормальный...

— Огород нам со старухой большой не надо.

— Ну, нормальный, их теперь больших-то и нету — нормальный, если все честь по чести, то будет так — три, три с половиной.

— Тыщи?! — изумлялся кто-нибудь.

— Нет, рубля, — огрызнулся степенный.

— Ну, это уж ты загнул. Таких и цен-то нету, — сомневались.

Степенный вмиг утрачивал свою степенность.

— А чего ради мне погибать-то перед вами? Что я, свой дом, что ли, навяливаю? Я говорю как есть. Человек же спрашивает...

— А чего так? Несусветные какие-то цены. Что у вас там такое?

— Ничего, совхоз.

— Дак, а чего дорого-то? С ума, что ли, сошли там?

— Мы не сошли, сошли там, где постройки, я слышал, на дрова пускают. Вот там-то сошли. Это уж я тоже не понимаю...

— Это я слышал тоже. Рублей за триста, говорят, можно хороший дом взять.

— Ну, за триста не за триста...

— А как твоя деревня называется? — записывал Николай Григорьевич.

— Завалиха. Не деревня, село.

— Это где?

— А вот, если сейчас ехать... — И мужик подробно объяснял, где его село, как ехать туда.

— Райцентр, что ли?

— Был раньше райцентр, а потом, когда укрупняли районы, мы отошли к Красногорскому району, а у нас стала центральная усадьба.

— Ну, есть, наверно, перевалочная база? — допрашивал Николай Григорьевич.

Мужик послушно, очень подробно рассказывал. И был как будто рад, что его село заинтересовало человека больше, чем другие села и деревни. Со стороны наблюдали и испытывали нечто вроде ревности. И находили возможность подпортить важную минуту.

— Это ж что ж это за цены такие! Леса, наверно, нет близко?

— А у вас какие? — нервничал мужик из дорогого села. — Ну скажи, сколько у вас добрый пятистенки станет? Только не ври.

— Чего мне врать-то? Добрый пятистенки у нас... с постройками, со всем, с огородом — тыщи полторы-две.

— Где это? — поворачивался в ту сторону Николай Григорьевич.

И тогда тот, кто перехватил интерес, начинал тоже подробно, долго объяснять, где его село, как называется река, почему у них мясо осенью...

— У меня вот свояк приезжал... как раз осенью тоже... Посмотрел. «Ну-у, — говорит, — у вас-то жить можно! Это, — говорит, — ты у нас иди сунься».

— А откуда он?

— За Уралом... Город Златоуст.

— Что ж ты город-то суешь? Мы про сельскую жизнь говорим.

— Он не из самого города, а близко к этому городу.

— Да зачем же там где-то брать, человек про наши места интересуется! Это я тебе могу наказать: у меня свояк в Магадане вон...

— Ну, едрена-мать! Ты еще скажи — в Америке.

— А при чем тут Америка-то?

— А при чем Магадан?

— Да при том, что — речь идет про сельскую местность, а ты куда-то в Златоуст полез! Чего ты в Златоуст-то полез?

— Тихо, тихо, — успокаивал Николай Григорьевич горячих селян. Странно, он становился здесь неким хозяином — на манер какого-нибудь вербовщика-работодателя в толпе ищущих. — Спокойно, мужики, — говорил Николай Григорьевич, — мы же не на базаре. Меня теперь интересует: сколько над уровнем моря твое село? — Это вопрос к тому, в чьем селе дом-пятистенки стоит дешевле.

Тот не знал. И никто не знал, сколько над уровнем моря их деревни и села.

— А зачем это?

— Это очень важно, — пояснил Николай Григорьевич. — Для сердечно-сосудистой системы необходимо. Если место немного возвышенное — тоже нельзя: сразу скажется нехватка кислорода.

— Не замечали, — признавались мужики.

Но это — так, это Николай Григорьевич подпускал для пущей важности. Больше говорили про цены на постройки, на продукты, есть ли река в деревне или, может, озеро, далеко или близко лес... Потом переходили на людей — какие люди хорошие в деревне: приветливые, спокойные, не воруют, не клязнят. И тут — незаметно для себя — начинали слегка врать друг другу. Это как-то само собой случалось, никто не преследовал никакой посторонней цели: один кто-нибудь начинал про своих людей, и уж тут другие не могли тоже умолчать, тоже рассказывали, но так, чтобы получалось, что у них — лучше.

— А у нас... обрати внимание: у нас, если баба пошла по воду, она никогда дом не запирает — зачем? Приткнет дверь палочкой, и все: сроду никто не зайдет. Уж на что цыганы — у нас их полно — и то не зайдут: мы их так приучили.

— Да кого!.. Вы вот возьмите: у нас один вор есть...

— Вор?!

— Вор! Мы все про него знаем, что он вор, он уже раз пять сидел за это дело. А у нас одна заслуженная учительница живет,

орден имеет... И этот вор натурально пришел к ней и говорит: «Пусти пожить недели две». А он у нее учился когда-то... в первом классе, что ли. Он вообще-то детдомовский, а она, видно, работала там. Да. «Пусти, — говорит, — пару недель пожить, пока не определюсь куда-нибудь».

— Пустила?

— Пустила! Ну, думаем, и обчистит же он ее!.. Жалели даже старушку.

— Дело в том, что у них такой закон есть: где живешь, там не воруй.

— Да, да.

— Не обчистил?

— Не! Ни-ни, ни волоска не взял. Сдержался.

— Нет, это уж такой закон. Вот если бы взял... если бы он ее все же обокрал, ему бы там свои за это дело...

— Ни-чего не взял!

— Это странно все же... Плевали они на эти законы! Закон. У меня прошлый год стожок сена увезли, змеи ползучие...

— Ну-у, это такие, что ли! Это уж... наш брат кто-нибудь, свои. На кой ему черт сено, урке?

Смеялись. Вспоминали еще случаи... Курили и курили без конца — накурено бывало так, что глаза слезились. А время, слава Богу, шло: глядишь, и подойдет час ехать. Ждать на вокзале — это не самое милое из того, что нам приходится делать.

— А я как-то еду из района, — встревал в минуту затишья какой-нибудь расторопный, — гляжу, стоит бабка... ну, лет так восемьдесят — восемьдесят пять. Подняла руку, я остановился. «До Красного, сынок». До Красного шестьдесят пять километров. «Платить-то, — говорю, — есть чем?» — «Есть, милай, есть». Ну, везу... — И рассказчик заранее поблескивает глазом. — Доехали до Красного. «Все, — говорю, — бабка, приехали. Плати». Она мне достает откуда-то из сумки... пять штук яиц!

Смех. Рассказчик доволен.

— «А раньше, — говорит, — брали. Мы, — говорит, — всегда яйцами расплачивались». — «Ладно, — говорю, — иди, бабка».

Рассказчик непременно еще повторял не один раз, как он ей сказал, старухе: «Иди, — говорю, — бабка, иди. Иди, чего с тебя взять». Это надо понимать, что — вот и он тоже добрый человек. Вообще добрых, простодушных, бесхитростных, бескорыстных,

как выяснялось на этих беседах, по деревням и селам — навалом, прохода нет от бесхитростных и бескорыстных. Да все такие, чего там! А если встречаются иногда склочные, злые, жадные, то это так — придурки.

Николай Григорьевич уже не записывал адреса, а слушал, поворачивался в разные стороны, смеялся тоже... И оттого, что он так охотно и радостно слушал, рассказывали — с радостью тоже — новые истории, где раскрывалось удивительное человеческое бескорыстие. Правда, нечаянно проскакивали случаи, где высывалась вдруг морда какого-нибудь завистника или обманщика, но это — пропускали, это не суть дела, это чепуха. Все молча соглашались, что это — чепуха, а миром движет разум и добро.

— Я седня гляжу: пиво продают. Отстоял в очереди — она мне наливает... А наливает — вот так вот не долила. Сунула под кран — и дальше. Я отошел и думаю: «У нас бы ей за такие дела спасибо не сказали».

Тут же соглашались, что — да, конечно... Люди торопятся, людей много, она этим пользуется, бесстыдница. Но если так-то подумать — ну сколько уж она там не долила! Конечно, ей копейка так и набегаёт, но ведь, правда, не умер же ты, что не допил там глоток-другой. А у ней тоже небось — семья...

Но вот уж чего не понимали деревенские в городе — это хамства. Это уж черт знает что, этому и объяснения-то как-то нету. Кричат друг на друга, злятся. Продавщицу не спроси ни о чем, в конторах тоже, если чего не понял, лучше не переспрашивай: так глянут, так тебе ответят, что дай Бог ноги. Тут, как наезжали на эту тему, мужики дружно галдели — не понимали, изумлялись... И Николай Григорьевич тоже со всеми вместе не понимал и изумлялся. Прижимал кого-нибудь к стене туалета и громко толковывал и объяснял:

— Ведь почему и уехать-то хочу!.. Вот потому и хочу-то — терпенья больше нет никакого. Ты думаешь, я плохо живу?! Я живу, дай Бог каждому! У меня двухкомнатная секция, мы только двое со старухой... Но — невмоготу больше! Душу всю выворачивает такая жизнь!.. — Николай Григорьевич в эту минуту, когда кричал в лицо мужику, страдал вполне искренне, бил себя кулаком в грудь, только что не плакал... Но — и это поразительно — он вполне искренне забывал, что сам много кричит на складе, сам тоже ругается вовсю на шоферов, на грузчиков, к самому то-

же не подступись с вопросом каким. Это все как-то вдруг забывалось, а жила в душе обида, что хаят много, ругаются, кричат и оскорбляют. И отчетливо ясно было, что это не жизнь, пропади она пропадом такая жизнь, и двухкомнатная секция, лучше купить избу в деревне и дожить спокойно свои дни, дожить их достойно, по-человечески. Не хочется же оскотинить здесь со всеми вместе, нельзя просто, мы ж люди! И дорого это было Николаю Григорьевичу, вот эти слова про достоинство человеческое и про покой, и нужно, и больно, и сладко было кричать их... Иногда даже замолкали вокруг, а он один — в дыму этом, в запахах — говорил и кричал. Ему искренне сочувствовали, хотели помочь.

Так, выговорившись, с адресами в кармане, Николай Григорьевич шел домой. Шел с вокзала всегда пешком — это четыре остановки. Отходил после большого волнения. Тихонько еще ныла душа, чувствовалась усталость. К концу пути Николай Григорьевич всегда сильно хотел есть.

Никуда он не собирался ехать, ни в какую деревню, ничего подобного в голове не держал, но не ходить на вокзал он уже не мог теперь — это стало потребностью. Пристыди его кто-нибудь — ну, старший сын, например, запрети ходить туда, запрети записывать эти адреса, говорить с мужиками... Да нет, как запретишь? Он бы крадучись стал ходить. Он теперь не мог без этого.

1972—1973

СРЕЗАЛ

К старухе Агафье Журавлевой приехал сын Константин Иванович. С женой и дочерью. Попроведывать, отдохнуть. Деревня Новая — небольшая деревня, а Константин Иванович еще на такси подкатил, и они еще всем семейством долго вытаскивали чемоданы из багажника... Сразу вся деревня узнала: к Агафье приехал сын с семьей, средний, Костя, богатый, ученый.

К вечеру узнали подробности: он сам — кандидат, жена тоже кандидат, дочь — школьница. Агафье привезли электрический самовар, цветастый халат и деревянные ложки.

Вечером же у Глеба Капустина на крыльце собрались мужики. Ждали Глеба.

Про Глеба Капустина надо рассказать, чтобы понять, почему у него на крыльце собрались мужики и чего они ждали.

Глеб Капустин — толстогубый, белобрысый мужик сорока лет, начитанный и ехидный. Как-то так получилось, что из деревни Новой, хоть она небольшая, много вышло знатных людей: один полковник, два летчика, врач, корреспондент... И вот теперь Журавлев — кандидат. И как-то так повелось, что когда знатные приезжали в деревню на побывку, когда к знатному земляку в избу набивался вечером народ — слушали какие-нибудь дивные истории или сами рассказывали про себя, если земляк интересовался, — тогда-то Глеб Капустин приходил и срезал знатного гостя. Многие этим были недовольны, но многие, мужики особенно, просто ждали, когда Глеб Капустин срежет знатного. Даже не то что ждали, а шли раньше к Глебу, а потом уж — вместе — к гостю. Прямо как на спектакль ходили. В прошлом году Глеб срезал полковника — с блеском, красиво. Заговорили о войне 1812 года... Выяснилось, что полковник не знает, кто велел поджечь Москву. То есть он знал, что какой-то граф, но фамилию перепутал, сказал — Распутин. Глеб Капустин коршуном взмыл над полковником... И срезал. Переволновались все тогда, полковник ругался... Бегали к учительнице домой — узнавать фамилию графа-поджигателя. Глеб Капустин сидел красный в ожидании решающей минуты и только повторял: «Спокойствие, спокойствие, товарищ полковник, мы же не в Филях, верно?» Глеб остался победителем; полковник бил себя кулаком по голове и недоумевал. Он очень расстроился. Долго потом говорили в деревне про Глеба, вспоминали, как он только повторял: «Спокойствие, спокойствие, товарищ полковник, мы же не в Филях». Удивлялись на Глеба. Старики интересовались — почему он так говорил.

Глеб посмеивался. И как-то мстительно щурил свои настырные глаза. Все матери знатных людей в деревне не любили Глеба. Опасались.

И вот теперь приехал кандидат Журавлев...

Глеб пришел с работы (он работал на пилораме), умылся, переоделся... Ужинать не стал. Вышел к мужикам на крыльцо.

Закурили... Малость поговорили о том о сем — нарочно не о Журавлеве. Потом Глеб раза два посмотрел в сторону избы бабки Агафьи Журавлевой. Спросил:

— Гости к бабке Агафье приехали?

— Кандидаты!

— Кандидаты? — удивился Глеб. — О-о!.. Голой рукой не возьмешь.

Мужики посмеялись: мол, кто не возьмет, а кто может и взять. И посматривали с нетерпением на Глеба.

— Ну, пошли попроведаем кандидатов, — скромно сказал Глеб.

И пошли.

Глеб шел несколько впереди остальных, шел спокойно, руки в карманах, шурился на избу бабки Агафьи, где теперь находились два кандидата. Получалось вообще-то, что мужики ведут Глеба. Так ведут опытного кулачного бойца, когда становится известно, что на враждебной улице объявился некий новый ухарь.

Дорогой говорили мало.

— В какой области кандидаты? — спросил Глеб.

— По какой специальности? А черт его знает... Мне бабенка сказала — кандидаты. И он и жена...

— Есть кандидаты технических наук, есть общеобразовательные, эти в основном трепалогией занимаются.

— Костя вообще-то в математике рубил хорошо, — вспомнил кто-то, кто учился с Костей в школе. — Пятерочник был.

Глеб Капустин был родом из соседней деревни и здешних знатных людей знал мало.

— Посмотрим, посмотрим, — неопределенно пообещал Глеб. — Кандидатов сейчас как нерезанных собак.

— На такси приехал...

— Ну, марку-то надо поддержать!.. — посмеялся Глеб.

Кандидат Константин Иванович встретил гостей радостно, захлопотал насчет стола... Гости скромно подождали, пока бабка Агафья накрыла стол, поговорили с кандидатом, повспоминали, как в детстве они вместе...

— Эх, детство, детство! — сказал кандидат. — Ну, садитесь за стол, друзья.

Все сели за стол. И Глеб Капустин сел. Он пока помалкивал. Но — видно было — подбирался к прыжку. Он улыбался, поддакнул тоже насчет детства, а сам все взглядывал на кандидата — примеривался.

За столом разговор пошел дружнее, стали уж вроде и забывать про Глеба Капустина... И тут он попер на кандидата.

— В какой области выявляете себя? — спросил он.

— Где работаю, что ли? — не понял кандидат.

— Да.

— На филфаке.

— Философия?

— Не совсем... Ну, можно и так сказать.

— Необходимая вещь. — Глебу нужно было, чтоб была — философия. Он оживился. — Ну, и как насчет первичности?

— Какой первичности? — опять не понял кандидат. И внимательно посмотрел на Глеба. И все посмотрели на Глеба.

— Первичности духа и материи. — Глеб бросил перчатку. Глеб как бы стал в небрежную позу и ждал, когда перчатку поднимут. Кандидат поднял перчатку.

— Как всегда, — сказал он с улыбкой. — Материя первична...

— А дух?

— А дух — потом. А что?

— Это входит в минимум? — Глеб тоже улыбался. — Вы извините, мы тут... далеко от общественных центров, поговорить хочется, но не особенно-то разбежишься — не с кем. Как сейчас философия определяет понятие невесомости?

— Как всегда определяла. Почему — сейчас?

— Но явление-то открыто недавно. — Глеб улыбнулся прямо в глаза кандидату. — Поэтому я и спрашиваю. Натурфилософия, допустим, определит это так, стратегическая философия — совершенно иначе...

— Да нет такой философии — стратегической! — заволновался кандидат. — Вы о чем вообще-то?

— Да, но есть диалектика природы, — спокойно, при общем внимании продолжал Глеб. — А природу определяет философия. В качестве одного из элементов природы недавно обнаружена невесомость. Поэтому я и спрашиваю: растерянности не наблюдается среди философов?

Кандидат искренне засмеялся. Но засмеялся один... И почувствовал неловкость. Позвал жену:

— Валя, иди, у нас тут... какой-то странный разговор!

Валя подошла к столу, но кандидат Константин Иванович все же чувствовал неловкость, потому что мужики смотрели на него и ждали, как он ответит на вопрос.

— Давайте установим, — серьезно заговорил кандидат, — о чем мы говорим.

— Хорошо. Второй вопрос: как вы лично относитесь к проблеме шаманизма в отдельных районах Севера?

Кандидаты засмеялись. Глеб Капустин тоже улыбнулся. И терпеливо ждал, когда кандидаты отсмеются.

— Нет, можно, конечно, сделать вид, что такой проблемы нету. Я с удовольствием тоже посмеюсь вместе с вами... — Глеб опять великодушно улыбнулся. Особо улыбнулся жене кандидата, тоже кандидату, кандидатке, так сказать. — Но от этого проблема как таковая не перестанет существовать. Верно?

— Вы серьезно все это? — спросила Валя.

— С вашего позволения. — Глеб Капустин привстал и сдержанно поклонился кандидатке. И покраснел. — Вопрос, конечно, не глобальный, но, с точки зрения нашего брата, было бы интересно узнать.

— Да какой вопрос-то? — воскликнул кандидат.

— Твое отношение к проблеме шаманизма. — Валя опять невольно засмеялась. Но спохватилась и сказала Глебу: — Извините, пожалуйста.

— Ничего, — сказал Глеб. — Я понимаю, что, может, не по специальности задал вопрос...

— Да нет такой проблемы! — опять сплеча рубанул кандидат. Зря он так. Не надо бы так.

Теперь засмеялся Глеб. И сказал:

— Ну, на нет и суда нет!

Мужики посмотрели на кандидата.

— Баба с возу — коню легче, — еще сказал Глеб. — Проблемы нету, а эти... — Глеб что-то показал руками замысловатое, — танцуют, звенят бубенчиками... Да? Но при желании... — Глеб повторил: — При же-ла-нии — их как бы нету. Верно? Потому что, если... Хорошо! Еще один вопрос: как вы относитесь к тому, что Луна тоже дело рук разума?

Кандидат молча смотрел на Глеба. Глеб продолжал:

— Вот высказано учеными предположение, что Луна лежит на искусственной орбите, допускается, что внутри живут разумные существа...

— Ну? — спросил кандидат. — И что?

— Где ваши расчеты естественных траекторий? Куда вообще вся космическая наука может быть приложена?

Мужики внимательно слушали Глеба.

— Допуская мысль, что человечество все чаще будет посещать нашу, так сказать, соседку по космосу, можно допустить также, что в один прекрасный момент разумные существа не выдержат и вылезут к нам навстречу. Готовы мы, чтобы понять друг друга?

— Вы кого спрашиваете?

— Вас, мыслителей...

— А вы готовы?

— Мы не мыслители, у нас зарплата не та. Но если вам это интересно, могу поделиться, в каком направлении мы, провинциалы, думаем. Допустим, на поверхность Луны вылезло разумное существо... Что прикажете делать? Лаять по-собачьи? Петухом петть?

Мужики засмеялись. Пошевелились. И опять внимательно уставились на Глеба.

— Но нам тем не менее надо понять друг друга. Верно? Как? — Глеб помолчал вопросительно. Посмотрел на всех. — Я предлагаю: начертить на песке схему нашей Солнечной системы и показать ему, что я с Земли, мол. Что, несмотря на то что я в скафандре, у меня тоже есть голова и я тоже разумное существо. В подтверждение этого можно показать ему на схеме, откуда он: показать на Луну, потом на него. Логично? Мы, таким образом, выяснили, что мы соседи. Но не больше того! Дальше требуется объяснить, по каким законам я развивался, прежде чем стал такой, какой есть на данном этапе...

— Так, так. — Кандидат пошевелился и значительно посмотрел на жену. — Это очень интересно: по каким законам?

Это он тоже зря, потому что его значительный взгляд был перехвачен; Глеб взмыл ввысь... И оттуда, с высокой выси, ударил по кандидату. И всякий раз в разговорах со знатными людьми деревни наступал вот такой момент — когда Глеб взмывал кверху. Он, наверно, ждал такого момента, радовался ему, потому что дальше все случалось само собой.

— Приглашаете жену посмеяться? — спросил Глеб. Спросил спокойно, но внутри у него, наверно, все вздрагивало. — Хорошее дело... Только, может быть, мы сперва научимся хотя бы газеты читать? А? Как думаете? Говорят, кандидатам это тоже не мешает...

— Послушайте!..

— Да мы уж послушали! Имели, так сказать, удовольствие. Поэтому позвольте вам заметить, господин кандидат, что кандидатство — это ведь не костюм, который купил — и раз и навсегда. Но даже костюм и то надо иногда чистить. А кандидатство, если уж мы договорились, что это не костюм, тем более надо... поддерживать. — Глеб говорил негромко, но напористо и без передышки — его несло. На кандидата было неловко смотреть, он явно растерялся, смотрел то на жену, то на Глеба, то на мужиков... Мужики старались не смотреть на него. — Нас, конечно, можно тут удивить: подкатить к дому на такси, вытащить из багажника пять чемоданов... Но вы забываете, что поток информации сейчас распространяется везде равномерно. Я хочу сказать, что здесь можно удивить наоборот. Так тоже бывает. Можно понадеяться, что тут кандидатов в глаза не видели, а их тут видели — и кандидатов, и профессоров, и полковников. И сохранили о них приятные воспоминания, потому что это, как правило, люди очень простые. Так что мой вам совет, товарищ кандидат: почаще спускайтесь на землю. Ей-богу, в этом есть разумное начало. Да и не так рискованно: падать будет не так больно.

— Это называется — «покатил бочку», — сказал кандидат. — Ты что, с цепи сорвался? В чем, собственно...

— Не знаю, не знаю, — торопливо перебил его Глеб, — не знаю, как это называется, — я в заключении не был и с цепи не срывался. Зачем? Тут, — оглядел Глеб мужиков, — тоже никто не сидел — не поймут. А вот и жена ваша сделала удивленные глаза... А там дочка услышит. Услышит и «покатит бочку» в Москве на кого-нибудь. Так что этот жаргон может... плохо кончиться, товарищ кандидат. Не все средства хороши, уверяю вас, не все. Вы же, когда сдавали кандидатский минимум, вы же не «катали бочку» на профессора. Верно? — Глеб встал. — И «одеяло на себя не тянули». И «по фене не ботали». Потому что профессоров надо уважать — от них судьба зависит, а от нас судьба не зависит, с нами можно «по фене ботать». Так? Напрасно. Мы тут тоже немножко... «микитим». И газеты тоже читаем, и книги, случается, почитываем... И телевизор даже смотрим. И, можете себе представить, не приходим в бурный восторг ни от КВН, ни от «Кабачка «13 стульев». Спросите — почему? Потому что там — та же самонадеянность. Ничего, мол, все съедят. И едят, конеч-

но, ничего не сделаешь. Только не надо делать вид, что все там гении. Кое-кто понимает... Скромней надо.

— Типичный демагог-кляузник, — сказал кандидат, обращаясь к жене. — Весь набор тут...

— Не попали. За всю свою жизнь ни одной анонимки или кляузы ни на кого не написал. — Глеб посмотрел на мужиков: мужики знали, что это правда. — Не то, товарищ кандидат. Хотите, объясню, в чем моя особенность?

— Хочу, объясните.

— Люблю по носу шелкнуть — не задирайся выше ватерлинии! Скромней, дорогие товарищи...

— Да в чем же вы увидели нашу нескромность? — не вытерпела Валя. — В чем она выразилась-то?

— А вот когда одни останетесь, подумайте хорошенько. Подумайте — и поймете. — Глеб далее как-то с сожалением посмотрел на кандидатов. — Можно ведь сто раз повторить слово «мед», но от этого во рту не станет сладко. Для этого не надо кандидатский минимум сдавать, чтобы понять это. Верно? Можно сотни раз писать во всех статьях слово «народ», но знаний от этого не прибавится. Так что когда уж выезжаете в этот самый народ, то будьте немного собранней. Подготовленней, что ли. А то легко можно в дураках очутиться. До свидания. Приятно провести отпуск... среди народа. — Глеб усмехнулся и не торопясь вышел из избы. Он всегда один уходил от знатных людей.

Он не слышал, как потом мужики, расходясь от кандидатов, говорили:

— Оттянул он его!.. Дошлый, собака. Откуда он про Луну-то так знает?

— Срезал.

— Откуда что берется!

И мужики изумленно качали головами.

— Дошлый, собака. Причесал бедного Константина Иваныча... А! Как миленького причесал! А эта-то, Валя-то, даже рта не открыла.

— А что тут скажешь? Тут ничего не скажешь. Он, Костя-то, хотел, конечно, сказать... А тот ему на одно слово — пять.

— Чего тут... Дошлый, собака!

В голосе мужиков слышалась даже как бы жалость к кандидатам, сочувствие. Глеб же Капустин по-прежнему неизменно

удивлял. Изумлял. Восхищал даже. Хоть любви, положим, тут не было. Нет, любви не было. Глеб жесток, а жестокость никто, никогда, нигде не любил еще.

Завтра Глеб Капустин, придя на работу, между прочим (играть будет), спросит мужиков:

— Ну, как там кандидат-то?

И усмехнется.

— Срезал ты его, — скажут Глебу.

— Ничего, — великодушно заметит Глеб. — Это полезно. Пусть подумает на досуге. А то слишком много берут на себя...

1970

Вопросы и задания

1. Проанализируйте самостоятельно рассказ В. Шукшина «Выбираю деревню на жительство», опираясь на вопросы, предложенные в рубрике учебника «Самостоятельный анализ текста» (раздел «Василий Макарович Шукшин»).

2. Прочитайте рассказ «Срезал». Драматичен ли сюжет рассказа? Однозначен ли характер «мужицкого пророка» Глеба Капустина? Какова авторская позиция по отношению к спорящим сторонам? В чем смысл названия шукшинского рассказа? (См. статью учебника «Творчество», раздел «Василий Макарович Шукшин».)

3. Что определяет особенность повествовательной манеры В. Шукшина? Какие языковые и стилистические средства использует писатель, изображая быт и характеры своих героев?

Николай Михайлович РУБЦОВ
1936—1971

ВИДЕНИЯ НА ХОЛМЕ

Взбегу на холм

и упаду

в траву.

И древностью повеет вдруг из дола!
Засвищут стрелы будто наяву,
Блеснет в глаза кривым ножом монгола!
Пустынный свет на звездных берегах
И вереницы птиц твоих, Россия,
Затмит на миг в крови и в жемчугах
Тупой башмак скуластого Батыя...

Россия, Русь —

Куда я ни взгляну!

За все твои страдания и битвы
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы,
Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шепот ив у омутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя...

Россия, Русь! Храни себя, храни!

Смотри, опять в леса твои и доли
Со всех сторон нагрянули они,
Иных времен татары и монголы,
Они несут на флагах черный крест,
Они крестами небо закрестили,
И не леса мне видятся окрест,
А лес крестов в окрестностях России.
Кресты, кресты...

Я больше не могу!

Я резко отниму от глаз ладони

В. Белову

— Где же погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу. —
Тихо ответили жители:
— Это на том берегу.

Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травой зарос.

Там, где я плавал за рыбами,
Сено гребут в сеновал:
Между речными изгибами
Вырыли люди канал.

Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил...
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл.

Новый забор перед школою,
Тот же зеленый простор.
Словно ворона веселая,
Сяду опять на забор!

Школа моя деревянная!..
Время придет уезжать —
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

1963

В ГОРНИЦЕ

В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды...

Красные цветы мои
В садике завяли все.
Лодка на речной мели
Скоро догниет совсем.

Дремлет на стене моей
Ивы кружевная тень,
Завтра у меня под ней
Будет хлопотливый день!

Буду поливать цветы,
Думать о своей судьбе,
Буду до ночной звезды
Лодку мастерить себе...

1963

* * *

Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны,
Неведомый сын удивительных вольных племен!
Как прежде скакали на голос удачи капризной,
Я буду скакать по следам миновавших времен...

Давно ли, гуляя, гармонь оглашала окрестность
И сам председатель плясал, выбиваясь из сил,
И требовал выпить за доблесть в труде
и за честность,
И лучшую жницу, как знамя, в руках проносил!

И быстро, как ласточка, мчался я в майском
костюме
На звуки гармошки, на пенье и смех на лужке,
А мимо неслись в торопливом немолкнувшем шуме
Весенние воды, и бревна неслись по реке...

Россия! Как грустно! Как странно поникли
и грустно
Во мгле над обрывом безвестные ивы мои!
Пустынно мерцает померкшая звездная люстра,
И лодка моя на речной догнивает мели.

И храм старины, удивительный, белоколонный,
Пропал, как виденье, меж этих померкших
полей, —
Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской
короны,
Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых
церквей!

О, сельские виды! О, дивное счастье родиться
В лугах, словно ангел, под куполом синих небес!
Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица,
Разбить свои крылья и больше не видеть чудес!

Боюсь, что над нами не будет таинственной силы,
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,

Что, все понимая, без грусти пойду до могилы...
Отчизна и воля — останься, мое божество!

Останьтесь, останьтесь, небесные синие своды!
Останься, как сказка, веселье воскресных ночей!
Пусть солнце на пашнях венчает обильные всходы
Старинной короной своих восходящих лучей!..

Я буду скакать, не нарушив ночное дыханье
И тайные сны неподвижных больших деревьев.
Никто меж полей не услышит глухое скаканье,
Никто не окликнет мелькнувшую легкую тень.

И только, страдая, израненный бывший десантник
Расскажет в бреду удивленной старухе своей,
Что ночью промчался какой-то таинственный
всадник,
Неведомый отрок, и скрылся в тумане полей...
1963

РУССКИЙ ОГОНЕК

Погружены
в томительный мороз,
Вокруг меня снега оцепенели.
Оцепенели маленькие ели,
И было небо темное, без звезд.
Какая глушь! Я был один живой.
Один живой в бескрайнем мертвом поле!

Вдруг тихий свет (пригрезившийся, что ли?)
Мелькнул в пустыне,
как сторожевой...

Я был совсем как снежный человек,
Входя в избу (последняя надежда!),
И услышал, отряхивая снег:
— Вот печь для вас и теплая одежда... —

Потом хозяйка слушала меня,
Но в тусклом взгляде
Жизни было мало,
И, неподвижно сидя у огня,
Она совсем, казалось, задремала...

Как много желтых снимков на Руси
В такой простой и бережной оправе!
И вдруг открылся мне
И поразил
Сиротский смысл семейных фотографий.
Огнем, враждой земля полным-полна,
И близких всех душа не позабудет...
— Скажи, родимый, будет ли война? —
И я сказал:
— Наверное, не будет.
— Дай Бог, дай Бог... ведь всем не угодишь,
А от раздора пользы не прибудет... —
И вдруг опять: — Не будет, говоришь?
— Нет, — говорю, — наверное, не будет!
— Дай Бог, дай Бог... —
И долго на меня
Она смотрела, как глухонемая,
И, головы седой не поднимая,
Опять сидела тихо у огня.
Что снилось ей? Весь этот белый свет,
Быть может, встал пред нею в то мгновение?
Но я глухим брэнчанием монет
Прервал ее старинные виденья.
— Господь с тобой! Мы денег не берем.
— Что ж, — говорю, — желаю вам здоровья!
За все добро расплатимся добром,
За всю любовь расплатимся любовью...

Спасибо, скромный русский огонек,
За то, что ты в предчувствии тревожном
Горишь для тех, кто в поле бездорожном
От всех друзей отчаянно далек,
За то, что, с доброй верою дружа,

Среди тревог великих и разбоя
Горишь, горишь, как добрая душа,
Горишь во мгле, и нет тебе покоя...

1964

ЗВЕЗДА ПОЛЕЙ

Звезда полей во мгле заледенелой,
Остановившись, смотрит в полынью.
Уж на часах двенадцать прозвенело,
И сон окутал родину мою...

Звезда полей! В минуты потрясений
Я вспоминал, как тихо за холмом
Она горит над золотом осенним,
Она горит над зимним серебром...

Звезда полей горит, не угасая,
Для всех тревожных жителей земли,
Своим лучом приветливым касаясь
Всех городов, поднявшихся вдали.

Но только здесь, во мгле заледенелой,
Она восходит ярче и полней,
И счастлив я, пока на свете белом
Горит, горит звезда моих полей...

1964

ДУША ХРАНИТ

Вода недвижимее стекла.
И в глубине ее светло.
И только щука, как стрела,
Пронзает водное стекло.

О, вид смиренный и родной!
Березы, избы по буграм

И, отраженный глубиной,
Как сон столетний, Божий храм.

О, Русь — великий звездочет!
Как звезд не свергнуть с высоты,
Так век неслышно протечет,
Не тронув этой красоты.

Как будто древний этот вид
Раз навсегда запечатлен
В душе, которая хранит
Всю красоту былых времен...

1966

ПОСВЯЩЕНИЕ ДРУГУ

Замерзают мои георгины.
И последние ночи близки.
И на комья желтеющей глины
За ограду летят лепестки...

Нет, меня не порадует — что ты! —
Одинокая странствий звезда.
Пролетели мои самолеты,
Просвистели мои поезда.

Прогудели мои пароходы,
Проскрипели телеги мои, —
Я пришел к тебе в дни непогоды,
Так изволь, хоть водой напои!

Не норвать мне житейские цепи,
Не умчаться, глазами горя,
В пугачевские вольные степи,
Где гуляла душа бунтаря.

Не порвать мне мучительной связи
С долгой осенью нашей земли,

С деревцом у сырой коновязи,
С журавлями в холодной дали...

Но люблю тебя в дни непогоды
И желаю тебе навсегда,
Чтоб гудели твои пароходы,
Чтоб свистели твои поезда!
1967

ПРО ЗАЙЦА

Заяц в лес бежал по лугу,
Я из лесу шел домой, —
Бедный заяц с перепугу
Так и сел передо мной!

Так и обмер, бестолковый,
Но, конечно, в тот же миг
Поскакал в лесок сосновый,
Слыша мой веселый крик.

И еще, наверно, долго
С вечной дрожью в тишине
Думал где-нибудь под елкой
О себе и обо мне.

Думал, горестно вздыхая,
Что друзей-то у него
После дедушки Мазая
Не осталось никого.
1969

* * *

Я умру в крещенские морозы.
Я умру, когда трещат березы.
А весною ужас будет полный:
На погост речные хлынут волны!
Из моей затопленной могилы
Гроб всплывет, забытый и унылый,

Разобьется с треском,
и в потемки
Уплывут ужасные обломки.
Сам не знаю, что это такое...
Я не верю вечности покоя!

1970

Вопросы и задания

1. Прочитайте стихотворения Н. Рубцова «Видение на холме», «Тихая моя родина», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», «Звезда полей». Какими смысловыми оттенками наполнено патриотическое чувство поэта? Что лежит в основе рубцовского чувства Родины?

2. Что составляет внутреннюю «драматургию» стихотворения «Русский огонек»? Что дает основание противопоставить его, как и стихотворение «В горнице», «громкой» лирике 60-х годов? (См. статью учебника «Музыкальное слово» Николая Рубцова», раздел «Николай Михайлович Рубцов».)

3. Выполните самостоятельный анализ стихотворения Н. Рубцова «Душа хранит», опираясь на вопросы и задания в рубрике учебника «Самостоятельный анализ текста» (раздел «Николай Михайлович Рубцов»).

4. Какова роль «некрасовских» и «есенинских» традиций в лирике Н.М. Рубцова, посвященной явлениям живой природы? («Про зайца».)

5. Дайте свою интерпретацию таких «кризисных» произведений поэта, как «Посвящение другу» и «Я умру в крещенские морозы...». Что скрыто за их трагической символикой?

Виктор Петрович АСТАФЬЕВ
1924—2001

ЦАРЬ-РЫБА (Отрывок)

Царь-рыба

<...>

В студёный осенний морок вышел Игнатъич на Енисей, завис на самоловах. Перед тем как залечь на ямы, оцепенеть в долгой зимней дремотности, красная рыба жадно кормилась окуклившимся мормышем, ошивалась, как нынешние словотворцы говорят, возле подводных каменных гряд, сытая играла с пробками и густо вешалась на крючья.

С двух первых самолотов Игнатъич снял штук семьдесят стерлядей, заторопился к третьему, лучше и уловистей всех стоящему. Видно, попал он им под самую каргу, а это дается уж только мастерам высшей пробы, чтоб на гряде самуё не бросить — зависнет самолот, и далеко не сплыть — рыба проходом минует самолот. Чутьё, опыт, сноровка и глаз снайперский требуются. Глаз острится, нюх точится не сам собою — с малолетства побрататься с водою, постынь на реке, помокни и тогда уж шарься в ней, как в своей кладовке...

К третьему концу Игнатъич попал затемно, ориентир на берегу — обсеченная по маковку елка, так хорошо видная темной колоколенкой даже на жидком свете, уперлась в низкие, брюхатые тучи, мозглый воздух застелил берег, река, жестяно и рвано отблескивающая в ночи, ломала и скрадывала расстояние. Пять раз заплывал рыбак и тянул кошку по дну реки, времени потерял уйму, промерз вроде бы до самых костей, но зато, лишь подцепил и приподнял самолот, сразу почувствовал: па нем крупная рыбина!

Он не снимал стерлядь с крючков, а стерляди, стерляди!.. Бурлила, изогнувшись в калач, почти на каждой уде стерлядка, и вся живая. Иные рыбины отцеплялись, уходили, которая сразу вглубь, которые подстреленно выбрасывались и шлепались в воду, клевали острием носа борт лодки — у этих поврежден спинной мозг, визига проткнута, этой твари конец — с порченным по-

звоночником, с проткнутым воздушным пузырем, с порванными жабрами рыба не живет. Налим, на что кренкущий, но как напорется на самоловные уды — дух из него вон и кишки на телефон.

Шла тяжелая, крупная рыбина, била по тетиве редко, уверенно, не толкалась попусту, не делала в панике тычков туда-сюда. Она давила вглубь, вела в сторону, и чем выше поднимал ее Игнатич, тем грузнее она делалась, устойчивее упиралась. Добро хоть не делала резких рывков — щелкают тогда крючки о борт, ломаются спичками, берегись, не зазевайся рыбак — цапнет удой мясо иль одежду, ладно, крючок обломится, ладно, успеешь схватиться за борт, пластануть ножом капроновое коленце, которым прикреплена к хребтовине самолова уда, иначе...

Незавидная, рискованная доля браконьера: возьми рыбу да при этом больше смерти бойся рыбнадзора — подкрадется во тьме, спаает — сраму наберешься, убытку не сочтешь, сопротивляться станешь — тюрьма тебе. На родной реке татем живешь и до того выдрессировался, что ровно бы еще какой, неведомый, дополнительный орган в человеке получился — вот ведет он рыбу, болтаясь на самоловном конце, и весь в эту работу ушел, азартом захвачен, устремления его — взять рыбу, и только! Глаза, уши, ум, сердце — все в нем направлено к этой цели, каждый нерв вытянут в ниточку, через руки, через кончики пальцев припаян рыбак к тетиве самолова, но что-то иль кто-то там, повыше живота, в левой половине груди живет своей, отдельной жизнью, будто пожарник, несет круглосуточно неусыпное дежурство. Игнатич с рыбиной борется, добычу к лодке правит, а оно, в груди-то, ухом поводит, глазом недреманным тьму ощупывает. Вдали огонек мелькнул, оно уже трепыхнулось: какое судно? Опасность от него? Отцепиться от самолова? Пускать рыбину вглубь? А она, живая, здоровенная, может изловчиться и уйти. Напряглось все в человеке, поредели удары сердца, слух напряжился до звона, глаз силится быть сильнее темноты, вот-вот пробьет тело током, красная лампочка внутри заморгает, как в пожарке: «Опасность! Опасность! Горим! Горим!»

Пронесло! Грузовая самоходка, похрюкивая, будто племенной пороз со свинофермы Грохотало, прошла серединой реки. Следом грустный кораблик неспешно волокся, музыка на нем играла однотонная, протяжная, на вой метели похожая, и под эту музыку на верхней, слабо освещенной палубе умирали три

парочки, плотно сцепившись перед кончиной и уронив друг дружке бессильные головы на плечи. «Красиво живут, — Игнатич даже приостановил работу, — как в кино!»

В этот миг заявила о себе рыба, пошла в сторону, защелкали о железо крючки, голубые искорки из борта лодки высекло. Игнатич отпрянул в сторону, стравливая самолет, разом забыв про красивый кораблик, про парочки, не переставая, однако, внимать ночи, сомкнувшейся вокруг него. Напомнив о себе, как бы разминку сделав перед схваткой, рыба унялась, перестала диковать и только давила, давила вниз с тупым, непоколебимым упрямством.

По всем повадкам рыбы, по грузному этому слепому давлению, во тьму глубин угадывался на самолоте осетр, большой, но уже умаянный.

За кормой взбурлило грузное тело рыбы, вертанулось, забунтовало, разбрасывая воду, словно лохмотья горелого, черного тряпья. Туго натягивая хребтину самолота, рыба пошла не вглубь, вперед пошла на стрежь, охлестывая воду и лодку оборвышами коленцев, пробками, удами, ворохом волоча скомканных, умаянных стерлядей, стряхивая их с самолота. «Хватил дурило воздуха. Забусел!» — мгновенно подбирая слабину самолота, думал Игнатич и увидел рыбу возле борта лодки. Увидел и опешил: черный, лаково отблескивающий сутунок со вкось, не заподлицо, обрубленными сучьями; крутые бока, решительно означенные остриями плащей, будто от жабер до хвоста рыба опоясана цепью бензопилы. Кожа, которую обнимало водой, щекотало нитями струй, прядущихся по плащам и свивающихся далеко за круто изогнутым хвостом, лишь на вид мокра и гладка, на самом же деле ровно бы в толченом стекле, смешанном с дресвою.

Что-то редкостное, первобытное было не только в величине рыбы, но и в формах ее тела, от мягких, безжильных, как бы червячных усов, висящих под ровно состругнутой внизу головой, до перепончатого, крылатого хвоста — на доисторического ящера походила рыба, какой на картинке в учебнике по зоологии у сына нарисован.

Течение на стрежи вихревое, рваное. Лодку шевелило, поводило из стороны в сторону, брало струями на отур, и слышно было, как скрежещут о металл рыскающей дюралки плащи осетра, сточенные, закругленные водой. Летошник осетр еще и осетром не называется, всего лишь костеркой, после — карышем

или кастрюком, похож он на диковинно растопыренную шишку или на веретенце, по которому торчат колючки. Ни вида, ни вкуса в костерке, и хищнику никакому не слопать: распорот костерка — проткнет утробу. И вот, поди ж ты! из остроносой колючки этакий боровище вырастает! И на каком питанье-то? На мормыше, на козявках и вьюнцах. Ну, не загадка ли природы?!

Совсем где-то близко закрикал коростель. Игнатъич напрягся слухом — вроде как на воде крикает? Коростель — птица долгоногая, бегучая, сухопутная и летняя, давно пора ей убегти в теплую сторону. А вот поди ж ты, крикает. На близком слуху — вроде как под ногами. «Не в штанах ли у меня закрикало?!» Игнатъич хотел, чтобы веселые, несколько даже ернические шуточки сняли с него напряжение, вывели бы из столбняка. Но легкое настроение, которого он желал, не посетило его, и азарта, того дикого азарта, жгучей, все поглощающей страсти, от которой воеет кость, слепнет разум, тоже не было. Наоборот, вроде бы как обмыло теплыми, прокислыми щами там, слева, где несло дежурство оно, недреманное ухо. Рыба, а это у нее коростелем скрипел хрящатый рот, выплевывала воздух, долгожданная, редкостная рыба вдруг показалась Игнатъичу зловещей.

«Да что же это я? — поразился рыбак. — Ни Бога, ни черта не боюсь, одну темпу силу почитаю... Так, может, в силе-то и дело?» Игнатъич захлестнул тетиву самолова за железную уключину, вынул фонарик, воровато, из рукава осветил им рыбину с хвоста. Над водою сверкнула острыми кнопками круглая спина осетра, изогнутый хвост его работал устало, настороженно, казалось, точат кривую татарскую саблю о каменную черноту ночи. Из воды, из-под костяного панциря, защищающего широкий, покатый лоб рыбыны, в человека всверливались маленькие глазки с желтым ободком вокруг темных, с картечины величиною, зрачков. Они, эти глазки, без век, без ресниц, голые, глядящие со змеиной холодностью, чего-то таили в себе.

Осетр висел на шести крючках. Игнатъич добавил ему еще пяток — боровина даже не дрогнул от острых уколов, просекших сыромятно-твердую кожу, лишь пополз к корме, царапаясь о борт лодки, набирая разгон, чтобы броситься по туго в него бьющей воде, пообрывать поводки самолова, взять на типок¹

¹ На *типок* — на разрыв.

тетиву, переломать все эти махонькие, ничтожные, но такие острые и губительные железки.

Жабры осетра захлопали чаще, заскрипели решительней. «Сейчас пойдет!» — похолодел Игнатьич. Не всем умом, какой-то его частью, скорее опытом он дошел — одному не совладать с таким чудовищем. Надо засадить побольше крючков в осетра и бросить конец — пусть изнемогает в глуби. Прискачет младший братец на самолovy, поможет. Уж в чем, в чем, а в лихом деле, в боренье за добычу не устоит, пересилит гордыню. Совхозная самоходка ушла за вырубленной в Заречье капустой, и, пока судно разгрузит овощ, пока совсем не затемняет, Командор к Опарихе не явится.

Надо ждать, жда-ать! Ну, а дождешься, так что? Делить осетра? Рубить на две, а то и на три части — с братцем механик увяжется, этакий, на бросового человечешку Дамку похожий обормот. В осетре икры ведра два, если не больше. Икру тоже на троих?! «Вот она, вот она, дрянь-то твоя, и выявилась! Требуха-то утробинская с мозглятинкой, стало быть, и вывернулась!..» — с презрением думал о себе Игнатьич.

Кто он сейчас? Какой его облик вылупается? Лучше Дамки, недобитого бандеровца Грохотало иль младшего братца? Все хапуги схожи нутром и мордой! Только иным удастся спрятать себя, притаиться до поры до времени, но накатывает случай, предел жизни настагает, как говаривал покойный Куклин, и сгребает всех в кучу — потом одного по одному распределяет на места. Кто держится на своих собственных ногах, живет своим умом, при любом соблазне хлебает под своим краем, не хватая жирных кусков из общего котла, характер свой на дешевку не разменивает, в вине себя не топит, пути своей жизни не кривит, — у того человека свое отдельное место в жизни и на земле, им заработанное и отвоеванное. Остальное все в хлам, в утиль, на помойку! «Ах, умница-разумница! — усмехнулся Игнатьич. — Все-то ты разумеешь, все-то тямлишь! Игрунчик! Докажи, каков рыбак?» — раззуживал, распалял самого себя старший Утробин.

Чалдонская настырность, самолюбство, жадность, которую он почел азартом, ломали, корежили человека, раздирали на части.

— Не трожь! Не тро-о-ожь! — остепенял он себя. — Не осилить!..

Ему казалось, если говорить вслух, то как бы со стороны кто-то с непритухшим разумом глаголет, и от голоса его возможно отрезветь, но слова звучали отдельно, далеко, глухо. Лишь слабый их отзвук достигал уха ловца и совсем не касался разума, занятого лихорадочной работой, — там планировались действия, из нагромождений чувств выскребалась деловитость, овладевая человеком, направляла его — он подскребал к себе топорик, острый крюк, чтоб поддеть им оглушенную рыбину. Идти на веслах к берегу он не решался, межень прошла, вода поднялась с осенней завирухи-мокрети, рвет, крутит далеко до берега, и рыба на мель не пойдет, только почувствует осторожным икрным брюхом твердь — такой кордебалет выкинет, такого шороху задаст, что все веревочки и уды полетят к чертям собачьим.

Упускать такого осетра нельзя. Царь-рыба попадается раз в жизни, да и то не всякому якову. Дамке отродясь не попадала и не попадется — он по реке-то не рыбачит, сорит удами...

Игнатийч вздрогнул, нечаянно произнеся, пусть и про себя, роковые слова — больно уж много всякой всячины наслушался он про царь-рыбу, хотел ее, богоданную, сказочную, конечно, увидеть, изловить, но и робел. Дедушко говаривал: лучше отпустить ее, незаметно так, нечаянно будто отпустить, перекреститься и жить дальше, снова думать об ней, искать ее. Но раз произнеслось, вырвалось слово, значит, так тому и быть, значит, брать за жабры осетрину, и весь разговор! Препоны разорвались, в голове и сердце твердость — мало ли чего плели ранешние люди, знахари всякие и дед тот же — жили в лесу, молились колесу...

«А-а, была не была!» — удало, со всего маху Игнатийч жажнул обухом топора в лоб царь-рыбу и по тому, как щелкнуло звонко, без отдачи гукнуло, догадался — угодило вскользь. Надо было не со всей дурацкой силы бить, надо было стукнуть коротко, зато поточнее. Повторять удар некогда, теперь все решалось мгновениями. Он взял рыбину крюком на упор и почти перевалил ее в лодку. Готовый издать победный вопль, нет, не вопль — он ведь не городской придурок, он от веку рыбак, просто тут, в лодке, дать еще разок по выпуклому черепу осетра обухом и рассмеяться тихо, торжественно, победно.

Вдох, усилие — крепче в борт ногою, тверже упор. Но находившаяся в столбняке рыба резко вертанулась, ударилась об

лодку, громыхнула, и черно поднявшимся ворохом не воды, нет, комьями земли взорвалась река за бортом, ударило рыбака тяжестью по голове, давило на уши, полоснуло по сердцу. «А-ах!» — вырвалось из груди, как при доподлинном взрыве, подбросившем его вверх и уронившем в немую пустоту. «Так вот оно как, на войне-то...» — успел он еще отметить. Разгоряченное борьбой нутро оглушило, стиснуло, ожгло холодом.

Вода! Он хлебнул воды! Тонет!

Кто-то тащил его за ногу в глубину. «На крючке! Зацепило! Пропал!» — и почувствовал легкий укол в голень — рыба продолжала биться, садить в себя и в ловца самоловные уды. В голове Игнатича тоскливо и согласно, совсем согласно зазвучала вялая покорность: «Тогда что ж... Тогда все...» Но был ловец сильным мужиком, рыба выдохшейся, замученной, и он сумел преодолеть не ее, а сперва эту вот, занимающуюся в душе покорность, согласие со смертью, которое и есть уже смерть, поворот ключа во врата на тот свет, где замки для всех грешников излажены в одну сторону: «У райских врат стучаться бесполезно...»

Игнатич выбил себя наверх, отплюнулся, хватил воздуха, увидел перед глазами паутинку тетивы, вцепился в нее и уже по хребтовине тетивы поднялся к лодке, схватился за борт — дальше не пускало — в ноги воткнулось еще несколько уд спутанного самолова. Очумелая рыба грузно ворочалась на ослабевшем конце, значит, сдвинула стантовую якорницу, увязывала самолов, садила в себя крючок за крючком, и ловца не облетало. Он старался завести ноги под лодку, плотнее прильнуть к ее корпусу, но уды находили его, и рыба, хоть и слабо, рывками, ворочалась во вспененной саже, взблескивая пилою спины, заостренной мордой, будто плугом вспахивала темное поле воды.

«Господи! Да разведи ты нас! Отпусти эту тварь на волю! Не по руке она мне!» — слабо, без надежды взмолился ловец. Икон дома не держал, в Бога не веровал, над дедушкиными наказами насмеялся. И зря. На всякий, ну хоть бы вот на такой, на крайний случай следовало держать иконку, пусть хоть на кухоньке, в случае чего — на покойницу мать спереть можно было — оставила, мол, завещала...

Рыба унялась. Словно бы ощупью приблизилась к лодке, навалилась на ее борт — все живое к чему-нибудь да жметесь! Ослепшая от удара, отупевшая от ран, надранных в теле удами и

крюком-подцепом, она щупала, щупала что-то в воде чуткими присосками и острием носа уткнулась в бок человеку. Он вздрогнул, ужаснулся, показалось, рыба, хрустя жабрами и ртом, медленно сжевывала его заживо. Он попробовал отодвинуться, перебираясь руками по борту накренившейся лодки, но рыба продвигалась за ним, упрямо нащупывала его и, ткнувшись хрящом холодного носа в теплый бок, успокаивалась, скрипела возле сердца, будто перепиливала надреберье тупой ножовкой и с мокрым чавканьем вбирала внутренности в раззявленный рот, точно в отверстие мясорубки.

И рыба, и человек слабели, истекали кровью. Человечья кровь плохо свертывается в холодной воде. Какая же кровь у рыбы? Тоже красная. Рыбья. Холодная. Да и мало ее в рыбе. Зачем ей кровь? Она живет в воде. Ей греться ни к чему. Это он, человек, на земле обитает, ему в тепло надобно. Так зачем же, зачем перекрестились их пути? Реки царь и всей природы царь — на одной ловушке. Караулит их одна и та же мучительная смерть. Рыба промучается дольше, она у себя дома, и ума у нее не хватит скорее кончить эту волюнку. А у него ума достанет отпустить от борта лодки! И все! Рыба одавит его вглубь, затреплет, истычет удами, поможет ему...

«Чем? В чем поможет-то? Сдохнуть? Окочуриться? Не-ет! Не дамся, не да-а-амся!..» — Ловец крепче сжал твердый борт лодки, рванулся из воды, попробовал обхитрить рыбу, с нахлынувшей злостью взяться на руках и перевалиться за такой близкий борт такой невысокой лодки!

Потревоженная рыба раздраженно чавкнула ртом, изогнулась, повела хвостом, и тут же несколько укусов, совсем почти неслышных, комариных, щипнуло ногу рыбака. «Да что же это такое!» — всхлипнул Игнатич, обвисая. Рыба тотчас успокоилась, придвинулась, сонно ткнулась уже не в бок, а под мышку ловца, и оттого, что не было слышно ее дыхания, слабо шевелилась над ней вода, он притаенно обрадовался: рыба засыпает, утомило ее воздухом, истекла она кровью, выбилась из сил в борьбе с человеком, вот-вот опрокинется вверх брюхом.

Он, затихнув, ждал, чувствуя, что и сам погружается в дрему.

Словно ведая, что они повязаны одним смертным концом, рыба не торопилась разлучаться с ловцом и с жизнью, рулила хвостом, крыльями, удерживая себя и человека на плаву, работала жабрами, и чудился человеку убаюкивающий скрип сухого оче-

па зыбки. Морок успокоительного сна накатывал на человека, утишая его тело и разум.

Зверь и человек, в мор и пожары, во все времена природных бед, не раз и не два оставались один на один — медведь, волк, рысь — грудь в грудь, глаз в глаз, ожидая смерти иной раз много дней и ночей. Такие страсти, ужасы об этом сказывались, но чтобы повязались одной долей человек и рыба, холодная, туполобая, в панцире плащей, с желтенькими, восково плавящимися глазками, похожими на глаза не зверя, нет — у зверя глаза умные, а не поросячьи, бессмысленно-сытые глаза — такое-то на свете бывало ль?

Хотя на этом свете все и всякое бывало, да не все людям известно. Вот и он, один из многих человеков, обессилеет, окоченеет, отпустится от лодки, уйдет с рыбой в глубь реки, будет там болтаться, пока коленца не отопрют. А коленца-то капроновые, их до зимы хватит! И кто узнает, где он? Как он кончился? Какие муки принял? Вон старик-то Кукулин года три назад где-то здесь же, возле Опарихи, канул в воду, и с концами. Лоскутка не нашли. Вода! Стихия! В воде каменные гряды, расщелья, затащит, втолкнет куда...

Однажды он видел утопленника. Тот на дне реки лежал, подле самого берега. Выпал, должно быть, с парохода, почти к суше прибил, да не знал того и сдался. А может, сердце отказало, может, пьяный был, может, и другое что стряслось — не выпросишь. Глаза утопленника, подернутые свинцовой пленкой, пленкой смерти, до того были огромны и круглы, что не вдруг и верилось, будто человечьи то глаза. Разгляделся Игнатич, съезжился — так велики, так уродливо вывернуты глаза утопшего оттого, что рыбка-мелочишка выщипала респицы, веки обсосала, и ушли рыбешки под кругляши глаз. Из ушей и ноздрей человека торчали пучками хвосты сладко присосавшихся к мясу налимишек и вьюнов, в открытом рту клубились гальяны.

— Не хочу-у! Не хочу-у-у-у! — дернулся, завизжал Игнатич и принялся дубасить рыбину по башке. — Уходи! Уходи! Уходи-и-и-и!

Рыба отодвинулась, грузно взбурлила воду, потащив за собой ловца. Руки его скользили по борту лодки, пальцы разжимались. Пока колотил рыбину одной рукой, другая вовсе ослабела, и тогда он подтянулся из последних сил, достал подбородком

борт, завис на нем. Хрустели позвонки шеи, горло сипело, рвалось, однако рукам сделалось полегче, но тело и особенно ноги отдалились, чужими стали, правую ногу совсем не слышать.

И принялся ловец уговаривать рыбу скорее умереть.

— Ну что тебе! — дребезжал он рванным голосом, с той жалкой, притворной лестью, которую в себе не предполагал. — Все одно околеешь. — Подумалось: вдруг рыба понимает слова! Поправился: — Уснешь. Смирись! Тебе будет легче, и мне легче. Я брата жду, а ты кого? — И задрожал, зашлепал губами, гаснущим шепотом зовя: — Бра-ате-ельни-и-и-ик!..

Прислушался — никакого отзвука. Тишина. Такая тишина, что собственную душу, сжавшуюся в комок, слышно. И опять ловец впал в забытие. Темнота сдвинулась вокруг него плотнее, в ушах зазвенело, значит, совсем обескровел. Рыбу повернуло боком — она тоже завяла, но все еще не давала опрокинуть себя воде и смерти на спину. Жабры осетра уже не крикали, лишь поскрипывали, будто крошка короед подтачивал древесную плоть, закислевшую от сырости под толстой шубой коры.

На реке чуть посветлело. Далекое небо, луженное изнутри луной и звездами, льдистый блеск которого промывался меж ворохами туч, похожих на торопливо сгребенное сено, почему-то не сметанное в стога, сделалось выше, отдаленней, и от осенней воды пошло холодное свечение.

Наступил поздний час. Верхний слой реки, согретой слабым солнцем осени, остудило, сняло, как блин, и бельмастый зрак глуби со дна реки проник наверх.

Не надо смотреть на реку. Зябко, паскудно на ней ночью. Лучшее наверх, на небо смотреть.

Вспомнился покос на Фетисовой речке, отчего-то желтый, ровно керосиновым фонарем высвеченный или лампадкой. Покос без звуков, без движения какого-либо и хруста под ногами, теплого, сенного хруста. Среди покоса длинный зачесанный зарод с острием жердей, торчащих по полого осевшему верху. Почему же все желтое-то? Безголосое? Лишь звон густеет — ровно бы под каждым стерженьком скошенной травы по махонькому кузнецу утаилось, и без передыху звонят они, заполняя все вокруг нескончаемой, однозвучной, усыпляющей музыкой пожухлого, вялого лета. «Да я же умираю! — очнулся Игнатич. — Может, я уж на дне? Желто все...»

Он шевельнулся и услышал рядом осетра, полусонное, ленивое движение его тела почувствовал — рыба плотно и бережно жалась к нему толстым и нежным брюхом. Что-то женское было в этой бережности, в желании согреть, сохранить и себе зародившуюся жизнь.

«Да уж не оборотень ли это?!»

По тому, как вольготно, с сытой леностью подремывала рыба на боку, похрустывала ртом, будто закусывая пластиком капусты, упрямое стремление ее быть ближе к человеку, лоб, как бы отлитый из бетона, по которому ровно гвоздем процарапаны полосы, картечины глаз, катающиеся без звука под панцирем лба, отчужденно, однако ж не без умысла вперившиеся в него, бесстрашный взгляд — все-все подтверждало: оборотень! Оборотень, вынашивающий другого оборотня, греховное, человеческое есть в сладостных муках царь-рыбы, кажется, вспоминает она что-то тайное перед кончиной.

Но что она может вспоминать, эта холодная водяная тварь? Шевелит вон щупальцами-червячками, прилипшими к лягушачьей жидкой коже, за усами беззубое отверстие, то сжимающееся в плотно западающую щель-влагалище, то отпрыгивающее воду в трубку, рот похож на что-то срамное, непотребное. Чего у нее еще было, кроме стремления кормиться, копаясь в илистом дне, выбирая из хлама козявок?! Нагуливала она икру и раз в году терлась о самца или о песчаные водяные дюны? Что еще было у нее? Что? Почему же он раньше-то не замечал, какая это отвратная рыба на вид! Отвратно и нежное бабье мясо ее, сплошь в прослойках свечного, желтого жира, едва скрепленное хрящами, засунутое в мешок кожи; ряды панцирей в придачу, и нос, какого ни у одной рыбы нет, и эти усы-червяки, и глазки, плавающие в желтушном жиру, требуха, набитая грязью черной икры, такой тоже нет у других рыб, — все-все отвратно, тошнотно, похабно!

И из-за нее, из-за этакой гады забылся в человеке человек! Жадность его обуяла! Померкло, отодвинулось в сторону даже детство, да детства-то, считай, и не было. В школе с трудом и мучкой отсидел четыре зимы. На уроках, за партой, диктант пишет, бывало, или стишок слушает, а сам на реке пребывает, сердце дергается, ноги дрыгаются, кость в теле воеет — она, рыба, ноймалась, идет! Сколь помнит себя, все в лодке, все на реке, все в погоне за нею, за рыбой этой клятой. На Фетисовой речке роди-

тельский покос дурниной захлестнуло. В библиотеку со школы не заглядывал — некогда. Был председателем школьного родительского комитета — содвинули, переизбрали — не заходит в школу. Наметили на производстве депутатом в поссовет — трудяга, честный производственник, и молча отвели — рыбачит втихую, хапает, какой из него депутат? В народную дружину и ту не берут, забраковали. Справляйтесь сами с хулиганами, вяжите их, воспитывайте, ему некогда, он все время в погоне. Давят машинами, режут ножами людей, носятся по поселку одичалые пьяницы с ружьями и топорами? Его не достанешь! Ан и достали! Тайку-то, любимицу!..

А-ах ты, гад, бандюга! Машиной об столб, юную, прекрасную девушку, в цвет входящую, бутончик маковый, яичко голубинное — всмятку. Девочка небось в миг последний отца родимого, дядю любимого пусть про себя кликнула. А они? Где были они? Чего делали?

Опять дед вспомнился. Поверья его, ворожба, запуки: «Ты как поймашь, Зиновей, мало рыбку — посеки его прутом. Сыми с уды и секи да приговаривай: «Пошли тятю, пошли маму, пошли тетку, пошли дядю, пошли дядину жану!» Посеки и отпускай обратно и жди. Все будет сполнено, как ловец велел». Было, сек прутом рыбину, сперва взаправду, подрост — с ухмылкой, а все ж сек, потому что верил во всю эту трахамудрию — рыба попадалась и крупная, но попробуй разбери, кто тут тятя, кто тут дядя и кто дядина жена... Вечный рыбак, лежучи на печи со скрученными в крендель ногами, дед беспрестанно вещал голосом, тоже вроде бы от ревматизма искрученным, перемерзлым: «А ешли у вас, робяты, за душой што есь, тяжкий грех, срам какой, варначество — не вяжитесь с царью-рыбой, попадется коды — отпускайте сразу. Отпущайте, отпущайте!.. Ненадежно дело варначье».

Ни облика, ни подробностей жизни деда, ни какой-нибудь, хоть маломальской приметы его не осталось в памяти, кроме рыбацких походов да заветов. Этот вот другорядь за сегодня вспомнился. Припекло! Но какой же срам, какое варначество за ним такое страшное, коль так его скрутило?

Игнатич отпустился подбородком от борта лодки, глянул па рыбину, на ее широкий бесчувственный лоб, броней защищающий хрящевину башки, желтые и синие жилки-былки меж хря-

щом путаются, и озаренно, в подробностях обрисовалось ему то, от чего он оборонялся всю почти жизнь и о чем вспомнил тут же, как только попался на самолов, но отжимал от себя наваждение, оборонялся нарочитой забывчивостью, однако дальше сопротивляться окончательному приговору не было сил.

Пробил крестный час, пришла пора отчитаться за грехи.

...Глашка Куклина, девка па причуды и выдумки гораздая, додумалась однажды вываренный осетровый череп приспособить вместо маски, да еще и лампочку от фонарика в него вделала. Как первый раз в темном зале клуба явилась та маска, парод едва рамы на себе не вынес. Страх, как блуд, и пугает, и манит. В Чуши с той поры балуются маской малы и велики.

С Глашки-то Куклиной все и начинается.

В сорок втором году на чушанскую лесопилку пригнали трудармейцев — резать доски на снарядные ящики. Команду возглавлял тонкий да звонкий лейтенантик, из госпиталя. С орденом, раненый боевой командир появился в Чуши первый и скромностью никого удивлять не собирался, девок, млеющих перед его красотой и боевыми заслугами, он щелкал, как орехи. Само собой, орлиным своим взором лейтенант не мог обойти видную деваху Глашку Куклину. Где-то в узком месте подзажал он ее, и потекли по Чуши склизкие слухи.

Игнатьич, тогда еще просто Зинка, Зиновий, или Зиновей, как звал его дедушка, за жабры присуху-Глашку, и к ответу. На грудь ему Глашка пала: «Сама себя не помнила... Роковая ошибка...» — «Ошибка, значит? Роковая! Хор-рошо-о! Но за ошибку ответ держат! За роковую — двойной!» Виду, однако, кавалер никакого не показал, погуливал, разговорчики с дролей разговаривал, когда и пощупает, но в пределах необходимой вежливости.

Ближе к весне боевого командира из тыла отозвали. Вздохнули мамы с облегчением, улеглись страсти и слухи в поселке. Глашка оживляться начала, а то как не в себе пребывала.

В разлив, в половодье, когда ночи сделались совсем коротки и по-весеннему шатки, птицы пели за околицей и по лугам считай что круглосуточно, молодой кавалер увел Глашку за поскотину, к тонко залитой вешнею водой пойме, прижал девку к вербе, оглоданной козами, зацеловал ее, затискал, рукою полез, куда велели мужики, науськавшие парня во что бы то ни стало расквितаться с «изменщицей». «Что ты, что ты! Нельзя!» —

взмолилась Глашка. «Лейтенанту можно?! А я тоже допризывник. Старшим лейтенантом, глядишь, стану!»

Как он Глашке про лейтенанта брякнул, она и руки уронила.

Поначалу-то он забыл и про месть, и про лейтенанта, поначалу он и сам себя худо помнил. Это уж потом, когда пых прошел, когда туман с глаз опал, снова в памяти высветлился лейтенант, чернявый, в сгармошенных сапогах, орден и значок на груди его сверкают, нашивка за фронтовую рану огнем горит! Это как стерпеть! Как вынести ревнивому сердцу? Трусовато оглядываясь, кавалер сделал то, чему учили старшие дружки: поставил покорную девку над обрывистым берегом, отвернул лицом к пойме, спустил с нее байковые штанишки, крашенные домодельной краской, с разномастными, колотыми вальком, пуговицами, эти пуговицы и запомнились сильнее всего, потому что бедный девичий убор приостановил было пакостные намерения. Но уже хотелось изображать из себя ухаля, познавшего грех, — это придавало храбрости мокрогубому молодцу. Словом, поддал он хнычущей, трясущейся девчонке коленом в зад, и она полетела в воду. Пакостник с мозгой — место выбрал мелкое, чтоб не утонула часом ухажерка, послушал, посмотрел, как белопузой нельмой возится, шлепается на мелководье девчонка, путаясь в исполине, словно в неводе, завывая от холода, выкашливая из себя не воду, а душу, и трусовато посеял домой.

С той поры легла между двумя людьми глухая, враждебная тайна.

Отслужив в армии в городе Фрунзе, Зиновий привез с собой жену. Глаха тем временем тоже вышла замуж за инвалида войны, тихого приезжего мужика, который выучился на счетовода, пока валялся в госпитале. Жила Глаха с мужем скромно, растила троих ребят. Где-то в глубине души Игнатич понимал, что и замужество ее, и вежливое «здравствуйте, Зиновий Игнатьевич!», произнеся которое Глаха делала руки по швам и скорее пробегала — все это последствия того надругательства, которое он когда-то над нею произвел.

Бесследно никакое злодейство не проходит, и то, что он сделал с Глахой, чем, торжествуя, хвастался, когда был молокососом, постепенно перешло в стыд, в муку. Он надеялся, что на людях, в чужом краю все быльем порастет, но, когда оказался в

армии, так затосковал по родным местам, такой щемящей болью отозвалось в нем прошлое, что он сломался и написал покаянное письмо Глахе.

Ответа на письмо не пришло.

В первый же по приезде вечер он скараулил Глаху у совхозного скотного двора — она работала там дояркой, сказал все слова, какие придумал, приготовил, прося прощения. «Пусть вас Бог простит, Зиновий Игнатьевич, а у меня на это сил нету, силы мои в соленый порошок смололись, со слезьми высочились. — Глаха помолчала, налаживая дыхание, устанавливая голос, и стиснутым горлом завершила разговор: — Во мне не только что душа, во мне и кости навроде как пусты...»

Ни на одну женщину он не поднял руку, ни одной никогда больше не сделал хоть малой пакости, не уезжал из Чуши, неосознанно надеясь смирением, услужливостью, безблудьем избыть вину, отмолить прощение. Но не зря сказывается: женщина — тварь Божья, за нее и суд, и кара особые. До него же, до Бога, без молитвы не дойдешь. Вот и прими заслуженную кару, и коли ты хотел когда-то доказать, что есть мужик — им останься! Не раскисай, не хлюпай носом, молитвов своедельных не сочиняй, притворством себя и людей не обманывай. Прощенья, пощады ждешь? От кого? Природа, она, брат, тоже женского рода! Значит, всякому свое, а Богу — Богово! Освободи от себя и от вечной вины женщину, прими перед этим все муки сполна, за себя и за тех, кто сей момент под этим небом, на этой земле мучает женщину, учиняет над нею пакости.

— Прос-сти-итеее... се-еэээ... — не владея ртом, но все же надеясь, что хоть кто-нибудь да услышит его, прерывисто, изорванно засипел он. — Гла-а-аша-а-а, прости-и-и. — И попробовал разжать пальцы, но руки свело, сцепило судорогой, на глаза от усилия наплыла красная пелена, гуще зазвенело не только в голове, вроде бы и во всем теле. «Не все еще, стало быть, муки я принял», — отрешенно подумал Игнатьич и обвис на руках, надеясь, что настанет пора, когда пальцы сами собой отомрут и разожмутся...

Сомкнулась над человеком ночь. Движение воды и неба, холод и мгла — все слилось воедино, остановилось и начало камнеть. Ни о чем он больше не думал. Все сожаления, раскаяния, боль, муки отдалились куда-то, он утишался в себе самом, пере-

ходил в иной мир, сонный, мягкий, покойный, и только тот, что так давно обретался там, в левой половине его груди, под сосцом, не соглашался с успокоением — он никогда его не знал, сторожился сам и сторожил хозяина, не выключая в нем слух. Густой, комариный звон прорезало напористым, уверенным звуком из тьмы — под сосцом в еще не остывшем теле ткнуло, вспыхнуло, человек напрягся, открыл глаза — по реке звучал мотор «Вихрь». Даже на погибельном краю, уже отстраненный от мира, он по голосу определил марку мотора и честолюбиво обрадовался прежде всего этому знанию, хотел крикнуть брата, но жизнь завладела им, пробуждала мысль. Первым ее током он приказал себе ждать — пустая трата сил, а их осталась кроха, орать сейчас. Вот заглушат моторы, повиснут рыбаки на концах, тогда зови-надрывайся.

Волна от пролетевшей лодки качнула посудину, ударила о железо рыбы, и она, отдохнувшая, скопившая силы, неожиданно вздыбила себя, почуяв волну, которая откачала ее когда-то из черной, мягкой икринки, баюкала в дни сытого покоя, весело гоняла в тени речных глубин, сладко мучая в брачные времена, в таинственный час икромета.

Удар. Рывок. Рыба перевернулась на живот, нащупала вздыбленным гребнем струю, взбурлила хвостом, толкнулась об воду и отодрала бы она человека от лодки, с ногтями, с кожей отодрала бы, да лопнуло сразу несколько крючков. Еще и еще была рыба хвостом, пока не снялась с самолота, изорвав свое тело в клочья, унося в нем десятки смертельных уд. Яростная, тяжело раненная, но не укрощенная, она грохнулась где-то уже в невидимости, плеснулась в холодном завете, буйство охватило освободившуюся, волшебную царь-рыбу.

«Иди, рыба, иди! Поживи сколько можешь! Я про тебя никому не скажу!» — молвил ловец, и ему сделалось легче. Телу — оттого, что рыба не тянула вниз, не висела на нем сутунком, душе — от какого-то, еще не постигнутого умом, освобождения.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ (Отрывок)

Глава вторая

Однажды, это уж после возвращения из Хайловска, Сошнин дежурил с нарядом милиции за железнодорожным мостом, где шло массовое гулянье по случаю Дня железнодорожника. Скошенные загородные луга, пожелтевшие ивняки, нобагровелые черемухи да кустарники, уютно опушившие старицу Вейки, во дни гуляний, или, как их тут именовали — «питпиков» (надо понимать — пикников), загаживали, прибрежные кустарники, ближние деревья сжигали в кострах. Иногда, от возбуждения мысли, подпаливали стога сена и радовались большому пламени, разбрасывали банки, тряпки, набивали стекла, сорили бумагой, обертками фольги, полиэтилена — привычные картины культурно-массового разгула на «лоне природы».

Дежурство выдалось не очень хлопотное. Против других веселящихся отрядов, скажем, металлургов или шахтеров, железнодорожники, издавна знающие высокую себе цену, вели себя степенней, гуляли семейно, если кто задибался из захожих, помогали его утомонить и спрятать от милиции, чтоб не увезли в вытрезвитель.

Глядь-поглядь, от ближнего озера, из кустов идет женщина в драном ситцевом платье, косынку за угол по отаве тащит, волосья у нее сбиты, растрепаны, чулки упали на щиколотки, парусиновые туфли в грязи, да и сама женщина, чем-то очень и очень знакомая, вся в зеленовато-грязной тине.

— Тетя Граня! — бросился навстречу женщине Леонид. — Тетя Граня? Что с тобой?

Тетя Граня рухнула наземь, обхватила Леонида за сапоги:

— Ой, страм! Ой, страм! Ой, страм-то какой!..

— Да что такое? Что? — уже догадываясь, в чем дело, но не желая этому верить, тряс тетю Граню Сошнин.

Тетя Граня села на отаву, огляделась, подобрала платье на груди, потянула чулок на колено и, глядя в сторону, уже без рева, с давним согласием на страдание, тускло произнесла:

— Да вот... насильовали за что-то...

— Кто? Где? — оторопело, шепотом — сломался, куда-то делся голос, — переспрашивал Сошнин. — Кто? Где? — И закачался,

застонал, сорвался, побежал к кустам, на бегу расстегивая кобур-
ру. — Пере-стр-р-реля-а-а-аю-у-у!

Напарник по патрулю догнал Леонида, с трудом выдрал из его руки пистолет, который он никак не мог взвести срывающимися пальцами.

— Ты что? Ты что-о-о?!

Четверо молодцов спали накрест в размиchanной грязи заросшей старицы, среди ломаных и растоптанных кустов смородины, на которых чернели недоосыпавшиеся в затени спелые ягоды, так похожие на глаза тети Грани. Втоптаный в грязь, синел каемкой носовой платок тети Грани — она и тетя Лина еще с деревенской юности обвязывали платочки крючком, всегда одинаковой синенькой каемочкой.

Четверо молодцов не могли потом вспомнить, где были, с кем пили, что делали? Все четверо плакали в голос на следствии, просили их простить, все четверо рыдали, когда судья железнодорожного района Бекетова — справедливая баба, особенно суровая к насильникам и грабителям, потому как под оккупацией в Белоруссии еще дитем насмотрелась и натерпелась от разгула иноземных насильников и грабителей, — ввалила троим сладострастникам по восемь лет строгого режима, четвертый все свалил на собутыльников и сумел ускользнуть от возмездия.

После суда тетя Граня куда-то запропала, видно, и на улицу-то стыдилась выходить.

Леонид отыскал ее в больнице.

Живет в сторожке. Беленько тут, уютно, как в той незабвенной стрелочной будке. Посуда, чайничек, занавески, цветок «ванька мокрый» алел на окне, геранька догорала. Не пригласила тетя Граня пройти Леонида к столу, точнее, к большой тумбочке, сидела, поджав губы, глядя в пол, бледная, осунувшаяся, ладошки меж колен.

— Неладно мы с тобой, Леонид, сделали, — наконец подняла она свои, не к месту и не к разу так ярко светящиеся глаза, и он подобрался, замер в себе — полным именем она называла его только в минуты строгого и непрощающего отчуждения, а так-то он всю жизнь для нее — Лень.

— Чего неладно?

— Молодые жизни погубили... Такие срока им не выдержать. Выдержат — уж седыми мушшьями сделаются... А у них, у дво-

их-то, Генки и у Васьки, — дети... Один-от у Генки уж после суда родился...

— Те-о-отя Граня! Те-о-о-отя Граня! Они надругались над тобой... Над-ру-га-лись! Над седиными над твоими...

— Ну дак че теперь? Убыло меня? Ну, поревела бы... Обидно, конечно. Да разве мне привыкать? Чича, бывало, свалит в кочегарке... Ты извини, что про такое говорю. Ты уж большой. Милиционером служишь, всякого сраму по норки нахлебался и нанюхался небось... Чиче не дашься — физкультуру делает. Схватит лопату и ну меня вокруг кочегарки гонять... Эти поганцы... обмуслякали, в грязи изваляли... отстиралась бы...

И стали они избегать, бояться друг друга. Но как избежишь-то насовсем в таком городке, как Вейск? Здесь жизнь идет по кругу, по тесному. Задолго еще до того, как увидеть друг друга, они чувствовали неизбежность встречи. Внутри Леонида не то чтобы все обрывалось, в нем все скатывалось в одну кучу, в одно место, останавливалось под грудью, в тесном разложье, он еще задаль расплывался в улыбке и, чувствуя ее неуместность и нелепость, не в силах был совладать со своим ртом, убрать улыбку с лица, сомкнуть губы — она была и защитной маской, и оправдательным документом, приклеенным к лицу, словно инвентарная печать, приляпанная ляписом на задку казенных подштанников. Поймав его взгляд, тетя Граня опускала глаза и бочком, бочком проскальзывала мимо, в сером старом железно-дорожном берете, с невылинявшей отметкой ключа и молота, в старой железнодорожной шинели, в стоптанных башмаках. Все это, догадывался Леонид, тете Гране отдавали донашивать подружки и товарки, которые из больницы отправлялись туда, где не нужна форменная одежда — туда еще не проложены рельсы.

— Доброе утро! — хоть утром, хоть днем, хоть вечером роняла тетя Граня на ходу.

Сошнин чувствовал, что если б не природная деликатность, тетя Граня не поздоровалась бы с ним вовсе. И всякий раз, пришибленный, как гвоздь, по шляпку вбитый в тротуар, с резиновой улыбкой на лице, он хотел и не мог побежать следом за тетей Граней и кричать, кричать на весь народ: «Тетя Граня! Прости меня! Прости нас!..»

«Доброе утречко! Здравеньки булы!» — вместо этого выдавал он шутливо, работая под Тарапуньку со Штепселем, ненави-

дя себя в те минуты и украинских неунывающих юмористов, всех эстрадных словоблудцев, весь юмор, всю сатиру, литературу, службу, свет белый и все на этом свете...

Он понимал, что среди прочих непостижимых вещей и явлений ему предстоит постигнуть малодоступную, до конца никем еще не понятую и никем не объясненную штуковину, так называемый русский характер, приближенно к литературе и возвышенно говоря, русскую душу... И начинать придется с самых близких людей, от которых он почему-то так незаметно отдалился, все потерял: тетю Лину и тетю Граню, собственную жену с дочерью, друзей по училищу, приятелей по школе... И надо будет прежде всего себе доказать и выявить на белой бумаге, а на ней все видно, как в прозрачной ключевой воде, обнажиться до кожи, до неуклюжих мослаков, до тайных, неприглядных мест, доскребаясь умишком до подсознания, которое, догадываться начал Сошнин, и движет творчеством, оно и есть его главный секрет. Как это трудно! И сколько мужества и силы надо, чтобы «мыслить и страдать», все время, всю жизнь, без перекура и отпуска, до последнего вздоха. Может быть, объяснит он в конце концов хотя бы самому себе: отчего русские люди извечно жалостливы к арестантам и зачастую равнодушны к себе, к соседу — инвалиду войны и труда? Готовы последний кусок отдать осужденному, ко столу и кровопускателю, отобрать у милиции злого, только что бушевавшего хулигана, коему заломили руки, и ненавидеть сокавартиранта за то, он забывает выключить свет в туалете, дойти в битве за свет до той степени неприязни, что могут не подать воды больному, не торкнуться в его комнату...

Вольно, куражливо, удобно живется преступнику среди такого добросердечного народа, и давно ему так в России живется.

Добрый молодец, двадцати двух лет от роду, откушав в молодежном кафе горячительного, пошел гулять по улице и заколот мимоходом трех человек. Сошнин патрулировал в тот день по Центральному району, попал на горячий след убийцы, погнался следом на дежурной машине, торопя шофера. Но молодец-мясник ни убегать, ни прятаться и не собирался — стоит себе у кинотеатра «Октябрь» и лижет мороженое — охлаждается после горячей работы. В спортивной курточке канареечного или, скорее, попугайного цвета, красные полосы на груди. «Кровь! — дога-

дался Сошнин. — Руки вытер о куртку, нож под замочек на груди спрятал». Граждане шарахались, обходили измазавшего себя человеческой кровью «артиста». Он с презрительной усмешкой на устах долижет мороженое, культурно отдохнет — стаканчик уже в наклон, деревянной лопаточкой заскребает сласть — и по выбору или без выбора — как душа велит — зарежет еще кого-нибудь.

Спиной к улице на пестром железном перильце сидели два кореша и тоже питались мороженым. Сладкоежки о чем-то перевозбужденно переговаривались, хохотали, задирали прохожих, вязались к девчонкам, и по тому, как дрыгались куртки на спинах, катались бомбошки на спортивных шапочках, угадывалось, как они беспечно настроены. Мяснику уже все нипочем, брать его надо сразу намертво, ударить так, чтоб, падая, он ушибся затылком о стену: если начнешь крутить среди толпы — он или дружки его всадят нож в спину. На ходу выскочив из машины, Сошнин перепрыгнул через перила, оглушил о стену «кенаря», шофер за воротники опрокинул двух весельчаков с перилец, придавил к сточной канаве. Тут и помощь подоспела — поволокла милиция бандитов куда надо. Граждане в ропот, сгрудились, сбились в кучу, милицию в кольцо взяли, кроют почем зря, не давая обижать «бедных мальчиков». «Что делают! Что делают, гады, а?! — трясся в просторном пиджаке выветренный до костей человек, в бессилиии стуча инвалидной тростью по тротуару. — Н-ну, легавые! Н-ну, милиция! Эко она нас бережет!..» «Е-это середь бела дня, середь народа! А попади к им туда-а...» «Такой мальчик! Кудрявый мальчик! А он его, зверюга, головой об стену...»

Сошнин «тер к носу», но потрясенный шофер, недавно работающий в милиции, не выдержал: «Попались бы вы этому кудрявому мальчику! Он бы вам запросто укоротил и языки, и жизнь...»

В отделении как раз красил стены давно уже вышедший на заслуженный отдых, но от нужды прирабатывающий к пенсии бывший командир отделения морских пехотинцев, переколовший ножом фашистов больше, чем его дед, поморский рыбак, острогою рыбы.

«За что ты убил людей, змееныш?» — усталым голосом спросил он «кенаря».

«А хари не понравились!» — беспечно улыбнулся тот ему в ответ.

Старый вояка не выдержал, схватил убийцу за горло, свалил на пол. Едва отобрали добра молодца, который вопил на целый квартал: «Бо-о-ольно! Не имеешь право! О-о-ой, отпусти! Отпусти-ы-ы!» — и потом невинно лупил глаза на следователя: «Неужели меня расстреляют? Неужели вышка?! Я ж не хотел...»

Глава третья

«Но все-все! На сегодня хватит!» — отмахнулся Сошнин от навязчивых и всегда в худую погоду длинных и мрачных воспоминаний. В предчувствии избяного тепла он поежился, передернул плечами, словно бы стряхивая мокро и прах от дум своих, погладил себя по лицу рукой и прибавил шаг. У него хотя и было в квартире паровое отопление, но плита тоже осталась от доисторических времен. Хорошее, доброе сооружение — плита. Он ее подтапливал дровишками, которые ему по старой дружбе осенью сваливал с телеги у дровяника Лавря-казак. «Сейчас растопим печку, супчику спроворим, чайку покрепче заварим — Бог с ней, с житухой этой неловкой, с погодой гадкой, с проклятой болью в плече. Жизнь, она все-таки, в общем-то, ничего. В ней то клюет, то не клюет...» Сошнин улыбнулся, вновь увидев наяву дядю Пашу с метлой во дворе, с достоинством топающую домой лошадку Лаври-казака, даже мотивчик засвистел из фильма «Следствие ведут знатоки» и промурлыкал выразительнейший текст популярной не только среди милиции, но и среди гражданского населения песни: «Если что-то, где-то, почему-то, у кого-то...» — чем, видимо, и раздражил компанию из трех человек, расположившихся в их доме, под лестницей, пить вино, поставив бутылку на отопительную батарею. «И что они все троицами-то? Чем объяснить активность этого числа?»

Из новых жилищ, со станции — в укромный уголок, под прелую лестницу старого доброго дома номер семь, зачастили любители побеседовать. Свинячили под лестницей, блевали, дрались, иные и спали здесь, прижавшись к ржавой батарее, сочащейся тихим паром, отчего подгнил и подоконник, и пол под батареей. Одного из троих Сошнин вспомнил — бывший игрок футбольной команды «Локомотив», сперва местной, потом

столичной. Когда столичный «Локомотив», потерпев крушение, ахнулся в первую лигу, земляк явился доигрывать спортивную карьеру в родном городе. Соседи, в первую голову бабка Тутышиха, ныли: «Леш, наведи ты порядок под лестницей. Разгони кириюшников. Житья нету!»

Но ему поднадоело на службе возиться со всякой швалью, устал он от нее, да и психовать, нарываться на нож или на драку не хотелось — донарывался. Однако все равно придется разгонять пьянчуг — народ требует. «Но на сегодня мне хватит впечатлений», — решил Леонид, да и вспомнились к месту слова знакомого тюремного парикмахера: «Усю шпану не переброешь». И когда, приподняв изуродованную ногу, опираясь на перила свободной рукой, с детства натренированно взлетел он сразу на пол-лестницы и услышал из-под лестницы: «Эй, ты, соловей! Хиль Эдуард! Кто здороваться будет?» — «Ничего не вижу, ничего не слышу», — продекламировал себе и, приволакивая ногу, двинулся дальше, выше, в жилье, в свой спасительный угол. Но едва сделал шаг или два, как услышал за собой погоню — старые ступени родного дома он различал по голосам, как пианист-виртуоз свой редкостный рояль.

Ступени звучали напористо и расстроено — услышал он ушами, почувствовал спиной, а спина у настоящего милиционера должна быть, что у детдомовца, — очень чуткая и с «глазами».

Его обогнал и заступил дорогу домой парень с роскошной смоляной шевелюрой, в распахнутом полушубке с гуцульским орнаментом по подолу, бортам и обшлагам.

— Тебя спрашиваю, физкультурник: кто здороваться будет?

Кавалер в дубленке, с красными прожилками в вялых глазах — предосенняя ягода, от нехватки солнца плесневеющая в незрелом виде, — перекатывал во рту жвачку, локтем навалившись на перила. Лестница в доме номер семь рассчитана не на крестный ход, на малый и нежирный народ она рассчитана. Когда хоронили тетю Лину — поднимали гроб над изрезанными складниками перильцами так высоко, что покойница едва не чертила остреньким носом по прогнувшейся вагонке потолочного перекрытия. Леонид поморщился от боли в ноге, от душу рвущего видения, так некстати его настигающего.

— Здравствуйте, здравствуйте, орлы боевые! — согласно и даже чуть заискивающе произнес Сошнин, по практике ведая, что

таким-то вот тоном как раз и не надо было разговаривать с воинственно настроенными гостями. Но так устала и ныла нога, так хотелось домой, остаться одному, поесть, полежать, подумать, может, плечо отпустит, может, душа перестанет скулить...

— Какие мы тебе орлы? — суровым взглядом уперся в него и выплюнул жвачку под лестницу парень. — Ты почему грубишь? — Он распахнул модную дубленку, сделался шире, разъемистой.

«Интересно, где он отхватил такой шабур? Вроде бы женский? Дорогой небось?» — не давая себе завестись, отвлекался Сошнин.

— А ну, сейчас же извинись, скотина! — выступил из-под лестницы футболист. — Совсем разбаловался! Людей не замечаешь!

За футболистом с блуждающей улыбкой стоял мужик не мужик, подросток не подросток, по лицу — старик, по фигурке — подросток. Матерью не доношенный, жизнью, детсадом и школой недоразвитый, но уже порочный, в голубом шарфике, и сам весь голубенький, бескровный, внешне совсем непохожий на только что вспомнившегося «кенаря» и все же чем-то неуловимо напоминающий того убийцу, — рыбьим ли прикусом губ, ощущением ли бездумной и оттого особенно страшной, мстительной власти. Он — по синюшному лицу и по синюшной стриженной голове, — определил Сошнин, только что с «режима». Давно не вольничал, давно не пил недоносочек, захмелел раньше и больше напарников. Барачного производства малый, плохо в детстве кормленный, слабосильный, но, судя по судачьему прикусу сморщенного широкого рта, до потери сознания психопаточный. За пазухой у него нож. Не переставая плыть в бескровной, рыбьей улыбке, он непроизвольно сунул одну руку в карман куртки, другой нервно, в предчувствии крови, теребил шарф. Самый это опасный тип среди трех вольных гуляк.

«Спокойно! — сказал себе Сошнин. — Спокойно! Дело пахнет кероси-и-ином...»

— Ну что ж, извините, парни, если чем-то вас прогневил.

— Что это за «ну что ж»? — Кавалер с бакенбардами, в гуцульском бабьем полушубке напоминал Сошнину обильным волосом, барственной усмешечкой избалованного харчем, публикой, танцорками певца из современного варьете. Умственно и сексуально переразвитые девки бацали в том «варьете» в последней стадии

одеяния — в колготках, да и это связывало их творческие возможности, и, не будь суровых наших нравственных установок, они и это все поскидывали бы и еще выше задирали бы лосиные, длинные ноги, изображая патриотический танец под названием: «Наш подарок БАМу». Певец же «мужественным» басом расслабленно завывал в лад их телодвижениям: «Ты-ы, м-мая мэл-ло-о-одия-а-а-а...»

С ног до головы излаженный под боготворимого среди недоумков солиста, кавалер на лестнице хотел острых ощущений, остальное все у него было для удовольствия жизни. За шикарной прической — оскорбительный плагиат с гусара-героя и поэта Давыдова; в модном полушубке с грязными орнаментами, в как бы понарошке мятых вельветовых штанах с вызывающе светящейся оловянной пуговицей почти на пупе, в засаленном мохеровом шарфике, в грязновато-алой водолазке, оттеняющей шею, покрытую как бы выветренной берестой — во всем, во всем уже была не то чтобы слишком ранняя, как говорил поэт, усталость, непромытость была, затасканность. «Вот с запушшения лица все и начинается», — вспомнился начальник Хайловского РОВД, Алексей Демидович Ахлюстин, добрейшей души человек, неизвестно, когда, как и почему попавший на работу в милицию.

— Извиняйся как следует: четко, отрывисто, внятно!

«Испортить эту экзотическую харю, что ли? — подумал Сошнин. — В сетке бутылка с молоком, банка с компотом... Око за око, зуб за зуб, подлость на подлость, да? Да! Да! Однако далеко мы так зайдем... И молоко жалко на этакую погань тратить. И цыпушку жалко, она, бедная, и так воли не видела, не оформилось ее молодое инкубаторское тело до плотской жизни — и этакой-то невинной птичкой да по такой развратной роже!..»

Сошнину удалось отвлечься, он унял в себе занимающуюся дрожь, стоял вполоборота, чтоб парня видеть, если бросится, и тех, внизу, из поля зрения не выпускать, ждал, что будет дальше. Более других его занимал футболист: во-первых, ему за тридцать, пора, как говорится, и мужчиною стать; во-вторых, он должен знать Сошнипа. Но футболист и отроду-то малю памятлив, по случаю возвращения в родную команду запил и родимой матушки, видать, не узнавал, может, видел Сошнина в форме — милицмейская же форма шибокко меняет человека и отношение к нему.

Лишь краткое замешательство потревожило налитый злобой взгляд футболиста, так и не простившего человечества за то, что «Локомотив» вышибли в «перволижники», на окраину Москвы, в Черкизово, где, несмотря на уютный стадиончик, бывает болельщиков от одной тысячи и до двухсот душ, прячущихся с выпивкой на просторных трибунах, отсюда тебе и навар, и наградные, и слава, и почет. Да еще это неблагодарное в футболе ремесло — «защитник»! Из лексикона лагерных языкотворцев ему скорее подходило: стопор-стопорило, кайло-рубило, секач, колун, обух, но лучше всего — пехальщик, который не пускал к воротам честных, смелых ребят — нападающих, бил их бутсой в кость, стягивал с них трусы и майку, валил наземь, получая лютное удовольствие от вопля поверженного «противника».

— Да-да! — поторопился футболист-пехальщик, косым, грузным взглядом давя «противника». — Не лезь в офсайд! Не то получишь гол в рыло!

— Может, его на этом модном галстуке повесить? — посоветовался с собутыльниками «кавалер» и, зацепив пальцем, безразлично выбросил галстук Сошнина наружу, меж съезженных бортов поношенного форменного плаща. На фоне дряхлой лестницы, в посерелой, исцарапанной известке стен дома с обнажившимися лучинками и гвоздями, и галстук, и обладатель его выглядели нелепо, так смотрелся бы здесь, в трудовом этом жилище, золотой канделябр из роскошного Петродворца.

— А может, не надо, парни? — запихивая лаковый галстук обратно под плащ пальцами, начавшими дрожать, произнес Сошнин все еще сдержанным, даже чуть просящим голосом.

— Чего не надо?

— Куражиться. — Сошнин увидел, как, отметая лохмами обивки сор, пыль и окурки, приоткрылась справа по спуску лестницы дверь, в нее высунулся круглый нос и засветился круглый глаз бабки Тутышихи. Сошнин вытаращил глаза, и бабка поспешно прикрыла дверь.

— Чего ты сказал? Чего ты сказал? — Футболист-пехальщик, распаляясь от праведного гнева, двинулся вверх по лестнице. — Пеночник! Офсайдник! Я те...

Недавний зэк все плыл в улыбке, но уже расторможенной, с поводка спущенной, сожалеюще качая головой: «Сам виноват. Чего

тебе стоило попросить прощения?» Одной рукой он перебирал по барьеру, тащась за футболистом, почти его заслонившим, другой ловил язычок у нагрудного замочка, чтоб вынуть ножик.

«Откуда это в них? Откуда? Ведь все трое вроде из нашего поселка? Из трудовых семей. Все трое ходили в садик и пели: «С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки...» В школе: «Счастье — это радостный полет! Счастье — это дружеский привет... Счастье...» В вузе или в ПТУ: «Друг всегда уступить готов место в шлюпке и круг...» Втроем на одного, в общем-то, в добром, в древнем, никогда не знавшем войн и набегов русском городе...»

— Стойте, парни! — властно скомандовал Сошнин.

Бабка Тутышиха опять высунулась в дверь, и он снова вытащился на нее. Чуткий к опасностям урка мгновенно обернулся, но ничего пугающего не заметил — бабка успела притворить дверь. Тем временем Леонид повесил сетку на выступ бруса и стал спиной к нему так, чтоб видно было нападающих и внизу, и вверх.

— Ах вы, добры молодцы! Трое на одного! Да еще на хромого! Былинные храбрецы! Илья Муромец, Микула Селянинович да Алеша Попович... По-былинному и силу расходовали бы.

— Как это?

— На работе.

— На какой?

— Тротуары чистили бы, землю копали...

— Издеваешься, гад! — взревел модник и бросился сверху на жертву лохматым зверем. Сошнин чуть прогнулся и перебросил парня через себя с таким расчетом, чтобы он смел с лестницы собутельников, но тот уронил лишь рахитного от рождения урку. Футболист устоял на ногах, однако был ошеломлен. Не давая гулякам опомниться, Леонид прыжком миновал футболиста, двумя ударами свалил модника на грязный пол, отбросил урку к батарее, уже не владея собой: микстуры, уколы, антибиотики, разные всякие идиотики, изматывающие дежурства, погони, схватки, ночное литтворчество сказались, рапы сказались, чужая, в него влитая кровь сказала, Сыровасова эта...

Задавленно хрипя, он вогнал кулаками футболиста под лестницу, размазывал его по стене.

— Вступайтесь за друга, подонки! Вступайтесь за друга!

— Какой он нам друг! Какой друг! — прячась за спину урки, твердил кавалер и, что-то вспомнив, толкнул урку в спину, побараньи заблажив: — Геха, режь! Насмерть режь!

Геха послушно сунул руку за пазуху, но вынуть нож ему Сошнин не дал: коротким ударом в сплетение вышиб из него дых и, когда урка, охнув, согнулся, поддел его встречным, отправив к заплеванному, мутному окну. Урка ударился о батарею, запищал что-то, как крашенный праздничный шарик, из которого пошел воздух, и, как шарик же, смялся, усох, свернулся комочком на полу.

Футболист не оказывал никакого сопротивления. Бить его было неинтересно, но Сошнин так освирепел, что остановиться уже не мог и то ли притворившегося, то ли в самом деле вырубившегося футболиста кинул к батарее, в кучу с уркой, а сам шарил глазами, что-то рыча. Модник ослаб, раскинув руки и вылупив глаза, сидел на полу, вжимался в угол, в дерево, в пазы, забитые грязной, остистой паклей.

— Не буду... не буду... Дяденька! Дя-а-аденька! — визжал кавалер, закрываясь рукавом лопнувшего под мышкой полушубка. Обнажилась сиреневого цвета овчина, от носки или для моды этак крашенная, и овчинка эта, словно бы снятая с игрушечного медвежонка, внезапно заставила Сошнина опомниться. Он продохнул раз, потом еще раз, с удивлением поглядел на распустившего кровавые слюни молодца, вынул его из угла, будто мышонка из мышеловки, за воротник полушубка, подтащил к выходу и пинком вышиб на улицу с деревянного, бороздкой протоптанного крылечка.

— Появись еще раз, поганка!

Долго потом стоял Леонид возле лестницы, не зная, куда себя девать, что делать. Бабка Тутышиха снова приоткрыла дверь:

— Давно бы так! А то ходют...

— Тебя тут только и не хватало!

Провал, затмение — все же болен он еще и слаб. Нервами. Смятение в душе, неустройство, и срамцы эти еще на рожон лезут...

Вспомнив про сетку, Леонид вышел на лестницу. Сетка висела на месте. Перегнувшись, заглянул вниз. Под батареей темнела лужа воды, может, и крови, блестело что-то, догадался — нож. Спустился, подобрал тупой, под кинжал излаженный тесак, ко-

торым бабушка или кто еще из старших родичей урки щепали лучину, рубили проволоку — настоящий фонарь урка не успел еще выточить или тайком купить.

Возвратившись в квартиру, нашел заделье — позвонил в железнодорожное отделение милиции. Дежурил Федя Лебеда, сокурсник по спецшколе и напарник по работе, бывшей работе.

— Федя, я тут дрался. Одному герою башку об батарею расколол. Если че, не искали чтоб. Злодей — я.

— Ты с ума сошел?!

— Их надо было побить, Федя.

— Надо... надо... Как не надо? Да за них, за поганцев, затаскают.

Сошнин повесил трубку. Посмотрел на руки. Руки все еще дрожали. Козонки сбиты. Стал мыть руки под краном и ровно бы задремал над раковиной. Чувство усталой, безысходной тоски навалилось на него — с ним всегда так, с детства: при обиде, несправедливости; после вспышки ярости, душевного потрясения не боль, не возмущение, а пронзительная, все подавляющая тоска овладевала им. Все же по природе своей он мямля, да еще бабами воспитанный. Ему бы не в милиции трудиться, а, как матери и тетке, в конторе сидеть, квитанции подшивать и накладные выписывать, если уж в милиции, то на месте дяди Паши — территорию мести.

А кто рожден для милиции, для воинского дела? Не будь зла в миру и людей, его производящих, ни те, ни другие не понадобились бы. Веки вечные вся милиция, полиция, таможенники и прочая, прочая существуют человеческим недоразумением. По здравому разуму уже давно на земле не должно быть ни оружия, ни военных людей, ни насилия. Наличие их уже лишено всякого здравого смысла. А между тем чудовищное оружие достигло катастрофического количества, и военная людь во всем мире не убывает, а прибывает, но ведь предназначение тех, что надели военный мундир, было, как и у всех людей, пахать, сеять, жать, созидать. Однако выродец ворует, убивает, мухлюет, и против зла поворачивается сила, которую доброй тоже не назовешь, потому как добрая сила — только созидаящая. Та, что не сеет и не жнет, но тоже хлебушек жует, да еще и с маслом, да еще и преступников кормит, охраняет, чтоб их не украли, да еще и книжечку пишет — давно потеряла право называться силой

созидательной, как и культура, ее обслуживающая. Сколько книг, фильмов, пьес о преступниках, о борьбе с преступностью, о гулящих бабах и мужиках, злых местах, тюрьмах, каторгах, дерзких побегах, ловких убийствах... Есть, правда, книга с пророческим названием: «Преступление и наказание». Преступление против мира и добра совершается давно, наказание уже не за горами, никакой милиции его не упредить, всем атомщикам руки не скрутить, в кутузку не пересадить, всех злодеев «не переборешь»! Их много, и они — сила, хорошо защищенная. Беззаконие и закон для некоторых мудрецов размыли дамбу, воссоединились и хлынули единой волной на ошеломленных людей, растерянно и обреченно ждущих своей участи.

<...>

1986

Вопросы и задания

1. Каким образом в повести В. Астафьева «Царь-рыба» переосмысливается известный тезис о человеке — «царе природы»? Что отличает описание поединка Игнатыча с царь-рыбой от традиционных «рыбацких» и «охотничьих» историй? Какой общей мыслью объединено астафьевское «повествование в рассказах»?

2. Выделите отличительные черты астафьевского «жестокého реализма» в романе «Печальный детектив». Каких «болевы́х точек» русской жизни касается писатель? В чем суть «проклятых вопросов», которые решает для себя Леонид Сошнин?

3. С какими традициями русской классики связаны сюжет, проблематика и фигура главного героя астафьевского романа? В чем смысл названия и каковы особенности жанра «Печального детектива»? (См. статью учебника «Виктор Петрович Астафьев», раздел «Литературный процесс 50–80-х годов».)

Валентин Григорьевич РАСПУТИН
Р. 1937

ПРОЩАНИЕ С МАТЁРОЙ (Отрывки)

3

Кладбище лежало за деревней по дороге на мельницу, на сухом песчаном возвысье, среди берез и сосен, откуда далеко окрест просматривалась Ангара и ее берега.

Первой, сильно клонясь вперед и вытянув руки, будто что обирая, двигалась Дарья с сурово поджатыми губами, выдающими беззубый рот; за ней с трудом попевала Настасья: ее давила одышка, и Настасья, хватая воздух, часто кивала головой. Позади, держа мальчонку за руку, семенила Сима. Богодул, баламутя деревню, отстал, и старухи ворвались на кладбище одни.

Те, кого Богодул называл чертями, уже доканчивали свое дело, стаскивая спиленные тумбочки, оградки и кресты в кучу, чтобы сжечь их одним огнем. Здоровенный, как медведь, мужик в зеленой брезентовой куртке и таких же штанах, шагая по могилам, нес в охапке ветхие деревянные надгробия, когда Дарья, из последних сил вырвавшись вперед, ожгла его сбоку по руке подобранной палкой. Удар был слабым, но мужик от растерянности уронил на землю свою работу и опешил:

— Ты чего, ты чего, бабка?!

— А ну-ка марш отседова, нечистая сила! — задыхаясь от страха и ярости, закричала Дарья и снова замахнулась палкой. Мужик отскочил.

— Но-но, бабка. Ты это... ты руки не распускай. Я тебе их свяжу. Ты... вы... — Он полоснул большими ржавыми глазами по старухам. — Вы откуда здесь взялись? Из могилок, что ли?

— Марш — кому говорят! — приступом шла на мужика Дарья. Он пятился, ошеломленный ее страшным, на все готовым видом. — Чтоб счас же тебя тут не было, поганая твоя душа! Могилы зорить... — Дарья взвыла. — А ты их тут хоронил? Отец, мать у тебя тут лежат? Ребята лежат? Не было у тебя, у поганца, отца с матерью. Ты не человек. У какого человека духу хватит?! — Она взглянула на собранные, сброшенные как попало кресты и тумбочки и еще тошней того взвыла. — О-о-о! Разрази ты его,

Господь, на этом месте, не пожалей. Не пожалей! Не-ет, — кинулась она опять на мужика. — Ты отсель так не уйдешь. Ты ответишь. Ты перед всем миром ответишь.

— Да отцепись ты, бабка! — взревел мужик. — Ответишь. Мне приказали, я делаю. Нужны мне ваши покойники.

— Кто приказал? Кто приказал? — бочком подскочила к нему Сима, не выпуская Колькиной ручонки. Мальчишка, всхлипывая, тянул ее назад, подальше от громадного разъяренного дяди, и Сима, поддаваясь ему, отступая, продолжала выкрикивать: — Для вас святого места на земле не осталось! Ироды!

На шум из кустов вышел второй мужик — этот поменьше, помоложе и поаккуратней, но тоже оглоблей не свернешь и тоже в зеленой брезентовой спецовке — вышел с топором в руке и, остановившись, прищурился.

— Ты посмотри, — обрадовался ему медведь. — Наскочили, понимаешь. Палками машут.

— В чем дело, граждане затопляемые? — важно спросил второй мужик. — Мы санитарная бригада, ведем очистку территории. По распоряжению санэпидстанции.

Непонятное слово показалось Настасье издевательским.

— Какой ишо сам-аспид-стансыи? — сейчас же вздернулась она. — Над старухами измываться! Сам ты аспид! Обои вы аспиды ненасытные! Кары на вас нету. И ты меня топором не нужай. Не нужай, брось топор.

— Ну оказия! — Мужик воткнул топор в стоящую рядом сосну.

— И не шуренься. Ишь, прищуренил разбойничьи свои глаза. Ты на нас прямо гляди. Че натворили, аспиды?

— Че натворили?! Че натворили?! — подхватив, заголосила Дарья. Сиротливые, оголенные могилы, сведенные в одинаково немые холмики, на которые она смотрела в горячечной муке, пытаюсь осознать содеянное и все больше помрачаясь от него, вновь подхлестнули ее своим обезображенным видом. Не помня себя, Дарья бросилась опять с палкой на медведя, бывшего ближе, но он перехватил и выдернул палку. Дарья упала на колени. У нее не достало сил сразу подняться, но она слышала, как истошно кричала Сима и кричал мальчишка, как в ответ кричали что-то мужики, потом крик, подхваченный многими голосами, разросся, распахнулся; кто-то подхватил ее, помогая встать на ноги, и Дарья увидела, что из деревни прибежал народ. Тут были и Катери-

на, и Татьяна, и Лиза, и ребятишки, Вера, дед Егор, Тунгуска, Богодул, кто-то еще. Шум стоял несусветный. Мужиков окружили, они не успевали огрызаться. Богодул завладел топором, который был воткнут в сосну, и, тыча в грудь медведю острым суковатым батошкой, другой рукой, оттянутой назад, как на изготовку, покачивал топор. Дед Егор молча и тупо смотрел то на кресты и звезды, обломавшиеся с тумбочек, то на сотворивших все это мужиков. Вера Носарева, крепкая бесстрашная баба, разглядела на одной из тумбочек материнскую фотографию и с такой яростью кинулась на мужиков, что те, отскакивая и обороняясь от нее, не на шутку перепугались. Шум поднялся с еще большей силой.

— Че с имя разговаривать — порешить их за это тут же. Место самое подходящее.

— Чтоб знали, нехристи.

— Зачем место поганить? В Ангару их.

— И руки не отсохли. Откуль такие берутся?

— Как морковку дергали... Это ж подумать надо!

— Ослобонить от их землю. Она спасибо скажет.

— Кур-рвы!

Второй мужик, помоложе, по-петушину вскидывая голову и вертясь из стороны в сторону, старался перекричать народ:

— Мы-то что?! Мы-то что?! Вы поймите. Нам дали указание, привезли сюда. Мы не сами.

— Врет, — обрывали его. — Тайком приплыли.

— Дайте сказать, — добивался мужик. — Не тайком, с нами представитель приехал. Он нас привез. И Воронцов ваш здесь.

— Не может такого быть!

— Отведите нас в деревню — там разберемся. Они там.

— И правда, в деревню.

— Это вы зря: где напакостили, там ответ держать.

— Никуды от нас не денутся. Пошли.

И мужиков погнали в деревню. Они облегченно, обрадованно заторопились; старухи, не поспевая за ними, потребовали укоротить шаг. Богодул вприпрыжку, как стреноженный, не отпускал верзилу и продолжал тыкать его в спину своей палкой. Тот, оборачиваясь, рывкал — Богодул в ответ щерил в довольной ухмылке рот и показывал в руке топор. Вся эта шумная, злая и горячая процессия — ребятишки впереди и ребятишки позади, а в середине, зажав со всех сторон мужиков, растрепанные, возмущенные, скрюченные

в две и три погибели старики и старухи, семенящие и кричащие в едином запале, поднимающие с дороги всю пыль, — толпа эта при входе в деревню столкнулась с двоими, которые торопились ей навстречу: один — Воронцов, председатель сельсовета, а теперь поссовета в новом поселке, и второй — незнакомый, конторского вида мужчина в соломенной шляпе и с цыганистым лицом.

— Что такое? Что у вас происходит? — еще издали, на ходу потребовал Воронцов.

Старухи враз загалдели, размахивая руками, перебивая друг друга и показывая на мужиков, которые, осмелев, выбрались из окружения и протолкались к цыганистому.

— Мы, значит, делаем что надо, а они набросились, — взялся объяснять ему молодой.

— Как собаки, — подхватил верзила и завозил глазами, отыскивая в толпе Богодула. — Я тебе... пугало огородное...

Он не закончил, Воронцов перебил его и старух, которые на «собак» отозвались возмущенным гулом.

— Ти-ше! — с растяжкой скомандовал он. — Слушать будем или будем базарить? Будем понимать положение или что будем?... Они, — Воронцов кивнул на мужиков, — проводили санитарную уборку кладбища. Это положено делать везде. Понятно вам? Везде. Положено. Вот стоит товарищ Жук, он из отдела по зоне затопления. Он этим занимается и объяснит вам. Товарищ Жук — лицо официальное.

— А ежели он лицо, пушай ответит народу. Мы думали, оне врут, а он, вот он, лицо. Кто велел наше кладбище с землей ровнять? Там люди лежат — не звери. Как посмели над могилками галиться? Нам пушай ответит. Мертвые ишо сами спросят.

— Такие фокусы даром не проходят.

— Царица Небесная! До чего дожили! Хошь топись от позору.

— Слушать будем или что будем? — повторил Воронцов, взяв тон покруче.

Жук спокойно и как будто даже привычно ждал, когда утихнут. Вид у него был замотанный, усталый, черное цыганское лицо посерело. Видать, работенка эта доставалась непросто, если представить еще, что объясняться таким образом ему приходилось с местным населением не впервые. Но начал он неторопливо и уверенно, с какой-то даже снисходительностью в голосе:

— Товарищи! Тут с вашей стороны непонимание. Есть специальное постановление, — знал Жук силу таких слов, как «решение, постановление, установка», хоть и произнесенных ласково, — есть специальное постановление о санитарной очистке всего ложа водохранилища. А также кладбищ... Прежде чем пускать воду, следует навести в зоне затопления порядок, подготовить территорию...

Дед Егор не вытерпел:

— Ты не тяни kota за хвост. Ты скажи, кресты по какой такой надобности рубил?

— Я и отвечаю, — дернулся Жук и от обиды заговорил быстрее: — Вы знаете, на этом месте разольется море, пойдут большие пароходы, поедут люди... Туристы и интуристы поедут. А тут плавают ваши кресты. Их вымоет и понесет, они же под водой не будут, как положено, на могилах стоять. Приходится думать и об этом...

— А о нас вы подумали? — закричала Вера Носарева. — Мы живые люди, мы пока здесь живем. Вы заходя о туристах думаете, а я сейчас мамину фотокарточку на земле после этих твоих борцов подобрала. Это как? Где я теперь ее могилку стану искать, кто мне покажет? Пароходы поплывут... это когда твои пароходы поплывут, а мне как теперь здесь находиться? Я на ваших туристов... — Вера задохнулась. — Покуда я здесь живу, подо мной земля, и не нахальте на ней... Можно было эту очистку под конец сделать, чтоб нам не видать...

— Когда под конец? У нас семьдесят точек под переселение, и везде кладбища. Не знаете положения и не говорите. — Голос у Жука заметно потвердел. — Да восемь кладбищ полностью переносятся. Это и есть под конец. Дальше тянуть некуда. У меня тоже лишнего времени нет.

— Ты арапа не заправляй. — Знали в деревне: деда Егора расшевелить трудно, но расшевелится, только держись, ничем не остановишь. Это как раз и был тот момент, когда дед накалялся все больше и больше. — Откулева пришли, туды и ступайте, — отправлял он. — К кладбищу боле не касайтесь. А то я берданку возьму. Не погляжу, что ты лицо. Под лицом надобно уваженье к людям иметь, а не однуё шляпу. Ишь, заявился, работку нашли! За такую работку по ранешним бы временам...

— Да они что?! — Жук, побледнев, обернулся за помощью к Воронцову. — Они, кажется, не понимают... Не желают понимать. Они что, не в курсе, что у нас происходит?

— Кур-рва! — высунулся Богодул.

Воронцов выгнул колесом грудь и закричал:

— Чего вы тут расшумелись? Чего расшумелись? Это вам не базар!

— А ты, Воронцов, на нас голос не подымай, — оборвал его дед Егор, подбираясь ближе. — Ты сам тутака без году неделя. Сам турист... ране моря только причапал. Тебе один хрен, где жить — у нас или ишо где. А я родился в Матёре. И отец мой родился в Матёре. И дед. Я тутака хозяин. И покулева я тутака, ты надо мной не крыль. — Дед Егор, грозя, совал черный корневатый палец к самому носу Воронцова. — И меня не зори. Дай мне дожить без позору.

— Ты, Карпов, народ не баламуть. Что требуется, то и будем делать. Тебя не спросим.

— Иди-ка ты!.. — понужнул дед Егор, посылая Воронцова дальше.

— Это другое дело, — согласился Воронцов. — Так и запомним.

— Запоминай. Не шибко испугался.

— Защитничек нашелся.

— Много вас таких!..

— Убирайтесь, покуль до греха не дошло.

Снова закипятились, закричали старухи, теснее сжимая в кольцо Воронцова, Жука и мужиков. Вера совала под нос Жуку фотографию матери — он отстранялся и брезгливо морщился; с другой стороны на него наседали Дарья и Настасья. Шляпа у Жука съехала набок, открыв черные как смоль и кудрявые волосы, так что сходство с цыганом стало еще большим, — казалось, вот-вот он не выдержит и поцыгански, с гиком подпрыгнув, начнет налево и направо лопотать по-своему, отбиваясь сразу от всех. Старуха Катерина взяла в оборот Воронцова, наскакивая на него и повторяя: «Нету таких правов, нету таких правов». Когда Воронцов пробовал отстраниться, перед ним возникала Тунгуска, все это время молчаливо пыхающая трубкой, и молчаливо же показывала ему, чтобы он слушал Катерину. Басом, как главный, основной голос, гудел дед Егор. И под весь этот тарарам, который все больше накалялся, Воронцов и Жук, едва сумев переброситься несколькими словами, с трудом выдрались из толпы и направились в деревню. Верзила попробовал отнять у Богодула топор, но Богодул

рыкнул и замахнулся — случившийся рядом дед Егор посоветовал верзиле:

— Ты с им, парень, не шибко. Он у нас на высылке. Вот так же одного обухом погладил...

— Уголовный, что ли? — заинтересовался верзила.

— Но-но.

— Я, может, сам уголовный.

— Ну, тогда спытай. Мы поглядим.

Но верзила, помявшись, покосившись еще на Богодула, который подмигивал ему жутким, как горящим, красным глазом, побежал догонять своих. Через час все четверо отплыли с Матёры.

...А старухи до поздней ночи ползали по кладбищу, втыкали обратно кресты, устанавливали тумбочки.

19

Матёру, и остров и деревню, нельзя было представить без этой лиственницы на поскотине. Она возвышалась и возглавлялась среди всего остального, как пастух возглавляется среди овечьего стада, которое разбрелось по пастбищу. Она и напоминала пастуха, несущего древнюю сторожевую службу. Но говорить «она» об этом дереве никто, пускай пять раз грамотный, не решался; нет, это был он, «царский лиственъ» — так вечно, могуче и властно стоял он на бугре в полверсте от деревни, заметный почти отовсюду и знаемый всеми. И так, видно, вознесся он, такую набрал силу, что решено было в небесах для общего порядка и размера окоротить его — тогда и грянула та знаменитая гроза, в которую срезало молнией «царскому лиственю» верхушку и кинуло ее на землю. Без верхушки лиственъ присел и потратился, но нет, не потерял своего могучего, величавого вида, стал, пожалуй, еще грозней, еще непобедимей. Неизвестно, с каких пор жило поверье, что как раз им, «царским лиственем», и крепится остров к речному дну, к одной общей земле, и покуда стоять будет он, будет стоять и Матёра. Не в столь еще давние времена по большим теплым праздникам, в Пасху и Троицу, задабривали его угощением, которое горкой складывали у корня и которое потом собаки же, конечно, и подбирали, но считалось: надо, не то лиственъ может обидеться. Подати эти при новой жизни постепенно прекратились, но почтение и страх к главному, державному дереву у старых людей по-прежнему оставались. На это, верно, имелись свои причины.

Толстые, огромные ветви отходили у «царского лиственя» от ствола не вверх наискосок, как обычно, а прямо в стороны — будто росли вбок самостоятельные деревья. Самая нижняя такая ветка одиноко висела метрах в четырех от земли и издавна звалась «пашиным суком»: когда-то на нем повесилась сгруппа от несчастной любви молодая матёринская девка Паша. Колчаковцы, захватив остров, слыхом не слыхали про Пашу, однако сук ее сумели как-то распознать и именно на нем, не на каком другом, вздернули двух своих же, из собственного воинства солдат. Чем они провинились, толком в Матёре никто не знал. Весь день, наводя небывалую жуть на старых и малых, торчали висельцы на виду у деревни, пока мужики не пошли и не попросили ради ребятишек вынуть их из петли. Мертвых, их предали тогда еще и другой казни: сбросили с яра в Ангару.

И последняя, уже совсем безвинная смерть случилась под «царским лиственем» после войны: все с того же «пашиного сука» оборвался и захлестнулся мальчишка, Веры Носаревой сын. Только после того, а надо бы куда раньше, догадались мужики отсечь сук, а ребятишки сожгли его.

Вот сколько всяких историй связано было с «царским лиственем».

За век свой он наронял так много хвои и шишек, что земля вокруг поднялась легким, прогибающимся под ногой курганом, из которого и выносился могучий, неохватный одними руками ствол. О него терлись коровы, бились ветры, деревенские парни приходили с тозовкой и стреляли, сшибая наросты серы, которой потом одаривали девок, — и кора со временем сползла, лиственень оголился и не способен был больше распускать по веснам зеленую хвою. Слабые и тонкие, дальние, в пятом-шестом колене, сучки отваливались и опадали. Но то, что оставалось, становилось, казалось, еще крепче и надежней, приваривалось навеки. Ствол выбелился и заостенел, его мощное разлапистое основание, показывающее бугры корней, вызванивало одну твердь, без всякого намека на трухлявость и пустоту. Со стороны, обращенной к низовьям, как бы со спины, лиственень издавна имел широкое, чуть втиснутое внутрь дуплистое корявое углубление — и только, все остальное казалось цельным и литым.

А неподалеку, метрах в двадцати ближе к Ангаре, стояла береза, все еще зеленеющая, дающая листву, но уже старая и смерт-

ная. Лишь она решилась когда-то подняться рядом с грозным «царским лиственем». И он помиловал ее, не сжил. Быть может, корни их под землей и сходились, знали согласие, но здесь, на виду, он, казалось, выносил случайную, заблудшую березу только из великой и капризной своей милости.

И вот настал день, когда к нему, к «царскому лиственю», подступили чужие люди. Это был уже не день, а вечер, солнце село, и на остров спускались сумерки. Люди эти возвращались со своей обычной работы, которую они исполняли на Матёре добрых две недели. И как ни исправно, как ни старательно они исполняли ее, время шло еще быстрее, сроки подгоняли. Приходилось торопиться. Работа у этих людей имела ту особенность, что ее можно было иной раз развести как следует, расшуровать, а затем она могла продолжаться самостоятельно. Вот почему уже под ночь два мужика с прокопченными сверх меры, дублеными лицами свернули с дороги и приблизились к дереву.

Тот, что шел первым, с маху, пробуя листвень, стукнул обухом топора о ствол и едва удержал топор, с испугом отдернув голову, — с такой силой он спружинил обратно.

— Ого! — изумился мужик. — Зверь какой! Мы тебе, зверю... У нас дважды два — четыре. Не таких видавали.

Второй, постарше, держал в руках канистру и, поглядывая на деревню, зевал. Он был в высоких болотных сапогах, которые при ходьбе неприятно, с резиновым взвизгом, шоркали. При той работе, которую творил их хозяин, сапоги казались несуразными, погубленными совершенно понапрасну, и как терпели в них ноги, было непонятно. Для воды, по крайней мере, они уже не годились, на том и другом темнели дырки.

Мужики обошли вокруг ствола и остановились напротив дуплистого углубления. Листвень вздымался вверх не прямо и ровно, а чуть клонясь, нависая над этим углублением, точно прикрывая его от посторонних глаз. Тот, что был с топором, попробовал натесать щепы, но топор на удивление соскальзывал и, вызвапываясь, не мог вонзиться и захватить твердь, оставляя на ней лишь вмятины. Мужик оторопело мазнул по дереву сажной верхонкой, осмотрел на свет острие топора и покачал головой.

— Как железное, — признал он и опять ввернул непонятную арифметическую угрозу: — Нич-че, никуда не денешься. У нас пятью пять — двадцать пять.

Он отбросил в сторону бесполезный топор и взялся собирать и ломать ногами валявшиеся кругом сучья, складывая их крест-накрест под дупливой нишей. Товарищ его молча, все с той же позевотой, полил из канистры ствол бензином и остатки побрызгал на приготовленный костерок. Отставил позадь себя канистру и чиркнул спичку. Огонь тотчас схватился, поднялся и захлестнул ствол.

— Вот так, — удовлетворенно сказал разговорчивый мужик, подбирая с земли топор. — Посвети-ка, а то темно стало. Мы темно не любим.

И они направились в деревню, пошли ужинать и ночевать, уверенные, что, покуда они будут спать, огонь станет делать свое дело. Когда они уходили, он так ярко спеленал всю нижнюю часть могучего лиственя, так хватко и жорко рвался вверх, что сомневаться в нем было бы совестно.

Но утром, когда они шли на нижний край острова, где еще оставалась работа, листвень как ни в чем не бывало стоял на своем месте.

— Гляди-ка ты! — удивился тот же мужик. — Стоит! Ну постой, постой... — Это был веселый мужик, он баском пропел: — «Ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться вдоволь на тебя».

Однако долго глядеть на него он не собирался. Вскоре после обеда пожогщики, это были они, вернулись к лиственю всей командой — пять человек. Снова ходили они вокруг дерева, трогали его топорами, пытались рубить и оставляли эти попытки: топоры, соскребая тонкую гарь, отскакивали от ствола, как от резины.

— Ну зверь! — с восхищением шурился на листвень веселый мужик. — На нашего хозяина похожий. — Он имел в виду Богодула. — Такой же ненормальный. Нет чтоб добром стореть, людей не мучить. Все равно ведь поддашься. У нас шестью шесть — тридцать шесть.

— Плюнуть на него, — неуверенно предложил, косясь на бригадира, второй вчерашний знакомец лиственя — в болотных сапогах. — К чему нам дочиста все соскребать!

Бригадир, по стати самый невзрачный из всех, но с усиками, чтобы не походить на мальчишку, задрал вверх голову:

— Здоровый, зараза! Не примут. Надо что-то делать.

— Пилу надо.

— Пилой ты его до морковкиного заговенья будешь ширкать. Тут пилу по металлу надо.

— Я говорю про бензопилу.

— Не пойдет. Ишь че: ширше... — следовало непечатное слово. — Для нее твоя бензопила — что чикотка.

Один из тех, кто не был накануне возле лиственя, поднял с земли тонкую горелую стружку и понюхал ее.

— Что зря базарить?! — с усмешкой сказал он. — Нашли закавыку! Гольное смолье. Посмотрите. Развести пожарче, и пыхнет как миленький.

— Разводили же вчера.

— Плохо, значит, разводили. Горючки надо побольше.

— Давайте попробуем еще. Должна загореться.

Болотные сапоги отправили на берег к бочке с бензином, остальные принялись подтаскивать с упавшей городьбы жерди, рубить их и обкладывать листвень высокой, в рост человека, клеткой, и не в одну, а в две связи. Внутрь натолкали бересты, до голого тела ободрав березу, и мелкие сучья. К тому времени был доставлен бензин — не жалея, полили им вокруг весь ствол и снизу, от земли, подожгли. Огонь затрещал, скручивая бересту, пуская черный, дегтярный дым, и вдруг разом пыхнул, на мгновение захлебнулся своим широким дыхом и взвился высоким разметным пламенем. Мужики, отступая, прикрывали лица верхонками.

— Как дважды два — четыре, — победно крикнул тот, веселый...

Но он опять поторопился радоваться. Огонь поплясал, поплясал и начал, слизнув бензин, сползать, отделяться от дерева, точно пылал вокруг воздух, а листвень под какой-то надежной защитной броней оставался невредимым.

Через десять минут огонь окончательно, занялись с треском сухие жерди, но они горели сами по себе, и огонь от них к «царскому лиственю» не приставал, только мазал его сажей.

Скоро догорели и жерди. Новые таскать было бессмысленно. Мужики ругались. А дерево спокойно и величественно возвышалось над ними, не признавая никакой силы, кроме своей собственной.

— Надо завтра бензопилой все-таки попробовать, — согласился бригадир, только что уверявший, что для такой твердыни и машины бензопила не годится.

И опять, уже громче, уверенней прозвучали отступные слова:

— Плюнуть на него — и дело с концом! Пускай торчит — хрен с ним! Кому он помешал! Вода-то где будет?! Деревню надо убирать, а мы тут с этим связались...

— Все бы плевали! — разозлился бригадир. — Плевать мы мастера, этому нас учить не надо. А принимать приедут — куда ты его спрячешь? Фуфайкой закроешь? Неужели дерево не уроним?

— Было бы это дерево...

На третий день с утра уже как к делу первой важности, а не пристяжному, подступили к «царскому лиственню» с бензопилой. Пилить взялся сам бригадир. Бочком, без уверенности подошел он к дереву, покосился еще раз на его могучность и покачал головой. Но все-таки пустил пилу, поднес ее к стволу и надавил. Она дрыгнула, едва не выскочив из рук, однако легонький надрез оставить успела. Угадывая по этому надрезу, бригадир нажал сильнее — пила зашла высоким натужным воем, из-под нее брызнула легонькая струйка бесцветных пыльных опилок, но бригадир видел, что пила не идет. Качать ее толстый ствол не позволял, можно было лишь опоясать его кругом неглубоким надрезом — не больше. Это было все равно что давить острой опасной бритвой по чурке, стараясь ее перерезать, — результат один. И бригадир остановил пилу.

— Неповалимый, — сдался он и, зная теперь лиственню полную цену, еще раз смерил его глазами от земли доверху. — Пускай с тобой, с заразой, возится, кому ты нужна!

Он подал пилу оказавшимся рядом болотным сапогам и со злостью кивнул на березу:

— Урони хоть ее. Чтоб не торчала тут... Наросли, понимаешь...

И береза, виноватая только в том, что стояла она вблизи с могучим и норовистым, не поддавшимся людям «царским лиственнем», упала, ломая последние свои ветви и обнажив в местах среза и сломов уже и не белое, уже красноватое старческое волокно. «Царский листвен» не шелохнулся в ответ. Чуть склонившись, он, казалось, строго и внимательно смотрел на нижний край острова, где стояли матёринские леса. Теперь их там не было. Лишь кое-где на лугу сиротливо зеленели березы да на горях чернели острые обугленные столбы. Низкие, затухающие дымы ползли по острову; желтела, как дымилась, стерня на полях с опаленными межами; выстывали луга; к голой, обезображенной Матёре жалась такая же голая, обезображенная Подмога.

Один выстоявший, непокорный «царский листвен» продолжал властвовать надо всем вокруг. Но вокруг него было пусто.

<...>

1976

ДОЧЬ ИВАНА, МАТЬ ИВАНА (Отрывок из повести)

Часть I

<...>

Вечером стало теплее и мягче, вместе с западающим солнцем, совсем освободившимся от облаков, горой стоящих над головой, на-текала совсем летняя спелость нагретой земли. Тамара Ивановна, невесть с чего приободрившаяся, вдруг решила, что сегодня надо сделать ужин. «Сделать ужин» означало, что они не станут обходиться чем попало, как всегда в последнее время, а устроят что-нибудь повеселее. Анатолий обрадовался и испугался: что это — приходит она в себя, приказав себе смириться со случившимся, или просто решила отделить жирной чертой последние черные дни от наступающих, ведущих неизвестно к какой, но развязке? Тамара Ивановна смотрела перед собой тяжелым решительным взглядом и шла быстро, встречный народ обтекал ее с опаской. Анатолий едва поспевал за нею; они почти не разговаривали. На рынок заходить не стали, тошно было смотреть на рынок, да он уже и пустел. Недалеко от дома зашли в большой гастроном, Анатолий взял бутылку водки и бутылку вина; Тамара Ивановна — сосисок, яблок и большой пышный торт, над какими сама же всегда и издевалась, называя их «парфюмерией». Но издевалась не потому, что брезговала, а кошелек в кармане не велел. Но сегодня — эх, изобилие! Эх, мать его растак! и так! и так! и так! — подумала и взяла еще связку бананов, брезгливо, на вытянутой руке, подержала ее, приняв с весов за отросток, и кинула в широкий зев сумки. Наполненная сумка заинтересовала ее; Тамара Ивановна отыскивала столик, не выпуская из левой руки коробку с тортом, правой потербила сумку, расправила ее, всматриваясь в нутро и размышляя. Сумка была черная, вместительная, продолговатая, с легко и ловко ездящим замком, из прочной искусственной ткани, как теперь все они; она могла казаться маленькой при малой загрузке, а могла быть большой. Оглянувшись, найдя Анатолия взглядом уже возле выхода, подхватила сумку, расчетливо встряхнув ее в руке, и заторопилась.

Светка не вышла на голоса; Тамара Ивановна решительно толкнула дверь в ее комнату — Светка в полумраке, с зашторен-

ным окном, полусидела-полулежала, навалившись на спинку кровати. Она даже головы не повернула к матери. Пока ее держали, заставляли куда-то идти, что-то говорить, она шла и говорила, изымала из себя и выставляла свой позор, муку свою смертную, надрывала сердчишко, но вот оставили ее на несколько часов в покое, и начался молчаливый, страшный, доклевывающий сердце, разговор с собой. Там ее спрашивали, что с ней было, здесь она спрашивала себя, что с ней будет. Там ее ответы заносили на бумагу, здесь же какой-то неумелый самописец, не зная, что писать и не слыша ответов, рвал и рвал на куски обоженную душу. До сей поры она и не подозревала, какая бездна, недремная и безжалостная, скрывается в человеке и какие изуряющие ведет она беседы.

Тамара Ивановна положила дочери под руку связку бананов.

— Чего это ты? — дрогнувшим голосом удивилась Светка.

— Ешь! Не пропадать же теперь! Нет, девка, теперь надо быть сильной. Сильнее себя. Ешь и выходи, ужин будем делать. Я и торт купила.

— Сластишь будем? — Светка выговаривала слова вязко, через слипшееся горло.

Тамара Ивановна будто и не заметила вырвавшегося Светкиного вызова. Отчаянным взмахом руки слева направо она перечеркнула перед собой все, что навалилось, и сказала:

— Пожуй и выходи. Нечего тут залеживаться, нянчиться в себе... — она не договорила, никакого просившееся сюда слово произносить не хотелось.

Опять больно пронзило ее, как изменилась дочь всего в несколько дней: маленькая, как у подростка, голова, слабая, раздавленная грудь и сжатые неналившиеся ноги. Почувствовав этот взгляд и угадав, о чем думает мать, Светка решила:

— Мама, можно, я сегодня пойду к бабушке ночевать?

— Почему? — Было отчего подкоситься ее ногам; Тамара Ивановна опустила рядом с дочерью.

Было отчего: она сама собиралась отправить Светку на эту ночь к Евстолии Борисовне, Светка могла помешать ей сегодня. Но она собиралась заговорить об этом позже, при всех за столом, чтобы и тени подозрения не вызвать, будто это нужно ей. Вот, пожалуйста — как подслушала Светка.

— Можно?

— Иди, если так хочешь. Но вечер пробудешь дома. К ночи пойдешь.

Ивану Тамара Ивановна заявила, выходя из Светкиной комнаты:

— А ты, дружок, сегодня из дома ни ногой. Понял?

— Понял. Но жду разъяснений! — энергично отозвался Иван.

— Побудем вместе сегодня. Вот и все разъяснения.

— Маловато, но на сегодня хватит.

— Почисти картошку. Ужин будем делать, — уже в который раз за вечер, как заклинание, повторила Тамара Ивановна.

А что было и делать?! Сварили картошку и сосиски, достали из холодильника банку с огурцами, наткнулись там же, в холодильнике, на банку грушевого компота с большими склизкими кусками груш и тягучим соком, остатки сыра, остатки клюквы из морозильника, остатки конфет в коробке, залежавшиеся еще со дня рождения Тамары Ивановны в апреле.

Светка по зову матери вышла натереть свеклу и морковь, постояла, постояла с теркой в руке, силясь отыскать в памяти, как это делается, — и не отыскала, спряталась опять в своей комнате. Тамара Ивановна махом натерла сама, добавила в эту кашичку еще и тертого чеснока, заправила майонезом и снова окликнула Светку, заставила ее накрывать на стол. Выставили все, что было; словно больше ничего и понадобится не могло; натыкались в тесной кухоньке друг на друга и друг друга задирали; Светка завизжала девчоночкой, когда мать, как в детстве, оттянула ее с размаху ладонью по выставленной в наклоне попе, Иван неестественно громко смеялся, отец покрикивал, торопя и потирая руки. Стол накрыли в большой комнате, придвинув его к дивану; Светка и Иван устроились рядом на диване, мать напротив, поближе к кухне, отец сбоку, поближе к спальне. Светка утонула в мягком диване, только головенка торчала над столом, и обрезанное лицо ее, выглядывающее откуда-то издалека, из чужих приютов, было как бы и не ее: затертые пудрой ссадины, заострившиеся скулы, подернутые пленчатой зыбью глаза. Но у них у всех лица были не свои, они все с болью смотрели друг на друга. Один Иван выглядел молодцом и, только спохватываясь время от времени, обводил всех тревожным взглядом.

— Кто как хочет, а я водочки, — заявил Анатолий, налил себе полстакана, окликнул жену, и она кивнула в ответ, протянула

для звона маленький хрустальный стаканчик с вином и сказала детям:

— А вам нельзя! Рано еще. Подрастите, ума наберитесь. — Она испытующе смотрела на Ивана. — Совершеннолетними станьте. Не торопитесь.

Иван сказал — должно быть, потому, что мать обращалась к нему:

— А вы, значит, раз вы совершеннолетние, выдуете у нас на глазах две бутылки с воспитательной целью?

Анатолий громко и облегченно, с удовольствием освобождая от тяжести грудь, загоготал.

— Язва же ты! — сказала Тамара Ивановна Ивану, чуть усмехнувшись, помолчала нервно, теребя щеку, и вдруг позволила: — А хотите, так и выпейте маленько, для памяти.

Последние слова, чтобы не послышалось в них ничего подозрительного, она произнесла быстро, успев поджевать их.

— Да мы и не хотим вовсе, — пробурчал Иван. — Успеем. Пождем совершеннолетия. Нам это нипочем. Правда, Светка?

Светка с испугом взглянула на брата и еще больше втянула голову в плечи и склонилась над столом.

— А я так и совсем не собираюсь пить, — продолжал Иван и покосился на мать: не подумала ли она, что он брякнул свое решительное заявление впопыхах, чтобы выйти из неловкого положения: Светке сейчас задавать такие вопросы не следовало. — Я из чувства противоречия не буду пить, — пришлось настаивать ему. — Потому что все пьют. А я не буду.

— И не надо! — с лихостью подхватил Анатолий. — Молодец! У тебя и гены с моей, с отцовской стороны, не подорванные...

— С моей, что ли, подорванные? — не пропустила Тамара Ивановна.

— И с твоей целехонькие. Хоть на базар неси.

— На какой еще базар?! Что ты мелешь?

— Да это только так говорится. Когда продукт хороший, чтобы выдать Знак качества, — вот и говорят. А так-то, конечно... какой базар? Ты правильно постановил, Иван. Это бедствие сейчас: пьют беспробудно и даже без закуски. С пьяным народом каши не сварить. Кому-то надо пример показывать.

— У нас в школе их «горнистами» зовут. На перемене голову запрокинут, бутылку с пивом в зубы... совсем как горнисты на

пионерской зорьке! На глазах учителей. И те молчат. Торопятся мимо проскочить, будто не видят.

— По губам бы их, по губам бы!.. — тихо и бессильно отозвалась Тамара Ивановна.

— Свобода, мама, права человека. Теперь выпускной экзамен такой есть: ЧиО — человек и общество. О правах человека. У нас недавно один пятиклассник в суд на директора подал.

— А это еще что такое? — хохотнул Анатолий, пристально вглядываясь в свой опорожненный стакан. — По заливку, что ли, схлопотал малец-то? Не вытерпел директор?..

— Нет, за рукоприкладство его бы четвертовали. Наш директор дал указание убирать мусор на школьном дворе. Выгнал на воскресник. Массовая эксплуатация детского труда. Теперь по заливку-то ему дадут.

— Господи! — без страсти, уставшим, тусклым голосом взмолилась Тамара Ивановна и решительно откинулась на спинку стула, покачалась, дав ему поскрипеть. Ни на кого не глядя, сказала, отвернув глаза в окно: — Пьянство и трусость, пьянство и трусость! Куда мы на таких рысках управим?! Что будет?

— Что-нибудь да будет, мать...

— Мне не надо «что-нибудь». Сколько можно: «что-нибудь» да «что-нибудь». Даже у зверя, у птицы, у червя есть, наверное, воля, характер... и он уползает или отбивается, а не лапки вверх...

Говорили... и о чем говорили — Бог весть! Лишь бы не задевать свое, кровенившее сердце, лишь бы дать хоть немножко притихнуть боли. И все равно задевали, вздрагивали испуганно от неловкости и забывчивости, направляли разговор на постороннее, где, казалось, никак уж невозможно коснуться раны, — и опять касались, опять принимались взглядами предостерегать друг друга. Тамара Ивановна слушала строго и рассеянno, встречая редко, вслушиваясь не в слова, а в голоса, и по голосам определяя, кто как держится, у кого остались еще силы и у кого уж не осталось ничего, кроме тяготы перемогания. Светка умница, она чутьем раненого зверька поняла, что лучше всего свои раны ей зализывать не дома, где от каждого ее вздоха содрогается вся семья и где одни взгляды станут постоянно беречь душу. Да какая она умница, Господи, какая она умница?! — простодырая она дура, больше никто! Но и этот голос пресекала в себе Тамара Ивановна, и его принималась она гонять, как бесенка, чтобы и духу его не осталось.

Она почти ничего и не ела — поковыряла сосиску и поклевала клюкву. Не до еды было и Светке; Светка намяла в тарелке невообразимую кашу из картошки, огурцов, сосисок, бананов и ягод и забывчиво смотрела, что у нее получилось. Иван успевал говорить и намочивать, за три дня, в которые в доме все пошло кувырком, он успел нагулять аппетит. Анатолия выручала водка, он выпил еще полстакана, забивая в дальний угол какое-то колючее осколочное напряжение, терзавшее грудь, и решительными взмахами набрасывал в опустевший желудок порцию за порцией. Разговор продолжался, Тамара Ивановна слышала, как Светка сказала, не владея голосом, — хотела подтрунить над братом, а получилось жалко, слезливо:

— Иванка у нас философ!

Анатолий, теряя пыл, поддаваясь усталости, но по-прежнему шумно — лишь бы не оборвался этот сторонний разговор, лишь бы не остаться им, боящимся друг друга, наедине — возражал Ивану:

— Это ты, философ ты наш, загнул. Как это можно: все ошибаются, а один не ошибается? Одному, да будь он семи пядей во лбу, против всех не устоять. Все равно точку зрения всех принимать придется. В тебе сейчас задира сидит, тебе лишь бы спорить.

Ивану и верно это было в удовольствие — спорить. Он говорил:

— Точка зрения всех... А что такое точка зрения всех? Это же не истина... И все — это, конечно, не все, а большинство. Как один — это не один, а меньшинство. А большинство внушению поддается легче. Разве не так? Оно этим и утверждает себя: нас много, мы не можем ошибаться. Да вы потому и ошибаетесь, что вас много. В толпе думать просто невозможно, там порыв, извержение эмоций... И получается пустое множество. Арифметическое: раз-два-три-четыре-пять, и сто, и тысяча, и пять тысяч... Да нет, даже не один-два-три-четыре-пять, не целые числа, а дробь. В числителе у этой дроби, где личность, значение личности, там мизер... А в знаменателе, где подчинение общему мнению, там да-а! там такая сила, такие аргументы и факты, только головой верти...

— Ты бы, дружок, поосторожнее с дробью-то... — решил предостеречь отец. — А то загнут тебе салазки, сделают из твоей единицы колесо.

— А почему я должен осторожничать? Что есть, то и вижу. Что вижу, то и беру в расчет. Это и есть взгляды — самому смотреть, а не слушать, что на уши вешают.

Тамара Ивановна из своего далека спросила:

— Где это ты такого гладкого ума набрался?

— А нам, мама, теперь некогда до тридцати лет на печке лежнем лежать.

— Выучись сначала, отслужи, женись, а уж потом и забивай себе голову.

Иван хмыкнул:

— Да ведь и служить, и учиться, и жениться тоже надо с умом.

— Ум в самой жизни... как живешь. А не в словах.

— Вот мы свои слова-то и отдали кому попало. Теперь слушаем чужие.

Завонил телефон; Анатолий, не поднимаясь, подпрыгнул вместе со стулом к тумбочке, снял трубку, мгновение ждал в тревоге, с изменившимся, приготовленным для тяжелого разговора лицом и вдруг просиял:

— А-а, мать! Это ты? А это мы. Сидим, чай пьем, я даже водочки немножко принял. Все хорошо у нас, все хорошо. Скоро за торт возьмемся. Дела идут. Что ты говоришь? Отпустить Светку к тебе? Погоди, выясню.

— Скажи, что отпустим и приведем, — велела Тамара Ивановна.

— Отпустим и приведем! — доложил Анатолий. — А то пришла бы к нам сама на торт. Ноги болят? Так они у тебя давно болят, уж хватит им болеть. Ты, мать, им поваду даешь. Ты им не давай повады, командуй ими. Ладно, жди. Отпустим и приведем.

Тамара Ивановна пылливо взглянула на дочь, та отрицательно покачала головой: нет, они с бабушкой не договаривались. Это что же тогда? Как по заказу. Уж больно подозрительно выстилается дорожка. А ведь совсем узкой казалась она, не прдраться, и вдруг чуть ли не выходные ворота раскрываются. Пожалуйста! Это для чего же они так широко раскрываются?

Она быстро, через «не хочу», набросала в себя еду: силы ей понадобятся. Звонок Евстолии Борисовны подстегнул: а ведь пора заканчивать застолье. Засиделись. Пора выставлять на стол торт, так неожиданно нагрянувший в такой день в гости. Им, этим изделием сладкой жизни, и отпечатается потом в памяти навсегда сегодняшний грустный вечер. Горе горькое тоже любит взблеснуть чем-нибудь этаким, вроде жемчужного зерна.

Она никого не торопила, а заторопились вдруг все сразу, точно неслышный сигнал прозвучал, отсчитавший положенное

время. Торт съели без остатка, но в спешке, без восторженных восклицаний и удовольствия. Перестал умничать Иван и обиженно замолк, никто его рассуждения больше не поддерживал; натужно, то вздрагивающим, то соскальзывающим от усталости взглядом осматривалась вокруг Светка. Ей не терпелось уйти. Тамара Ивановна опять почувствовала в себе подталкивающее жжение: дальше, дальше! Отдохнули, побыли вместе, поиграли словами, чтобы ничего не сказать, пободрились всяк на свой манер — Господи, да разве этим притворством унять боль, разве заделать какой-то там кратер, из которого она выбрасывается?!

Она приобняла Светку, когда та уходила, приподняла обнимающей рукой ее лицо и заглянула — и ей для памяти, и себе. Светка убрала глаза. Обычным голосом, не позволив ему дрогнуть, сказала дочери, чтобы она отоспалась и без ее материнского звонка никуда не выходила. Самой Тамаре Ивановне было не до сна. Чтобы отдаться сну, надо вместе с одеждой взять и выпростаться из себя, как из кукольной оболочки, а она в такие была закована кандалы, что, как ни сдвигай их, как ни укладывай в поисках облегчения, они не переставали выгибать ее в муку.

Но прежде всего предстояло Тамаре Ивановне в эту ночь еще одно дело, и было оно сильнее двухсуточного измождения без сна.

Утром, в самом начале рабочего дня, она была уже возле прокуратуры, прохаживаясь на противоположной стороне улицы вперед-назад и не выпуская из виду обычную, слишком скромную для этого пугающего заведения дверь, безвкусно обитую узкой вагонкой. День опять собирался быть жарким, угарная сушь настаивалась в воздухе и надувала пыль на только что распустившиеся тополя. Одним концом, близким, улица выходила к рынку, вторым — в центральную магистраль, которая делила старый район города на две части: одна прилегала к Ангаре, другая к горе. Туда и сюда перед Тамарой Ивановной народ двигался густо и невесело, с выражением общей и привычной повинности. Над рынком, над всеми его торговыми окраинами и рукавами, как над чадающей печью, висело мутное желто-мглистое облако. Автомобильное движение на поперечной улице перед рынком было одностороннее, убегаящее влево, и машины, припуская от светофора, взрывали так, что саднило в ушах.

Из дому Тамара Ивановна ушла рано — пока не поднялся Анатолий. Она оставила ему записку, что будет в прокуратуре, чтобы он не бросился ее искать. А в прокуратуре — значит тяготина бескрайняя. Она тут и была, приготовившись к какому угодно ожиданию. Больше всего она боялась, чтобы из прокуратуры не вызвонили и не вызвали Светку. Светка могла ей помешать. Поэтому в записке Тамара Ивановна еще раз оставила для дочери наказ, чтобы ни под каким вызовом от бабушки она не выходила, пока не услышит ее, материнский, голос.

Прошел Цоколь, вышагивая с размеренным гусиным достоинством; дверь за ним закрылась бесшумно. Долго не было прокурора, и Тамара Ивановна забеспокоилась, не пользуется ли она каким-нибудь незаметным служебным входом, чтобы избежать нежелательных встреч. Прокурор приехала в одиннадцатом часу, тяжело выбралась с заднего сиденья черной иномарки, которых расплодилось, как саранчи, так много, что в названиях их Тамара Ивановна давно уж не разбиралась. Даже на улице прокурор имела величественный вид: прямая, с высоко взбитой прической, в светлом костюме. Кто-то выходил и придержал ей дверь. Тамара Ивановна напряглась: вот теперь не зевай, теперь в любую минуту могут доставить твоего... Как его назвать? Никак его не хотелось называть, скоро у него должно быть новое название.

Улица была заставлена плотно — и все магазинами, киосками, ресторанами; никакому иному учреждению, кроме прокуратуры, сюда бы не втиснуться, а прокуратуру для того, надо думать, и подселили в это торгово-развлекательное царство, чтобы население его, падкое на грех, о законе и возмездии не забывало. Удавалось ли неподкупным блюстителям закона произвести впечатление на ловких рыночников — неизвестно, наяву же было то, что прокуратуру и видно не стало, и слышно не стало, и надо было пять раз пройти мимо сиротского вида двери, прежде чем удавалось разглядеть столь же, как дверь, малоприметную вывеску.

Не прошло и получаса после приезда — прокурор вышла и уехала.

Тамара Ивановна испугалась. Что бы это значило? Какие там случились перемены? Или «санкция» откладывается? Но, кажется, ее нельзя отложить даже на завтра, трехдневный срок после задержания заканчивается сегодня. Не наступил положенный час или там какие-то хитрости? Она вдруг ощутила

сильную жажду, терпение ее потребовало, чтобы его смочили, почти физически она представляла, как по нему, по ее терпению, коробом поднявшемуся где-то внутри, пробегают трещины. Но как зверь, обходящий свой участок, она подошла прежде к прокуратуре, постояла, всматриваясь в дверь, и только потом направилась на рынок. Пока шла, что-то прояснилось внутри, и пить захотелось не чего угодно, не какой угодно отравы, лишь бы залить жажду, — захотелось острого, до печенок пробирающего кваса. Вот такими заданиями и надо держаться, пока не дойдет до дела: отыскать и напиться квасу, посмотреть, что просят перед новой картошкой за старую, потом что-нибудь еще. Хорошо, что успели посадить картошку. Чем бы ни обернулись ее планы, а картошка без едоков не останется.

Встал перед глазами отец, потому что картошка высаживалась в его огороде и была под его присмотром, но Тамара Ивановна, морщась от боли, которую предстоит испытать отцу, страхнула это видение. Сейчас ни до чего такого, что могло бы ее расслабить. Сейчас ей никто не нужен.

Зажав сумку под мышку, старательно оберегая ее, она дважды прошлась по рядам в крытом рынке с высоким прозрачным потолком, заглядывая за спины продавцов, где выстроены были на полках целые полчища банок и бутылок с яркими наклейками, и только потом сообразила: квасу среди них быть не может. Не вышел породой. Надвинулось чужое изобилие, и все местное в год исчезло, спряталось стыдливо или вовсе прекратило существование. Она вышла в уличные ряды, где и торговый народ, и товар были попроще, обошла и их, только чтобы занять себя, то забываясь до полного непонимания, что ей здесь надо, то спохватываясь и начиная опять ощущать сухость в горле. И с каким-то странным утешением понял: бесполезно искать. «Все правильно», — думала она, стоя сбоку от закрытого ларька, воняющего краской, и озирая бесконечную торговлю, которая перед воспаленными от бессонницы глазами вспучивалась как огромная и радужная муравьиная куча. И уточнила: «Все у меня правильно».

Она вернулась в крытый рынок, отыскивала возле правой боковой стены краник под раковиной и, наклонившись, выгибая неловко и больно голову, приникла к нему. Пила и плескала в лицо, пила и плескала. Под крышей, как под небом, порхали голуби и воробы. «А где же здесь птица-то пьет? — стала размышлять. — Еды

здесь натрахиывается вдоволь, а вся вода закупорена, до нее не добраться. Или в крыше есть дыры? Но если бы были дыры, птицы сюда, под сытую жизнь, набиралось бы тучами. Вот ведь как: куда человек, туда и голубь с воробьем. Человек повалил из деревни в город, — и эти, пернатые-крылатые, полетели вослед. Человек в городе устремился за прилавок — и воробей тут, начирикивает: торгуй, торгуй! А ведь было время — подбадривал: паши, паши!»

Гул стоял плотный, вязкий, отупляющий. Не вырывались из него ни вскрики, ни удары, все перемешивалось и тонуло под безостановочным движением тяжелых лопастей. Картины наплывали одна на другую, кружение людей кружило голову, фигуры становились несоразмерными, то очень маленькими, детскими, то пугающе-большими, с огромными лицами. Тамара Ивановна прислонилась к стене, боясь упасть, и ухватилась глазами за сидевшего неподалеку спиной к ней на металлической тележке парня. Постепенно все установилось на свои места и вошло в свои размеры. Постояла еще, прислушиваясь к себе, проверяя глазами надежность людского круговорота, и вышла.

За какие-то полчаса все как бы онемело в ней. Как бы коркой покрылась сплошная рана и слабо понывала в глубине, присасывая и подсушивая кровенящий испод. Должно быть, боль тоже устает болеть и дает себе отдых, когда у жертвы кончаются силы. Жара набухала, солнце, взобравшись в зенит, откуда никакие городские нагромождения не могли его загородить, слепило нещадно. Но удивительно: Тамара Ивановна то ощущала жару, то не ощущала, словно то входила в раскаленную зону, то выходила, и солнце перед нею то горело в обруче ярким кипящим пламенем, то разлохмачивалось в дымный клубок. Пора было возвращаться. На торговой улице, несмотря на жару, народ снова еще гуще и, как всегда в многолюдье, не обращал внимания друг на друга, бессознательно обтекая друг друга с помощью какого-то особо развившегося навигационного чутья, — и, значит, вызвать подозрение она не может. И вдруг испугалась, подходя к двери, что там, за дверью, время в ее отсутствие могло двигаться быстрее, чем здесь, на улице, и много чего там могло произойти. «Ротозея», — сказал кто-то ей бесстрастно и внятно. Стараясь не торопиться и не боясь больше обнаружить себя, она вошла внутрь, по широкому и длинному маршу с ажурным металлическим ограждением поднялась на площадку, с которой

прямо уходило небольшое крыло с кабинетами по одну сторону, а влево остаточным довеском подняты были еще четыре ступени в основной коридор, где и размещались кабинеты прокурора и Цоколя. И тот и другой были замкнуты. Следовало подумать, что бы это значило. Неужели эту самую «санкцию» решили устроить где-то в другом месте? Бывает такое или нет?

На улице она заставила себя успокоиться и нарочито замедленным шагом принялась вымерять метров двести в одну сторону и столько же в другую, пока такая маета не показалась ей совсем уж бессмысленной: не в клетке же она в самом деле, не на поводке же! Она почти в панике стала искать, куда пристроить себя, заходила в магазин запчастей, натужно всматриваясь в кучу железяк на полках и в витринах, что-то напоминавших и предлагавших свои названия, устремлялась в огромный, на весь квартал, хозяйственный магазин и тут же выскакивала, чуть не бегом бежала к оставленной двери и заходила внутрь. Цоколь вернулся, перед ним кто-то сидел, Тамаре Ивановне показалось, что это старик из общежития для малосемейных; прокурора по-прежнему не было.

Рядом, напротив прокуратуры, сжатый домами, был малозаметный проход во двор, и там, на задах ухоженной архитектуры, лепился свободный пейзаж из складских, подсобных и прочих сооружений неизвестного назначения: низких, вдавленных в землю, с плоским верхом, крытым то шифером, то толью, то ржавыми железными листами, где кирпичные, где деревянные, где с одним-двумя подслеповатыми окошками, где совсем без них, — все обветшавшее, скособоченное, вцепившееся друг в друга, чтобы не упасть. Тамара Ивановна заглянула сюда случайно, тычась в любой угол, в любую щель, лишь бы убить те короткие промежутки в десять—пятнадцать минут, которые она позволяла себе между проверками прокурорского кабинета. Возле глухой кирпичной стены одного из бесформенных сооружений, уныло обживших двор, стояли мусорные контейнеры, доверху набитые картонными коробками, за ними куча битого кирпича. «Вот тут и пристроиться, тут и дать ненадолго отдых ногам», — решила Тамара Ивановна. Возле мусора — это даже и хорошо, ее будут принимать за бомжиху, караулящую добычу. Этого ей и надо, на бомжих даже внимание обращать брезгуют. Она соорудила из кирпичей сиденье, подстелила сверху чистый лист картона и с пристомом опустилась, вытянув ноги и прикрывая ладонью от

солнца глаза. «Вот и хорошо, вот и хорошо», — приласкивала она себя, чуть раскачиваясь и обирая этими осторожными движениями изнутри страхи и неприятный едкий нагар, которым она, казалось, пропахла до самых печенок. Дверь прокуратуры отсюда не видна была, надо было подниматься и за десять шагов выходить на прямую обзорную линию. Так и придется делать, только такой отдых с подпрыгами она и может себе позволить.

Дважды она поднималась, смотрела поверхдвигающихся голов, в разрывах этого бесконечного движения отыскивала влипшую в стену дверь и скорей опускалась обратно.

Жара уже стала не жара, а какое-то мягкое колыхание, обвевающее и укутывающее приятным прикосновением волн. Уличный шум поднялся в высоту и ходил там приглушенными однообразными порывами. Где-то неподалеку сыто наговаривал голубь. Нагревшаяся земля, не забитая здесь асфальтом, отдыхалась забродившими испарениями вековых нечистот. Перед глазами поплыло марево, сквозь него маячили серые громады выходящих в улицу зданий; марево, уплотняясь, превратилось в туман, плывущий белыми лохмами, улица в нем опрокинулась, преображаясь в выглаженное пустынное поле. И только уж после обросло оно скудной жизнью.

Это даже и не поле, а большая покатая поляна на спуске с горы, заваленная с краю вросшими в землю каменистыми валунами. Внизу земля выравнивается и снова идет на подъем, там густо зеленеет кустарник, цветущий мелкой желтой россыпью. По окружью поляны лес, но редкий, обдерганный, как на брошенных лесосеках. Небо тусклое, бело-дымчатое, воздух в расплавленном горячем солнечном свете.

Тамара Ивановна, что-то высматривая, отыскивая, бродит среди валунов в меднистых крапинах, и на какой она взглянет, тот начинает до боли в глазах искриться. Она прикрывает глаза ладошкой и смотрит сквозь щели между пальцами, во все нарастающем нетерпении продолжая что-то искать. Что? — никак не может вспомнить, уверенная, что увидит — узнает. Никогда прежде она не бывала здесь, и все для нее здесь чужое, властно затянувшее ее сюда по какому-то тайному сговору. Она кружит слепыми движениями, то чуть поднимаясь в гору, то спускаясь, но не сбиваясь с направления, которое ведет вдоль склона к двум коявым и низкорослым соснам с редкими, широко растопыренны-

ми ветками. Сразу за соснами земля круто уходит вниз, и они четко вырисовываются в пустоте, как входные ворота в пугающую и манящую неизвестность. Тамара Ивановна на них и не смотрит, как пойманная на крючок рыба не видит рыбака и, делая под неспешным подтягиванием лески подныры то влево, то вправо, продолжает неумолимо приближаться к встрече. Но нет в Тамаре Ивановне ни отчаяния, ни страха, и, кажется, ей доставляет утешение, даже радость уже то одно, что она может самостоятельно загигать то в одну сторону, то в другую и, обманывая себя, всматриваться под ноги, отыскивая что-то совсем бессмысленное и лишнее в ее положении. В желтых цветочках на низком кустарнике она узнает курильский чай, валуны начинают обрастать мелконьким и ломким мхом-ягелем, похожим на прохудившуюся, истыканную солнечными стрелами, бересту; возвышение слева вдруг отступает, и одновременно полоса кустарниковых зарослей в сырой низинке разворачивается и круто уходит вправо. Перед Тамарой Ивановной в одно мгновение открывается огромный и пустынный простор с лысыми сопками в солнечной дымке далеко впереди и полукружьем лесистого берега по краям обрыва. А что там, в этих обрывистых берегах за соснами, — озерная ли вода в горах или давний-предавний разлом, обшитый корнями деревьев и трав, — понять нельзя. Ветер при ее приближении к соснам бьет короткими и душными порывами.

Неожиданно доносится глухое, пробующее голос, ворчание грома. Гром почему-то пугает Тамару Ивановну больше всего, словно, готовая к чему угодно, его-то она и не ожидала. Она сбивается с ноги, оглядывается, тянет голову, чтобы скорей отыскать что-то, так и не найденное, захлебывается горячим воздухом. И раз за разом приостанавливается, ждет: вдруг это вовсе и не гром, вдруг это всего лишь камень сорвался и прокатился гулко по заваленной щебенкой гряде? Или вдруг это так исказило далекий крик зверя? Но гром рывкает так близко и с таким отчетливым вышним рыком, раздающимся прямо над соснами, что Тамара Ивановна едва не падает на колени. И прислушивается. Гром еще катит перед собою стукоток, перемещаясь вправо, где и туч нет, где солнце только теперь выпускает из себя радужную маревую завесу, как вдруг неведь откуда, кажется, что сразу отовсюду, слышится человеческий голос, отчаянный, надрывный, торопящийся предостеречь:

— Томка-а-а-а!

Это голос отца, Тамара Ивановна узнала бы его где угодно, и слышится он точно бы из детства. Разве не может быть такое, что предостережения наших родителей, которым мы в свое время не вняли, блуждают в горах и лесах до той самой поры, до той совпадающей черты, когда требуется их точное повторение. Ошеломленная, Тамара Ивановна замирает.

— Томка, воротись! Томка-а-а! — истошно зовет отец, и гром опять грозно гремит вослед его словам.

Тамара Ивановна понимает, что надо торопиться, и успокаивается. Торопиться не возвращаться, как велит отец, а вперед, только вперед. Другой дороги ей нет. И, больше уже ни па что не отвлекаясь и не оглядываясь, чувствуя лишь душное дыхание солнца, с окаменевшим сердцем, уверенно, как по расстелившейся тропке, шагает в сторону двух стоящих на краю обрыва сосен.

— Томка-а-а!

Голос отца еще стоял в ушах, в глазах еще продолжали мерцать очертания двух корявых, изломанно торчащих на каменистой земле деревьев с короткими верхушками и вразнобой торчащими ветками, еще бухал уныло гром, так и не добившись дождя, когда Тамара Ивановна разомкнула глаза и огляделась. Не сразу вспомнила она, где оказалась. Сон был так тяжел и так липок, такой душной пеленой застилал он сознание, что и выдираться из него пришлось долго и мучительно, не понимая, откуда и куда выдираешься. Но когда наконец выдралась, когда с тяжелым вниманием огляделась и вспомнила, кто она и где она, в ужасе она давила себя так, приподняв и молотом опустив верхнюю часть туловища на нижнюю, что захрустели косточки. Шел четвертый час пополудни. Она проснулась в поту, больше часа плавилась под кипящим солнцем, теперь ее продрал озноб. И все же прежде чем подняться, огляделась еще раз. Был ли голос отца только оттуда, где разгуливала она по лесной пустыни, не соединился ли он, как и гром небесный, еще постукивающий в отдалении, с реальностью отсюда? Не прячется ли где отец, наблюдая за нею, не его ли оберегающее заклинание прозвучало для нее громким криком?

Она медленно поднялась со своих кирпичиков и вдруг рванулась в развороте: здесь. Сумка, оставшаяся за спиною все это время, пока она спала, была на месте. Ее, спящую, уткнувшую голову в колени, должно быть, и верно приняли за бомжиху, утомленную лазаньем по городским свалкам. Схватив сумку

и нащупав в ней знакомые очертания, Тамара Ивановна медленно, запретив себе торопиться и не веря уже ни в какую удачу, сделала те самые десять шагов, которые позволяли увидеть на противоположной стороне улицы дверное бельмо, — и увидела: возле двери толкуются трое или четверо кавказцев. Не помня себя, пересекла она улицу, расчетливо обошла с правой стороны, ближайшей к стене, кавказцев, убедившись, что ее парня среди них нет, отодвинула одного из них плечом, чтобы протиснуться и показать себе, что никого и ничего она не боится. Также медленно, стараясь не сбиться с полусонной неповоротливости, обманывая себя и стараясь обмануть кого-то еще, поднялась в прокуратуру. Коридор был почти пуст, только в дальнем его конце маячили две фигуры. Дверь к прокурору прикрыта и безмолвна. Тамара Ивановна с безжизненным спокойствием подала ее от себя и в образовавшуюся щель увидела: как раз там, возле самой двери справа, где только вчера сидела она сама, маясь в нетерпении, когда их с Анатолием примет прокурор, сидел теперь тот, кто и был ей нужен. В синей джинсовой куртке, с обросшим лицом и хищно опущенным носом, он стал поднимать глаза. Успели ли он их поднять и узнать ее, она не знала, но за дверью было по-прежнему тихо. Вот теперь все сжалось и напряжилось в ней до предела; казалось, еще мгновение, и она бы вырвалась из чего-то удерживающего и взвилась в воздух, но за это мгновение она успела поднять к груди сумку, на ощупь отыскать и наготовить в ней то, что было нужно, и выставленной вперед сумкой снова приоткрыть дверь. Теперь он узнал Тамару Ивановну, лицо его перекошилось то ли от брезгливости, то ли от ужаса. Сумка грохнула выстрелом. Тамаре Ивановне на всю жизнь запомнилось: парень, казалось, начал привставать, чтобы броситься на нее, но это грудь его приподнялась в последнем вздохе, и, прихватив ее рукой, он откинулся на спинку стула, тотчас оттолкнулся и медленно повалился вперед. Упав, он придавил дверь, за которой сидел конвоир, приведший его на «акцию». Когда конвоиру удалось выскочить в коридор, там никого, кроме перепуганных посетителей в дальнем его конце, не было.

Тамара Ивановна успела заскочить в кабинет напротив. Она совсем не помнила себя, но что-то вроде величайшего удивления последней волной окатило ее, когда навстречу ей с не меньшим удивлением поднялся из-за стола Цоколь. Столбняк поразил обо-

их. В кабинете был еще один человек, кавказец, он пытался спрятать в ладонях пачку денег. В ярком, брызжущем искрами, беспмятстве Тамара Ивановна бросила сумку с вырванным от выстрела боком посреди кабинета и, крикнув: «А теперь меня спасайте!» — кинулась к открытому окну и перевалилась через подоконник на крышу хозяйственного пристроя. Грохот раздался такой, будто разверзлась земля. По грохочущему покату крыши, высоко задирая ноги, она добежала до края и, не глядя, не примеряясь, скинулась вниз. Упала неловко и по-куриному распласталась, разбросав руки, точно крылья, не делая попыток подняться.

Потом ее тронули за плечо — огромным усилием она подняла глаза. Над нею стоял пожилой человек в синей форменной рубашке с короткими рукавами. Он наклонился, заглядывая ей в лицо, и, подавая руку, сказал хрипловато, с неподдельным участием:

— Пойдем, милая!

<...>

2003

Вопросы и задания

1. В чем острота нравственной коллизии повести В. Распутина «Прощание с Матёрой»? Как представлены в повести быт и верования «нутряной» России? Что является рубежом, отделяющим матёринских старух от «обсевков», «пожегщиков», делающих «что приказано»?

2. Как соотносится в «Прощании с Матёрой» мир человека и мир природы? В чем нравственно-философский смысл эпизода «ликвидации» царского листовня, на давшегося в руки «исполнителям»? Какое место в символике повести отведено образам живой и неживой природы?

3. Какова роль христианских образов и мотивов в «Прощании с Матёрой»? Что прочитывается в символике финала повести?

4. Как в повести «Дочь Ивана, мать Ивана» отразились трагические реалии современной жизни? Как герои повести решают для себя «вечные» вопросы о соотношении добра и зла, лжи и справедливости, преступления и наказания? Какую ноту вносит распутинская повесть в осмысление наболевших вопросов сегодняшней российской действительности? (См. статью учебника «Валентин Григорьевич Распутин: тема «Прощания с Матёрой», раздел «Литературный процесс 50–80-х годов».)

Александр Исаевич СОЛЖЕНИЦЫН

Р. 1918

МАТРЕНИН ДВОР

На сто восемьдесят четвертом километре от Москвы по ветке, что идет к Мурому и Казани, еще с добрых полгода после того все поезда замедляли свой ход почти как бы до ошупи. Пассажиры льнули к стеклам, выходили в тамбур: чинят пути, что ли? из графика вышел?

Нет. Пройдя переезд, поезд опять набирал скорость, пассажиры усаживались.

Только машинисты знали и помнили, отчего это все.

Да я.

1

Летом 1956 года из пыльной горячей пустыни я возвращался наугад — просто в Россию. Ни в одной точке ее никто меня не ждал и не звал, потому что я задержался с возвратом годиков на десять. Мне просто хотелось в среднюю полосу — без жары, с лиственным рокотом леса. Мне хотелось затесаться и затеряться в самой нутряной России — если такая где-то была, жила.

За год до того по сю сторону Уральского хребта я мог наняться разве таскать носилки. Даже электриком на порядочное строительство меня бы не взяли. А меня тянуло — учительствовать. Говорили мне знающие люди, что нечего и на билет тратить, в пустую проезжу.

Но что-то начинало уже страгиваться. Когда я поднялся по лестнице Владимирского облоно и спросил, где отдел кадров, то с удивлением увидел, что *кадры* уже не сидели здесь за черной кожаной дверью, а за остекленной перегородкой, как в аптеке. Все же я подошел к окошечку робко, поклонился и попросил:

— Скажите, не нужны ли вам математики где-нибудь подальше от железной дороги? Я хочу поселиться там навсегда.

Каждую букву в моих документах перешупали, походили из комнаты в комнату и куда-то звонили. Тоже и для них редкость была — все ведь просят в город, да покрупней. И вдруг-таки дали мне местечко — Высокое Поле. От одного названия веселела душа.

Название не лгало. На взгорке между ложков, а потом других взгорков, цельно-обомкнутое лесом, с прудом и плотинкой, Высокое Поле было тем самым местом, где не обидно бы и жить и умереть. Там я долго сидел в рощице на пне и думал, что от души бы хотел не нуждаться каждый день завтракать и обедать, только бы остаться здесь и ночами слушать, как ветви шуршат по крыше — когда ниоткуда не слышно радио и все в мире молчит.

Увы, там не пекли хлеба. Там не торговали ничем съестным. Вся деревня волокла снесь мешками из областного города.

Я вернулся в отдел кадров и взмолился перед окошечком. Сперва и разговаривать со мной не хотели. Потом все ж подошли из комнаты в комнату, позвонили, поскрипели и отпечатали мне в приказе: «Торфопродукт».

Торфопродукт? Ах, Тургенев не знал, что можно по-русски составить такое!

На станции Торфопродукт, состарившемся временном серо-деревянном бараке, висела строгая надпись: «На поезд садиться только со стороны вокзала!» Гвоздем по доскам было доцарапано: «И без билетов». А у кассы с тем же меланхолическим остроумием было навсегда вырезано ножом: «Билетов нет». Точный смысл этих добавлений я оценил позже. В Торфопродукт легко было приехать. Но не уехать.

А и на этом месте стояли прежде и перестояли революцию дремучие, непрохожие леса. Потом их вырубili — торфопромышленники и соседний колхоз. Председатель его, Горшков, свел под корень изрядно гектаров леса и выгодно сбыв в Одесскую область, на том свой колхоз возвысив, а себе получив Героя Социалистического Труда.

Меж торфяными низинами беспорядочно разбросался поселок — однообразные, худо штукатуренные бараки тридцатых годов и, с резьбой по фасаду, с остекленными верандами, домики пятидесятых. Но внутри этих домиков нельзя было увидеть перегородки, доходящей до потолка, так что не снять мне было комнаты с четырьмя настоящими стенами.

Над поселком дымила фабричная труба. Туда и сюда сквозь поселок проложена была узкоколейка, и паровозики, тоже густо-дымящие, пронзительно свистя, таскали по ней поезда с бурым торфом, торфяными плитами и брикетами. Без ошибки я

мог предположить, что вечером над дверьми клуба будет надрыгаться радиола, а по улице пображивать пьяные да подпыривать друг друга ножами.

Вот куда завела меня мечта о тихом уголке России. А ведь там, откуда я приехал, мог я жить в глинобитной хатке, глядящей в пустыню. Там дул такой свежий ветер ночами и только звездный свод распахивался над головой.

Мне не спалось на станционной скамье, и я чуть свет опять побрел по поселку. Теперь я увидел крохотный базарец. По рани единственная женщина стояла там, торгуя молоком. Я взял бутылку, стал пить тут же.

Меня поразила ее речь. Она не говорила, а напевала умильно, и слова ее были те самые, за которыми потянула меня тоска из Азии:

— Пей, пей с душою желáдной. Ты, потáй, приезжий?

— А вы откуда? — просветлел я.

И узнал, что не все вокруг торфоразработки, что есть за плотном железной дороги — бугор, а за бугром — деревня, и деревня эта — Тáльново, испокон она здесь, еще когда была барыня-«цыганка» и кругом лес лихой стоял. А дальше целый край идет деревень: Часлицы, Овинцы, Спудни, Шевертни, Шести-мирово — все поглуше, от железной дороги подале, к озерам.

Ветром успокоения потянуло на меня от этих названий. Они обещали мне кондовую Россию.

И я попросил мою новую знакомую отвести меня после базара в Тальново и подыскать избу, где бы стать мне квартирантом.

Я оказался квартирантом выгодным: сверх платы сулила школа за меня еще машину торфа на зиму. По лицу женщины прошли заботы уже не умильные. У самой у нее места не было (они с мужем *воспитывали* ее престарелую мать), оттого она повела меня к одним своим родным и еще к другим. Но и здесь не нашлось комнаты отдельной, везде было тесно и лопотно.

Так мы дошли до высыхающей подпруженной речушки с мостиком. Милей этого места мне не приглянулось во всей деревне; две-три ивы, избушка перекособоченная, а по пруду плавали утки, и выходили на берег гуси, отряхиваясь.

— Ну, разве что к Матрене зайдём, — сказала моя проводница, уже уставая от меня. — Только у нее не так уборно, в за́пусхи она живет, болеет.

Дом Матрены стоял тут же, неподалеку, с четырьмя оконцами в ряд на холодную некрасную сторону, крытый щепой, на два ската и с украшенным под теремок чердачным окошком. Дом не низкий — восемнадцать венцов. Однако изгнивала щепа, посерели от старости бревна сруба и ворота, когда-то могучие, и проредилась их обвершка.

Калитка была на запоре, но проводница моя не стала стучать, а просунула руку под низом и отвернула завертку — нехитрую затею против скота и чужого человека. Дворик не был крыт, но в доме многое было под одной связью. За входной дверью внутренние ступеньки поднимались на просторные *мости*, высоко осененные крышей. Налево еще ступеньки вели вверх в *горницу* — отдельный сруб без печи, и ступеньки вниз, в подклеть. А направо шла сама изба, с чердаком и подпольем.

Строено было давно и добротно, на большую семью, а жила теперь одинокая женщина лет шестидесяти.

Когда я вошел в избу, она лежала на русской печи, тут же, у входа, накрытая неопределенным темным тряпьем, таким бесценным в жизни рабочего человека.

Просторная изба, и особенно лучшая приоконная ее часть была уставлена по табуреткам и лавкам — горшками и кадками с фикусами. Они заполнили одиночество хозяйки безмолвной, но живой толпой. Они разрослись привольно, забирая небогатый свет северной стороны. В остатке света и к тому же за трубой кругловатое лицо хозяйки показалось мне желтым, больным. И по глазам ее замутненным можно было видеть, что болезнь измотала ее.

Разговаривая со мной, она так и лежала на печи ничком, без подушки, головой к двери, а я стоял внизу. Она не проявила радости заполучить квартиранта, жаловалась на черный недуг, из приступа которого выходила сейчас: недуг налетал на нее не каждый месяц, но, налетев,

— держит два-дни и три-дни, так что ни встать, ни подать я вам не приспею. А избу бы не жалко, живите.

И она перечисляла мне других хозяек, у кого будет мне покойней и угодней, и слала обойти их. Но я уже видел, что жребий мой был — поселиться в этой темноватой избе с тусклым зеркалом, в которое совсем нельзя было смотреться, с двумя яркими рублевыми плакатами о книжной торговле и об урожае, пове-

шенными на стене для красоты. Здесь было мне тем хорошо, что по бедности Матрена не держала радио, а по одиночеству не с кем было ей разговаривать.

И хотя Матрена Васильевна вынудила меня походить еще по деревне, и хотя в мой второй приход долго отнекивалась:

— Не уметьши, не варемши — как утрафишь? — но уж встретила меня на ногах, и даже будто удовольствие пробудилось в ее глазах оттого, что я вернулся.

Поладили о цене и о торфе, что школа привезет.

Я только потом узнал, что год за годом, многие годы, ниоткуда не зарабатывала Матрена Васильевна ни рубля. Потому что пенсии ей не платили. Родные ей помогали мало. А в колхозе она работала не за деньги — за палочки. За палочки трудней в замусленной книжке учетчика.

Так и поселился я у Матрены Васильевны. Комнаты мы не делили. Ее кровать была в дверном углу у печки, а я свою раскладушку развернул у окна и, отесня от света любимые матренины фикусы, еще у одного окна поставил стол. Электричество же в деревне было — его еще в двадцатые годы подтянули от Шатуры. В газетах писали тогда «лампочки Ильича», а мужики, глаза тараща, говорили: «Царь Огонь!»

Может, кому из деревни, кто побогаче, изба Матрены и не казалась доброжилой, нам же с ней в ту осень и зиму вполне была хороша: от дождей она еще не протекала и ветрами студенными выдувало из нее печное грево не сразу, лишь под утро, особенно тогда, когда дул ветер с прохудившейся стороны.

Кроме Матрены и меня, жили в избе еще: кошка, мыши и тараканы.

Кошка была немолода, а главное — колченога. Она из жалости была Матреной подобрана и прижилась. Хотя она и ходила на четырех ногах, но сильно прихрамывала: одну ногу она берегла, больная была нога. Когда кошка прыгала с печи на пол, звук касания ее о пол не был кошаче-мягок, как у всех, а — сильный одновременный удар трех ног: туп! — такой сильный удар, что я не сразу привык, вздрагивал. Это она три ноги подставляла разом, чтоб уберечь четвертую.

Но не потому были мыши в избе, что колченогая кошка с ними не справлялась: она как молния за ними прыгала в угол и выносила в зубах. А недоступны были мыши для кошки из-за того, что

кто-то когда-то, еще по хорошей жизни, оклеил матренину избу рифлеными зеленоватыми обоями, да не просто в слой, а в пять слоев. Друг с другом обои склеились хорошо, от стены же во многих местах отстали — и получилась как бы внутренняя шкура на избе. Между бревнами избы и обоейной шкурой мыши и проделали себе ходы и нагло шуршали, бегая по ним даже и под потолком. Кошка сердито смотрела вслед их шуршанию, а достать не могла.

Иногда ела кошка и тараканов, но от них ей становилось нехорошо. Единственное, что тараканы уважали, это черту перегородки, отделявшей устье русской печи и кухню от чистой избы. В чистую избу они не переползали. Зато в кухне по ночам кишели, и если поздно вечером, зайдя испить воды, я зажигал там лампочку — пол весь, и скамья большая, и даже стена были чуть не сплошь бурыми и шевелились. Приносил я из химического кабинета буры, и, смешивая с тестом, мы их травили. Тараканов мeleno, но Матрена боялась отравить вместе с ними и кошку. Мы прекращали подсышку яда, и тараканы плодились вновь.

По ночам, когда Матрена уже спала, а я занимался за столом, — редкое быстрое шуршание мышей под обоями покрывалось слитным, единым, непрерывным, как далекий шум океана, шорохом тараканов за перегородкой. Но я свыкся с ним, ибо в нем не было ничего злого, в нем не было лжи. Шуршанье их — была их жизнь.

И с грубой плакатной красавицей я свыкся, которая со стены постоянно протягивала мне Белинского, Панферова и еще стопу каких-то книг, но — молчала. Я со всем свыкся, что было в избе Матрены.

Матрена вставала в четыре-пять утра. Ходикам матрениным было двадцать семь лет как куплены в сельпо. Всегда они шли вперед, и Матрена не беспокоилась — лишь бы не отставали, чтоб утром не запоздниться. Она включала лампочку за кухонной перегородкой и тихо, вежливо, стараясь не шуметь, топила русскую печь, ходила доить козу (все животы ее были — одна эта грязно-белая криворогая коза), по воду ходила и варила в трех чугунах: один чугунок — мне, один — себе, один — козе. Козе она выбирала из подполья самую мелкую картошку, себе — мелкую, а мне — с куриное яйцо. Крупной же картошки огород ее песчаный, с довоенных лет не удобренный и всегда засаживаемый картошкой, картошкой и картошкой, — крупной не давал.

Мне почти не слышались ее утренние хлопоты. Я спал долго, просыпался на позднем зимнем свету и потягивался, высовывая голову из-под одеяла и тулупа. Они да еще лагерная телогрейка на ногах, а снизу мешок, набитый соломой, хранили мне тепло даже в те ночи, когда стужа толкалась с севера в наши хилые оконца. Услышав за перегородкой сдержанный шумок, я всякий раз размеренно говорил:

— Доброе утро, Матрена Васильевна!

И всегда одни и те же доброжелательные слова раздавались мне из-за перегородки. Они начинались каким-то низким теплым мурчанием, как у бабушек в сказках:

— М-м-мм... также и вам!

И немного погодя:

— А завтрак вам приспе-ел.

Что на завтрак, она не объявляла, да это и догадаться было легко: *картовь* необлупленная, или суп *картонный* (так выговаривали все в деревне), или каша ячневая (другой крупы в тот год нельзя было купить в Торфопродукте, да и ячневую-то с бою — как самой дешевой ею откармливали свиней и мешками брали). Не всегда это было посолено, как надо, часто пригорало, а после еды оставляло налет на небе, деснах и вызывало изжогу.

Но не Матрены в том была вина: не было в Торфопродукте и масла, маргарин нарасхват, а свободно только жир комбинированный. Да и русская печь, как я пригляделся, неудобна для стряпни: варка идет скрыто от стряпухи, жар к чутунку подступает с разных сторон неравномерно. Но потому, должно быть, пришла она к нашим предкам из самого каменного века, что, протопленная раз на досветьи, весь день хранит в себе теплыми корм и пойло для скота, пищу и воду для человека. И спать тепло.

Я покорно съедал все наваренное мне, терпеливо откладывал в сторону, если попадалось что неурядное: волос ли, торфа кусочек, тараканья ножка. У меня не хватало духу упрекнуть Матрену. В конце концов, она сама же меня предупреждала: «Не уметьши, не варемши — как утрафишь?»

— Спасибо, — вполне искренне говорил я.

— На чем? На своем на добром? — обезоруживала она меня лучезарной улыбкой. И, простодушно глядя блекло-голубыми глазами, спрашивала: — Ну, а к ужоткому что вам приготовить?

К *ужоткому* значило — к вечеру. Ел я дважды в сутки, как на фронте. Что мог я заказать к ужоткому? Все из того же, картовь или суп картонный.

Я мирился с этим, потому что жизнь научила меня не в еде находить смысл повседневного существования. Мне дороже была эта улыбка ее круглового лица, которую, заработав наконец на фотоаппарат, я тщетно пытался уловить. Увидев на себе холодный глаз объектива, Матрена принимала выражение или натянутое, или повышенно-суровое.

Раз только запечатлел я, как она улыбалась чему-то, глядя в окошко на улицу.

В ту осень много было у Матрены обид. Вышел перед тем новый пенсионный закон, и надоумили ее соседки добиваться пенсии. Была она одинокая кругом, а с тех пор, как стала сильно болеть — и из колхоза ее отпустили. Наворочено было много несправедливостей с Матрепой: она была больна, но не считалась инвалидом; она четверть века проработала в колхозе, но потому что не на заводе — не полагалось ей пенсии *за себя*, а добиваться можно было только *за мужа*, то есть за утерю кормильца. Но мужа не было уже пятнадцать лет, с начала войны, и нелегко было теперь добыть те справки с разных мест о его *стáше* и сколько он там получал.хлопоты были — добыть эти справки, и чтоб написали все же, что получал он в месяц хоть рублей триста; и справку заверить, что живет она одна и никто ей не помогает; и с года она какого; и потом все это носить в собес; и перенашивать, исправляя, что сделано не так; и еще носить. И узнавать — дадут ли пенсию.

хлопоты эти были тем затруднены, что собес от Тальнова был в двадцати километрах к востоку, сельский совет — в десяти километрах к западу, а поселковый — к северу, час ходьбы. Из канцелярии в канцелярию и гоняли ее два месяца — то за точкой, то за запятой. Каждая проходка — день. Сходит в сельсовет, а секретаря сегодня нет, просто так вот нет, как это бывает в селах. Завтра, значит, опять иди. Теперь секретарь есть, да печати у него нет. Третий день опять иди. А четвертый день иди потому, что сослепу они не на той бумажке расписались, бумажки-то все у Матрены одной пачкой сколоты.

— Притесняют меня, Игнатич, — жаловалась она мне после таких бесплодных проходов. — Иззаботилась я.

Но лоб ее недолго оставался омраченным. Я заметил: у нее было верное средство вернуть себе хорошее расположение духа — работа. Тотчас же она или хваталась за лопату и копала картовь. Или с мешком под мышкой шла за торфом. А то с плетеным кузовом — по ягоды в дальний лес. И не столам конторским кланяясь, а лесным кустам, да наломавши спину ношей, в избу возвращалась Матрена уже просветленная, всем довольная, со своей доброй улыбкой.

— Теперича я зуб наложила, Игнатич, знаю, где брать, — говорила она о торфе. — Ну и местечко, люботá одна!

— Да Матрена Васильевна, разве моего торфа не хватит? Машина целая.

— Фу-у! твоего торфу! Еще столько, да еще столько — тогда, бывает, хватит. Тут как зима закрутит, да дуэль в окна, так не только топишь, сколько выдувает. Летось мы торфу натаскивали сколища! Я ли бы и теперь три машины не натакала? Так вот ловят. Уж одну бабу нашу по судам тягают.

Да, это было так. Уже закруживалось пугающее дыхание зимы — и щемило сердца. Стояли вокруг леса, а топки взять было негде. Рычали кругом экскаваторы на болотах, но не продавалось торфу жителям, а только везли — начальству, да кто при начальстве, да по машине — учителям, врачам, рабочим завода. Топлива не было положено — и спрашивать о нем не полагалось. Председатель колхоза ходил по деревне, смотрел в глаза требовательно или мутно, или простодушно и о чем угодно говорил, кроме топлива. Потому что сам он запаса. А зимы не ожидалось.

Что ж, воровали раньше лес у барина, теперь тянули торф у треста. Бабы собирались по пять, по десять, чтобы смелей. Ходили днем. За лето накопано было торфу повсюду и сложено штабелями для просушки. Этим и хорош торф, что, добыв, его не могут увезти сразу. Он сохнет до осени, а то и до снега, если дорога не станет или трест затомошил. Это-то время бабы его и брали. Зараз уносили в мешке торфин шесть, если были сыроваты, торфин десять, если сухие. Одного мешка такого, принесенного иногда километра за три (и весил он пуда два), хватало на одну протопку. А дней в зиме двести. А топить надо: утром русскую, вечером «голландку».

— Да чего говорить обáпол! — сердилась Матрена на кого-то невидимого. — Как лошадей не стало, так чего на себе не при-

прешь, того и в дому нет. Спина у меня никогда не заживает. Зимой салазки на себе, летом вязанки на себе, ей-богу правда!

Ходили бабы в день — не по разу. В хорошие дни Матрена приносила по шесть мешков. Мой торф она сложила открыто, свой прятала под мостами, и каждый вечер забивала лаз доской.

— Разве уж догадаются, враги, — улыбалась она, вытирая пот со лба, — а то ни в жисть не найдут.

Что было делать тресту? Ему не отпускатось штатов, чтобы расставлять караульчиков по всем болотам. Приходилось, наверно, показав обильную добычу в сводках, затем списывать — на крошку, на дожди. Иногда, порывами, собирали патруль и ловили баб у входа в деревню. Бабы бросали мешки и разбегались. Иногда, по доносу, ходили по домам с обыском, составляли протокол на незаконный торф и грозились передать в суд. Бабы на время бросали носить, но зима надвигалась и снова гнала их — с санками по ночам.

Вообще, приглядываясь к Матрене, я замечал, что, помимо стряпни и хозяйства, на каждый день у нее приходилось и какое-нибудь другое немалое дело; закономерный порядок этих дел она держала в голове и, проснувшись поутру, всегда знала, чем сегодня день ее будет занят. Кроме торфа, кроме сбора старых пеньков, вывороченных трактором на болоте, кроме брусники, намачиваемой на зиму в четвертях («Поточи зубки, Игнатич», — угощала меня), кроме копки картошки, кроме беготни по пенсионному делу, она должна была еще где-то раздобывать сенца для единственной своей грязно-белой козы.

— А почему вы коровы не держите, Матрена Васильевна?

— Э-эх, Игнатич, — разъясняла Матрена, стоя в нечистом фартуке в кухонном дверном вырезе и оборотясь к моему столу. — Мне молока и от козы хватит. А корову заведи, так она меня самою с ногами съест. У полотна не скоси — там свои хозяева, и в лесу косить нету — лесничество хозяин, и в колхозе мне не велят — не колхозница, мол, теперь. Да они и колхозницы до самых белых мух все в колхоз, все в колхоз, а себе уж из-под снега — что за трава?.. По-бывалощному кипели с сеном в межень, с Петрова до Ильина. Считалось, трава — медовая...

Так, одной утленьной козе собрать было сена для Матрены — труд великий. Брала она с утра мешок и серп и уходила в места, которые помнила, где трава росла по обмежкам, по задороге, по островкам среди болота. Набив мешок свежей тяжелой тра-

вой, она тащила ее домой и во дворике у себя раскладывала пластом. С мешка травы получалось подсохшего сена — навильник.

Председатель новый, недавний, присланный из города, первым делом обрезал всем инвалидам огорода. Пятнадцать соток песочка оставил Матрене, а десять соток так и пустовало за забором. Впрочем, и за пятнадцать соток потягивал колхоз Матрену. Когда рук не хватало, когда отнекивались бабы уж очень упорно, жена председателя приходила к Матрене. Она была тоже женщина городская, решительная, коротким серым пальто и грозным взглядом как бы военная.

Она входила в избу и, не здороваясь, строго смотрела на Матрену. Матрена мешалась.

— Та-ак, — раздельно говорила жена председателя. — Товарищ Григорьева! Надо будет помочь колхозу! Надо будет завтра ехать навоз вывозить!

Лицо Матрены складывалось в извиняющую полуулыбку — как будто ей было совестно за жену председателя, что та не могла ей заплатить за работу.

— Ну что ж, — тянула она. — Я больна, конечно. И к делу вашему теперь не присоединена. — И тут же спешно исправлялась: — Кóму часу приходиться-то?

— И вилы свои бери! — наставляла председательша и уходила, шурша твердой юбкой.

— Во как! — пеняла Матрена вслед. — И вилы свои бери! Ни лопат, ни вил в колхозе нету. А я без мужика живу, кто мне насадит?..

И размышляла потом весь вечер:

— Да что говорить, Игнатич! Ни к столбу, ни к нерилу эта работа. Станешь, об лопату опершись, и ждешь, скоро ли с фабрики гудок на двенадцать. Да еще заведутся бабы, счеты сводят, кто вышел, кто не вышел. Когда, бывалоча, *по себе* работали, так никакого *звуку* не было, только ой-ой-ойиньки, вот обед подкаптал, вот вечер подступил.

Все же поутру она уходила со своими вилами.

Но не колхоз только, а любая родственница дальняя или просто соседка приходила тоже к Матрене с вечера и говорила:

— Завтра, Матрена, придешь мне пособить. Картошку будем докапывать.

И Матрена не могла отказать. Она покидала свой черед дел, шла помогать соседке и, воротясь, еще говорила без тени зависти:

— Ах, Игнатич, и крупная ж картошка у нее! В охотку копала, уходить с участка не хотелось, ей-богу правда!

Тем более не обходилась без Матрены ни одна пахота огорода. Тальновские бабы установили доточно, что одной вскопать свой огород лопатой тяжеле и дольше, чем, взяв соху и вшестером впрягшись, вспахать на себе шесть огородов. На то и звали Матрену в помощь.

— Что ж, платили вы ей? — приходилось мне потом спрашивать.

— Не берет она денег. Уж поневоле ей вопрятаешь.

Еще суета большая выпадала Матрене, когда подходила ее очередь кормить козких пастухов: одного — здорового, *не-моглу́хого*, и второго — мальчишку с постоянной слюнявой цыгаркой в зубах. Очередь эта была в полтора месяца раз, но вгоняла Матрену в большой расход. Она шла в сельпо, покупала рыбные консервы, расстарывалась и сахару и масла, чего не ела сама. Оказывается, хозяйки выкладывались друг перед другом, стараясь накормить пастухов получше.

— Бойся портного да пастуха, — объясняла она мне. — По всей деревне тебя ославят, если что им не так.

И в эту жизнь, густую заботами, еще врывалась временами тяжелая немочь, Матрена валилась и сутки-двое лежала пластом. Она не жаловалась, не стонала, но и не шевелилась почти. В такие дни Маша, близкая подруга Матрены, с самых молодых годков, приходила обихаживать козу да топить печь. Сама Матрена не пила, не ела и не просила ничего. Вызвать на дом врача из поселкового медпункта было в Тальнове вдиво, как-то неприлично перед соседями — мол, барыня. Вызывали однажды, та приехала злая очень, велела Матрене, как отлежится, приходить на медпункт самой. Матрена ходила против воли, брали анализы, посылали в районную больницу — да так и заглохло.

Дела звали к жизни. Скоро Матрена начинала вставать, сперва двигалась медленно, а потом опять живо.

— Это ты меня прежде не видал, Игнатич, — оправдывалась она. — Все мешки мои были, по пять пудов тѣжелью не считала. Свекор кричал: «Матрена! Спину сломаешь!» Ко мне дивирь не подходил, чтоб мой конец бревна на передок посадить. Конь был военный у нас, Волчок, здоровый...

— А почему военный?

— А нашего на войну забрали, этого подраненного — взамен. А он стиховой какой-то попался. Раз с испугу сани понес в озеро, мужики отскакивали, а я, правда, за узду схватила, остановила. Овсяной был конь. У нас мужики любили лошадей кормить. Которые кони овсяные, те и тйжели не признают.

Но отнюдь не была Матрена бесстрашной. Боялась она пожара, боялась *молоньй*, а больше всего почему-то — поезда.

— Как мне в Черусти ехать, с Нечаевки поезд вылезет, глаза здоровенные свои вылупит, рельсы гудят — аж в жар меня бросает, коленки трясутся. Ей-богу правда! — сама удивлялась и пожимала плечами Матрена.

— Так, может, потому, что билетов не дают, Матрена Васильевна?

— В окошечко? Только мягкие суют. А уж поезд — трогацать! Мечемся туда-сюда: да взойдите ж в сознание! Мужики — те по лесенке на крышу полезли. А мы нашли дверь незапертую, вперлись прям так, без билетов — а вагоны-то все *простые* идут, все простые, хоть на полке растягивайся. Отчего билетов не давали, паразиты несочувственные, — не знато...

Все же к той зиме жизнь Матрены наладилась как никогда. Стали-таки платить ей рублей восемьдесят пенсии. Еще сто с лишком получала она от школы и от меня.

— Фу-у! Теперь Матрене и умирать не надо! — уже начинали завидовать некоторые из соседок. — Больше денег ей, старой, и давать некуда.

— А что — пенсия? — возражали другие. — Государство — оно минутное. Сегодня, вишь, дало, а завтра отымет.

Заказала себе Матрена скатать новые валенки. Купила новую телогрейку. И справила пальто из ношеной железнодорожной шинели, которую подарил ей машинист из Черустей, муж ее бывшей воспитанницы Киры. Деревенский портной-горбун подложил под сукно ваты, и такое славное пальто получилось, какого за шесть десятков лет Матрена не нашивала.

И в середине зимы зашила Матрена в подкладку этого пальто двести рублей — себе на похороны. Повеселела.

— Маненько и я спокой увидала, Игнатич.

Прошел декабрь, прошел январь — за два месяца не посетила ее болезнь. Чаше Матрена по вечерам стала ходить к Маше посидеть, семячки поцелкать. К себе она гостей по вечерам не звала, уважая

мои занятия. Только на крещение, воротясь из школы, я застал в избе пляску и познакомлен был с тремя матрениными родными сестрами, звавшими Матрену как старшую — лелька или нянька. До этого дня мало было в нашей избе слышно о сестрах — то ли опасались они, что Матрена будет просить у них помощи?

Одно только событие или предзнаменование омрачило Матрене этот праздник: ходила она за пять верст в церковь на водосвятие, поставила свой котелок меж других, а когда водосвятие кончилось и бросились бабы, толкаясь, разбирать — Матрена не поспела средь первых, а в конце — не оказалось ее котелка. И взамен котелка никакой другой посуды тоже оставлено не было. Исчез котелок, как дух нечистый его унес.

— Бабоньки! — ходила Матрена среди молящихся. — Не прихватил ли кто неуладкой чужую воду освященную? в котелке?

Не признался никто. Бывает, мальчишки созоровали, были там и мальчишки. Вернулась Матрена печальная. Всегда у нее бывала святая вода, а на этот год не стало.

Не сказать, однако, чтобы Матрена верила как-то истово. Даже скорей была она язычница, брали в ней верх суеверия: что на Ивана Постного в огород зайти нельзя — на будущий год урожая не будет; что если мятель крутит — значит, кто-то где-то удавился, а дверью ногу прищемишь — быть гостю. Сколько жил я у нее — никогда не видал ее молящейся, ни чтоб она хоть раз перекрестилась. А дело всякое начинала «с Богом!» и мне всякий раз «с Богом!» говорила, когда я шел в школу. Может быть, она и молилась, но не показно, стесняясь меня или боясь меня притеснить. Был святой угол в чистой избе, и иконка Николая Угодника в кухоньке. Забудни стояли они темные, а во время всенощной и с утра по праздникам зажигала Матрена лампадку.

Только грехов у нее было меньше, чем у ее колченогой кошки. Та — мышей душила...

Немного выдравшись из колотной своей житенки, стала Матрена повнимательней слушать и мое радио (я не преминул поставить себе *разведку* — так Матрена называла розетку. Мой приемничек уже не был для меня бич, потому что я своей рукой мог его выключить в любую минуту; но, действительно, выходил он для меня из глухой избы — разведкой). В тот год повелось по две — по три иностранных делегации в неделю принимать, провожать и возить по многим городам, собирая митинги.

И что ни день, известия полны были важными сообщениями о банкетах, обедах и завтраках.

Матрена хмурилась, неодобрительно вздыхала:

— Ездят-ездят, чего-нибудь наездят.

Услышав, что машины изобретены новые, ворчала Матрена из кухни:

— Все новые, новые, на старых работать не хотят, куды старые складывать будем?

Еще в тот год обещали искусственные спутники Земли. Матрена качала головой с печи:

— Ой-ой-ойиньки, чего-нибудь изменят, зиму или лето.

Исполнял Шаляпин русские песни. Матрена стояла-стояла, слушала и проговорила решительно:

— Чудно́ поют, не по-нашему.

— Да что вы, Матрена Васильевна, да прислушайтесь!

Еще послушала. Сжала губы:

— Не. Не так. Ладу не нашего. И голосом балует.

Зато и вознаградила меня Матрена. Передавали как-то концерт из романсов Глинки. И вдруг после пятка камерных романсов Матрена, держась за фартук, вышла из-за перегородки расстепленная, с пеленой слезы в неярких своих глазах:

— А вот это — по-нашему... — прошептала она.

2

Так привыкли Матрена ко мне, а я к ней, и жили мы запросто. Не мешала она моим долгим вечерним занятиям, не досаждала никакими расспросами. До того отсутствовало в ней бабье любопытство или до того она была деликатна, что не спросила меня ни разу: был ли я когда женат? Все тальновские бабы приставали к ней — узнать обо мне. Она им отвечала:

— Вам нужно — вы и спрашивайте. Знаю одно — *дальний* он.

И когда нескоре я сам сказал ей, что много провел в тюрьме, она только молча покивала головой, как бы подозревала и раньше.

А я тоже видел Матрену сегодняшнюю, потерянную старуху, и тоже не бередил ее прошлого, да и не подозревал, чтоб там было что искать.

Знал я, что замуж Матрена вышла еще до революции, и сразу в эту избу, где мы жили теперь с ней, и сразу *к печке* (то есть

не было в живых ни свекрови, ни старшей золовки незамужней, и с первого послебрачного утра Матрена взялась за ухват). Знал, что детей у нее было шестеро и один за другим умирали все очень рано, так что двое сразу не жило. Потом была какая-то воспитанница Кира. А муж Матрены не вернулся с этой войны. Похоронного тоже не было. Односельчане, кто был с ним в роте, говорили, что либо в плен он попал, либо погиб, а только тела не нашли. За одиннадцать послевоенных лет решила и Матрена сама, что он не жив. И хорошо, что думала так. Хотя и был бы теперь он жив — так женат где-нибудь в Бразилии или в Австралии. И деревня Тальново, и язык русский изглаживаются из памяти его...

Раз, придя из школы, я застал в нашей избе гостя. Высокий черный старик, сняв на колени шапку, сидел на стуле, который Матрена выставила ему на середину комнаты, к печке-«голландке». Все лицо его облегалі густые черные волосы, почти не тронутые сединой: с черной окладистой бородой сливались усы густые, черные, так что рот был виден едва; и непрерывные бакены черные, едва выказывая уши, поднимались к черным космам, свисавшим с темени; и еще широкие черные брови мостами были брошены друг другу навстречу. И только лоб уходил лысым куполом в лысую просторную маковку. Во всем облике старика показалось мне многознание и достоинство. Он сидел ровно, сложив руки на посохе, посох же отвесно уперев в пол, — сидел в положении терпеливого ожидания и, видно, мало разговаривал с Матреной, возившейся за перегородкой.

Когда я пришел, он плавно повернул ко мне величавую голову и назвал меня внезапно:

— Батюшка!.. Вижу вас плохо. Сын мой учится у вас. Григорьев Антошка...

Дальше мог бы он и не говорить... При всем моем порыве помочь этому почтенному старику заранее знал я и отвергал все то бесполезное, что скажет старик сейчас. Григорьев Антошка был круглый румяный малец из 8-го «Г», выглядевший, как кот после блинов. В школу он приходил как бы отдохнуть, за партой сидел и улыбался лениво. Уж тем более он никогда не готовил уроков дома. Но, главное, борясь за тот высокий процент успеваемости, которым славились школы нашего района, нашей области и соседних областей, — из году в год его переводили, и он ясно усво-

ил, что, как бы учителя ни грозились, все равно в конце года переведут, и не надо для этого учиться. Он просто смеялся над нами. Он сидел в 8-м классе, однако не владел дробями и не различал, какие бывают треугольники. По первым четвертям он был в цепкой хватке моих двоек — и то же ожидало его в третьей четверти.

Но этому полуслепому старику, годному Антошке не в отцы, а в деды, и пришедшему ко мне на униженный поклон, — как было сказать теперь, что год за годом школа его обманывала, дальше же обманывать я не могу, иначе развалю весь класс, и превращусь в балаболку, и плевать должен буду на весь свой труд и звание свое?

И теперь я терпеливо объяснял ему, что запущено у сына очень, и он в школе и дома лжет, надо дневник проверять у него почаще и круто браться с двух сторон.

— Да уж куда крутей, батюшка, — заверил меня гость. — Бью его теперь, что неделя. А рука тяжелая у меня.

В разговоре я вспомнил, что уже один раз и Матрена сама почему-то ходатайствовала за Антошку Григорьева, но я не спросил, что за родственник он ей, и тоже тогда отказал. Матрена и сейчас стала в дверях кухонки бессловесной просительницей. И когда Фаддей Миронович ушел от меня с тем, что будет заходить-узнавать, я спросил:

— Не пойму, Матрена Васильевна, как же этот Антошка вам приходится?

— Дивиря моего сын, — ответила Матрена суховато и ушла доить козу.

Разочтя, я понял, что черный настойчивый этот старик — родной брат мужа ее, без вести пропавшего.

И долгий вечер прошел — Матрена не касалась больше этого разговора. Лишь поздно вечером, когда я думать забыл о старике и писал свое в тишине избы под шорох тараканов и постук ходиков, — Матрена вдруг из темного своего угла сказала:

— Я, Игнатич, когда-то за него чуть замуж не вышла.

Я и о Матрене-то самой забыл, что она здесь, не слышал ее, — но так взволнованно она это сказала из темноты, будто и сейчас еще тот старик домогался ее.

Видно, весь вечер Матрена только об том и думала.

Она поднялась с убогой тряпичной кровати и медленно вышла ко мне, как бы идя за своими словами. Я откинулся — и в первый раз совсем по-новому увидел Матрену.

Верхнего света не было в нашей большой комнате, как лесом заставленной фикусами. От настольной же лампы свет падал кругом только на мои тетради, — а по всей комнате глазам, оторвавшимся от света, казался полумрак с розовинкой. И из него выступала Матрена. И щеки ее померещились мне не желтыми, как всегда, а тоже с розовинкой.

— Он за меня первый сватался... раньше Ефима... Он был брат — старший... Мне было девятнадцать, Фаддею — двадцать три... Вот в этом самом доме они тогда жили. Ихний был дом. Ихним отцом строенный.

Я невольно оглянулся. Этот старый серый изгнивающий дом вдруг сквозь блекло-зеленую шкуру обоев, под которыми бегали мыши, проступил мне молодыми, еще не потемневшими тогда, стругаными бревнами и веселым смолистым запахом.

— И вы его?.. И что же?..

— В то лето... ходили мы с ним в рощу сидеть, — прошептала она. — Тут роща была, где теперь конный двор, вырубили ее... Без малого не вышла, Игнатич. Война германская началась. Взяли Фаддея на войну.

Она уронила это — и вспыхнул передо мной голубой, белый и желтый июль четырнадцатого года: еще мирное небо, плывущие облака и народ, кипящий со спелым жнивом. Я представил их рядом: смоляного богатыря с косой через спину; ее, румяную, обнявшую сноп. И — песню, песню под небом, какие давно уже отстала деревня петь, да и не споешь при механизмах.

— Пошел он на войну — пропал... Три года затаилась я, ждала. И ни весточки, и ни косточки...

Обязанное старческим слинявшим платочком смотрело на меня в не прямых мягких отсветах лампы круглое лицо Матрены — как будто освобожденное от морщин, от будничного небрежного наряда — испуганное, девичье, перед страшным выбором.

Да. Да... Понимаю... Облетали листья, падал снег — и потом таял. Снова пахали, снова сеяли, снова жали. И опять облетали листья, и опять падал снег. И одна революция. И другая революция. И весь свет перевернулся.

— Мать у них умерла — и присватался ко мне Ефим. Мол, в нашу избу ты идти хотела, в нашу и иди. Был Ефим моложе меня на год. Говорят у нас: умная выходит после Покровá, а дура — после Петровá. Рук у них не хватало. Пошла я... На Петров

день повенчались, а к Миколу зимнему — вернулся Фаддей... из венгерского плена.

Матрена закрыла глаза.

Я молчал.

Она обернулась к двери, как к живой:

— Стал на пороге. Я как закричу! В колена б ему бросилась!.. Нельзя... Ну, говорит, если б то не брат мой родной — я бы вас порубал обоих!

Я вздрогнул. От ее надрыва или страха я живо представил, как он стоит там, черный, в темных дверях, и топором замахнулся на Матрену.

Но она успокоилась, оперлась о спинку стула перед собой и певуче рассказывала.

— Ой-ой-ойиньки, головушка бедная! Сколько невест было на деревне — не женился. Сказал: буду имячко твое искать, вторую Матрену. И привел-таки себе из Липовки Матрену, срубили избу отдельную, где и сейчас живут, ты каждый день мимо их в школу ходишь.

Ах, вот оно что! Теперь я понял, что видел ту вторую Матрену не раз. Не любил я ее: всегда приходила она к моей Матрене жаловаться, что муж ее бьет, и скаред муж, жилы из нее вытягивает, и плакала здесь подолгу, и голос-то всегда у нее был па слезе.

Но выходило, что не о чем моей Матрене жалеть — так бил Фаддей свою Матрену всю жизнь и по сей день и так зажал весь дом.

— Меня *сам* ни разику не бил, — рассказывала она о Ефиме. — По улице на мужиков с кулаками бегал, а меня — ни разику. То есть был-таки раз — я с золовкой поссорилась, он ложку мне об лоб расшибил. Вскочила я от стола. «Захлентулся бы вам, подавиться, трутни!» И в лес ушла. Больше не трогал.

Кажется, и Фаддею не о чем было жалеть: родила ему вторая Матрена тоже шестерых детей (среди них и Антошка мой, самый младший, поскребыш) — и выжили все, а у Матрены с Ефимом дети не стояли: до трех месяцев не доживая и не болея ничем, умирал каждый.

— Одна дочка только родилась, помыли ее живую — тут она и померла. Так мертвую уж обмывать не пришлось... Как свадьба моя была в Петров день, так и шестого ребенка, Александра, в Петров день схоронила.

И решила вся деревня, что в Матрене — порча.

— *Порция* во мне! — убежденно кивала и сейчас Матрена. — Везили меня к монашенке одной бывшей лечиться, она меня на кашель наводила — ждала, что *порция* из меня лягушкой выбросится. Ну, не выбросилась.

И шли года, как плыла вода. В сорок первом не взяли на войну Фаддея из-за слепоты, зато Ефима взяли. И как старший брат в первую войну, так младший без вести исчез во вторую. Но этот вовсе не вернулся. Гнила и старела когда-то шумная, а теперь пустынная изба — и старела в ней беспритульная Матрена.

И попросила она у той второй, забитой, Матрены — чрева ее урывочек (или кровиночку Фаддея?) — младшую их девочку Киру.

Десять лет она воспитывала ее здесь как родную, вместо своих невыстоявших. И незадолго до меня выдала за молодого машиниста в Черусти. Только оттуда ей теперь и помощь сочилась: иногда сахарку, когда поросенка зарежут — сальца.

Страдая от недугов и чая недалекую смерть, тогда же объявила Матрена свою волю: отдельный сруб горницы, расположенный под общей связью с избой, после смерти ее отдать в наследство Кире. О самой избе она ничего не сказала. Еще три сестры ее метили получить эту избу.

Так в тот вечер открылась мне Матрена сполна. И, как это бывает, связь и смысл ее жизни, едва став мне видимыми, — в тех же днях пришли и в движение. Из Черустей приехала Кира, забеспокоился старик Фаддей: в Черустах, чтобы получить и удержать участок земли, надо было молодым поставить какое-нибудь строение. Шла для этого вполне матренина горница. А другого нечего было и поставить, неоткуда лесу взять. И не так сама Кира, и не так муж ее, как за них старый Фаддей загорелся захватить этот участок в Черустах.

И вот он зачастил к нам, пришел раз, еще раз, наставительно говорил с Матреной и требовал, чтоб она отдала горницу теперь же, при жизни. В эти приходы он не показался мне тем опирающимся о посох старцем, который вот развалится от толчка или грубого слова. Хоть и пригорбленный больною поясницей, но все еще статный, старше шестидесяти сохранивший сочную, молодую черноту в волосах, он наседал с горячностью.

Не спала Матрена две ночи. Нелегко ей было решиться. Не жалко было саму горницу, стоявшую без дела, как вообще ни

труда, ни добра своего не жалела Матрена никогда. И горница эта все равно была завещана Кире. Но жутко ей было начать ломать ту крышу, под которой прожила сорок лет. Даже мне, постояльцу, было больно, что начнут отрывать доски и выворачивать бревна дома. А для Матрены было это — конец ее жизни всей.

Но те, кто настаивал, знали, что ее дом можно сломать и при жизни.

И Фаддей с сыновьями и зятьями пришли как-то февральским утром и застучали в пять топоров, завизжали и заскрипели отрываемыми досками. Глаза самого Фаддея деловито поблескивали. Несмотря что спина его не распрямлялась вся, он ловко лазил и под стропила и живо суетился внизу, покрикивая на помощников. Эту избу он парнишкою сам и строил когда-то с отцом; эту горницу для него, старшего сына, и рубили, чтоб он поселился здесь с молодой. А теперь он яро разбирал ее по ребрышкам, чтоб увезти с чужого двора.

Переметив номерами венцы сруба и доски потолочного настила, горницу с подклетью разобрали, а избу саму с укороченными мостами отсекли временной тесовой стеночкой. В стенке они покинули щели, и все показывало, что ломатели — не строители и не предполагают, чтобы Матрене еще долго пришлось здесь жить.

А пока мужчины ломали, женщины готовили ко дню погрузки самогон: водка обошлась бы чересчур дорого. Кира привезла из Московской области пуд сахара, Матрена Васильевна под покровом ночи носила тот сахар и бутылки самогонщику.

Вынесены и соштабелеваны были бревна перед воротами, зять-машинист уехал в Черусти за трактором.

Но в тот же день началась мятель — *дуель*, по-матрениному. Она кутила и кружила двое суток и замела дорогу непомерными сугробами. Потом, чуть дорогу умяли, прошел грузовик-другой — внезапно потеплело, в один день разом распустило, стали сырые туманы, журчали ручьи, прорывшиеся в снегу, и нога в сапоге увязала по все голенище.

Две недели не давалась трактору разломанная горница! Эти две недели Матрена ходила как потерянная. Оттого особенно ей было тяжело, что пришли три сестры ее, все дружно обругали ее дурой за то, что горницу отдала, сказали, что видеть ее больше не хотят, — и ушли.

И в те же дни кошка колченогая сбрела со двора — и пропала. Одно к одному. Еще и это пришибло Матрену.

Наконец стаявшую дорогу прихватило морозом. Наступил солнечный день, и повеселело на душе. Матрене что-то доброе приснилось под тот день. С утра узнала она, что я хочу сфотографировать кого-нибудь за старинным ткацким станом (такие еще стояли в двух избах, на них ткали грубые половики), — и усмехнулась застенчиво:

— Да уж погоди, Игнатич, пару дней, вот горницу, бывает, отпавлю — сложу свой стан, ведь цел у меня — и снимешь тогда. Ей-богу правда!

Видно, привлекало ее изобразить себя в старине. От красного морозного солнца чуть розовым залилось замороженное окошко сеней, теперь укороченных, — и грел этот отсвет лицо Матрены. У тех людей всегда лица хороши, кто в ладах с совестью своей.

Перед сумерками, возвращаясь из школы, я увидел движение близ нашего дома. Большие новые тракторные сани были уже нагружены бревнами, но многое еще не поместилось — и семья деда Фаддея, и приглашенные помогать кончали сбивать еще одни сани, самодельные. Все работали, как безумные, в том ожесточении, какое бывает у людей, когда пахнет большими деньгами или ждут большого угощения. Кричали друг на друга, спорили.

Спор шел о том, как везти сани — порознь или вместе. Один сын Фаддея, хромой, и зять-машинист толковали, что сразу обои сани нельзя, трактор не утянет. Тракторист же, самоуверенный толстомордый здоровяга, хрипел, что ему видней, что он *водитель* и повезет сани вместе. Расчет его был ясен: по уговору машинист платил ему за перевоз горницы, а не за рейсы. Двух рейсов за ночь — по двадцать пять километров да один раз назад — он никак бы не сделал. А к утру ему надо было быть с трактором уже в гараже, откуда он увел его тайком для *левой*.

Старику Фаддею не терпелось сегодня же увезти всю горницу — и он кивнул своим уступить. Вторые, наспех сколоченные сани подцепили за крепкими первыми.

Матрена бегала среди мужчин, суежилась и помогала накатывать бревна на сани. Тут заметил я, что она в моей телогрейке; уже измазала рукава о льдистую грязь бревен, — и с неудовольствием сказал ей об этом. Телогрейка эта была мне память, она грела меня в тяжелые годы.

Так я в первый раз рассердился на Матрену Васильевну.

— Ой-ой-ойиньки, головушка бедная! — озадачилась она. — Ведь я ее бегма подхватила, да и забыла, что твоя. Прости, Игнатич. — И сняла, повесила сушиться.

Погрузка кончилась, и все, кто работал, человек до десяти мужчин, прогремели мимо моего стола и нырнули под занавеску в кухоньку. Оттуда глуховато застучали стаканы, иногда звякала бутыль, голоса становились все громче, похвальба — задорнее. Особенно хвастался тракторист. Тяжелый запах самогона докатился до меня. Но пили недолго — темнота заставляла спешить. Стали выходить. Самодовольный, с жестоким лицом вышел тракторист. Сопровождать сани до Черустей шли зять-машинист, хромой сын Фаддея и еще племянник один. Остальные расходились по домам. Фаддей, размахивая палкой, догонял кого-то, спешил что-то втолковать. Хромой сын задержался у моего стола закурить и вдруг заговорил, как любит он тетку Матрену, и что женился недавно, и вот сын у него родился только что. Тут ему крикнули, он ушел. За окном зарычал трактор.

Последней торопливо выскочила из-за перегородки Матрена. Она тревожно качала головой вслед ушедшим. Надела телогрейку, накинула платок. В дверях сказала мне:

— И что было двух не срядить? Один бы трактор занемог — другой подтянул. А теперь чего будет — Богу весть!..

И убежала за всеми.

После пьяпки, споров и хождения стало особенно тихо в брошенной избе, выстуженной частым открыванием дверей. За окнами уже совсем стемнело. Я тоже влез в телогрейку и сел за стол. Трактор стих в отдалении.

Прошел час, другой. И третий. Матрена не возвращалась, но я не удивлялся: проводив сани, должно быть, ушла к своей Маше.

И еще прошел час. И еще. Не только тьма, но глубокая какая-то тишина опустилась на деревню. Я не мог тогда понять, отчего тишина — оттого, оказалось, что за весь вечер ни одного поезда не прошло по линии в полуверсте от нас. Приемник мой молчал, и я заметил, что очень уж, как никогда, развозились мыши: все нахальней, все шумней они бегали под обоями, скребли и попискивали.

Я очнулся. Был первый час ночи, а Матрена не возвращалась.

Вдруг услышал я несколько громких голосов на деревне. Еще были они далеко, но как подтолкнуло меня, что это к нам. И правда, скоро резкий стук раздался в ворота. Чужой властный голос кричал, чтоб открыли. Я вышел с электрическим фонариком в густую темноту. Деревня вся спала, окна не светились, а снег за неделю притаял и тоже не отсвечивал. Я отвернул нижнюю завертку и впустил. К избе прошли четверо в шинелях. Неприятно это очень, когда ночью приходят к тебе громко и в шинелях.

При свете огляделся я, однако, что у двоих шинели — железнодорожные. Старший, толстый, с таким же лицом, как у того тракториста, спросил:

— Где хозяйка?

— Не знаю.

— А трактор с санями из этого двора уезжал?

— Из этого.

— Они пили тут перед отъездом?

Все четверо щурились, оглядывались в полутьме при настольной лампе. Я так понял, что кого-то арестовали или хотели арестовать.

— Да что случилось?

— Отвечайте, что вас спрашивают!

— Но...

— Поехали пьяные?

— Они пили тут?

Убил ли кто кого? Или перевозить нельзя было горницы? Очень уж они на меня наседали. Но одно было ясно, что за самогонщину Матрене могут дать срок.

Я отступил к кухонной дверке и так перегородил ее собою.

— Право, не заметил. Не видно было.

(Мне и действительно не видно было, только слышно.)

И как бы растерянным жестом я провел рукой, показывая обстановку избы: мирный настольный свет над книгами и тетрадями; толпу испуганных фикусов; суровую койку отшельника. Никаких следов разгула.

Они уже и сами с досадой заметили, что никакой попойки здесь не было. И повернули к выходу, между собой говоря, что, значит, пьянка была не в этой избе, но хорошо бы прихватить,

что была. Я провожал их и допытывался, что же случилось. И только в калитке мне буркнул один:

— Разворотило их всех. Не соберешь.

А другой добавил:

— Да это что! Двадцать первый скорый чуть с рельс не сошел, вот было бы.

И они быстро ушли.

Кого — их? Кого — всех? Матрена-то где?..

Я вернулся в избу, отвел полог и прошел в кухню. Самогонный смрад ударил в меня. Это было застывшее побоище — сгруженных табуреток и скамьи, пустых лежащих бутылок и одной неоконченной, стаканов, недоеденной селедки, лука и раскропанного сала.

Все было мертво. И только тараканы спокойно ползали по полу битвы.

Я кинулся все убирать. Я полоскал бутылки, убирал еду, разносил стулья, а остаток самогона спрятал в темное подполье подалее.

И лишь когда я все это сделал, я встал пнем посреди пустой избы: что-то сказано было о двадцать первом скором. К чему?.. Может, надо было все это показать им? Я уже сомневался. Но что за манера проклятая — ничего не объяснить нечиновному человеку?

И вдруг скрипнула наша калитка. Я быстро вышел на мосты:

— Матрена Васильевна?

В избу, пошатываясь, вошла ее подруга Маша:

— Матрена-то... Матрена-то наша, Игнатич...

Я усадил ее, и, мешая со слезами, она рассказала.

На переезде — горка, взезд крутой. Шлагбаума нет. С первыми санями трактор перевалил, а трос лопнул, и вторые сани, самодельные, на переезде застряли и разваливаться начали — Фаддей для них лесу хорошего не дал, для вторых саней. Отвезли чутки первые — за вторыми вернулись, трос ладил — тракторист и сын Фаддея хромой, и туда же, меж трактором и санями понесло и Матрену. Что она там подсобить могла мужикам? Вечно она в мужичьи дела мешалась. И конь когда-то ее чуть в озеро не сшиб, под прорубь. И зачем на переезд проклятый пошла? — отдала горницу, и весь ее долг, рассчиталась... Машинист все смотрел, чтобы с Черустей поезд не нагрязнул, его б фонари

далеко видать, а с другой стороны, от станции нашей, шли два паровоза сцепленных — без огней и задом. Почему без огней — неведомо, а когда паровоз задом идет — машинисту с тендера сыплет в глаза пылью угольной, смотреть плохо. Налетели — и в мясо тех троих расплющили, кто между трактором и санями. Трактор изувечили, сани в щепки, рельсы вздыбили, и паровоза оба набок.

— Да как же они не слышали, что паровозы подходят?

— Да трактор-то заведенный орет.

— А с трупами что?

— Не пускают. Оцепили.

— А что я про скорый слышал... будто скорый?..

— А скорый десятичасовой — нашу станцию с ходу, и тоже к переезду. Но как паровозы рухнули — машинисты два уцелели, прыгнули и побежали назад, и руками махают, на рельсы ставши — и успели поезд остановить... Племянника тоже бревном покалечило. Прячется сейчас у Клавки, чтоб не знали, что он на переезде был. А то ведь затягают свидетелем!.. Незнайка на печи лежит, а зайку на веревочке ведут... А муж Киркин — ни царапины. Хотел повеситься, из петли вынули. Из-за меня, мол, тетя погибла и брат. Сейчас пошел сам, арестовался. Да его теперь не в тюрьму, его в дом безумный. Ах, Матрена-Матренушка!..

Нет Матрены. Убит родной человек. И в день последний я укорил ее за телогрейку.

Разрисованная красно-желтая баба с книжного плаката радостно улыбалась.

Тетя Маша еще посидела, поплакала. И уже встала, чтоб идти. И вдруг спросила:

— Игнатич! Ты помнишь... вязаночка серая была у Матрены... Она ведь ее после смерти прочила Таньке моей, верно?

И с надеждой смотрела на меня в полутьме — неужели я забыл? Но я помнил:

— Прочила, верно.

— Так слушай, может, разреши я ее заберу сейчас? Утром тут родня налетит, мне уж потом не получить.

И опять с мольбой и надеждой смотрела на меня — ее полувековая подруга, единственная, кто искренно любил Матрену в этой деревне...

Наверно, так надо было.

— Конечно... Берите... — подтвердил я.

Она открыла сундучок, достала вязанку, сунула под полу и ушла...

Мышами овладело какое-то безумие, они ходили по стенам ходенем, и почти зримыми волнами перекатывались зеленые обои над мышинными спинами.

Идти мне было некуда. Еще придут сами ко мне, допрашивать. Утром ждала меня школа. Час ночи был третий. И выход был: запереться и лечь спать.

Запереться, потому что Матрена не придет.

Я лег, оставив свет. Мыши пищали, стонали почти, и все бежали, бежали. Уставшей бессвязной головой нельзя было отделаться от невольного трепета — как будто Матрена невидимо металась и прощалась тут, с избой своей.

И вдруг в притемке у входных дверей, на пороге, я вообразил себе черного молодого Фаддея с занесенным топором.

«Если б то не брат мой родной — порубал бы я вас обоих!»

Сорок лет пролежала его угроза в углу, как старый тесак, — а ударила-таки.

3

На рассвете женщины привезли с переезда на санках под накинутым грязным мешком — все, что осталось от Матрены. Скинули мешок, чтоб обмывать. Все было месиво — ни ног, ни половины туловища, ни левой руки. Одна женщина перекрестилась и сказала:

— Ручку-то правую оставил ей Господь. Там будет Богу молиться.

И вот всю толпу фикусов, которых Матрена так любила, что, проснувшись когда-то ночью в дыму, не избу бросилась спасать, а валить фикусы на пол (не задохнулись бы от дыму), — фикусы вынесли из избы. Чисто вымели полы. Тусклое матренино зеркало завесили широким полотенцем старой домашней вытоки. Сняли со стены праздные плакаты. Сдвинули мой стол. И к окнам, под образа, поставили на табуретках гроб, сколоченный без затей.

А в гробу лежала Матрена. Чистой простыней было покрыто ее отсутствующее изуродованное тело, и голова охвачена белым платком, — а лицо осталось целехонькое, спокойное, больше живое, чем мертвое.

Деревенские приходили постоять-посмотреть. Женщины приводили и маленьких детей взглянуть на мертвую. И если начинался плач, все женщины, хотя бы зашли они в избу из пустого любопытства, — все обязательно подплакивали от двери и от стен, как бы сопровождали хором. А мужчины стояли молча навытяжку, сняв шапки.

Самый же плач доставалось вести родственникам. В плаче заметил я холодно-продуманный, искони-заведенный порядок. Те, кто подале, подходили к гробу ненадолго и у самого гроба причитали негромко. Те, кто считал себя покойнице роднее, начинали плач еще с порога, а достигнув гроба, наклонялись головой над самым лицом усопшей. Мелодия была самостоятельная у каждой плакальщицы. И свои собственные излагались мысли и чувства.

Тут узнал я, что плач над покойной не просто есть плач, а своего рода политика. Слетелись три сестры Матрены, захватили избу, козу и печь, заперли сундук ее на замок, из подкладки пальто выпотрошили двести похоронных рублей, приходящим всем втолковывали, что они одни были Матрене близкие. И над гробом плакали так:

— Ах, нянька-нянька! Ах, лелька-лелька! И ты ж наша единственная! И жила бы ты тихо-мирно! И мы бы тебя всегда приласкали! А погубила тебя твоя горница! А доконала тебя, закаятая! И зачем ты ее ломала? И зачем ты нас не послушала?

Так плачи сестер были обвинительные плачи против мужниной родни: не надо было понуждать Матрену горницу ломать. (А подспудный смысл был: горницу-ту вы взять-взяли, избы же самой мы вам не дадим!)

Мужнина родня — матренины золовки, сестры Ефима и Фаддея, и еще племянницы разные приходили и плакали так.

— Ах, тетанька-тетанька! И как же ты себя не берегла! И, наверно, теперь *они* на нас обиделись! И родимая ж ты наша, и вина вся твоя! И горница тут ни при чем. И зачем же пошла ты туда, где смерть тебя стерегла? И никто тебя туда не звал! И как ты умерла — не думала! И что же ты нас не слушалась?..

(И изо всех этих причитаний выпирал ответ: в смерти ее мы не виноваты, а насчет избы еще поговорим!)

Но широколицая грубая «вторая» Матрена — та подставная Матрена, которую взял когда-то Фаддей по одному лишь имяч-

ку, — сбивалась с этой политики и простовато вопила, надрываясь над гробом:

— Да ты ж моя сестричка! Да неужели ж ты на меня оби-дишься? Ох-ма!.. Да бывалоча мы все с тобой говорили и гово-рили! И прости ты меня, горемычную! Ох-ма!.. И ушла ты к сво-ей матушке, а, наверно, ты за мной заедешь! Ох-ма-а-а!..

На этом «ох-ма-а-а» она словно испускала весь дух свой — и билась, билась грудью о стенку гроба. И когда плач ее переходил обрядные нормы, женщины, как бы признавая, что плач вполне удался, все дружно говорили:

— Отстань! Отстань!

Матрена отставала, но потом приходила вновь и рыдала еще неистовее. Вышла тогда из угла старуха древняя и, положи Ма-трене руку на плечо, сказала строго:

— Две загадки в мире есть: как родился — не помню, как умру — не знаю.

И смолкла Матрена тотчас, и все смолкли до полной тишины.

Но и сама эта старуха, намного старше здесь всех старух и как будто даже Матрене чужая вовсе, погодя некоторое время тоже плакала:

— Ох ты, моя болезная! Ох ты, моя Васильевна! Ох, *надоело мне вас провожать!*

И совсем уже не обрядно — простым рыданием нашего века, не бедного ими, рыдала злосчастная матренина приемная дочь — та Кира из Черустей, для которой ломали и везли эту горницу. Ее завитые локончики жалко растрепались. Красны, как кровью за-литы, были глаза. Она не замечала, как сбивается на морозе ее платок, или надевала пальто мимо рукава. Она невменяемая хо-дила от гроба приемной матери в одном доме к гробу брата в дру-гом, — и еще опасались за разум ее, потому что должны были мужа судить.

Выступало так, что муж ее был виновен вдвойне: он не только вез горницу, но был железнодорожный машинист, хорошо знал правила неохраемых переездов — и должен был сходить на станцию, предупредить о тракторе. В ту ночь в уральском ско-ром тысяча жизней людей, мирно спавших на первых и вторых полках при полусвете поездных ламп, должна была оборваться. Из-за жадности нескольких людей: захватить участок земли или не делать второго рейса трактором.

Из-за горницы, на которую легло проклятие с тех пор, как руки Фаддея ухватились ее ломать.

Впрочем, тракторист уже ушел от людского суда. А управление дороги само было виновно и в том, что оживленный перегон не охранялся, и в том, что паровозная сплотка шла без фонарей. Потому-то они сперва все старались свалить на пьянку, а теперь замаять и самый суд.

Рельсы и полотно так искорежило, что три дня, пока гробы стояли в домах, поезда не шли — их заворачивали другою веткой. Всю пятницу, субботу и воскресенье — от конца следствия и до похорон — на перегоне днем и ночью шел ремонт пути. Ремонтники мерзли и для обогрева, а ночью и для света раскладывали костры из даровых досок и бревен со вторых саней, рассыпанных близ перегона.

А первые сани, нагруженные, целые, так и стояли за перегонем невдали.

И именно это — что одни сани дразнили, ждали с готовым тросом, а вторые еще можно было выхватывать из огня — именно это терзало душу чернобородого Фаддея всю пятницу и всю субботу. Дочь его трогалась разумом, над зятем висел суд, в собственном доме его лежал убитый им сын, на той же улице — убитая им женщина, которую он любил когда-то, — Фаддей только ненадолго приходил постоять у гробов, держась за бороду. Высокий лоб его был омрачен тяжелой думой, но дума эта была — спасти бревна горницы от огня и от козней матрениных сестер.

Перебрав тальновских, я понял, что Фаддей был в деревне такой не один.

Что добром нашим, народным или моим, странно называется язык имущество наше. И его-то терять считается перед людьми постыдно и глупо.

Фаддей, не присаживаясь, метался то на поселок, то на станцию, от начальства к начальству, и с неразгибающейся спиной, опираясь на посох, просил каждого снизойти к его старости и дать разрешение вернуть горницу.

И кто-то дал такое разрешение. И Фаддей собрал своих уцелевших сыновей, зятей и племянников, и достал лошадей в колхозе — и с того бока развороченного перегона, кружным путем через три деревни, обвозил остатки горницы к себе во двор. Он кончил это в ночь с субботы на воскресенье.

А в воскресенье днем — хоронили. Два гроба сошлись в середине деревни, родственники поспорили, какой гроб вперед. Потом поставили их на одни розвальни рядышком, тетю и племянника, и по февральскому вновь обсыревшему насту под пасмурным небом повезли покойников на церковное кладбище за две деревни от нас. Погода была ветреная, неприятная, и поп с дьяконом ждали в церкви, не вышли в Тальново навстречу.

До околицы народ шел медленно и пел хором. Потом — отстал.

Еще под воскресенье не стихала бабья суетня в нашей избе: старушка у гроба мурлыкала псалтырь, матренины сестры сновали у русской печи с ухватом, из чела печи пышело жаром от раскаленных торфин — от тех, которые носила Матрена в мешке с дальнего болота. Из плохой муки пекли невкусные пирожки.

В воскресенье, когда вернулись с похорон, а было уж то к вечеру, собрались на поминки. Столы, составленные в один длинный, захватывали и то место, где утром стоял гроб. Сперва стали все вокруг стола, и старик, золовкин муж, прочел «Отче наш». Потом налили каждому на самое дно миски — медовой сыты. Ее, на помин души, мы выхлебали ложками, безо всего. Потом ели что-то и пили водку, и разговоры становились оживленнее. Перед киселем встали все и пели «Вечную память» (так и объяснили мне, что поют ее — перед киселем обязательно). Опять пили. И говорили еще громче, совсем уже не о Матрене. Золовкин муж расхвастался:

— А заметили вы, православные, что отпевали сегодня медленно? Это потому, что отец Михаил меня заметил. Знает, что я службу знаю. А иначе б — со святыми помоги, вокруг ноги — и все.

Наконец ужин кончился. Опять все поднялись. Спели «Достойно есть». И опять, с тройным повтором: вечная память! вечная память! вечная память! Но голоса были хриплы, розны, лица пьяны, и никто в эту вечную память уже не вкладывал чувства.

Потом основные гости разошлись, остались самые близкие, вытянули папиросы, закурили, раздались шутки, смех. Коснулось пропавшего без вести мужа Матрены, и золовкин муж, бдя себя в грудь, доказывал мне и сапожнику, мужу одной из матрениных сестер:

— Умер Ефим, умер! Как бы это он мог не вернуться? Да если б я знал, что меня на родине даже повесят — все равно б я вернулся!

Сапожник согласно кивал ему. Он был дезертир и вовсе не расставался с родиной: всю войну перепрыгался у матери в подпольи.

Высоко на печи сидела оставшаяся ночевать та строгая молчаливая старуха, древнее всех древних. Она сверху смотрела немо, осуждающе на неприлично-оживленную пятидесяти- и шестидесятилетнюю молодежь.

И только несчастная приемная дочь, выросшая в этих стенах, ушла за перегородку и там плакала.

Фаддей не пришел на поминки Матрены — потому ли, что поминал сына. Но в ближайшие дни он два раза враждебно приходил в эту избу на переговоры с матрениными сестрами и с сапожником-дезертиром.

Спор шел об избе: кому она — сестре или приемной дочери. Уж дело упиралось писать в суд, но примирились, рассудя, что суд отдаст избу не тем и не другим, а сельсовету. Сделка состоялась. Козу забрала одна сестра, избу — сапожник с женою, а в зачет фаддеевой доли, что он «здесь каждое бревнышко своими руками перенячил», пошла уже свезенная горница, и еще уступили ему сарай, где жила коза, и весь внутренний забор, между двором и огородом.

И опять, преодолевая немощь и ломоту, оживился и помолодел ненасытный старик. Опять он собрал уцелевших сыновей и зятей, они разбирали сарай и забор, и он сам возил бревна на саночках, на саночках, под конец уже только с Антошкой своим из 8-го «Г», который здесь не ленился.

Избу Матрены до весны забили, и я переселился к одной из ее золовок, неподалеку. Эта золовка потом по разным поводам вспоминала что-нибудь о Матрене и как-то с новой стороны осветила мне умершую.

— Ефим ее не любил. Говорил: люблю одеваться *культурно*, а она — кое-как, все по-деревенски. А одново́ мы с ним в город ездили, на заработки, так он себе там сударку завел, к Матрене и возвращаться не хотел.

Все отзывы ее о Матрене были неодобрительны: и нечистоплотная она была; и за обзаводом не гналась; и не бережная; и даже поросенка не держала, выкармливать почему-то не любила; и, глупая, помогала чужим людям бесплатно (и самый повод

вспомнить Матрену выпал — некого было дозвать огород вспахать на себе сохою).

И даже о сердечности и простоте Матрены, которые золовка за ней признавала, она говорила с презрительным сожалением.

И только тут — из этих неодобрительных отзывов золовки — выплыл передо мною образ Матрены, какой я не понимал ее, даже живя с нею бок о бок.

В самом деле! — ведь поросенок-то в каждой избе! А у нее не было. Что может быть легче — выкармливать жадного поросенка, ничего в мире не признающего, кроме еды! Трижды в день варить ему, жить для него — и потом зарезать и иметь сало.

А она не имела.

Не гналась за обзаводом. Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше своей жизни.

Не гналась за нарядами. За одеждой, приукрашивающей уродов и злодеев.

Не понятая и брошенная даже мужем своим, схоронившая шесть детей, но не нрав свой общительный, чужая сестрам, золовкам, смешная, по-глупому работающая на других бесплатно, — она не скопила имущества к смерти. Грязно-белая коза, колченогая кошка, фикусы...

Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село.

Ни город.

Ни вся земля наша.

1959

ОТРАЖЕНИЕ В ВОДЕ (Из цикла «Крохотки»)

В поверхности быстрого потока не различить отражений ни близких, ни далеких: даже если не мутен он, даже если свободен от пены — в постоянной струйчатой ряби, в неугомонной смене воды отраженья неверны, неотчетливы, непонятны.

Лишь когда поток через реки и реки доходит до спокойного широкого устья, или в заводи остановившейся, или в озерке, где

вода не продрогнет, — лишь там мы видим в зеркальной глади и каждый листик прибрежного дерева, и каждое перышко тонкого облака, и налитую голубую глубину неба.

Так и ты, так и я. Если до сих пор все никак не увидим, все никак не отразим бессмертную чеканную истину, — не потому ли, значит, что еще движемся куда-то? Еще живем?..

1960

Вопросы и задания

1. Проанализируйте прозаическую миниатюру А.И. Солженицына «Отражение в воде» из цикла «Крохотки», опираясь на тезисы рубрики учебника «Самостоятельный анализ текста» (раздел «Александр Исаевич Солженицын»).

2. В чем своеобразие повествовательной манеры автора в рассказе «Матренин двор»? Как решается в нем тема народного праведничества? Сравните проблематику рассказа с повестью В. Распутина «Прощание с Матёрой». Что сближает эти произведения?

3. Охарактеризуйте языковое своеобразие рассказа А. Солженицына. Как в языковой стилистике проявляется «почвеннический» характер прозы писателя?

4. Как в рассказе «Матренин двор» отображен конфликт двух России — народной, «нутряной», и чиновной, официозной? Что составляет основу нравственной позиции автора? (См. статью учебника «От тезиса — к характеру: своеобразие Солженицына-новеллиста», раздел «Александр Исаевич Солженицын».)

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 80—90-х годов

Людмила Стефановна ПЕТРУШЕВСКАЯ
Р. 1938

СВОЙ КРУГ (В сокращении)

Я человек жесткий, жестокий, всегда с улыбкой на полных, румяных губах, всегда ко всем с насмешкой. Например, мы сидим у Мариши. У Мариши по пятницам сбор гостей, все приходят как один, а кто не приходит, то того, значит, либо не пускают домашние или домашние обстоятельства, либо просто не пускают сюда, к Марише, сама же Мариша или все разъяренное общество, как не пускали долгое время Андрея, который в пьяном виде заехал в глаз нашему Сержу, а Серж у нас неприкосновенность, он наша гордость и величина, он, например, давно вычислил принцип полета летающих тарелок. Вычислил тут же, на обороте тетради для рисования, в которой рисует его гениальная дочь. Я видела эти вычисления, потом посмотрела совершенно нахально, на глазах у всех. Ничего не поняла, белиберда какая-то, искусственные построения, формально взятая мировая точка. Не для моего, короче говоря, понимания, а я очень умная. То, что не понимаю, того не существует вообще. Стало быть, ошибся Серж со своей искусственно взятой мировой точкой, причем он же давно не читает литературу, надеется на интуицию, а литературу читать надо.

<...> это было давно и неправда, кончились те дни, когда Серж и Мариша совместно тосковали о будущем Сержа и стойко держались, кончились все дни понимания, а наступило черт знает что, но каждую пятницу мы регулярно приходим, как намагниченные, в домик на улице Стулиной и пьем всю ночь. Мы — это Серж с Маришей, хозяева дома, две комнаты, за стеной под звуки магнитофона и взрывы хохота спит стойко воспитанное дитя, дочь Соня, талантливая, своеобразная девочка — красавица, теперь она моя родственница, можете себе представить, но об этом впереди. Мои родственники теперь также и Мариша и сам Серж, хоть это смешной результат всей нашей жизни и простое кровосмешение, как выразилась Таня, когда присутствовала на бракосочетании моего мужа Коли с женой Сержа Маришей, но об этом после.

Значит, вначале было так: Серж с Маришей, их дочь за стеной, я тут сбоку припека, мой муж Коля — верный, преданный друг Сержа; Андрей-стукач сначала с одной женой, Анютой, потом с разными другими женщинами, потом с постоянной Надей; дальше Жора — еврей наполовину, по матери, о чем никто никогда не заикался, как о каком-то его пороке, кроме меня: однажды Мариша, наше божество, решила похвалить невзрачного Жору и сказала, что у Жоры большие глаза — какого же цвета? Все говорили, кто желтые, кто светло-карие, а я сказала: еврейские, и все почему-то смутились, и Андрей, мой вечный враг, крикнул. А Коля похлопал Жору по плечу. А чего, собственно, я сказала? Я сказала правду. Дальше: с нами всегда была наша Таня, валькирия метр восемьдесят росту, с длинными белокурыми волосами, очень белыми зубами, которые она маниакально чистила три раза в день по двадцать минут (час — и ваши зубы будут белоснежными), а также с очень большими серо-голубыми глазами, красавица, любимица Сержа, который ее иногда гладил по волосам, очень сильно напившись пьяным, и никто ничего не понимал; а тут же сидела Мариша как ни в чем не бывало, а я сидела тут же и говорила Ленке Марчукайте: «Почему ты не танцуешь, потанцуй с моим мужем Колей», — на что в ответ все грубо хохотали, но это уже был самый закат нашей общей жизни.

Тут же была Ленка Марчукайте, девка очень красивая, бюст пятого размера, волосы длинные, русые, экспортный вариант, двадцать лет. Ленка вначале вела себя как аферистка, каковой она и была, работая в магазине грампластинок. Она втерлась к Марише в доверие, рассказав ей о своей тяжелой жизни, потом хапнула у нее двадцать рублей и ходила с этим долгом как ни в чем не бывало, потом исчезла, вернулась без четырех передних зубов, отдала двадцать рублей («Вот видите?» — победно сказала Мариша) и сказала, что лежала в больнице, где ее приговорили, что у нее не может быть детей. Мариша еще более ее любила, Ленка у нее только что не ночевала, но без зубов это уже было другое, не экспортное исполнение. Ленка с помощью Сержа устроилась лаборанткой в его тридцатипроцентном отделе, вставила себе зубы, вышла замуж за еврейского мальчика — диссидента Олега, который оказался сыном известной косметички Евы Лазаревны, и в этой богатейшей семье Ленка была некоторое время как бы нашим лазутчиком, со смехом рассказывала, какая у Евы спальня, какие шкафы, за каждый из кото-

рых можно прожить жизнь в долларах, и что Ева подарила ей еще, Ева баловала Ленку и говорила, что ее кожа — это естественное богатство. Кожа у Ленки была действительно редкой природной тонкости, белый жир и красная кровь давали небывалое сочетание даже в разное время дня, все равно как закат или восход, а губы у нее вообще были красные как кровь. Такая же кожа бывает сплошь у всех детей, у моего Алешки, например. Но Ленка обращалась с собою пренебрежительно, бегала по разным притонам как вертихвостка, себя не ценила и наконец объявила, что ее Олег уезжает со всеми своими через Вену в Америку, а она не поедет, — и не поехала, разошлась с Олегом и стала отличаться тем, что, придя в дом, тут же садилась к кому-нибудь из мужчин на колени и прекрасно себя чувствовала, а бедные наши мальчики — хоть мой Коля, хоть стукач Андрей, хоть Жора — криво при этом ухмылялись. Только Сержу она не рисковала садиться на колени, Серж был неприкосновенным, да еще тут же находилась Мариша, обожаемая Ленкой, и над Маришей смеяться Ленка не могла, как она смеялась над всеми нами и над молодой женой Андрея-стукача, которая вспыхнула и ушла на кухню, когда Ленка плюхнулась на колени к Андрею, ничего при этом не подразумевая. Эта жена Надя была еще моложе Ленки, ей вообще было восемнадцать лет, а дать ей можно было пятнадцать, худая, тонкая, рыжая, испорченная по виду школьница, на это только и мог клюнуть Андрей, который давно был известен благодаря болтливости своей казенной жены Анюты как полный импотент, которому ничего не нужно. Испорченная-то Надя испорченная, но вышла замуж и стала баба бабой, открывает пасть эта нимфетка и поет: то-то она сварила, так-то Андрей пил, и она его не пускала больше пить, то-то они купили. Единственное, что при ней осталось от ее испорченности и извращенности — это выпадающий глаз, который при каких-то неловких движениях выскальзывал из орбиты и вываливался на щеку, как яйцо всмятку. Страшное, должно быть, зрелище, но Андрей с этим носился, возил Надю, держащую глаз на ладони, в больницу, там ей этот глаз вправляли, и вот в эту ночь Андрей, я думаю, бывал на высоте. И с предыдущей, Анютой, Андрей жил ради волнующих моментов ее припадков, когда он возил ее, закутанную в одеяло, в «скорых помощах» из больницы в больницу, пока не выяснилось, что у нее болезнь — так называемая ядовитость, проще говоря, бесплодие. Эта ядовитость Анюты

имела хождение в нашем кругу, и на Анюте и Андрее лежала печать обреченности. У всех у нас уже были дети, у Жоры трое, у меня Алеша, и стоило мне не появиться в доме Сержа и Мариши недели две, как по рядам проходила весть, что я рожаю в роддоме: так они шутили над моим телосложением. У Тани был сын, известный тем, что во младенчестве имел прозвище Мумия Кошки. У Андрея же и у Анюты детей быть не могло, и их было жалко, поскольку без детей как-то нелепо жить и не принято было жить, самый-то эффект заключался в том, чтобы жить с детьми, возиться с кашами, детскими садами, а в ночь на субботу почувствовать себя людьми и загулять на полную мощь, даже вплоть до вызова милиции той, другой стороной улицы Стулиной. У Анюты же и у Андрея была обреченность, пока однажды Анюта вдруг не родила дочь ни с того ни с сего, почти не изменившись! Ликование было полным, Андрей в ночь родов принес Сержу две бутылки водки, вызвали моего Колю и всю ночь пили, и Андрей сказал, что назовет свою дочь Маришей в честь Мариши, и Мариша была неприятно задета этой честью. Но делать нечего, не запретишь, и прихлебала Андрей назвал дочь Маришей. Но на этом праздник, а также семейная романтика закончились, и Андрей, надо думать, надолго забросил свои супружеские обязанности, а Анюта, наоборот, почувствовала свою обыкновенность, стала, как все женщины, безо всяких припадков и в связи с этим стала приглашать в течение год продолжавшегося декретного отпуска все новых и новых друзей, и тут Андрей ушел на ролях стукача в плавание, а вернувшись, нашел у себя в доме целый рой знакомых, привлеченных, по-видимому, холостым состоянием Анюты, прежде ядовитой. Андрей нашел новую романтику в своем положении брошенного мужа, стал романтически приводить к Сержу и Марише отборных девушек, а Ленка Марчукайте нагло садилась к нему на колени, как бы припечатывая его уже истощившиеся, сделавшие свое дело чресла. Это у нее была такая шутка и издевательство.

Она села как-то на колени и к моему Коле. Коля, худой и добрый, был буквально раздавлен весом Ленки и физически и морально, он не ожидал такого поворота событий и только держал руки подальше и бросал умоляющие взоры на Маришу, но Мариша резко отвернулась и занялась разговором с Жорой, и вот

тут я начала что-то понимать. Я тут начала понимать, что Ленка дала маху, и сказала:

— Лена, ты дала маху. Мариша ревнует тебя к моему мужу.

Ленка же беззаботно скрючила рожу и осталась сидеть на Коле, который совершенно завял, как сорванный стебелек. Тут, я думаю, началось охлаждение Мариши к Ленке, которое и привело к постепенному исчезновению Ленки Марчукайте, особенно когда та в конце концов родила мертвого ребенка, но это уже было потом. А в тот момент все в ответ как-то преувеличенно хлопотали, Таня чокнулась с Сержем, Жора наливал, подал нав्यученному Коле и холодной Марише, Андрей галантно заговорил со своей дурой Надюшей, которая победоносно смотрела на меня, жену придавленного мужа.

К Жоре Ленка Марчукайте, однако, садиться не рисковала никогда, это было небезопасно, поскольку Жора демонстрировал, как многие маленькие мужчины, постоянное возбуждение и любил всех — Маришу, Таню и даже Ленку, и Ленка, существо совершенно холодное, рисковала вызвать у Жоры покушение на изнасилование при всех, как это уже было с одной дамой Андриюши... <...> Событие вызвало жуткий смех на всю ночь, но кроме того, все, кроме посторонней дамы, знали, что тут есть игра, что Жора все играет со студенческих лет в бонвивана и распутника, а на самом деле он ночами пишет кандидатскую диссертацию для своей жены и встает к своим трем детям, и только по пятницам он набрасывает на себя львиную шкуру и ухаживает за дамами, пока ночь.

Но осторожная Ленка, которая тоже играла в сексуальные игры с большим хладнокровием, не рисковала вызывать Жору на его привычную роль, это уже было бы слишком, два спектакля, это обязывало к какому-то завершению: Ленка сядет, Жора немедленно начнет лапать и так далее, а этого Ленка не любила, как, в сущности, не любил этого и Жора. Впрочем, Ленка Марчукайте была и прошла, как того захотела Мариша, была и исчезла, и когда я вспоминаю ее вслух и при всех, это звучит как очередная бестактность.

* * *

У меня все как-то перепуталось в памяти в связи с последними событиями в моей жизни, а именно в связи с тем, что я начала слепнуть. Десять ли лет прошло в этих пятницах, пятнадцать ли, прокатились чешские, польские, китайские или югославские события, прошли такие-то процессы, затем процессы над теми, кто

протестовал в связи с результатами первых процессов, затем процессы над теми, кто собирал деньги в пользу семей сидящих в лагерях, — все это пролетело мимо. Иногда залетали залетные пташки из других, смежных областей человеческой деятельности, как-то повадился ходить на пятницы участковый милиционер Валера, человек, знающий самбо, заносчивый и упрямый. Дверь в квартиру не закрывалась по пятницам, прямо с тротуара три ступеньки — и дверь; он пришел в первый раз, спросил у всех документы в связи с жалобой жильцов противоположного дома по улице Стулиной на превышение шума после одиннадцати часов вечера и вплоть до пяти утра. Валера тщательно проверил у всех документы, вернее, проверил их наличие, потому что ни у кого из мальчиков паспортов не оказалось. У девочек он не проверял, это в дальнейшем навело на мысль, что Валера кого-то искал, всю последующую неделю все оживленно и нервно перезванивались, все были жутко смущены, испуганы и горели огнем. Действительно, в нашу тихую обитель, в которой шумел только магнитофон, ворвалась какая-то опасность, мы оказались в центре событий из-за Валеры и проверки документов. К следующей пятнице все уже точно предполагали, что Валера ищет американского русского, Левку, который уже год живет с закончившейся визой, скитаясь по частным квартирам и притонам, причем живет не из желания не возвращаться в Штаты, а просто прогулял срок, за что, ему сказали, по нашим законам полагается отсидка, и тогда он стал скрываться, и его все привечали с шумом и смехом, а у Мариши я его ни разу не видела, у соседей же Маришиных по дому, подозрительной компании, состоящей из двух вечных студенток без постоянной московской прописки и их разноплеменных сожителей, Левка-американец иногда ночевал на полу и один раз по случайности, как рассказали студентки, придя за рублем, переночевал с дочерью министра Римкой со второго курса факультета журналистики. Левки же американца затем простыл и след, а Римма не имела претензий и теперь, говорят, в свою очередь, скиталась по всем притонам в поисках Левки, которому она отдала все, по русскому понятию. С тех пор, говорят, Левка не ночевал на улице Стулиной, и, таким образом, Валера даром приходил.

Однако Валера пришел опять в пять минут двенадцатого, пришел, чтобы выключить магнитофон, магнитофон выключили и сидели пили в тишине, и Валера сидел с непонятными намерениями: то ли он решил все-таки дождаться Левку, то ли ему

просто нужно было известить под корень нашу безобидную компанию, и он просто сидел и не уходил. Мариша, горячо убедившая всех, что все люди интересны, у нее вечно ночевали какие-то подобранные с вокзалов, месяц жила женщина с годовалой парализованной девочкой, приехавшая в институт педиатрии на консультацию без права госпитализации, — Мариша первой нашла ключ и стала вести себя так, что Валера — это несчастный и одинокий человек, в этом доме ведь никому незнакомому не отказывали в приеме, только редко кто решался навязываться. Мариша, а за ней и Серж возбужденно стали разговаривать с Валерой на разные темы, дали ему стакан сухого вина, пододвинули черный хлеб и сыр, единственное, что было на столе, и Валера не увильнул ни от одного вопроса и ни разу не почувствовал никаких уколов самолюбия. Так, например, Серж спросил:

— Ты что, ради прописки в милицию пошел?

— У меня прописка еще раньше, — ответил Валера.

— Ну а чего ты служишь?

— Трудный участок, — ответил Валера, — я знаю самбо, самбист, но из-за травмы плеча не получил второго разряда еще в армии. В самбо, если тебя скрутят, то надо подать звуковой сигнал.

— Какой звуковой? — спросила я.

— Хотя бы, извиняюсь за выражение, кашлянуть или выпустить газы, чтобы не сломали руку.

Я тут же спросила, как это можно выпустить газы по заказу.

Валера ответил, что он не успел подать громкий звуковой сигнал и что ему вынесли руку из предплечья, а так он имеет полный третий разряд. Потом, не переводя дыхания, Валера изложил свою точку зрения на существующий порядок вещей и на то, что скоро все изменится и все будет как при Сталине, а при Сталине вот был порядок.

Короче говоря, весь вечер у нас прошел в социологических исследованиях образа Валеры, и в конце концов то ли он все-таки оказался находчивей, то ли наша общая роль была пассивной, но вместо обычного анкетирования, как это у нас уже не раз бывало с залетными пташками типа проституток, приводимых Андреем, или с теми, кто, заинтересовавшись музыкой, останавливался под окном на тихой улице Стулиной, и завязывал с нами через подоконник разговор, и в конце концов влезал в комнату тем же путем, и был затем вынужден отвечать на целый ряд

вопросов, — на сей раз дело повернулось иначе, и Валера, конкретно не касаясь своих служебных обязанностей, битый час громко поучал нас, как было при Сталине, и никто особенно ему не противоречил, все боялись, видимо, провокации, боялись высказать перед представителем власти свои взгляды, да и вообще это было у нас не принято — выражать свои взгляды, какое-то мальчишество, орать о своих взглядах, а тем более перед идиотом Валерой, ускользящим, непознанным, с неизвестными намерениями пришедшим и сидящим за бедным круглым столом в бедняцкой комнате Мариши и Сержа.

В двенадцать все как оплеванные поднялись и пошли, но не Валера. Валере то ли было негде провести ночь дежурства, то ли у него было четкое задание, но он сидел у Мариши и Сержа до утра, и Серж высказался, и это было потом передано массам через Маришу по телефону, что это самый интересный человек, какого он встречал за последние четыре года, но это у него была защитная формулировка, и не более того. Серж целиком принял на себя Валеру, так как Мариша ушла спать на пол в комнату Сонечки, а вот Серж остался, как мужчина, и пил с Валерой чай из зверобоя, целый чайник мочегонного, причем Валера ни разу не отошел в сортир и убрался, только когда кончилось его дежурство по участку. Валера, видимо, не хотел оставить свой НП ни на секунду и совершил подвиг сдержанности. Со своей стороны, Серж тоже не отходил, опасаясь обыска в свое отсутствие.

Как бы там ни было, та пятница была пятницей пыток, и мы все сидели не в своей тарелке. Ни Ленка Марчукайте ни разу не уселась на колени ни к кому, тем более к Валере, ни Жора ни разу не крикнул в форточку прохожим школьницам «девственницы!», только я все спрашивала, как это самбисты научаются пускать звуковые сигналы — усилием воли или специально питаюсь. Мне хватило этой темы на целый вечер, поскольку Валера единственно чего избегал — это именно этой подачи сигналов. Он как-то морщился, уклонялся от темы, ни разу больше не вспоминал насчет этих звуковых сигналов и невлюбил меня, как все, с первого взгляда и навеки. Но крыть ему было нечем, поскольку обидное слово, которое я повторяла на все лады, видимо, не значится в неопубликованном списке тех слов, за произнесение которых в публичном месте сажают на пятнадцать суток, тем более что Валера сам первый его произнес. И я одна встревала в тот умственный разговор, который с помощью наводящих во-

просов затеял Серж, надеясь все-таки вознестись на позиции насмешливого наблюдателя жизненных явлений, за каковое жизненное явление мог бы сойти Валера, но Валера плевать хотел на отеческие вопросы Сержа, а пер напролом и говорил опасные для своего служебного положения вещи насчет того, что многие многое понимают и недолго всем вам тут гулять и что хозяин придет.

— Но все-таки, — встревала я, — это где вас учат пускать газы? Но вы не научились, я вижу, потому что не смогли вовремя пускать и не получили разряда.

— В армии такие ребята, такой техсостав, — продолжал Валера, — у них в руках техника, у них в руках все, знающие ребята, и у них есть в голове.

Серж же спрашивал, к примеру, часто ли приходится дежурить ночью и где дали комнатку. Мариша спрашивала, женат ли Валера и есть ли дети, тоном своей обычной доброты и участливости. Таня, наша валькирия и красавица, только тихо ржала и комментировала вполголоса, нагнувшись над стаканом, особенно яркие реплики Валеры и адресовалась все время к Жоре, как бы поддерживая его в этой трудной ситуации, где он, полувеврей, предъявил Валере паспорт (у него единственного был паспорт на этот раз), который Валера вслух зачитал: «Георгий Александрович Перевоицков, русский».

Да, в этот свой второй визит Валера опять спрашивал паспорта, и опять проверил паспорт у Сержа, и опять не получил паспорт ни у Андрея, ни у моего Коли, ни у случайно забредшего на эту опасную вечеринку постороннего — редко бывавшего в Москве христианина Зильбермана, который был жутко напуган и предъявил вместо паспорта свой старый студенческий билет, по каковому студенческому он вечно получал железнодорожные билеты со скидкой. Валера отобрал у Зильбермана билет, просто положил в карман, и Зильберман смылся, спросив громко, где тут туалет. Валера, хоть и угрожал вначале отвести Зильбермана вплоть до выяснения личности, не сделал вслед ни шагу, а мы все стояли и мучились, как же теперь бедный Зильберман будет бояться и трястись и к его положению прибавится еще положение находящегося на крючке. Но, видимо, Зильберман не был нужен Валере.

Мне было интересно, как поведет себя стукач Андрей, но Андрей тоже повел себя осторожно и сдержанно. Как только выключили магнитофон, Андрей потерял возможность танцевать с кем ему хотелось, а танцевал он капризно, иногда вообще не танцевал,

а его жена Надя, обабившаяся до последней степени, несмотря на свой вид испорченного подростка, сидела в это время тоже как истукан и задним числом ревновала, — так вот, Андрей сел рядом со своей Надей. А у Нади отец был полковник на взлете, и все речи Валеры как младшего состава Надя воспринимала только сквозь призму того, что на вопрос Сержа, какой ему присвоили все-таки чин, Валера ответил, что многие бы хотели, чтобы не присвоили, а ему присвоили сразу лейтенанта. Надя сразу освоилась одна среди всех, стала ходить взад-вперед, повела Андрея звонить какой-то Ирочке и потом вообще увела Андрея, и Валера никак не отреагировал. Возможно, если бы мы все ушли, он бы все равно остался, здесь была его точка, — а возможно, и нет.

Мы с Колей на сей раз не потратились на такси, а успели после метро на автобус и приехали домой как люди и обнаружили, что Алешка не спит в полвторого ночи, а сидит осоловелый перед телевизором, экран которого горит впустую. Это было наше первое ночное возвращение с пятницы — не утреннее, и мы увидели, что Алешка тоже по-своему празднует эту ночь, а он, когда я его укладывала, сказал, что боится спать один и боится гасить свет. Действительно, свет горел везде, а ведь раньше Алешка не боялся, но раньше ведь был дед, а недавно дед умер, мой отец, а моя мать умерла три месяца перед тем, за одну зиму я потеряла родителей, причем мать умерла от той болезни почек, которая с некоторых пор намечалась и у меня и которая начинается со слепоты. Как бы там ни было, я обнаружила, что Алешка боится спать, когда никого нет дома. Видимо, тени бабушки и дедушки вставали перед ним, мой отец с матерью воспитывали его, баловали и растили, а теперь Алешка остается один вообще, если учесть, что и я должна буду вскоре умереть, а мой добрый, тихий на людях Коля, который дома скучал или неприлично начинал орать на Алешку, когда тот ел вместе с нами, — Коля, видимо, собирался уйти от меня, причем уйти он собирался не к кому другому, как к Марише.

Я уже говорила, что над нашим мирным пятничным гнездом пролетели многие годы, Андрей из златоволосого юного Париса успел стать отцом, брошенным мужем, стукачом на экспедиционном корабле, опять законным мужем и обладателем хорошей кооперативной квартиры, купленной полковником для Надюши, и, наконец, алкоголиком; он все еще любил одну Маришу всю свою жизнь начиная со студенческих лет, и Мариша это зна-

ла и ценила, а все другие дамы на его жизненном пути были просто замещением. И коронным номером Андреевой программы были танцы с Маришей, один-два священных танца в год.

Жора также вырос из охальника-студента в скромного, нищего старшего научного сотрудника в самой дешевой рубашке и брюках темно-серого цвета, отца троих детей, эдакого будущего академика и лауреата без притязаний, но в нем всегда было и сидело в самом его нутре одно: любовь к Марише, которая любила всегда только Сержа и больше никого.

Далее, мой Коля тоже боготворил и любил Маришу, они все как с цепи сорвались еще на первом курсе института по поводу Мариши, и эта игра все длилась до сих пор, пока не дошла до того, что Серж, которому досталась прекрасная Мариша, жил-жил с ней и вдруг нашел себе любимую женщину, еще со школьной скамьи, и однажды в праздник Нового года, когда все напились и играли в шарады, он сказал: «Пойду позвоню любимой женщине», — и все как громом были поражены, ибо если мужчины любили Маришу и считали Сержа единственным человеком, то мы все любили Маришу и Сержа в первую голову, Серж всегда был у всех на устах, хотя сам мало говорил, это его так вознесла Мариша, которая любила его коленопреклоненно, то ли как мать, то ли как сподвижница, благоговела перед каждым его словом и жестом, потому что когда-то в свое время, еще на первом курсе, когда Серж ее полюбил в числе прочих и предлагал ей жениться и спал с ней, она ушла от него, сняла комнатку с неким Жаном, поддавалась эротическому влечению, отказалась от первой и чистой любви Сержа, а потом Жан ее бросил, и она сама, своей властью пришла к Сержу, теперь уже навеки отказавшись от идеи эротической любви на стороне, сама предложила ему жениться, они женились, и Мариша иногда со свяственным восторгом проговаривалась, что Серж — это хрустальный стакан. Я бы сказала ей теперь, чтобы она не спала с хрустальным стаканом, все равно не выйдет, а выйдет, так порежешься. Но тогда мы все жили какими-то походами, кострами, пили сухое вино, очень иронизировали надо всем и не касались сферы пола, так как были слишком молоды и не знали, что нас ждет впереди; из сферы пола весь народ волновало только то, что у меня был белый купальник, сквозь который все просвечивало, и народ потешался надо мной как мог; это происходило, когда мы все жили в палатках где-нибудь на берегу моря, и сфера пола проступала также и

в том, что Жора жаловался, что нет уборной и что в море с этим делом трудно. В остальном тот же Жора кричал про отдыхающих женского пола, что им нужен хороший абортарий, а Андрей романтически ходил на танцы за шесть километров в город Симеиз к туберкулезным девушкам, а Серж упорно ловил рыбу с помощью подводной охоты и так осуществлял свою мужественность, а ночами я все слышала, как из их палатки несется мерное постукивание, но Мариша была всю свою жизнь беспокойным существом с огнем в глазах, а это не говорило ничего хорошего о способностях Сержа, а мальчишки все были на стреме по поводу Мариши и, казалось, хотели бы коллективно возместить пробел, да не могли пробиться. В сущности, этот сексуальный огонь, который пожирал Маришу, жрицу любви, в сочетании с ее же недоступностью позволял столь долгое время держаться нашей общей компании, поскольку чужая любовь заразительна, это уже проверено. Мы, девочки, любили Сержа и любили вместе с тем и Маришу, переживали за нее и так же, как она, раздираемы были на части, но по-своему — с одной стороны, любить Сержа и мечтать заменить Маришу, с другой стороны, не мочь этого сделать из-за сочувствия Марише, из-за любви и жалости к ней. Короче говоря, все было полно неразделимой любовью Мариши и Сержа, неосуществимостью их любви, и на это клевали все. А Серж бесился, единственный, у кого были все права. <...>

Но это было еще до того, как Серж нашел себе любимую женщину на своей же улице детства, встретил свою юношескую эротическую мечту, теперь полную брюнетку, как доносили некоторые осведомленные лица, и до того, как в квартиру на улице Стулиной стал регулярно приходить милиционер Валера и так бороться за тишину после одиннадцати часов вплоть до семи утра, и также это произошло до того, как я стала постепенно обнаруживать, что слепну, и уж тем более до того, как я нашла, что Мариша ревнует моего Колю к Ленке Марчукайте.

Значит, в мгновение ока развязались все узлы: Серж перестал ночевать дома, отпали все пятницы, и начались такие же пятницы в безопасном месте, в комнате валькирии Тани, хотя и при участии ее сына-подростка, ревновавшего мать абсолютно ко всем. Далее подростка изолировали, отправляя его по пятницам ночевать вместе с девочкой Сонечкой на улицу Стулиной, по поводу чего я заметила, что детям полезно спать друг с другом, но на меня не обратили внимания, как всегда, а я говорила правду.

Вообще, накатила какая-то волна бурной жизни в промежутках между пятницами: у Мариши погиб отец, как-то посетивший ее на улице Стулиной и на этой же улице в тот же вечер повалившийся под автомобиль в неположенном месте, да еще, как показало вскрытие, в нетрезвом состоянии, поскольку отец Мариши сильно выпил с Сержем перед уходом домой. Все сплелось в этом страшном несчастном случае: то, что отец Мариши хотел по-мужски побеседовать с Сержем, зачем он бросает Маришу, и то, что разговор этот происходил вечером, когда Сонечка еще не спала, а Мариша и Серж скрывали от Сонечки, что Серж не ночует дома, Серж нежно укладывал Сонечку спать и тогда только уходил к другой, а утром так и так Соня всегда просыпалась в школу, когда Серж уже был в дороге на работу, а после работы, с шести до девяти, Серж отбывал вахту при дочери, занимался с ней музыкой, сочинял с ней сказки, — и вот в этот-то елейный промежуток и внедрилсЯ расстроенный Маришин отец, который, кстати, сам давно уже жил с другой семьей, имел большой печальный опыт и имел нового сына двадцати лет. Маришин отец выпил, безрезультатно наговорил Бог знает чего и безрезультатно погиб под машиной тут же, у порога дочернего дома, на самой улице Стулиной, в тихое вечернее время в полдесятого.

У меня в тот же период тихо догорела мать, растаяла с восьмидесяти килограммов до двадцати семи, причем умирала она мужественно, всех подбадривала, и меня тоже, и врачи под самый конец взялись найти у нее несуществующий гнойник, вскрыли ее, случайно пришили кишку к брюшине и оставили умирать с незаживающей язвой величиной в кулак, и когда нам ее выкатили умершую, вспоротую и кое-как зашитую до подбородка и с этой дырой в животе, я не представляла себе, что такое вообще может произойти с человеком, и начала думать, что это не моя мама, а моя-то мама где-то в другом месте. Коля не принимал участия во всех этих процедурах, мы ведь были с ним формально разведены уже пять лет назад, только оба не платили за развод, помирившись на простом совместном проживании как у мужа и жены и без претензий, жили вместе, как живут все, а тут он, оказывается, взял и заплатил за развод и после похорон так трезво мне предложил, чтобы и я заплатила, и я заплатила. Потом скончался мой насмерть убитый горем отец, скончался от инфаркта, легко и счастливо, во сне, так что я ночью, встав к Алешке прикрыть его оде-

ялом, увидела, что папа не дышит. Я легла снова, долежала до утра, проводила Алешку в школу, а потом папу в больничный морг.

Но все это было между пятницами, и несколько пятниц я пропустила, а через месяц была Пасха, и я пригласила всех приехать снова, как каждый год, к нам с Колей. Раз в год на Пасху мы все собирались у нас с Колей, я готовила вместе с мамой и папой много еды, потом мама и папа брали Алешку и отправлялись к нам на садовый участок за полтора часа езды, чтобы сжечь палящую листву, прибраться в домике и что-то посадить, и там, в неотапливаемом домике, они и ночевали, давая моим гостям возможность всю ночь есть, пить и гулять. И на этот раз все было так же, и чтобы все было так же, я сказала Алешке, что он поедет один на все тот же садовый участок и переночует там, другого выхода не было, он был уже взрослый, семь лет, дорогу знал прекрасно, и я еще предупредила его, чтобы он ни в коем случае не возвращался и не звонил в дверь. И он отправился, одинокий странник, а мы как раз утром в это воскресенье были с ним на могиле дедушки с бабушкой, он впервые был на кладбище и таскал мне воду в ведре, мы посадили на могилах маргаритки. Он должен был начинать с этих пор новую жизнь, мы пообедали наскоро хлебом с колбасой, сыром и чаем — из того, что предполагалось на праздничный стол, и Алеша отправился без отдыха дальше на садовый участок, а я стала делать тесто для пирогов с капустой, больших средств у меня теперь не было. Пирог с капустой, пирог с маминым вареньем, салат картофельный, яйца с луком, свекла тертая с майонезом, немного сыра и колбасы — сожрут и так. И бутылка водки. В сущности, я зарабатывала немного, от Коли ждать не приходилось, он чуть ли не вообще переехал жить к своим родителям, а в редкие моменты посещений кричал на Алешу, что тот не так ест, не так икает, не так сидит и роняет крошки на пол, и в заключение орал, что тот все время смотрит телевизор и вырастает черт-те чем, не читает ничего, сам не рисует ничего. Этот бессильный крик был криком зависти в адрес Сонечки, которая пела, сочиняла музыку, была в гнесинской музыкальной школе, куда конкурс один к тремстам, много читала с двух лет и сама писала стихи и сказки. В конечном итоге Коля любил Алешу, но он бы любил его гораздо больше, если бы ребенок был талантливый и красивый, блестящий в учебе и сильный в отношениях с товарищами. Тогда бы Коля любил его гораздо больше, а так он видел в нем себя самого и бе-

сил, особенно бесился, когда Алеша ел. У Алеши были плоховатые зубы, в семь лет еще не выросшие как следует впереди, Алеша еще не освоился со своим сиротством после дедушки с бабушкой и ел рассеянно, большими кусками и не жуя, ронял на штаны капли и крошки, беспрестанно все проливал и в довершение начал мочиться в постель. Коля, я думаю, вылетел как пробка из нашего семейного гнезда, чтобы не видеть своего облитого мочой сына, на тонких ногах дрожащего в мокрых трусах. Когда Коля в первый раз застал, проснувшись от Алешиного плача, это безобразие, он саданул Алешу прямо по щеке ладонью, и Алеша легко покатился обратно на свою мокрую, кислую постель, но он не очень плакал, поскольку чувствовал даже облегчение, что вот его наказали. Я только усмехнулась и вышла вон и пошла на работу, оставив их расхлебывать. В этот день у меня было исследование глазного дна, которое показало начинающуюся наследственную болезнь, от которой умерла мама. Вернее, доктор не сказала окончательного диагноза, но капли прописала те самые, мамины, и назначила те же самые анализы. Все началось теперь у меня, такие были дела, до того ли мне было, что Алеша мочится в постель и что Коля его ударил. Передо мной открывались новые горизонты, не скажу какие, и я начала принимать свои меры. Коля ушел, я вернулась домой и не застала Колиных носильных вещей, остальное все он благородно оставил, надо ему отдать справедливость. И вот наступила Пасха, я испекла пироги, раздвинула стол, застелила его скатертью, поставила тарелки, рюмки, салаты, колбаску и сыр, хлеб, было даже немного яблок, материна подруга подарила, принесла кулек редких по весеннему времени яблок и крашенных яиц, и я отнесла часть на кладбище, покрошила птицам на дощечку, и мы с Алешей тоже поели. Помню, что кругом в оградах стояли люди, возбужденно разговаривали, пили на воздухе, закусывали, у нас еще сохранились эти традиции пасхальных пикников на кладбищах, когда кажется, что все обошлось в конце концов хорошо, покойники лежат хорошо, за них пьют, убраны могилки, воздух свежий, птицы, никто не забыт и ничто не забыто, и у всех так же будет, все пройдет и закончится так же мирно и благополучно, с бумажными цветами, фотографиями на керамике, птичками в воздухе и крашеными яйцами прямо в земле. Алеша, мне кажется, поборол свой страх, сажал со мной рассаду маргариток все смелей и смелей в этой земле, почва у нас в Люблино чистая и песчаная, роди-

телей я сожгла, только кубки с пеплом стояли в глубине, ничего страшного, все позади, и Алеша бегал и поливал, а потом мы сходили помыли руки и ели яйца, хлеб и яблоки, а остатки разложили и крошили, как это делали на других, соседних могилах многочисленных посетители. И когда мы ехали домой, в автобусе и метро все хоть и были под банкой, но какие-то дружные, благостные, словно заглянули в загробный мир и увидели там свежий воздух и пластмассовые цветы и дружно выпили за это дело.

Так что вечером этого дня, одна и свободная, я дождалась слегка смущенных своих ежегодных гостей, которые явились все как один, потому что Мариша не могла не прийти, она очень смелая женщина и благородных кровей, а остальные пришли благодаря ей, и Серж был тут же, и мой бывший теперь уже муж Коля точно с такими же, как у Алеши, разрушенными зубами, Коля пришел и отправился на кухню разгружать все, что они принесли, а принесли они уже сваренную картошку с укропом и огурцы, а также много вина с перспективой на всю ночь. А почему бы им было и не погулять, когда пустая чужая квартира и есть еще щекотливое обстоятельство, то есть как я восприму приход моих новобрачных родственников Коли и Мариши, поскольку они только вчера расписались, так все и было, и тут же был Серж, немножко более нетерпеливый, чем обычно, к выпивке, они с Жорой тут же пошли обмывать все происшедшее. Ленки Марчукайте давно не было и в помине, говорят, она ходила где-то с затянутой теплым платком грудью, кто-то ее видел в метро после рождения мертвого ребенка, она не жаловалась, только пожаловалась, что молоко пришло. Так вот, Андрей-стукач поставил пластинку, Надя, его малолетняя, стала изображать из себя опять семейную бабу и рассказала мне, сколько алиментов платит Андрей и что ему бесполезно даже писать диссертацию, так все и уйдет на алименты. А когда они кончатся? Через четырнадцать лет, когда Наде стукнет тридцать три года, и только тогда можно будет родить ребенка, уже своего. Вошла Таня-валькирия, радостно сверкая зубами и глазами, и я ее спросила, вместе ли положили Сонечку и ее мальчика, вместе им будет удобнее, а Таня в ответ на это, как всегда, тихо заржала, показав еще больше свои большие-пребольшие зубы, а Мариша, наоборот, не в пример прошлым годам обозлилась, когда я спросила:

— А чем они там занимаются?

— Вот тем и занимаются, — ответила радостная Таня.

— Тебе хорошо, у тебя мальчик, а Марише хуже, Мариша, ты уже научила Сонечку предохраняться?

— Не беспокойся, научила, — ответила Мариша и присоединилась к тихому ржанию Тани, хотя я, по своему обыкновению, сказала истинную правду.

— А что такое? — спросила Надя, у которой один глаз вот-вот готов был выскочить из орбиты.

— Надя, — сказала я, — это правда, что у тебя один глаз вставной?

— Она всегда такая, — сказала сияющая Таня бедной Наде.

А тут вставил свое слово Андрей-стукач.

— Я к тебе отношусь резко отрицательно! — заявил он, вспомнив формулировку Сержа, но я не обратила внимания на Андрея-стукача.

Пришли из кухни Серж с Жорой, уже поддатые, а мой Коля явился из бывшей нашей спальни, не знаю, что уж он там делал.

— Коля, ты уже отобрал себе простыни получше? — спросила я и поняла, что попала в самую точку.

Коля покачал головой и покрутил пальцем у виска, благодаря чему в это свое посещение он не взял ни одной штуки постельного белья, спасибо моей проницательности.

— Мариша, тебе есть на чем спать с моим мужем? Ты ведь часть простынь выделила Сержу, я понимаю. А у меня все простыни застиранные, прошлый раз Коля первый раз в жизни собрался стирать белье и бросил его в кипяток, и все пятна на простынях заварил, проступило в виде облаков.

Тут все они засмеялись дружным, довольным смехом и сели за стол. Моя роль была сыграна, дальше сыграл свою роль Серж, который косноязычно, туманно и гнусаво стал спорить с Жорой об общей теории поля некоего Рябикина, причем Серж яростно нападал на Рябикина, а Жора его снисходительно защищал, а потом якобы неохотно сдался и согласился, и в Серже впервые проступил неудачливый, непроявившийся ученый, а в затырканном Жоре впервые проявилось восходящее светило науки, ибо ничто так не выдает личного успеха, как снисходительность к собратьям.

— Ты, Жора, когда докторскую защищаешь? — спросила я его наугад, а Жора клюнул и немедленно ответил, что во вторник предзащита, а защита — когда очередь подойдет.

Все на мгновение приумолкли, а потом стали пить. Пили все до полного затмения, Андрей-стукач вдруг стал жаловаться на райисполком, который не разрешает им трехкомнатную на двоих, а Надин папа стал генералом и бушует, валит Наде подарок

за подарком, и машина ей уже на мази, и трехкомнатный кооператив, только бы Наде поступить учиться, а не рожать ребенка.

— А я хочу рожать, — сказала Надя упрямо, но никто не поддерживал темы.

Короче говоря, разговор за столом не клеился, Коля с Маришей тихо переговаривались, я знаю о чем — о том, чтобы он забрал прямо сейчас свои остальные вещи и куда надо будет эти вещи сложить, пока идет обмен Маришиной квартиры на комнату для Сержа и двухкомнатную квартиру, чтобы Сонечке было где отдельно заниматься музыкой на скрипке, а Сержу было бы где жить с брюнеткой, а моему мужу было бы где жить с Маришей. А может быть, они шептались о том, что лучше мне отдать их двухкомнатную, а самим поселиться в моей трехкомнатной квартире и начать ее размен.

— Мариша, тебе понравилось в моей квартире? — спросила я. — Может быть, вы поселитесь здесь, а мы с Алешей будем жить, где скажете? Нам с Алешей много не нужно, и вещи берите.

— Дура, — сказал Андрей громко, — набитая дура! Маришка только и думает, чтобы ничего у нее не забирать, дура!

— Но почему же, берите! — сказала я. — Мне одной много не надо, а Алеша ведь идет в детский дом, я уже устраиваю и хлопчу. В город Боровск.

— Прям, — сказал Коля, — еще чего.

— Пошли-ка отсюда, этот спектакль выдерживать, — сказал Андрей-стукач и даже стал решительно подниматься вкупе со своей Надей, но остальные не шелохнулись, им важно было довершить суд до конца.

— Я устраиваю его в детдом, вот анкета, — сказала я и, не вставая, достала из-за стекла книжной полки анкету и заполненные бланки.

Коля их взял посмотреть и порвал.

— Наглая же дура, — сказал Андрей.

Я откинулась на стуле.

— Пейте, ешьте, сейчас принесу пироги с вареньем и капустой.

— Ладно, — сказал Серж, и они стали снова пить.

Андрей поставил пластинку, а Серж подошел к своей чужой жене Марише и пригласил ее танцевать. Мариша вспыхнула, как приятно было видеть ее вороватый взгляд, направленный в мою сторону, почему-то именно в мою! «Вот я уже и стала мериллом совести», — бормотала я, ставя на стол пирог с капустой.

Тут все завертелось, осуществился праздник их любви, все дружно орали, пели, как им было весело, а Коля, оставшись не у дел, подошел ко мне и спросил:

— А где Алеша?

— Не знаю, гуляет, — сказала я.

— Так уже первый час ночи! — сказал Коля и пошел в прихожую.

Я ему не мешала, но он не стал одеваться, а по дороге завернул в уборную и там надолго затих, а в это время Марише стало плохо, она перепила и не нашла ничего лучшего как выноситься в окно кухни и выдать меню прямо на стену, как это выяснилось на следующий же день из слов пришедшего техника-смотрителя дома.

Пирог, окурки, разграбленные салаты, огрызки и половинки яблок, бутылки под диваном, Надя, которая навзрыд плакала и держалась за глаз, и Андрей, который держал на руках Маришу и танцевал с ней, — это был тот самый знаменитый один акт в год, которые они совершали после того, как Марише стало легче, а Надя видела это первый раз в жизни и была этим делом испугана до потери глаза.

Потом Андрей собрался и строго собрал Надю, дело шло к закрытию метро, Серж и Жора дружно одевались, Коля вышел из уборной и, плохо соображая, лег на диван, но его поднял Жора и повел, сзади шествовала радостная Таня, и я наконец открыла дверь им всем, и они все увидели Алешку, который спал, сидя на ступенях.

Я выскочила, подняла его и с диким криком «ты что, ты где?!» ударила его по лицу, так что у ребенка полилась из носа кровь, и он, еще не проснувшись, стал захлебываться. Я начала бить его по чему попало, на меня набросились, скрутили, воткнули в дверь и захлопнули, и кто-то еще долго держал дверь, пока я колотилась, и были слышны чьи-то рыдания и крик Нади: «Да я ее своими руками! Господи! Гадина!»

И кричал, спускаясь по лестнице, Коля:

— Алешка! Алешка! Все! Я забираю! Все! К такой матери, куда угодно! Только не здесь! Мразь такая!

Я заперлась на засов. Мой расчет был верным. Они все как один не могли видеть детской крови, они могли спокойно разрезать друг друга на части, но ребенок, дети для них святое дело.

Я прокралась на кухню и выглянула в окно поверх полузатертой Маришиной свеклы. Мне недолго было ждать. Вся компания выва-

лилась из парадного. Коля нес Алешу! Это было триумфальное всеобщее шествие. Все возбужденно переговаривались и ждали еще кого-то. Последним вышел Андрей, стало быть, это он держал дверь. Когда он вышел, последний прикрывавший фланги, Надя выкрикнула ему навстречу: «Лишение материнства, вот что!» Все были в ударе. Мариша хлопотала с носовым платком над Алешей. Пьяные голоса разносились далеко по округе. Они даже поймали такси! Коля с Алешкой и поддерживающая их Мариша, спотыкаясь, влезли на заднее сиденье, спереди сел Жора. Жора, видимо, будет платить, подумала я, как всегда, точно, и Жоре это по дороге, он так и так всегда ездит на такси. Ничего, доберутся.

В суд они не подадут, не такие люди. Алешку будут прятать от меня. Его окружают вниманием. Дольше всех романтически будут любить Алешку Андрей-стукач и его бездетная жена. Таня будет брать Алешку на лето к морю. Коля, взявший Алешу на руки, уже не тот Коля, который ударил семилетнего ребенка плашмя по лицу только за то, что тот обмочился. Мариша тоже будет любить и жалеть маленького гнилозубого Алешу, не проявляющего талантов даже в малой степени. И богатый в будущем Жора подкинет от своих щедрот и средств и, глядишь, устроит Алешу в институт. Другое дело Серж — человек в целом малоромантический, человек сухой, циничный и недоверчивый, но этот кончит сожительством с единственным по-настоящему любимым им существом, с Сонечкой, сумасшедшая любовь к которой ведет его по жизни углами, закоулками и темными подвалами, пока он не осознает ее полностью, не бросит всех женщин и не будет жить ради одной-единственной, которую сам породил. Такие случаи также бывали и бывают. Вот это будет закавыка и занятие для маленькой толпы моих друзей, но это будет не скоро, через восемь лет, а Алеша за эти годы успеет набраться сил, ума и всего, что необходимо. Я же устроила его судьбу очень дешевой ценой. Так бы он после моей смерти пошел по интернатам и был бы с трудом принимаемым гостем в своем родном отцовском доме. Но я просто, отправив его на садовый участок, не дала ему ключ от садового домика, и он вынужден был вернуться, а стучать в дверь я ему запретила, я его уже научила в его годы понимать запреты. И вот вся дешево доставшаяся сцена с избиением младенцев дала толчок длинной новой романтической традиции в жизни моего сироты Алеши с его благородными новыми приемными родителями, которые свои интересы забудут, а его интересы будут блюсти. Так

я все рассчитала, и так оно и будет. И еще хорошо, что вся эта групповая семья будет жить у Алеша в квартире, у него в доме, а не он у них, это тоже замечательно, поскольку очень скоро я отправлюсь по дороге предков. Алеша, я думаю, придет ко мне в первый день Пасхи, я с ним так мысленно договорилась, показала ему дорожку и день, я думаю, он догадается, он очень сознательный мальчик, и там среди крашенных яиц, среди пластмассовых венков и помятой, пьяной и доброй толпы он меня простит, что я не дала ему попрощаться, а ударила его по лицу вместо благословения. Но так лучше — для всех. Я умная, я понимаю.

1979

Венедикт Васильевич ЕРОФЕЕВ 1938—1990

МОСКВА—ПЕТУШКИ (Отрывки)

Усад — 105-й километр

Я остался на площадке в полном одиночестве и полном недоумении. Это было даже не совсем недоумение, это была все та же тревога, переходящая в горечь. В конце концов, черт с ним, пусть «милая странница», пусть «старший лейтенант», — но почему за окном темно, скажите мне, пожалуйста? Почему за окном чернота, если поезд вышел утром и прошел ровно сто километров? Почему?

Я припал головой к окошку — о, какая чернота! и что там в этой черноте — дождь или снег? или просто я сквозь слезы гляжу в эту тьму? Боже!

— А! Это ты! — кто-то сказал у меня за спиной таким приятным голосом, таким злорадным, что я даже поворачиваться не стал. Я сразу понял, кто стоит у меня за спиной. «Искушать сейчас начнет, тупая морда! Нашел же ведь время — искушать!»

— Так это ты, Ерофеев? — спросил Сатана.

— Конечно, я. Кто же еще?

— Тяжело тебе, Ерофеев?

— Конечно, тяжело. Только тебя это не касается. Проходи себе дальше, не на такого напал...

Я все так и говорил: уткнувшись лбом в окошко тамбура и не поворачиваясь.

— А раз тяжело, — продолжал Сатана, — смири свой порыв. Смири свой духовный порыв — легче будет.

— Ни за что не смирю.

— Ну и дурак.

— От дурака слышу.

— Ну ладно, ладно... уж и слова не скажи!.. Ты лучше вот чего: возьми — и на ходу из электрички выпрыгни. Вдруг да и не разобьешься...

Я сначала подумал, потом ответил:

— Не-а, не буду я прыгать, страшно. Обязательно разобьюсь... И Сатана ушел, посрамленный.

А я — что мне оставалось? — я сделал из горлышка шесть глотков и снова припал головой к окошку. Чернота все плыла за окном и все тревожила. И будила черную мысль. Я стискивал голову, чтобы отточить эту мысль, но она все никак не оттачивалась, а растекалась, как пиво по столу. «Не нравится мне эта тьма за окном, очень не нравится».

Но шесть глотков кубанской уже подходили к сердцу, тихонько, по одному, подходили к сердцу; и сердце вступило в единоборство с рассудком...

«Да чем же она тебе не нравится, эта тьма? Тьма есть тьма, и с этим ничего не поделаешь. Тьма сменяется светом, а свет сменяется тьмой — таково мое мнение. Да если она тебе и не нравится — она от этого быть тьмой не перестанет. Значит, остается один выход: принять эту тьму. С извечными законами бытия нам, дуракам, не совладать. Зажав левую ноздрю, мы можем сморкнуться только правой ноздрей. Ведь правильно? Ну, так и нечего требовать света за окном, если за окном тьма...»

«Так-то оно так... но ведь я выехал утром... В восемь шестнадцать, с Курского вокзала...»

«Да мало ли что утром!.. Теперь, слава Богу, осень, дни короткие; не успеешь очухаться — бах! уже темно... А ведь до Петушков ехать о-о-о как долго! От Москвы до Петушков о-о-о как долго ехать!..»

«Да чего «о-о-о»! Чего ты все «о-о-о» да «о-о-о»! От Москвы до Петушков ехать ровно два часа пятнадцать минут. В прошлую пятницу, например...»

«Ну что тебе прошлая пятница?! Мало ли что было в прошлую пятницу! В прошлую пятницу и поезд-то шел почти без остановок. И вообще раньше поезда быстрее ходили... А теперь черт знает что!.. У каждого столба останавливается и стоит, а зачем стоит? Уж прямо тошно иногда делается: чего он все стоит да стоит. И так у каждого столба. Кроме Есино...»

Я взглянул за окно и опять нахмурился: «Да-а... странно все-таки... выехали в восемь утра... и все еще едем...»

Тут уж сердце взорвалось: «А другие-то? Другие-то что: хуже тебя? Другие ведь тоже едут и не спрашивают, почему так долго и почему так темно? Тихонько едут и в окошко смотрят... Почему ты должен ехать быстрее, чем они? Смешно тебя слушать, Веня, смешно и противно... Какой торопыга! Если ты выпил, Веня, так будь поскромнее, не думай, что ты умнее и лучше других!..»

Вот это меня уже совсем утешило. Я ушел с площадки снова в вагон и сел на лавочку, стараясь не глядеть в окошко. Вся публика в вагоне, человек пять или шесть, дремали вниз головой, как грудные младенцы... Я чуть было тоже не задремал...

И вдруг — подскочил на месте: «Боже милостивый! Но ведь в 11 утра она должна меня ждать! В 11 утра она уже будет меня ждать — а на дворе все еще темно... Значит, мне ее придется ждать до рассвета. Я ведь не знаю, где она живет. Я попадал к ней двенадцать раз, и все какими-то задворками и пьяный вдрабадан... Как обидно, что я на тринадцатый раз еду к ней совершенно трезвый. Из-за этого мне придется ждать, когда же наконец рассветет! когда же взойдет заря моей тринадцатой пятницы!

Впрочем, стон! Ведь я уезжал из Москвы — заря моей пятницы уже взошла. Значит — уже сегодня пятница! Почему же так темно за окном?..»

«Опять! Опять ты со своей темнотой! Далась тебе эта темнота!»

«Но ведь в прошлую пятницу...»

«Опять со своей прошлой пятницей! Я вижу, Веня, ты весь в прошлом. Я вижу, ты совсем не хочешь думать о будущем!..»

«Нет, нет, послушай... В прошлую пятницу, ровно в 11 утра, она стояла на перроне, с косой от затылка до попы... и было очень светло, я хорошо помню, и косу хорошо помню...»

«Да что «коса»! Ты пойми, дурак, я тебе повторяю: день сейчас убывает, потому что осень. В прошлую пятницу в 11 утра, я не спорю, было светло. А в эту пятницу, в 11 утра, может уже быть совершенно темно, хоть глаз коли. Ты знаешь, как сейчас день убывает? Знаешь? Я вижу, ты ничего не знаешь, только хвалишься, что все знаешь!.. Тоже мне, сказал: «коса»! Да коса-то, может, и прибывает: она, может, с прошлой пятницы уже ниже попы... А осенний день наоборот <...>! Какой же ты все-таки бестолковый, Веня!»

Я не очень сильно ударил себя по щеке, выпил еще три глотка и — прослезился. Со дна души взамен тревоги поднималась любовь. Я совсем раскис: «Ты обещал ей пурпур и лилии, а везешь триста грамм конфет «Василек». И вот через двадцать минут ты будешь в Петушках и на залитом солнцем перроне смутиться и подашь ей этот «Василек». А все будут говорить: «13-й раз подряд мы видим сплошной «Василек». Но мы ни разу не видели ни лилий, ни пурпура». А она рассмеется и скажет: «...»

Тут я совсем почти задремал. Я уронил голову себе на плечо и до Петушков не хотел ее поднимать. Я снова отдался потоку...

Петушки. Вокзальная площадь

«Если хочешь идти налево, Веничка, — иди налево. Если хочешь направо — иди направо. Все равно тебе некуда идти. Так что уж лучше иди вперед, куда глаза глядят...»

Кто-то мне говорил когда-то, что умереть очень просто: что для этого надо сорок раз подряд глубоко-глубоко, как только возможно, вздохнуть и выдохнуть столько же, из глубины сердца, — и тогда ты испустишь душу. Может быть, попробовать?..

О, погоди, погоди!.. Может, время сначала узнать? Узнать, сколько времени?.. Да ведь у кого узнать, если на площади ни единой души, то есть решительно ни единой?.. Да если б и встретила живая душа — смог бы ты разве разомкнуть уста, от холода и от горя? Да, от горя и от холода... О, немота!..

И если я когда-нибудь умру — а я очень скоро умру, я знаю, — умру, так и не приняв этого мира, постигнув его вблизи и изда-

ли, снаружи и изнутри постигнув, но не приняв, — умру, и Он меня спросит: «Хорошо ли было тебе там? Плохо ли тебе было?» — я буду молчать, опущу глаза и буду молчать, и эта немота знакома всем, кто знает исход многодневного и тяжелого похмелья. Ибо жизнь человеческая не есть ли минутное окосение души? и затмение души тоже. Мы все как бы пьяны, только каждый по-своему, один выпил больше, другой меньше. И на кого как действует: один смеется в глаза этому миру, а другой плачет на груди этого мира. Одного уже вытошнило, и ему хорошо, а другого только еще начинает тошнить. А я — что я? я много вкусил, а никакого действия, я даже ни разу как следует не рассмеялся, и меня не стошнило ни разу. Я, вкусивший в этом мире столько, что теряю счет и последовательность, — я трезвее всех в этом мире; на меня просто туго действует... «Почему же ты молчишь?» — спросит меня Господь, весь в синих молниях. Ну что я ему отвечу? Так и буду: молчать, молчать...

Может, все-таки разомкнуть уста? — найти живую душу и спросить, сколько времени?..

Да зачем тебе время, Веничка? Лучше иди, иди, закройся от ветра и потихоньку иди... Был у тебя когда-то небесный рай, узнавал бы время в прошлую пятницу — а теперь небесного рая больше нет, зачем тебе время? Царица не пришла к тебе на перрон, с ресницами, опущенными ниц; божество от тебя отвернулось, — так зачем тебе узнавать время? «Не женщина, а бланманже», как ты в шутку ее называл, — на перрон к тебе не пришла. Утеха рода человеческого, лилия долины — не пришла и не встретила. Какой же смысл после этого узнавать тебе время, Веничка?..

Что тебе осталось? утром — стон, вечером — плач, ночью — скрежет зубовный... И кому, кому в мире есть дело до твоего сердца? Кому?.. Вот войди в любой петушинский дом, у любого порога спроси: «Какое вам дело до моего сердца?» Боже мой...

Я повернул за угол и постучался в первую же дверь.

1969

Борис Петрович ЕКИМОВ **Р. 1938**

НОЧЬ ИСЦЕЛЕНИЯ

Внук приехал и убежал с ребятами на лыжах кататься. А баба Дуня, разом оживев, резво суетилась в доме: варила щи, пирожки затевала, доставала варенья да компоты и поглядывала в окошко: не бежит ли Гриша.

К обеду внук заявился, поел, как подмел, и снова умчался, теперь уже в лог, с коньками.

И снова баба Дуня осталась одна. Но то было не одиночество. Лежала на диване рубашка внука, книжки его — на столе, сумка брошена у порога — все не на месте, вразлад. И живым духом веяло в доме. Это было так дорого. Ведь жила баба Дуня одиноко, и гости ее не баловали.

Сын и дочь свили гнезда в городе и наезжали редко: хорошо, коли раз в год. Баба Дуня у них гостила не чаще и обыденкою, вечером возвращаясь к дому. С одной стороны, за хату боялась: какое ни есть, а хозяйство, с другой...

Вторая причина была поважнее: с неких пор спала баба Дуня тревожно, разговаривала, а то и кричала во сне. В своей хате, дома, шуми хоть на весь белый свет. Кто услышит? А вот в гостях... Только улягутся и заснут, как забормочет баба Дуня, в голос заговорит, кого-то убеждает, просит, так явственно в ночной тишине, а потом закричит: «Люди добрые! Спасите!!» Конечно, все просыпаются — и к бабе Дуне. А это сон у нее такой тревожный. Поговорят, поуспокаивают, валерьянки дадут и разойдутся. А через час то же самое: «Простите, Христа ради! Простите!!»

И снова квартира дыбом.

Конечно, все понимали, что виновата старость и несладкая жизнь, какую баба Дуня провела. С войной и голодом. Понимать понимали, но от этого было не легче. Приезжала баба Дуня, и взрослые, считай, ночь напролет не спали. Хорошего мало.

Водили ее к врачам. Те прописывали лекарства. Но ничего не помогало.

И стала баба Дуня ездить к детям все реже и реже, а потом лишь обыденкою: протрясется два часа в автобусе, спросит про здоровье — и назад.

И к ней, в родительский дом, приезжали лишь в отпуск, по лету.

Но вот внушек Гриша, в годы войдя, стал ездить чаще: на зимние каникулы, на Октябрьские праздники да Майские.

Он зимой и летом рыбачил в Дону, грибы собирал, катался на коньках да лыжах, дружил с уличными ребятами -- словом, не скучал. Баба Дуня радовалась.

И нынче с Гришиным приездом она про хвори забыла. День летел невидя, в суете и заботах. Не успела оглянуться, а уж синело за окном, подступал вечер.

Гриша заявился по-светлому. Загромыхал он на крылечке, в хату влетел краснощекий, с морозным духом и с порога заявил:

— Завтра на рыбалку! Берш за мостом берется. Дуром!

— Это хорошо, — одобрила баба Дуня. — Ушицей посладимся.

Гриша поужинал и сел разбирать снасти: мормышки да блесны проверял — на полдома разложив свое хозяйство. А баба Дуня устроилась на диване и глядела на внука, расспрашивая о том да сем.

Внук все малым был да малым, а в последние год-два вдруг вытянулся, и баба Дуня с трудом признавала в этом длинноногом, большеруком подростке с черным пушком на губе косолапого Гришатку.

— Бабаня, я говорю, и можешь быть уверена. Будет уха и жареха. Фирма веников не вяжет. Учти.

— С вениками, правда, плохо, — согласилась баба Дуня. — До трех рублей на базаре.

Гриша рассмеялся:

— Я про рыбу тебе.

— Про рыбу... У меня дядя рыбалил. Дядя Авдей. Мы на Картулях жили. Меня оттуда замуж брали. Так тама рыбы...

Гриша сидел на полу, среди блесен и лесок, длинные ноги — через всю комнатку, от кровати до дивана. Он слушал, а потом заключил:

— Ничего, и мы завтра наловим: на уху и жареху.

За окном солнце давно закатилось. Долго розовело небо. И уже светила луна, половинкою, но так хорошо, ясно, через окно было видеть.

Укладывались спать. Баба Дуня, совестясь, сказала:

— Ночью, може, я шуметь буду. Так ты разбуди.

Гриша отмахивался:

— Я, бабання, ничего не слышу. Сплю мертвым сном.

— Ну и слава Богу. А то вот я шумлю, дура старая. Ничего поделать не могу.

Заснули быстро, и баба Дуня и внук.

Но среди ночи Гриша проснулся от крика.

— Помогите! Помогите, люди добрые!

Спросонья, во тьме, он ничего не понял и страх обуял его.

— Люди добрые! Карточки потеряла! Карточки в синем платочке завязаны! Може, кто поднял? — и смолкла.

Гриша уразумел, где он и что. Это кричала баба Дуня.

Во тьме, в тишине так ясно слышалось тяжелое бабушкино дыхание. Она словно продыхивалась, сил набиралась. И снова запричитала, пока не в голос.

— Карточки... Где карточки... В синем платочке... Люди добрые. Ребятишки... Петяня, Шурик, Таечка... Домой приду, они исть попросят... Хлебца дай, мамушка. А мамушка ихняя... — баба Дуня запнулась, словно ошеломленная, и закричала: — Люди добрые! Не дайте помереть! Петяня! Шура! Таечка! — Имена детей она словно выпевала, тонко и болезненно.

Гриша не выдержал, поднялся с постели, прошел в бабушкину комнату.

— Бабання! Бабання! — позвал он. — Проснись...

Она проснулась, заворочалась.

— Гриша, ты? Разбудила тебя. Прости, Христа ради.

— Ты, бабання, не на тот бок легла, на сердце.

— На сердце, на сердце... — послушно согласилась баба Дуня.

— Нельзя на сердце. Ты на правый ложись.

— Лягу, лягу...

Она чувствовала себя такой виноватой.

Гриша вернулся к себе, лег в постель.

Баба Дуня ворочалась, вздыхала. Не сразу отступало то, что пришло во сне.

Внук тоже не спал, лежал, угреваясь. Про карточки он знал. На них давали хлеб. Давно, в войну и после. А Петяня, о котором горевала бабушка, это отец.

В жидкой тьме лунного полусвета темнели шкаф и этажерка. Стало думаться об утре, о рыбалке, и уже в полудреме Гриша услышал бабушкино бормотанье.

— Зима находит. Желудкóв запастись... Ребятишкам, детишкам... — бормотала баба Дуня. — Хлебца не хватает, и желудкáми обойдемся. Не отымайте, Христа ради... Не отымайте! — закричала она. — Хучь мешки отдайте! Мешки! — и рыдания оборвали крик.

Гриша вскочил с постели.

— Бабаня! Бабаня! — крикнул он и свет зажег в кухне. — Бабаня, проснись!

Баба Дуня проснулась. Гриша наклонился над ней. В свете электрической лампочки засияли на бабушкином лице слезы.

— Бабаня... — охнул Гриша. — Ты вправду плачешь? Так ведь это все сон.

— Плачу, дура старая. Во сне, во сне...

— Но слезы-то зачем настоящие? Ведь сон — неправда. Ты вот проснулась — и все.

— Да это сейчас проснулась. А там...

Гриша с трудом уразумевал, сводя воедино призрачные картины сна и живые слезы. Он понимал все это с трудом, но понял.

— А чего тебе снилось?

— Снилось? Да нехорошее. Вроде за желудями я ходила за Дон, на-гора. Набрала в два мешка. А лесники на пароме отбирают. Вроде не положено. И мешки не отдают.

— А зачем тебе желуди?

— Кормиться. Мы их толкли, мучки чудок добавляли и чуречки пекли, ели.

— Бабаня, тебе это только снится или это было? — спросил Гриша.

— Снится, — ответила баба Дуня. — Снится и было. Не приведи Господь. Не приведи... Ну, ложись, иди, ложись...

Гриша ушел, и крепкий сон ли сморил его, или баба Дуня больше не кричала, но до позднего утра он ничего не слышал.

Утром он ушел на рыбалку и, как обещал, поймал пять хороших бершей, на уху и жареху.

За обедом баба Дуня горевала:

— Не даю тебе спать... До двух раз булгачила. Старость.

— Бабаня, в голову не бери, — успокаивал ее Гриша. — Высплюсь, какие мои годы...

Он пообедал и сразу стал собираться. А когда надел лыжный костюм, то стал еще выше. И красив он был, в лыжной шапочке. Такое милое лицо, мальчишечье, смуглое, с румянцем.

А баба Дуня рядом с ним казалась совсем старой: согбенное оплывающее тело, седая голова тряслась, и в глазах уже виделось что-то нездешнее.

Гриша мельком, но явственно вспомнил лицо ее, в полутьме, в слезах. Воспоминание резануло по сердцу. Он поспешил уйти.

На дворе ждали друзья. Рядом лежала степь. Чуть поодаль зеленели посадки сосны. Так хорошо было бежать там на лыжах. Смолистый дух проникал в кровь живительным холодком и, казалось, возносил над лыжней послушное тело. И легко было мчаться, словно парить.

За соснами высились песчаные бугры — кучугуры, поросшие красноталом. Они тянулись холмистой грядой до самого Дона. Туда, к высоким задонским холмам, тоже заснеженным, тянуло.

Манило к крутизне, когда наждаковый ветер высекает из глаз слезу. А ты летишь, чуть присев, узкими щелочками глаз цепко ловишь впереди каждый бугорок и падінку, чтобы встретить их, и тело твое цепенеет в тряском лете. И наконец пулей вылетаешь на гладкую скатерть заснеженной реки и, расслабившись, выдохнув весь испуг, катишь и катишь спокойно до середины Дона.

Этой ночью Гриша не слышал бабы Дуниных криков, хотя утром по лицу ее понял, что она беспокойно спала.

— Не будила тебя? Ну и слава Богу...

Прошел еще день и еще.

А потом, как-то к вечеру, он ходил на почту, домой, в город, звонить. В разговоре мать спросила:

— Спать тебе баба Дуня дает? — И посоветовала: — Она лишь начнет говорить, а ты крикни: «Молчать!» Она перестает. Мы пробовали.

По пути домой стало думаться о бабушке. Сейчас, со стороны, она казалась такой слабой и одинокой. А тут еще эти ночи

в слезах, словно наказание. Про старые годы вспоминал отец. Но для него они прошли. А для бабушки нет. И с какой, верно, тягостью ждет она ночи. Все люди прожили горькое и забыли. А у нее оно снова и снова. Но как помочь?

Свечерело. Солнце скрылось за прибрежными донскими холмами. Розовая кайма лежала за Доном, а по ней — редкий далекий лес узорчатой чернью. В поселке было тихо, лишь малые детишки смеялись, катаясь на салазках. Про бабушку думать было больно. Хотелось помочь ей. Но как? Как мать советовала? Говорит — помогает. Вполне может быть. Это ведь психика. Приказать, крикнуть — и перестанет.

Гриша неторопливо шел и шел, раздумывая, и в душе его что-то теплело и таяло, что-то жгло и жгло.

Весь вечер, за ужином, а потом за книгой, у телевизора, Гриша нет-нет да и вспоминал о прошедшем. Вспоминал и глядел на бабушку, думал: «Лишь бы не заснуть».

За ужином он пил крепкий чай, чтобы не сморило. Выпил чашку, другую, готовя себя к бессонной ночи.

И пришла ночь. Потушили свет. Гриша не лег, а сел в постели, дожидаясь своего часа. За окном светила луна. Снег белел. Чернели сараи.

Баба Дуня скоро заснула, похрапывая. Гриша ждал. И когда наконец из комнаты бабушки донеслось еще невнятное бормотание, он поднялся и пошел. Свет в кухне зажег, встал возле кровати, чувствуя, как охватывает его невольная дрожь.

— Потеряла... Нету... Нету карточек... — бормотала баба Дуня еще негромко. — Карточки... Где... карточки... — и слезы, слезы подкатывали.

Гриша глубоко вдохнул, чтобы крикнуть громче, и даже ногу поднял, чтобы топнуть. Чтобы уж наверняка.

— Хлебные... карточки... — в тяжелой муке, со слезами выговаривала баба Дуня.

Сердце мальчика облилось жалостью и болью. Забыв обдуманное, он опустился на колени перед кроватью и стал убеждать, мягко, ласково:

— Вот ваши карточки, бабаня... В синем платочке, да? Ваши в синем платочке? Это ваши, вы обронули. А я поднял. Вот видите, возьмите, — настойчиво повторял он. — Все целые, берите...

Баба Дуня смолкла. Видимо, там, во сне, она все слышала и понимала. Не сразу пришли слова. Но они пришли.

— Мои, мои... Платочек мой, синий. Люди скажут. Мои карточки, я обронила. Спаси Христос, добрый человек...

По голосу ее Гриша понял, что сейчас она заплачет.

— Не надо плакать, — громко сказал он. — Карточки целые. Зачем же плакать? Возьмите хлеба и несите детишкам. Несите, поужинайте и ложитесь спать, — говорил он, словно приказывая. — И спите спокойно. Спите.

Баба Дуня смолкла.

Гриша подождал, послушал ровное бабушкино дыхание, поднялся. Его бил озноб. Какой-то холод пронизывал до костей. И нельзя было согреться. Печка была еще тепла. Он присел возле нее. Спать не хотелось. Неясный страх подступал. Светлые от луны окошки глядели холодно. Задремывалось. Но через дрему он услышал, как снова тревожно забормотала бабушка:

— Чирички... чирички... Зима находит. Разутые ребятишки. Чирички бы какие у вас пошить. Мне ничего не надо...

Поднявшись, Гриша снова подошел к бабе Дуне, склонился над ней.

— Детишки босые... разутые... Сделайте милость.

Ему ясно представилось, как куда-то входит баба Дуня, маленькая, жалкая.

— Вам тапочки, да? — спросил он твердо. — Обувь для детей? Сколько у вас детей? Трое?

— Трое, — отозвалась баба Дуня.

— На всех троих и сошьем. Ботинки.

— Хучь одни на всех... — молила баба Дуня. — И пальтушонку, прикрыться...

— Всем сошьем. Три пары ботинок. Три пальто, — перечислял Гриша. — И всем валенки. И вас оденем.

— Нет, нет! — отказалась баба Дуня. — Боже избавь! Только ребятишкам...

— И вас оденем, — твердо проговорил Гриша. — Вы — жена фронтовика, и мы вас обеспечим. Чтобы никто зимой не мерз. Ни дети, ни вы.

— Спаси Христос, спаси Христос... — тихо ответила баба Дуня, и по лицу ее было видно, что сейчас она заплачет.

— А зачем плакать? Плакать не надо, — приказал Гриша. — Плакать не надо. Идите и спокойно спите. Спите спокойно. Ну пожалуйста, спите спокойно, бабая.

Последнее он проговорил со слезами и ушел на кухню. Баба Дуня спала. А он сидел у печки и плакал. Слезы катились и катились. Они шли от сердца, потому что сердце болело и ныло, жалея бабу Дуню и кого-то еще... Он не спал, но находился в странном забытии, словно в годах далеких, иных и в жизни чужой, и виделось ему там, в этой жизни, такое горькое, такая беда и печаль, что он не мог не плакать. И он плакал, вытирая слезы кулаком.

Но как только баба Дуня заговорила, он забыл обо всем. Ясной стала голова, и прошла в теле дрожь. К бабе Дуне он подошел вовремя.

— Документ есть, есть документ... вот он... — дрожащим голосом говорила она. — К мужу, в госпиталь пробираюсь. А ночь на дворе. Пустите переночевать.

Гриша словно увидел темную улицу и женщину во тьме и распахнул ей навстречу дверь.

— Конечно, пустим. Проходите, пожалуйста. Проходите. Не нужен ваш документ.

— Документ есть! — выкрикнула баба Дуня.

Гриша понял, что надо брать документ.

— Хорошо, давайте. Так... Ясно. Очень хороший документ. Правильный. С фотокарточкой, с печатью.

— Правильный... — облегченно вздохнула баба Дуня. — Вятской губернии, Орловского уезда.

— Все сходится. Проходите.

— Мне бы на полу. Лишь до утра. Переждать.

— Никакого пола. Вот кровать. Спите спокойно. Спите. Спите. На бочок — и спите.

Баба Дуня послушно повернулась на правый бок, положила под голову ладошку и заснула. Теперь уже до утра.

Гриша посидел над ней, поднялся, потушил в кухне свет.

Кособокая луна, опускаясь, глядела в окно. Белел снег, посверкивал живыми искрами.

Гриша лег в постель, предвкушая, как завтра расскажет бабушке и как они вместе... Но вдруг обожгло его ясной мыслью: «Нельзя говорить». Он отчетливо понял: ни слова, ни даже на-

мека. Это должно остаться и умереть в нем. Нужно делать и молчать. Завтрашнюю ночь и ту, что будет за ней. Нужно делать и молчать. И придет исцеление.

Вопросы и задания

1. В чем парадоксальность нравственного выбора героини рассказа Л. Петрушевской «Свой круг»? Как обнажаются, проступают в рассказе реалии «смутного времени»?

2. В чем проявляется трагизм и одновременно гротесковое начало сюжета и стилистики «поэмы в прозе» В. Ерофеева? Что стоит за «всемирным запоем» героя «Москвы—Петушков»? Есть ли для Венички нечто святое, высокое в мире «застойного» быта?

3. Какова роль многочисленных литературных намеков и цитат в поэме В. Ерофеева?

4. Какие традиции русской классической прозы нашли свое воплощение в произведениях Б. Екимова? В чем смысл «открытости» нравственной проблематики рассказа «Ночь исцеления», его намеренной безыскусственности?

Иосиф Александрович БРОДСКИЙ 1940—1996

СТАНСЫ

Е.В., А.Д.

Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать.
Твой фасад темно-синий

я впотьмах не найду,
между выцветших линий
на асфальт упаду.

И душа, неустанно
поспешая во тьму,
промелькнет над мостами
в петроградском дыму,
и апрельская морось,
над затылком снежок,
и услышу я голос:
— до свиданья, дружок.

И увижу две жизни
далеко за рекой,
к равнодушной отчизне
прижимаясь щекой, —
словно девочки-сестры
из непрожитых лет,
выбегая на остров,
махнут мальчику вслед.

1962

ПИСЬМА РИМСКОМУ ДРУГУ

Из Марциала

Нынче ветрено и волны с перехлестом.
Скоро осень, все изменится в округе.
Смена красок этих трогательней, Постум,
чем наряда перемена у подруги.

Дева тешит до известного предела —
дальше локтя не пойдешь или колена.
Сколь же радостней прекрасное вне тела:
ни объятье невозможно, ни измена!

*

Посылаю тебе, Постум, эти книги.
Что в столице? Мягко стелют? Спать не жестко?
Как там Цезарь? Чем он занят? Все интриги?
Все интриги, вероятно, да обжорство.

Я сижу в своем саду, горит светильник.
Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых.
Вместо слабых мира этого и сильных —
лишь согласное гуденье насекомых.

*

Здесь лежит купец из Азии. Толковым
был купцом он — деловит, но незаметен.
Умер быстро: лихорадка. По торговым
он делам сюда приплыл, а не за этим.
Рядом с ним — легионер, под грубым кварцем.
Он в сражениях империю прославил.
Столько раз могли убить! а умер старцем.
Даже здесь не существует, Постум, правил.

*

Пусть и вправду, Постум, курица не птица,
но с куриными мозгамихватишь горя.
Если выпало в империи родиться,
лучше жить в глухой провинции, у моря.

И от Цезаря далеко и от вьюги,
лебезить не нужно, трусить, торопиться.
Говоришь, что все наместники — ворюги?
Но ворюги мне милей, чем кровопийцы.

<...>

*

Вот и прожили мы больше половины.
Как сказал мне старый раб перед таверной:
«Мы, оглядываясь, видим лишь руины».
Взгляд, конечно, очень варварский, но верный.

Был в горах. Сейчас вожусь с большим букетом.
 Разыщу большой кувшин, воды налью им...
 Как там в Ливии, мой Постум, — или где там?
 Неужели до сих пор еще воюем?

*

Помнишь, Постум, у наместника сестрица?
 Худощавая, но с полными ногами.
 Ты с ней спал еще... Недавно стала жрица.
 Жрица, Постум, и общается с богами.

Приезжай, попьем вина, закусим хлебом.
 Или сливами. Расскажешь мне известья.
 Постелю тебе в саду под чистым небом
 и скажу, как называются созвездья.

*

Скоро, Постум, друг твой, любящий сложенье,
 долг свой давний вычитанию заплатит.
 Забери из-под подушки сбереженья,
 там немного, но на похороны хватит.

Поезжай на вороной своей кобыле
 в дом гетер под городскую нашу стену.
 Дай им цену, за которую любили,
 чтоб за ту же и оплакивали цену.

*

Зелень лавра, доходящая до дрожи.
 Дверь распахнутая, пыльное оконце.
 Стул покинутый, оставленное ложе.
 Ткань, впитавшая полуденное солнце.

Понт шумит за черной изгородью пиний.
 Чье-то судно с ветром борется у мыса.
 На разохшейся скамейке — Старший Плиний.
 Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.

1972

НА СМЕРТЬ ЖУКОВА

Вижу колонны замерзших внуков.
Гроб на лафете¹, лошади круп.
Ветер сюда не доносит мне звуков
русских военных плачущих труб.
Вижу в регалии² убранный труп:
в смерть уезжает пламенный Жуков.

Воин, пред коим многие пали
стены, хоть меч был вражьих тупей,
блеском маневра о Ганнибале
напоминавший средь волжских степей.
Кончивший дни свои глухо, в опале,
как Велизарий³ или Помпей⁴.

Сколько он пролил крови солдатской
в землю чужую! Что же, горевал?
Вспомнил ли их, умирающий в штатской
белой кровати? Полный провал.
Что он ответит, встретившись в адской
области с ними? «Я воевал».

К правому делу Жуков десницы
больше уже не приложит в бою.
Спи! У истории русской страницы
хватит для тех, кто в пехотном строю
смело входили в чужие столицы,
но возвращались в страхе в свою.

¹ *Лафет* — станок артиллерийского орудия.

² *Регалии* — ордена, знаки отличия.

³ *Велизарий* (ок. 504—565) — византийский полководец императора Юстиниана I.

⁴ *Помпей* (106—48 до н.э.) — римский полководец.

Маршал! Поглотит алчная Лета
эти слова и твои прахоря.

Все же прими их — жалкая лепта
Родину спасшему, вслух говоря.
Бей, барабан, и, военная флейта,
громко свисти на манер снегиря.

1974

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА

В холодную пору, в местности, привычной
скорей к жаре,
чем к холоду, к плоской поверхности более,
чем к горе,
младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;
мело, как только в пустыне может зимой
мести.

Ему все казалось огромным: грудь матери,
желтый пар
из воловьих ноздрей, волхвы — Балтазар,
Гаспар,
Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.
Он был всего лишь точкой. И точкой была
звезда.

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,
на лежащего в яслях ребенка, издалека,
из глубины Вселенной, с другого ее конца,
звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд
Отца.

1987

Мария Николаевна АВБАКУМОВА
Р. 1943

КРЕСТНЫЙ ХОД

Ни двора... Все сковано морозом.
Грозным мором выморено круто.
Ни клейма, чей знак глубок и розов.
Ни клейма, ни лошади, ни крупа.
Только в ночь спасения Христова,
вдоль дороги прыгая, как утки,
чтоб не утопить в грязи обутки,
выстонав молитвы два-три слова,
обойдут деревню две-три тетки —
освятят родимую деревню:
скот, углы, кусты, родню, болота...
все живое... много ли всего-то!
Встанешь этот крестный ход послушать,
худо станет. Не глядела б лучше,
Небесина холода полна.
Чем же эти люди виноваты,
что не разгребешь беды лопатой?
Чья же это все-таки вина?

1987

* * *

Летим с горы тысячелетья.
Эй, кто там?.. Сторонись!.. Летим.
Кто всех шустрей,
Кто всех приметней,
И тот-то катится седым.
От снега, бега или плана,
Все окрутившего тумана,
Иль от торгов, иль от пырков,
Или от прочих мороков.

Кому же Бог назначить встречу
Решит на Божьем берегу,
Я, даже выскочив навстречу,
Ничем тому не помогу.
Мы уж не встретим у подножья
Ни тех, кто смел, ни тех, кто лих,
Ни самых архиосторожных,
А может, и себя самих.

1999

Ольга Александровна СЕДАКОВА
Р. 1949

ИЗ КНИГИ «ДИКИЙ ШИПОВНИК»

УЖИН

Никогда, о Господи, мой Боже,
этот ветер, знающий, как мы,
эту вечно чующую кожу
я не выну из глубокой тьмы.

За столом сидели и молчали.
Время шло, куда глаза глядят.
Ведро деревянные стучали.
Далеко, в колодцах, плавал сад.

Кто-то начал говорить и кончил.
Остальные бросились к нему,
умоляя, чтобы он отсрочил
то, что с самого начала ночи
шло к нему по ближнему холму.

Но уже вошло и встало время.
Сердце билось, кажется, везде —

как ведро, упущенное всеми,
на огромной траурной воде...

1978

* * *

Велик рисовальщик, не знающий долга
кроме долга играющей кисти:
и кисть его проникает в сердце гор,
проникает в счастье листьев,
одним ударом, одною кротостью,
восхищеньем, смущеньем одним
он проникает в само бессмертье, —
и бессмертье играет с ним.

Но тот, кого покидает дух, от кого
отводят луч,
кто десятый раз на мутном месте
ищет чистый ключ,
кто выпал из руки чудес, но не скажет:
пусты чудеса! —
перед ним с почтением
склоняются небеса.

1980

Вопросы и задания

1. Как в лирике И. Бродского осмысливаются историческая и культурная проблематика ранних эпох и народов? Что определяет особенности «петербургской» темы в его творчестве? Какова роль заимствований, скрытых цитат в поэтике Бродского?

2. Как в поэзии М. Аввакумовой осмысливается духовное состояние современного общества? Что составляет особенность ее поэтического стиля?

3. Каковы отличительные черты духовной поэзии Ольги Седаковой? Какие образы и мотивы стихотворения «Ужин» (Легенда 11-я из книги «Дикий шиповник») перекликаются с «евангельскими» сюжетами М. Цветаевой и Б. Пастернака? Что составляет главную тему философского этюда О. Седаковой «Велик рисовальщик, не знающий долга...»?

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30—40-х годов

МИХАИЛ АРКАДЬЕВИЧ СВЕТЛОВ

Рабфаковке 3

Гренада 4

ЭДУАРД ГЕОРГИЕВИЧ БАГРИЦКИЙ

«От черного хлеба и верной жены...» 7

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ИСАКОВСКИЙ

Катюша 8

ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ ВАСИЛЬЕВ

Стихи в честь Натальи 9

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ ПРОКОФЬЕВ

«Что весной на родине?..» 11

БОРИС ПЕТРОВИЧ КОРНИЛОВ

«Без тоски, без грусти, без оглядки...» 12

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ЖАРОВ

Теплый ветер 13

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ

Как закалялась сталь (*Отрывки*) 15

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЕВ

Лето Господне (*Отрывок*) 29

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ

Улица Святого Николая 38

ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИВАНОВ

«В ветвях олеандровых трель соловья...» 50

«За столько лет такого маянья...» 50

БОРИС ЮЛИАНОВИЧ ПОПЛАВСКИЙ	
«В холодных душах свет зари...»	51
ГЕОРГИЙ ВИКТОРОВИЧ АДАМОВИЧ	
«Когда мы в Россию вернемся...»	52
ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ	
Notre Dame	54
«Заснула чернь! Зияет площадь аркой...»	54
Адмиралтейство	55
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...»	55
«На розвальнях, уложенных соломой...»	56
«Я вернулся в мой город, знакомый до слез...»	56
«За гремучую доблесть грядущих веков...»	57
Батюшков	58
«Мы живем, под собою не чуя страны...»	58
«Мастерица виноватых взоров...»	59
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ	
День Петра	62
Петр Первый (<i>Отрывки</i>)	86
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ	
Родинка	112
Лазоревая степь	120
Тихий Дон (<i>Отрывки</i>)	128
МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ	
Белая гвардия (<i>Отрывки</i>)	177
Красная корона (<i>Historia morbi</i>)	194
Мастер и Маргарита (<i>Отрывки</i>)	200
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК	
«Февраль. Достать чернил и плакать!..»	249
Плачущий сад.	249
Определение поэзии	250
Про эти стихи.	251
«Любить иных — тяжелый крест...»	252
«Никого не будет в доме...»	252

Гамлет	253
Зимняя ночь	253
Рассвет.	255
Гефсиманский сад	256
«Во всем мне хочется дойти...»	258
«Быть знаменитым некрасиво...»	259
Когда разгуляется	260
В больнице	261
Снег идет	262
Доктор Живаго (<i>Отрывок</i>)	264

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ

«Глаза прикрою — и мгновенно...»	288
К России	289
Машенька (<i>Отрывок</i>)	290
Облако, озеро, башня	297

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ

ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ ЭРЕНБУРГ

Свобода или смерть!	307

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ

Священная война.	309

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ СИМОНОВ

«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»	310
«Жди меня, и я вернусь...»	312

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СУРКОВ

«Бьется в тесной печурке огонь...»	313

ОЛЬГА ФЕДОРОВНА БЕРГГОЛЬЦ

Памяти защитников (<i>Отрывок</i>)	313

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ИСАКОВСКИЙ

«Враги сожгли родную хату...»	315

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ФАТЬЯНОВ	
Соловьи	316
МУСА МУСТАФИЕВИЧ ДЖАЛИЛЬ	
Пташка	317
Палачу	318
АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ	
Перед дождем	320
Ноябрь	320
Я убит подо Ржевом	321
О сущем	326
«Вся суть в одном-единственном завете...»	327
«Дробится рваный цоколь монумента...»	327
«В краю, куда их вывезли гуртом...» (<i>Из цикла «Памяти матери»</i>)	328
«Я знаю, никакой моей вины...»	329
«Как после мартовских метелей...»	329
«Полночь в мое городское окно...»	329
«Чуть зацветет иван-чай...»	330
«В чем хочешь человечество вини...»	331
«К обидам горьким собственной персоны...»	331
Василий Теркин (<i>Главы из поэмы</i>)	332
По праву памяти	350
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ	
Лебедь в зоопарке	370
Портрет	371
«Я воспитан природой суровой...»	371
Некрасивая девочка	372
Гроза идет	373
Признание	374
Можжевельный куст	375
«Не позволяй душе лениться!..»	375
О красоте человеческих лиц	376

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50—80-х годов

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕВТУШЕНКО

«Идут белые снега...»	378
Карьера	380
«Со мною вот что происходит...»	381

РОБЕРТ ИВАНОВИЧ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

«На Земле, безжалостно маленькой...»	382
«Может быть, все-таки мне повезло...»	383
«Тихо летят паутинные нити...»	383

АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Осень в Сигулде	384
Тишины!	386
Ностальгия по настоящему	387

БЕЛЛА АХАТОВНА АХМАДУЛИНА

«Влечет меня старинный слог...»	389
«По улице моей который год...»	390

АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ПЕРЕДРЕЕВ

Окраина	391
Романс	391

ДАВИД САМУИЛОВИЧ САМОЙЛОВ

«Пусть нас увидят без возни...»	392
Сороковые.	393

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ СОКОЛОВ

«Спасибо, музыка, за то...»	394
«Я устал от двадцатого века...»	394

ЮРИЙ ПОЛИКАРПОВИЧ КУЗНЕЦОВ

«Бывают у русского в жизни...»	395
Атомная сказка	395

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ ВОРОБЬЕВ

Убиты под Москвой (<i>Отрывок</i>)	397

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БОНДАРЕВ	
Горячий снег (<i>Отрывок</i>)	404
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ БЕЛОВ	
Лад (<i>Фрагменты</i>)	411
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ СОЛОУХИН	
Владимирские проселки (<i>Отрывок</i>)	424
ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ТРИФОНОВ	
Обмен (<i>Отрывок</i>)	429
ВАРЛАМ ТИХОНОВИЧ ШАЛАМОВ	
Сентенция	436
АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ	
Старший сын (<i>Отрывок</i>)	443
БУЛАТ ШАЛВОВИЧ ОКУДЖАВА	
«Часовые любви на Смоленской стоят...»	448
Песенка об Арбате	448
Старинная студенческая песня	449
«Ваше благородие, госпожа разлука...»	450
Пожелание друзьям	450
Песенка кавалергарда	451
ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ ВЫСОЦКИЙ	
Педагогу	452
Песня о друге	452
«Корабли постоят...»	453
Охота на волков	454
Банька по-белому	455
Я не люблю	457
Он не вернулся из боя	458
«И снизу лед и сверху — маюсь между...»	458
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БАШЛАЧЕВ	
На жизнь поэтов	459
Как ветра осенние	460

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН

Выбираю деревню на жительство	462
Срезал	469

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ РУБЦОВ

Видения на холме	478
Тихая моя родина	479
В горнице	480
«Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...»	481
Русский огонек	482
Звезда полей	484
Душа хранит	484
Посвящение другу	485
Про зайца	486
«Я умру в крещенские морозы...»	486

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ АСТАФЬЕВ

Царь-рыба (<i>Отрывок</i>)	488
Печальный детектив (<i>Отрывок</i>)	504

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН

Прощание с Матёрой (<i>Отрывки</i>)	518
Дочь Ивана, мать Ивана (<i>Отрывок из повести</i>)	530

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН

Матренин двор	547
Отраженье в воде (<i>Из цикла «Крохотки»</i>)	579

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 80—90-х годов

ЛЮДМИЛА СТЕФАНОВНА ПЕТРУШЕВСКАЯ

Свой круг (<i>В сокращении</i>)	581

ВЕНЕДИКТ ВАСИЛЬЕВИЧ ЕРОФЕЕВ

Москва—Петушки (<i>Отрывки</i>)	601

БОРИС ПЕТРОВИЧ ЕКИМОВ

Ночь исцеления	606

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ

Стансы	614
Письма римскому другу	615
На смерть Жукова	618
Рождественская звезда	619

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА АВВАКУМОВА

Крестный ход	620
«Летим с горы тысячелетия...»	620

ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА СЕДАКОВА

Из книги «Дикий шиповник»

Ужин	621
«Велик рисовальщик, не знающий долга...»	622

Учебное издание
ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА

11 класс

Хрестоматия
для общеобразовательных учреждений

В двух частях
Часть II

Авторы-составители:
Чалмаев Виктор Андреевич
Зинин Сергей Александрович

2-е издание

В оформлении переплета использованы произведения:

А.И. Лактионов «Письмо с фронта». 1947 г.;

П.Д. Корин «Моя Родина». 1928 г.

Макет *Н.Г. Ордынского*
Серийное оформление переплета *С.Н. Якубовского*
Редактор *Е.Ю. Петухова*
Художественный редактор *Н.Г. Ордынский*
Корректоры *Т.Г. Люборец, М.Г. Курносенкова*
Верстка *Н.Б. Поповой*

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.953.Д.000614.02.06 от 02.02.06
выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека.

Подписано в печать 23.06.06. Формат 60 х 90/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитуры *ПТ* Петербург, *PT FreeSet*.
Усл. печ. л. 39,5. Тираж 7000 экз. Заказ 1782.

ООО «Торгово-издательский дом «Русское слово — РС».
125009, Москва, ул. Тверская, д. 9/17, стр. 5.
Тел.: (495) 355-70-69, 629-36-15.

ISBN 5-94853-583-5



9 785948 153583

Отпечатано на ГУП РК «Республиканская
типография им. П. Ф. Анохина»
185005, г. Петрозаводск, ул. Правды, 4.

ЛИТЕРАТУРА XX века



«РУССКОЕ
СЛОВО»

ISBN 5-94853-583-5



9 785948 535838